

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**STUDIA BIOGRAPHICA**



БИОГРАФИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ

6

Феникс ♦ Atheneum  
Москва – С.-Петербург

1995

ББК 83. 3Р 1

8 Р 1

Л-659

**Редактор-составитель А.И.Рейтблат**

Л 659 **ЛИЦА: Биографический альманах. 6. — М.; СПб.: Феникс; Atheneum. 1995. 495 с., ил.**

ISBN 5-85042-046-0

ISBN 5-85042-052-5

В альманахе собраны неопубликованные материалы к биографиям как известных деятелей XVIII-XIX вв., так и тех, чьи имена неизвестны большинству читателей. Сборник содержит обстоятельно откомментированные материалы о Ф.В.Булгарине, П.А.Вяземском, Н.И.Гнедиче, В.А.Жуковском, К.Н.Леонтьеве, А.С.Суворине и др; размышления Э.Г.Герштейн об обстоятельствах гибели Пушкина; воспоминания о дворянском быте первой половины XIX в.; документы о жизни провинциального духовенства и др.

Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся жизнью русских литераторов.

Л 4702010200-007  
Д 20 (03) - 95 95 без объявл.

ББК 83.3Р 1

8 Р 1

ISBN 5-85042-046-0 (Феникс)  
ISBN 5-85042-052-5

© «Феникс», 1995

## От составителя

В каждом сборнике «Лиц» представлены лица исторических персонажей и лица авторов статей и публикаций. Но есть там еще одно лицо — составитель. Своими научными интересами, тематическими предпочтениями, наконец, кругом знакомств он неизбежно накладывает личную печать на сборник: определяет хронологические рамки, наличие или отсутствие тех или иных рубрик, их конкретное наполнение и т.д.

Осознавая этот факт, составитель может предоставить читателю самому «рисовать» составительское «лицо» на основе материалов сборника, а может и помочь ему (или усложнить его задачу?), предложив автоконцепцию своего образа.

Итак, что с моей точки зрения специфично для данного сборника?

Реконструируя биографии (а только для словаря «Русские писатели. 1800-1917» мне довелось их написать несколько десятков), я столкнулся со значительными трудностями: легко составить послужной список персонажа, но трудно понять мотивы его поведения, определить, что значимо, а что не значимо для *его* биографии, осмыслить ее как целое. Между тем литература по биографике на русском языке очень бедна. Это обусловило введение в сборник теоретического раздела, авторы которого рассматривают (с разных позиций) ключевые проблемы биографического жанра.

Схожие соображения побудили составителя сборника укрупнить и масштаб и в рубрике «Портреты» дать не полные биографические очерки («от рождения до смерти»), а фрагменты биографий, обращая (при детализированном, подробном рассмотрении) особое внимание на мотивы и смысл деятельности персонажей. Причем увидены они в непривычном аспекте («бунтующий» Жуковский, «либерал» Суворин, «реакционерка» Ростопчина).

И, наконец, третье. Хотя в сборнике представлены и знаменитые имена (Пушкин, Вяземский, Гнедич, К.Леонтьев), но основное внимание уделено в нем «простым» людям, их «обычной» (но столь разной у разных сословий и социальных групп) жизни.

Не все удалось сделать так, как хотелось, методика «разрыбления», о которой столь красочно и убедительно писал в предисловии ко второму выпуску «Лиц» уважаемый коллега А.А.Ильин-Томич, наложила свой отпечаток и на наш сборник. Поэтому мы отнюдь не полагаем, что (как писал он) «материалы "Лиц" дают представление — пусть не всегда четкое — об общем лице "девятнадцативечных" штудий», но все же хотелось бы надеяться, что статьи и публикации данного выпуска будут интересны и полезны читателю. Последнее слово — за ним.



# **S**tudia Biographica



Б.В.Дубин

## БИОГРАФИЯ, РЕПУТАЦИЯ, АНКЕТА

### О формах интеграции опыта в письменной культуре

Памяти Сергея Морозова

How can we know the dancer from the dance?  
*W.B. Yeats «Among the school children»*

Учитывая предмет статьи, уместно, кажется, начать ее с автобиографической оговорки. Изложенные ниже соображения так или иначе накапливались с первой половины 80-х гг. при попытках как-то осмыслить некоторые, вполне практические трудности в ходе работы с двумя группами историко-культурных фактов.

Во-первых, речь шла о весьма немалом по объему корпусе фактически безавторских, анонимных книжных текстов в России второй половины XVIII — начала XX вв., как правило, не оригинальных, а перелицованных из различных исходных материалов, включая иноязычные и отдаленные во времени. Эти тексты снижали популярность у широкого круга российских читателей нескольких поколений, в основном не имевших литературного образования, не наделенных авторитетной квалификацией специалиста или знатока и не обращавшихся за рекомендацией и оценкой ни к «идейной», ни к «эстетической» критике на страницах «толстых» журналов<sup>1</sup>. Пробы социологического подхода к этому объекту со стороны исследовательской группы, в которую входил автор (подхода функционального, типологического и неизбежно генерализующего, стимулированного, наряду с прочим, системно-эволюционными идеями Тынянова), столкнулись с поддерживаемыми литературоведческой общественностью нормами «биографического метода» в истолковании словесности. Последние кристаллизовались, в частности, при коллективной работе над крупной-

---

<sup>1</sup> Бытование и восприятие этой словесности стали предметом монографического описания в кн.: Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту: Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века. М., 1991; Brooks J. When Russia learned to read: Literacy and popular literature, 1861-1917. Princeton, 1985.

шим историко-литературным предприятием в тогдашней гуманитарии — биографическим словарем «Русские писатели: 1800-1917»<sup>2</sup>. История, культура, литература были представлены в нем в совокупности биографий; биография выступала моделью внутренней организации культуры (сталкиваясь, добавлю, с иной, словарно-энциклопедической моделью и другой, формальной, логикой словаря). Таков один из контекстов обозначенной в заглавии проблематики.

Второй связан с ведшейся и раньше, но принявшей систематический характер с того же начала 80-х годов работой над переводами и комментированием стихов и прозы Борхеса, подготовкой к печати его избранных произведений, а затем — собрания сочинений. Если в первом случае, в «низовой» словесности, не только биографии, но даже сами имена авторов зачастую и не случайно отсутствовали, при всей живописности их житейских перипетий не имея отношения к судьбе текстов в читательской массе, этими соображениями не заинтересованной и даже не догадывавшейся, что подобным предметом можно и нужно интересоваться, то жизнь Борхеса была к тому времени уже не раз и с достаточной подробностью реконструирована, но оставалась ровно настолько же излишней и даже нежелательной для понимания им написанного.

Это многократно подтверждено в его сочинениях и прямых высказываниях интервьюерам (модальный статус этих свидетельств мы обсуждать здесь не будем), понятно из поэтики его текстов и, наконец, осмыслено и сформулировано наиболее авторитетным кругом его исследователей, профессионально, замечу, выросших, если говорить о французской «новой критике», на борхесовской прозе. Это, впрочем, не помешало ни появлению известной мистификации — т.н. «Автобиографических заметок», ни изданию биографических трудов, ни тяжбе за «правильную» биографию между рядом претендентов (и претенденток). Но если говорить все же об исследователях и истолкователях текстов, то ни Фуко с его стертым с песка «следом человека», ни провозгласившему «смерть автора» в литературе Ролану Барту приближаться к Борхесу с биографическим ключом, конечно, и в голову бы не пришло (Джону Барту с его завершающейся Борхесом «литературой эпохи исчерпанности», впрочем, тоже). И, в общем виде, это, пожалуй, правильно; о некоторых уточнениях, в том числе — данных «самим» метром, речь пойдет ниже.

---

<sup>2</sup> См. об этом в нашей рецензии на Словарь: Новое литературное обозрение. 1993. №5. С.292-298.



Область признанной значимости биографий и потребности в них располагается, видимо, между двумя обозначенными типологическими крайностями. Очерченное такими границами культурное пространство и будет предметом дальнейшего обсуждения. — Кому, в каких обстоятельствах и для чего становится нужна биография, как она строится, какие значения за собой влечет, какие традиции активизирует, втягивает в себя?

Биография будет пониматься здесь в том сдвоенном смысле, который отчасти заложен в самом ее двусоставном названии и в каком она фигурирует в новейшей культуре. С одной стороны, это схема упорядочения собственного опыта, авторегулятивная конструкция и, в этом смысле, компонент системы ориентаций самого действующего индивида. С другой, это косвенное, так или иначе гипотетическое воспроизведение (дублирование) схемы самопонимания и самопредъявления индивида теперь уже другим действующим лицом в ходе *его* специфического смыслового действия — в ситуации и акте биографирования, биографической реконструкции, «внешнего» понимания, интерпретации апостериори.

Вначале, при анализе структуры интересующего нас образа, оба эти значения «биографии» будут рассматриваться как одно, через запятую. Затем внимание будет перенесено именно на зазор между двумя значениями. Соответственно, предметом рассмотрения станут уже не просто «внутренние» напряжения и апории биографии как культурной формы (модели), но и социально-историческое поле стоящих за столкновением и борьбой интерпретаций конфликтов между определенными позициями (ролями) в обществе и культуре — конфликтов подразумеваемых, умалчиваемых, допускаемых в публичную сферу, в зону обсуждения лишь в превращенном виде и т.д. Причем специальное место будет уделено тому, каким образом этот разрыв между позициями, структурами самопонимания и временной организации опыта, образами мира символически отмечается, фиксируется, воспроизводится средствами письменности как особого типа культурной записи социальных значений, разыгрывается в акте письма. Соответственно, тут нас будет интересовать, на какие представления о человеке, действии, его смысле биография опирается (в том числе — опирается молчаливо), как она авторизуется, кто «аккредитует» биографию как самосознание (самоорганизацию) и биографию как повествование (репрезентацию), какова коммуникативная (ролевая) структура этого акта, структура свернутых в нем отсылок и адресаций и какова, соответственно, программа, стратегия ее понимания, чтения.

## ОТ ГЕНЕАЛОГИИ К БИОГРАФИИ

### Социокультурные рамки образца

В общем смысле понятно, что перипетии биографии как культурной формы — как постоянно рационализируемой парадигмы столь же постоянно умножающихся типов организации и предъявления индивидуального опыта — связаны со становлением и эволюцией идеи личностной автономии в истории культуры, прежде всего — европейской. Развивая формулу Ж.Гюсдорфа<sup>3</sup>, биографию можно назвать «индивидуальной телеологией» секулярной и пост-сословной эпохи. Отсюда и нижняя хронологическая граница, до которой о биографии, видимо, точнее будет говорить лишь в терминах предыстории. Если прочерчивать эту границу огрубленно и жестко, то переломный период здесь — завершение европейских революций XVII-XVIII вв., а вместе с ними — распад и пересмотр нормативно-классического канона в культуре, мышлении, искусстве.

Незаданность, нерешенность, проблематичность жизненного пути отдельного человека, уже не предопределенного происхождением и статусом родителей (рода, семьи), соответствует здесь принципиальной открытости форм, в которых осознаются и представляются индивидуальные призвание, самореализация личности, ее успех или крах. И если в макросоциальном плане биография как форма самопонимания и самопредъявления связана с временем ускоряющейся мобильности, массовых движений, тектонического перемещения целых пластов прежнего общества, то в полноте культурной семантики, в упорядоченной рефлексии, как ресурс понимания и интерпретации она рождается с «критической» эпохой, с эрой «модерности» («современности»).

Важно отметить, что крупномасштабные структурные сдвиги, модернизация европейских обществ делают биографию не просто личной проблемой и возможностью, но и общественной *необходимостью*, проблемой *культуры*. В этом смысле биография как регулятивная модель индивидуального свершения не только ставит под вопрос традиционные, родовые формы предписанного жизненного пути, но и наново, в нормативном порядке, закрепляет пересмотренные границы идентичности в качестве высоко значимого и общедоступного образца для социальных новичков и — теперь уже — *любого* человека. Энергетика социального сдвига и поиска адаптируется к структурным императивам более

<sup>3</sup> См.: Gusdorf G. De l'autobiographie initiatique à l'autobiographie genre littéraire // Revue de l'histoire littéraire de la France. 1975. №6. P.957-1002.

устойчивых или вновь складывающихся систем взаимодействия, репродуктивных структур, к институциональным требованиям, запросам первичных групп. Она, можно сказать, «укрошается», осмысливаясь, прорабатываясь, воплощаясь в значимой форме, соединяющей новые ценности и значения с авторитетными, нано-во переоцененными элементами статусной структуры старорежимного общества и аристократических или сакральных традиций. Поэтому биография — жанр все же «реставраторского» периода, следующего за собственно переломом. Это период постепенной рутинизации «революционного» импульса, нормализации существования, когда закрепляются победы, подводятся баланс достижений и утрат, устанавливаются обновленные рамки коллективного существования, складываются образы жизни новых групп и т.п.

Тогда подобную нормативную стабилизацию, обретение публичной солидности, культурную фиксацию нового «удостоверения личности» в виде биографии как идеи и как формы (здесь важны все три момента — и победа нового, индивидуалистического принципа, и содержательное самоопределение индивида, и его как бы «техническое» закрепление) правомерно и плодотворно, как мне кажется, поставить в один контекстуальный ряд с некоторыми другими хронологически и функционально близкими формами. Назову среди них, допустим, фотографию — и не только персональный или групповой портрет, что понятно, но и «жанр» или натюрморт, повлекшие за собой и новое понимание субъективности, «точки зрения» (культурной относительности), и новый статус документальности в культуре. Но можно привести в пример и, скажем, роман. В частности, О.Мандельштам в начале 1920-х связал роман и биографию, возведя их общее начало и повышенную ценностную нагрузку к периоду после наполеоновских войн, когда энергия реванша и жажда успеха со стороны одиночек и новичков на социальной сцене изливались и обуздывались в форме «биографии взлета» по образу их кумира, а конец обоих жанров датировал наступлением эпохи массовых обществ, безразличных к индивидуальным обстоятельствам даже при миллионкратном их тиражировании<sup>4</sup>, даже если речь идет, говоря позднейшими словами поэта, о «миллионах погибших задешево».

Историю и типологию биографии можно представить как историю и типологию форм самоконституирования личности, умножения типов «я», как относительность — функциональную соотношенность — здесь чисто нормативных, узко-групповых пер-

---

<sup>4</sup> Мандельштам О. Сочинения в 2-х тт. Т.2. М., 1990. С.201-205.

спектив понимания индивидуальности. Многомерности самосоотнесения и самособирания зрелой личности в новейшее время отвечает гетерогенность «современности», полиглотизм культуры, ценностный, субъективный принцип ее организации. Типы биографии дифференцируются, а стало быть — функционально ограничиваются. Но тем самым ограничивается и общая роль биографической репрезентации в обществе, модельное значение или претензии биографического принципа в культуре.

Драматическая ломка чисто индивидуалистических представлений о личности на протяжении XX в. (включая завышенные ожидания авангарда и романтические иллюзии на этот счет) в конце концов приводит к формализации социальных, «внешних» аспектов биографии. В частности, она принимает вид типовой схемы социализационного процесса как такового и фиксируется в форме всеобщего анкетного листка, послужного списка, истории болезни и т.п. Версии жизненного пути и сами принципы их построения умножаются по мере дифференциации институтов и групп общества, относительно которых определяется и определяет себя сам индивид. Ценностные и нормативные компоненты биографического образца расходятся, первые — предельно универсализируясь и «опустошаясь», вторые — локализуясь на определенных социальных и культурных уровнях, в заданных перективах.

Целостный образ личности в форме биографии, с одной стороны, все более приобретает сугубо ценностный, условный смысл — принципа саморегуляции в индивидуальных рамках. С другой — он выделяется в целое семейство массовых, серийных риторических жанров типа назидательной «ЖЗЛ», любовно-приключенческой *biographie romanesque* либо скандального портрета очередной «звезды» светской хроники и/или «кумира» политической сцены. Документальность подобного жанра по большей части фиктивна, претензии на окончательность версий безосновательны, и каждая из них тем риторичней, чем настойчивее эту свою фиктивность скрывает. Аксиоматика же биографии как формы исследования в гуманитарной области (и прежде всего — в исторической науке) приходит в ценностное столкновение с внутринаучными принципами и критериями познавательной рациональности, что, как и сама идея «истории», порождает в исследовательском сообществе неразрешимые идеологические конфликты и герменевтические коллизии.

Область значимости биографического материала в нынешней культуре достаточно определена и каждый раз так или иначе локализована. Биографий у авторов биографий, как правило, не

бывает, а герои их, как водится, чужих биографий не пишут. И в литературе, и в науке биографический жанр, в целом, все больше отходит в репродуктивные подсистемы, выполняя функции популяризации, перевода ценностей науки или художественной культуры на языки других групп и субкультур, служа для исследователя рабочей формой предварительной организации материала. Биографический метод в социологии (Томас и Знанецкий, а теперь — Берто, Феррароти, «устная история» и «социология повседневности»<sup>5</sup>, как и биографии «незамечательных людей» в литературе фактически лишают их объект повышенной нагрузки, эмблематической значимости, а жанр биографии — его основных и, казалось, неотчуждаемых исторических заслуг и педагогических привилегий.

### ПРЕДПОСЫЛКИ И АПОРИИ БИОГРАФИЗМА

Между двумя намеченными хронологическими границами траектории развития романа, биографии, фотографии (и, можно добавить, исторического сознания, историцизма) не просто близки. Эти формы самоопределения субъективности в ее общественно-осмысленном бытии постоянно перекликаются, поддерживают одна другую, представляются в терминах друг друга. Так, роман вбирает в себя значения истории (истории общества и индивида, индивида как общественного существа, формируемого по образу общества), ориентируется на стандарты фото-, а затем и кинодокументальности. Вместе с тем — как доминантный жанр самосознания эпохи — он и сам задает структурную матрицу и риторические стандарты биографического портретирования и самопортретирования<sup>6</sup>, автобиографического повествования<sup>7</sup>, изложения истории<sup>8</sup> и т.д.

Европейское сознание нового времени видит в биографии воплощение индивидуальной смысловой целостности в ее временном, «историческом» развертывании. Образ жизненного пути предстает при этом как последовательное и необратимое самоосуществление личности, управляемой в своем освоении окружающих обстоятельств и преодолении встречающихся преград соб-

<sup>5</sup> См.: Биографический метод в социологии: История, методология, практика. М., 1994.

<sup>6</sup> См.: Girard A. *Le journal intime*. Paris, 1963; Lejeune Ph. *Le pacte autobiographique*. Paris, 1975; Он же. *Je est un autre*. Paris, 1980; Он же. *Moi aussi*. Paris, 1986; Beaujour M. *Miroirs d'encre: Rhétorique de l'autoportrait*. Paris, 1980 и др.

<sup>7</sup> См.: Pascal L. *Design and truth in autobiography*. London, 1960.

<sup>8</sup> См.: Certeau M. de. *L'écriture de l'histoire*. Paris, 1978.

ственным разумом и волей существа автономного и — в общественном и цивилизационном плане — полноценного. Биография как синоним искомой полноты самореализации становится, в конечном счете, микромоделью культуры, понимаемой в духе кантовского Просвещения. Неотделимая от всей европейской программы культуры конца XVIII — начала XX вв., биография — это как бы универсальная история взросления данного человека и человеческого рода, знак и мера их зрелости (как наличие истории есть, в свою очередь, знак зрелости общества).

Путь к себе структурирован при этом ситуациями постижения или раскрытия (свершения) некоего жизненного гештальта или проекта, как бы «попадания» в ритм и структуру целого. Но выстроен данный маршрут так, что сам подобный план проступает и реализуется лишь в ситуации его исполнения (или рефлексивного осмысления), в самой материи существования, а не навязан «со стороны», «сверху» и не существует вне индивида, действующего на свой страх и риск среди себе подобных. Масштабом для оценки полноты осуществления и инстанцией отчета выступает только «я» в его самостоятельности и самоответственности, то есть универсальности, включая способность задавать меру самому себе в действии и мысли, способность рефлексии. И в этом — важнейшая (наряду с целостностью, структурированностью и направленностью) особенность биографии как смысловой структуры, как схемы организации опыта.

Собственно, уже здесь выявляется, может быть, главное противоречие биографии как культурной формы и семантической структуры (био-графия). Это противоречие между императивом целостности, *единства смысла* и императивом длительности, *последовательности его развертывания* (конституирования, обнаружения, репрезентации). Образец эмблематичен и в этом своем качестве — как бы вневременен. Рассказ же разворачивается как структура стадиальная, временная и, больше того, соотношенная с целой системой времен (календарным, историческим, индивидуальным, включая психологически проживаемое и т.д.). В предельно заостренном виде ситуация формулируется так: смысл не может быть рассказан (еще менее — показан), поскольку относится к другому плану (типу) реальности, чем рассказ, и достижим лишь через опосредующее переключательное устройство, особого рода преобразователь либо даже систему преобразователей.

«Личность» и есть одно из таких рукотворных устройств, культурных изобретений; она — не «характер», не «природа», не «ген», а символическая, ценностная структура. Между выявленностью и полноточностью самодостаточного образца, не от-

сылающего индивида ни к какой посторонней инстанции, ни к какому иному смыслу, с одной стороны, и историей конструирования или постижения этим индивидом предзаданной смысловой полноты в постоянной связи с иными структурными планами и семантическими порядками (мирами «значимых других»), — с другой — непрерывного перехода нет. Напротив, субъективно здесь чувствуется неполная пригнанность, несопоставимость двух разных по типу «реальностей». «Между» ними как бы включено нечто третье, им обоим не принадлежащее, чуждое — словно «рубец» или «протез» на месте переживаемого разрыва, похожего на парадоксальный и неустрашимый зазор между Ахиллесом и черепахой. Коротко говоря, это ощутимость сознания самому себе, конституирующая себя субъективность, схватывающая и объективирующая свою структуру в акте первичной рефлексии<sup>9</sup>.

Парадокс целостности и, вместе с тем, последовательности биографии социолог бы связал с обстоятельствами порождения этой смысловой формы — с группами ее инициаторов, их интересами и идеями, вовлекаемыми ими в этот процесс культурными значениями и традициями. Откуда черпаются при этом представления об индивидуальности и как они сочетаются именно в данном образце, почему он такой, а не иной? В поле каких сил и значений происходит здесь изобретение «я», в каких условиях и сферах существования, относительно каких инстанций и фигур возникает эта проблема — обозначить, зафиксировать, представить индивидуальную связность как единство в становлении?

Если говорить об интересующей нас эпохе в обозначенных выше рамках, то можно выделить три области, которые в состоянии служить для складывающегося бюргерского (или буржуазного) самосознания — источником значений и образцов индивидуальной воплощенности в образцово-биографической форме. (Соответственно, в самой этой форме можно аналитически вычленять три — каждый раз своеобразно перекликающихся и скрещивающихся в ней — смысловых пласта, слоя значений). Речь, понятно, идет о «героической» или, по меньшей мере, позитивной модели, а не о пародийном — сниженно-плутовском либо сатирическом ее варианте, хотя сама структура образца в этих последних случаях, как можно полагать, та же.

С одной стороны, это духовная сфера, где самопонимание и поведение неотрывны от предстояния идеальному Другому, предельному Ты и строятся на фоне и по образцу боговоплощения — как притча о вочеловечении, евангельских испытаниях и

---

<sup>9</sup> См.: Ricoeur P. *Soi-même comme un autre*. Paris, 1990.

страстях. Здесь складывается несколько моделей протобиографического самоизложения (как и свой репертуар образов личности, ролевых героев) — скажем, житие, откликнувшееся позже еще у кардинала Ньюмена или в честертоновских биографиях Фомы и Франциска, либо исповедь — от Августина до Руссо и Толстого.

С другой, имелась богатая и, что немаловажно, освященная римской древностью традиция жизнеописаний («знаменитых мужей»). Их моралистическую нагрузку примера для потомков подчеркнул Тацит (читатель биографии героя должен «воссоздать в себе те же нравы» — «Жизнеописание Юлия Агриколы», 46), а оба основных типа представления биографической целостности сформулировал Светоний, противопоставив «последовательность времени» и «последовательность предметов» и предпочтя для своего изложения вторую («Божественный Август», 9). На «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха воспитывались поколения европейцев, искавших в них образцы для своих нарождающихся наций. Отсюда черпал в своих жизнеописаниях итальянских художников Вазари, как и в своих биографиях английских поэтов — Сэмюэл Джонсон.

Наконец, с третьей стороны, существовала аристократическая традиция рыцарского «приключения» как повторяющегося — мгновенного и вечного — выявления характера и удела героя, обобщенных до геральдической эмблемы (параллель героической авантюре составляла авантюра любовная, которая дала начало лирике трубадуров, заложивших, среди прочего, основу европейских представлений о личности). Но фактически и она, вслед за двумя перечисленными, игнорировала (либо упраздняла) «последовательность времени», переводя индивидуальный поступок в ранг надличного символа единственно достойного человеческого удела; не зря рыцарский роман (ранний аристократический *romanse*, а не позднейший буржуазный *novel*) знает, как правило, лишь одну форму последовательности — бесконечное нанизывание авантур.

Таким образом, к перечисленным контекстам и формам может восходить лишь один из компонентов новейшей биографии — персонификация надличной ценности «я», эмблематический образ индивидуальной целостности. Источник здесь, понятно, не раз переосмысленный и переозначенный впоследствии, — высокая традиция, сакральная и рыцарская. Отсюда — подчеркнута важная функция и сверх-нагруженная семантика цельности как неотъемлемого атрибута героя и в структуре биографического образца, и в пост-просвещенческой европейской культуре в целом, вплоть до т.н. «массовой культуры» с ее клише «идола» и «звез-



ды». Герой тут выделен, обособлен, подчеркнут («отлит», «отчеканен», используются и другие синонимы скульптурности). Образ ценности переозначивается, становясь нормой реальности — «портретным», наглядным, нормативно-визуальным компонентом двуслойной модели.

Собственно бюргерским (буржуазным) вкладом в модель биографии стали символика и семантика жизненного пути — необратимой последовательности времени жизни и непрерывности ее причинного ряда, нарастающей обусловленности каждого момента не только предыдущим, но и всеми предшествующими. Это иной тип целостности. Она теперь развернута как последовательность шагов и стадий *во времени*, но времени, представленном как самодостаточное и несводимое, а потому — *непрерывное*, полностью детерминированное лишь своей «собственной» направленностью, необратимое и не содержащее лакун. Если время авантюры — это как бы миг прорыва в иные сферы, смыслового перелома, поворота, откуда-то обрушившегося на жизнь случая или ворвавшейся судьбы, то время жизненного пути — это траектория достижения, «внутреннего» учета примененных средств, вынужденных затрат и промежуточных итогов, накопления изо дня в день, — время счета (складывать и вычитать можно именно одностороннее и необратимое, однородное и непрерывное время, «вечность» не делится, как и не умножается, знаменуя — в качестве символа высшей, предельной ценности — как раз отказ от счета). Бескачественной мерой, универсальным эталоном здесь стало «расколдованное» физическое время естественных наук, бухгалтерской калькуляции и т.п.

Тут, в частности, дала свои плоды боковая линия религиозной традиции — духовный дневник, сложившийся в протестантизме, его ответвлениях и сектах с их практическими навыками рационального ведения душевного хозяйства. Характерно, что как раз эта форма оказала решающее воздействие на становление и поэтику романного жанра в Англии (а затем — в Германии и Франции) — стандарты мотивации персонажей, типовую сюжеттику, универсализм «человеческого» и «психологического» в обрисовке героев среднего и низкого статуса и т.д.<sup>10</sup>

Если для сакрально-аристократического этоса образец эмблематичен, он — в вечно-настоящем времени начал и начинаний, предъявляясь мгновенному и целостному охватыванию зрением, то для бюргерского — он линеен и воспроизводится в ретро-

<sup>10</sup> См.: Ebner D. *Autobiography in seventeenth-century England: Theology and the self*. Hague; Paris, 1971.

спективном изложении, ведущем обратный отсчет с конца, от финала, итога, цели. Для «высокой» — сакральной, аристократической — традиции мир прерывен, разнороден, многоярусен, почему и образы его архитектурны, живописны, театральны — это храм, сцена, картина, герб. Для биографической и романной традиции нового времени жизнь, судьба, реальность — это движение, развитие, «история», а история (и История), в свою очередь, — то, что можно рассказать. Или, еще точнее — описать, воспроизвести во внезапности, неизобразительности письма, в акте писания. Бескачественность письменной (а в пределе ее — печатной) фиксации культурных значений соответствует универсалистской трактовке физического времени в буржуазную эпоху. Не случайно история как измерение коллективного существования, как форма самопредъявления и самопонимания социального (а далее и личного) целого неразрывна с письменностью, а роман, как не раз отмечали его исследователи, — жанр письменной культуры (противодействие печатному слову, книгам вообще и роману как «чтению для прислуги» при предпочтении репрезентативных искусств — театра, живописи, скульптуры — и соответствующих досуговых практик — гулянья, выезды — отмечается в аристократических кругах Англии вплоть до викторианской эпохи)<sup>11</sup>.

Тем самым в биографическую модель самосознания и самопредъявления входит еще одно внутреннее противоречие — между образом и письмом. (Вероятнее, впрочем, что здесь мы имеем дело со специфической культурной транскрипцией, способом фиксации уже разобранного конфликта между целостностью смысла и последовательностью приближения к нему, его изложения).

## БИОГРАФИЯ — ИСТОРИЯ — ПИСЬМО

Проблемой и предметом при таком повороте темы становится именно «зазор» между смыслом и его постижением, образцом и рассказом о нем, иначе — персонажем и повествователем, а тем самым — читателем. Каково происхождение и функция этого зияния или барьера?

В нем особыми, т.е. культурными, символическим средствами воспроизводится — разыгрывается и условно преодолевается

---

<sup>11</sup> Bronson H B Printing as an index of text // Bronson H B Facets of the Enlightenment. Berkley, Los Angeles, 1968. P.326-365; Ong W Orality and literacy London, New York, 1982; Goody J The logic of writing and the organization of society Los Angeles, 1986.

не только разрыв между социальными статусами героя и рассказчика (то есть персонифицированного явления предельной ценности и анонимного в данном случае представителя коллективной нормы; речь идет, понятно, о новом времени, эпохе десакрализации и общедоступности письма, по крайней мере — в идеологии). Здесь в универсализированной форме письма каждый раз, в каждом его акте воссоздается травматика цивилизационного перехода от эпохи героического действия в настоящем к эпохе дистанцированного рассказа о прошлом, конфликт между обобщенными ролями действующего и знающего — царя, героя, рыцаря и жреца, певца, писателя. Однако этот конфликт так встроен в структуру действия (микромодель письменной культуры), что перепад уровней между героем, повествователем и читателем — напряжения и конфликты референции — является движущей силой акта письма. Письмо в универсальности его претензий на бескачественность и всеобщность осознается изнутри письменной культуры и воспринимается извне ее как озвучивание, возвращение голоса тем, у кого нет легитимного языка. Удостоверена эта легитимность, по особенностям институционализации письменной культуры и ориентаций ее агентов, может быть только высшими иерархическими инстанциями, но обращена письменная речь (и вся идеология письменной культуры, всеобщей грамотности и т.д.) к тем, кто в статусном и культурном отношении ниже. Разрыв между этими уровнями, инстанциями самоотождествления субъекта письменной речи переживается и представляется, символизируется как разрыв между временами существования и воплощения, а в сугубо культурной плоскости — временами повествования в их различной, но взаимосоотнесенной семантике (двойственная окраска «прошлого», компенсаторная символика будущего и др.). В этом смысле описываемый зазор конститутивен и неустраним, задевая и воспроизводя апорийную конструкцию постоянного приближения к описываемой, но так и не достижимой «реальности» — какова бы ни была ее содержательная природа, здесь важно другое: ее нагруженный смысловой модус, высокий ценностный ранг.

Вне этого противопоставления нет ни предмета письма, ни проблемы описания. Но «внутри» его предмет недостижим, а проблема неустранима. Рассказ, изложение не дают смысловой полноты, как бы вытесняя и, вместе с тем, держа наготове, «под полой» несказуемое, неучтенное начало, порождающее, обосновывающее и аккредитуящее речь. Высказывание не в силах ни стать полностью наглядным явлением смысла, раствориться в его «бес-субъектной» предметности, ни целиком абстрагироваться до са-

модостаточной, чистой, безреферентной, столь же «объективной» реальности. «Скрытое» начало — своего рода «эхо речи» или «тень письма» — это и есть трансцендентальная субъективность как первопринцип суждения. Повествование, тем более — письменное, содержит его как свой источник и границу. Но явлено оно может быть лишь символически, поскольку принадлежит уже иной реальности, находится вне пространства текста, и тем «дальше» от него, чем более это повествование безусловно, нормативно, наглядно (можно сказать и короче — «реалистично»). Понятно, что подобное «принципиальное ”я“» внебиографично. Биография же, имея его в качестве своей мысленной предпосылки или идеального предела, есть нормативная интерпретация, переработка и адаптация принципа субъективности, средствами того же письма всякий раз, в каждом его акте маргинализирующая и принципиальную, и конкретную субъективность.

Я хочу сказать, что универсальная письменность — достижение нового времени — невозможна вне принципа субъективности, но личность — еще одно открытие этой же эпохи — невыговариваема, неисчерпаема в повествовании и недостижима, неоплотима на письме. Самим актом письма, конструирующего реальность, как уже говорилось, «с конца», высказанное конституируется как бывшее, прошлое. Подвижной и неуловимой, никогда не явленной наглядно точкой речи письмо как бы отсекает и отодвигает сказанное в прошлое, делает бывшим. Больше того, для письменной культуры сама территория прошлого задается письмом: прошлое — это то, о чем написано (или может быть написано). Это относится и к так называемому «настоящему»: в письменном тексте оно увидено и оценено ретроспективно, как бы из будущего, — и предстает своего рода осуществленным предвидением. Точки настоящего как независимой позиции владения ситуацией, позиции совпадения самоопределения и согласованного со значимыми другими действиям письменная речь не знает: у нее — модальность алиби, она свидетельствует «от лица отсутствующих», говорит «за того, кого нет». Языком этого «иногое» выступают собственные имена, реминисценции, цитаты, документы, фото и др. В этом смысле сфера письма, в терминах Мангейма, — либо идеология (миф о прошлом), либо утопия (ретроспекция планового сознания, «планирующего разума», по Тенбруку и Ясперсу). Ее смысловые пределы заданы двумя полюсами: мнимо-объективный и безусловный образец героя «без ссылок», по модели «ЖЗЛ», романизированной биографии С.Цвейга или Моруа, с одной стороны, и столь же мнимое растворение повествователя в «говорящей за себя реальности», в «Ином» — монтаж цитат

и документов, типа, скажем, вересаевских монтажей о Пушкине или Гоголе, с другой.

Попытка теми же письменными средствами и в логике письменной культуры (навыками сознания, воспитанного письмом) актуализировать прошедшее, пережить его как настоящее, опять-таки, лишь дублирует ситуацию вытеснения, маргинализации субъективности, удваивает предмет исследования, порождая фантомную конструкцию «скрытого» и «подлинного» прошлого, о котором еще ничего не сказано, не написано, вообще не известно, в качестве собственного предела, границы нормативных представлений исследователя о реальности. Искомая и недостижимая «полнота», требование и стремление к которой ведут эмпирического историка (включая биографов) к бесконечному, в принципе, накоплению свидетельств, как бы отодвигая задачу их осмысления и скрывая от него самого все равно осуществляемые им исподволь отбор и трактовку, выглядят как устранение себя, своего рода теоретико-методологическое самоубийство.

Требует дополнения здесь, конечно же, не прошлое, а разделяемое, но не отрефлексированное историком представление о прошлом как «истории», об историческом деятеле как имеющем «биографию»: идет неосознаваемая познающим субъектом интерпретация имеющихся эмпирических фактов, восполняющая их до нормы понимания реальности, которая «должна» иметь историю, обладать «биографией». Без этих вменяемых ей атрибутов реальность для данного субъекта непонятна и не интерпретируема. Работать с иными, более сложными типами действия («зеркального», «игрового», как предлагают современные социологи)<sup>12</sup>, с символическими или культурными системами, как делает, скажем, лингвист-семиотик, этнолог-структуралист или культуролог-герменевтик, — биографический историк, включая историков литературы с их «биографическим методом», не умеет и не хочет. Чаще всего он ограничивается более простыми, рутинными, нормативными либо традиционалистскими компонентами реконструируемого действия, воспринимая субъекта исключительно как агента репродуктивных систем, а репродукцию, воспроизводимость и научаемость как едва ли не родовые свойства человека. (Функции эти для человека, группы, общества, спору нет, важные, но ведь не единственные же и даже не всегда — особенно в культуре! — важнейшие). Фактически он вытесняет при этом иную, небюграфируемую реальность и помимо собственной воли, самой логикой своего ролевого поведения, приме-

---

<sup>12</sup> См.: Левада Ю.А. Статьи по социологии. М., 1993. С.99-119.

няемым набором инструментов и процедур отказывает ей в существовании.

Так, например, он устраняет из поля внимания те разнообразные социальные структуры, которые помещают себя вне официальных рамок общества, вне общепризнанных границ письменной культуры (сферы нефиксируемых устных коммуникаций, оппозиционные кружки, неподцензурную «вторую» культуру и т.д.). При этом, в частности, остаются «в тени» и переходят в ранг своего рода «тайных обществ» сами нормопроизводящие инстанции, порождающие подобные социальные и культурные лакуны — «пробелы», говоря цитатой, как «в судьбе», так и «среди бумаг» (скажем, органы тоталитарного государства, включая т.н. «учреждения культуры»). Но функциональная структура их деятельности — социальная селекция — тем самым лишь воспроизводится, и при этом — парадоксальным для простодушного исследователя образом. Реабилитации вычеркнутого, «восстановления его в правах» добиваются при этом как раз в тех рамках и у тех инстанций, которые подобные рамки задали и соответствующие явления из общей жизни вычеркнули. Роль их в общественной жизни тем самым как бы и не подвергается сомнению и даже укрепляется. Неотменимое же в социальном плане, нужное для конкретного индивида и для общества как такового «возвращение биографии» практически не сопровождается при этом собственно культурной рефлексией над ее сконструированным или добровольным отсутствием. Работы с такого рода «отсутствующими реальностями», «отрицательными величинами», «черными дырами», «отказными действиями» в культуре и обществе по-прежнему нет. Нет даже разговора о самой проблеме, альтернативных по отношению к принятой норме подходов, ином, неидеологизированном инструментарии. Другими словами, не происходит необходимое (и опять-таки — даже не лично исследователю нужное, а требующееся по самому смыслу познания, по статусу независимой науки) расширение и усложнение представлений о реальности.

## БИОГРАФИЯ И НОРМА

В этом смысле биограф (речь о его роли, а не конкретном человеке) работает с нормативными моделями биографии в той мере, в какой они сложились в доминантных идеологических схемах, включая идеологию культуры. Возможности его референции заданы некоторыми основными, типовыми линиями. В общем виде инстанции (мысленные адресаты), в чьей перспективе и с по-

мощью чьих культурных средств (ресурсов) выстраивается та или иная связность биографии, можно схематически представить следующим перечнем:

## 1. Институциональная структура общества

Пересечение индивидом ее рамок в процессе нормативно же заданной карьеры того или иного типа (границ соответствующих институтов — семьи того или иного статуса, средней и высшей школы того или иного уровня, разнообразных профессиональных коллективов, различных союзов и обществ) образует «вехи» официальной биографии. Жизнь каждого отдельного человека предстает здесь в виде послужного списка, curriculum vitae, графы или разделы которого «озаглавлены» соответствующими институтами с указанием статуса в их рамках и выражений внутриинституционального, общегосударственного либо общественного одобрения, признания — премии, награды и др.; характерно, что принадлежность к письменной культуре удостоверяется особо, списком публикаций, трудов. В свернутой, конспективной форме (а само наличие таких форм — одно из достижений письменной культуры) подобная модель выглядит как анкетная «автобиография», либо — в системах, претендующих на тотальный контроль, — как учетный листок регулирующего людские потоки отдела кадров, паспорт или другой приравненный к нему документ, удостоверяющий личность как место в социальной (возрастной, семейной, профессиональной, поселенческой и др.) структуре, дающей право на известные блага или привилегии.

Не обладают подобной биографией (а соответственно — правами и привилегиями), как предполагается, только лица, исключенные из социума, не отвечающие положенным в нем условиям. Биография здесь удостоверяет социальную (в нашем, советском, случае — официально-государственную) полноценность индивида, его общественную сортность, «благонадежность» и подчеркивает ее тем жестче, чем бедней, однозначней и ригидней структура общества. Любое установление или ретроспективное восстановление биографии начинается именно с этих вех, сведениями о которых располагают соответствующие институты и их репродуктивные подсистемы (устройства памяти — архивы, информационные службы). Именно в аспекте репродукции личность здесь и представлена: как относительно-специфический по набору необходимых качеств «человеческий материал», ресурс воспроизводства данного учреждения либо системы, сам, в свою очередь, способный к воспроизводству и регулярно, в заданном социальном

ритме, воспроизводимый без перерывов (прогулов, больничных и т.п., которые тоже должны быть соответствующими органами и документами оформлены и удостоверены).

Пропуск, пробел здесь — явление исключительное, знак отклонения. Оно должно быть ликвидировано либо соответствующими институциональными службами, либо, ретроспективно, — биографом с их помощью и на основе выданных ими, но по тем или иным причинам не обнаруженных или не учтенных прежде документов. Личность реальна тут лишь в той мере, в какой архивирована. Потому она музеефицируется (самим индивидом или другими) уже в процессе жизни, каковая, собственно, и представляет собой «музеефикацию», мысленный, но постоянный взгляд на настоящее из будущего как на зараннее, впрок заготовленное прошлое. Индивид предстает в виде растущей и упорядочиваемой коллекции официальных справок, свидетельств и т.п. документов<sup>13</sup>.

Если спроецировать подобные представления о личности и обществе в их типологически-заостренном виде на словесные искусства, вернее — на идеологию литературы, то, скорей всего, получишь понимание словесности исключительно как классики (по образцу школьной), а биографии как истории всей «настоящей» литературы. И даже более того: историю «всего» общества здесь будет представлять мифологизированная биография «первого поэта» нации или его персональная, именная энциклопедия («Пушкин в веках» выступает в качестве своего рода притчи об историческом бытии и целостности народа).

## 2. Групповые образы социального авторитета

Речь тут может идти о своего рода галерее персонажей — от «носителей морального авторитета нации» до фигур «литературной власти», по Шкловскому. В подобной композиции «значимых других» как объектов референции в поведении и его биографировании объединяются те или иные исторически-действующие и эмпирически-обнаруживаемые категории элит. Это не «специалисты» и не «знатоки», но и не «интеллигенция». Скорее, это независимые интеллектуалы, которые выступают в обществе так или иначе признанными законодателями норм самосознания и самопонимания, держателями образцов письменной (и литератур-

<sup>13</sup> О «музеефикации» коллективных определений реальности и представлений о культуре см.: Guillaume M. La politique du patrimoine. Paris, 1980; Jeudy H.-P. Mémoires du social. Paris, 1986; Capdeville J. Le fétichisme du patrimoine: Essai sur un fondement de la classe moyenne. Paris, 1986; Namer G. Mémoire et société. Paris, 1987.



ной) культуры, задают стандарты оценки, порождают и узаконивают общественную репутацию того или иного явления или деятеля, отвечают за их престиж, образцовость, влияние для других групп общества. На то, что база и радиус их авторитетности иные, шире (но и диффузнее), чем сеть или суд компетентных специалистов, указывает одно обстоятельство: моральные коннотаты репутации, нормативно-групповые следы в ее семантике. Биография здесь предстает как общественная репутация, которая может быть «образцовой», «безупречной», но которую можно «испортить», «подмочить», как можно «делать» или «подпортить» биографию.

Словесность, письменная культура (и в этой мере — «художественная литература») понимаются в подобном аспекте как самосознание и самокритика общества. Биография же, по образцу самопонимания соответствующей группы, синхронизируется с историей, «большой историей», в ее проблематизированных культурой тенденциях, но особенно — в переломных, кризисных точках, ситуациях конфликта, борьбы и т.п. Как один из примеров такого понимания личности и биографии можно указать тыняновское: «...личность не резервуар с эманациями в виде литературы и т.п., а поперечный разрез деятельностей, с комбинаторной эволюцией рядов /.../ система отношений к разным деятелям» (в этом же письме 1929 г. ставится задача «осознать биографию, чтобы она впряглась в историю литературы») <sup>14</sup>. Если же говорить о биографических образцах, то, скажем, «Ганди» или «Юноша Лютер» Эриксона, как представляется, ближе других к биографии такого рода.

### 3. Универсальная ценность личностной автономии

Собственно, здесь и пролегают границы, в которых значима и действенна новоевропейская программа культуры как самовращения индивидуальности и в которых вообще имеет смысл говорить о «культуре». Биография предстает здесь именно куль-

---

<sup>14</sup> Тынянов Ю.Н. Поэтика; История литературы; Кино. М., 1977. С.513. Письмо Тынянова обозначило верхнюю хронологическую границу тех исторических поисков, которые предпринимались ОПОЯЗом и близкими к нему исследователями (Б.Томашевский, Г.Винокур) с начала 1920-х. О понятии репутации применительно к литературе в эти же годы см.: Розанов И. Литературные репутации. М., 1928; о границах применимости этого понятия (как, добавлю, и категорий истории, личности, авторства и др.) к «классической» советской эпохе см.: Золотоносов М. Ящатупер: Из заметок о советской культуре // Звезда. 1990. №5. С.162-171.

турной (идеальной) конструкцией, структурной смысловой инициации, обеспеченной обращением к трансцендентальному принципу субъективности. Но этим, собственно говоря, обозначаются и пределы биографического подхода: «биография» как «разгадка» личности или как педагогический «пример» здесь же и заканчивается.

Самореферирующуюся субъективность по определению нельзя повторить, скалькировать как традицию или норму, просто «со стороны» или «по памяти» воспроизвести в действии. На нее можно ответить только собственной открытой субъективностью, в чем и состоят значимость и универсальность субъективного принципа (форма его значимости и универсальности). Коротко говоря, субъективность и есть форма, форма ценности. Этот ее регулятивный потенциал никаким нормативным содержанием не исчерпаем: сколь бы семантически «богатым», даже изощренным оно ни было, оно не обеспечивает искомой индивидом или его биографом «полноты», поскольку трансцендентальность не поддается счету и не истощается перечислением. В этом смысле личность или индивидуальность — это одна из ключевых апорий европейской культуры, ее символическая «клетка» или матрица. Под подобным углом зрения приводившиеся слова Тацита можно прочесть в ином, уже не моралистическом плане. Напомню их, несколько удлинив цитату: «Как лица живых людей, так и воспроизведения этих лиц хрупки и преходящи, тогда как облик души вечен; сохранить и выразить его нельзя в другом веществе и средствами другого искусства, чем свойственными его природе, и единственный способ достигнуть этого — воссоздать в себе те же нравы».

Возможно, этим в какой-то мере объясняется факт, вызывающий вопрос у некоторых аналитиков биографического жанра: авторы известных, по всем меркам и общему признанию удавшихся биографий практически не бывают в новое время крупными, самостоятельными учеными или писателями. Последние, как можно предположить, реализуют собственную субъективность, понимая надличный универсализм принципа, но и неповторимость этой культурной формы, и на собственном опыте исходя из невоспроизводимости «чужого» смысла.

Изложение индивидуальности (индивид как биография) при таком понимании невозможно — и не нужно. Если в качестве модели такого понимания брать литературу, то текст в его фиктивной модальности фикциональными же средствами упорядочивается здесь вокруг «следов» субъективности (того или иного нарушения нормативных ожиданий воспринимающего, разрывов или темнот интерпретации). Эти образы «я» — многозеркаль-

ные, негативные, пародические и др. — остаются самой общей структурой смыслового синтеза, контуром семантической наводки, условием проективной идентификации читателя, конструкцией, обеспечивающей переход, индукцию смысла, воспроизводя саму ситуацию смыслопорождения. В конце концов, таким символическим преобразователем становится, например, собственное имя, не имеющее, понятно, предметного значения. Так, Уитмен в одном из эссе Борхеса о нем «соприкасается с каждым будущим читателем /.../ как бы встает на его место и от его имени обращается к собеседнику, Уитмену /.../: "Что ты слышишь, Уолт Уитмен"»<sup>15</sup>. Фикциональный характер и самореферирующуюся, рефлексивную структуру подобного образования Борхес подчеркивает в заметке о Шоу на примере гераклитовой формулы об универсальной текучести мира (т.е. его неисчерпаемости в нормативном аспекте, неуловимости ни для какого, сколь угодно пространного нормативного перечня). Формулу эту, напоминает Борхес, нельзя получить бессубъектным, механическим перебором возможностей «самого языка»: даже если бы это было возможно, полученная подобным образом формула «не имеет ни ценности, ни смысла /.../ ее нужно связать с Гераклитом, с опытом Гераклита, пусть даже "Гераклит" — всего лишь *воображаемый субъект данного опыта*»<sup>16</sup>.

Открытая интерпретация личности (ее знак, если брать только литературную культуру, — это, скажем, включение фигуры или даже имени автора в его текст) сопровождается, среди прочего, появлением жанра апокрифической — пародийной или стилизованной — биографии. Собственно, самопародией и самокритикой, культурной провокацией и демонстрацией конвенциональности нормативных определений и клише становится здесь сама литература в ее претензиях на тотальный охват и безусловное учительство. В качестве примера приведу книгу (1978) многим обязанного Борхесу живущего в Мексике гватемальца Аугусто Монтерросо «Дальнейшее — молчанье (Жизнь и творчество Эдуарда Торреса)». Ее фиктивный протагонист (мнимые труды которого Монтерросо публиковал прежде как «подлинные» в прессе, в изданиях университета Мехико, где преподает) пародирует самого автора и вместе с тем — клишированного культурного героя нации, «гения в веках». Биография и мемуары о нем (снабженные указателями использованных источников, упоминаемых имен и принятых сокращений) построены на «подлинных» писательских фигурах и

<sup>15</sup> Борхес Х.Л. Сочинения. Т.1. Рига, 1994. С.93.

<sup>16</sup> Там же. Т.2. С.128 (выделено мною. — Б.Д.).

текстах, включая современников и друзей «автора», который и сам, в свою очередь, выступает одним из действующих лиц книги — предметом рецензии биографируемого «профессора», которая приводится как образчик его (?) научного наследия. Такую же мистификацию и центон представляют и «Автобиографические заметки» самого Борхеса: они смонтированы из его разрозненных, различных по времени написания, модальностям оценки и проч. текстов его учеником и соавтором, причем смонтированы на *английском* языке и условно подписаны Борхесом-персонажем как своеобразный, но привычный для него эксперимент культурного самоотчуждения от нормативной репутации в духе известного текста «Борхес и я».

Соответственно, при таком подходе к культуре в ней укореняется практика гетеронимии — ср. множество авторских «я» со своими «характерами», «жизнью» и «творчеством» у Кьеркегора и А.Мачадо, Пессоа и Гари. Еще одна граница и испытание возможностей нормативно-биографического подхода — «писатель без биографии» или даже «без лица» (скажем, Сьоран или Бланшо; последний не только не фотографируется, но и не дает интервью и вообще принципиально не оставляет никаких биографических следов своего персонального присутствия). Упразднить все подобное множество субъективных проекций и условных отождествлений автора в линейной биографии его эмпирической личности, какой скрупулезной и дробной, цитатной и документированной ее ни делай, недопустимо. Тем более, что к искомой цели это так и не приводит, означая, скорее, двойную фальсификацию субъективности — и самого биографа, и биографируемого им. Здесь вступает в силу идеология (или мифология) биографии, на некоторых опорных точках которой я в заключение и остановлюсь.

## МИФОЛОГИЯ БИОГРАФИИ И СТРАТЕГИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО ДОЗНАНИЯ

На место значимых для автора моментов и форм самопонимания биограф в подобных затруднительных случаях готов подставить собственные, принятые в его культуре и чаще всего — вполне трафаретные, анонимные, освоенные им в процессе обучения и через жизненный опыт («здравый смысл») нормы интерпретации. При этом сам познавательный «сбой», коллапс истолкования предметом анализа в большинстве рутинных случаев так и не становится. Включается, как можно предположить, идеологическая защита. В соответствии с догмой биографического ме-

тогда интерпретатор, с одной стороны, видит в самом жанре биографии гарантию «личностного» подхода к объекту, уже одной принадлежностью к этому жанру — и свое «индивидуальное» достижение; с другой же, он чаще всего исходит из веры (тоже вполне идеологической и нормативно заданной), что знает о биографируемом авторе больше, чем тот знал о себе сам.

Однако «знание» биографа составляют значимые для него по стандартам *его* культуры обстоятельства, из которых по правилам *его* метода выстраивается удовлетворяющая его и его референтную группу фактичность обстоятельств *героя*. По структуре подобная процедура близка к коррекции памяти, уже упоминавшейся реставрации пропущенных звеньев прошлого — скажем, вычеркнутых из истории лиц или их событий. Но поставить себя на место действующего лица, заменив его, невозможно: «между» ним и истолкователем всегда остается — неотрефлексированная интрепретатором или кем-то другим в его культуре — конструкция понимания. Говоря словами любимой борхесовской цитаты, сделать небывшее бывшим так же нереально, как бывшее — небывшим. Тут нужна принципиально более сложная процедура и более сложные представления об истории, чем «исчерпывающее» собрание или нормативное «восстановление» фактов. Они становятся новым прошлым уже для будущего, для которого того *другого* прошедшего, которое и стремился воссоздать интерпретатор, в *его* проблематической структуре уже нет.

Модель биографии нового времени, понятно, задает автобиография. Но именно на этой последней ясней всего проступают редко опознаваемые и еще реже признаваемые апории биографизма. Нельзя назвать себя не своим «я» (его единство, связность, однозначность и правомерность на всех этапах жизни и т.д. — для субъекта автобиографии чаще всего как раз под вопросом). Нельзя — даже лингвистически — присвоить чужую самость, не делая ее носителя и своего героя условностью, не порождая фикциональной конструкции и не становясь ее персонажем самому. Иначе говоря, простое повторение действия как бы превращает мир в фикцию. Культурная непроясненность проблемы самотождественности (а она, как и контроль за уровнем ее понимания, может быть лишь внутренними болевыми точками и рабочими задачами данной культуры, ни экспорту, ни импорту они не подлежат!), отказ от внутрикультурной рационализации связанных с ней принципиальных обстоятельств, собственно, и порождает большинство иллюзий и мнимостей, связанных с расширением биографического подхода к обществу, истории, культуре за его функциональные — нормативные — пределы.

Биография как повествовательная форма складывалась под воздействием рутинизируемой романтической идеологии «гения» (ее популярным воплощением был и наполеоновский миф, который упоминал Мандельштам). Реликты этой идеологии задали своего рода алфавит мотивов и фигур для становящегося массовым «реалистического» романа, стали для него нормой реальности, предопределили ее смысловую разметку. Отсюда — типовая рубрикация этапов жизненного цикла, их оценочная структура и последовательность, повышенная конструктивная нагруженность его начала и конца. (Ср. символику всегда наиболее подробно воссоздаваемых биографом детства и дома, «первого» воспоминания и «последних» слов, притом, что вся, пользуясь выражением Баята, «скандальная» проблематика конечности и открытости существования как основы ценностного самоконституирования личности из романизированной биографии вытеснена).

Предзаданная и оцененная связность излагаемого жизненного целого удостоверяется, кроме перечисленного, особыми знаками и фигурами предвосхищения, которые превращают повествование о жизни в исполняющееся пророчество. Это могут быть еще в детстве случайно встреченные люди, угадавшие или предсказавшие будущее героя, или шифрованные тексты в тексте, вновь и вновь возникающие символы и другие знаки повторяемости, а потому — связности и осмысленности происходящего. Биографии как примеру нужна обобщенность, аллегоричность, неперменная осмысленность любой детали (а она обретает переносный смысл и делается преднамеренной, уже вводясь в текст и становясь этим воспроизводимой). Биографии как разгадке требуется «второй план» и «тайный смысл»: исходная замкнутость началом и концом задает жизни структуру предначертания. Биограф сам задает себе загадки, сам их — собственные — и решает. Он задним числом, из будущего, вводит в биографию героя отсутствующего в ней себя. Дотягиваясь до нормативного представления о себе, своей роли, биограф включает себя в историю под видом или псевдонимом действующих в этой беллетризованной истории лиц. Сам он, именно благодаря своему отсутствию, как *автор*, знает *все*. Но он, увы, не автор, а потому ретроспективно — единственно убедительным для себя образом, обращением к уже сбывшемуся, свершенному другим — удостоверяет свое нынешнее знание через редукцию его к чужому прошлому.

Но отсюда парадоксальным образом следует бесконечность, безвыходность такого фиктивного и замкнутого целого, неутолимость биографа с его непрерывными итерациями в поисках нормативного предела, в томлении по «реальности». Это — одна

из неотъемлемых черт письменного текста. У него есть и другая сторона. Сделать его смысл фактом собственного сознания можно только символически. Напомню мысль Мераба Мамардашвили: «Мы пытаемся себе представить бывшее, думая, что совершаем акт понимания, или пытаемся понять его представлением-образом, но в действительности оно должно умирать, чтобы нисходил духовный смысл, который не только "веет, где хочет", но и требует от нас, чтобы мы забыли всякий "образ" и всякое "лицо"»<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М., 1993. С.103.

А.Л.Валевский

## БИОГРАФИКА КАК ДИСЦИПЛИНА ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Несмотря на то, что биографический жанр пользуется неизменной популярностью у читателя, тем не менее он остается незаслуженно обойденным в исследовательской литературе: отсутствуют разработки, где с позиций современных достижений философии и методологии гуманитарного знания освещались бы особенности биографического повествования (критерии достоверности, специфика биографической традиции письма, междисциплинарный характер биографического знания).

Биография как текстуальное изображение жизненного пути человека на историческом отрезке времени существует так же давно, как и письменная культура. В известной мере даже мифологические предания и эпос можно трактовать как своеобразные повествования об истории жизни героев и богов. К биографической традиции принадлежат античное жизнеописание и средневековое житие, новоевропейская биография и психоаналитические экскурсы, предпринимаемые для объяснения поведения исторических лиц; к палитре биографического письма принадлежит и жанр исторического романа; наконец, многие социальные и гуманитарные науки используют эвристический потенциал этой традиции, применяя т.н. биографический подход в социологии, истории, политологии, психологии.

Эти соображения побуждают нас рассматривать биографическую традицию письма как особого типа гуманитарное знание, обладающее собственными критериями достоверности, «особой рациональностью» аргументации, выдвигающее определенные притязания и претендующее на особое место в цикле гуманитарных дисциплин. Закономерности различных биографических практик письма позволяют здесь рассчитывать на реконструкцию автономных *теории* и *методологии*.

Понятие *биографики* как дисциплины гуманитарного цикла служит для обозначения теоретических и методологических особенностей практики биографического письма. Биографика (или на-



ука о биографии) включает в себя, по крайней мере, следующие важные разделы: *онтология биографического знания* (исследование феноменологической структуры знания об индивидуальном, указание возможностей и компетенции этого знания); исследование основных понятий и процедур *биографической реконструкции* (т.е. путей и средств получения достоверного знания); рассмотрение особенностей герменевтических ситуаций, составляющих *биографический опыт*.

### Онтология биографического знания

Биографическое письмо существует отнюдь не как *causa sui*, но как ответ на определенный метафизический вопрос, укорененный в ментальном строе культурной традиции. Если на фундаментальный философский вопрос «ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК?» отвечают философия и наука, то биографии надлежит ответить на вопрос: «ЧТО ЕСТЬ ИМЕННО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?». Границы и смысл указанного вопроса обозначают сферу компетенции биографического письма в пространстве культуры.

Проблема теории биографии возникает в особых мыслительных пространствах, в особой культурной и интеллектуальной атмосфере. Вне определения *индивидуального* биография теряет свой смысл.

*Биографическое письмо есть форма ментальной институализации установок европейского индивидуализма.*

Европейский индивидуализм — это противоречивое и неоднозначное явление культурной эволюции. Его характерной особенностью является постоянное увеличение новых измерений, оттенков, уточнений, открытий в области прав и обязанностей индивидуальности, переоценка характера ее притязаний, степени и условий ее свободы. «Западная культурная идеология нуждается в индивидуализме, как в своем базисе, она нуждается в том, чтобы концепция этого индивидуализма постоянно изменялась. Таким образом, реконструкция индивидуализма — это непрерывный процесс», — пишет американский исследователь Дж.Мейер<sup>1</sup>.

Без какого-либо преувеличения можно сказать, что судьба биографии и как литературного жанра, и как вида исторического исследования целиком зависит от ответа на вопросы, что представляет собой феномен индивидуального и с помощью каких

---

<sup>1</sup> Meyer J.W. Myths of Socialization and of Personality // Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought. Stanford, 1986. P.220.

средств этот феномен возможно понять и соответствующим образом описать. Для этого необходимо обратиться к таким понятиям, как «классическая» и «неклассическая» рациональность, и посмотреть, как в этих традициях представлен феномен индивидуальности человека.

«В классическом своем завершении философия и наука (если датировать это завершение концом XIX — началом XX вв.) задали вполне определенную онтологию ума, наблюдающего объективные физические явления (физические тела), знание о которых извлекается и строится в науке. Собственно говоря, эта онтология и есть "рациональность" или "идеал рациональности". Неклассическая же проблема онтологии ума (или, соответственно, рациональности) уходит своими корнями в те изменения в ней, какие возникают в XX в. — в связи с задачей введения сознательных и жизненных явлений в научную картину мира», — пишет М.К.Мамардашвили<sup>2</sup>.

На слова, свидетельствующие о том, что становление неклассической рациональности связано с «задачей введения сознательных и жизненных явлений в научную картину мира», необходимо обратить особое внимание.

В классической традиции европейской философии и науки XIX—XX вв. задача познания человека понималась как необходимость формально-логического сведения *единичного* (индивидуального) ко *всеобщему* (универсальным законам развития общества и природы). Для классики феномен личностной индивидуальности не существовал как нечто самоценное.

Драматичность познавательной ситуации проявлялась здесь в том, что ряд феноменов человеческого существования вообще выводился за скобки научного познания. Чаше всего это были те события и ситуации, которые невозможно объяснить с помощью процедур обобщения, «вырвав» их из контекста неповторимой ситуации: вдохновение, любовь, страсть, вера и т.д. Подобного рода *экзистенциальные* состояния обозначались как *нерациональные* и *иррациональные* и проходили по ведомствам искусства, религии, обыденного сознания, с обязательными эпитетами *не* или *вне* научных.

Феномен индивидуального трактовался, таким образом, как иллюстрация ко всеобщим закономерностям развития общества и природы. Фактически индивидуальное находилось на периферии интересов научного познания. М.Вебер дает следующую характе-

---

<sup>2</sup> Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984. С.3.

ристику этой познавательной ситуации: «Та часть индивидуальной действительности, которая остается непонятой после вычленения "закономерного", рассматривается либо как не подвергнутый научному анализу остаток, который впоследствии в ходе усовершенствования системы "законов" войдет в нее, либо это просто игнорируют как нечто "случайное" и именно поэтому несущественное для науки, поскольку оно не допускает "понимания с помощью законов", следовательно, не относится к рассматриваемому "типу" явлений и может быть лишь объектом "праздного любопытства". Только "закономерное" может быть существенным в явлениях, "индивидуальное" же может быть принято во внимание только в качестве иллюстрации к закону. Интерес к индивидуальному явлению как таковому "научным" интересом не считался»<sup>3</sup>.

При каких условиях возможна «встреча» феномена индивидуального с возможностями рационального знания? Или, иными словами, при каких условиях возможна наука об индивидуальном — наука биографического письма? Здесь перед нами встает вопрос об онтологии индивидуального.

Этот вопрос возможен как *трансцендентальный*, т.е. когда мы рассматриваем условия возможности представления индивидуального в языке культуры. Если прибегнуть к помощи образов, то классическая традиция связывается с *цепью* умозаключений и доказательств, всегда последовательных и взаимосвязанных, где первые звенья являются наиболее всеобщими и образуют своеобразный центр методологического опыта; в то время как неклассическая онтология связывается с образом *горизонта*. Если в первом случае базисом исследования служат предельно всеобщие, чистые понятия и ясные принципы (например, понятия материи, времени, пространства), то во втором допускается наличие структур предпонимания, подразумеваемых смыслов, реальностей, которые невозможно изъять из контекста неповторимых ситуаций.

Интеллектуальная традиция, стремящаяся расчленить индивидуальное на первичное и вторичное, подвести его под всеобщие законы развития общества и сознания, четко и недвусмысленно обозначить причину и следствие, неблагоприятна для биографии. Феномен индивидуальности невозможно интерпретировать через призму традиционных оппозиций «объективное—субъективное», «всеобщее—единичное», «причина—следствие» и т.д. Прежде всего потому, что каждый из элементов, состав-

<sup>3</sup> Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С.370, 385.

ляющих индивидуальность, самооценен. Он не выводится из предшествующих или рядоположенных.

Установка неклассической рациональности ставит задачу конструирования *структур феноменологических очевидностей*, которые обеспечивают возможность осмыслить индивидуальное. Так, современный философ и методолог науки З.Агаси в подобную структуру очевидностей вводит феномены свободы, ответственности, ценности, интенциональности, которые, как он пишет, «не могут логически выводиться из наблюдаемых фактов. Они могут лишь приниматься как данное в контексте личного опыта, либо концептуализироваться в рефлексии, пытающейся придать значение этой переживаемой очевидности и распознать условия, при которых это возможно»<sup>4</sup>.

Если для классической науки важнейшей характеристикой предмета познания была его наблюдаемость или данность, то современная гуманитарная наука должна *реконструировать* собственный предмет, он не дается ей как результат наблюдения. Как пишет французский историк Ф.Бродель, «исследователь может проникнуть в глубинные элементы существующих социальных структур только при помощи процесса реконструкции и объяснения, отказываясь понимать реальность таковой, каковой она представляется»<sup>5</sup>.

Познание индивидуального подразумевает *диалогическое* отношение к нему. Как пишет Ю.Хабермас, «индивидуальная личность проецирует себя в рамках intersubъективного горизонта жизненного мира в качестве кого-то, кто ручается за более или менее четко намеченную непрерывность более или менее сознательно освоенной истории жизни». При этом он делает существенное дополнение: «Структура, за которую кто-то ручается своим притязанием на индивидуальность, отнюдь не заключает в себе наиболее сокровенной части личности. Никакой человек не может распоряжаться своей идентичностью так, как если бы она была его собственностью»<sup>6</sup>.

Итак, биограф не может выступать в роли естествоиспытателя, бесстрастно препарирующего с помощью формально-логического инструментария предмет познания. Биограф — не анатом чужой жизни. Он на каждом этапе своего пути сталкивается с

---

<sup>4</sup> Агаси З. Человек как предмет философии // Вопросы философии 1989 №2 С 33

<sup>5</sup> Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М., 1977. С. 131

<sup>6</sup> Хабермас Ю. Понятие индивидуального // Вопросы философии 1989 №2 С 38

сопротивлением предмета (жизни своего персонажа) стремлению познать его. Ситуация, в которой находится биограф, более сложна и многомерна: познание жизни требует привлечения структур предпонимания, учета непоименованных ценностно-смысловых рядов, готовности биографа войти в *мир другого человека*, понять особую рациональность этого мира. Уникальность познавательной ситуации биографа заключается также в том, что в его лице выступает история, та самая инстанция будущего, к которой апеллировал сам персонаж. Последнее обстоятельство налагает определенные этические ограничения. Поскольку биограф вовлечен в процесс реконструкции жизни, ему необходимо соотносить жизненную драму персонажа с перспективами исторического и культурного развития. Высказывание, гласящее, что всякая биография есть одновременно и автобиография эпохи, в которую она написана, указывает на существенную особенность биографического труда — биограф, стремясь ответить исчерпывающим образом на вопрос «КТО ОН?» (кем в действительности был его персонаж, что собой представляло время, в котором он жил, насколько оправданны были притязания этого времени), с необходимостью приходит к вопросу «КТО Я?» (насколько современность оправдывает ожидания прошлого, насколько современный биографу человек соравен его персонажу и т.д.)

*Понятие онтологии биографического знания определяет набор трансцендентальных условий, при которых реализуются возможности (познавательные, герменевтические) биографического письма; это понятие включает в себя фундаментальные допущения, которые обеспечивают существование биографического письма как особого типа гуманитарного знания, устремленно на реконструкцию истории личностной индивидуальности.*

*Текстуальность* — первое в нашем анализе фундаментальное условие биографического письма.

Каков должен быть знак между *реальной жизнью* и тем, что в нашем представлении обозначается «биографией»? Есть все основания утверждать, что реальная человеческая жизнь и то, что принято считать «биографией», далеко не одно и то же. В тот момент, когда исследовательское внимание устремляется к индивидуальности, то оно устремляется по крайней мере в тех границах знания, какие обозначают, что есть «биография». В собственном смысле слова «биографией» можно обозначить лишь те жизненные реальности, которые получили соответствующее *текстуальное выражение*.

Реальная человеческая жизнь многомерна и крайне противоречива. Человек переживает неповторимым образом каждый ее

момент, но это остается достоянием лишь его самого. Для себя человек в состоянии обозначать различные этапы собственной жизни, подразумевая при этом какие-то существенные вехи жизненного пути. Это составляет его внутренний душевный мир или, как еще принято говорить, «тайну» души. Совокупность этих уникальных и неповторимых реальностей (событий, переживаний, размышлений, психологических состояний и т.д.) человек именуется *собственной биографией*, и ему совсем не обязательно делать интимный внутренний мир достоянием внимания публики.

Перед нами стоит задача определить второе содержание слова «биография», какое возникает, когда другой человек (биограф) берет на себя подытожить опыт чужой жизни. Здесь биограф сталкивается с наблюдением, показывающим, что *не каждая жизнь и не все в жизни может стать предметом биографического повествования*.

Биографическая традиция имеет дело не просто с фактом неповторимой уникальности исторических персонажей, но с особого рода индивидуальностью, признанной таковой *историческим и культурным развитием*. А это значит, что историческое лицо определенным образом (духовным творчеством, социальным действием и т.д.) смогло запечатлеть и утвердить себя как индивидуальность, как некоторую пространственно-временную и ценностно-смысловую целостность в универсуме культуры. Как пишет Ю.М.Лотман, «далеко не каждый реально живущий в данном обществе человек имеет право на биографию. Каждый тип культуры вырабатывает свои модели "людей без биографии" и "людей с биографиями" /.../ [ибо] каждая культура создает в своей идеальной модели тип человека, чье поведение полностью предопределено системой культурных кодов, и человека, обладающего определенной свободой выбора *своей* модели поведения»<sup>7</sup>.

Биографическая книга не может быть синонимом фотографии жизни: целый ряд жизненных событий и фактов безвозвратно исчезают из памяти; подчас невозможно воспроизвести характер переживаний; внутренние состояния человека он сам нередко интерпретирует с большим трудом. Биограф в состоянии сделать предметом биографического повествования лишь те жизненные реалии, которые определенным образом (пусть даже косвенно) обозначены, поименованы или засвидетельствованы. Предметом биографической книги может стать лишь то, что потенциальный персонаж сумел «рассказать» о себе, используя возможности со-

---

<sup>7</sup> Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып.683. Тарту, 1986. С.106.

временного ему языка культуры. Тот факт, что жизненный путь исторического персонажа стал достоянием внимания биографа, непосредственным образом свидетельствует в пользу того, что этот *рассказ* оказался *услышанным в пространстве культуры* и уже со стороны биографа возникла потребность пересказать его содержание *потенциальному читателю*. Как пишет американский теоретик Кендалл, «биография пытается воспроизвести в словах человеческую жизнь из всего того, что известно об этой жизни, из тех таинственных следов, какие оставлены жизнью на бумаге»<sup>8</sup>.

Жизнь должна прежде обрести соответствующую представленность в форме *текста* (исторического свидетельства, воспоминаний, документа, архивных материалов и т.д.), дабы впоследствии стать предметом внимания биографа. Вспомним парадоксальный вопрос М.К.Мамардашвили («Картезианские размышления»): где и как существовала древнегреческая мысль, когда все представители античной философии уже умерли, а адресат этой мысли еще не появился в европейской культуре? Казалось бы, ответ налицо: эта мысль существовала в памятниках письменности этой эпохи. Но в этом вопросе указывается на более сложные взаимоотношения в истории культуры — необходимо было *надлежащим образом* прочитать эти тексты, дабы воссоздать пафос древнегреческого мышления. Аналогичная проблема стоит и перед биографом — ему необходимо *надлежащим образом* прочитать свидетельства о жизни своего персонажа, дабы понять смысл его индивидуальности.

Но что значит «надлежащим образом» прочитать текст? Это фундаментальный вопрос биографики.

*Идентичность* — следующее гуманитарное соответствие онтологии биографического знания. Под идентификацией личности понимается процесс овладения ею определенными структурами значений, какие присущи социальным системам и символическим взаимосвязям (интеракциям), являющимся общепризнанными в данной историко-культурной ситуации. Становление индивидуальной личности происходит посредством «распредмечивания» (интериоризации) институализированных структур значений, таких, как язык, процедуры интерпретации вещей и знаков, правила поведения, чувствования, схемы рассуждений, социально-классовые перспективы, системы ролей и т.д. Идентичность есть «ярлыки, имена, категории, посредством которых люди обращаются друг к другу», структура «общепринятых спо-

---

<sup>8</sup> Kendall P.M. The Art of Biography. N.Y., 1965. P.28.

собов говорения, мышления, чувствования». «Мы понимаем идентичность, — пишут исследователи, — как социальную реальность, а точнее — как социальную реальность, постоянно воспроизводимую в и посредством опыта взаимосвязи (интеракции) индивидов»<sup>9</sup>. И еще одно важное для нашей темы определение: «Фундаментальная парадигма, возникающая при концептуализации идентичности, такова: идентичность есть социально сконструированная дефиниция индивидуального»<sup>10</sup>.

Для самой личности ее идентичность представляется как ответ на вопрос «кто я?» Пространственно-временные и ценностно-смысловые именованья и обозначения, которые связываются с этим ответом, и есть собственно идентичность данной личности. Идентичность — конструкция нашего самосознания, которая обязательно должна определенным образом быть поименованной, обозначенной и обладать для самого человека безусловной ценностью.

Идентичность обладает процессуальной природой, она постоянно изменяется и конструируется заново в зависимости от исторических, социальных и жизненных обстоятельств, что позволяет личности предпосылать вопросы окружающей социальной действительности, отрицать и сомневаться в рациональности этой действительности, выдвигать мировоззренческие альтернативы. Личность может переживать состояния частичной или полной утери идентичности или — по определению психолога Э.Эриксона — «кризис идентичности», который наступает в результате социальных или жизненных катастроф, когда привычные содержания в ответе на вопрос «кто я?» разрушаются.

Для биографа индивидуальность личности предстает в форме текста, но полностью никогда к нему не сводится. В силу того, что подобного рода представленность таит в себе определенные умолчания, непрямые цитации, неумышленные или сознательные фальсификации, принятые в данной историко-культурной ситуации системы семиотических условностей и многое другое, т.е. реалии, требующие от исследования *реидентификации*.

Реконструируя «жизненный проект» своего персонажа, биограф создает своеобразный культурный тип идентичности — «идентичность после смерти» (post-mortem identity). В упомянутой выше монографии дается следующее определение этого понятия: «идентичность после смерти» (или PMI) — это «идентичность или

<sup>9</sup> Weigert A.S., Teitge J.S., Teitge D.W. Society and Identity: Toward a sociological psychology. Cambridge, 1968. P.30.

<sup>10</sup> Ibid. P.34.



серия идентичностей, реконструируемых после смерти организма»; «PMI объяснима как реконструкционный проект, посредством которого новая многозначная идентичность связывается с памятью о человеке, который уже не участвует в процессе создания своей идентичности (identity-construction process)»; «По своему статусу реконструкция PMI не является копией, тиражируемой с оригинала, эта реконструкция есть процесс переоформления и переориентации идентичности, осуществляемый уже после смерти человека»<sup>11</sup>.

Биография как особый тип гуманитарного знания зиждется на принципиальном для культуры допущении, что жизнь человека не заканчивается с его физической смертью и что реальность жизни не локализуется исключительно в своем, так сказать, телесном облике. Биографическое письмо, начиная от своих начальных синкретических форм текстуальной фиксации жизни (предание, житие) до современных аналитических изысканий, — это свидетельство парадигмального значения для нашего сознания символического (текстуального) бессмертия личностной индивидуальности.

*Предпосылание вопроса* — следующий элемент онтологии биографического знания.

Биографический труд есть постоянное предпосылание вопросов, обращенных к интерпретации архивных материалов, документов, свидетельств. Биографу приходится сталкиваться с тем, что многие документы, свидетельствующие о фактах и событиях, либо утеряны, либо находятся вне его досягаемости, не говоря уже о том, что нередко приходится иметь дело с противоположными описаниями одного и того же события. Между текстом свидетельства, которое изучает биограф, и его автором существует определенная норма письма, устоявшиеся интересубъективные структуры именований значений и смыслов, определенные лингвистические конвенции письма. Биографу необходимо иметь определенные стратегии вопросных действий, которые обеспечивали бы достоверность получаемого им знания.

Первый уровень вопросной стратегии направлен на методику интерпретации эмпирического материала. «Биографу в том случае будут открыты верные пути, если им будут заданы верные вопросы», — пишет американский теоретик Л.Эдель<sup>12</sup>. Здесь роль вопроса сводится к составлению *правил интерпретации документов*:

<sup>11</sup> Weigert A.S., Teitge J.S., Teitge D.W. Society and Identity: Toward a sociological psychology. Cambridge, 1968. P.117, 112.

<sup>12</sup> Edel L. The Figure Under the Carpet // Telling Lives: Biographer's Art. Washington, 1979. P.25; см. также: Edel L. Writing Lives: Principal Biographica. N.Y.; L., 1984. P.161.

1) необходимо отличать описания событий в документе от оценки; 2) необходимо учитывать степень и характер авторской заинтересованности в момент составления документа; 3) необходимо принимать во внимание характер той информации, которой располагал автор свидетельства и какая повлияла на его выводы; 4) необходимо проецировать облик потенциальной аудитории, которой адресовал документ его автор.

Второй уровень вопросной стратегии предназначен для реконструкции *смысла* и *значения* сказанного в документе. Для того, чтобы понять смысл сказанного в историческом документе, необходимо выйти за пределы непосредственно сообщаемого в нем. Это заставляет биографа воссоздать весь горизонт историко-культурных реалий, открытых автору интерпретируемого документа. Р.Дж.Коллингвуд утверждает, что «мы никогда не сможем понять смысл сказанного человеком с помощью простого изучения устных или письменных высказываний, им сделанных, даже если он писал и говорил, полностью владея языком и с совершенно честными намерениями. Чтобы найти этот смысл, мы должны также знать, каков был вопрос (возникающий в его собственном сознании и, по его предположению, в нашем), на который написанное или сказанное им должно послужить ответом»<sup>13</sup>. Биограф может достигнуть достоверного знания событийно-фактологической стороны, но оно не даст еще понимания жизни и индивидуальности исторического лица, если не будут реконструированы смысловые и ценностные перспективы.

И, наконец, третий уровень вопросной стратегии обращен к экзистенциальным темам.

Биографу всегда приходится отвечать на метафизические (философские) вопросы за своего персонажа. Парадоксальность этого вопрошания заключается в том, что здесь нет однозначно проговариваемого ответа. Здесь вопрошает уже не просто исследователь, а биограф как личность, переживающая драматизм современной исторической ситуации.

*Биограф — это профессия и призвание.* Биографическая книга как результат авторского призвания никогда не пишется на пустом месте, ей всегда сопутствуют глубинные экзистенциальные потрясения, поиски мировоззренческих альтернатив и ответов на вопросы исторической ситуации. Драматичность биографического вопрошания заключается в том, что здесь предполагается дать ответы на вопросы, которые в принципе находятся вне компетенции т.н. «окончательного ответа». Ответить на вопрос, в чем смысл и

---

<sup>13</sup> Коллингвуд Р.Дж. Идея истории; Автобиография. М., 1980. С.339.

ценность жизни исторического лица, — все равно что указать смысл и ценность современности, что превышает возможности биографа. В этой связи уместно вспомнить слова И.Канта, предпосланные им «Критике чистого разума»: «На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба, его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой, но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможность человеческого разума»<sup>14</sup>.

*Игра* — заключительное в нашем анализе фундаментальное гуманитарное соответствие онтологии биографического знания.

Игра — путеводная нить онтологической экспликации феномена индивидуального. «Игра есть фундаментальная особенность нашего существования, которую не может обойти вниманием никакая антропология /.../ игра есть онтологическая структура человека и путь человеческой онтологии. Игра объемлет все /.../ и представляет на учиненной ею идеальной сцене — в себе самой — все другие феномены бытия, да вдобавок самое себя»<sup>15</sup>.

Игра — это мир, где существует индивидуальность. Для биографа индивидуальность исторического лица предстает как определенная *роль*, которую исполняет персонаж. Индивидуальность, прежде всего творческая, являющаяся традиционным предметом интереса биографов, есть репертуар исполняемых ею ролей, набор масок и зеркал, с помощью которых она сохраняет свою потаенность и многозначительность. «Чем более цивилизованы люди, — писал Кант, — тем более они актеры»<sup>16</sup>.

Игра обеспечивает индивидуальности возможность сохранять свой облик в различных исторических и культурных контекстах. Игра не есть нечто стоящее *вне* или *над* индивидуальным, как раз наоборот, *индивидуальное рождается и существует исключительно в масках игрового мира культуры*. Жизненный путь личности — это обретение и сбрасывание ролевых функций, постоянная смена декораций и правил игры. Не следует забывать, что новоевропейское слово «личность» восходит к обозначению театральной маски древнегреческого театра — «persona».

Игровой компонент биографического знания имеет методологическое значение. Биографическая реконструкция в определенном значении есть игровое действие, ибо это действие *интерпретации*.

<sup>14</sup> Кант И. Сочинения. Т.3. М., 1966. С.73.

<sup>15</sup> Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С.369, 375, 392.

<sup>16</sup> Кант И. Указ. изд. Т.6. М., 1966. С.384.

Благодаря игровой природе, «интерпретация может в определенном смысле считаться посттворчеством, какое, однако, не следует процессуально за актом творчества, но относится к облику сотворенного произведения и имеет целью воплотить его с индивидуальным осмыслением», — пишет Гадамер<sup>17</sup>.

Утверждение, что индивидуальность есть игра, указывает на то, что индивидуальность предстает как значимое целое, которое может быть в биографическом тексте представлено *повторно*, модель которого может быть создана не единожды, а многократно, и эта многократность доступна пониманию, объяснению и изображению. Игровая природа индивидуального обеспечивает ему через биографическую интерпретацию радикальный прирост бытия в пространстве культуры. Этот прирост осуществляется за счет того, что биограф, повествуя о своем персонаже, помещает его в инокультурные контексты, тем самым расширяет горизонты его существования.

Биографическая интерпретация является игровым действием еще и потому, что биограф никогда не пересказывает содержание исторического свидетельства. Сколько бы биограф на словах ни доказывал своей приверженности к строгой объективности, в действительности это условие никогда не выполнимо. Потаен и сокрыт текст свидетельства, но также верным оказывается и другое — потаен и сокрыт текст той биографической книги, которую держит в руках читатель. Биограф всегда что-то скрывает от читателя: по этическим соображениям, по незнанию реального положения вещей (например, из-за невозможности ознакомиться с архивными документами), сознательно приукрашивая своего персонажа из-за любви к нему, либо, напротив, принижая его роль. Биограф, наконец, может что-то скрывать просто потому, что о чем-то не принято говорить вслух. Автор книги — такой же участник игрового мира биографического письма, как и сам персонаж. Нам кажется, что мы «читаем» жизнь Бальзака, Наполеона, Карамзина, на самом деле мы читаем Цвейга, Манфреда и Лотмана. Как блестяще сказал американский теоретик Кендалл: «Высшее биографическое искусство проявляется в сокрытии самого биографа»<sup>18</sup>.

*Биографическое письмо — это своеобразный игровой мир.* Здесь есть свое игровое сообщество, игровое общение, пространство и время игры, наконец, свой бытийный строй — правила иг-

<sup>17</sup> Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1989. С.166.

<sup>18</sup> Kendall P.M. Id. P.12.

ры. Лицедейство биографии есть великое достоинство нашего исторического сознания, зажатого в тисках данного и объективного, возможность уйти от примитивного пересказа фактов и событий. Парадигма сцены, на которой разыгрываются трагедии и комедии истории минувшего, создает увлекательное и незабываемое впечатление от чтения биографической книги.

### Биографическая реконструкция: основные процедуры и понятия

Биографическое письмо обладает прочно структурированной жанровой стратификацией.

Жанр *энциклопедической* биографии представлен различного рода справочниками, словарями, персональными энциклопедиями, хрониками<sup>19</sup>. Для него характерно скрупулезное изложение фактов жизни, подчас сводимое до послужного списка (*curriculum vitae*) в справочниках «Who is who».

*Исторический* (или научно-исторический) жанр представлен фундаментальными исследованиями, посвященными прежде всего политическим и государственным деятелям. Для этого жанра характерна ориентация на научность изложения, документальную подтвержденность выводов, строгость объяснения.

Жанр *портретной* биографии — это повествование об отдельных этапах и событиях жизни персонажа. Здесь автор не ставит перед собой цели создать целостную панораму жизни. Таковы различного рода биографические эссе, статьи, зарисовки, например, «Звездные часы человечества» С.Цвейга, очерки Горького о Чехове и Толстом и т.д. Портретная биография посвящена реконструкции какого-то определенного факта или периода жизни. Она допускает некий *домысел*, не противоречащий фактам, т.е. не превращающийся в художественный *вымысел*.

*Художественная* биография по своим жанровым особенностям погранична с художественной литературой. Автор художественной биографии считает себя в полной мере свободным от норм научной обязательности, позволяет себе широко использовать *домысел*, а подчас и *вымысел* в интерпретации событий и фактов. Для него прежде всего важна художественная достоверность образа.

<sup>19</sup> См.: Мейлах Б.С. Персональная энциклопедия // Вопросы литературы. 1982. №10. С.84-101; Мануйлов В.А. Персональная энциклопедия как тип издания // Книга: Исследования и материалы. Сб.11. М., 1965. С.263-269.

Особенность этого жанра красноречиво выразил Тынянов: «там, где кончается документ, я начинаю». А теоретическое кредо художественной биографии сформулировано Г.Винокуром: «Стилистические формы поэзии суть одновременно стилистические формы личной жизни»<sup>20</sup>.

*Двусмысленный характер современных определений биографии связан с вопросом «биография — это наука или искусство?».*

Приверженцами концепции *биографии как науки* являются прежде всего историки, в том числе историки науки, литературы, философии. Научная биография — «биография в смысле такого жизнеописания и жизнеобъяснения, которое соответствует принципам, методам и критериям научного исследования», — утверждает М.Г.Ярошевский<sup>21</sup>. Эта концепция характеризуется следующими требованиями к биографическому повествованию: *во-первых*, ориентацией на строгую объективность изложения и объяснения биографического материала; *во-вторых*, основное исследовательское усилие биографа направлено на процедуру обобщения, типизации персонажа. Для научной биографии непререкаемой аксиомой является «чистота» интерпретации, в тексте должны отсутствовать какие-либо оценочные суждения со стороны биографа<sup>22</sup>.

Теоретическая программа этого направления, насколько мне известно, впервые была сформулирована в начале XX в. Н.А.Рыбниковым: «Чем искуснее художник-биограф, чем ярче он как личность, тем менее пригодной является биография для научных целей», — писал он в своей книге «Биографии и их изучение»<sup>23</sup>.

Понимание *биографии как искусства* отстаивают литераторы и критики. Теоретическое кредо этой точки зрения сводится к следующим положениям: *во-первых*, это — свобода авторского изложения; *во-вторых* — биограф должен чувствовать себя сво-

<sup>20</sup> Винокур Г. Биография и культура. М., 1927. С.82-83.

<sup>21</sup> Ярошевский М.Г. Биография ученого как науковедческая проблема // Человеческая наука. М., 1974. С.22.

<sup>22</sup> См.: Биография как историческое исследование // История СССР. 1970. №4; Вильсон А. Биография как история. М., 1970; Гернек Ф. Принципиальные соображения относительно научной биографики. М., 1971; Научная биография — вид исторического исследования. Л., 1985. О роли биографии в историко-научных исследованиях см.: Мейлах Б.С. Биография как методологическая проблема // Человеческая наука. Указ. изд. С.8-16; Ярошевский М.Г. Указ. соч. С.17-25; Шахматов Б.М. К вопросу о биографическом аспекте в историко-философских исследованиях // История философии и марксизм. М., 1979. С.161-180; Соловьев Э.Ю. Биографический анализ как вид историко-философского исследования // Вопросы философии. 1981. №1. С.115-128; №9. С.132-148; Hankince T.L. In defence of biography: The use of biography in the history of science // History of Science. 1979. Vol.17 (35). P.1-16.

<sup>23</sup> Рыбников Н. Биографии и их изучение. М., 1920. С.17.

бодным от педантизма в интерпретации исторических материалов и личных документов, возникающие проблемы в объяснении фактологических лагун он вправе заполнять творческим домыслом; *в-третьих* — художественная биография свободна от строгости в подаче исторических событий; здесь допускаются диалоги, изображение переживаний героя, событий, которые могли и не происходить в действительности<sup>24</sup>. Но с существенными ограничениями — автор не может пренебрегать документально установленными фактами. Широко известна фраза теоретика художественной биографии Маккарти, ставшая своеобразным лозунгом: «биограф — это художник, но художник, давший клятву» не переступать истину факта<sup>25</sup>.

Между тем пафос, обращенный к преимуществам научности биографического повествования, при внимательном рассмотрении оказывается весьма относителен. Те немногие высказывания, которые даются самими авторами в виде самоанализа, подтверждают, что увлечение «научностью» без соответствующих методологических и теоретических изысканий — это дом, построенный на песке. М.Г. Ярошевский пишет, что «биограф вначале воспроизводит исторические лица и лишь после этого задумывается об основаниях и принципах своей работы»<sup>26</sup>.

Аналогичная ситуация наблюдается и в художественной биографии. Такие ее достоинства, как образность повествования, авторское воображение и интуиция без сопряжения с понятийным аппаратом исторического и социологического познания, способным адекватно реконструировать личность в пространстве культуры, подчас способны превратить художественную биографию в... литературную халтуру. Жизнь исторического лица уже сама по себе является блестящей рекламой для такой книги, а драматичность этой жизни с лихвой может затмить не только исследовательский дилетантизм, но и сомнительность литературных образов, и словесные штампы.

---

<sup>24</sup> См.: «Жизнь и деятельность...»: Нерешенные проблемы биографического жанра // Вопросы литературы. 1973. №3. С.16-293; Книги о русских писателях в ЖЗЛ // Вопросы литературы. 1980. №9. С.179-251; Моруа А. Современная биография // Прометей. Т.5. М., 1968. С.394-412; Стоун И. Биографическая повесть // Прометей. Т.1. М., 1967. С.334-345; Garraty J.A. The Nature of Biography. N.Y., 1957. P.121-155, 273-279; Clifford J.L. From Puzzles to Portraits: Problems of a Literary Biography. [Chapel Hill], 1970; The Craft of Literary Biography. London, 1985; The Biographer's Art: New Essays. London, 1989; Altick R.D. Lives and Letters: A History of Literary Biography in England and America. N.Y., 1966; Frank K. Writing Lives: Theory and Practice of Literary Biography // Genre. 1980. Vol.8 (4). P.499-516 и мн. др.

<sup>25</sup> Цит. по: Gittings R. The Nature of Biography. London, 1978. P.83.

<sup>26</sup> Ярошевский М.Г. Указ. соч. С.19.

*Двусмысленность современных представлений о сущности биографического знания коренится в размежевании науки и искусства, которое, в конечном итоге, не оставляет биографии достойного места в дисциплинах гуманитарного цикла. Так, никакая научная биография не может обойтись без средств литературного повествования, убедительного и красочного изображения, образности, ценностных суждений, если автор стремится реконструировать жизнь своего персонажа во всей ее полноте. С другой стороны, и художественная биография должна стремиться использовать достижения современных гуманитарных дисциплин, в противном случае автор не может претендовать на роль биографа, он выступает в роли исторического романиста. «Биографическое исследование, — пишет И.С.Кон, — кажется вышколенному естественнонаучному интеллекту сомнительным. Биография интересуется не общим, а индивидуальным, [биограф] погружается в изучение личных документов, смысл которых всегда проблематичен, пытается понять скрытые мотивы давно умерших людей и вынужден постоянно прибегать к статистически ненадежному ретроспективному анализу. Но эти упреки можно отнести ко всякому историческому познанию. Биографический жанр, где объяснение соответствует с пониманием, не случайно называют научно-художественным»<sup>27</sup>.*

Двусмысленность представлений о сущности биографического знания исчезает в том случае, когда базовый вопрос «биография — наука или искусство?» трансформируется в «биография — это наука и искусство».

В пользу такого понимания биографического знания можно привести поучительные слова Ю.М.Лотмана, предпосланные им блестящей биографии Карамзина: «Он [биограф. — А.В.] встает на трудный и опасный путь воссоздания утраченного целого, реконструкции личности по документам, всегда неполным, двусмысленным, всегда несущим в себе субъективную позицию своего создателя, филигранный труд интерпретатора здесь должен сочетаться с умением найти детали свое место. А это достигается сочетанием точного знания с интуицией и воображением. Исследователь и романист на равных правах соавторствуют в создании биографического романа-реконструкции. И оба находятся в необычных условиях. Исследователь, вооруженный привычными навыками анализа документа, все время должен помнить о синтезе, соединять свои наблюдения в единое целое. И методы у него синтетические — весь круг "наук о человеке" не должен быть ему

<sup>27</sup> Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М., 1984. С.176.



чужд. Но и романист в необычном положении. Он не имеет права создавать — он должен воссоздавать»<sup>28</sup>.

Биографическое знание существует в особом мыслительном пространстве, которое далеко не исчерпывается тем набором измерений, который традиционно предлагает оппозиция «научности» и «художественности». Автор биографической книги одновременно выступает и в роли ученого, и в роли писателя, но прежде всего он *биограф*, т.е. его замысел реализуем в том случае, если автор сумеет использовать возможности и особенности своего положения именно как биографа.

*Определение биографии.* Считается, что впервые термин «биография» был употреблен в XVII в. Дж.Драйденом в предисловии к переводу «Параллельных жизнеописаний» Плутарха — «Биография, или История жизни отдельных людей»<sup>29</sup>. Вплоть до XX столетия ключевым считалось определение, которое давал Оксфордский словарь: «Биография — история жизни отдельных людей, жанр литературы»<sup>30</sup>. Данные определения фиксировали значение, очевидное для обыденного представления. Попытки осмыслить особенности биографического письма были предприняты во второй половине XX в. Широко распространенной в литературе является следующая дефиниция: «Биография есть воссоздание (re-creation) человека, каким он был в действительности»<sup>31</sup>.

Действительно ли вышеприведенные определения обозначают уникальность биографического труда?

Современное гуманитарное познание во многом связано с методологическим редукионизмом, согласно которому правильное решение проблем на уровне всеобщего (анализ общеисторических и социологических закономерностей) обеспечивает достоверность познания единичного (уникальных личностных особенностей). Подобный ход рассуждений оправдан разве что в естественнонаучном познании. В гуманитаристике он дает искаженные результаты, ибо гуманитарные науки прежде всего имеют дело с индивидуальными образованиями в истории и культуре. А в случае с биографическим письмом подобный подход просто порочен. Биограф обязан учитывать и использовать в своей работе уровень и характер современного ему научного знания, но с обязательным условием — он не может превратить жизнь своего персонажа в иллюстрацию современных ему идеологических и научных докт-

<sup>28</sup> Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1988. С.12-13.

<sup>29</sup> См.: O'Neill E.H. A History of American Biography, 1800-1935. [Philadelphia], 1935. P.7.

<sup>30</sup> Biography as an Art: Selected Criticism, 1560-1960. Oxford, 1962. P.197.

<sup>31</sup> O'Neill E.H. Id. P.7.

рин. Биограф может и должен использовать эвристический потенциал этих доктрин с учетом того, что *каждая индивидуальность требует своей методологии объяснения.*

В этом как раз и заключается уникальное положение биографического письма в современной гуманитаристике, ибо анализ теории и методологии биографической реконструкции заставляют в корне пересмотреть саму философию гуманитарного знания. Для традиционной теории познания утверждение, что каждый индивидуальный предмет познания требует особой методологии, неприемлем. Традиционно признавалось, что выработка формально непротиворечивой методологии научного познания автоматически обеспечивает получение достоверного знания в каждом отдельном случае. Иначе, как писал Леви, пришлось бы сформулировать «столько теорий, сколько существует людей в природе»<sup>32</sup>. Биографика как теория биографического письма — детище неклассического идеала рационального знания; биографика заставляет нас в корне пересмотреть сложившиеся представления о природе теоретического знания в гуманитаристике.

*Биография — это реконструкция истории личностной индивидуальности* — такова базисная дефиниция, которая ляжет в основу дальнейшего рассмотрения.

Это определение утверждает, что биография — это не только «жанр литературы», но и особый вид гуманитарного познания. Затем утверждается, что биография — это не просто «история жизни», где термин «история» ранее присутствовал как описательный, как простое указание, что биограф имеет дело с прошедшим временем.

Современные тенденции развития показывают, что как таковых «историй жизни» уже практически не существует. Доминирующими образцами биографического исполнения становятся новые формы изложения — реконструкция какого-либо одного события (или поступка) жизни, психологического облика персонажа (например, психологических травм). «История жизни» персонажа в современном понимании является скорее условной величиной, представляемой как общий результат многочисленных исследовательских усилий, отличающихся своими методическими установками. Создать «историю жизни» знаменитого человека во второй половине XX в. — это значит прежде всего соизмерить различные версии объяснения.

---

<sup>32</sup> Цит. по: Runyan W.M. Life Histories and Psychobiography: Explorations in Theory and Method. N.Y., 1982. P.175.

Определение указывает на то, что процесс получения биографического знания есть реконструкция. Этот термин более удачен, чем «воссоздание», ибо он указывает на то, что биографическое письмо обладает целостной теоретической и методологической доктриной исследования и художественного изображения.

*Понятие биографической реконструкции* включает в себя систему методологических стратегий, категориальный инструментарий, схемы объяснения, принятые нормы повествовательной изобразительности, этических долженствований, которые в своей совокупности позволяют биографу реконструировать историю личности индивидуальности персонажа.

Представим в упрощенном виде основные вехи биографического труда: вначале биограф находится в ситуации выбора из потока исторических событий своего потенциального персонажа (выбор осуществляется как следствие рефлексии над *поступками* персонажа и уникальностью исторической *ситуации*, роли персонажа в истории, его влияния на биографа и т.д.); затем, когда выбор сделан, биограф начинает собирать *фактологический материал*, устанавливать его достоверность; потом следует этап формирования *выводного знания*, *объяснения* собранных фактов, построения моделей причинно-следственных зависимостей в поведении; существенным является для автора вопрос, что из собранного им материала нужно для его замысла, а чем следует пренебречь, дабы биографическая книга выполнила предназначенную ей роль; и, наконец, заключительный этап — составление *повествования* с использованием выбранных биографом *изобразительных средств*.

Структура биографической реконструкции состоит, таким образом, из пяти составляющих: 1) поступок и ситуация; 2) биографический факт; 3) биографическое объяснение; 4) этические долженствования; 5) повествовательная изобразительность.

*Поступком и ситуацией обозначаются первичные целостности предмета биографической реконструкции.*

Поступок является предметом изучения психологии, социологии, этики, семиотики и других гуманитарных дисциплин, которые изучают деятельность личности — ее мотивы, содержание, причины. Для биографа поступок выступает *первичной целостностью в том смысле, что его невозможно разложить на составляющие части без опасности утери этой целостности, следовательно, утери смысла индивидуальности биографического персонажа.*

Когда исследователь реконструирует в поступке влияние психологических механизмов, социальных ролей или моральных мо-

тивов, он выполняет работу психолога, социолога или этика, но ни в коем случае не биографа. Биограф ставит перед собой цель реконструировать индивидуальность личности, где те же психологические механизмы, социальное окружение и моральные мотивы слиты в единый «жизненный проект». В поступке как раз и запечатлена индивидуальность личности. Как пишет М.М.Бахтин, «каждая мысль моя с ее содержанием есть индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых складывается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок; я поступаю всюю своею жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни-поступления»<sup>33</sup>.

Поэтому так непросто для биографа обозначить *эмпирический референт поступка*. Поведение совсем не обязательно может выполнять роль полноценного эмпирического референта. Поступком может выступать, например, оценочное высказывание, участие (либо неучастие) персонажа в каком-либо событии; поступок — это и реплика в личном дневнике, и система религиозных убеждений, наконец, им может быть *молчание* в хайдеггеровском значении. «Грубо говоря, мы можем сказать, что поступок (action) есть поведение плюс еще что-то»<sup>34</sup>. Так вот, в этом «что-то» и заключается собственно *индивидуальность* поступка.

Если поведение возможно проанализировать при помощи понятий социологии и психологии и при этом эксплицировать его основные детерминанты, то феномен поступка ускользает от строгой научной идентификации. «Человеческий поступок есть *потенциальный* текст, — пишет М.М.Бахтин, — и может быть понят (как человеческий поступок, а не физическое действие) только *в диалогическом контексте своего времени* (как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)»<sup>35</sup> (выделено мной. — А.В.)

Утверждение, что поступок есть еще и «потенциальный текст», понимание которого возможно в «диалогическом контексте своего времени», указывает на существенную особенность труда биографа. Биографическая реконструкция — это не только строго научная доктрина интерпретации документов (наличие таковой обязательно), это еще и *определенный тип диалога различных культур*, спрашивания и беседы.

<sup>33</sup> Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники, 1984-1985. М., 1986. С.83.

<sup>34</sup> Silbereisen R.K., Eyferth K. Development as Action in Context // Development as Action in Context. Berlin; N.Y., 1986. P.4.

<sup>35</sup> Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М, 1986. С.478.

*Поступок всегда совершается в контексте определенной ситуации.* Ситуация — это предзаданность поступка, набор возможностей его интерпретации. Если мы исходим из того, что поступок является текстом (определенной знаковой системой), который считывается и располагает к пониманию, то как раз ситуация почти никогда не проговаривается четко и недвусмысленно. Биограф всегда может *поименовать и обозначить* поступок, в то время как ситуация (контекст свершения поступка) остается непоименованной. *Ситуация — это амальгама, в которой отражается поступок, состав которой для биографа так и остается неизвестным, потаенным, сокрытым.*

Ситуация указывает на некие подразумеваемые смыслы и значения личностной индивидуальности. Она представляет собой семиотическую структуру, формирующуюся в каждой культурной эпохе по-своему, не анатомируемую и не разлагаемую на составные части, она *узнается лишь при интуиции новизны в момент встречи с прошлым в пространстве культуры.*

Ситуация всегда выговаривает себя иносказательно. Эта иносказательность ни в коем случае не есть некий иррациональный компонент жизни, напротив, это указывает на *особый тип рациональности индивидуального.* Ситуация — это молчание. Но молчание такого рода, которое нечто подразумевает, на что-то намекает. Как раз эти «нечто» и «что-то» и являются предметом труда биографа. Они создают возможность *переосмысления* жизни, делают труд биографа *принципиально незавершенным*, позволяют постоянно переписывать и переосмыслять чужую жизнь. Ситуацию можно образно сравнить с молчаливым вопрошанием, в то время как биографу надлежит в своей книге дать ответ, а значит и понять смысл обращенного к нему вопроса.

*Биографический факт* — это определенное высказывание, фиксирующее эмпирический уровень знания и являющееся ответом на вопросы типа «кто?», «что?», «когда?», т.е. обозначающее *пространственно-временной уровень* идентичности персонажа.

Биографическими фактами являются не только даты жизни, сведения о поступках персонажа, но и события внутренней жизни человека. Во временном измерении биографический факт может занимать достаточно длительный этап жизненного пути.

Необходимо отличать «*факт жизни*» от «*биографического факта*». Понятие жизненного факта фиксирует целостность каждого жизненного события, имеющего значение и смысл для личности. Понятие биографического факта не тождественно жизненному факту, равно как реальная человеческая жизнь не тождественна биографическому тексту, где она представлена.

В литературе, посвященной теоретическим проблемам биографии, нет единой точки зрения относительно критерия отличия биографического факта от факта жизненного. Так, Г.Винокур в качестве такового рассматривает переживание: «Критерий отбора биографического материала из общей наличности фактов, доставляемых нам исторической действительностью, в целом состоит в том, что исторический факт для того, чтобы стать фактом биографическим, должен в той или иной форме быть *пережит* данной личностью. *Переживание* и есть та новая форма, в которую отливается анализируемое нами отношение между историей и личностью: становясь предметом переживания, исторический факт получает биографический смысл»<sup>36</sup>. Мы согласимся с приведенными словами, сделав, правда, существенное уточнение: «переживание» не следует понимать только психологически. Термин «переживание» должен трактоваться как процесс осмысления, означивания и именованя самой личностью исторического факта. Переживание, как его понимает Г.Винокур, обязательно должно быть определенным образом представлено в *текстуальной форме*, будь то литературное произведение, личный дневник, оценочное суждение и т.д., только тогда оно может стать предметом интерпретации.

Факт должен быть установлен биографом при помощи определенных методик со ссылкой на документы и архивные материалы. Здесь много зависит от методологических позиций самого биографа и целей, какие он преследует. Так, для биографа, использующего идеи психоанализа, задачей будет являться установление психосексуальных травм, психических комплексов, внутренних переживаний; напротив, для биографа, стремящегося развенчать миф псевдогероя, основное усилие будет направлено на моральные характеристики поведения; а для заказной (или официальной) биографии важно представить своего героя как воплощение идеала для подражания.

Биограф сталкивается с проблемой установления фактов на основе различных, подчас прямо противоположных документальных свидетельств. Исторический документ, равно как и его автор не являются беспристрастными наблюдателями исторических событий — они непосредственные участники. И потому биограф лишь в исключительных случаях работает с документами, свободными от оценочных суждений и интересов их составителей. В документе может присутствовать сознательная, либо несознательная фальсификация происшедшего, определенные искаже-

---

<sup>36</sup> Винокур Г. Указ. изд. С.37.

ния, стремление выдать собственную оценку происходившего за объективное описание, автор документа может не располагать всей полнотой информации о событиях и т.д. Таким образом, перед биографом встает задача объяснения фактов.

*Биографическое объяснение* есть комплекс аналитических процедур, применение которых к фактуальному знанию позволяет установить причинно-следственные отношения в жизни персонажа. Объяснить жизнь исторического лица — это значит ответить на вопросы типа «почему?», «зачем?», «вследствие чего?»).

Именно задача исчерпывающего рационального объяснения является целью биографического труда. Наличие в биографической книге объяснительных структур, т.е. использование категориально-понятийных и эвристических возможностей, предоставляемых гуманитарными дисциплинами, является показателем ее зрелости.

Задача всякого объяснения с необходимостью ставит вопрос: что же, собственно, может выступать *критерием аутентичности* объяснения? Посмотрим, как решается эта задача в жанре биографии.

Что значит *объяснить индивидуальность*? В любой другой отрасли знания это значит вписать предмет познания в существующую систему категориально-понятийных структур, попытаться реконструировать всеобщие детерминанты исторического, социального и т.п. порядка. Или, что то же самое, сконструировать *модель предмета*, которая отражала бы наиболее существенные черты прототипа, с помощью которой возможно было бы *прогнозировать* его поведение.

Особенности биографического объяснения заключаются, во-первых, в том, что исследователь имеет дело с уже свершившимися событиями, где действия *объективных причин* и *субъективных мотивов* для самого персонажа в момент совершения действия были слиты; во-вторых, поведение индивидуального человека более *индетерминировано*, нежели поведение макросообществ — социальной группы, класса, поколения; особенностью биографического объяснения является то, что оно принципиально *незавершено*. Мы можем до бесконечности объяснять феномен творческой индивидуальности, использовать при этом новейшие методики интерпретации, но завершить эту деятельность мы никогда не сможем. Биографическое объяснение всегда *неповторимо*, ибо его невозможно выполнить на основе списка методических рекомендаций и обязательных условий, каким обязан следовать всякий биограф. Даже если различные биографы рекон-

струируют жизнь одного и того же человека, используя при этом одни и те же средства, это ни в коей мере не говорит о том, что их результаты будут тождественны.

Рассмотрим базовые презумпции биографического объяснения.

*Презумпция несовпадения каузального (причины) и телеологического (цели).* Для тех, кто не задумывается над методологическими проблемами исторического и биографического познания, *цель*, которую ставит перед собой субъект, и есть *причина* его деятельности.

Принять подобную точку зрения биограф не может потому, что цель (мотив) деятельности есть прежде всего *результат* осмысления объективных условий социального и культурного существования человека, причем полнота и характер этого осмысления никогда не могут быть всесторонними (в силу того, что исторические, социальные и культурные перспективы существования человека всегда *ограничены*). Биографу надлежит провести предварительную работу по выяснению условий и особенностей формирования целей и жизненных проектов у персонажа биографического повествования.

*Презумпция каузального плюрализма* означает отказ от стремления установить единую и единственную причину, которая якобы способна с максимальной степенью полноты и непротиворечивости объяснить поведение исторического лица.

Каузальный плюрализм исходит из того, что причины, реконструируемые исследователем, опосредованным образом воздействуют на человека, проходя определенный этап трансформации в зависимости от индивидуальных обстоятельств жизни персонажа, прежде чем стать целью (мотивом) деятельности. Понятие причины всегда строго объективно и внелично — историческая необходимость, психологическая конституция, социальная среда. Но эти причины, прежде чем стать факторами целеполагания, должны определенным образом трансформироваться через уникальность жизненного пути личности.

Каузальный плюрализм позволяет применение *ad hoc* гипотез в структурах объяснения (т.е. гипотез, для выдвижения которых нет соответствующих эмпирических подтверждений, но рациональность которых доказывается уже в ходе самого исследования). Биографу, как никому другому, известно, что объяснить поведение своего персонажа путем некритического использования современных методов персоналистской психологии или применяя идеи философской антропологии, равно как располагая какой-либо теорией исторического процесса, — решительно невозможно.



Ему необходимо постоянно создавать новые объяснительные структуры, которые учитывали бы неповторимость жизненного пути персонажа.

Наконец, цели и мотивы поведения могут быть *иррациональными*. Истоки этой иррациональности могут находиться в особенностях психологического склада характера, предрассудков окружающей среды, амбиций и честолюбия. Человека могут заставлять делать что-либо в угоду чьим-либо интересам. Биографу как раз и предстоит реконструировать иррациональный компонент в поведении человека, и презумпция каузального плюрализма расширяет здесь эвристические возможности.

Каузальный плюрализм обеспечивает многообразие перспектив биографического объяснения. Как пишет американский теоретик У.Раниан, «оптимальная биография прежде всего стремится быть интегративной или синтетической биографией, которая признает и принимает во внимание разнообразие возможно большего числа всесторонних и многоликих представлений о жизни»<sup>37</sup>.

*Презумпция рациональности самообъяснения субъекта исторического действия* указывает на то, что биограф не вправе считать подобное самообъяснение изначально ложным и отбрасывать его только потому, что его структуры не понятны самому исследователю.

В объяснении прошлого историк, с одной стороны, реконструирует структуры сознания действительных участников исторических событий и, следовательно, те условия, которые для самих участников представлялись как реальные, а с другой — у него есть существенное преимущество — он является обладателем совершенно иного понимания исторического процесса и его реальных условий. Так что же считать *реальностью* в историческом познании — то, что считали сами участники событий, либо то, что понимает под реальностью сам историк? В этой связи У.Дрей пишет: «Понимание действия у историка возникает лишь тогда, когда он устанавливает разумность поступков данного человека в свете его собственных [т.е. данного человека. — А.В.] представлений и планов /.../ Объяснение, которое стремится установить связь между убеждениями, мотивами поступков описанного выше рода, я буду называть "рациональным объяснением" /.../ объясняющая действие как таковое, а не, скажем, его успех или неудачу, мы должны обращаться не к реальным условиям, в которых происхо-

---

<sup>37</sup> Runyan W.M. Id. P.35.

дило действие, а к условиям, рассматриваемым его участниками как реальные»<sup>38</sup>.

*Презумпция разведения объяснения и понимания.*

Труд биографа менее всего напоминает проведение эксперимента в условиях лаборатории. Биографическая традиция всегда была достаточно далека от философских умозрений и научных доктрин. Это и понятно, ибо для биографа задача объяснить жизнь своего персонажа стоит не так остро, как для философа. Биограф стремится объяснить жизнь лишь тогда, когда того требует та интеллектуальная традиция, которой он принадлежит. Но главная его задача — описать и понять чужую жизнь.

Биографической традиции чужда драматичность, с какой связано, например, философское познание человека. Небезынтересно в этой связи привести слова Дж.Клиффорда: «Биография, в меньшей мере связанная с теоретической софистикой, слепо веря повествовательным искусствам, ухитряется с завидной последовательностью заставить верить нас в существование личностной самости. Этот успех частично объясним постулированием мифического образа, лежащего в основании нашей культуры, мифа, который, главным образом, выражен в биографическом жанре. Этот образ можно определить как "миф личностной связности" (personal coherence). В определенной мере он должен существовать во всех культурах и мыслиться в различных формах, вероятно, исходя из того, что человеческая культура не может состоять из анонимных функций, а также без какого-либо понятия и опыта личности»<sup>39</sup>.

Дело в том, что структурам объяснения предшествует и/или сопутствует понимание, т.е. состояние готовности вхождения (идентификации) в пространственно-временные и ценностно-смысловые горизонты *другого* человека. Объяснение не в состоянии полностью и без противоречий формального характера реконструировать феномен индивидуального. Объяснение устремлено на установление типичного, что является лишь предварительным этапом биографического труда. Идеал объяснения — получение объективного знания, что необходимо для биографической реконструкции, но совершенно не достаточно. Индивидуальное всегда *адресно*, к нему необходимо *диалогическое* отношение, реконструкция индивидуального требует вовлечения личностного

<sup>38</sup> Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. М., 1977. С.43.

<sup>39</sup> Clifford J. Hanging Up Looking Glasses at Old Coners: Ethnobiographical Prospects // Studies in Biography. London, 1978. P.44.

потенциала самого биографа, определенной избранности персонажу. «При *объяснении* — только одно сознание, один субъект, — замечает М.М.Бахтин, — при *понимании* — два субъекта, два сознания. К объекту не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов. Понимание всегда в какой-то мере диалогично»<sup>40</sup>.

Понимание жизни осуществляется по ту сторону формально непротиворечивой доктрины объяснения. Объяснение всегда формально. Именно структуры понимания, которые сопутствуют объяснению, позволяют смягчить жесткий схематизм формально-логический умозаключений. Понимание есть в определенной мере вживание биографа в свой образ; оно связано со стремлением высказать за самого персонажа смыслы и интенции, какие ему самому были во многом неясны. Понимание в биографической реконструкции выступает как усилие создать смысловую модель индивидуальности.

*Этика биографа.* Вопрос этических ограничений и долженствований имеет современное происхождение. На протяжении длительного периода в биографической традиции он не возникал, ибо биографу тогда вменялась обязанность простой фиксации жизни, жизнеописания монархов и святых строились по строго заведенным канонам. Авторская индивидуальность здесь не была выражена. Возникновение проблемы этики биографа связано со становлением европейского сознания и европейской индивидуальности. Рационализация жизни в индустриальных обществах, влияние средств массовой коммуникации, а также способность современной науки проникнуть в глубинные структуры сознания — все это вызывает реакцию самозащиты со стороны личности, стремление оградиться от внешнего мира, стать обладателем чего-то сокровитного и потаенного, что если и не составляет личную собственность в утилитарном смысле, то указывает на сохранение личностной самости.

Этическая проблема биографа спровоцирована притязаниями европейского сиентизма. Если современный читатель берет в руки биографическую книгу, то его желание *знать все* о персонаже ни у кого не вызывает возражений; равным образом, когда исследователь ставит перед собой задачу составить биографию, он также считает себя вправе касаться самых интимных сторон жизни. Исходя из требований науки («истина и ничего кроме истины»), биограф вправе отбросить условия ложной скромности и подвергнуть анализу решительно все, но с точки зрения этики он

---

<sup>40</sup> Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. Указ. изд. С.482.

ограничен условиями приличия и табуированностью тем, которые не принято выносить на всеобщее обсуждение.

История биографической традиции демонстрирует нам множество красноречивых примеров того, насколько болезненно порой воспринималась персонажами биографических книг деятельность биографов. Джордж Элиот назвал биографический жанр «болезнью английской литературы», Эдвард Секвилл окрестил биографов «гиенами», Набоков заявлял, что «биограф — это психоплагиатор», Де Вото приравнял биографа к шарлатану, Джеймс и Диккенс собственноручно уничтожили часть принадлежащих им документов интимного характера, так же поступила с письмами Бальзака Эвелина Ганская, аналогичным образом повели себя Гоголь и Блок. Некоторые нормы приличия соблюдаются, если человек еще жив и может стать читателем и критиком своей биографии, однако известно много случаев, когда родственники и близкие персонажа после его смерти вели длительную тяжбу с биографами, протестуя против представленных на всеобщее обозрение версий жизни близкого им человека.

Чаще всего публика сводит этические проблемы биографа к *запретам*, который налагают те, кто заинтересован в определенном освещении событий и чья репутация в чем-то оказывается затронутой. Однако с течением времени любые тайны частной жизни теряют ореол сенсационности и выходят из сферы частных интересов. Этическая проблема биографа не сводима к тому, какие факты жизни можно обнародовать, а какие нет; суть ее — в характере обозначения целей и смыслов жизни, в *отношении биографа к жизни другого человека*. Максимально всестороннее и объективное изложение жизни, учитывающее в полной мере нормы и характер современного гуманитарного знания, не в силах осуществить ни один биограф. В любом случае он вынужден будет акцентировать свое внимание на чем-то одном, при этом умалчивая или недооценивая что-то другое.

*Биограф воскрешает жизнь* — в этом *суть* и одновременно *антиномичность* его нравственного долга. Этическое должество биографа формулируется как требование продлить жизнь его героя в принципиально иной форме, в иных пространственно-временных и ценностно-смысловых культурных изменениях.

Современная практика биографического письма формулирует следующие этические императивы:

— *императив непереписываемости биографической книги* указывает на характер отношения к письменному слову, высказанному о жизни другого человека, на то, что оно остается в па-

мьяти культуры навсегда. Биографическую книгу невозможно уничтожить. Автор может ошибаться в оценке исторических перспектив, проявить излишнюю поспешность в своих умозаключениях, он может не овладеть сутью эмпирического материала, не иметь возможности ознакомиться с необходимым документом. Сие прощается, если автор относится к своему слову как к непереписываемому в памяти культуры. И это глубоко оправданно, ибо, быть может, именно в этой книге жизнь получает свою единственную реконструкцию. Биограф должен осознавать, что он несет ответственность перед *таинством жизни*;

— *императив безответности* указывает, что в лице биографа представлена история (культура), к которой апеллировал персонаж биографической книги. Персонаж и другие участники исторической драмы замолчали навсегда, они уже не могут ответить на вопросы читателей биографа, это надлежит сделать ее автору. Биограф от лица настоящего оценивает и выносит вердикт прошлому. Императив безответности делает этот суд над прошлым определенным, т.е. персонажи исторических событий *молчат* и не могут *ответить* на несправедливую или недобросовестную критику в их адрес. Императив безответности убеждает биографа занять такую позицию в своем критическом отношении, чтобы он не мог претендовать на харизму абсолютной власти над прошлым. Если биограф стремится знать истину, то он должен выступать именно в роли биографа и не злоупотреблять своим преимуществом от знакомства с частной жизнью исторической знаменитости;

— *императив персонификации*. В биографической книге персонифицируется не только личность автора, но и культурно-историческая ситуация, современником которой он был. Может быть, у истории не будет иных возможностей судить об этой эпохе, кроме как по этой биографической книге. Высказывание, гласящее, что биография есть также и автобиография ее автора и того времени, когда она писалась, меньше всего метафора — в нем выражен существенный смысл традиции биографического письма. Биограф несет этическую ответственность и перед современностью.

Указанные императивы этического долженствования менее всего претендуют на роль морализаторских наставлений. Это императивы именно в *кантовском* смысле, они вряд ли поддаются формально логическому определению; вряд ли их возможно выразить в форме строгих предписаний. Они должны присутствовать в биографическом труде как «путеводная нить» притязаний авторского сознания.

*Повествовательная изобразительность биографического знания* есть семиотическая система принятых условностей, средств и способов наглядной представленности индивидуального в текстуальной форме. Возможность быть изображенным является существенным условием онтологии индивидуального. Изображение — это процесс, влияющий на ранг бытия, представленного в изображении, это «прирост наглядности бытия», как указывает Гадамер<sup>41</sup>. Возникновение и развитие текстуального портрета есть отражение фундаментального свойства сознания. Биографическое изображение с точки зрения онтологии есть удвоение реальности, прирост пространственно-временных и ценностно-смысловых горизонтов существования индивидуального. Даже когда речь идет о так называемом зеркальном отображении, то и здесь мы сталкиваемся со сложной системой семиотических средств. Зеркальное изображение можно считать элементарным прежде всего конвенционально, т.е. условно приняв его простым, на самом же деле парадигма «зеркала» есть сложнейшая архитектоника семиотических условностей и смысловых трансформаций в менталитете культуры.

Г. Гусдорф тонко подметил, что устремленность европейского сознания на саморефлексию и связанное с этим появление в живописи автопортрета и автобиографического жанра в литературе являются результатом воздействия на культурное сознание технологических достижений венецианских мастеров в изготовлении зеркал. Древние цивилизации не знали непосредственного и неискаженного изображения, в то время как для европейцев оно было самоочевидным. Может быть, поэтому фундаментальное условие неискаженного отражения объективной реальности является столь важным для европейской науки и культуры?<sup>42</sup>

Повествовательная изобразительность является фундаментальным условием биографического труда, ибо индивидуальность, прежде чем быть изображенной, должна выделяться, контрастировать на социокультурном фоне, в ином случае у человека нет возможности обрести право на портретное изображение. Этимология слова «биография» показывает, что сочетание «*bios*» и «*grapho*» следует интерпретировать как «письменное изображение» жизни. «Биография есть искусство человеческого портретирования в словах», — замечает американский теоретик жанра и профессиональный биограф Л. Эдель<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> См.: Гадамер Х.-Г. Указ. изд. С.181-191.

<sup>42</sup> См.: GUSDORF G. Conditions and Limits of Autobiography // Autobiography: Essays Theoretical and Critical. N.Y., 1980. P.28-48.

<sup>43</sup> Edel L. The Figure Under the Carpet. Id. P.20.

Биограф является историком (психологом, социологом), и потому ему важно достичь *достоверности и непротиворечивости в своих выводах*, но в то же время он выполняет роль *повествователя*, т.е. ему необходимо, изображая жизнь, придать ей особый колорит, выписать художественными средствами ее драматичность. В биографической практике объяснение непосредственно связано с изображением, поэтому владение биографом такими изобразительными средствами, как «рамка», интонация, ритмика повествования, образность, перспектива, способствует исчерпывающему объяснению. *Емким и колоритным изображением биограф делает свое объяснение законченным, убедительным и рациональным.*

### Биографический опыт: типология герменевтических ситуаций

Было бы неверно пытаться свести биографическое письмо исключительно к категориально-понятийным и процедурным средствам получения знания. Эвристическая ситуация, в которой оказывается биограф, далеко не исчерпывается уровнем методологической рефлексии. Биографической реконструкции, т.е. процессу получения знания как результату исследовательского усилия, предшествуют и/или сопутствуют определенные герменевтические ситуации, составляющие структуру биографического опыта.

Биографическое знание непосредственно *вовлечено в жизнедеятельность*. «Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде не представима. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает», — пишет Пастернак<sup>44</sup>. Вовлеченность биографического знания в жизнедеятельность обеспечивает понимание тех реалий индивидуальности персонажа, которые не получают однозначной концептуализации в процессе реконструкции. Понимание осуществляется, как правило, по ту сторону понятийных и процедурных действий мышления.

Соответствие, которое Гадамер дает герменевтическому опыту, родственно понятию биографического опыта<sup>45</sup>. Биографи-

<sup>44</sup> Пастернак Б.Л. Охранная грамота; Шопен. М. 1989. С.12.

<sup>45</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. изд. С.421-426.

ческий опыт ни в коем случае не является гносеологической (познавательной) характеристикой, прежде всего это онтологическое определение, указывающее на характер вовлеченности в конкретную индивидуальную жизнедеятельность и практику «биографий» предшествующих поколений. Так, мы никогда не сможем понять смысл индивидуальности другого человека, не будучи вовлеченными в те смысловые ориентиры, которые составляли контекст ее существования; но стремление понять эти смысловые ориентиры есть также факт нашей собственной биографии.

Путеводной нитью экспликации герменевтического опыта является образ *круга*. Круговая структура понимания, пишет Гадамер, — «не изначально заданная предпосылка — мы сами порождаем ее, поскольку мы, понимая, участвуем в свершении (исторического) предания и тем самым определяем его исторические пути. Круг, таким образом, имеет не формальную природу, он не субъективен и не объективен, но описывает понимание как взаимодействие двух движений: традиции и истолкования. Круг понимания вообще не является "методологическим" кругом, он описывает онтологический структурный момент понимания»<sup>46</sup>. Значение круговой структуры понимания — в предвосхищении смысловой связности и завершенности понимания, хотя реально процесс понимания никогда не может быть завершен.

Здесь мы вправе утверждать, что понятие биографического опыта соизмеримо опыту герменевтическому. Биографический опыт как герменевтический процесс включает в себя как минимум трех участников — самого персонажа, автора биографического повествования и читателя. Они находятся между собой в определенных смысловых отношениях, или герменевтических ситуациях.

*Понятие герменевтической ситуации* в границах биографического опыта будет означать характер соприсутствия и соизбранности участников герменевтического процесса. Индивидуальное всегда адресно, диалогично. В биографическом опыте диалогичность всегда проявляется как диалог трех индивидуальностей — персонажа, интерпретатора и читателя.

Биографический опыт заключается в осуществлении следующих герменевтических ситуаций, позволяющих в своей совокупности совершить законченный круг понимания как синоним предвосхищения смысловой целостности и связности.

---

<sup>46</sup> Гадамер Х.-Г. Указ. изд. С.348; см. также о круге понимания в его кн. Актуальность прекрасного. М., 1991. С.72-82.



*Ситуация формирования и апробации смыслового эквивалента.* Содержание этой ситуации указывает на то, что первичный характер понимания биографического материала возможен прежде всего при условии формирования и апробации смыслового эквивалента или интерпретанта, являющегося своеобразным «словарем» для перевода смысловых реалий инокультурного текста на язык, приемлемый участнику герменевтического отношения. Смысловой эквивалент есть результат и одновременно предпосылка диалога или коммуникативной компетенции участников герменевтического отношения.

Участник герменевтических отношений в биографическом опыте присутствует в роли «инокультурного пришельца», ему важно трансформировать эту смысловую инаковость и принять роль «участника-наблюдателя». Смысловой эквивалент — это нахождение связанностей, тождественных участникам герменевтической ситуации, условие, при котором происходит узнавание одного в другом. «Удачная биография есть результат гармонического сочетания писателя, персонажа и окружающих обстоятельств», — пишет Гаррати. «Биография есть всегда сотрудничество между автором и его персонажем /.../ отражение одного темперамента в зеркале другого», — замечает Г.Николсон<sup>47</sup>. Смысловой эквивалент служит своеобразным каналом, по которому происходит трансляция смысловых реалий одного культурного контекста в другой.

Смысловой эквивалент служит высвечиванию лакун, содержащихся в тексте свидетельства. Наличие лакун, т.е. каких-либо смысловых реалий, затрудняющих понимание текста инокультурным реципиентом, проявляет себя через кажущуюся его непонятность, сомнительность, чуждость. Биографический опыт проходит целый ряд трансформаций, прежде чем его возможно идентифицировать как условный результат понимания. В схематическом изображении эти трансформации можно упрощенно представить следующим образом: А (автор свидетельства или биографический персонаж) — ТА (оригинальный авторский текст свидетельства) — П (переводчик, в нашем случае — биограф) — ТП (текст перевода или биографии) — Р 1, 2... n (проекции различных реципиентов)<sup>48</sup>.

Как видим, биографический опыт нуждается в целой *системе смысловых эквивалентов*. Прежде всего сам персонаж должен

---

<sup>47</sup> Garraty J.A. Id. P.155; Nicolson H. From «The Practice of Biography» // Biography as an Art. Id. P.201.

<sup>48</sup> См.: Текст как явление культуры. Новосибирск, 1989.

сформировать своему жизненному опыту смысловой эквивалент, с тем чтобы найти ему аутентичное текстуальное выражение на языке культуры; биограф формирует аналогичный эквивалент для реконструкции жизненного опыта персонажа; читатель (реципиент) также вовлечен в этот процесс.

Смысловой эквивалент представляет собой не просто нечто общее во встрече инокультурных участников. Здесь происходит трансформация смысловых «каркасов» как прошлого, так и настоящего, равно как и моделирование условий будущего понимания; это — своеобразный коэффициент на вписываемость ценностно-смысловых и пространственно-временных горизонтов индивидуального в иные культурные контексты.

Герменевтическая ситуация *сверхтекстуального прочтения* заключается в считывании смыслов и содержаний, имплицитно присутствующих в тексте; это стремление понять «текст в тексте».

Сверхтекстуальное прочтение ориентирует на понимание текста, написанного вне и помимо субъективного желания автора. В исторической герменевтике эту ситуацию трактуют еще как понимание сферы «умолчания». «Торжество исторической критики, — пишет В.О.Ключевский, — из того, что говорят люди известного времени, подслушать то, о чем они умалчивали»<sup>49</sup>. «Мы гораздо охотнее хватаемся за то, что автор дает нам понять, сам того не желая», — замечает по этому же поводу М.Блок<sup>50</sup>.

Герменевтическая ситуация раскодирования феномена молчания предписывает соответствующим образом построить стратегию вопросных действий со стороны исследователя. Выше уже приводились слова Р.Дж.Коллингвуда, считавшего, что понимание текста возможно в том случае, если удастся реконструировать вопрос, ответом на который и является текст. «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, какие она сама себе не ставила, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины», — пишет Бахтин<sup>51</sup>. Ситуация сверхтекстуального прочтения в структуре биографического опыта зиждется на стремлении дописать или досказать незаконченное индивидуальное.

*Непонимание* есть ситуация, в которой участник герменевтического отношения не способен идентифицировать лакуны,

<sup>49</sup> Ключевский В.О. Письма; Дневники; Афоризмы и мысли об истории. М., 1986. С.349.

<sup>50</sup> Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986. С.38.

<sup>51</sup> Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С.335.

когда он считает, что интерпретируемый им текст полностью ему понятен.

Описанные выше ситуации непосредственно связаны с формированием вопросных действий со стороны участника герменевтических отношений. Они свидетельствуют о несогласии с текстом. Но понимание всегда возможно и осуществляется на фоне непонимания. Непонимание в таком случае — это отсутствие вопросов.

В истории культуры конструировались и плодотворно развивались реалии, изначально запрограммированные на непонимание, — мистика, вера, магия, тайна. Если с этой точки зрения посмотреть на феномен т.н. официальной биографии, то окажется, что культ личности (или харизматический тип господства) как раз нацелен на уничтожение любых признаков понимания (предпосылания вопросов) и провоцирует непонимание (отсутствие вопросных действий). Официальная биография представляет собой имитацию полного понимания, запрещающего какое-либо сомнение, апелляцию к массовому сознанию.

Для нас ценно не только понимание, но и непонимание биографом каких-либо реальностей. Мы с одинаковым интересом читаем Плутарха и Диогена Лаэртского и фундаментальные работы современных биографов. Мы легко можем увидеть ограничения и условность древних авторов в деле жизнеописания, но это помогает нам глубже понять дух прошедшего времени. Ни одно аналитическое современное исследование античного мира не заменит нам голоса древних авторов.

Непонимание не является какой-либо предзаданной константой. Налицо *прогресс биографической традиции*, выраженной в совершенствовании процедур интерпретации, расширения тематического и проблемного охвата повествования<sup>52</sup>.

Понятие прогресса биографической традиции — одно из составляющих биографики как дисциплины гуманитарного цикла. С количественной точки зрения прогресс в биографической традиции налицо: расширилась эмпирическая область исследования, появились новые проблемные горизонты и, наконец, в методологическом сознании возникла сама идея биографики как автономной теории письма. Это нашло свое выражение в увеличении числа публикаций, посвященных методологическим проблемам, дисциплинарном и организационном признании биографики научным сообществом, наконец, в XX столетии биографический труд приобрел еще одно существенное измерение — он стал профессией.

---

<sup>52</sup> См.: Runyan W.M. Progress in Biography // Psychobiography and Lives Narratives: Journal of Personality (spec. issue). 1988. Vol.56(1). P.295-326.

Размышляя над этой темой, нам следует отказаться от упрощений, вызванных предрассудком кумулятивного подхода в интерпретации развития гуманитарного знания, утверждающего, что якобы последующие этапы традиции автоматически вбирают в себя все лучшее («прогрессивное») из того, что было достигнуто и апробировано ранее. Понятие прогресса как кумулятивного процесса во многом навеяно в гуманитаристике количественными нормами технократического мышления. Хотя было бы ошибкой вовсе отрицать его применимость в биографической традиции, учитывая увеличивающийся в количественном отношении поток псевдобиографий. Это не значит, что отрицается конструктивная взаимосвязь этапов развития традиции. Биографическая традиция является такой же древней, как и поэтическая, философская. А это значит, что реалии, составляющие ее целостность, подчас несоизмеримы. Так, не имеет в прошлом никаких аналогов глубинный анализ структур сознания современной психобиографии, схожую картину мы имеем и с методиками интерпретации личных документов — биограф прошлого не отличал вымысел от объективного свидетельства. Понятие документа как культурная реальность возникает лишь на рубеже XVII-XVIII вв. Изменился облик биографии. Так, считавшаяся классической, такая форма организации и структурирования текста, как «жизнеописание», ушла в прошлое. Современная биография есть результат реконструкции нескольких придерживающихся различных норм исследовательских практик.

Ныне биографический текст — явление полижанровое (это и книга, и монография, и научная статья, и художественное эссе). Возможно, трансформируется и понятие авторства биографического труда. Можно наблюдать тенденцию к полиавторству.

У нас отсутствует общепринятый критерий измерения достоверности биографического знания. Я стремился показать, что в этой роли могут выступать степень и характер текстуального представления феномена индивидуального в языке культуры. Это не строгое формальное определение. Плутарх не пользовался методом интерпретации личных документов и не стремился реконструировать психологические комплексы своих персонажей, что дает возможность современному психобиографу заняться постижением текстов «Параллельных жизнеописаний». Но изыскания современников не заменят нам аутентичный голос прошлого<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Данная статья резюмирует и развивает положения, сформулированные в кн.: Валевский А.Л. Основания биографики. Киев, 1993.

О.Е.Майорова

## МЕМУАРЫ КАК ФОРМА АВТОРЕФЛЕКСИИ К истории неосуществленного замысла Константина Леонтьева

О неосуществленном мемуарном замысле Константина Николаевича Леонтьева — намерении оставить после себя обстоятельные «посмертные записки», где должна обнаружиться, говоря его словами из письма В.В.Розанову, та «нить, за которую Господь выводит /.../ из лабиринта /.../ страстей и умственных блужданий»<sup>1</sup>, — об этом замысле известно давно: и из переписки Леонтьева, частично опубликованной еще в конце прошлого века, и из незавершенного очерка «Мое обращение и жизнь на Святой Афонской горе», задуманного как предисловие к «посмертной автобиографии», и, наконец, из вполне надежных свидетельств близких ему людей. Отец Иосиф Фудель, друг, ученик и издатель Леонтьева, относил работу над этой автобиографией к концу жизни писателя. В редакционных примечаниях к последнему, составленному из воспоминаний, тому собранию сочинений Леонтьева И.И.Фудель четко и, видимо, совершенно точно определял место «Моего обращения...» в не осуществленной мемуарной книге: «В бумагах Леонтьева был найден отрывок из ряда воспоминаний, задуманных им, но не исполненных /.../ В ряду автобиографических воспоминаний К.Леонтьева этому отрывку по праву принадлежит первое место не только потому, что в нем даны несколько картин *детства*, но и потому, что первая глава этого отрывка является естественным *вступлением* в автобиографические записки автора, пытавшегося в конце жизни *уяснить* себе причины своей несчастной литературной судьбы»<sup>2</sup>.

Эти соображения Фуделя, истинного знатока Леонтьева, основательно изучавшего материалы его архива и опиравшегося — что самое ценное — на собственные впечатления от встреч и бесед с ним, в целом кажутся бесспорными. Но одно его утверж-

<sup>1</sup> Письма К.Н.Леонтьева к В.В.Розанову // Корольков А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб., 1991. С.133.

<sup>2</sup> Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т.9. М., 1914. С.11. Здесь и далее во всех цитатах курсив принадлежит оригиналу.

дение требует решительного пересмотра. «Причины своей несчастной литературной судьбы» Леонтьев пытался «уяснить» не только в конце жизни, а замысел автобиографических записок, действительно неотделимый от этих попыток, начал складываться, когда Леонтьев был еще в расцвете творческих сил, — не позднее середины 1870-х. Правда, очертания замысла с годами менялись — и менялись существенно, как существенно эволюционировал и сам Леонтьев. Но зерно этого замысла сохранялось, будучи связанным с неизбывной потребностью писателя в авто-рефлексии.

Леонтьев относился к тому типу художников, в его эпоху крайне редкому, которые всегда нуждаются в том, чтобы каждый поворот судьбы, каждое значимое событие отражались в слове. Потребность в автоконцепции у него была настолько сильна, что служила мощным и, может быть, даже ведущим творческим импульсом. Ведь почти вся его проза (об этом не раз писали) — это развернутая автобиография, почти все его письма и воспоминания — это довольно правдивая исповедь. Однако мемуары Леонтьева, при всей конкретности материала, нельзя воспринимать как документальный источник в собственном смысле. Они глубинно связаны с его художественной прозой и должны анализироваться в единстве с ней — не только потому, что часто являются собой лучшие образцы леонтьевского стиля, но и потому, что в них создан тот образ самого Леонтьева, который отвечал его автоконцепции и закономерно был близок многим автобиографическим, точнее, «автопсихологическим» героям его повестей и романов.

Осмысление всего наследия Леонтьева как единого текста — задача будущего. Здесь мы попытаемся интерпретировать лишь дошедшие до нас его воспоминания как разные стадии осуществления мемуарного замысла, фатально ускользавшего от завершения, но постоянно притягивавшего к себе писателя.

Само его обращение к мемуарной форме в значительной мере было спровоцировано пережитым в начале 1870-х на Афоне духовным кризисом и почти внезапным пробуждением горячего религиозного чувства. Так во всяком случае Леонтьев не раз описывал это поворотное в его биографии событие. Правда, в первых дошедших до нас фрагментах воспоминаний он скупно говорил о своих религиозных переживаниях — но отнюдь не потому, что испытывал внутренние сложности в публичной артикуляции этих проблем. Дело в том, что довольно узкая аудитория, для которой первоначально эти воспоминания предназначались, была хорошо осведомлена об истории его обращения — отчасти со слов самого Леонтьева, из его рассказов и писем, отчасти из собст-

венных наблюдений. Речь идет об окружении Леонтьева в годы его дипломатической службы в Турции, о сотрудниках константинопольского посольства, с которыми он поддерживал довольно тесные отношения и позднее почти до конца жизни — переписываясь и встречаясь с ними уже в России, в основном в Москве и в Петербурге.

А тогда, в Турции, посольские приятели Леонтьева оказались полусвидетелями и его религиозного обращения, и зарождения его основных историософских идей, возбуждавших, по всей видимости, непритворный интерес в константинопольских гостиных. К.А.Губастов, служивший в Турции одновременно с Леонтьевым, ставший позднее его постоянным корреспондентом и конфиденнтом, вспоминал: «...он большую часть 1872 г. провел на Афоне; молился там, постился, говел и начал читать богословские сочинения, до тех пор ему мало известные. На Св. Горе или в Солуне задумал он и написал свою крупную статью "Византизм и славянство", над которою много работал, переделывая ее несколько раз. По приезде в Константинополь, в конце того же года, он читал ее много раз в посольских кружках и надеялся, что его гипотеза о вторичном упрощении, чрез которое проходят все государства /.../ обратится в признанную всеми аксиому»<sup>3</sup>. Губастов зафиксировал здесь то тревожное состояние, то напряженное ожидание перемен в судьбе, которое и побудило Леонтьева писать воспоминания — по сути исповедаться перед друзьями: на пороге новой жизни — внутренне готовясь к постригу — он подводил итог всему пережитому, осмысляя прошлое с высоты нового — религиозного — опыта и вместе с тем продолжая давно начатое в константинопольских гостиных обсуждение своих литературных неудач, «непризнанности» и «безвестности» (излюбленные формулировки Леонтьева).

Эти две темы — драма литературной судьбы и мечта о монашестве — стали в дальнейшем неразрывными и в творческой, и в житейской биографии Леонтьева. В их сплетении таилось явное и мучительное противоречие, поскольку литературство мыслилось как занятие мирское. В какой-то мере воспоминания Леонтьева и эволюция всего мемуарного замысла позволяют судить о его попытках развязать этот узел.

Прежде чем обратиться к анализу не вполне обычной природы хронологически первого фрагмента автобиографических записок Леонтьева, надо сказать, что этот очерк давно известен в двух

---

<sup>3</sup> Губастов К. Из личных воспоминаний о К.Н.Леонтьеве // Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С.213-214.

других редакциях. Сначала его напечатал сам автор в 1888 в «Русском вестнике» под названием «Тургенев в Москве», затем — И.И.Фудель в составе посмертного собрания сочинений Леонтьева, где текст был значительно расширен за счет нескольких глав, извлеченных публикатором из архива и написанных, как полагал Фудель, либо в 1888, либо несколько позднее. Здесь эти воспоминания появились уже под иным названием — «Мои дела с Тургеневым и т.д.», — сохранившимся в той копии текста, которая была взята Фуделем за основу<sup>4</sup>. Автограф очерка, напечатанного в собрании сочинений, видимо, не сохранился. Во всяком случае, Фуделю, как и нам, он оставался неизвестным. Однако использованная копия достаточно авторитетна: она сделана рукой Марии Владимировны Леонтьевой, племянницы писателя, постоянно помогавшей ему в работе. Леонтьева многие годы связывали с ней глубокие сердечные отношения, носившие, однако, драматичный характер и неоднократно прерывавшиеся. На этой копии сохранились исправления и дополнения, сделанные рукой Леонтьева, уже стариковским почерком, что, конечно, укрепило И.И.Фуделя в его датировке воспоминаний.

Отдельные фрагменты текста, известного из собрания сочинений, судя по многим реалиям и по некоторым пассажам, характерным именно для позднего Леонтьева, действительно были написаны в конце 1880-х, когда Леонтьев — в очередной, может быть, раз — подступил к осуществлению своего мемуарного замысла. Однако основу текста составили воспоминания, появившиеся еще в 1874 — незадолго до возвращения Леонтьева из Турции. Сохранился автограф — две тетради, довольно плотно исписанные еще вполне разборчивым леонтьевским почерком<sup>5</sup>. На титуле первой — позднейшая помета: «Писано в Турции в 1874 году. Со многим теперь не согласен; 1890. К.Леонтьев».

До сих пор этому автографу не уделялось должного внимания, тогда как текст его существенно отличается от двух известных публикаций — прижизненной и посмертной. Здесь обнаруживается несколько интересных, исключенных позднее фрагментов и, напротив, недостает материала, введенного на следующих этапах работы. Но главное, пожалуй, что именно этот текст при-

---

<sup>4</sup> Скорее всего, Фудель пользовался одной из двух, почти идентичных копий, хранящихся ныне в разных архивах (ГЛМ. Ф.196. Оп.1. Ед.хр.9; РГАЛИ. Ф.290. Оп.1. Ед.хр.5). Название «Мои дела с Тургеневым и т.д.» имело, видимо, рабочий характер: служило удобным обозначением целого блока материалов и их места в общей композиции мемуарной книги.

<sup>5</sup> ГЛМ. Ф.196. Оп.1. Ед.хр.8.



открывает завесу над неосуществленным мемуарным замыслом — как первое звено оборванной цепи.

Знатоку Леонтьева уже название очерка скажет о многом. Писатель озаглавил две тетради 1874 года «Моя литературная судьба», сопроводив их подзаголовком «Посвящается моим друзьям» и указанием на хронологические рамки описываемых событий: 1851-1854 (в действительности Леонтьев довел рассказ до рубежа 1850-1860-х). Заголовок совпадает с названием широко известного очерка Леонтьева, по праву считающегося одним из важнейших биографических источников (опубликован С.Н.Дурылиным в 1935 в «Литературном наследстве»). Этот второй очерк сопровождался аналогичным посвящением друзьям (причем имелись в виду те же константинопольские приятели Леонтьева), написан был, как ясно и из его содержания, и из переписки Леонтьева, в конце 1875 и являлся непосредственным продолжением тетрадок 1874 года: автор вел летопись своих новых литературных неудач, рассказывая «босфорским друзьям» о разочарованиях, постигших его по возвращении в Россию. Этот второй очерк пронизан пессимистическим настроением: ожидания Леонтьева не оправдывались, тогда как в кругу его посольских друзей считалось (и это то в шутку, то всерьез обсуждалось в письмах), что он поехал завоевывать Россию — общественное мнение, печать, публику.

Связь названных очерков подтверждается и тем, что они насыщены намеками, шутками, именами, стороннему человеку ничего не говорящими. Показательно, что оба текста хранились несколько лет у «босфорских друзей» — сначала у Софьи Петровны Хитрово (позднее она, как известно, была предметом глубокого чувства Вл.С.Соловьева; ее муж М.А.Хитрово с детства хорошо знал Леонтьева, что, видимо, облегчило писателю сближение со всем посольским кругом, включая самого посла Н.П.Игнатьева, в будущем министра внутренних дел), затем у Константина Аркадьевича Губастова, занимавшего в Турции в те годы довольно скромное служебное положение, значительно более молодого, чем Леонтьев, и находившегося тогда под его влиянием (позднее К.А.Губастов сделал завидную дипломатическую карьеру, закончив ее на посту товарища министра иностранных дел).

Итак, обе части «Моей литературной судьбы» адресовались людям близким и посвященным — такой их образ вырисовывается из леонтьевской переписки 1870-х: «Помимо того удовольствия, которое может доставлять сердцу моему расположение, заслуженное мною в к[он]ст[антинопольско]м посольстве, — писал он Губастову из России в августе 1875, — я люблю самую жизнь

этого посольства, его интересы мне родственнее, чем все здешние, и в среде этого общества очень мало есть лиц, о которых я вспоминаю без удовольствия, приязни (и гораздо больше даже!) и благодарности»<sup>6</sup>. Это была аудитория, перед которой Леонтьев впервые развернул свои идеи, положенные затем в основу «Византизма и славянства». Здесь он впервые оказался в центре внимания отдельного кружка, аристократического и влиятельного. Судя по всему, первоначальный текст «Моей литературной судьбы» рожден был не только потребностью Леонтьева в исповеди, но и просьбами «босфорских друзей». «На днях я посылаю Хитровой отрывки из "Записок" моих (по ее желанию)»<sup>7</sup>. Чуть позднее Леонтьев еще раз сообщал Губастову: С.П.Хитрово «ожидает /.../ "Записок" моих о прошлой зиме в Москве с нетерпением»<sup>8</sup>. При этом предполагалось знакомство всех или почти всех «босфорских приятелей» с этими воспоминаниями: «Прочтите мои "Записки" с Хитровыми»<sup>9</sup>, — обращался Леонтьев к Губастову, а затем просил его забрать эти «Записки» к себе «на хранение»: «У Вас будет, я думаю, вернее»<sup>10</sup>.

Знакомство с «Моей литературной судьбой» в контексте эпистолярных бесед Леонтьева 1870-х годов — с К.А.Губастовым, С.П.Хитрово, Е.А.Ону (это самые близкие из посольских приятелей) — побуждает задуматься над природой этих воспоминаний, больше похожих на письмо, чем на мемуар, — и по доверительности тона, и по конкретности адресата, и по способу функционирования (текст первоначально для печати не предназначался, был отправлен, хранился и читался в кругу друзей). Показательно, что в дошедшей до нас переписке с этими друзьями доминируют те же две темы, которые стали стержневыми в «Моей литературной судьбе» — тайна литературного призвания и мечта о монашестве, путь к которому потребовал всей жизни (известно, что Леонтьев принял тайный постриг лишь за два месяца до кончины). И, наконец, можно, видимо, говорить о тождестве образа автора в этой переписке и в «Моей литературной судьбе» — человека,

<sup>6</sup> Русское обозрение. 1894. №9. С.366. Исправлено по автографу (РГАЛИ. Ф.290. Оп.1. Ед.хр.28. Л.13). Поскольку в подготовленных Д.Соловьевым «Избранных письмах» Леонтьева (СПб., 1993) тексты представлены, как правило, в виде, удушенном даже по сравнению с дореволюционными публикациями, далекими от научных целей, нами по возможности ссылки даны на другие источники.

<sup>7</sup> РГАЛИ. Ф.290. Оп.1. Ед.хр.28. Л.14. В тексте «Русского обозрения» эти слова исключены из публикации.

<sup>8</sup> Там же. Л.19. В публикации «Русского обозрения» эти слова исключены из текста.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Русское обозрение. 1894. №9. С.371.

круто меняющего призвание, намеренно отказывающегося от всего земного ради спасения души и открывшихся ему высших целей существования. В 1870-е — в переломный момент жизни — Леонтьев нащупывал свой новый облик, культивируя его и в быту, и в литературе, — облик «литератора-монаха», решившегося на рискованную исповедь, полную признаний и саморазоблачений, ради религиозного пробуждения близких ему людей.

«Наконец-то, добрый мой Губастов, — я у *пристани!* Монастырь красив, архимандрит ко мне очень милостив; келья опрятна и просторна; я уже *брат Константин*, а не Константин Николаевич Леонтьев. — Писать мне не запрещают; — но я надеюсь, что с Божьей помощью и от этой дурной привычки я постепенно отстану»<sup>11</sup>. Здесь, конечно, чувствуется поза, некоторая доля аффектации: литературные занятия — «дурная привычка», Константин Леонтьев — «брат Константин». Леонтьев слишком уж подчеркнуто прощается с мирскими привязанностями: «...я захотел написать Вам и проститься с Вами. — Передайте то же всем моим цареградским друзьям и приятельницам. — Я всех их помню и люблю». Показательно, что в этом же письме, вроде бы уже похоронив мечты об успехе и признании, он добавлял: «О литературе ничего не буду писать. — Что Бог даст». И тут же, как бы оборвав себя: «...может быть, *монахом* еще буду раз на Востоке /.../ Только монастыри и хороши»<sup>12</sup>.

Г.В.Флоровский в значительной мере был прав, когда утверждал, что у Леонтьева «была религиозная тема жизни, но вовсе не было религиозного мировоззрения»<sup>13</sup>. Не знаю, можно ли эти слова в полной мере отнести ко всему комплексу идей и ко всем периодам жизни Леонтьева, — но к 1870-м, к первым мечтам о монашестве они имеют прямое отношение. Да, здесь было нечто от жизнотворчества, от попыток конструировать свой житейский облик в соответствии с общемировоззренческими настроениями. «Поэт и монах — вот только кто может равняться с воином»<sup>14</sup>, — и Леонтьев стремился воплотить в себе этот идеальный образ. Вынужденный покинуть Николо-Угрешский монастырь, откуда он отправил Губастову цитированное выше письмо, Леонтьев, однако, сообщал друзьям: «У себя дома я продолжаю носить монашеское одеяние, а когда по необходимости надобно выходить в

<sup>11</sup> Русское обозрение. 1894. №9. С.364 (с исправлениями по автографу).

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С.302.

<sup>14</sup> Письмо к Вс.С.Соловьеву от 18 июня 1879 / Леонтьев К. Избранные письма. Указ. изд. С.238.

другом платье, надеваю черную и очень длинную поддевку, а не хамское платье»<sup>15</sup>.

Настойчивое самоконструирование вовсе не означало, что попытки уйти из мирской жизни не были искренними, не сопровождались глубокой внутренней борьбой. Недаром после обращения Леонтьев сжег роман, с которым связывал большие надежды, — сжег, как он признавался Н.Н.Страхову, «из отречения, из борьбы, из самобичевания»<sup>16</sup>.

Дух «отречения» и «самобичевания» чувствуется и в тетрадях 1874 года, т.е. в первом фрагменте «Моей литературной судьбы». Еще не монах, но уже и не писатель исповедуется перед друзьями, отрекаясь от своего прошлого, надеясь и их привести к вере — т.е. превращая исповедь в проповедь. Собственно, об этом Леонтьев размышлял и в «Моем обращении...», корректируя, правда, первоначальный замысел — предельно расширяя аудиторию: «Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного донельзя, до утонченности, стал верующим христианином»<sup>17</sup>. Пафосом прощания с прежним обликом — с обликом «эстетика-пантеиста» — и пронизана «Моя литературная судьба»: «Я только что утратил тогда [в студенческие годы. — О.М.] детскую религию; — только что перестал молиться; — успокоиться на каком-то неясном деизме, эстетическом и свободном, на котором я успокоился позднее, я в то время еще не мог»<sup>18</sup>.

Готовя этот очерк для «Русского вестника» в 1888, Леонтьев изъяснял многие из саморазоблачительных характеристик, рассчитанных на дружеское понимание. Он вычеркнул, например, строки о своей «душе, тоскующей по идеалу, самолюбивой и беспокойной!»; убрал отзыв об А.Н.Островском, обнажавший наивный эстетизм мемуариста: «...он мне показался груб, мужиковат и горд. Он пил водку /.../ и вовсе не пришелся мне по душе. — Я искал советчика *джентльмена*, барина, дворянина хорошего, с такой же болеющей душой, как моя»<sup>19</sup>.

Многочисленные купюры объяснялись еще и тем, что в очерке «Тургенев в Москве» перед Леонтьевым стояла вполне традиционная для мемуариста задача, далекая от первоначальной. Он вспоминал здесь о Тургеневе как о своем литературном советчике и

<sup>15</sup> Письмо к Е.А.Ону от 15 июля 1875 // Леонтьев К. Избранные письма. Указ. изд. С.114.

<sup>16</sup> Письмо к Н.Н.Страхову от 16 июля 1875 // Там же. С.16.

<sup>17</sup> Леонтьев К.Н. Собр. соч. Указ. изд. Т.9. С.13.

<sup>18</sup> ГЛМ. Ф.196. Оп.1. Ед.хр.8. Л.3.

<sup>19</sup> Там же. Л.17, 21, 24.

доброжелателе, как о человеке ушедшей эпохи и обходил молчанием то обстоятельство, что к 1880-м их разделяло глубокое расхождение в общественных взглядах: «Взгляды — взглядами, а благодарность личная сама по себе. Во время моего студенчества он был так добр ко мне и сделал мне столько всякого рода пользы, что мне (кстати сказать, все очень хворающему) умереть не хотелось бы, не сказавши об нем (т.е. об его личной доброте и об его благородном участии) несколько добрых слов»<sup>20</sup>.

Ничего поэтому нет удивительного в том, что, когда Леонтьев вновь вернулся к «Моей литературной судьбе» в 1890, включая очерк в состав мемуарной книги, он восстановил многие купюры 1888 года, поскольку замысел приблизился к первоначальному — к исповеди-проповеди, адресованной, однако, уже не кругу друзей, но всем «образованным читателям». Некоторые размышления о превратностях своей литературной судьбы Леонтьев вычеркнул в 1888, но сохранил в позднейшей редакции: собственная биография служила для него материалом исповедного и проповедного свойства.

Обдумывая свои «постоянные литературные триумфы в теории и неудачи на практике»<sup>21</sup>, он приходил к мысли о мистической предопределенности, высшей предначертанности пережитого. Правда, поначалу, особенно в период создания «Моей литературной судьбы», на первом плане было чувство горечи: «Тургенев говорил и писал мне, чтобы я не падал духом /.../ Но я, помню, ничуть и не падал духом. Мною надолго-надолго тогда овладело в отношении искусства какое-то торжественное спокойствие. — Я был уверен в себе и в своей блестящей звезде. — Я не понимал, чтобы и люди, и судьба могут быть очень долго несправедливы. — Пришлось — позднее понять, что бывают»<sup>22</sup>. Однако постепенно у Леонтьева сформировалось другое отношение к прошлому.

В 1883 в очерках «Из недавних встреч и знакомств за границей и в России» (см. о них с 453–472 наст. книги) он слегка иронизировал над своим прежним самочувствием «непризнанного» пророка, над своей былой уверенностью в обладании истиной: «...я тогда все болел и ужасно тосковал и собирался все в тот дальний и страшный путь, из которого нет более возврата; — при этом мне казалось, что я овладел некоторыми истинами, которых развитие

<sup>20</sup> Письмо к Н. Я. Соловьеву от 15 декабря 1885 // Тургеневский сборник. М.; Л., 1966. С. 259.

<sup>21</sup> ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 9.

<sup>22</sup> Там же. Л. 42.

и распространение было бы в высшей степени полезно /.../ Я считал себя "непризнанным", "непонятым", не успевшим высказать и сотой доли того, до чего додумался в полной независимости жизни и ума»<sup>23</sup>. Здесь совсем не случайно появляются формулировки «мне казалось, что я овладел», «я считал себя непризнанным». В 1880-1890-е в «непризнанности» Леонтьев усматривал провиденциальный смысл, что плохо согласовывалось с пафосом «Моей литературной судьбы». В частности поэтому Леонтьев поставил — напомним — на автографе этого очерка помету: «Со многим теперь не согласен». И тем не менее, он отказался от сплошной правки текста. Возможно, потому, что намеревался в «посмертных записках» воссоздать траекторию своего пути — движение от заблуждения к прозрению через множество грехов и ошибок.

Нельзя сказать, однако, что в 1890 Леонтьев вовсе отказался от авторедактуры «Моей литературной судьбы». Он пошел по линии отдельных, «точечных» исправлений, довольно, однако, значимых. Так, к приведенным выше словам «Я только что утратил тогда детскую религию /.../ успокоиться на каком-то неясном деизме, эстетическом и свободном /.../ я в то время еще не мог» в 1890 Леонтьев приписал чрезвычайно важную для него фразу: «...а до серьезного горячего Православия последних лет моей жизни было еще очень далеко»<sup>24</sup>.

Авторский образ как бы двоился: взгляды и настроения 1870-х прослаивались суждениями 1890 года, когда Леонтьев с новой, более высокой точки обзора всматривался в свою биографию. Иногда он прибегал к решительной автоцензуре, убирая слишком резкие оценки (так, зачеркнуты в 1890 слова о «нечистом чувстве», которым «дышат» повести А.В.Дружинина), смягчая формулировки («скверные рожи» сменились «некрасивыми лицами»), перерабатывая фразы, в которых можно было расслышать ненавистные ему либеральные интонации («бессмысленная придирчивость»). Особенно оказалась взыскательным к себе Леонтьев ближе к финалу, где он давал уничижительные характеристики известным писателям. «Панаев и Некрасов оба были отвратительны /.../, Майков очень жалок. — Жена его носит очки! /.../ Я на всех почти ученых и литераторов смотрел как на необходимое зло; как на какие-то несчастные жертвы общественного темперамента»<sup>25</sup>. Почти весь этот фрагмент Леонтьев перечеркнул в 1890.

<sup>23</sup> ГЛМ. Ф.196. Оп.1. Ед.хр.10. Л.5-6.

<sup>24</sup> Там же. Ед.хр.8. Л.3.

<sup>25</sup> Там же. Л.117-118.

А следовавший за ним пассаж о М.Н.Каткове, видимо, был настолько резким, что Леонтьев попросту вырезал его ножницами. Лишь в одной из копий, сделанной рукой М.В.Леонтьевой, сохранилось начало уничтоженного фрагмента, позволяющее восстановить хотя бы авторскую интонацию: «Он был занят, рассеян и гораздо гордее прежнего обходился со мною /.../ Он очень хорошо /.../ понял, что я испортил мою прежнюю манеру и что я был растерян между наукой и искусством /.../ Многие из его советов были мне потом очень полезны, а холодность его к моим мелким произведениям того времени была вполне заслужена»<sup>26</sup>.

Вообще поздний Леонтьев испытывал к Каткову смешанные чувства: крайняя неприязнь к его личным качествам сочеталась с восхищением политическими дарованиями. Так что раздражение 1870-х (даже вполне обоснованные обиды) не раскрывали истинного отношения Леонтьева к Каткову и уже поэтому весь пассаж о нем не мог удовлетворить мемуариста в конце жизни.

Со многим Леонтьев был «не согласен», перечитывая свою исповедь 16-летней давности, но, вероятно, более всего — с объяснением литературных неудач.

«Совершенно несообразны мои произведения с моими замыслами и с моими возможностями! Не поспевают моя бедная, изменяющая рука за полетом моей мысли. Вы с Вашим всегдашним удивительным тактом, — писал он Губастову в начале 1883, — угадали именно то, что меня терзает /.../ Что-то такое, что я в иные минуты расположен назвать свинством, глупостью и европейским холопством нашей публики, а в другие, более идеальные, карающей десницей Господней за мои многолетние грехи»<sup>27</sup>. Леонтьев угадывает в своей судьбе предначертанный свыше сценарий, смысл которого нельзя до конца понять<sup>28</sup>.

Из этого становится совершенно ясно, почему так тесно сплелись в воспоминаниях Леонтьева две темы — литературная судьба и религиозное пробуждение.

Получается, что очерк 1874 года — первый фрагмент «Моей литературной судьбы» — сопровождал Леонтьева едва ли не всю его зрелую жизнь, изменяясь вместе с самим автором. И хотя коренной переработки текста писатель не делал, акценты все же смещались, а авторский образ корректировался, подтягивался к искомому. Возможно, с этой исповедью Леонтьева и связано рождение всего мемуарного замысла. Вскоре после ее окончания он

<sup>26</sup> РГАЛИ. Ф.290. Оп.1. Ед.хр.5. Л.107.

<sup>27</sup> Русское обозрение. 1896. №3. С.398.

<sup>28</sup> См.: Леонтьев К.Н. Собр. соч. Указ. изд. Т.9. С.14-16.

сообщал Н.Н.Страхову о намерении уйти из литературы или по крайней мере ограничиться «духовными и политическими статьями», но все-таки мечтал об одном исключении — о «большой повести, в которой я бы представил историю моего обращения»<sup>29</sup>. «Моя литературная судьба» была чем-то вроде черновика этой повести или подготовительных материалов к ней, однако до самого «обращения» писатель здесь так и не добрался.

Одна из попыток довести мемуарный замысел до конца при- шла на самое начало 1883. 1 января Леонтьев сообщал Губастову в письме, которое под его диктовку писала Марья Владимировна Леонтьева: «Я очень серьезно теперь хочу заняться, с ее [т.е. М.В.Леонтьевой. — О.М.] помощью, всем тем, что в моей жизни, мыслях и воспоминаниях заслуживает названия посмертного /.../ Ценители напечатанного еще найдутся, но моя личная жизнь и все особенности моей борьбы — только и известны двум лицам хорошо — именно ей и Вам /.../ Я часто думаю, что если мне самому не удастся много из своих воспоминаний после себя оставить, то Вы вдвоем с Машей можете многое дополнить /.../ и в общественной, и в частной жизни моей, умно и верно понятой — нашлось бы достаточно любопытного и поучительного»<sup>30</sup>. В этом же году Леонтьев начал писать уже цитированные выше воспоминания «Из прежних встреч и знакомств за границей и в России», где отсылал читателя к другим фрагментам своих мемуаров, которые должны были войти в задуманную книгу: «...из других отрывков моих воспоминаний можно видеть, что я общество донских казаков в степи, под Керчью, и компанию феодосийских греков-мещан предпочитал не только обществу моих товарищей-студентов московских, но даже и таким домам, в к[ото]рых я мог встречать Кудрявцева и Грановского»<sup>31</sup>.

Итак, Леонтьев намеревался включить в «посмертные записки» много из тех воспоминаний, которые уже были к тому времени написаны, т.е. очерк «Сдача Керчи в 1855 г.», «Воспоминание о Ф.И.Иноземцеве и других московских докторов 50-х годов», «Мою литературную судьбу» и, возможно, все остальные его мемуарные произведения. И.И.Фудель, видимо, был абсолютно прав, расположив леонтьевские мемуары в собрании сочинений в последовательности описываемых событий, а не по хронологии их создания: чтобы воссоздать, как намеревался Леонтьев, «особенности» пережитой им «борьбы», надо было проследить его

<sup>29</sup> Леонтьев К. Избранные письма. Указ. изд. С.117.

<sup>30</sup> Русское обозрение. 1896. №3. С.394, 401.

<sup>31</sup> ГЛМ. Ф.196. Оп.1. Ед.хр.10. Л.22-23.



эволюцию, поставить изменявшееся «я» автора в центр повествования.

Подобная композиция воспоминаний, видимо, и провоцировала у Леонтьева желание облечь свою биографию в романную форму. Причем намерение это возникало не раз. То, о чем Леонтьев писал Страхову в 1875 («повесть, в которой я бы представил историю моего обращения»), он со значительными модификациями повторил много позднее в «Моем обращении...», где вспоминал о своих колебаниях между «действительной автобиографической исповедью» и «романом в строго православном духе, в котором главный герой будет испытывать в существенных чертах те же самые духовные превращения, которые испытывал я»<sup>32</sup>. Любопытно, однако, что когда Леонтьев писал эти строки и когда он задавался вопросом: что, собственно, роман или «откровенная, внимательно написанная автобиография», способно больше повлиять на убеждения читателя, — у него был готов не только ответ на этот вопрос, но и сама автобиография, которую урывками он писал всю жизнь, обращаясь к разным периодам своего прошлого: учебе в университете, вступлению на литературную арену, участию в Крымской войне, дипломатической службе. Под влиянием различных обстоятельств — не все из которых нам известны — он в разные годы создавал эти фрагменты воспоминаний, которые оставалось лишь соединить. И Леонтьев приступал к этой работе неоднократно — в 1883, затем в 1889-1890-х — но так и не довел ее до конца. Что-то ему мешало. Не в последнюю очередь, наверное, — недовольство тем образом автора, который вырисовывался из ранних его очерков и не соответствовал позднейшей автоконцепции. Произошло значительное отчуждение от автопортрета 16-летней давности: облик «литератора-монаха», наставляющего своих собеседников-друзей, в 1890 не мог не вызвать у Леонтьева неприязни.

Уже в конце 1870-х он мучительно ощущал, что его «босфорские» настроения середины десятилетия — не более, чем «надменные надежды»: «Я возмечтал быть примером, учителем, я хотел (вообразите!) открыть другим глаза...»<sup>33</sup> По возвращении в Россию он оказался не пророком, но полунищим скитальцем, готовым временами на любую службу — и земским врачом, и домашним учителем, и балканским корреспондентом Каткова, и цензором (каковым вскоре и стал). «Я дошел уже до того, что если бы это могло способствовать спасению души, то я бы в число тех

<sup>32</sup> Леонтьев К.Н. Собр. соч. Указ. изд. Т.9. С.12.

<sup>33</sup> Леонтьев К. Избранные письма. Указ. изд. С.238.

постоянных, *серых* сотрудников Каткова пошел бы доживать, которых быт и тип сначала меня так ужасал!..» Однако при всем драматизме этого признания — за ним стояло новое прозрение: «Это значит, друг мой, — писал Леонтьев Губастову, — иными словами, что я теперь стал более *в сердце монах*, чем даже тогда, когда носил подрясник на Угреше!..»<sup>34</sup>

Насколько именно эта тема — мучительный путь к постригу — важна была для всего мемуарного замысла Леонтьева, свидетельствуют напечатанные в 1889 и написанные, судя по всему, тогда же «Воспоминания об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря св. Пантелеймона на горе Афонской». Самое поразительное в этом очерке, что Леонтьев рассказывал о человеке довольно известном и чуждом ему самому судьбой, происхождением, психическим складом, — но рассказывал, как о самом себе, наделяя его собственными настроениями и вкусами. Этот «великий», по словам Леонтьева, «истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества»<sup>35</sup>, происходивший из тульских купцов и принявший пострижение в молодости, — по предположению мемуариста мечтал о монастыре по тем же причинам, что побуждали к постригу и самого Леонтьева: «Какая-нибудь общая мысль о суете и греховности мира этого; какая-нибудь непосредственная и постоянная, утверждаемая духовным чтением, мысль о загробной жизни, о райском блаженстве, об адских, ужасающих муках, — т.е. *именно то*, что составляет *самую сущность* христианской веры, сущность, увы, слишком часто забываемую нынче для дум о практической земной морали, о пользе ближним и т.д.»<sup>36</sup>. Здесь сконцентрированы хорошо известные идеи позднего Леонтьева, его представления о «самой сущности» христианства. Можно, конечно, предположить, что именно у отца Макария Леонтьев и почерпнул эти идеи, однако вводящая далее в этом очерке мотивировка горячего стремления молодого купца в монастырь выглядит уже совсем леонтьевской: «Быть может (я даже наверное), и сильная примесь бессознательного эстетического чувства; любовь к особой поэзии иноческой жизни»<sup>37</sup>. О леонтьевском эстетизме говорено столько, что здесь нет необходимости повторяться, как нет необходимо-

<sup>34</sup> Русское обозрение. 1894. №11. С.398.

<sup>35</sup> Леонтьев К.Н. Воспоминания об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря св. Пантелеймона на горе Афонской / Публикация Р.Пашко // Философско-литературные штудии. Вып.1. Минск, 1991. С.244 (первоначально напечатано в «Гражданине» в 1889).

<sup>36</sup> Там же. С.250-251.

<sup>37</sup> Там же. С.251.

сти доказывать, что он приписывал купеческой молодежи, в среде которой формировался будущий архимандрит, собственные настроения: петербургским заговорщикам, петрашевцам, задумавшим «безбожный и кровавый переворот», противопоставлен кружок молодых купцов, «единомысленных идеалистов, которые думают не о земном спасении русского общества и тем более не о "человечестве" каком-то, а только о загробном спасении *своей души!*»<sup>38</sup>. Здесь с отчетливостью слышен голос автора «Наших новых христиан» — Леонтьев отдает отцу Макарию свои идеи, подставляет себя на его место. И думается — неспроста.

«Воспоминания об архимандрите Макарии...» написаны в период сосредоточенности Леонтьева на замысле «посмертных записок». Даже если он не собирался включать этот очерк в мемуарную книгу (мы не располагаем аргументами ни «за», ни «против»), пафос очерка выдает авторский настрой, очень близкий к «Моему обращению...» и определявший, по-видимому, внутреннюю логику всего неосуществленного замысла. «Отец Макарий /.../ был откровенен со мною и рассказывал мне достаточно о себе, хотя бы и только в главных чертах /.../ Рассказы его именно и были следствием частых вопросов моих: "Почему и как, и вследствие чего тот или другой человек стал монахом". Это один из самых замечательных и поучительных вопросов, когда идет речь о монашестве»<sup>39</sup>. Собственная автобиография мыслится как ответ на этот «замечательный и поучительный вопрос». Но ответ этот ему легче было выстроить на материале чужой жизни, чем собственной, поскольку главного события — пострига — в его жизни еще не произошло и видел он свою биографию далекой от того идеала, который проповедовал. Может быть, чувство незавершенности собственной судьбы и парализовало работу над мемуарным замыслом. Может быть, Леонтьев был абсолютно — провидчески — прав, назвав свои записки «посмертными»? Ведь замысел менялся по мере авторской эволюции, и точка могла быть поставлена лишь в конце пути остановившимся в своем движении Леонтьевым.

Под конец важно сказать, что все наши размышления носят предварительный характер. Дело в том, что бумаги Леонтьева дошли до нас с огромными лакунами. Много, возможно, утрачено безвозвратно, но очень многое из сохранившегося по разным причинам сегодня недоступно. Мы проследили творческую историю лишь одного очерка, как представляется, ключевого для

<sup>38</sup> Леонтьев К.Н. Воспоминания об архимандрите Макарии... Указ. изд. С.256.

<sup>39</sup> Там же. С.249.

всего замысла. Вполне возможно, что и другие его известные воспоминания прошли через несколько редакций, перерабатывались автором уже и после их появления в печати. Возможно, разные мемуары Леонтьева дошли до нас как бы на разных стадиях их включения в «посмертные записки». Ответить на эти вопросы, а значит, реконструировать один из центральных замыслов Леонтьева, может быть, и представится случай. Но этот случай уже будет неотделим, вероятно, от дальнейшей судьбы леонтьевского архива.

**П**ортреты



**«НЕ МОГУ ПОКОРИТЬ СЕБЯ НИ БУЛГАРИНЫМ,  
НИ ДАЖЕ БЕНКЕНДОРФУ...»**

**Диалог В.А.Жуковского с Николаем I в 1830 году**

Фигура Василия Андреевича Жуковского так знакома нам, так привычна. При звуке этого имени возникает особая эмоциональная аура — тихая гармония, нежность, чистота, прозрачная цельность и затаенная печаль. Лебедь. Недаром знавшие Жуковского находили в нем сходство с этой птицей. Тот же элегический образ, запечатленный в сознании исследователей, долгое время определял и продолжает определять направление их интересов. Социальные и политические убеждения поэта до сих пор чаще всего остаются на периферии внимания как нечто вторичное и малозначительное<sup>1</sup>. Между тем общие мировоззренческие корни объединяют их с нравственными и эстетическими взглядами, которые традиционно считаются для поэта определяющими. Именно в этом подлинная глубина и многогранность его живой личности. Рыцарь-лебедь, Лознгрин — вот образ, соединяющий две стороны натуры Жуковского. «У тебя тройным булатом грудь вооружена, когда нужно идти грудью на приступ для доброго дела»<sup>2</sup>, — в 1840 писал другу П.А.Вяземский, который не раз имел возможность убедиться в своей правоте. Множество людей, известных и неизвестных, испытали на себе деятельную доброту Жуковского. Неутомимый, настойчивый ходатай за других, он очень редко просил что-либо для себя — неловко, стыдясь непривычной просьбы. Этим смущением обнаруживала себя гордая и сильная душа, превыше всего ценящая независимость и чувство собственного

---

<sup>1</sup> Классическим примером романтизации образа поэта, влекущей за собой упрощенные представления о его личности и взглядах, остается монография А.Н.Веселовского «В.А.Жуковский: поэзия чувства и "сердечного воображения"» (СПб., 1904). В этом же ключе выдержаны книги, принадлежащие перу Б.К.Зайцева (Жуковский. Paris, 1951), И.М.Семенко (Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975) и др. Статьи, затрагивающие общественно-политические взгляды Жуковского, стали появляться лишь в последние десятилетия. Из работ, отразивших новое видение личности поэта, см.: Библиотека В.А.Жуковского в Томске. Ч.1-3. Томск, 1978-1989; Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции Жуковского. Томск, 1985.

<sup>2</sup> Русский архив. 1900. №3. С.385-386.

достоинства. Жуковский дорожил внутренней свободой. Она была его главной нравственной опорой в жизни, она же давала право выступать заступником других.

Жуковский нередко выступал в защиту прав и чести других людей<sup>3</sup>. Эти случаи многообразны, поэт действует в них разными средствами и с разной степенью успеха, но среди них выделяются такие, в которых он прибегает преимущественно к юридической аргументации. Тем не менее вопрос о правовых взглядах Жуковского никогда специально не поднимался, отчасти потому, что поэт никак нельзя отнести к числу самостоятельных теоретиков в этой области. Его правовые взгляды не образуют стройной системы, однако они входят в качестве важного элемента в общий комплекс общественно-политических взглядов и, в конечном счете, обуславливаются его мировоззрением.

Правовая тематика впервые серьезно привлекла внимание Жуковского в 1826-1827. Никогда ранее он не интересовался юриспруденцией, но катастрофа 14 декабря многое перевернула в России. Из царя она сделала следователя, из потенциальных реформаторов — государственных преступников, из поэта — адвоката. Н.И.Тургенев — член семьи, с которой Жуковского связывали теснейшие дружеские узы, — будучи вне России, неожиданно для себя оказался в роли беглого преступника, заочно судимого и осужденного на смерть (замененную вечной каторгой). Он разом лишился честного имени, имущества, Родины, прикованный к Англии, которая дала ему убежище. Братья декабриста были потрясены: Сергей не выдержал удара и скоро, помешавшись в уме, умер, Александр, жертвуя собственной карьерой и репутацией, посвятил всего себя спасению брата. Сам Н.Тургенев находился в очень тяжелом моральном и физическом состоянии. Мог ли Жуковский оставаться в стороне? Вместе с А.Тургеневым он включился в подготовку юридического опровержения приговора. Это и заставило его вплотную заняться изучением права, в особенности уголовного и процессуального.

Собственно русское правоведение мало что могло дать ему. Оригинальных мыслителей оно еще не выдвинуло, немногие пе-

---

<sup>3</sup> См. ряд заметок Н.Ф.Сумцова, опубликованных в «Харьковском университетском сборнике в память В.А.Жуковского и Н.В.Гоголя» (Харьков, 1903): «В.А.Жуковский как филантроп», «В.А.Жуковский и Т.Г.Шевченко», «В.А.Жуковский и А.Мещевский», «В.А.Жуковский и А.И.Герцен» и др. Заступничеству поэта за И.В.Киреевского посвящена статья М.И.Гиллельсона «Письма Жуковского о запрещении "Европейца"» (Русская литература. 1965. №4). О ходатайствах Жуковского за осужденных декабристов см.: Иезуитова Р.В. Жуковский и его время. Л., 1989. С.168-192). Перечень таких работ можно было бы продолжить.



чатные труды были посвящены в основном описанию и обоснованию существующей весьма несовершенной системы правосудия. Главный ее порок состоял в том, что продолжали оставаться в употреблении средневековый по духу розыскной (иначе следственный или инквизиционный) процесс и теория формальных доказательств, подвергнутые беспощадной критике виднейших западных теоретиков еще во второй половине XVIII в.

Между тем уголовно-правовая проблематика, тесно связанная с государствоведением и вопросом о правах человека, была довольно популярна у либералов. Тот же Н.И.Тургенев в 1822 составил проект введения в России начал «французского», т.е. смешанного следственно-состязательного процесса — словесного производства дел, гласности, более четкого разделения функций следствия и суда, права обвиняемого на защиту посредством адвоката, суда присяжных.

За границей Жуковский нашел куда более богатую пищу для своих правовых штудий. Особенно полезным оказалось пребывание во Франции, где он внимательно наблюдал за деятельностью уголовных судов. «Жуковского эти судебные сцены более интересуют, нежели все прочее в Париже»<sup>4</sup>, — сообщал А.И.Тургенев брату. О серьезности этого интереса свидетельствует намерение поэта написать статью о «криминальном публичном суде» во Франции<sup>5</sup>.

В 1826-1827 поэта окружало как никогда много людей либеральных убеждений: братья Тургеневы, П.Б.Козловский, Ф.Гизо и, наконец, Бенжамен Констан — ведущий теоретик либерализма. Общение с ними послужило катализатором для складывания той либеральной подосновы социально-политических взглядов Жуковского, которая обусловила своеобразие его общественной позиции на многие годы вперед. Не будет преувеличением сказать, что она формировалась в значительной степени на базе изучения права, и прежде всего уголовного процесса. Определяющая для либерального сознания идея суверенитета человеческой личности и комплекс мер, направленных на защиту этого суверенитета, — все это превратилось для Жуковского в осмысленное, пережитое и прочувствованное убеждение.

Осенью 1827, накануне возвращения в Россию, Жуковский закончил работу над запиской о деле Н.И.Тургенева<sup>6</sup>. Следуя так-

<sup>4</sup> Письма А.И.Тургенева к Н.И.Тургеневу. Лейпциг, 1862. С.31.

<sup>5</sup> См.: В.А.Жуковский-критик. М., 1985. С.225 (письмо Жуковского к П.А.Вяземскому от 26 декабря 1826).

<sup>6</sup> См.: Жуковский В.А. Полн. собр. соч.: В 12 тт. СПб., 1902. Т.10. С.13-23.

тике, избранной самим декабристом, он делает в ней основной упор на формальном анализе обвинения, следствия и приговора и на критике их с точки зрения передовой уголовно-процессуальной теории.

Основные идеи записки таковы: 1. «Цель беспристрастного суда есть не обвинение и не оправдание, а одна *правда* /.../ Отыскание вины и отыскание невинности равно должны быть для суда святы, ибо в том и в другом равно может заключаться правда». 2. «Отыскание вины и отыскание невинности» возможно только на основании привлечения доказательств как против, так и за обвиняемого, причем на первое место среди доказательств Жуковский ставит не традиционное для розыскного процесса собственное признание, а «факты», т.е. неопровержимые улики. «Без фактов ни показания свидетелей, ни собственное признание не удовлетворительны, и осуждение на них одних утверждено быть не может». 3. Обвиняемый имеет право защищать себя, более того, это необходимый элемент процесса поиска истины. 4. Формулировка обвинения должна быть однозначной и определенной, и никакие проступки обвиняемого, не подпадающие под это обвинение, не могут приниматься как доказательства вины. Это положение связано с наиболее острой проблемой в деле Тургенева — его неявкой к суду, которая была официально расценена как подтверждение виновности. Жуковский настаивает на том, что виной может считаться лишь то, «что закон предварительно признал виною и чему он предварительно определил наказание». Неявка же по русским законам не подлежит наказанию. 5. Позволено все, что не запрещено законом. Этот важнейший постулат, противостоящий неограниченному произволу властей, Жуковский использует для доказательства того, что подтвержденное свидетельскими показаниями и собственным признанием членство Тургенева в Союзе благоденствия не может вменяться ему в вину, поскольку в то время тайные общества в России еще не были формально запрещены. Но главным аргументом, разрушающим, с точки зрения Жуковского, все обвинение, было утверждение, что суду могут подлежать только действия, а отнюдь не голый умысел, т.е. разговоры, даже если в них порицалось правительство и высказывалось стремление к внутривластным переменам<sup>7</sup>.

Однако действительность скоро остудила оптимизм адвокатов Тургенева. Сведущий в особенностях русской судебной системы Д.В.Дашков, познакомившись с запиской, сообщил Жуковско-

---

<sup>7</sup> Последнее положение осталось чуждым российскому законодательству даже после судебной реформы 1864 г.

му, что, на его взгляд, надежды на пересмотр приговора нет, несмотря на то, что текст и произвел в нем «моральное убеждение». Жуковский записал его слова: «Нельзя жертвовать общим благом частному, хотя бы то было основано и на несправедливости. Правительство не должно признаваться в несправедливости, оказанной лицу частному»<sup>8</sup>. И это был отзыв человека, явно расположенного к автору записки и не проявившего ни малейшей личной вражды к Н.И. Тургеневу! Поэт был вынужден признать, что даже самые логически ясные и убедительные, с его точки зрения, рассуждения перед людьми, чье мышление не готово их воспринимать, звучат, в лучшем случае, как глас вопиющего в пустыне. То, что казалось элементарно простым и абсолютно очевидным во Франции, в России обращалось в бессмыслицу. Русское правосознание основывалось на совершенно других началах, и что толку, что с точки зрения Европы эти начала давно устарели!

В конце 1827 Жуковский все-таки передал свою записку царю, уже почти не веря в успех. Действительно, попытка оказалась тщетной. Записка легла под сукно. После этого мы уже не находим у Жуковского столь четко выраженных юридических деклараций. Но раз сформированные правовые взгляды продолжали по-прежнему определять его поступки и оценки, иногда даже, вероятно, незаметно для него самого.

Провал лобовой атаки привел Жуковского и Тургеневых к идее позиционной войны. Следующие два года проходят в попытках добиться от царя хотя бы смягчения положения изгнанника. Настойчивость ходатайств и демонстративно рыцарственные жесты самого декабриста, заявлявшего, что он готов явиться к личному суду императора, в конце концов едва не привели к тому, что Тургенев оказался в ловушке. Это выяснилось вскоре после аудиенции, данной Жуковскому 1 апреля 1830, и только тогда потрясенные заступники окончательно признали свое поражение<sup>9</sup>.

Активные действия в защиту Н.Тургенева и поддержка, в те же годы оказанная опальному П.А.Вяземскому, заметно отразились на политической репутации самого Жуковского. III Отделение откровенно выражало сомнения в благонадежности поэта. Наконец, Жуковский, знавший, хотя и не в подробностях, об этих происках, начал чувствовать охлаждение и даже враждебность со стороны Николая. Желая оправдаться и расставить точки над i,

<sup>8</sup> Жуковский В.А. Указ. изд. Т.11. С.32. Запись сделана 1 ноября 1827. См.: РГАЛИ. Ф.198. Оп.1. Ед.хр.36. Л.1.

<sup>9</sup> Подробнее об участии Жуковского в деле Н.И.Тургенева см.: Дубровин Н.Ф. В.А.Жуковский и его отношение к декабристам // Русская старина. 1902. №4. С.47-94.

он 30 марта 1830 обратился к царю с письмом, завершающимся просьбой о личной встрече. Уже через день аудиенция была дана.

Благодаря пространной дневниковой записи, сделанной Жуковским по горячим следам, мы имеем возможность судить о содержании беседы и о впечатлении, которое она произвела на поэта. И хотя фрагменты этого текста ранее уже публиковались, найденный нами список позволяет представить его в полном объеме<sup>10</sup>.

1 Апреля. Письмо, написанное мною, в котором объясняю, что меня чернят и чернят враги литературные. Взгляд на мою прошедшую и настоящую жизнь, которые дают мне право не бояться никаких обвинений тайных. Требую изъяснения<sup>11</sup>. Мое письмо, по-видимому, производит свое действие: on est gêné avec moi. Enfin on m'assigne une entrevue<sup>12</sup>. Это свидание было не объяснение, а род головомойки, в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова; вместо [того], чтобы слушать меня, мне сказано было, почему я подал повод многим называть меня главою партии<sup>13</sup>; наконец, прибавлено было, что хорошее мнение на счет мой не переменилось. Потом разговор перешел к тому, что мною написано<sup>14</sup>; когда критикует Царь, который (худо зная дело и признаваясь в незнании<sup>15</sup>), хочет, однако, быть

<sup>10</sup> Впервые большие выдержки из этой записи были опубликованы в упомянутой выше статье Н.Ф.Дубровина (С.79-81). С точки зрения текстологии, публикация эта весьма несовершенна: в ряде случаев изменена грамматическая форма слов, при передаче диалога внесены поясняющие слова, отсутствующие у Жуковского. Но главный недостаток публикации состоит в ее очевидной политической тенденциозности. Опущены фрагменты, содержащие наиболее острые высказывания Жуковского, противоречившие официальному образу поэта, довольного действительностью и абсолютно лояльного к Николаю I («Вместо [того], чтобы слушать меня /.../ отвечать нечего», «Этим кончилась первая половина /.../ другие остались в стороне», «В разговоре со мною /.../ во власти доносчиков» и приписка «на то, что я мог бы сказать...»). В совокупности это составляет около трети текста. К сожалению, оригинал записи затерялся. Восстановить исходный текст позволила обнаруженная в СПб ФАРАН его копия, которой историк пользовался при работе над своей статьей (Ф.100. Ед.хр.273. Л.43-48). Один из листов копии утрачен, однако лагуна пришлась на опубликованный отрывок. Таким образом, дневниковая запись Жуковского воспроизводится в соответствии с копией, хранящейся в архиве РАН, а текст со слов «было напротив дать Вам лучшее мнение» до слов «ни даже Бенкендорфу: у меня» включительно — по статье Н.Ф.Дубровина.

<sup>11</sup> Имеется в виду письмо Жуковского Николаю I от 30 марта 1830. См.: Жуковский В.А. Указ. изд. Т.12. С.19-22.

<sup>12</sup> Со мною стесняются, наконец мне назначено свидание (*франц.*).

<sup>13</sup> Затем было написано, но потом зачеркнуто: «но что это несколько не по-редило мне в мнении самого Государя».

<sup>14</sup> Первоначально было написано, но потом зачеркнуто: «к критике моих стра-ниц».

<sup>15</sup> Первоначально было написано, но потом зачеркнуто: «и признавая свое незнание».

прав, то отвечать нечего. Вообще результатом я доволен: он произвел мир, но заставил меня о многом переменить мнение и многого страшиться в будущем<sup>16</sup>.

— Что ты это написал ко мне?

— Вы знаете или, по крайней мере, должны знать, что я к Вам привязан. А меня Бог знает кто очернил в Вашем мнении.

— Слушай; знаешь пословицу: *dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es*<sup>17</sup>. Ее можно применить к тебе. Несмотря на то, что Тургенев осужден, что я тебе говорил об нем, что ты знаешь, что доказательство существует против него, ты беспрестанно за него вступался и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиноватым.

— Да я ведь знал его прежде и знаю об нем то, чего правительство не знает. Когда Вы мне сказали...

— Слушай! Ты имел связь с Вяземским, который делал множество nepозволительных поступков, врал сам, подбивал врать и действовал других, был настоящий *bont-feu*<sup>18</sup>. До вчерашнего дня был он таков. Теперь я сам позволю тебе его обнять. Можно<sup>19</sup>. Я все, все это скажу ему сам, когда увижу его; теперь он все загладил своим раскаянием! Он поступил так, как очень редко поступают; смирился, писал к В[еликому] К[нязю]. Если бы он за 4 года сделал это с покойным Императором, то получил бы тоже прощение, и Тот открыл бы ему объятия; теперь все забыто. Но ты навлек на себя нареkania. Тебя называют главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Сбоку приписка: «На то, что я мог бы сказать, нельзя было дать писаного ответа, ибо как назвать моих тайных обвинителей? И так, легче было обратить упреки на меня; это уловка неправых сильных, которые или не хотят быть неправы, или не понимают, в чем они неправы».

<sup>17</sup> Скажи мне, с кем ты знаком, я скажу тебе, кто ты (*франц.*).

<sup>18</sup> Зажигатель (*франц.*).

<sup>19</sup> Речь идет об истории «примирения» П.А.Вяземского с правительством и возвращения его на службу. В начале 1829 он написал письмо Николаю I с приложением своей «Исповеди». Эти документы, присланные из Москвы Жуковскому в Петербург, были через А.Х.Бенкендорфа переданы царю, однако никакого ответа не последовало. Спустя год Вяземский сам приехал в столицу и узнал, что неременным условием его прощенья должно стать примирение с вел. кн. Константином Павловичем, оскорбленным нелицеприятными суждениями о его особе, извлеченными из перлюстрированных писем Вяземского начала 1820-х. В конце марта 1830 он написал великому князю краткое письмо с извинениями, а копию его при своем письме послал Николаю. На этот раз император смягчился, и 18 апреля Вяземский получил назначение на службу, однако не в Министерство юстиции, как надеялся, а в Министерство финансов. Все время, пока тянулось это дело, Жуковский принимал в судьбе Вяземского самое живое участие, несмотря на то, что это явно вредило его собственным отношениям с царем.

<sup>20</sup> Среди тех, кому Жуковский оказывал поддержку в конце 1820-х — начале 1830-х, были не только Вяземский и Тургенев, но и ссыльный декабрист Ф.Н.Глинка, А.В.Якушкина — жена декабриста, И.В.Киреевский — будущий славянофил, имевший репутацию либерально настроенного человека.

— Да кто называет? Я никого не знаю! И знать не хочу; живу у себя, делаю свое дело и ни о чем постороннем не забочусь! Моя забота в том, чтобы Вы имели обо мне хорошее мнение, и Вы должны его почерпнуть из моей жизни, а не из того, что другие говорят обо мне.

— Нет! ты должен об этом заботиться! Ты при Моем Сыне<sup>21</sup>! Как же тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступления?

Этим кончилась первая половина разговора; началась другая, то есть критическая.

Тут еще труднее было отвечать. Предмет шекотливый. А Он говорил то, чего последний ученик сказать не может, что принадлежит не к нашему веку, а к XI-му. Это доказывает только то, что и самые логические вещи для ума нелогического и не приготовленного никаким образованием, не только не убедительны, но и не понятны. Тут отвечать было нечего. Надобно было если не согласиться, то уступить. К счастью, все, на чем основано было обвинение, принадлежит единственно мне, и другие остались в стороне.

Если бы я имел возможность говорить, вот что бы я отвечал<sup>22</sup>: «То, что могло подать Вам повод быть мною недовольным, должно было напротив дать Вам лучшее мнение обо мне. Я защищаю тех, кто Вами осужден или обвинен перед Вами; но это служит только доказательством моей доверенности к Вашему характеру. Разве Вы не можете ошибаться? Разве правосудие (особливо у нас) безошибочно? Разве донесения Вам людей, которые основывают их на тайных, презренных доносах, суть для Вас решительные приговоры Божи<sup>23</sup>? Разве Вы можете осуждать, не выслушав оправдания? Разве я могу знать об этих доносах? И, зная о них, должен ли я их потому уже признавать истинными, что они доносы, тайные доносы, сделанные Вам и обвинившие перед Вами безответных? И разве могу, не утратив собственного к себе уважения и Вашего, жертвовать связями целой моей жизни? Итак, правилом моей жизни должна быть не совесть, а все то, что какому-нибудь низкому наушнику вздумается донести на меня по личной злобе Бенкендорфу, и против таких презренных клевет не может устоять то, что одно только должно быть принято за правило, когда судишь о человеке: его

---

<sup>21</sup> С 1825 по 1840 Жуковский официально занимал должность наставника наследника престола вел. кн. Александра Николаевича (будущего императора Александра II).

<sup>22</sup> Сбоку приписка: «и сделал бы хорошо, но верно бы повредил себе; итак, невозможность говорить некоторым образом послужила мне к добру».

<sup>23</sup> Первоначально было написано, но затем зачеркнуто: «Разве человек, обвиненный перед Вами теми, кто Вам доносит и которые основывают доносы свои на тайных показаниях, следственно, презренных показаниях, виноват безответно? И могу ли я соглашать связи мои с тем?»

видимые дела, его характер, его собственный образ мыслей. Я не могу бегать по улицам и спрашивать у всех возможных на меня доносчиков, что мне думать, что мне делать и кого любить. Если эти доносчики могут быть доступны до Вас, то это Ваше и наше несчастье, ибо в таком случае Вы беспрестанно будете осуждать несправедливо, и мы никогда не можем быть правыми. Поэтому в России один человек добродетельный — это Бенкендорф! Все прочие должны смотреть на него в поступках своих как на флигельмана<sup>24</sup>. Что он назовет хорошим, то и для них должно быть хорошо; что он осудит, то и они должны осудить. А он произносит свои суждения по доносам, следственно, нравственности наша теперь вся предана на произвол доносчиков: нет никого правых!.. Но это гибель всего! Презрение ко всему и ко всем укоренится в душе Вашей! Около Вас будут жить только те, кои живут предательством. Из остальных одни, меньшая часть, то есть преданные и честные, будут Вам чужды, будут молчать с горем и лишены возможности быть Вам полезными. Между Царем и Россиею будет бездна, огороженная забором из наушников.

Я, с своей стороны, буду продолжать жить, как я жил. Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу: у меня есть другой вожатый — моя совесть, моя верность к Государю. Во всем прочем надобно отдать себя на волю Провидения, которое спасает добрых или губит их для их же добра. В этой одной мысли спасенье. Буду осторожнее, вступаясь за тех, кто в ссоре с правительством, ибо там, где нельзя ничего сделать, а можно только погубить себя, благоразумие велит думать о себе; это не будет эгоизм»<sup>25</sup>.

---

В разговоре со мною Он не коснулся главного, напротив, удалился от него. Вместо того, чтобы отвечать, кто обвинил меня, в чем и в каких литературных сплетнях, Он сказал, что меня вообще винят по связям моим. Таким образом Он сам меня оправдал. Но что же из всего следует? Если вина состоит в обвинении, а не в поступке, то как избавиться от вины? И какие понятия? Он полагает, что Бенкендорф не может обмануться;

---

<sup>24</sup> Флигельманом назывался правофланговый унтер-офицер роты, во время учения демонстрировавший ружейные приемы, которые должны были повторять за ним солдаты.

<sup>25</sup> На практике Жуковский действовал совершенно противоположным образом. Оскорбленный и возмущенный «головомойкой» 1 апреля, он решил довести до сведения императора написанное еще в январе письмо, где предлагал даровать амнистию всем осужденным декабристам. Поэт понимал, что идет на риск, однако стремился уничтожить малейший оттенок недоговоренности в своих отношениях с Николаем. Он надеялся, что царь оценит благородство его поступка, проявив свойственную ему «рыцарственность» характера, и этот расчет оправдался. Николай предпочел оставить поступок Жуковского без последствий.

Бенкендорф верит своим шпионам (итак, у нас стоит только надеть голубой мундир или иметь сношение с носящим его, чтобы быть чистым). И так ниже и ниже, дойдем до последнего, который клеветает на продажу и часто решит судьбою целой жизни человека. И при таком способе узнавать истину полагают невозможным ошибиться, никогда не спросят обвиненного, на него падает или наказание, или предубеждение<sup>26</sup>, и ничем уже их снять нельзя, ибо защищаться нет средства, и тебе не поверят. Это инквизиция еще без костров, ибо она только в колыбели, но дайте срок; теперь еще одна только повсюду распространенная тревога; она усилится, место ее заступит ожесточение; тогда начнутся казни, ибо душа Царя во власти доносчиков. Вот бедствия, происходящие от невежества. Мало того, чтобы иметь чистую совесть, надобно иметь и понятия, принадлежащие времени, в коем живешь. Их дает одно просвещение. Просвещение для ума есть то же, что чистая религия для совести. Там, где нет просвещения, каждый имеет свой собственный ум, ум своего места, своей партии, и все они в противоречии, в беспрестанной битве.

По остроте и неліцеприятности оценок российской действительности и лично Николая I эта запись представляет собой большую редкость в наследии Жуковского, поскольку обычно он избегал называть зло, упоминать о нем, уделять ему внимание. В данном случае этот неписанный закон был нарушен. Горечь личного оскорбления, прибавившись к тревоге просвещенного человека и гражданина, заставила поэта довериться бумаге. Но не более того. Скорее всего, и поразившие его открытия, и тягостные чувства остались тайной для окружающих.

Разговор 1 апреля для обеих сторон был больше, чем простым выяснением отношений. Он высветил непримиримое столкновение двух совершенных различных типов правосознания. Включенный в контекст тургеневского дела (не только чисто хронологически, но и по сути, ведь причиной недовольства царя стали, помимо доносов, и собственные хлопоты Жуковского), он неизбежно отразил в себе свойственный этому делу характер фехтования отточенными правовыми аргументами, особенно со стороны защиты. Но на этот раз на месте обвиняемого оказался сам поэт. Конечно, «головомойка» не суд, но фактически происходит бессознательное проигрывание собеседниками модели следствия и суда, а это значит, что император и поэт реализуют в своем поведении

<sup>26</sup> Имеется в виду распространенная в российских судах того времени практика «оставления в подозрении» человека, полностью доказать виновность которого не удалось. Зачастую «оставление в подозрении» применялось вместо оправдания. В сущности таков же был для Жуковского результат аудиенции 1 апреля.



те же установки, которые двигали ими и в случаях настоящих правовых коллизий. Обвинитель декабристов распекает Жуковского. Адвокат Тургенева оправдывается перед царем. В этом противостоянии Николай I выступает как бы судьей, Жуковский — обвиняемым, однако гармонического взаимодействия в ролевой игре не получается. Собеседников словно разделяет стеклянная стена. Николай пытается судить Жуковского, исходя из собственных понятий о том, как это должно делать, Жуковский апеллирует к Николаю, полагая, что тот будет судить в соответствии с его, Жуковского, представлениями о правосудии. Николай обращается к ложному образу обвиняемого, Жуковский — к ложному образу судьи. Поэт — не тот обвиняемый, которого видит в нем Николай, и сам царь — не тот судья, которого ищет в нем Жуковский. Так возникает ситуация «разговора глухих». Единственный выход из нее — признать реальность, отбросить самообман, позволяющий вести диалог с вымышленным образом собеседника, и принять шок от невозможности взаимопонимания с настоящим оппонентом. Этот выход и находит Жуковский, но не во время аудиенции, а уже по окончании ее, и то, что таким образом открывается ему, — и составляет содержание записанного им комментария к разговору. Это ведет к усложнению жанровой природы текста. Обычная дневниковая заметка приобретает сначала черты «воображаемого разговора» поэта с императором, а затем и черты публицистического произведения.

Вчитаемся, не торопясь, в запись от 1 апреля 1830, начав с самого начала ее: «Взгляд на мою прошедшую и настоящую жизнь, которые дают мне право не бояться никаких обвинений тайных». Здесь, в прелюдии разговора, уже завязывается первый узел будущего конфликта. Тайные обвинения, о которых говорит поэт, — это доносы. В чем же их сила и особая власть над человеком? Тайна обвинения означает незащитность обвиненного перед клеветником: ведь стоит оклеветанному узнать, кто и в чем его обвиняет, ему легко будет оправдаться. С точки зрения Жуковского, тайный характер обвинения — верный признак его лживости. Он знает, что чист, и полагает, что одно это дает ему право презирать доносы. Тем не менее это так, только если соблюдено одно условие, столь естественное для поэта, что ему даже не приходит в голову его специально формулировать: условие, что обвиняемый и клеветник ведут тяжбу перед лицом беспристрастного судьи, настроенного на поиск истины и способного ее воспринять. Но если судья привык к тайным обвинениям и видит в них норму? Если для него конфиденциальность доноса — лучшее свидетельство серьезности обвинения? Эти вопросы еще не заданы, но их

не избежать, а теме доноса предстоит стать лейтмотивом всего разговора.

Жуковский приступает к описанию самой аудиенции. «Это свидание было не объяснение, а род головомойки, в которой мне нельзя было поместить почти ни одного слова; вместо того, чтобы слушать меня, мне сказано было, почему я подал повод многим называть меня главою партии...»

Тон письма от 30 марта вывел Николая из себя. В нем император безошибочно уловил нотку оскорбительного для себя великодушия; несколько не сомневаясь в своей правоте, Жуковский соглашается оправдываться, как бы снисходя к его, Николая, недомыслию. Для царя это нестерпимо. Судя по письму, Жуковский рассчитывает на активную роль в предстоящем разговоре, ведь это он первым предпринял наступательные действия, потребовав объяснения, — тем хуже для него. Николай решительно перехватывает инициативу, огорошивает поэта потоком своих инвектив, не дает ему ни слова вставить в оправдание.

Стремление Жуковского говорить, оправдываться более чем естественно — оно симптоматично. Он мыслит категориями состязательного процесса, для него обвинение само по себе — ничто, оно необходимо должно уравновешиваться оправданиями обвиненного. В то же время, с точки зрения Николая, обвинение имеет самостоятельную ценность даже до выяснения его истинности. В той системе координат, в которой существует его правовое мышление, обвинитель всегда имеет преимущество перед обвиненным, поскольку он уже делом доказал свою верность (конечно, он мог в доносе и ошибиться, но само побуждение, заставившее его донести, уж несомненно чистейшее!), а тот, на кого по милости доносчика падает обвинение, может быть, на самом деле и невиновен, однако он пассивен, никак не проявил себя, а это позиция темная и ненадежная. Потенциально такой человек вполне мог бы быть виновен.

В конечном счете, проблема доноса — это и было то «главное», в чем Жуковский стремился разобраться, вызывая монарха на разговор. Помимо чувства личного оскорбления, им двигало желание в откровенном диалоге с царем так или иначе разрешить мучительное противоречие между идеалами собственного морального и правового сознания и настойчиво дававшей себя знать действительностью.

Первая же реплика Николая задала тональность предстоящего разговора. «Что ты это написал ко мне» — недовольство письмом, вызванное не только его независимым и требовательным тоном, но в не меньшей степени и самим фактом его написания.

«Как смеешь оправдываться?» — звучит в этой фразе. Защищая себя в собственном деле, Жуковский как бы посягает на право, принадлежащее только царю, в данном случае выступающему в роли судьи, — право определять истину. В практике инквизиционного процесса обвиняемый только отвечает на предлагаемые ему вопросы и, желательно, кается в своих вольных и невольных прегрешениях. Ему надлежит быть абсолютно пассивным, активность — привилегия судящего. Дважды повторенный окрик «Слушай!», которым царь пресекает попытки Жуковского заговорить, в этом отношении чрезвычайно выразителен.

Дальнейшее развитие разговора не сулило поэту ничего хорошего. В словах императора слышится угроза: «Знаешь пословицу "Скажи мне, с кем ты знаком, я скажу тебе, кто ты"»? Ее можно применить к тебе». В самом деле, обилие среди друзей Жуковского людей сомнительной, с точки зрения властей, благонадежности определенным образом характеризовало его самого. По мнению Николая, такого рода дружбу можно вменить поэту если не в вину, то в упрек. Однако сам Жуковский видит в ней заслугу и честь, а вовсе не вину. «Лучшие люди были моими друзьями»<sup>27</sup>, — писал он в письме от 30 марта. Эти люди — братья Тургеневы, Вяземский, Пушкин наравне с Карамзиным, которого и сам царь во всеуслышание мог назвать ангелом. Они умны, честны, сильны, независимы — в глазах Жуковского это делает их «лучшими людьми», но с иных позиций те же качества можно истолковать как свидетельства неблагонадежности. Из дальнейших высказываний Николая становится видно, что именно так и происходит.

Наконец проясняются причины царского гнева. К удивлению Жуковского, это вовсе не «литературные сплетни». «Несмотря на то, что Тургенев осужден, что я тебе говорил об нем, что ты знаешь, что доказательство существует против него, ты беспрестанно за него вступался и не только мне, но и везде говорил, что считаешь его невиноватым», — вот первая. В этой фразе, как в капле воды, отразились те черты правосознания Николая, которые не могли не шокировать Жуковского. По мнению царя, оказывать Николаю Тургеневу какую-либо поддержку не должно, поскольку доказано, что он виноват. Но Жуковский не скрывает, что не считает Тургенева виновным, и взбешенный Николай в который раз пытается доказать поэту то, что для него самого совершенно очевидно. Стоит повнимательнее присмотреться к его аргументации. Первый приходящий ему в голову довод таков: виновность Тургенева подтверждается самим фактом его осужде-

---

<sup>27</sup> Жуковский В.А. Указ. изд. Т.12. С.20.

ния. Разумеется, логически именно осуждение должно базироваться на доказательстве вины, а не наоборот, но здесь важнее другое — Тургенев осужден официально, после этого выражать сомнения в виновности — значит покушаться на авторитет осудившей его власти. Здесь четко проявляется одно из принципиальных различий позиций Жуковского и Николая I. Власть, по мнению царя, должна обладать абсолютным авторитетом непогрешимости потому только, что она власть. Эта идея отчетливо выразилась в цитированном выше отзыве Дашкова на записку в защиту Тургенева. В правовой сфере покорность властям выше истины, так как истина — всего лишь частное дело отдельного человека, а власть составляет основу общества и государства. Однако эта власть, столь могучая и грозная, подчиняющая себе людей, на деле оказывается абсолютно зависимой от них. Именно они создают ее авторитет. Они обязаны его создавать, обязаны творить себе кумира и ему поклоняться. Им внушается, что общество лишь орудие вездесущей власти, что их предназначение — подчиняться ей. Так безграничная власть незаметно перерождается, теряет самое себя и в реальности заменяется безграничным подчинением. Между тем, с точки зрения Жуковского, авторитет власти хотя и должен быть, конечно, абсолютен, но отнюдь не а priori. Практически она сама должна стремиться к его созданию, добиваясь любви и уважения людей. Она для них, для общества. Настоящий, живой и прочный авторитет власти должен основываться на ее справедливости, а не на самом факте ее бытия. Эти мысли можно найти в набросках незаконченной статьи, предназначенной поэтом для сборника под названием «Собира-тель», изданного крохотным тиражом в 1829. Наставляя своего ученика — наследника престола, а может быть и его августейшего родителя, Жуковский пишет: «Власть царя происходит от Бога — народ будет этому верить, но тогда, [когда] ее божественное происхождение будет для него очевидно! А оно будет очевидно в одной только благотворности /.../ Государь любим и уважаем своим народом только тогда, когда он любит и уважает свой народ. Силой не возьмет он ни любви, ни уважения; сан царский есть только средство, а не право /.../ Цель государя не власть, а благо!»<sup>28</sup>

Второй аргумент Николая звучит совершенно естественно в устах человека, мыслящего категориями розыскного процесса. Виновность Тургенева достаточно обосновывается тем, что есть доказательство *против* него. Николай не хочет слушать оправ-

---

<sup>28</sup> РГАЛИ. Ф.198. Оп.1. Ед.хр.36. Л.5-6.

даний и объяснений. «Доказательство» убедило его, следовательно, Тургенев виновен. Другими словами, процесс логического доказательства вины просто-напросто подменяется убеждением судьи.

Николай уверен, что всего этого достаточно, чтобы для всякого была несомненна виновность Тургенева. Тем более возмутительными представляются ему поступки поэта.

И тут делается заметным второе важнейшее противоречие между Жуковским и Николаем. Речь идет о статусе человеческой личности по отношению к государству. Император исповедует принцип иерархической подчиненности личности государству, порождающий целый комплекс правовых и моральных следствий.

Согласно ему, приговор суда — это санкция, налагаемая государством на отдельного человека, вследствие чего осужденный автоматически делается изгоем. Контакт добропорядочных людей с ним нежелателен, ибо что может быть общего у честного человека с преступником? В этой системе честный человек противостоит преступнику как человек вообще — нечеловеку. Практически человек обретает себя лишь в государстве, и его «человечность» не есть неотъемлемое качество, а всего лишь статус, которого можно однажды лишиться. Отсюда только шаг до фантазмагии «Носа» или «Подпоручика Киже».

Осужденный исключается из круга обычных человеческих отношений. Дружбу с ним не следует поддерживать, так как это означало бы, что некто различает в преступнике вину его и личность. В то время, как государство осуждает его как персонифицированную вину и, во всяком случае, как единое целое, недопустимая частная независимость позволяет себе с этим не считаться! Защищая личность другого, она и сама тем самым отстраняется от государства; публичное высказывание подобных взглядов едва ли не равносильно призыву к бунту, однако именно таким образом ведет себя Жуковский, и неудивительно, что на него ложится тень подозрения в неблагонадежности.

«Ты имел связь с Вяземским, который делал множество непозволительных поступков, /.../ был настоящий *boute-feu*», — продолжает Николай.

Жуковский дружил с «зажигателем»! Однако сам Жуковский полагал, что дружит с Петром Андреевичем Вяземским, и искренне не видел в этом ничего дурного. Для него высокое внутреннее достоинство личности Вяземского было куда важнее его «зажигательских» воззрений, которые Жуковский далеко не всегда одобрял. По мнению поэта, острый язык и даже оппозиционные настроения — все это само по себе еще не много значит. Главное

в человеке — его нравственные устои, вечное, непреходящее в нем. Если в душе есть добро, заблуждения страстей и разума рано или поздно рассеются.

Столь мирные и с виду далекие от всякой социальности взгляды, тем не менее, неизбежно приводили Жуковского к подспудному противостоянию официальной идеологии. Утверждение приоритета личности перед властью, государством и обществом — идея из арсенала тогдашнего западного либерализма. В России же она совершенно неуместна, ее носители обречены на затяжной конфликт с окружающей жизнью.

Для Жуковского этот конфликт проявляется в том, что некие блюстители чужой благонадежности называют его «главой партии» недовольных. «Да кто называет? — кипятится поэт. — Я никого не знаю и знать не хочу; живу у себя, делаю свое дело и ни о чем постороннем не забочусь!» Заметим, что Жуковский не ограничивается одними оправданиями и уверениями в собственной верноподданности, что вполне удовлетворило бы его собеседника. Подчеркивая, что знать не желает доносчика и не уполномочивал никого вмешиваться в его дела, он в принципе восстает против доноительства. Донос придает общественную значимость тому, в чем Жуковский видит просто домашнее дело — дружбе, литературным отношениям и т.п. В размышлениях Жуковского идея автономности личности от государства возникает вновь, однако в несколько ином повороте, тающем в себе возможность возникновения реальных трений с властями. Отстаивание неприкосновенности частной жизни, сопротивление вмешательству в нее доносчика, в данном случае выступающего как правительственный информатор, может быть воспринято как крамольная попытка скрыть нечто от правительства, «бдительность коего должна быть обращена на все возможные предметы»<sup>29</sup>. Последнюю недвусмысленную формулировку почти семь лет спустя найдет человек, по должности покровительствовавший шпионам и доносителям, — А.Х. Бенкендорф.

К числу своих сугубо частных дел поэт относил и взаимоотношения с императором — отцом его ученика. Попытка доносчика тайно повредить ему во мнении государя так возмутила Жуковского, что в запальчивости он, сам не замечая этого, делает Николаю жесткий выговор: «Вы должны его [то есть мнение о Жуковском. — Н.С.] почерпать из моей жизни, а не из того, что другие говорят обо мне». Опять, как в письме от 30 марта, он позволяет себе требовательный тон. Он всегда готов оказать уважение

---

<sup>29</sup> Цит. по: Шеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С.198.

сану монарха, но только не ценой собственного унижения. Жуковский стремится к личностному контакту, недаром он настаивает на том, чтобы Николай видел в нем если уж не друга, то давнего знакомого, которого он должен оценивать сам по своей совести, а не просто безликого подданного, которого безличный государь судит по доносам. Только так удастся ему в диалоге с самодержцем сохранить свое достоинство. Однако на царя подобные притязания производят только негативное впечатление. В соответствии с его идеалом патриархального самодержавия, государь на престоле — сверхличность. Он имеет наружность обычного человека, у него личный, часто явно субъективный подход ко всем делам, он требует, чтобы ему доверяли, как отцу, но в то же время в нем надо почитать безличную верховную власть. Другие личности могут быть в чем-то ему подобны, но ни в коем случае не равны. Не случайно, слыша от своих подданных благоговейное «Ваше Величество», он обычно обращался к ним на «ты». Осмелиться сказать такому властелину «Вы должны», да еще так непринужденно, как это не раз делал Жуковский, можно только будучи полным безотчетного ощущения внутренней моральной свободы.

Подобные оговорки в личных беседах и письмах обитатели Зимнего дворца прощали, великодушно относя их на счет безобидной странности поэта. Иначе обстояло дело с более серьезными «проступками» Жуковского. «Ты при моем сыне! Как же тебе слыть сообщником людей беспорядочных или осужденных за преступления?» — одергивает его Николай. Обвинения, выдвигавшиеся против Жуковского, помимо своего прямого смысла имели для царя и еще одно, особое значение. Всесильный император, как огня, боялся «толков». Что если в обществе скажут: «Государь ошибается, держа при своем сыне единомышленника таких людей, как Вяземский и Тургенев»? Впрочем, появление доносов само по себе свидетельствовало о том, что такие толки уже идут и что часть общества позволяет себе сожалеть о неудачном выборе наставника для наследника. Николай был твердо убежден в недопустимости таких самостоятельных суждений. Все тридцать лет своего царствования он вел упорную и безнадежную борьбу с «гидрой» общественного мнения, и промахи приближенных, дававшие пищу молве, воспринимал очень болезненно.

«...наконец, прибавлено было, что хорошее мнение на мой счет не переменялось». Неожиданный конец для столь суровой головомойки! В действительности Николай нисколько не сомневался в благонадежности Жуковского, иначе, конечно, не оставил

бы его при наследнике. Значит, Жуковский оправдан? Нет. Поведение поэта провоцирует «толки», и это делает его в глазах царя виноватым, виноватым не тем, что неблагонадежен, а тем, что его обвиняют. Обвинение приобретает некую самостоятельность и вопреки здравому смыслу неизбежно замарывает того, кого оно хоть раз коснулось. Смутное ощущение того, что ситуация имеет какой-то неуловимо абсурдный оттенок, беспокоит Николая. Отсюда бессмысленное выплескивание недовольства на источник раздражения — на Жуковского, которого сам же царь признает невиновным. По замечанию поэта, «это уловка неправых сильных, которые или не хотят быть неправы, или не понимают, в чем они неправы».

Характерно, что царь объявляет о своей уверенности в невиновности Жуковского лишь после того, как обрушил на его голову все ложные обвинения. Признание истины по своему значению стоит для Николая на самом последнем месте, и это вопиющим образом противоречит тому, чего ожидал от него Жуковский. Вновь друг против друга встают два типа правового мышления: один нацелен на поиск истины, другой — на расследование обвинения.

Вторую половину аудиенции царь посвятил вразумлению и наставлению Жуковского. «Он говорил то, чего последний ученик сказать не может, что принадлежит не к нашему веку, а к XI-му», — сформулировано неясно, но, по-видимому, были непосредственно затронуты те юридические проблемы, которые в предыдущей части беседы лишь подразумевались<sup>30</sup>. На это указывает содержание последующих рассуждений Жуковского. Николай высказался резко и определенно, не оставив собеседнику ни малейшей возможности дать его словам какую-нибудь смягчающую трактовку. Жуковский был поражен. Архаичность правосознания самодержца выступила вдруг так рельефно, что натолкнула его на конкретную историческую аналогию. XI век — век «Русской правды». Этот законодательный памятник Жуковский хорошо знал, и не только из Карамзина. Еще в 1817 он слушал в Дерптском университете лекции историка Густава Эверса, а в 1826 вышла знаменитая книга Эверса «Das älteste Recht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung» (в русском переводе 1835 года — «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии»)<sup>31</sup>. Произве-

<sup>30</sup> Приношу искреннюю благодарность А.Л.Зорину, поделившемуся со мной догадкой, что речь здесь идет о законодательном, а не литературном памятнике.

<sup>31</sup> В составе сохранившейся части библиотеки Жуковского этой книги нет.



денного там разбора достаточно, чтобы выделить характерные особенности древнего права, продолжавшие жить в сознании русского монарха восемьсот лет спустя. Во-первых, это нечеткая квалификация видов преступлений и слабое различие стадий преступления. Во-вторых, объединение суда и следствия в одних руках. В-третьих, отсутствие презумпции невиновности, приводящее к тому, что не обвинитель доказывает свое обвинение, а обвиняемый — свою невиновность. В этих случаях так же легко проводятся параллели с тургеневским делом, опалой Вяземского и другими случаями, бывшими у Жуковского перед глазами, включая и те, что затрагивали его лично.

Но как бы то ни было, «когда критикует царь, который (художник) зная дело и признаваясь в незнании) хочет, однако, быть прав, то отвечать нечего. /.../ Это доказывает только то, что и самые логические вещи для ума нелогического и неприготовленного никаким образованием, не только не убедительны, но и не понятны».

Крайне редко у Жуковского вырывались столь убийственные высказывания в адрес царя. Должность наставника наследника престола заставляла его много размышлять над тем, какими качествами должен обладать правитель, в особенности самодержец, и как привить их своему воспитаннику. Среди этих качеств было и такое, как способность к конструктивному диалогу, умение уважать чужие суждения и корректировать собственные на основании логики и объективных знаний. Дилетантизм и самоуверенность, не украшающие и частного человека, в государе становятся опасными. Из просветителя и хранителя народа они превращают его в губителя, в покровителя зла и невежества. Жуковский не мог не чувствовать в этом угрозу не только для отдельных лиц, чьи взгляды, по несчастью, не совпадали со взглядами императора, но и для государства в целом.

У поэта не осталось сомнений в том, что Николай не умеет не только по достоинству оценить, но даже просто правильно понять его поступки. Осознание бесплодности собственных усилий больно задевает его, и начинается взволнованный монолог. Пускай царь и не услышит его, Жуковскому необходимо выговориться, еще раз испытать свою совесть, утвердиться в своей правоте. «Я защищаю тех, кто Вами осужден или обвинен перед Вами; но это служит только доказательством моей доверенности к Вашему характеру», — пишет он. Все, что ему довелось выслушать в тот день, заставило Жуковского вынести, к сожалению, не самое благоприятное заключение об уме монарха. Но ведь личность не исчерпывается умом — эта спасительная мысль распространялась не только на Вяземского и Тургенева, но и на Нико-

лая I. Характер — главное в человеке, полагал Жуковский, а что касается характера Николая, то он неоднократно называл его «великим». Трудно судить, чего в этом было больше: искреннего убеждения или бессознательного самообмана. Нельзя не признать, что наряду со многими отрицательными качествами царю было присуще и своеобразное обаяние сильной и цельной личности, привлекавшее к нему людей<sup>32</sup>. Российский государь должен обладать характером великого человека, иное было бы бедствием для страны, где так много зависит от личных качеств самодержца, — так рассуждал не один Жуковский. Но величие характера, по мнению поэта, предполагало умение радоваться исправлению собственных ошибок, жертвуя самолюбием во имя конечного торжества истины. «Минута, в которую открывается невинность или в которую хотя бы часть вины снимается с осужденного, есть лучшая минута царей»<sup>33</sup>, — писал он Николаю в конце 1827, препровождая ему вторую оправдательную записку Тургенева. Тогда это письмо вызвало негодование великого князя Константина Павловича, нашедшего, что «принципы, которыми он [Жуковский. — Н.С.] пользуется, несовместимы с порядком вещей, установившимся в нашем государстве»<sup>34</sup>.

Демонстрация «доверенности к характеру» Николая была для поэта весьма многозначительным жестом. Это как бы обязывало царя проявить те качества, которых ждал от него Жуковский. Однако надежды далеко не всегда сбывались. Отстаивая правду, Жуковский пытался опереться на характер Николая-человека, причем не столько на подлинный характер, сколько на такой, каким сам желал его видеть. В это же время недоброжелатели Жуковского смотрели на вещи более реалистично и успешно пользовались такими особенностями Николая-властителя, как неприязнь к чужой независимости, затаенная боязнь неведомой оппозиции, доверие к тайным обвинениям. Развертывалось своего рода состязание: обе стороны стремились убедить царя в чистоте своих намерений, но одна с помощью доноса, а другая подчеркнуто демонстрируя свою честность и бесстрашие. Увы, в этом состязании перевес был явно не на стороне поэта.

Жуковский чувствовал это и все же с трудом соглашался верить в свое поражение. Оттого так беспокойно звучит крещендо

---

<sup>32</sup> См., напр., пронизательную характеристику, данную ему в воспоминаниях А.Ф.Тютчевой (Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник: 1853-1882. Тула, 1990).

<sup>33</sup> Русский архив. 1895. №7. С.520.

<sup>34</sup> Красный архив. 1925. Т.6(13). С.69 (письмо Константина Павловича к Николаю I).

жестких вопросов: «Разве Вы не можете ошибаться? Разве правосудие (особливо у нас) безошибочно? Разве донесения Вам людей, которые основывают их на тайных, презренных доносах, суть для Вас решительные приговоры Божии?»

На первый взгляд может показаться, что здесь затрагиваются лишь некоторые прикладные аспекты судопроизводства: компетентность судьи, справедливость приговора, приятие или неприятие доносов. Но, как всегда у Жуковского, даже как бы случайные высказывания по предметам, далеким от круга его обычных интересов, скрывают в себе серьезную идейную подкладку. По сути дела, поднята тема истины и возможности ее искажений в ходе процесса. И тут в тексте впервые начинается просматриваться особая смысловая линия, связанная с религиозными ассоциациями. Она проходит едва заметным пунктиром, внешне почти ничем себя не проявляя, но ее присутствие — сигнал того, что затронуты наиболее глубокие мировоззренческие пласты сознания поэта. В «приговорах Божиих», которые упоминает Жуковский, узнается понятие, которому суждено стать сердцевиной его позднейших философских и политических раздумий. Это понятие Божией правды. В статье 1850 года «Иосиф Радовиц» Жуковский провел различие между истиной, доступной рациональному познанию, и правдой, познаваемой сердцем. Правда — явление нравственного мира, но именно она составляет сущность всякой истины. Везде, где дело идет об истине, в том числе и в уголовном процессе, неизбежно встает вопрос о Божией правде. Неужели мнения Бенкендорфа, основанные на доносах, можно принимать за истину? Недоумение Жуковского смешивается с возмущением. В ком или в чем тогда истина? В доносе? В Бенкендорфе? Если так, то Бенкендорф оказывается противостоящим самому Богу, занимая тем самым структурное место сатаны — отца лжи. И сам император, доверяя доносам, проявляя безответственную самонадеянность там, где речь идет о судьбе человека, закономерно делает причастным к тому же роковому противостоянию. Эта мысль неотвязно мучила Жуковского многие годы, то тут, то там возникая в его дневниках и письмах. В книге «Мысли и замечания», предназначенной стать как бы его духовным завещанием, итогом накопленного за долгую жизнь высокого и горького знания, он писал: «Признавать свою волю за высшую волю есть святотатство; произвол есть нарушение Божией правды и самый опасный враг власти самодержавной»<sup>35</sup>. При жизни автора эти строки не увидели света.

---

<sup>35</sup> Жуковский В.А. Указ. изд. Т.11. С.37.

«Разве Вы можете осуждать, не выслушав оправдания? Разве я могу знать об этих доносах?» Жуковский продолжает свое риторическое вопрошание, но, конечно, ему самому все предельно ясно. Речь идет о способах выяснения истины — вещах, абсолютно очевидных для человека, чье правосознание сформировалось на основе современных европейской идей. Принцип состязательности, отсутствовавший в тогдашнем русском судопроизводстве, требовал всестороннего исследования дела, так как истина содержится не в обвинении или оправдании, а во всей полноте реальной жизни. Необходимо также, чтобы обвиняемый знал, в чем конкретно его обвиняют и кто обвинитель. Без этого полноценное оправдание невозможно. Неопределенность обвинения — одна из наиболее зловещих черт инквизиционного процесса, именно она почти наверняка губит обвиняемого. Розыск, не связанный формулировкой обвинения, приобретает самодовлеющий характер и стремится развиваться бесконечно. Человек, однажды попавший в эти сети, практически обречен, любой факт его жизни, ставший известным следствию, может быть истолкован как усугубляющий вину. Фактически его судят не за конкретный проступок, а за то, что, согласно доносу, он вообще преступлен. Именно по такой модели действовал обычно Николай, отправляя правосудие как официально (в деле Тургенева), так и неофициальным образом (применительно к Вяземскому и самому Жуковскому).

С точки зрения Жуковского, все это юридический и моральный нонсенс, равно как и сам феномен доноса. «Должен ли я их [доносы. — *Н.С.*] потому уже признавать истинными, что они доносы, тайные доносы, сделанные Вам и обвинившие перед Вами безответных?» — недоумевает он. Донос для него не полезное сообщение, а напротив — совершенно неинформативная вещь, хотя бы в нем и содержалась правда, поскольку он стоит вне нормальной системы изыскания истины. Даже сам этот термин, в юридической литературе нейтральный, в устах Жуковского становится ярко эмоционально окрашенным и означает исключительно ложный донос.

Свое отношение к доносчикам и доносам поэт прямо высказывает позднее, при более трагических обстоятельствах. В январе 1837 некое «доверенное лицо» сообщило в III Отделение, будто бы после смерти Пушкина он тайно вынес с его квартиры какие-то бумаги. Узнав об этом, Жуковский взорвался. «Всегда ли они [доносчики. — *Н.С.*] понимают то, что слышат? — писал он, обращаясь к шефу жандармов. — Всегда ли хотят понимать, ибо им нужна не истина? — всегда ли хотят понимать, ибо служат с предубеждением и всегда дают толкование пристрастное

тому, что слышат? и, наконец, достойны ли доверия, будучи недостойны уважения? Между тем их слова часто решают участь человека и на всю его жизнь. Ибо клевета, как бы она, впрочем, нелепа ни была, всегда достигает своей цели, и легче сдвинуть с места гору, нежели стереть то клеймо, которое клевета налагает»<sup>36</sup>. В этих строках сконцентрировался весь опыт Жуковского, плоды раздумий над судьбами друзей и собственными столкновениями с доносами и клеветой.

Однако подстраивать свои поступки под особенности восприятия предполагаемых доносителей он не научится никогда. Причина этого заметна уже в записи от 1 апреля 1830.

«Разве могу, не утратив собственного к себе уважения и Вашего, жертвовать связями целой моей жизни?» — это рассуждение в высшей степени характерно для Жуковского. Главной моральной потребностью поэта была потребность в самоуважении. Предъявляя высокие требования к другим, он вдвое строже спрашивал с себя. Царь может уважать его, только если он действительно достоин уважения, и важно, что критерий достоинства находится в руках Жуковского: если я сам себя не уважаю, не за что меня и царю уважать. Следование закону совести для него превыше угождения государю — в этом отношении пятнадцать лет, проведенные при дворе, никак не повлияли на поэта. Он упорно не желал смириться со своим положением слуги (пусть и привилегированного, но слуги!) и, невзирая на неудачи, продолжал добиваться от Николая уважения — как человек от человека, фактически как равный от равного. Это было для него вечным источником проблем и конфликтов. В те годы он однажды записал: «Надобно быть или рабом владыки, или рабом долга. В последнем случае сохранение своего достоинства. Но это сохранение не без тяжелых ощущений. И тот, кто считает его выше всего, как человек бывает подвержен тяжким испытаниям, которые именно тем тяжки, что всегда *низко* быть им подверженным»<sup>37</sup>. Занимая независимую позицию, всем своим поведением демонстрируя, что ориентируется на собственные нравственные ценности, а не на благоволение монарха, поэт неизбежно навлекал на себя подозрение в политической оппозиционности.

И опять Жуковский возвращается к теме доноса: «Итак, правилом моей жизни должна быть не совесть, а все то, что какому-нибудь низкому наущнику вздумается донести на меня по личной

<sup>36</sup> Цит. по: Щеголев П.Е. Указ. изд. С.215.

<sup>37</sup> РГАЛИ. Ф.198. Оп.1. Ед.хр.36. Л.6. Запись датирована 14 октября без указания года и находится между текстами, относящимися к 1829 и 1831 гг.

злобе Бенкендорфу...» Пройдет около двух десятилетий, и он развернет эту мысль, переведа ее из личного в социально-политический план. «Там нет народного благоденствия, где народ чувствует себя под стесняющим влиянием какой-то невидимой власти, которая вкрадывается во все и бременит тебя во все минуты жизни, хотя, впрочем, до тебя непосредственно и не касается, — напишет он в заметке, озаглавленной при посмертной публикации «Деспотизм». — Это стеснительное чувство /.../ бывает в таком случае, когда правительство вмешивается не в одну публичную жизнь, но хочет распоряжаться и личною, и домашнею жизнью /.../ когда мы вечно под надзором полиции. В таком случае власть от верховного властителя переходит к исполнителям власти и в них становится не только обременительною, но и ненавистною»<sup>38</sup>. Не составит труда по этому описанию узнать феномен, позднее получивший наименование полицейского государства.

Полицейское государство является таковым по отношению к человеческой личности. Посягая на неотъемлемо присущую ей свободу, оно стремится низвести человека на вторые роли, ограничить его жизнь исполнением определенных механических функций и оценивает его чисто формально, только с точки зрения функциональной пригодности. Вся натура Жуковского восставала против такого насилия над индивидуальностью. «Одно только должно быть принято за правило, когда судишь о человеке: его видимые дела, его характер, его собственный образ мыслей», — этому нравственному кредо, записанному 1 апреля 1830, он оставался верен всю жизнь.

Утверждая, что судить о человеке надлежит, исходя из него самого, а не из суждений доносчика, Жуковский держится в рамках рациональной системы, в которой «факты» — доказательства *pro et contra* выстраиваются в логическую конструкцию, по ступеням которой объективный разум восходит к открытию истины. Донос чужд этой системе; исходя из ее принципов, его можно только осудить и отвергнуть, но не понять. И это непонимание делает Жуковского вдвойне беззащитным. Позднее, наученный печальным опытом, он станет лучше разбираться в том, с чем ему поневоле приходилось сталкиваться, но сейчас, пытаясь осмыслить явление доноса, поэт упускает из виду, что донос вовсе не нуждается в связи с истиной, так как не к ней он стремится и не ею проверяется. Основная его ценность не информационная, а знаковая, которую ему придает заявленная цель — изобличение

---

<sup>38</sup> Жуковский В.А. Указ. изд. Т.11. С.34.

зла. Донос — благонамеренный поступок. Доноситель — человек благонамеренный по определению, следовательно, обвиненный — это тот, против кого выступил человек благонамеренный... Логика здесь слабая, но для «нелогического» ума единственно убедительная.

Впервые в жизни Жуковский стал тогда жертвой доноса и ощутил на себе его губительную магию. В аналогичной ситуации два года спустя он напишет: «Могу ли /.../ иногда не приходиться в совершенное уныние, видя /.../ что меня опутывает мало-помалу какая-то волшебная сеть, которой невидимых нитей никакая сила разорвать не может? И что можно противопоставить такой силе? Бороться с нею было бы безрассудно»<sup>39</sup>. В самом деле, даже одного анализа записи от 1 апреля 1830 достаточно, чтобы увидеть, что малейшая попытка освободиться фактически лишь ту же затягивала путы. Всякое слово или действие Жуковского в свою защиту все больше выявляло органическое несоответствие всего строя мышления поэта тому, чего от него требовала окружающая действительность, и этим самым подтверждало основательность обвинений.

И все-таки поэт упорно продолжал держаться за право быть самим собой. Это была отнюдь не наивная близорукость, как казалось тогда многим, а напротив — сознательная, мужественная позиция. Жуковский превосходно понимал, как легко мог бы избежать доносов и подозрений. Для этого нужно было всего лишь сменить нравственные ориентиры. Но сознание пагубности такой перемены удерживало его. Эта нравственная коллизия отразилась и в записи от 1 апреля 1830. «Все /.../ должны смотреть на него [Бенкендорфа. — *Н.С.*] в поступках своих как на флигельмана, — пишет Жуковский. — /.../ А он произносит свои осуждения по доносам, следственно, нравственность наша теперь вся предана на произвол доносчиков: нет никого правых!» «Нет правых», если считать, что правда имеет какой-то особый статус, что она вечна и независима, что она Божия правда, а не правда власти — преходящая правда этого мира. Где же источник правды: Бог или Бенкендорф, и даже не он, а самый подлый доносчик? Стоит совершиться здесь подмене, и нравственность теряет опору в Божией правде, а значит гибнет вообще, так как для нее необходимо основание вечное, неколебимое, внеположенное изменчивой жизни, что одно позволяет вводить эту жизнь в определенные рамки, давать ее разнообразным проявлениям абсолютные оценки. В подобном контексте строевая метафора «Бенкен-

---

<sup>39</sup> Цит. по: Гиллельсон М.И. Указ. соч. С.116.

дорф — флигельман» вполне уместна. За ней стоит кошмарный образ России, превращенной в огромный плац, где люди, как безликие и безвольные механизмы, маршируют, готовые всякую минуту повиноваться любому приказу.

Так в привычной, обжитой реальности один за другим перед Жуковским открываются новые пугающие смыслы. Отдадим ему должное — в эпоху официального оптимизма немногим доводилось испытывать боль таких прозрений.

«Но это гибель всего! — продолжает поэт свой воображаемый монолог перед царем. — Около Вас будут жить только те, кои живут предательством. Из остальных одни, меньшая часть, то есть преданные и честные, будут Вам чужды, будут молчать с горем и будут лишены возможности быть Вам полезными. Между царем и Россиею будет бездна, огороженная забором из наушников».

Острое ощущение гибельности того направления, в котором развивается общество, заставляет Жуковского доискиваться до основы, до самого истока неблагополучия. «Кто образует народ, кто доставляет ему просвещение, кто действует на его нравственность, кто возбуждает в нем честолюбие благородное, кто приводит в движение все его силы?» — спрашивал он еще в 1829, и сам отвечал: «Государь — законодатель, просветитель, представитель воли народа»<sup>40</sup>. Мера ответственности, лежащей на государе, огромна. Каждая его ошибка способна отозваться в обществе лавиной зла и бедствий. И далеко не случаен здесь выбор слова «бездна». Оно принадлежит к тому же синонимическому ряду, что и «ад», «преисподняя», «геенна». Не пропасть, но бездна грозит развернуться между царем и Россией. Царь, отрекшийся, пусть и невольно, от Божией правды, неизбежно остается в окружении иуд. Его нравственная связь с народом разорвана, отныне он царь льстецов и доносчиков. Он заставит отвернуться от себя немногочисленных строгих и требовательных друзей, подобных самому Жуковскому. А что же другие, «большая часть» — те, кого взволнованный поэт в своей записи пропустил, хотя думал, как видно, и о них? Более подробное развитие этой же мысли находим в письме Жуковского Бенкендорфу относительно запрещения журнала И.В.Киреевского «Европеец» в 1832 году. Правительство, пишет он, «предубежденное ложными показаниями /.../ видит оппозицию там, где ее нет, причисляет к ней некоторых перед ним обвиненных людей, тревожит их умы, отталкивает их от себя и через то если не обращает их в своих действительных противников,

<sup>40</sup> РГАЛИ. Ф.198. Оп.1. Ед.хр.36. Л.4об.



то отымает у них всякую деятельность, лишая одних средства сделаться людьми полезными, а другим, менее твердым в правилах, давая направление действительно вредное. Но такая *оппозиция* не есть ли произведение самого правительства?»<sup>41</sup> Такова в представлении Жуковского общая картина последствий раскола между «правительством» (это понятие практически тождественно понятию «государь») и обществом. Из недр бездны выходят чудовища — к этой догадке поэт еще вернется.

Но сначала он пытается подвести итоги беседы: «Вообще результатом я доволен: он произвел мир, но заставил меня о многом переменить мнение и многого страшиться в будущем». Слабость этого самоуспокоения очевидна — слишком серьезное «но» противостоит ему. Но что такое «многое»? Позволим себе высказать предположение.

Еще в 1817, когда завязалось его близкое знакомство с Николаем Павловичем — тогда еще великим князем, Жуковский питал к нему неподдельную симпатию, а после событий междуцарствия 1825 года она перешла в стойкую, всеохватывающую идеализацию молодого самодержца. Это чувство поэт сознательно культивировал в себе, на нем основывал свои надежды на великое будущее России, и долгое время ничто не могло поколебать его. Но вот настал момент, когда дальше игнорировать действительность стало невозможно. Весной 1830 Жуковский впервые пережил жестокое разочарование в Николае. То, что раньше он считал случайными отклонениями общественной жизни от ее внутренних здоровых начал, вдруг предстало как закономерное, предрешенное, в первую очередь, качествами самого царя. Поэтом овладели страх и беспокойство. Однако просто отказаться от своих чаяний, примириться с невозможностью их осуществления он не мог. Требовалось, во-первых, найти способ достойного сосуществования со злом, коль скоро ни закрыть на него глаза, ни победить его в открытой борьбе было невозможно. Во-вторых, необходимо было оживить надежду, восстановить оптимистическое видение будущего — единственное спасение от отчаяния.

Первую проблему Жуковский решает достаточно быстро и просто — еще теснее затвориться в своем кругу с немногими близкими по духу людьми, бесстрашно «продолжать жить, как я жил», руководствуясь при этом не идеей служения обществу, а лишь долгом перед своей совестью, перед Богом. Практически это не означало отказа от общественных интересов, а только еще более

---

<sup>41</sup> Цит. по: Гиллельсон М.И. Указ. изд. С.115.

смещало в них акцент с социального на духовное, нравственное содержание.

Вторая же задача оказалась более сложной. Быстрого ответа в немногих словах поэт на смог найти, но внимательно присмотревшись к тому, что он делает, говорит и пишет в последующие годы, можно заметить, как изменяется в его сознании образ царя. Вынужденный признать, что монарха-строителя, деятеля наподобие Петра Великого, разумного пахаря на ниве государственного благоденствия из Николая I скорее всего не выйдет, поэт начинает видеть в нем преимущественно отца и покровителя народа, чье воздействие на жизнь общества имеет более моральный, нежели материальный характер. Фигура «рыцаря на престоле» постепенно приобретает не меньшую, а то и большую значимость, чем собственно практические деяния венценосца. Фактически это означает корректировку взглядов Жуковского на движущие силы российской истории. Простые и ясные просветительские по своей природе представления о прогрессе как следствии мудрых преобразований общественных институтов, законодательства и прочих материальных составляющих социальной жизни все заметнее уступают место окрашенному в мистические тона патернализму, близкому к идеалу Гоголя, выраженному в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Недаром впоследствии и Жуковский придет к признанию особенности духовного и исторического пути России. Впрочем, это дело довольно отдаленного будущего, а пока поэт еще придерживается мнения о единстве судеб России и Европы. Но зерно уже брошено в землю. В муках и поисках начинается формирование той жизненной и политической позиции, которая определит последние десятилетия его жизни.

Между тем в записи Жуковского происходит перелом. От пересказа беседы поэт переходит к анализу и размышлениями по поводу услышанного. Первое, что он замечает: «В разговоре со мною он не коснулся главного, /.../ кто обвинил меня, в чем и в каких литературных сплетнях». Главное, с точки зрения обвиненного, — выяснить имя обвинителя и формулировку обвинения. Не зная наверняка, Жуковский догадывался, что одним из его тайных обвинителей мог быть Булгарин. В письме к Николаю от 30 марта он писал: «Думаю, что Булгарин (который до сих пор при всех наших встречах показывал мне великую преданность) ненавидит меня с тех пор, как я очень искренно сказал ему в лицо, что не одобряю того торгового духа и той непристойности, какую он ввел в литературу, и что я не мог дочитать его Выжигина /.../ после я услышал, что Булгарин везде расславляет, будто бы Киреевский [имеется в виду И.В.Киреевский — внучатый племян-

ник Жуковского, также литературный оппонент Булгарина. — *Н.С.*], написал ко мне какое-то либеральное письмо, которое известно и правительству»<sup>42</sup>.

Действительно, он не ошибся. Булгарин видел в нем чрезвычайно влиятельную фигуру во враждебном ему стане «литературных аристократов». Отсюда и неприязнь, и желание опорочить поэта в глазах верховной власти. Нам известно два письма Булгарина шефу жандармов с жалобами на Жуковского, оба на грани доноса<sup>43</sup>. По всей видимости, они не дают полного представления об атмосфере, сгустившейся в то время вокруг поэта, но и они достаточно показательны. Жуковский силен при дворе, и это заставляет Булгарина быть осторожным. В его письмах нет прямых политических обвинений, подобных упомянутому поэтом, однако Жуковский представлен в роли гонителя честного, благонамеренного, принципиального и в высшей степени патриотически настроенного автора. Логика рассуждений Булгарина проста: если он сам как писатель и журналист пользуется покровительством графа Бенкендорфа, если его деятельность удостоивалась высочайшего одобрения и официально признана здоровой и полезной, то тот, кто эту деятельность не уважает и не приемлет... Вывод предлагалось сделать самому Бенкендорфу. И вывод был сделан — об этом свидетельствует записка, составленная для Николая I управляющим III Отделением М.Я. фон Фоком несколькими месяцами позднее описываемых событий. «Литераторы, замеченные в антимонархическом направлении и в духе отрицания, сплотились в союз под руководством Жуковского и князя Вяземского, — сказано в этой записке. — Их перья никогда ни слова не написали в пользу правительства, и когда несколько новых адептов сделали попытку сочинить оды во славу последней кампании [т.е. русско-турецкой войны 1828-1829. — *Н.С.*], они их высмеяли и не пропустили в печать. /.../ Не подлежит /.../ сомнению, что существует большая партия недовольных, мечтающих о перемене образа правления в России, но единомышленники распространяют свое влияние различным образом /.../ однако без организационного ядра»<sup>44</sup>. По мнению Фока, эта «партия» представляла собой не более не менее как остатки декабристской тайной организации. В этом фантастическом предположении в

<sup>42</sup> Жуковский В.А. Указ. изд. Т.12. С.21.

<sup>43</sup> Письмо от 27 апреля 1827: ГАРФ. Ф.109. Секретный Архив. Оп.1. Ед.хр.1886. Л.17-18; письмо от 25 января 1830: Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература: 1826-1855. СПб., 1909. С.270.

<sup>44</sup> Цит. по: Медведев М.М. Грибоедов под следствием и надзором // Литературное наследство. М., 1956. Кн.1. С.488-489.

преувеличенном виде отразился характер обвинений, которые на-меками выдвигал против Жуковского Булгарин. Фок, как известно, пользовался его консультациями.

А поэт продолжает вспоминать бросившиеся ему в глаза странности недавней беседы: «/.../ он сказал, что меня вообще винят по связям моим. Таким образом он сам меня оправдал». По мнению Жуковского, утверждение, что его винят «вообще» по связям, равносильно оправданию, поскольку это означает признание того, что на нем лично никакой вины нет. Однако это очевидно только для человека, уважающего достоинство личности и готового признать, что она может представлять из себя нечто и сама по себе, взятая вне своих связей. Николай таких взглядов отнюдь не разделял. Не ему — носителю тоталитарных идеалов — было поощрять антропологический либерализм Жуковского. Его мышлению свойственна иная логика, согласно которой безусловное оправдание частного человека невозможно в принципе. Индивидуум, изъятый из общественной структуры, лишенный опеки государства, ущербен, его понятия о добре и зле явно несовершенны, поэтому подозрение лежит на каждом как первородный грех: если ты и не грешишь сейчас, то согрешить способен. В таком моральном климате самая невероятная клевета способна принести желанные плоды. Апеллировать к правосудию бесполезно, оно порочно в самых глубинных своих основаниях. «Если вина состоит в обвинении, а не в поступке, то как избавиться от вины?» — в этом указании на внутреннюю абсурдность господствующего типа правосознания Жуковский выступает в редком для него амплуа теоретика-юриста. Он обобщает здесь и личный опыт «отеческой» головомойки, и опыт Вяземского, которого ошельмовали без суда, и опыт Н. Тургенева, которого судили и приговорили на основании разноречивых показаний свидетелей, не приняв во внимание его оправданий, не исследовав дела должным образом (следовательно, по логике Жуковского, в таком случае нельзя и говорить о вине). Правосудие, которое нуждается в вине сильнее, чем в истине, — еще одна черта действительности, способная внушить опасения за будущее страны, с жестокой очевидностью предстала перед поэтом.

Остается дорисовать картину. «Он [император. — Н.С.] полагает, что Бенкендорф не может обмануться; Бенкендорф верит своим шпионам. /.../ И так ниже и ниже, дойдем до последнего, который клеветает на продажу и часто решит судьбою целой жизни человека. И при таком способе узнавать истину полагают невозможным ошибиться, никогда не спросят обвиненного, на него падает или наказание, или предубеждение, и ничем уже их снять

нельзя, ибо защищаться нет средства и тебе не поверят. Это инквизиция еще без костров, ибо она только в колыбели, но дайте срок; теперь еще одна только повсюду распространенная тревога; она усилится, место ее заступит ожесточение, тогда начнутся казни, ибо душа царя во власти доносчиков».

Практически Жуковский перечисляет здесь признаки розыскного процесса, абсолютно неприемлемые для его правосознания. И хотя в русском правоведении термин «инквизиционный процесс» появится позднее, суть этого явления поэт уловил и передал верно. Он достаточно хорошо знал, что такое инквизиция. В 1830 она продолжала существовать в Испании (отменена в 1834), в Сардинии (1840), в Тоскане (1852) и в Риме (1859). Но не менее важно и другое. Понятие «инквизиция» чаще всего ассоциировалось тогда с преследованием инакомыслия. Словарь В.И. Даля среди прочих дает такое определение инквизиции — «суд на разномыслящих». В таком смысле употреблял это слово и Жуковский, которому довелось примерить на себя и своих друзей роли жертв инквизиции. Более того, ему пришлось признать, что и это лишь симптом, знаменующий куда более опасные процессы. В собственной судьбе Жуковский со страхом ощутил отблеск грядущей судьбы всей России. Из имевшихся у него перед глазами предпосылок он вывел предсказание грядущего раскола и неуомолимой раскочки общества, в конце концов взорвавшей его изнутри. Бессмысленный гнет порождает ожесточение, цепная реакция взаимных обид неудержимо устремится к насилию и крови. В чем же спасение? Где выход, и есть ли он? Поэт подавлен и выхода пока не видит.

Несомненно, размышляет он, что корень зла в том, что «душа царя во власти доносчиков». Но если этим все и ограничивается, тогда ситуацию еще можно исправить. Жуковский верит в добрую волю Николая. Тут-то и приходится ему пожалеть, что не сообщил царю все свои догадки и опасения. Рядом с записью непроизнесенного монолога возникает приписка, автокомментарий к упущенной возможности: «и сделал бы хорошо [высказав это. — *Н.С.*], но, верно бы, повредил себе». Жуковский запомнил этот урок, сделал выводы из него и через два года при подобных обстоятельствах вел себя уже иначе. Свое понимание того, как правительство само провоцирует раскол общества и, вслепую борясь с воображаемой оппозицией, создает себе действительных врагов, он изложил в письме Бенкендорфу в связи с делом «Европейца». Себя он не берег. Это письмо он, как предполагал опубликовавший его М.И. Гиллельсон, сам прочел шефу жандармов, чтобы непосредственно видеть, какое впечатление оно произведет.

А еще через пять лет в первом варианте записки в защиту памяти Пушкина, обращенной к тому же Бенкендорфу, появятся слова: «Такого рода инквизиция производит только обоюдное ожесточение, весьма не нравственным образом действует на общество, из которого исчезает всякое спокойствие, всякая взаимная вера, и, пугая правительство призраками, заставляет его видеть врагов и тайные замыслы там, где их никогда не бывало, ничего не устраняет, напротив, сама производит ту вражду, которую отразить думает, и своими, по большей части ни на чем не основанными, опасениями оскорбляет и честных людей, стоящих доверенности, и пылких, но благородных, или, что еще хуже, основанными на толкованиях пристрастных и несправедливых, только тревожит и сердит умы и, обнаруживая неволью перед ними какую-то беспокойную робость, неволью и их заставляет бояться чего-то им неизвестного. Такого рода общее, неопределенное беспокойство в умах производимое, есть состояние вредное: оно, как гнилой воздух, портит кровь и всю конституцию общества и производит, наконец, те сильные болезни, оканчивающиеся или разрушением, или долгим выздоровлением»<sup>45</sup>.

К этому тексту 1837 года вполне естественно примыкает заключение, сделанное в 1830: «Вот бедствия, происходящие от невежества. Мало того, чтобы иметь чистую совесть, надобно иметь и понятия, принадлежащие времени, в коем живешь. Их дает одно просвещение. Просвещение для ума есть то же, что чистая религия для совести. Там, где нет просвещения, каждый имеет свой собственный ум, ум своего места, своей партии, и все они в противоречии, в беспрестанной битве». Для наставника наследника престола этот вывод стал руководством к действию. В нем весь Жуковский. Чем бы поэт ни занимался, литературой ли, педагогикой ли, просто ли жил, общаясь с людьми, просвещение (в первую очередь нравственное) всегда оставалось его главной целью. Спасение России в просвещении как народа, так и самого царя. Только просвещение позволит им увидеть свои общие интересы, непреложные ценности, которые надо беречь обеим сторонам. И тогда станет невозможной ситуация, когда монарх, наделенный благородным, «рыцарским», как говорил Жуковский, характером, будет сочетать с ним отсталые, средневековые по сути «понятия». Подобно тому, как религия является для совести непоколебимой опорой, мерилom, точкой отсчета, дающей возможность ориентироваться в мире, так и просвещение для ума должно служить средством обуздания его произвола, средством открыть уму глаза и

---

<sup>45</sup> Цит. по: Щеголев П.Е. Указ. изд. С.206-207.

показать ему абсолют Божией правды. Только так, по мнению Жуковского, может быть преодолено разделение и достигнут всем желанный идеал общественного единства. Не насилем создастся гармония, а лишь добрым согласием просвещенных людей, равно сознающих значение Божией правды и равно стремящихся к ней.

Таков итог размышлений Жуковского. 1 апреля 1830 стало для него днем тяжелого испытания. Он выдержал его: ни подлость, ни отчаяние не пустил в свою душу. Остался верен себе, своей лебединой натуре.

Эмма Герштейн

## К ИСТОРИИ СМЕРТЕЛЬНОЙ ДУЭЛИ ПУШКИНА

(Критические заметки)

В России до самого конца XIX века кровавые поединки чести были запрещены законом. Поэтому после смерти Пушкина, а потом и Лермонтова, долгое время не упоминалось, что оба поэта были убиты на дуэли. Первое указание в печати на причину смерти Пушкина появилось в 1847 в «Словаре достопамятных людей», составленном Д.Н.Бантыш-Каменским. Его статья о Пушкине содержит цитаты из письма П.А.Вяземского к А.Я.Булгакову (5 или 6 февраля), известного тогда только в списках: «Его положили в гроб и зарезали городские сплетни, людская злоба и клевета. Пылкая, страстная, африканская душа Пушкина не могла вытерпеть раздражения, произведенного молвою». 27 января он сразился на пистолетах с Геккерном и был смертельно ранен»<sup>1</sup>.

Еле слышный здесь упрек погибшему зазвучал в полный голос в труде первого биографа Пушкина и первого же редактора научного издания его сочинений П.В.Анненкова. Выдающийся публицист, критик и мемуарист прямо обвиняет героя своей работы не только в чрезмерной раздражительности, но и в мелкости интересов, доходящей до прямой безнравственности. Стоит привести здесь выдержки из назидательных строк Анненкова, посвященных дуэли: «Причины и обстоятельства, породившие катастрофу, еще всем памятны. Легкомысленное понимание жизни и характеров, неосновательный, злоречивый говор, какой часто бывает в городах и исчезает по собственному ничтожеству своему и презрению, которое рано или поздно наказывает его, — произвели здесь гибельные последствия. Они встретили пылкий характер, который придал им значение гораздо более того, чем они заслуживали, и сделал их орудием собственной преждевременной и мучительной смерти». Биограф бросает поэту упрек в суетности его интересов: «В праздной и неблагоприятной насмешке он видел мне-

<sup>1</sup> Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. Ч.2. СПб., 1847. С.92 (пар.2).



ние света, а мнение света было в его глазах делом первой важности». Анненков доходит до обвинения Пушкина в нарушении религиозной заповеди «не убий». Вот как он об этом пишет: «Известно радостное восклицание Пушкина при виде упавшего соперника, легко пораженного им в руку. Мы упоминаем здесь об этом обстоятельстве, чтобы показать степень страсти, овладевшей всем существом его. Радость была столько же напрасна, сколько и противна нравственному чувству». Критик как будто забыл, что Пушкин был уже тяжело ранен Дантесом, когда послал ему свой выстрел, и его возглас «браво» был криком бойца в разгаре кровавой битвы, а не выражением мелкого чувства мести или злорадства.

Итак, приговор произнесен: Пушкин стал «жертвой столько же чужого легкомыслия, сколько и своего огненного неукротимого характера»<sup>2</sup>.

С тех пор прошло полтора столетия. В пушкиниане накопилось множество новых материалов и новых трактовок этого незабываемого события. Можно с уверенностью сказать, что первая часть заключительной формулы П.В.Анненкова прочно отвергнута. «Неосновательный злоречивый говор», заслуживающий, по Анненкову, только презрения порядочного человека, оказался после многолетних изучений важной частью истории петербургского общества тридцатых годов девятнадцатого века, с его политическими, социологическими и философскими проблемами.

Но вторая часть анненковской формулы продолжает жить до сих пор. То явно, то в скрытой форме по страницам новейшей пушкинианы гуляет та же мысль о неумном или неловком поведении Пушкина, навлекшего на себя беду. В подобных трудах так неохотно предоставляют место описанию семейной драмы поэта, что иногда начисто забывают о ней. Такой курьез произошел с известным исследователем исторических трудов Пушкина И.Л.Фейнбергом, выступившим в 1968 в годовщину смерти поэта с речью «Отчего погиб Пушкин?» (в посмертном издании трудов Фейнберга она помещена среди его новаторских исследований творчества великого поэта)<sup>3</sup>. Автор так увлекся изображением трагического положения зрелого писателя, держащего «в столе» такие рукописи, как «Медный всадник», «Путешествие из Москвы в Петербург» и «Автобиографические записки», что совсем забыл о пуле Дантеса, убившей поэта, и не упомянул о дуэли. А ведь это не так просто — стоять у барьера, оставив дома лю-

<sup>2</sup> Анненков П.В. Материалы для биографии Пушкина // Пушкин А.С. Соч. Т.1. СПб., 1855. С.426-427.

<sup>3</sup> См.: Фейнберг И. Читая тетради Пушкина. М., 1985. С.599-606.

бимую жену, четырех детей, зрелые творения, не увидевшие света, а некоторые — и недописанные. Для такой высокой ставки должны быть важные причины. Но исследователи брезгают такими банальными темами, как адюльтер, шантаж, месть за неудачные любовные домогательства у чужой жены, наконец, междоусобная светская борьба. Так, Я.А.Гордин в своей интересной книге «Право на поединок» прямо заявляет, что подспудные мотивы враждебной поэту общественной силы «были эпохально серьезны по сравнению с пошло-мелочными интересами Геккернов»<sup>4</sup>. Эта работа представляет анненковское направление в оценке поведения Пушкина, как и книга Абрама Терца (А.Д.Синявского) «Прогулки с Пушкиным». Последняя замечательна тем, что автор писал ее в совершенно исключительных обстоятельствах, в заключении, и частями отсылал на волю, в форме писем к жене. Это, конечно, великое счастье иметь возможность делиться своими мыслями с собеседником, который тебя понимает. А мысли возникают пронзительные и особенные, потому что автор каждый день и час находится в опасности. Таковы уж условия пребывания в исправительно-трудовых лагерях Гулага. Отсюда и содержащиеся в книге глубокие и острые мысли об искусстве и литературе. Но они не оправдывают кощунственного рассуждения о смерти Пушкина. По Синявскому, великий художник, даже умирая, находится «на сцене»<sup>5</sup>. Автор с прямолинейной негибкостью упрекает Пушкина, что он сам пустил сплетню о верности или неверности ему жены, чего он не должен был делать, зная, что на него «века и века» будут смотреть люди. Такие мысли упираются в проблему биографии великих художников. Рамки этих заметок не дают возможности развивать здесь эту тему. Но отметить, как анненковское направление может довести читателя двадцатого века до пошлости, граничащей с прямой похабщиной, не побоюсь этого слова, считаю необходимым.

Не так давно, в 1990, переиздана другая книга о дуэли Пушкина, основанная на модных в тридцатых годах научных теориях. Я имею в виду роман Леонида Гроссмана «Записки д'Аршиака», в котором рассказ ведется от имени подлинного лица — секунданта Дантеса на дуэли его с Пушкиным<sup>6</sup>. Книга, вышедшая впервые в 1931, несколько раз переиздавалась, переведена на европейские языки, и вот теперь издательство «Художественная литература» сочло необходимым выпустить ее в серии «Забывтая книга».

<sup>4</sup> Гордин Я. Право на поединок: Роман в документах и рассуждениях. Л., 1989. С.475.

<sup>5</sup> Терц А. (Синявский А.Д.) Собр. соч. Т.1. М., 1992. С.429.

<sup>6</sup> Гроссман Л. Записки д'Аршиака; Пушкин в театральных креслах. М., 1990.

Следует напомнить читателю, что в подлинных документах о дуэли Пушкина имеется запись д'Аршиака о поведении Пушкина на месте поединка: «parfaite» (безукоризненно). Л.Гроссман считал необходимым дезавуировать этот отзыв, считая его фальшивым, брошенным в угоду друзьям усопшего. Секундант Дантеса сказал это через несколько дней после смерти Пушкина, перед своим отъездом навсегда во Францию. Итак, Л.Гроссман не верит ему и вкладывает в уста персонажей своего произведения следующий диалог: «Я выразил графу мое удивление по поводу необыкновенной раздраженности поэта, его неуступчивости и явно проявленной им мстительности и жестокости. Я знал, что об условиях предстоящего поединка он дал предписание Соллогубу: чем кровавее, тем лучше.

— Это у него в роду, — отвечал мне старик. — Предки Пушкина как по отцовской, так и по материнской линии — были люди пылкие, порочные, неукротимые, с бурными и жестокими страстями. История их браков — сплошная летопись преступлений»<sup>7</sup>.

Опускаю красочное описание этих преступлений, сделанное опытной рукой художника и мастера слова (на мой вкус — излишне цветистое).

С еще большей выразительностью описано Л.Гроссманом поведение Пушкина на месте поединка:

Он был возбужден, экспансивен, нетерпелив, не сдержан. За несколько минут приготовлений к поединку и самого обмена выстрелами он говорил и делал много лишнего. Спокойная сдержанность смертельной вражды, к сожалению, ему не была свойственна. Африканская ли кровь предков лишала его строгой невозмутимости, свойственной в такие минуты европейцу, широта ли и распоясанность русских нравов, непривычных к самообузданию, но только и здесь, перед барьером, он, видимо, мучительно метался и не сумел скрыть своего возмущения и гнева под ледяной корой безукоризненного самообладания. Он словно не стеснялся обнажать перед нами свою вражду и мстительность. В эту минуту его великий поэтический гений был совершенно заслонен темными порывами неукротимой страсти<sup>8</sup>.

Эта большая выдержка понадобилась нам для того, чтобы сравнить ее со словами д'Аршиака, воспроизведенными в книге, вышедшей в свет за тридцать лет до повести Л.Гроссмана. По словам автора этой старой книги (степень достоверности ее мы обсудим ниже), д'Аршиак рассказывал так:

<sup>7</sup> Гроссман Л. Записки... Указ. изд. С.240.

<sup>8</sup> Там же. С.285.

Пушкин во время дуэли поражал своим мужеством и спокойствием. Он во всем этом деле выказал необычайный такт и рыцарскую простоту, исполненную достоинства. Он был очень серьезен, сосредоточен, как человек, рискующий жизнью; в нем не было притворной беззаботности, рассчитанной, чтобы придать себе вид похрабрее /.../ Это был великий характер. Я не знаю русского языка, не читал ни одной строки из его сочинений, я только находил его остроумным, даже в поверхностном разговоре, и прекрасно воспитанным<sup>9</sup>.

Естественность и простота отзыва д'Аршиака вызывает доверие. Оно поддерживается мемуарами, правда, относящимися к юности, а не зрелости Пушкина. Я имею в виду воспоминания И.П.Липранди о поведении Пушкина на месте поединка:

Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до испуга; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случилось не только что видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком положении, а подобной природы, как у Пушкина в таких случаях, я встречал очень немного<sup>10</sup>.

Резкое противоречие между художественной фантазией романиста и портретом поэта, нарисованным рукой бывалого человека, бросается в глаза. Скажут, обстоятельства были другие и возраст Пушкина сказался на его поведении во время последней дуэли. Но ведь главным источником его якобы неприемлемого поведения был его африканский темперамент. А разве в юности мы себя легче обуздываем, чем в зрелые года? Африканская кровь Пушкина давала о себе знать и раньше, но только не на месте дуэли.

В таком же непримиримом противоречии с осуждением «пылкого характера» Пушкина находится отзыв о его смерти Александры Осиповны Смирновой-Россет в ее письме к П.А.Вяземскому из Парижа. Она уже два года жила за границей с мужем, получившим назначение на дипломатическую службу в Берлине. В Париже и Баден-Бадене вокруг нее собирались все жившие там русские. Они получили много писем из Петербурга с описанием дуэльной истории Пушкина (среди них были и письма к Андрею

<sup>9</sup> Смирнова А.О. Записки. Ч.2. СПб., 1897. С.13-14.

<sup>10</sup> Цит. по: А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т.1. М., 1974. С.316.

Карамзину от его родных, которые так ошеломили нас всех в 1956, когда под заголовком «Тагильская находка» были впервые опубликованы И. Андрониковым и Н. Баташевым<sup>11</sup>). Видимо, их пафос и негативное отношение к поведению Пушкина в эти последние недели его жизни не оказали на Смирнову никакого влияния. Очнувшись от первого шока, она пишет Вяземскому. Отрывки из этого письма печатались не раз, но только после полного разбора и описания огромного Остафьевского архива мы можем привести его по подлиннику (в новом переводе с французского):

Вы совершенно обо мне забыли, а между тем должны мне сообщить некоторые подробности этой злосчастной истории. Впрочем, все уже понятно друзьям Пушкина и России. В сегодняшнем «Ревю де Пари» опубликована статья «Легенды о поэтах», где названы великие гении; все с несчастной судьбой, гонимые обществом или правительствами, непризнанные или оклеветанные, томящиеся в тюрьмах или прозябающие в нищете. Но Пушкин не назван. Между тем нет ничего более скорбно-поэтического, чем его жизнь и его конец. Я, так же как и Вы, была здесь оскорблена, и глубоко оскорблена несправедливостью общества. Поэтому я не говорила о Пушкине, я хранила молчание с теми, кто меня не понимает, и воспоминанье о нем осталось в моем сердце незадетым и чистым.

Сколько я могла бы рассказать Вам о Париже, о событиях, и о людях, но только устно, потому что я опасуюсь всего написанного.

Приветствую Вас, препоручите меня дружеским чувствам всех Ваших.

А. Смирнова

Ящичек вручите Екатерине Федоровне<sup>12</sup>.

Александра Осиповна не отличалась склонностью к прекрасному. Как мы знаем, она была женщиной проницательного ума, хорошо разбиралась не только в светских, но и в политических интригах. Отпечаток ее ума виден на всех ее замечаниях о пушкинской преддуэльной истории. Среди них нельзя не выделить такое, которое могло бы послужить путеводным знаком и для наших сегодняшних размышлений о тактике Пушкина: «И это петербургское глумление над мужьями, за женами которых ухаживают! Они заимствовали этот жанр, думая, что это сделает их вполне французами, так как во Франции смеются над обманутыми

<sup>11</sup> См.: Новый мир. 1956. №1. С.153-209.

<sup>12</sup> РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.2761. Л.31-32. Выдержку в русском переводе см.: Встречи с прошлым. М., 1980. Вып.3. С.321. Мы приводим письмо полностью в переводе, любезно выполненном Евгенией Михайловной Лысенко.

мужьями со времени Сганарелля. Но Пушкин не одного теста со Сганареллем, а его хотели прославить рогоносцем»<sup>13</sup>.

Говоря о современных исследованиях по истории дуэли и смерти Пушкина, необходимо выделить книги С.Л.Абрамович, рассмотревшей большое число прямых и косвенных материалов, освещающих эту трагедию<sup>14</sup>. Уточнение дат, прочтение неразборчивых слов и сопоставление эпистолярия из разных фондов позволили автору сделать несколько открытий и прояснить ряд темных мест преддуэльной истории.

Существенным источником свежего материала послужили находки Н.Я.Эйдельмана, нашедшие отражение во всех новейших работах<sup>15</sup>. Сводом новых точек зрения являются также примечания Я.Л.Левкович к современному переизданию 3-го издания классического труда П.Е.Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина»<sup>16</sup>, в котором была выдвинута новая в то время тема о намеке по царственной линии в пресловутом «дипломе рогоносца», присланном поэту.

Специфическая трудность исследования истории гибели Пушкина заключается в том, что бросаемый на нее общий взгляд нередко затмевает детали. А именно в этой теме они приобретают первостепенное значение, потому что нужно вникать в особенности совершенно чуждой нам среды и очень далекого времени, а в знании и понимании их заложен успех правильной оценки поведения Пушкина. Вот почему в настоящей работе я позволяю себе вернуться к казалось бы уже решенным вопросам и еще раз посмотреть на них критическим взглядом. Ограничимся здесь тремя сюжетами: беседа Пушкина с баронессой Вревской накануне дуэли, свидание Н.Н.Пушкиной с Дантесом на квартире у Идалии Полетики и один важный, но забытый мотив в развитии преддуэльной истории.

### Рассказ баронессы Вревской

Когда Александр Иванович Тургенев вернулся в Петербург с похорон Пушкина в Святогорском монастыре, он тотчас послал тригорской соседке Александра Сергеевича стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». В Тригорском Тургенев провел в бе-

<sup>13</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.19.

<sup>14</sup> См.: Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Изд.2, доп. Л., 1989 (первое издание вышло в 1984); Она же. Пушкин: Последний год. М., 1991.

<sup>15</sup> См.: Эйдельман Н. О гибели Пушкина: По новым материалам // Новый мир. 1972. №3. С.201-226; Он же. Пушкин: Из биографии и творчества: 1826-1837. М., 1987. С.356-440; и др.

<sup>16</sup> См.: Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С.455-549.

седе с П.А.Осиповой и ее самой младшей дочерью целую ночь. Ему было о чем поведать этому преданному другу Пушкина. Последние два месяца жизни поэта А.И.Тургенев видался с ним почти ежедневно, навещая его по утрам в его квартире на Мойке, встречая по вечерам в дружественных кружках. У Карамзиных, Вяземских, Мещерских часто возникали споры по поводу семейных неурядиц Пушкина, причем Тургенев всегда выступал в защиту поэта. В Тригорском он рассказал Осиповой все, что знал о предсмертной истории, кончине и отпевании Пушкина в Петербурге. Описывая в своем дневнике стихийное выражение народного горя, он упомянул о стихотворении Лермонтова, которое назвал в своем дневнике «прекрасным» (правда, не зная еще «Прибавления») <sup>17</sup>. 10 февраля в Петербурге он переписал его в свое письмо к Осиповой. Ответ его корреспондентки был полон неожиданностей.

«Вы угадали, что мне понравятся стихи, — пишет она 16 февраля, — и только такой человек, который хорошо знал поэта, мог их написать». Замечание ее об осведомленности автора «Смерти поэта» в жизни Пушкина заслуживает внимания лермонтоведов. Дело в том, что за это короткое время Осипова успела узнать о трагедии Пушкина новые подробности, остававшиеся неизвестными Тургеневу. «Дочь моя [аронесса] Вревская, — пишет она в том же письме, — возвратилась из Петербурга и 12-го была у меня; подробности, которые она мне рассказывала о последних днях жизни незабвенного Пушкина, раздирали наши сердца и заставили меня жалеть, что я на эту пору не была в С.-Петербурге]...»

Свежесть впечатлений Осиповой в сопоставлении с ее отзывом о стихотворении Лермонтова заставляет нас обратиться к письму Прасковьи Александровны как к документальному источнику. «Я почти рада, — продолжает она, — что вы не слышали того, что говорил он перед роковым днем моей Евпраксии, которую он любил, как нежный брат, и открыл ей все свое сердце. — Мое замирает при воспоминании всего слышанного. — Она знала, что он будет стреляться! и не умела его от того отвлечь!..» <sup>18</sup>

На следующий день, 17 февраля, Осипова направляет Тургеневу второе письмо и уже не по почте, а с оказией. Однако и на этот раз она ограничивается одними намеками: «Я знаю, что вдова А[лександра] Серг[еевича] не будет сюда и я этому рада. — Не

<sup>17</sup> Цит. по: Шеголев П.Е. Указ. изд. С.250.

<sup>18</sup> Цит. по: Попова О.И. Неопубликованное письмо П.А.Осиповой к А.И.Тургеневу // Пушкин: Исследования и материалы. Т.4. М.; Л., 1962. С.367.

знаю, поймете ли вы то чувство, которое заставляет меня теперь бояться ее видеть?.. Но многое должно бы было Вам рассказать, чтобы вполне изъяснить все, что у меня на душе — и что я знаю. — Наконец многоглаголение, и многописания все выйдет "к чему ж теперь рыданье и жалкой лепет оправданья". Но ужас берет, когда вспомнишь, всю цепь сего происшествия»<sup>19</sup>.

Тургенев не усомнился в важности сообщения Вревской. 24 февраля он обращается к Осиповой в большом волнении: «Умоляю Вас однако же написать ко мне *все*, что вы умолчали и о чем только намекнули в письме вашем: это важно для истории последних дней Пушкина. Он говорил с вашей милой дочерью почти накануне дуэли: передайте мне верно и обстоятельно слова его; их можно сообразить с тем, что он говорил другим, — и правда объяснится. Если вы потребуете тайны, то обещаю вам ее; но для чего таить то, на чем уже лежит печать смерти!»<sup>20</sup>

Решилась ли Осипова доверить бумаге ужаснувшие ее сведения? Предпринял ли Тургенев попытки впоследствии встретиться с Вревской? Узнал ли нечто, о чем тоже решил молчать? До нас ничего больше не дошло.

Отсутствие развязки этого эпизода позволило многим исследователям игнорировать его, а то и прямо дезавуировать. Так, И.Ободовская и М.Дементьев выражают сомнение в достоверности рассказа Вревской: «Трудно сказать, действительно ли Евпраксия Николаевна была столь осведомлена. Возможно, Пушкин в разговоре и бросил какую-то фразу, намекавшую на предстоявшую дуэль, которая потом, в свете последовавших событий, уже толковалась Вревской как доверительное отношение к ней Пушкина». При этом авторы мотивируют свое недоверие к Вревской тем, что «следует всегда помнить об их [тригорских соседей. — Э.Г.] пристрастном отношении к Наталье Николаевне». Далее следует настоящая перепалка с Вревской, как будто она была их современницей. В книге припоминаются эпизоды, относящиеся к пятнадцатилетней Евпраксии: «В свое время в 1824 году Пушкин называл тригорских девиц "несносными дурами" и "довольно непривлекательными во всех отношениях"»<sup>21</sup>. Как известно, вскоре Пушкин сдружился с будущей баронессой Вревской, что позволило ему в 1828 подарить ей главы «Онегина» с надписью: «Твоя от твоих». Ободовская и Дементьев называют Врев-

<sup>19</sup> Пушкин и его современники. Вып.6. СПб., 1908. С.80.

<sup>20</sup> Пушкин и его современники. Вып.1. СПб., 1903. С.59.

<sup>21</sup> Ободовская И., Дементьев М. После смерти Пушкина: Неизвестные письма. М., 1980. С.343.



скую «пустынькой и провинциальной барыней». Пушкин, видимо, был о ней другого мнения. Не в 1824, а в 1835 и 1836 его письма к Осиповой содержат изъявления самой теплой дружбы ко всем обитателям Тригорского и их соседям, а в последнем письме, написанном за три недели до приезда Вревской в Петербург и за месяц до дуэли, Пушкин пишет: «Передайте от меня поклон всему семейству; Евпраксеи Николаевне в особенности»<sup>22</sup>.

Однако С.Л.Абрамович в специальной статье, посвященной переписке А.И.Тургенева с П.А.Осиповой, тоже отнеслась с недоверием к сообщениям Е.Н.Вревской<sup>23</sup>. Убежденная, что Вревская ничего от Пушкина значительного не услышала в этот последний день перед дуэлью, С.Л.Абрамович пришла к выводу, что дочь передала П.А.Осиповой одни только слухи, ходившие по Петербургу. Это ни на чем не основанное утверждение позволило исследовательнице прийти к неожиданному выводу: Осипова, мол, вообще не ответила Тургеневу. Ну как это могло быть? Только что она писала ему от своего имени и от имени своей самой младшей дочери, тоже принимавшей Тургенева в Тригорском и хоронившей Пушкина. Теплое чувство к нему, уверяла она, станет «поручкой всегдашнего о вас живого воспоминания». «Мы мысленно будем следовать за вами всюду, всюду, — пишет она 16 февраля, — и желаю иметь способ от время до время знать, что вы делаете, — это будет нашим утешением»<sup>24</sup>. Можно ли после таких слов оставить без ответа встревоженное письмо пушкинского друга или отречься от своих слов? Ведь Осипова прямо говорила в этом письме о том, что ей надо рассказать Тургеневу нечто, чего он не знал, и что вся «цепь происшествий» только теперь, после сообщений дочери, представилась ей во всей «ужасной» полноте. И почему мы должны считать несуществующим тот или другой документ только на том основании, что он не зарегистрирован в наших картотеках? Достаточно вспомнить, что одно письмо Осиповой к А.Тургеневу было впервые напечатано только в 1908, а другое, посланное накануне, — в 1962! Как знать, не лежит ли третье письмо Осиповой в каком-нибудь другом архиве и лишь дожидается своего часа?

Пытаясь объяснить поведение Осиповой, С.Л.Абрамович позволяет себе не свойственный ей обычно прием откровенного фантазирования: «П.А.Осипова не ответила на настойчивые воп-

<sup>22</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.16. М.; Л. 1949. С.403 (пер. с франц.).

<sup>23</sup> Абрамович С. Накануне дуэли // Литературная Россия. 1985. 8 февраля. С.6-7. Ср.: Она же. Пушкин и Е.Н.Вревская в январе 1837 года // Временник Пушкинской комиссии. Вып.21. Л., 1987. С.158-168.

<sup>24</sup> Цит. по: Попова О.И. Указ. изд. С.367, 368.

росы А.И.Тургенева скорее всего потому, что ей *нечего* было сказать. Прасковья Александровна понимала: дочь не сообщила ей ничего такого, что было бы новым и неизвестным для друзей поэта. А пересказывать подробно слухи, порочившие Наталью Николаевну, она не хотела»<sup>25</sup>. Между тем С.Л.Абрамович, сама того не замечая, нашла ответ на озабоченные вопросы Тургенева.

Обратившись к семейной переписке Вревских и уточнив датировку писем Евпраксии из Петербурга, Абрамович установила хронологию встреч Пушкина с ней перед дуэлью. Пушкин навещал Вревскую несколько раз с 19 по 22 января, а в этот последний день, т.е. в пятницу, они условились пойти 25-го в Эрмитаж. В этот промежуток, когда они не виделись, произошло нечто, что заставило наконец Пушкина послать свое письмо Геккерну. До этого дня разговоры поэта с Вревской и ее родными шли только о Михайловском, куда Пушкин имел твердое намерение ехать со всей семьей на лето. Для этого он должен был закончить свои переговоры с Осиповой и другими членами семьи о покупке ими всего имения, оставив за Александром Сергеевичем только дом и парк.

Оживленные беседы о возможностях осуществления такого проекта лишний раз опровергают версию Геккерна о том, что Пушкин сам искал смерти. Но брат Вревской — А.Н.Вульф энергично опровергал это, указывая, что Пушкин хотел уехать в Михайловское и там закончить свой исторический труд о Петре Великом. Вульф даже предполагал, что Александр Сергеевич учитывал возможность своей вторичной ссылки в Михайловское за дуэль с Дантесом. Конечно, Вульф говорил все это со слов сестры. Ее письма к брату указывают, что, обсуждая положение дел с Михайловским, Пушкин еще ни слова не говорил о своем письме к Геккерну и о неизбежной дуэли. С.Л.Абрамович утверждает, что «22 января 1837 г., когда Пушкин уславливался с Зизи о прогулке в Эрмитаж, он еще не предполагал, что три дня спустя совершит тот шаг, который сделает поединок неизбежным. Этот вновь выявленный факт должен быть введен в контекст событий последних январских дней. Он нуждается в дальнейшем изучении»<sup>26</sup>.

Но нам хорошо известно, что случилось в канун дуэли! Об этом черным по белому написано в военно-судном деле.

12 февраля среди предъявленных Дантесу вопросов был такой: «Не известно ли Вам, кто писал в ноябре месяце и *после того* к г.Пушкину от неизвестного письма...»

<sup>25</sup> Абрамович С. Пушкин и Е.Н.Вревская в январе 1837 года. С.168.

<sup>26</sup> Там же.

14 февраля аудитором Комиссии военного суда были заготовлены вопросы для свидетельских показаний жены Пушкина, но Наталья Николаевна в этот день уже выехала из Петербурга и, видимо, суду вообще не разрешили беспокоить ее. Однако первый же вопрос был поставлен так: «Не известно ли ей, какие именно безымянные письма получил покойный муж ее, которые вынудили его написать 26 числа /.../ оскорбительное письмо».

В резюме суда об этом поводе к дуэли сказано еще яснее:

«Кроме того, присылаемы были к Пушкину безымянные равно оскорбительные для чести их [Пушкина и его жены. — Э.Г.] письма, в присылке коих Пушкин тоже подозревал Геккерна, чего впрочем по следствию и суду не открыто. *Напоследок, 26 генваря сего года Пушкин по получении безымянных писем послал к отцу подсудимого /.../ письмо /.../»*<sup>27</sup>

Суд, безусловно, делал свои заключения, основываясь на показаниях Данзаса, секунданта Пушкина. В материалах суда ясно обрисована последовательность нарастающих событий. Анонимные письма четко разделены по времени на три категории: вначале ноябрьский «диплом» и вызов Дантеса на дуэль, взятый, однако, Пушкиным назад. Затем присылка новых безымянных писем и, наконец, последние письма, очевидно по характеру своему отличавшиеся от предыдущих, так как за ними последовали немедленные действия Пушкина. Было отправлено роковое письмо к Геккерну-посланнику. Нет сомнения, что эти безымянные письма связаны с теми происшествиями, которые произошли между 22 и 25 января 1837.

Традиция вполне резонно связывает последние анонимные письма с подстроенным Идалией Полетикой свиданием Натальи Николаевны с Дантесом. Считалось, что в названных письмах Пушкин был извещен об этом свидании. Но С.Л.Абрамович не могла упомянуть их в своей статье, так как в своей же книге перенесла это свидание на ноябрь 1836 г., чем совершенно перестроила всю драматургию преддуэльной истории<sup>28</sup>.

Мы знаем очень подробно, как протекали ноябрьские переговоры с Пушкиным для предотвращения дуэли. Поэт сам предоставил Геккерну-отцу двухнедельную отсрочку для «устройства дел» перед дуэлью. Жуковский убеждал Пушкина, что предложение Катерине Гончаровой Дантес делает не для того, чтобы избежать дуэли, что он любит свояченицу Пушкина уже давно и только ради

<sup>27</sup> Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном: Подлинное военно-судное дело 1837 г. СПб., 1900. С.75, 77, 141 (курсив мой).

<sup>28</sup> См.: Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.66-81.

нее ездил в дом. Но как могли бы происходить эти беседы, если Пушкин уже знал о свидании жены с Дантесом и о наглых домогательствах кавалергарда при этой встрече? Такое происшествие исключает всякие переговоры с обидчиком. Узнав об этом свидании от самой Натальи Николаевны и из подлых писем, Пушкину уже ничего не оставалось делать, как драться. А он вместо этого выдал письменное свидетельство о том, что в поведении Дантеса не было ничего «недостойного благородного человека».

Таким образом, Абрамович перенесла кульминацию этой двухмесячной эпопеи в самое ее начало, развязка стала завязкой.

\*\*\*

Доверительные беседы Пушкина с Е.Н.Вревской оказались неожиданностью для друзей поэта. Они не могли понять, почему перед самым роковым днем Пушкин предпочел им всем простенькую провинциальную даму. Это показывает только, что многолетние друзья ничего не знали о другой стороне его жизни. Осипова, Вульф, их родня, жившая в том же уезде, где находилось Михайловское, все они были знакомые и соседи Пушкиных с давних пор. Когда Е.Н.Вревская, урожденная Вульф, приезжала в Петербург, она нередко останавливалась у матери Пушкина. Теперь, когда Пушкин похоронил мать, он тянулся к своим. Помирился с отцом, беспокоился о сестре, с которой Вревская поддерживала связь, и главное, как уже говорилось, мог свободно обсуждать с ними хозяйственные проблемы Михайловского. За этим, как мы знаем, скрывалось страстное желание поэта избавиться от петербургской жизни, обрести независимость, заниматься любимым трудом. Отсюда и возник, как мы видели, свободный разговор обо всем, что терзало Пушкина в эти последние дни его жизни. Он мог говорить с Евпраксией как с родной. Петербуржцы не понимали этого и с ревнивой подозрительностью строили всякие предположения.

Анна Ахматова считала, что Пушкин расспрашивал у Вревской, что говорят в Петербурге о свадьбе Дантеса. «Вревская сделала свое роковое сообщение, — пишет Ахматова. — В глазах света Дантес герой и т.д., а если Дантес герой — Пушкин смехон. Пушкину было нечего возразить на это. Так возник январский вызов»<sup>29</sup>.

Но как бы ни был щепетилен Пушкин, трудно признать, что провал его тактики в свете был единственным прямым поводом

---

<sup>29</sup> Ахматова А. О Пушкине. М., 1989. С.119-120.

для бесповоротного последнего решения. П.А.Вяземский, например, который тоже не был осведомлен о содержании бесед Пушкина с Вревской, сделал другое предположение о ее роли. В письме к великому князю Михаилу Павловичу он передает слова Пушкина: «Ему недостаточно уверенности собственной, своих друзей и известного кружка /.../ он принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают». С этих высоких позиций Вяземский оценивал смысл бесед Пушкина с Вревской. «Вот в каком настроении он был, — продолжает Вяземский, — когда приехали его соседки по имению /.../ Должно быть, он спрашивал их о том, что говорят в провинции об его истории, и, верно, вести были для него неблагоприятными»<sup>30</sup>.

Что же? Пушкин интересовался, не считает ли его вся читающая Россия рогоносцем? Это, конечно, обидно, даже нестерпимо оказаться смешным на глазах у всех, но это еще не катастрофа. Как умный человек Пушкин мог бы найти выход из неудобного положения. Но вряд ли его дуэль с молодым гвардейским офицером была бы удачным ходом для восстановления чести мужа. Недаром Жуковский, добиваясь взятия Пушкиным назад ноябрьского вызова Дантеса, приводил и такой довод: «Дай мне счастье забыть тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посярмления»<sup>31</sup>.

Что бы ни говорили в провинции, главным было мнение света. Неужели же нужно было расспрашивать провинциалку Вревскую об отношении к свадьбе Дантеса в петербургском великосветском кругу? Оно и так было очевидно.

Приведем еще одну цитату из письма Вяземского: «Но часть общества, — писал он, — захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли ни о чем-либо подобном. Последствия это хорошо доказали, как ваше высочество ниже увидите. Во всяком случае, это оскорбительное и неосновательное предположение дошло до сведения Пушкина и внесло новую тревогу в его душу»<sup>32</sup>.

Как видим, Вяземский разделяет эти два фактора: в Петербурге восхвалялось мнимое благородство Дантеса, а в провинции, надо думать, говорилось о чести Пушкина в более широком смысле.

<sup>30</sup> Цит. по: Шеголев П.Е. Указ. изд. С.225 (пер. с франц.)

<sup>31</sup> Там же. С.82 (письмо В.А.Жуковского А.С.Пушкину от 9 ноября 1836).

<sup>32</sup> Там же. С.224.

Барон Б.А.Вревский писал зятю Пушкина Л.Н.Павлищеву 28 февраля 1837, т.е. по свежим следам событий. Он передавал слова Евпраксии Николаевны: Пушкин «счастлив, что избавлен от этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существования»<sup>33</sup>. Такой решительный отзыв не позволяет относить все страдания Пушкина только к мукам ревности. Евпраксия Николаевна слишком хорошо знала Пушкина и читала его как поэта, чтобы так легко примириться с его смертью. Если она все же говорила о несчастном исходе дуэли как об освобождении для Пушкина, она должна была иметь для этого важные причины.

В поисках этих чрезвычайных обстоятельств Б.В.Казанский выдвинул версию об ухаживании Николая I за женой Пушкина<sup>34</sup>. Самый факт внимания царя к Наталье Николаевне не подлежит сомнению и подтвержден письмами самого поэта. Разумеется, это тревожило Пушкина, опасавшегося сплетен, компрометирующих его политически в глазах демократического читателя.

Неожиданный поворот в оценке событий мы находим в дневнике родного брата Е.Н.Вревской, человека практического и трезвого ума, коротко знакомого с Пушкиным. Вот как невзначай сформулировал он причины дуэли. 21 марта 1842 А.Н.Вульф записал в своем дневнике: «Александр Сергеевич, отправляя его тогда [Л.С.Пушкина в 1835. — Э.Г.] на Кавказ (он в то время взял на себя управление отцовского имения и уплачивал долги Льва), говорил шутя, чтобы Лев сделал его своим наследником, потому что все случаи смертности на его стороне: раз, что он едет в край, где чума, потом — горцы и, наконец, как военный холостой человек, он может быть убитым на дуэли. Вышло же наоборот: он — женатый, отец семейства, знаменитый — *погиб жертвою неприличного положения, в которое себя поставил ошибочным расчетом*, а этот под пулями черкесов беспечно пил кахетинское и так же мало потерпел от одних, как от другого»<sup>35</sup>.

Что это значит? О каком ошибочном расчете говорит А.Н. Вульф? И чем положение Пушкина было неприличным (*положение*, заметим это, а не *поведение!*)?

<sup>33</sup> Пушкин и его современники. Вып.12. СПб., 1909. С.111.

<sup>34</sup> См.: Казанский Б.В. Гибель поэта // Литературный современник. 1937. №3. С.219-243.

<sup>35</sup> А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т.1. С.422 (Курсив мой. —Э.Г.).

## Ошибочный расчет

16 февраля 1837 года П.А.Вяземский писал Э.К.Мусиной-Пушкиной в своем знаменитом письме о гибели поэта: «Тот, кто был его моральным убийцей, кончил тем, что стал им в действительности»<sup>36</sup>.

В письме к Михаилу Павловичу Вяземский теми же словами охарактеризовал Дантеса: «моральный убийца».

«Как надо понимать эту страшную фразу? — спрашивает Анна Ахматова. — Вяземский называет моральным убийством, конечно, то, что никто не верил в трусость Дантеса, а все говорили, что своей женитьбой он спас Н[аталью] Н[иколаевну]»<sup>37</sup>.

Бесспорно, толкование Анны Ахматовой весьма убедительно. Но достаточно ли его? Не слишком ли категорично Вяземский определяет тактику Дантеса, как «моральное убийство»? Не было ли еще других симптомов, позволивших так беспощадно определить соотношение сил в этой расправе? Александр Карамзин в своем письме к брату выводит «историю» Пушкина и Дантеса из рамок великосветского скандала: «Когда он, в негодовании, *накладывал на лоб этого врага печать бесчестья*, его собственные сограждане становились на защиту авантюриста и *поносили великого поэта*. Не сограждане его так поносили, то была *бесчестная кучка*. Не поэт в своем негодовании не сумел отличить *выкриков* этой кучки от великого голоса общества, к которому он бывал так чуток»<sup>38</sup>.

О чем здесь говорит Карамзин? Какие «выкрики»? Какие «поношения»? Какая «бесчестная кучка»? Эти выражения не подходят ни к восторженным вздохам знатных барынь, говоривших о «великой любви» Дантеса к жене Пушкина, ни к насмешкам над «глупой ревностью» поэта. Не имели ли в виду Карамзин и Вяземский какие-то другие конкретные факты? Такие данные отмечены в литературе еще в 90-х годах прошлого века, но пушкинисты не пожелали с ними считаться, потому что они были изложены в скомпрометированной книге. Да и до выхода этой книги в некоторых рукописных собраниях появились записи, намекающие на эти неучтенные факты. Так, в архиве редактора «Русской старины» М.И.Семевского сохранилась тетрадь, озаглавленная «Заметки о виденном и слышанном дома и за границей — 1886-1887 гг.». В тетради содержится запись о встрече в Висбадене с младшей дочерью

<sup>36</sup> Цит. по: Ахматова А. Указ. изд. С.132 (перевод А.Ахматовой).

<sup>37</sup> Ахматова А. Указ. изд. С.132.

<sup>38</sup> Пушкин в переписке Карамзиных 1836-1837 годов. М.; Л., 1960. С.191.

Пушкина графиней Н.А.Меренберг. Семевский беседовал с ней о великой беде, случившейся ровно полвека назад. Она сказала: «Все, что знаю об отце, это уже по рассказам моей матери. Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 г. отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его, В.А.Жуковский, князь П.А.Вяземский успокоют отца моего, — он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение»<sup>39</sup>. Эту запись М.Семевский не напечатал в своем журнале, она была опубликована впервые лишь в 1924 и серьезного внимания не привлекла. Еще меньше интереса вызвал другой рассказ такого же содержания, записанный от одного из домочадцев Натальи Николаевны: «Старушка няня детей Пушкиных, — читаем в «Русской старине», — рассказывала впоследствии, что в декабре 1836 года и в начале января 1837 года Александр Сергеевич был словно сам не свой: он или по целым дням разъезжал по городу, или, запершись в кабинете, бегал из угла в угол. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге: "Если письмо по городской почте, — не принимать!"», а сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет и там что-то громко кричал по-французски»<sup>40</sup>.

О потоке писем писал А.О.Смирновой и более авторитетный свидетель П.А.Вяземский: «*Проклятые письма*, проклятые сплетни приходили к нему со *всех сторон*»<sup>41</sup>.

О том же писал из Петербурга Н.И.Любимов — хорошо осведомленный корреспондент историка М.П.Погодина. Письмо написано 3 февраля, т.е. непосредственно после событий. Описав преддуэльную историю, Любимов правильно указал на бал у Воронцова-Дашкова, где Дантес демонстративно возобновил свои ухаживанья за Натальей Николаевной, и продолжал: «Потом (*да и до этого*) Пушкину посыпались разные анонимные письма и пасквили»<sup>42</sup>.

Это известие быстро распространилось по Москве.

Всюду говорится о лавине анонимных писем, а в пушкинистике обычно фигурируют только два письма: ноябрьский «диплом» и злорадное январское извещение о свидании Натальи Николаевны с Дантесом на квартире у Идалии Полетики. Из них до нас дошло только два идентичных экземпляра «диплома». Но, как мы видели, об этих письмах говорилось и на суде, хотя со-

<sup>39</sup> Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пб., 1924. С.127-128.

<sup>40</sup> Русская старина. 1880. №7. С.515.

<sup>41</sup> Русский архив. 1888. №7. С.297.

<sup>42</sup> Цит. по: Памяти П.Н.Сакулина: Сб. статей. М., 1931. С.311 (курсив мой).



держание их осталось неизвестным. А самый факт свидания подтвержден материалами, собранными С.Л.Абрамович, хотя даты этого происшествия в них не указано.

Между тем о содержании декабрьских и январских анонимных писем говорится с полной определенностью в книге, начисто отвергнутой исследователями. Я имею в виду «Записки» А.О.Смирновой, изданные ее дочерью. О возможности пользоваться разделом этой книги, озаглавленным Ольгой Смирновой «Смерть Пушкина», — речь пойдет дальше. Пока позволим себе остановиться только на тех ее строках, которые вносят совсем новый мотив в наше представление о травле Пушкина перед дуэлью.

В авторском вступлении к «Смерти Пушкина» Ольга Смирнова рассказывает: «Когда Дантес был объявлен женихом Cathérine Гончаровой, Пушкин взял назад свой первый вызов /.../ Вскоре по городу распространилась сплетня, нараставшая, как снежный ком; говорили, будто Пушкин взял обратно вызов из трусости. Между тем он, подобно Грибоедову и Лермонтову, отличался замечательной храбростью, спокойным, холодным мужеством и имел много дуэлей в Кишиневе /.../ Пушкина забрасывали анонимными русскими и французскими ругательными письмами, упрекали в трусости»<sup>43</sup>.

Не о том же ли говорил А.Ч.Медженис, английский дипломат, служивший в посольстве в Петербурге? О.Н.Смирнова приводит записку своего родного дяди Клементия Россета, которую, по ее утверждению, она нашла в семейном архиве: «Magennis опротивела эта травля; он, наконец, сказал мне: "Значит, они хотят довести его до крайности, добиваются его смерти или желают навлечь на него гнев Царя. Это — гнусность"»<sup>44</sup>.

О письменных провокационных нападках на Пушкина писал в своих воспоминаниях и барон Ф.А.Бюллер: «В сороковых годах у Одоевского Лев Пушкин впервые узнал из подробного, в высшей степени занимательного рассказа гр.Виельгорского все *коварные подстрекания*, которые довели брата его до дуэли. Передавать в печать слышимое мною тогда и теперь еще неудобно. Скажу только, что известный впоследствии писатель-генеалог П.В.Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем»<sup>45</sup>.

Эти строки Анна Ахматова использовала в качестве доказательства не только виновности Долгорукова, но и коллективного

<sup>43</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.2.

<sup>44</sup> Там же.

<sup>45</sup> Русский архив. 1872. Кн.1. Стлб.204.

авторства анонимного «диплома»<sup>46</sup>. Добавлю: не только авторов было несколько, но и «возбудительных писем», как видим, было не одно и не два.

В книге О.Смирновой приведен перевод письма баронессы Фредерикс к А.О.Смирновой. Ее свидетельство об отношении Николая I к дуэли Пушкина имеет вес, потому что Сесиль Фредерикс была близкой подругой императрицы и своим человеком во дворце. Она писала, что государь «все-таки высказал мнение, что Пушкин принужден был драться с минуты получения *анонимных писем, в которых упрекали его в трусости и подлости за то, что он взял назад первый вызов*, когда Дантес объявлен был женихом Catherine Гончаровой. Государь говорил: "Его принудили [драться]. Я видел письма, я все знаю теперь. От меня хотели скрыть истину, но она часто выходит наружу"<sup>47</sup>.

Мы не обязаны верить искренности слов Николая I относительно его неведения, но нет сомнения, что Сесиль Фредерикс не осмелилась бы исказить слова царя в своем письме. Вряд ли на это решилась бы впоследствии и Ольга Смирнова, декларативно заявлявшая о своей преданности монархии. А оба письма Пушкина, т.е. письмо с отказом от дуэли и последнее, послужившее поводом к вызову Дантеса, действительно находились у царя: об этом имеется справка в военно-судном деле.

Был в распоряжении Николая I и ответ нидерландского посланника на последнее письмо Пушкина. Там мы читаем то же обвинение, что и в анонимных письмах, указанных в книге Смирновой: «Вы, по-видимому, забыли, милостивый государь, что вы именно отказались от вызова, направленного вами барону Жоржу де Геккерну и им принятого. Доказательство тому, что я здесь заявляю, существует — оно писано вашей рукой и осталось в руках у секундантов»<sup>48</sup>.

Вот где была роковая ошибка Пушкина! Это его письмо с отказом стало орудием шантажа в руках опытных интриганов. Вспомним, как торговались Геккерны, сами выставившие предложением к примирению сватовство Дантеса, как добивались его реабилитации обязательно в письменном виде. Посредники в этом конфликте были настолько озабочены примирением, так хотели избавить поэта от опасности, что не заметили, как двусмысленно звучало письмо Пушкина: «Я не колеблюсь написать то, что могу заявить словесно. Я вызвал г-на Геккерна на дуэль, и он принял

<sup>46</sup> См.: Ахматова А. Указ. изд. С.125-126.

<sup>47</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.93.

<sup>48</sup> Цит. по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.16. М.; Л., 1949. С.408 (пер. с франц.).

вызов, не входя ни в какие объяснения. И я же прошу теперь господ свидетелей этого дела соблаговолить считать этот вызов как бы не имевшим места, узнав из толков в обществе, что г-н Жорж Геккерн решил объявить о своем намерении жениться на мадмуазель Гончаровой после дуэли. У меня нет никаких оснований приписывать его решение соображениям, недостойным благородного человека.

Прошу вас, граф<sup>49</sup>, воспользоваться этим письмом так, как сочтете уместным»<sup>50</sup>.

Жуковский и Виельгорский (тоже принимавший деятельное участие в улаживании ноябрьского конфликта) были так уверены в благородстве Пушкина, что упустили из виду, какое низкое применение могли придать Геккерны его отказу от дуэли. Письмо Пушкина, удовлетворившее его посредников, оказалось бумерангом, нанесшим смертельный удар поэту. «Пушкин и жена его попали в гнусную западню, их погубили»<sup>51</sup>, — писал П.А.Вяземский 16 февраля 1837, обращаясь к Э.К.Мусиной-Пушкиной. В свете всего сказанного выше фраза Вяземского приобретает реальный смысл.

Забытый мотив преддуэльной истории объясняет многое из того, что казалось случайным или эпизодическим в поведении Пушкина и его друзей. Вспомним письмо В.Ф.Вяземской в Москву, посланное вскоре после катастрофы. Она рассказывает в частности о последнем вечере, проведенном Пушкиным у Вяземских. Он сообщил ей, что послал свое решающее письмо Геккерну: «"Неужели вы думаете об этом? — сказала я. — Мы надеялись, что все уже кончено". — Тогда он вскочил, говоря мне: "Разве вы принимаете меня за труса?"»<sup>52</sup>. Письмо Вяземской написано по-французски и, согласно ее передаче, Пушкин употребил слово «lâche», которое в данном контексте можно перевести как «подлец» («разве вы принимаете меня за подлеца?»).

Понятнее становится тревога Пушкина и за свою репутацию честного человека в провинции.

Проясняется также поведение друзей поэта. Вревская и Александрина не могли противодействовать силе страсти оскорбленного Пушкина и отговорить его от дуэли. Кстати говоря, Алек-

---

<sup>49</sup> Письмо было вручено графу В.А.Соллогубу, секунданту Пушкина на несостоявшейся дуэли.

<sup>50</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Указ. изд. Т.16. С.396.

<sup>51</sup> Русский архив. 1900. №3. С.395.

<sup>52</sup> Неизвестное письмо В.Ф.Вяземской о смерти А.С.Пушкина / Публ. Н.Бельчикова // Новый мир. 1934. №12. С.189.

сандрине вовсе не требовалось быть в особенной близости к Пушкину, чтобы видеть поток гнусных писем, посланных в дом, в котором она жила. Да и вряд ли можно предупреждать женщину, с которой герой якобы находится в тайной связи, что он отправляется на поединок. Ведь она могла пойти на любые действия, чтобы спасти любимого человека от смертельного риска. Если бы она его любила. Но нет: не любила.

Теперь вспомним, что узнав о письме Пушкина к Геккерну, В.Ф.Вяземская просила бывших у нее в этот вечер В.А.Перовского и М.Ю.Виельгорского, чтобы они дождались возвращения домой Вяземского и сообщая приняли решение о мерах для предотвращения дуэли. Как известно, гости ушли до прихода хозяйина, а Вяземский, как видно, решил не вмешиваться. Мы удивляемся вялости поведения друзей Пушкина? Но ведь один раз они уже добились отмены дуэли, выработали вместе с Пушкиным условия примирения. А что из этого вышло? Злостное обвинение поэта в неблагоприятной сделке с соперником, компрометировавшим его жену. Кроме того, мы не знаем, не пытался ли Виельгорский увидеться с Пушкиным на следующее утро. Не потому ли Пушкин только ему одному сказал при последнем прощании, что любит его<sup>53</sup>? Освобождал ли он этим Виельгорского, не сумевшего отговорить его от дуэли, от раскаяния? Или, напротив, благодарил за понимание неотменяемости решительного поступка, приведшего к смерти поэта?

#### «Лжезаписки»

Итак, мы вводим в преддуэльную историю Пушкина новый весьма существенный элемент на основании «Записок» А.О.Смирновой, изданных ее дочерью Ольгой Николаевной в 1895-1897. Это может быть принято сведущим читателем с недоумением и даже негодованием. Книга О.Н.Смирновой давно изъята из научного обихода, признанная фальсифицированным сочинением. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона эти «Записки» названы «малодостоверными и полными ошибок и анахронизмов». В.Ф.Саводник в примечаниях к «Дневнику» Пушкина указал в 1923, что книгой Ольги Смирновой «можно пользоваться лишь с величайшей осторожностью и при условии постоянной проверки ее данных при помощи других источников»<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> См.: Щеголев П.Е. Указ. изд. С.248.

<sup>54</sup> Пушкин А.С. Дневник (1833-1835 гг.). М.; Пг., 1923. С.291.

«Это сказано слишком мягко, — откликнулся в 1925 М.А.Цявловский: — "Записками" Смирновой совершенно нельзя пользоваться»<sup>55</sup>. С исключительной категоричностью отзывался о книге Ольги Смирновой П.Е.Щеголев в своем классическом труде «Дуэль и смерть Пушкина»: «С особенною резкостью исследователь истории последней дуэли должен оттолкнуть от себя такие негодные источники, как пресловутые "Записки А.О.Смирновой"»<sup>56</sup>. Однако безапелляционность всех этих заявлений может относиться лишь к основной части издания Ольги Смирновой, где она, заполняя целые страницы выдуманными беседами Пушкина с ее матерью, делает поэта, по выражению Отто-Онегина «кислым резервом»<sup>57</sup>.

Но раздел «Смерть Пушкина» в значительной части построен на несколько вольных переводах петербургских писем, полученных Смирновой-Россет в Париже непосредственно после гибели Пушкина. А.Глассе, например, считает, что «приведенные О.Н.Смирновой в приложениях эпистолярные материалы несомненно подлинные»<sup>58</sup>. Что касается текста самих записок, то они рассматриваются автором как результат литературного творчества дочери А.Смирновой-Россет, а не ее подлинные записки. Снисходительнее отнеслась к изданию О.Н.Смирновой С.В.Житомирская. Назвав «Записки» «причудливым сочетанием разнообразных источников», она тем не менее отметила, что «несомненно наличие у О.Н.Смирновой в период ее работы над произведением, изданным в качестве записок А.О.Смирновой, сделанных ею самою в разные годы, записей рассказов матери»<sup>59</sup>.

Последуем рекомендации Саводника и продолжим проверку данных этой сомнительной книги по другим достоверным источникам.

Вернемся к письму А.О.Смирновой-Россет к П.А.Вяземскому. Выдержка из него была взята О.Смирновой в качестве эпиграфа к разделу «Смерть Пушкина». Теперь, когда Остафьевский архив князей Вяземских полностью разобран и описан, мы получили возможность сравнить оба текста. Правильность заключения Жито-

---

<sup>55</sup> Рассказы о Пушкине, записанные /.../ П.И.Бартеневым в 1851-1860 гг. / Вступ. статья и прим. М.Цявловского. М., 1925. С.116.

<sup>56</sup> Щеголев П.Е. Указ. изд. С.63.

<sup>57</sup> Цит. по: Петухов Е.В. Пачка писем // Памяти П.Н.Сакулина. М., 1931. С.220.

<sup>58</sup> Глассе А. Дуэль и смерть Пушкина по материалам архива вюртембергского посольства // Временник Пушкинской комиссии: 1977. Л., 1980. С.14.

<sup>59</sup> Житомирская С.В. К истории мемуарного наследия А.О.Смирновой-Россет // Пушкин: Исследования и материалы. Т.9. Л., 1979. С.336, 333.

мирской подтвердилось. Перевод в книге Смирновой осуществлен не вполне точно, но это не нарушает общего смысла письма. Так, вместо «douloureusement poétique» («скорбно-поэтического») переведено «нет ничего поэтичнее его жизни и смерти». Вместо названия журнала в фразе А.О.Смирновой «В сегодняшнем "Ревю де Пари"» стоит «Один из парижских журналов»<sup>60</sup>. Такого рода отклонения не дают оснований для полного отказа от использования этого источника.

Когда П.Е.Щеголев находил несообразности в изложении О.Смирновой, он еще не знал многого из того, что стало известно в последующие десятилетия. Еще меньше, чем Щеголев, знала О.Смирнова в девяностых годах. Но сейчас мы можем сказать, что многое, о чем идет речь в разделе «Смерть Пушкина», подтвердилось. Если, например, Смирнова упоминает «некоего маркиза или графа Тена»<sup>61</sup>, явившегося в Петербург одновременно с Дантесом, то это оказывается «маркиз де Пина», названный Пушкиным в своем дневнике. Значит, Ольга Смирнова держала в руках подлинную запись матери, но не разобрала фамилии маркиза. Выраженное в книге скептическое отношение А.О.Смирновой к политическому прошлому Дантеса подтвердилось свидетельством А.И.Тургенева. В Париже, уже после смерти Пушкина, он узнал, что Дантес «с Беррийской дюшессой никогда не воевал и на себя налгал»<sup>62</sup>. Далее: О.Смирнова сообщает от имени матери: «Фикельмон пишет мне, что его теща пожелала, чтобы ей представили Лермонтова после появления его стихов; она прочла их, рыдая»<sup>63</sup>. Это известие долгие годы воспринималось пушкинистами как еще одна выдумка О.Смирновой, так как о близком знакомстве Лермонтова с Е.М.Хитрово в литературе ничего не было известно. Только через много лет нашлись воспоминания М.Б.Лобанова-Ростовского, где, говоря о знакомстве с Лермонтовым, вернувшимся из кавказской ссылки за стихи на смерть Пушкина, он рассказывал: «Первое появление Лермонтова в свете произошло под покровительством женщины — одной очень оригинальной особы /.../»<sup>64</sup>. В даваемой им характеристике этой женщины нетрудно узнать Елизавету Михайловну Хитрово, мать жены австрийского посла Фикельмона. Число таких примеров можно было бы увеличить. Но особое место занимает в книге описание роли Идалии Полетики в истории дуэли.

<sup>60</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.1.

<sup>61</sup> Там же. С.12.

<sup>62</sup> Литературное наследство. Т.58. М., 1952. С.148-149.

<sup>63</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.14.

<sup>64</sup> Герштейн Э. Судьба Лермонтова. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1986. С.165.

Полное доверие вызывают письма из Петербурга, где тактика Идалини и поведение Дантеса в обществе отражены с большой живостью.

Помимо центральной для нас темы обвинений Пушкина в трусости, которые до сих пор не учитывались, мы найдем в письмах к Смирновым из Петербурга и в сведениях об обсуждении их в Париже общими друзьями еще много нового и ценного.

Интересно, что книгой О.Смирновой иногда пользовались даже те, кто безоговорочно отрицал ее достоверность, но делали это, так сказать, контрабандно. Даже П.Е.Щеголев, который в предисловии к первому изданию своего труда сетовал на то, что «кое-кто из исследователей все еще считается с сообщениями этих Записок»<sup>65</sup>, не обошелся без них, когда искал подтверждения одной из своих догадок: «Поверим на этот раз Ольге Смирновой», — заявил он в 1928<sup>66</sup>. Б.В.Казанский, печатая в 1928 статью со своей концепцией истории гибели Пушкина, привел прямую цитату из книги О.Н.Смирновой<sup>67</sup>. В наше время даже такой взыскательный и точный исследователь, как С.Л.Абрамович, тоже не удержалась и, используя одно из писем, вынуждена была оправдываться: «в данном случае ее рассказ вызывает доверие»<sup>68</sup>.

Но отбирать по ходу развития своей мысли, что заслуживает доверия, а что — нет, — это рискованный путь, на котором трудно избежать субъективного подхода.

И почему так непоследовательно? По стилю приведенных Смирновой писем легко можно отличить, где подлинное письмо, а где пересказ содержания, всегда более или менее искаженный.

Раздел «Смерть Пушкина» из «Записок» А.О.Смирновой нужно переиздать с критическим комментарием. И тогда читатель сам разберется, на «этот» или на «тот» раз, и в каком «случае» ей можно верить. Да во всех случаях поверить можно, но вот согласиться со всеми высказываниями, представленными в этом хоре голосов, уже труднее. К сожалению, для беспристрастного анализа этого материала из архива Смирновых возникнет сильная преграда. Это — табу, наложенное сегодня на обсуждение жены поэта. Отзывы о ней А.О.Смирновой или С.А.Соболевского не всегда совпадают с сусальным портретом, созданным современными идолопоклонниками. Однако выбор неизбежен: либо прикнудить к ним, либо искать истину о трагедии, оборвавшей жизнь великого человека.

<sup>65</sup> Цит. по: Щеголев П.Е. Указ. изд. С.27.

<sup>66</sup> Цит. по: Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина. М.; Л., 1928. С.375.

<sup>67</sup> Казанский Б. Гибель Пушкина // Звезда. 1928. №1. С.109.

<sup>68</sup> Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 г. Указ. изд. С.285.

У Александры Осиповны Смирновой составилось твердое мнение о виновниках гибели Пушкина. Ольга Смирнова пишет от имени матери: «Наступило некоторое спокойствие после свадьбы Екатерины Гончаровой и Дантеса, и это спокойствие обмануло отчасти ожиданья литературной клики: Греча, Сенковского, Булгарина. К.Булгаков убежден, что русские письма были написаны какими-то третьеразрядными писаками, которых Соболевский называет "гостинодворскими музами"». Пушкин получал подобные и раньше, и когда Соболевский уезжал, — он показал ему одно из них, в котором он узнал милые когти Фиглярина. Но французские письма иного происхождения: они, вероятно, из тех болот, в которых наслаждался Хромоногий /.../»<sup>69</sup>.

Речь идет, несомненно, о кн. П.В.Долгорукове, вошедшем в мемуарную литературу под прозвищем «bancal». У Смирновой оно переведено как «Хромоногий», но обычно переводится ближе к французскому значению — «кривоногий», «колченогий» или «косолапый». О подозрениях, павших на Долгорукова в авторстве «диплома», в пушкинистике существует обширная литература. Этот вопрос требует еще дальнейшего изучения.

Участие Булгарина в рассылке анонимных писем к Пушкину весьма правдоподобно. Нет никаких оснований не верить сообщению Смирновой об эпизоде с подлым, писанным по-русски анонимным письмом, которое показывал Соболевскому Пушкин. Соболевский уехал из России 7 августа 1836. Значит тогда, когда Пушкины жили на даче, и сестры Гончаровы вместе с Натальей Николаевной встречались с кавалергардами, Пушкин уже начал получать подметные письма. Авторство Булгарина очень возможно. Не говоря уже о том, что в это самое время Булгарин вел ожесточенную полемику с пушкинским «Современником», злорадство его именно по поводу ухаживанья Дантеса за женой Пушкина вполне объяснимо. Вспомним, что в «постскриптуме» знаменитой «Моей родословной» Пушкина содержался убийственный намек на жену Булгарина. И.Боричевский назвал его «искусным личным заслоном для небезопасного политического выступления»<sup>70</sup>. Главный удар куплетов Пушкина, как известно, был направлен против новой, т.е. романовской знати. Но это не помешало Пушкину свести счеты с Булгариным, спровоцировавшим этот памфлет свои-

<sup>69</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.18.

<sup>70</sup> Боричевский И. Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией // Литературное наследство. Т.45/46. М., 1948. С.328.



ми непозволительными глумливыми выходками против предков поэта. Напомню, что после одических стихов в честь Петра I и его питомца абиссинца Ганнибала (предка Пушкина) в «Моей родословной» содержался ответ, прямо адресованный Булгарину. В нем были такие стихи:

Кто ж он в семье своей почтенной?  
Он? Он в Мещанской дворянин.

«Стихи вызваны фактами биографии жены Булгарина, которая до свадьбы была связана с притонами Мещанской», — читаем в комментариях с этим стихам<sup>71</sup>. Можно себе представить, каким лакомым куском оказались для Булгарина сплетни о романе жены Пушкина с Дантесом. Вскоре булгаринский арсенал пополнился новым оружием: Пушкин вызвал Дантеса, но взял назад вызов. А сколько было насмешек над Булгариным, когда он отказался от дуэли с Дельвигом! Булгарин тогда получил ругательное письмо за многими подписями<sup>72</sup>. Теперь он мог рассчитывать с Пушкиным и его соратниками, «литературными аристократами»: он получил возможность трактовать отказ Пушкина от дуэли как подлую сделку с соперником. Версия о происхождении русских подметных писем от Булгарина представляется поэтому весьма правдоподобной.

Убеждаясь в важности материалов О.Смирновой о гибели Пушкина, нельзя не остановиться на записи, подводящей итог полученным из Петербурга известиям: «Во всех письмах проявляется одно и то же чувство: Россия лишилась своего славнейшего украшения по вине трех роковых личностей, приведенных неисповедимую судьбою в Россию и сплотившихся здесь»<sup>73</sup>. Кто же третий пришелец? В Геккерне и Дантесе мы не сомневаемся. Но Долгоруков — коренной русский, потомок древнейшего княжеского рода, считавшегося происходящим от Рюрика. Вероятно, третьим надо считать поляка Булгарина, который служил в армии Наполеона во время Отечественной войны, после чего вернулся в Россию.

Выразительными характеристиками сопровождает Смирнова имена обоих Геккернов: «Старый Геккерн отличался цинизмом поседелых развратников прежних времен; он постоянно злословил и сплетничал». Облик Дантеса нарисован четко и пренебрежительно: «Дантес приехал в Россию искать счастья, подобно стольким другим иностранцам (”подобно сотням беглецов“, по

<sup>71</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.3. М., 1963. С.514.

<sup>72</sup> Там же. Т.8. М., 1964. С.543.

<sup>73</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.6.

Лермонтову); все его достоинства ограничивались красивой наружностью, хотя в кавалергардском мундире, он представлял из себя красавца-мужчину довольно заурядного типа, — умением хорошо танцевать, говорить рискованные остроты, двусмысленности и плоские каламбуры, которыми изобилуют некоторые французские пьесы, пленять дам шутками в стиле Vaudeville'я и Palais-Royal, а товарищей — казарменными анекдотами»<sup>74</sup>.

После многих оговорок Смирновой-дочери можно заключить, что кроме этих трех господ мать ее считала непосредственными виновниками еще двух женщин. Нам известна нескрываемая вражда, разделявшая Пушкина и графиню М.Д.Нессельроде (жену вице-канцлера), но в данном случае ее имя не подойдет, так как Смирнова-Россет была с ней в дружеских отношениях, сохранявшихся и после смерти Пушкина. Одна из этих дам, несомненно, Идалия Полетика, обозначаемая иногда как X, иногда как XX, а иногда и первой буквой имени — И. Вторая дама — XXX, т.е. три «икс», вероятно, падчерица Бенкендорфа княгиня Е.П.Белосельская-Белозерская (ур. Бибилова). Мы знаем из рассказа секунданта Пушкина Данзаса, записанного и изданного А.Амосовым в 1863, что она покровительствовала Дантесу<sup>75</sup>, а П.В.Анненков назвал ее убийцей Пушкина наряду с Дантесом и Бенкендорфом<sup>76</sup>.

В этой связи интересно привести еще не публиковавшуюся ее характеристику, набросанную мемуаристом, знавшим ее в 1839, т.е. через два года после смерти Пушкина: «Натура неблагодарная, холодная, сухая, дорожившая лишь приманками тщеславия, блеском имени, богатства и красоты, развратная вследствие увлечений своего безудержного темперамента, при этом расчетливая в своем разврате и /.../ сохранявшая внешние приличия в своих любовных связях»<sup>77</sup>.

Роль Идалии Полетики обрисована в книге Смирновой очень подробно. Смирнова писала о Наталье Николаевне: «Ее милые подруги постоянно разносили все сплетни о ней и даже постоянно чернили ее, в особенности XX и XXX, завидовавшие ее красоте. XX делала это, потому что была влюблена в Дантеса, XXX — потому что все восхищались стройностью Natalie, потому что у нее нет ни такого стана, ни таких плеч. Обе они красивы, но Natalie на балу затмевала их»<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.6.

<sup>75</sup> А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Т.2. М., 1974. С.323, 497.

<sup>76</sup> См.: Эйдельман Н. О гибели Пушкина. Указ. изд. С.219.

<sup>77</sup> Лобанов-Ростовский М.Б. Воспоминания // ОПИ ГИМ. Ф.174. Ед.хр.5 (пер. с франц.).

<sup>78</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.3.

Наглядной иллюстрацией этих слов Смирновой может служить описание одного из балов в Аничковом, сделанное императрицей в письме к С.А.Бобринской 16 ноября 1836: «Вчера было воскресенье и у нас был бал /.../ все шло лучше, чем я могла думать. — Было как будто весело. Пушкина казалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье. — Но не было той сладостной поэзии, как на Елагином. — Вишнякова очень красива, молодая Барятинская и Мария Трубецкая привлекали своими высокими фигурами, стройные и гибкие. У Аннет Бенкендорф, белой как алебастр, нет, мне кажется, столько обаяния, сколько у маленькой Белосельской, которая своими прекрасными глазами и очаровательной меланхолией больше привлекает мужчин, чем ее сестра»<sup>79</sup>.

Среди писем, полученных Смирновой-Россет из Петербурга, было письмо от Екатерины Николаевны Мещерской (ур. Карамзиной), confidentки и единомышленицы Пушкина. Смирнова пишет от имени матери: «Catherine Мещерская сделала бурную сцену ХХ [то есть Идалии Полетике. — Э.Г.]; она сказала ей: "Теперь вы довольны, вы также клеветали на Natalie, кокетничали с Дантесом и сыграли дурную роль по отношению к ней. Она вам передавала неприличные выходки этого дурно воспитанного господина, а вы разглашали их, чтобы погубить ее. Это низко". ХХ была ошеломлена, но поделом ей: она в самом деле сыграла низкую роль»<sup>80</sup>.

О том же пишет уже весной 1837 А.П.Дурново (ур. кн.Волконская):

Продолжают злословить m-me П[ушкину], рассказывая о ее любви к Дантесу; вы отгадаете, *кто* более всего распространяет эту глупую клевету, и я, право, совсем расстраиваюсь, когда вижу эту женщину. Мне так и хочется дать ей встряску. Она всюду бывает и готова употребить все средства, чтобы очернить Пушкину и обелить Дантеса, и у С., и у Б., и у их союзников. Я предполагаю, она в отчаянии от того, что ее танцора выпрово-

---

<sup>79</sup> Герштейн Э. Вокруг гибели Пушкина // Новый мир. 1962. №2. С.213 (пер. с франц.). С.Л.Абрамович удалось установить указанную выше дату письма. См.: Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.145-146. Однако ее соображения об особенном внимании к Н.Н.Пушкиной, проявившемся на этом балу, вряд ли справедливы. Императрица называет ее первой, чтобы отделить от других красавиц, так как Наталья Николаевна всегда считалась звездой первой величины. Но воспоминание о «сладостной поэзии» на Елагином вряд ли имеет отношение к Пушкиной и Дантесу, как полагает Абрамович. Императрица сама с искренним увлечением отдавалась всем радостям придворных празднеств.

<sup>80</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.12.

дили за границу с фельдъегерем и что на будущее время доступ в Россию ему закрыт<sup>81</sup>.

Вот это и есть причина пожизненной ненависти Идалии Полетики к Пушкину. Дуэль, на которой погиб поэт, разбила ее счастье, разлучив с обожаемым Дантесом. И женитьбы его на Катерине не было бы, если бы Пушкин не послал ему первого вызова. Зачем же искать какие-то загадочные причины ненависти Полетики к Пушкину. Все и так ясно.

Какова же была роль Идалии Полетики при жизни Пушкина? Об этом в книге есть подробный рассказ. «Самое скверное то, — пишет Смирнова от имени матери, — что он [Дантес] никогда не был влюблен в Натали, он находил ее глупой и скучной; он был влюблен в И[далию] и начал ей свидания у Натали, которая служила ширмой в продолжении двух лет. И[далия] страшно боялась своего beau-père (больше, чем своего мужа) и своей семьи, так как для нее скандал был бы концом всего, потому что ее положение в семье было довольно затруднительное. Она очень хорошенькая, привлекательная, умная, и ее дружбу с Натали и эту внезапную нежность никто не понимал, так как прежде она жестоко потешалась над ней. И вот, в один прекрасный день, они неразлучны. Натали, очень простодушная, прекрасно служила ширмой, и ее мелкое тщеславие было польщено тем, что она была предметом чьей-то страсти. И[далия] повторила ей, что это лестно, Catherine Гончарова была более прозорлива: она ненавидела И[далию], потому что сама сходила с ума по Дантесу. Александра Гончарова была тоже очарована И[далией]<sup>82</sup>, и Геккерен, который *знал все это*, имел развратное удовольствие играть низкую роль. Это старый негодяй, человек без принципов, без чести, тип старого повесы XVIII в., который наслаждается всяким скандалом, насмехается над всем и вмешивается во все интриги»<sup>83</sup>.

Изображенное Смирновой закулисное участие Геккерена в проделках сестер Гончаровых, Идалии Полетики и Дантеса в доме

<sup>81</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.91.

<sup>82</sup> М.Б.Лобанов-Ростовский вспоминал, какой она была в 1839, когда дружила с графиней А.К.Воронцовой-Дашковой: «Высокая дама, с сильными страстями, предметы которых однако часто менялись. Она выбирала предметы своей страсти в кавалергардском полку, в котором служил ее муж, образец всех мужей по глупости и по примерной покорности своей супруге. Эта красивая особа, по возрасту значительно старше молодой графини, казалась в то время несколько поблекшей; но когда я увидел ее десять лет спустя в Париже, я был поражен, найдя ее помолодевшей и похорошевшей до такой степени, что ее трудно было узнать, и царившей среди самых элегантных женщин парижского общества» (Лобанов-Ростовский М.Б. Указ. соч.).

<sup>83</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.24. (Курсив мой).

Пушкина совпадает с той ролью, какую он, по наблюдениям Анны Ахматовой, играл в доме Карамзиных. Нидерландский посланник не бывал у них, но сумел, по мнению Ахматовой, повлиять на младшее поколение Карамзиных и на всю *bande joyeuse*<sup>84</sup>, собиравшуюся у них<sup>85</sup>. Что касается утверждения Смирновой о доставшейся на долю Натальи Николаевны роли ширмы, то с таким же успехом роман (пусть даже связь) Дантеса с Идалией мог служить ширмой для его влюбленности в жену Пушкина. Уже осенью 1836 Дантес, «не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, — как заметила С.Н.Карамзина, — /.../ издали бросает нежные взгляды на Наталью /.../»<sup>86</sup>. Все это показывает, насколько развито было в этом кружке игровое начало. К несчастью, все эти розыгрыши, поддразнивания, маленькие и большие коварства в доме Пушкина превращались под руководством Геккерна в опаснейшие каверзы.

В этих светских пересудах поражает осуждение «смешного, гадкого и неприличного» поведения Дантеса в обществе: он «на балах разыгрывал из себя трепещущего сентиментального влюбленного, и, как тень, следовал за своею *belle-soeur* [свояченицей]», — пишет одна из корреспонденток<sup>87</sup>. Другая передает реплику своего брата: «Любовь не извиняет поступка Дантеса /.../ кроме того эта любовь далеко не была хорошего свойства, не была ни искреннею, ни чистою; выражать же подобным театральным образом свои чувства — странно и непозволительно»<sup>88</sup>.

А вот речи одного бывшего «арзамасца», умного и образованного дипломата, которого очень любил Пушкин, П.И.Полетики (однофамилец, но не родственник Идалии):

Если даже и была между ними любовная связь, то честный человек обязан скрывать свои чувства, тогда как *beau-frère m-me* П[ушкиной] хвастался этим во всех салонах, в полку; он распространял об ней слухи гораздо раньше женитьбы и ухаживал за нею с шокирующим упорством и неприличием. Она — красавица, и *cela le posait*<sup>89</sup> — быть благосклонно принятым поклонником красавицы; его тщеславие фата, — ибо это, безусловно, фат, — было польщено, когда его считали любимым. Это — привычка дурно воспитанных волокит. И так как на этот раз он ничего не добился, то он хоть других хотел уверить в своем успехе, чтобы доказать свою неотразимость<sup>90</sup>.

<sup>84</sup> Веселая шайка (*франц.*).

<sup>85</sup> См.: Ахматова А. Указ. изд. С.112.

<sup>86</sup> Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов. М.; Л., 1960. С.109.

<sup>87</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.90.

<sup>88</sup> Там же. С.91.

<sup>89</sup> Это создавало ему положение (*франц.*).

<sup>90</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.91-92.

Свет все видел, но молчал, пока царь не отдал Дантеса под суд, а голландского короля попросил отозвать Геккерна. На тягостные размышления наводит также полное бездействие властей. Царь, обычно такой придиричивый к манерам, одежде, даже прическам гвардейских офицеров, по-видимому, не обращал внимания на неприличное поведение Дантеса. Весь «большой свет» это видел, но Дантеса никто не одергивал. Правда, его перестали приглашать в Аничков и часто сажали под арест в полку. Но вскоре Дантес мог увериться в тайном поощрении его тактики по отношению к жене Пушкина. Бенкендорф покровительствовал ему открыто.

Мнение о хвастовстве Дантеса подкрепляют и другие письма из архива Смирновых. В одном из них читаем:

Представьте себе, какую ужасную вещь сказала одна из барышень: «Какое несчастье, что Пушкин не был убит до женитьбы Дантеса, тогда m-те П[ушкина] могла бы выйти замуж за Дантеса! Право, вместо того, чтобы жениться, он должен был ее похитить». Эти слова возмутили одного из друзей П[ушкина], и он ответил ей: «А почему вы думаете, что m-те П[ушкина] позволила бы себя похитить и вышла бы замуж за убийцу своего мужа? Вы таким образом на нее клеветаете. Мне говорили, что Дантес сам подавал повод к подобным сплетням, рассказывая часто, что любим m-те П[ушкиной] и что он похитит ее<sup>91</sup>.

В последнем замечании нет никакого преувеличения. Ведь мы знаем из письма Пушкина к Геккерну, да и из других источников, что посланник именно об этом и просил Наталью Николаевну. Он уговаривал ее спасти жизнь Дантеса, удовлетворив его страсть к ней. Пушкин узнал об этом из исповеди жены, последовавшей после получения первого анонимного письма. А вот что писал об этом Павел Вяземский: «Не ревность мучила Пушкина, а до глубины души пораженное самолюбие /.../ Единственное объяснение раздражения Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерена, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно было быть смыто кровью»<sup>92</sup>.

О том же писал барон Г.Фризенгоф А.П.Араповой, отвечая вместе с Александрой Николаевной на просьбу племянницы рассказать историю гибели Пушкина: «Старый Геккерн написал вашей матери письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и

<sup>91</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.90-91.

<sup>92</sup> Вяземский П.П. Собрание сочинений. СПб., 1893. С.555, 557.

выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что ваша мать ответила на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно»<sup>93</sup>.

Не хватало только, чтобы полномочный представитель голландского короля состоял в скандальной переписке с русской придворной дамой! Уже одно это предположение Александрины показывает, что либо она, действительно, была уже так больна (письмо Фризенгофа написано в 1887), что все перезабыла, либо умышленно путала. Что означает, например, выражение «выйти за его приемного сына»? Для этого Наталье Николаевне надо было получить развод, а в дореформенной России бракоразводные дела тянулись годами, а то и десятилетиями. Геккерн, конечно, уговаривал Наталью Николаевну бежать с Дантесом, то есть «дать себя похитить». Характерно, что в этих замыслах совершенно игнорирован такой важный для Натальи Николаевны вопрос, как дети. Ведь она оказалась бы разлученной с ними навсегда (вариант Анны Карениной). Уверена, что она не только «отказала», но и не помышляла о такой возможности.

Между тем С.Л.Абрамович, заметив несообразность упоминания Фризенгофом о письменных сношениях Геккерна с Пушкиной, все же придает его сообщениям первостепенное значение. При этом исследовательница пропускает такое возмутительное место, как толкование Фризенгофом ноябрьских переговоров по поводу вызова Пушкина. После того — заявляют Фризенгофы, — как Пушкин отказал в своем доме Дантесу, он «кончил тем, что заявил: либо тот женится на Катерине, либо будут драться». Выходит, что весь замысел женитьбы Дантеса на Катерине Гончаровой исходил от Пушкина. Больше того, получается, что он и дрался за Катерину, а не за жену. Кстати сказать, такая версия блуждает по страницам последних работ о дуэли. Якобы Пушкин как глава дома требовал, чтобы Дантес женился на девице, которую успел обольстить. Заметим в скобках, что для защиты чести Катерины Николаевны существовали братья, особенно Дмитрий Николаевич, официально признанный главой семьи Гончаровых. Не думаю, чтобы Фризенгоф просто оговорился в изложении хода событий. Тут чувствуется тенденция Александрины выгородить Наталью Николаевну. «Жена моя сообщает мне, — продолжает Фризенгоф, — что она совершенно уверена в том, что все это время Геккерн [Жорж. — Э.Г.] видел вашу мать исключительно в свете и что между ними не было ни встреч, ни переписки»<sup>94</sup>. Но

<sup>93</sup> Цит. по: Гроссман Л. Цех пера. М., 1930. С.267.

<sup>94</sup> Там же.

ведь это неправда. Они встречались у Карамзиных. Пушкин в своем письме к посланнику, написанном после помолвки Дантеса, упоминал о «глупостях» или «нелепостях» (niaiseries), которые Дантес «осмеливался писать» Наталье Николаевне. И Дантес подтвердил в суде, что он, «посылая довольно часто к жене Пушкина книги и театральные билеты, прилагал при том свои записки, которые заключали в себе такие выражения, кои могли возбудить щекотливость Пушкина, как мужа»<sup>95</sup>.

### Когда было свидание у Полетики?

Без сомнения, Наталья Николаевна подвергалась в октябре 1836 сильнейшему натиску обоих Геккернов, отца и сына. Тем не менее, невозможно принять версию о том, что тогда же и было подстроено свидание у Полетики.

С.Л.Абрамович утверждает, что «и Александра Николаевна и Вяземская рассказывают об этом эпизоде как о чем-то, стоящем в ряду других событий, не приурочивая его к трагическому финалу»<sup>96</sup>. Это неверно. Фризенгофы сознательно говорят о нем в ряду с другими ноябрьскими событиями, а Вяземская (в записи Бартенева) тоже сознательно описывает в ряду с январскими событиями. Вначале она рассказывает о том, как Пушкин «прибегал к ней, жалуясь на свое положение относительно Геккерна», затем описано, как под Новый 1837 год Пушкины встретились у нее с Дантесом и Катериной, которые были уже женихом и невестой, а в конце говорит о том, как себя вел в общественных местах женатый Дантес: «На разъезде с одного бала Геккерн, подавая руку жене своей, громко сказал, так что Пушкин слышал: "Пойдем, моя законная". Мадам N по настоянию Геккерна, пригласила Пушкину к себе, а сама уехала из дому». Далее следует то описание, которое сама С.Л.Абрамович считает наиболее достоверным: «Пушкина рассказывала княгине Вяземской и мужу, что, когда она осталась с глазу [на глаз] с Геккерном, тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настояний; она ломала себе руки и стала говорить как можно громче. По счастью, ничего не подозревавшая дочь хозяйки дома явилась в комнату, и гостя бросилась к ней»<sup>97</sup>.

<sup>95</sup> Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккереном. Указ. изд. С.144.

<sup>96</sup> Абрамович С.Л. Пушкин: Последний год. Указ. изд. С.74.

<sup>97</sup> А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т.2. С.164.



Приведя этот рассказ Вяземской, С.Л.Абрамович цитирует еще один вариант рассказа Вяземской, дополненный впечатляющим штрихом. Согласно этой редакции, Наталья Николаевна приехала к Вяземской от Идалии «вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избежать настойчивого преследования Дантеса»<sup>98</sup>.

Этот инцидент С.Л.Абрамович отождествляет с другим эпизодом, описанным Пушкиным в черновике его ноябрьского письма к Геккерну. Там названа и точная дата происшествия. Разорванный в клочки черновик, реконструированный в тридцатых годах, читается так: «2 ноября вы от вашего сына узнали новость, которая доставила вам много удовольствия. Он вам сказал, что я в бешенстве, что моя жена боится... что она теряет голову. Вы решили нанести удар, который казался окончательным. Вами было составлено анонимное письмо»<sup>99</sup>.

Но между «новостью» 2 ноября и сценой у Идалии Полетики нет ничего общего! Характер встречи, описанной В.Ф.Вяземской, исключал возможность какой бы то ни было беседы. Тут надо было спастись, а не объясняться. Остается впечатление, что «новость», передающую крайне наэлектризованную атмосферу в семье Пушкиных, Дантес услышал не от Натальи Николаевны, а от кого-то другого. Это могла быть Идалия Полетика, могла быть Екатерина Николаевна, мог быть кто-нибудь из молодых Карамзиных. Заметим, что 3 ноября Софья Николаевна писала брату: «У нас за чаем всегда бывает несколько человек, в их числе Дантес, он очень забавен и поручил мне заверить тебя, что тебя ему не достает»<sup>100</sup>.

Не было ли тут какой-то сплетни о чрезмерном внимании самодержца к жене Пушкина? Не привел ли какой-то эпизод этого типа Пушкина в ярость? И не вздумал ли Геккерн воспользоваться этим инцидентом? Тогда нам легче было бы объяснить, почему Пушкин колебался, стоит ли упоминать о памятном ему эпизоде 2 ноября и почему он дал возможность хитрому дипломату прикоснуться к этой запретной теме. Тут я позволю себе только высказать одну догадку, доказательств не имея. Читая много описаний петербургской великосветской и придворной жизни тридцатых годов прошлого века, я заметила, что ни один отказ дамы на любовные домогательства царя не проходил для нее бесследно. Так было с талантливой актрисой Асенковой, которую

<sup>98</sup> Русский архив. 1908. №10. С.295.

<sup>99</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.10. М., 1966. С.879.

<sup>100</sup> Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов. Указ. изд. С.129.

сидящие в партере офицеры подвергли такому глумлению, что она вынуждена была в слезах покинуть сцену. Так было со знаменитой «львицей» А.К.Воронцовой-Дашковой, женой знаменитого богача и церемониймейстера, совершенно опозоренной в ложе театра перед всем зрительным залом одним отпрыском знатного семейства. Не надеялся ли Геккерн повторить эту манеру действий? Иначе я не могу себе представить, во-первых, как мог решиться посланник или кто другой упоминать «нарышкинскую» тему, если не был уверен, что сейчас это можно и будет кстати. Во-вторых, не нахожу другого объяснения, какая связь могла бы быть замечена Пушкиным между разговорами о его ревности к Дантесу и намеком на царские «шалости»?

Против отождествления даты 2 ноября с рассылкой пасквиля, то есть против того, что в тот день и состоялось подстроенное свидание Натальи Николаевны с Дантесом в доме Идалии Полетики, помимо моего довода о невозможности для Пушкина вести переговоры с Геккернами и тем более выдать Дантесу оправдательное письмо, свидетельствует и сопоставление двух редакций письма Пушкина Геккерну. В ноябрьском, не отправленном, но написанном 21 ноября, Пушкин утверждал, что поведение Дантеса «не выходило из границ светских приличий». Но ведь в январском письме, которое считается почти идентичной копией непосланного ноябрьского, говорится о другом. «Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего мерзкого поведения смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец»<sup>101</sup>.

Заметим, что выражения «мерзкое поведение» и «казарменные каламбуры» отделены Пушкиным одно от другого, и здесь говорится о чем-то определенном.

Наконец, третий довод против версии С.Л.Абрамович содержится в покаянном письме прозревшего Александра Карамзина: «...верно также и то, что он продолжал и после своей женитьбы ухаживать за госпожой Пушкиной, чему я долго не хотел верить, но, наконец, сдался перед явными доказательствами, которые получил позднее»<sup>102</sup>.

О чем здесь говорит Александр Карамзин? Ведь кривлянье Дантеса на балах он видел так же, как и все остальные. Что же успел совершить Дантес по отношению к Наталье Николаевне за те две недели, которые отделяют свадьбу Екатерины Гонча-

<sup>101</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т.16. С.408.

<sup>102</sup> Пушкин в письмах Карамзиных... Указ. изд. С.192.

ровой с Дантесом-Геккерном от «картели» и смертной дуэли Пушкина? Подобные факты не позволяют начисто отвергнуть версию о тайном свидании Н.Н.Гончаровой с Дантесом, послужившем прямым поводом к дуэли, как я решаюсь думать.

Объяснение Натальи Николаевны с Дантесом все-таки было, но гораздо ранее 2 ноября. Об этом свидетельствует дневник М.И.Барятинской. Из лепета этой семнадцатилетней княжны мы узнаем о важных фактах. Оказывается, у Геккернов был проект женитьбы Жоржа на этой знатной и богатой девице. Попутно выясняется, что Дантес получил какой-то отказ от Натальи Николаевны: «И мама, — записывает Барятинская, — узнала через Тр[убецкого], что его отвергла (герoussa) госпожа Пушкина. Может быть, поэтому он и хочет жениться. *С досады!* Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить»<sup>103</sup>.

Эта запись сделана 23 октября. Следовательно, разрыв Натальи Николаевны с Дантесом произошел до 19 октября, потому что документы из архива кавалергардского полка удостоверяют, что с 19 по 27 октября Дантес числился больным<sup>104</sup>. О действиях Геккерна во время этой болезни говорит Пушкин все в том же ноябрьском письме: «Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали /.../ вашему незаконнорожденному или так называемому сыну /.../ Подобно бесстыжей старухе, вы подстергали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о вашем сыне, а когда, заболел сифилисом, он должен был сидеть дома из-за лекарств, вы говорили, бесчестный вы человек, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына»<sup>105</sup>.

Усилия Геккерна были, очевидно, последней попыткой вовлечь Наталью Николаевну в авантюру. Провал этой циничной затеи наполнил посланника жаждой мщения, которым он и угрожал Пушкиной. Неизвестная нам «новость» подсказала 2 ноября Геккернам идею анонимного пасквиля, подло и тонко составленного. По крайней мере, Пушкин находил прямую связь между «дипломом» и «разговором» 2 ноября. И даже определил соотношение между ними: если подметное письмо должно было служить «окончательным ударом», очевидно, оно было составлено в развитее той самой «новости», которую принес Дантес Геккерну. Речь в ней шла, по-видимому, о том, что Пушкин с ума сходит от ревности, но к Дантесу ли? Почему же в таком случае, Гек-

<sup>103</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.8. Л.179 (пер. с франц.). Сердечно благодарю Миру Иосифовну Перпер, сделавшую для меня обширные выписки из этого дневника и перевод их на русский язык.

<sup>104</sup> См.: Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.77.

<sup>105</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.16. М.; Л., 1949. С.346-347.

керы были так поражены, когда Пушкин послал ему вызов? Ужас посланника был неприятным, а Дантес во всех переговорах подчеркивал, что, хотя он и принял вызов, но до сих пор не знает, за что Пушкин его вызвал. По-видимому, если автором пасквиля был действительно Геккерт, он рассчитывал на другой эффект.

### Намек по «царственной линии»

Тут неизбежно возрождается мысль о так называемом намеке по «царственной линии». Насколько эта версия была распространена у нас в двадцатых и тридцатых годах, настолько сейчас начисто отвергнута при помощи весьма слабой аргументации. Один довод приходится встречать в новейшей литературе особенно часто. «Пусть, — говорят противники версии, — жена Д.Л.Нарышкина действительно была фавориткой Александра I, и муж ее получал от царя большую мзду за свой позор. Но ведь это было давно. События начала девятнадцатого века потеряли свою злободневность в тридцатых годах. Кто в петербургском свете помнил об этом в 1836 году?» Ответим: Пушкин помнил. Недаром в пасквили подчеркнута указание на его звание историографа. Кто же не знал, что Пушкин занят историей Петра I и получает за это жалованье? Не оставалось секретом и что «Историю Пугачевского бунта» он издал на деньги, полученные по повелению царя в виде долгосрочной ссуды. В свете не мог пройти незамеченным интерес Пушкина к историческим анекдотам о царствовании Екатерины II или Павла. Отметим хотя бы беседы поэта с Н.К.Загряжской. Был еще один человек в великосветском Петербурге, который посещал «старух, живших при прежних дворах, и заставлял их рассказывать себе все анекдоты, сохранившиеся в их памяти. Это был главный источник его сведений»<sup>106</sup>. Этот человек был князь П.В.Долгоруков, которого недаром подозревали в авторстве хитроумного «диплома». Уж он-то про Нарышкина помнил. И, наконец, А.И.Тургенев, первоклассный знаток русской истории, пересказывая в своих письмах подробности о кончине Пушкина, главной приметой пасквиля считал наименование в нем поэта «первым после Нарышкина рогоносцем»<sup>107</sup>. О второй подписи в «ордене рогоносцев» (Борх) Тургенев даже не вспомнил. Вероятно, Борх был привлечен пасквилянтами для напоминания о семье, считавшейся «грязной».

<sup>106</sup> ОПИ ГИМ. Ф.174. Оп.1. Ед.хр.5.

<sup>107</sup> Цит. по: Пушкин и его современники. Вып.6. Указ. изд. С.59.

Противники «царской» версии, в их числе и С.Л.Абрамович, утверждают также, что при ознакомлении с пасквилем никто из современников не заподозрил намека на государя, а сразу сблизили имена Пушкиной и Дантеса. Но подметного письма никто не читал, кроме ближайших друзей Пушкина. Слухи о нем проникли в «большой свет» только после поразившей всех помолвки Дантеса с Катериной Гончаровой. С.Л.Абрамович указывает, что тогда появилось множество «фантастических домыслов». В качестве примера она приводит такой: Пушкин якобы получил по городской почте диплом с золотыми рогами<sup>108</sup>. Но это и есть намек на царя — типичный «нарышкинский» вариант.

На большее исследователь, занимающийся изучением великосветской и придворной переписки, и рассчитывать не может. Ни императрица, ни графиня С.А.Бобринская, ни графиня Д.Ф.Фикельмон, ни Карамзины, ни А.О.Смирнова никогда не доверили бы бумаге ни одной сплетни про императора. На это уже указывалось в одной из рецензий на книгу Абрамович, где приведен убедительный пример: «Много ли откликов мы имеем на безобразную историю (а уж она действительно была известна всем в петербургском обществе)»<sup>109</sup>. Критические отзывы о Николае I попадают либо в дневниках и воспоминаниях, не рассчитанных на гласность, либо мелькают в записях персонажей, не принадлежащих к высшему кругу. Таков, например, дневник Н.И.Иваннищого, записавшего свою беседу с А.В.Никитенко. Запись сделана 23 февраля 1846, но переданный Никитенко разговор с В.А.Соллогубом мог происходить и раньше. По отзыву Соллогуба в гибели Пушкина «подозревают другую причину: жена Пушкина была фрейлиной при дворе, так думают, что не было ли у ней связей с царем»<sup>110</sup>.

Здесь выражено то, чего Пушкин больше всего боялся. Дурной молвы, рожденной тем унижительным положением, в которое он был поставлен царем. Это очень верно передал Соллогуб в своих воспоминаниях: «Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко». Далее Соллогуб писал: «Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, чтобы в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более

<sup>108</sup> См.: Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.114.

<sup>109</sup> Сайтанов В. К тайне гибели Пушкина // Вопросы литературы. 1986. №4. С.250.

<sup>110</sup> А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т.2. С.482.

смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не г. Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес»<sup>111</sup>.

Соллогуб, конечно, имел возможность верно судить о мотивах поведения Пушкина, как человек, близко стоявший к самым истокам драмы. Он правильно подметил, что Пушкина тревожило посягательство на его имя, а не на его жену, которой он верил. Но прав ли был Соллогуб, когда ограничивал опасения поэта именно светской молвой? Мы слышали другие высказывания Пушкина. Он заявлял, что «принадлежит всей стране и желает, чтобы имя его оставалось незапятнанным везде, где его знают». Так передал П. А. Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу слова Пушкина<sup>112</sup>. Иначе та же мысль Пушкина была изложена иностранным дипломатом, который писал из Петербурга своему правительству: «Какое мне дело до мнения мадам графини или мадам княгини, уверенных в невинности или виновности моей жены! Единственное мнение, которому я придаю значение, — это мнение среднего класса, который ныне — единственный действительно русский и которой обвиняет жену Пушкина»<sup>113</sup>. В обоих письмах слова Пушкина переданы в редакциях, применительных к назначению официального документа. Но вот Д. Ф. Фикельмон писала для себя, запись в ее дневнике начата в день кончины Пушкина. Она объясняла его позицию так: «Большой свет видел все и мог считать, что само поведение Дантеса было первым доказательством невинности госпожи Пушкиной, но десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее камень»<sup>114</sup>.

Д. Ф. Фикельмон, хозяйка блестящего европейского салона в Петербурге, тесно связанная с двумя дворами, русским и австрийским, не представляла себе всей глубины страданий Пушкина. Ее наблюдения ограничивались петербургской жизнью. Она знала, что семейные дела Пушкиных обсуждались и в Москве, и в провинции, но о самом главном умолчала в своей записи. Может быть, она и не догадывалась, какой незаживающей раной было для Пушкина положение его жены при дворе, сама-то она и ее

<sup>111</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т. 2. С. 298-299.

<sup>112</sup> См. прим. 30.

<sup>113</sup> Новый мир. 1972. № 3. С. 226.

<sup>114</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т. 2. С. 143.

сестра Тизенгаузен, и мать Е.М.Хитрово дышали этим воздухом с детства и не ощущали его тяжести. А Пушкин еще в 1834 предостерегал Наталью Николаевну от влияния ядовитой атмосферы придворной жизни. «Охота тебе думать о помещении сестер во дворец /.../, — писал он ей на Полотняный завод 11 июня. — Коли и возьмут, то подумай, что за скверные толки пойдут по свинскому П[етер]б[ургу]. Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы. Погоди; овдовеешь, постареешь — тогда пожалуй будь салопницей и титулярной советницей. Мой совет тебе и сестрам быть подале от двора; в нем толку мало»<sup>115</sup>.

К сожалению, к этому совету Пушкина в его семье не прислушались. Вскоре после переезда в Петербург старшая Гончарова, живя в доме поэта, получила назначение во дворец в звании фрейлины, а после смерти Пушкина вернувшаяся вместе с Натальей Николаевной в Петербург Александрина сразу же (с 1 января 1839) заняла во дворце такое же место. Впоследствии, когда выросла старшая дочь Пушкина, она до своего замужества в течение ряда лет тоже была фрейлиной.

При своей жизни Пушкин имел несчастье убедиться, что «свинский Петербург» разнес уже далеко за свои пределы сплетни об ухаживании царя за Натальей Николаевной. Об этом Пушкин написал жене из Москвы 6 мая 1836, маскируя свою горечь и настороженность видимостью беззаботной болтовни: «И про тебя, душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жен своих, однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостью, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение Вашего пола». Беглое замечание о «толках, которые не вполне доходят» до Пушкина, указывает, что говорят на эту тему всякое, но в центре сплетен стоит одно: царь ухаживает за женою поэта. Раздражение Пушкина и некоторая отчужденность между супругами прорвались в осуждающей фразе другого московского письма его к Наталье Николаевне (18 мая): «славный обед ваших кавалергардов»<sup>116</sup>. За словом «ваших», обращенном к Наталье Николаевне, слышится подтекст, ведущий к Дантесу, Катерине Гончаровой и Идалини Полеттике, упомянутой в том же письме.

Все это Пушкин пишет жене перед самыми ее родами, то есть в то время, когда она не показывалась в свете. С.Л.Абрамович

<sup>115</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.15. М.; Л., 1948. С.158-159.

<sup>116</sup> Там же. Т.16. М.; Л., 1949. С.112-113, 117.

сообщает, что «Н.Н.Пушкина ни разу не виделась с царем с марта, когда она перестала выезжать, и вплоть до первого бала нового зимнего сезона, состоявшегося 15 ноября в Аничковом дворце»<sup>117</sup>. Это указание основано, очевидно, на записях камер-фурьерского журнала. Но в обязанности камер-фурьера не входило фиксировать беседы государя, которые он заводил с гостями на балах и при встречах на прогулках в Царском Селе, в Петербурге на Английской набережной, в маскарадах, в Английском магазине. От кокетства с царем Пушкин предостерегал жену еще в октябре 1833, когда он не был камер-юнкером, и Наталья Николаевна не получала поэтому приглашений в Аничков. Но осенью 1836, после возвращения царя в сентябре из поездки по России, он мог заговорить с Натальей Николаевной где угодно, например, в Зимнем дворце. Не забудем, что там на верхнем этаже жила Е.И.Загряжская, которую Наталья Николаевна, несомненно, навещала. Вспомним, как Пушкин писал жене 20 апреля 1834: «Письмо твое послал я тетке, а сам к ней не отнес, потому что репортуюсь больным и боюсь царя встретить»<sup>118</sup>. Очень возможно, что странная беседа Николая I с Н.Н.Пушкиной, за которую Пушкин, если верить туманному рассказу самого царя, горячо благодарил его и признался, якобы, что ревновал свою жену к нему, — тоже завязалась при случайной встрече во дворце (о Пушкине, впрочем, царь сказал, что встретил его «где-то» за три дня до дуэли)<sup>119</sup>. Тут никакие камер-фурьерские журналы не помогут нам установить день и час и самые слова, сказанные царем красавице Пушкиной, а тем более содержание и тон разговора поэта с царем о своей жене. Это пока остается совершенно нераскрытым.

Ясно, что подозрения у Пушкина существовали и мучали его уже давно. Предупреждение его «не кокетничай с царем», конечно, звучит тоже достаточно формально. Николай I сам «кокетничал» с кем хотел, и Наталья Николаевна не могла не сидеть рядом с ним за ужином у Бобринских, не могла отказать царю в танце или отвечать на его комплименты с излишней суровостью. Мы не слышали никаких откликов хотя бы на одно живое слово, сказанное Пушкиной во дворце, ни одного описания ее появления на «маленьких вечерах» у императрицы, куда ее тоже приглашали. Зато множество описаний ее изумительной внешности и упоминаний о ее красоте. В частности, императрица ни разу не назвала ее имени без прибавления слова «красавица», а упоминала она ее доволь-

<sup>117</sup> Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.113.

<sup>118</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.15. М.; Л., 1948. С.129.

<sup>119</sup> Русская старина. 1899. №8. С.311.



но часто. Это и указывает на внимание Николая I к жене Пушкина, потому что императрица Александра Федоровна раз навсегда завела обычай приближать к себе самых красивых женщин, «чтобы царь всегда находил у нее приятное общество»<sup>120</sup>. Это замечание иностранного мемуариста генерала фон Гагерна может быть проиллюстрировано письмом императрицы к С.А.Бобринской 1843 года, когда вдова Пушкина вынуждена была по желанию императора и императрицы возобновить свои выезды в Аничков дворец: «Очень многолюдный, очень парадный бал, украшенный отборными красавицами, среди которых Ольга<sup>121</sup> и вдова Пушкина сняли как небесные светила. Аврора и Матильда Демидовы очень хороши. Я хотела бы видеть их всех в согласии»<sup>122</sup>.

Все эти штрихи не позволяют согласиться с С.Л.Абрамович, утверждающей, что «в петербургском свете все знали, что отношения государя с Н.Н.Пушкиной не выходят за рамки самого строгого этикета. Несколько комплиментов, сказанных в бальной зале или во время торжественного приема, приглашение на танец в Аничковом дворце — вот все, чем ограничивались знаки внимания царя к жене поэта, хотя и было известно, что он к ней весьма расположен»<sup>123</sup>. Откуда же это было известно, если царь не оказывал Пушкиной никаких особенных знаков внимания? М.А.Корф в записи 1848 года передает, как подлинные, слова Николая I о поэте: «Встречаясь очень часто с его женою, которую я искренно любил и теперь люблю, как очень хорошую и добрую женщину /.../»<sup>124</sup>. А вторая дочь царя, написавшая в старости свои воспоминания, почти дословно повторила это выражение. Фарисейски утверждая, что царь относился к Пушкину с большим вниманием, она продолжала: «Это внимание он распространял и на его жену, которая была в такой же степени добра, как и прекрасна»<sup>125</sup>. Согласитесь, что нескольких бальных комплиментов недостаточно, чтобы оценить доброту сердца своей дамы.

Можно было бы привести здесь еще ряд документов, указывающих на особенное внимание царя к жене Пушкина, но мы рискуем впасть в другую крайность. До сих пор немало исследователей

<sup>120</sup> Герштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964. С.61.

<sup>121</sup> Вторая дочь Николая I.

<sup>122</sup> Герштейн Э. Судьба Лермонтова. Указ. изд. С.61-62.

<sup>123</sup> Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.112-113.

<sup>124</sup> Цит. по: Майков Л. Пушкин в изображении М.А.Корфа // Русская старина. 1899. №8. С.310-311.

<sup>125</sup> Сон юности: Записки дочери императора Николая I вел. кн. Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской. Париж, 1965. С.66 (поллиник по-французски, но перевод на русский язык сделан с немецкого перевода).

находятся под воздействием гипотезы М.Яшина<sup>126</sup>. Он предположил, что царь прямо приказал Дантесу жениться на Екатерине Гончаровой. Видимо, исследователь представлял себе скрывающуюся за этим адскую интригу царя против Пушкина.

Единомышленники М.Яшина забывают, что структура двора позволяла императору оставаться в тени в тех случаях, когда он не имел законного повода для вмешательства в личную судьбу кого-нибудь из своих подчиненных. Для сообщения о царской воле или царской прихоти существовало много каналов. Для этого были А.Х.Бенкендорф, А.Ф.Орлов, для иностранцев К.В.Нессельроде и тот же вездесущий Бенкендорф, а для гвардейских вел. кн. Михаил Павлович. А явного повода для того, чтобы указывать поручику кавалергардского полка на обязанность жениться на такой-то особе у царя не было. Такие эпизоды известны, но в случае беременности фрейлины. С Екатериной Гончаровой Дантес вел себя в обществе прилично. Совершенно невероятно, чтобы император имел общий секрет с поручиком, особенно с Дантесом, ведь тот не был русским подданным. Он мог открыть тайну своим родным в Сульце, мог проболтаться и в Петербурге, когда свет был поражен предстоящим браком блестящего кавалергарда с молодой и некрасивой бесприданницей.

В своей версии М.Яшин опирался на документ о назначении Дантеса 9 октября на дежурство вне очереди «на случай востребования конных ординарцев к разводу». Убедившись по архивным документам, что на разводе присутствовал император, М.Яшин пришел к мысли, что Николай мог говорить с Дантесом непосредственно на плацу или когда он, согласно записи камер-фурьера, поехал прогуляться на 20 минут перед отъездом в Царское Село. Но это уже область чистой фантазии М.Яшина, которая обсуждению не подлежит.

Итак, никакими данными о прямом царском приказе Дантесу жениться на сестре Натальи Николаевны мы не располагаем. Вопрос о времени грехопадения Екатерины Гончаровой — до венчания или после — интереса для нас не представляет. Поскольку Геккеры опомнились, только получив вызов на дуэль, нас уже не могут интересовать какие-то «материальные доказательства» о давней любви и сватовстве Дантеса к свояченице Пушкина. Бароны опоздали. Иначе как средство уклониться от дуэли, поразительная помолвка «самого модного кавалергарда» с такой невидной невестой понята быть не могла. Так и понимал это Пушкин.

<sup>126</sup> См.: Яшин М. Хроника преддуэльных дней // Звезда. 1963. №8. С.169-173. Гипотеза Яшина учтена, напр. в кн.: Лотман Ю.М. А.С.Пушкин. М., 1982. С.223.

Поведение Геккерна до анонимного письма и вызова Пушкина многим представляется совершенно непонятным. Казалось бы, облик посланника прояснен окончательно. Но в сущности, его частная жизнь в Петербурге известна нам только из одного рассказа П.А.Вяземского, переданного П.И.Бартеневым: «Старик Геккерн был известен распутством. Он окружил себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части, в числе их находились князь Петр Долгоруков и граф Л[ев] С[оллогуб]»<sup>127</sup>. Это очень общая характеристика. Она не привязана к определенному времени, а главное, ограничивается только описанием вкусов и привычек посланника и не касается его поступков и поведения в интересующих нас обстоятельствах.

Порочность и интригантство не исключают больших страстей. Такой главной и пожизненной страстью Геккерна был Дантес. «Жорж» был его большой любовью. Он стал для сорокалетнего гомосексуалиста центром его личной жизни. Это ясно прочитывается в его поздравительном письме, когда Дантес уже в 1855 был награжден высшим австрийским орденом:

Были три императора и один молодой француз, один из могущественнейших монархов изгнал молодого француз из своего государства, в самый разгар зимы, в открытых санях, раненого! Два другие государя решили отомстить за француз, один назначил его сенатором в своем государстве, другой пожаловал ему ленту большого креста / . / Вот история бывшего русского *солдата*, высланного за границу *Мы* отомщены, Жорж!<sup>128</sup>

Это — поразительное письмо. Прошло почти двадцать лет со времени событий, но крушение карьеры в России до сих пор жгло обоих Геккернов незабываемой обидой. Невозмутимость, с какой фигура Дантеса поставлена рядом с тремя императорами, выдает наивность влюбленного. И, наконец, в подчеркнутом «мы» сквозит вся неотвязчивость, даже прилипчивость Геккерна к Дантесу. Все это бросает ретроспективный свет на поведение посланника в петербургскую зиму 1836-1837.

Дантес причинял ему много беспокойства своими любовными приключениями с великосветскими красавицами. Очевидно, само-

<sup>127</sup> Цит по Бартенев П И Пушкин М , 1992 С 386

<sup>128</sup> Звенья Т 9 М , 1951 С 184

уверенного кавалергарда смущало покровительство Геккерна, как оно ни было ему полезно и необходимо. Отсюда афиширование своего успеха у женщин, так наглядно отраженное в приведенных выше письмах петербуржцев к А.О.Смирновой. Да и секундانت Пушкина Данзас подчеркивал это в своем рассказе, записанном Амосовым: «Дантес пользовался очень хорошей репутацией, и по мнению Данзаса, — пишет Амосов, — заслуживал ее вполне, если не ставить ему в упрек фатовство и слабость хватать своими успехами у женщин»<sup>129</sup>.

Осенью 1836 в положении нидерландского посланника наступил острый кризис. По своим служебным каналам Геккерн мог узнать, что в нидерландском королевском семействе им недовольны. Он совершил большой промах, наплетничав Николаю I о семейных отношениях Вильгельма Оранского, женатого на родной сестре русского императора. Содержание своего разговора с царем Геккерн, не задумываясь, сообщил в официальной депеше своему правительству. По этому поводу весь октябрь между обоими суверенами велась переписка (опубликована Н.Я.Эйдельманом<sup>130</sup>), закончившаяся примирением их и настороженным отношением к Геккерну. Однако отставкой это посланнику не грозило. Серьезнее были петербургские дела.

Усыновление двадцатичетырехлетнего офицера при жизни его родителей не могло не породить множества толков. Но Геккерн, как иностранец, оформил это рискованное дело вне России. В Петербурге высшие чины были потавлены перед совершившимся фактом: документы Дантеса, состоящего на службе в русской императорской гвардии, были переписаны на фамилию Геккерн, молодой человек переселился в квартиру нидерландского посланника и продолжал красоваться в петербургском большом свете. Но в Аничков дворец его больше не приглашали, там на всю эту затею смотрели косо.

Достаточно вспомнить неодобрительные и иронические упоминания о Дантесе в записочках императрицы к С.А.Бобринской в 1836. Как известно, главным героем этой переписки был Ал. Трубецкой, скрываемый под кличкой Бархат. «Он и Геккерн, — пишет императрица в августе 1836, — на днях кружили вокруг коттеджа. Я иногда боюсь для него общества этого "новорожденного"»<sup>131</sup>. В сентябре она возвращается к этой теме: «Я хочу еще раз попросить вас предупредить Бархата остерегаться влияния

<sup>129</sup> А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т.2. С.319.

<sup>130</sup> См.: Эйдельман Н.Я. О гибели Пушкина. Указ. изд.

<sup>131</sup> Цит. по: Герштейн Э. Судьба Лермонтова. Указ. изд. С.59.

его безымянного друга, бесцеремонные манеры которого он начинает перенимать»<sup>132</sup>. Очевидно, о странных отношениях Геккерна и Дантеса запрашивал вице-канцлера и министр русского двора кн. П.М.Волконский. Об этом пишет А.О.Смирновой его дочь А.П.Дурново: «Он действительно его сын; Нессельроде давно об этом сказал моему отцу, и вот почему король Нидерландов его рекомендовал Его Величеству». Эта сказка энергично опровергалась секретарем нидерландского посольства Геверсом, который прямо заявлял, что посланник лжет. Геверс повторил это, когда заменил Геккерна на его посту. В это время Вильгельм Оранский писал о том же Николаю I: «Здесь никто не поймет, что должно было значить и какую истинную цель преследовало усыновление Дантеса Геккерном, особенно потому что Геккерн подтверждает, что они не связаны никакими кровными узами»<sup>134</sup>.

Первый биограф Пушкина П.В.Анненков представлял себе истинную цель происков голландского посланника так: «Геккерен был педераст, ревновал Дантеса и поэтому хотел поссорить его с семейством Пушкина. Отсюда письма анонимные и его сводничество»<sup>135</sup>. Но Анненков не знал о пошатнувшемся положении Дантеса и не учитывал особенностей характера Николая I. Петербургский двор хорошо знал, что царь преследовал молодых людей, выделяющихся своей красотой, особенно если кто-нибудь из них встретился ему на пути его собственных пристрастий к той или иной даме. Мы не можем определить, почему на Дантеса с осени 1836 посыпались знаки неблаговоления. Потому ли, что царь обратил внимание на двусмысленное положение офицера императорской гвардии в доме нидерландского посланника, потому ли, что Дантес раздражал его своим ухаживанием за Пушкиной или из-за промахов самого Геккерна на дипломатической службе, но так или иначе хитрый посланник мог убедиться в том, что дошел до края. Надо было срочно исправлять положение. В октябре разнесся слух, что Дантес сватается к княжне Марии Барятинской. Мы знаем об этом из дневника предполагаемой невесты. Не исключено, что если бы нам попал в руки дневник другой какой-нибудь титулованной девицы, оказалось бы, что и к ней он сватался. Может быть, в замыслы Геккерна входило распускать слухи, что его «сын» ищет себе подругу жизни. А реальная женитьба не доставила бы «отцу» ни малейшего удовольствия. Он лелеял другой план.

<sup>132</sup> Цит. по: Герштейн Э. Судьба Лермонтова. Указ. изд. С.59.

<sup>133</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.90.

<sup>134</sup> Новый мир. 1972. №3. С.209.

<sup>135</sup> Цит. по: Модзалевский Б.Л. Пушкин. Л., 1929. С.341.

Он решил одним ударом покончить с обоими серьезными препятствиями, ставшими на дороге Дантеса к так хорошо подготовленному Геккерном благополучию.

Мы знаем, что преследования Натальи Николаевны разделились в октябре на два этапа. Сначала прямые предложения Дантеса, а затем, после отказа Пушкиной и болезни поклонника, охота за ней «старика» Геккерна. Только слепая вера в неотразимость Дантеса могла подсказать посланнику этот безумных план «похищения» знаменитой красавицы. Но если бы этот план осуществился, скандал был бы так велик, что перекрыл бы все перешептыванья относительно загадочного родства Геккерна с Дантесом, и молодой был бы совершенно обелен в глазах света. Геккерну нужна была не простая измена Натальи Николаевны Пушкину, не тайная связь, а скандал. По-видимому, Геккерн хотел, чтобы Пушкина откровенно появилась в его доме. Но такое приключение могло бы стоить Дантесу отставки. Так на что же надеялся Геккерн? Вероятно, на свою изворотливость. Образцы ее мы знаем по его оправдательным письмам во время суда над Дантесом. Уже указывалось на один из вариантов, задуманных Геккерном: отводя от себя обвинение в авторстве анонимного письма, он старался убедить адресата в бессмысленности такого его участия: «Разве для того, чтобы добиться большего успеха у г-жи Пушкиной, для того, чтобы заставить ее броситься в его [Дантеса] объятия, не оставив ей другого исхода, как погибнуть в глазах света, отвергнутой мужем?»<sup>136</sup> «Не проговорился ли невольно барон Геккерн в этом письме? Оказывается, с точки зрения Геккернов, такая ситуация была возможной», — замечает С.Л.Абрамович<sup>137</sup>. К ней смело можно присоединиться. В этих письмах посланник раскрывает свои карты, маневрируя и шантажируя. В полном согласии с провокациями Идалии Полетики, Геккерн изображает Наталью Николаевну активной стороной в «романе» ее с Дантесом. Посланник якобы предостерегал ее устно, в выражениях, которые должны были ее оскорбить (!), что она находится на краю пропасти. По его настоянию, уверял он, Дантес даже написал Пушкиной письмо с отказом от каких бы то ни было домогательств со своей стороны. И он, посланник, сам вручил ей в руки это наглое письмо! Он изо дня в день советовался с двумя дамами («самого высокого достоинства» — опять шантаж<sup>138</sup>), как ему разорвать эту «злосчастную связь». Последнее выраже-

<sup>136</sup> Шеголев П.Е. Указ. изд. С.271.

<sup>137</sup> Абрамович С.Л. Пушкин в 1836 году. Указ. изд. С.94.

<sup>138</sup> См. комментарий Я.Л.Левкович в: Шеголев П.Е. Указ. изд. С.524-525.

ние, умышленно проскользнувшее в оправдательном письме к Нессельроде, немедленно вызвало возражение, уж не самого ли императора? На это указывает то, что ответ свой Геккерн адресовал уже не вице-канцлеру, а фавориту Николая I А.Ф. Орлову: «Боюсь, что я недостаточно рассеял всякое подозрение относительно госпожи Пушкиной, и я чувствую себя обязанным под клятвой заявить вам, что ее связь с моим сыном никогда не заставила ее забыть свой долг и что она осталась столь же чиста в этом отношении, как и тогда, когда господин Пушкин дал ей свое имя»<sup>139</sup>.

Все эти увертки и жонглирования с разными вариантами дают возможность представить себе, какой сюжет разрабатывал в своем воображении Геккерн, когда повел атаку на Наталью Николаевну. Если бы он уговорил Наталью Николаевну бежать с Дантесом, «беглецы», вероятно, не ушли бы далее дома Влодека на Невском проспекте, где жил нидерландский посланник со своим приемным сыном. Геккерн немедленно обратился бы к Бенкендорфу с просьбой возвратить беглянку к мужу, ибо Дантес ни сном, ни духом во всем этом не виноват. При такой тактике Дантес мог бы выйти сухим из воды, то есть остаться в кавалергардском полку. Семейная жизнь Пушкина была бы сокрушена, а Дантес излечился бы от своей любви к Наталье Николаевне навсегда.

Не надо забывать, что Геккерн был сочинителем новелл, в которые он превращал свои донесения правительству. Когда он был отозван из Петербурга в 1837, Вильгельм Оранский писал Николаю I: «Я в особенности надеюсь, что тот, кто его заменит, будет более правдивым и не станет *изобретать сюжеты* для заполнения своих депеш, как это делал Геккерн»<sup>140</sup>. Однако в 1844, когда Вильгельм Оранский был уже королем Нидерландов, Геккерн получил новое назначение в Вену, где прослужил 30 лет. Лица, еще помнившие его в начале XX в., отзывались о нем, как о дипломате выдающегося ума, но с самым широким представлением о правде. Его недолюбливали, но кланялись ему, боясь его злого языка. Там, в Вене, он пользовался совершенно исключительным по своему влиянию положением.

Как видим, Геккерн был артист в своем деле. В Петербурге с ним мог потягаться лишь П.В. Долгоруков. В воспоминаниях коротко его знавших людей несколько раз попадаются указания на то, что он не только написал историю царствований XVIII в. в России (особенно, когда на престоле были женщины), где с не-

<sup>139</sup> Звенья. Т.9. М., 1951. С.183.

<sup>140</sup> Эйдельман Н. О гибели Пушкина. Указ. изд. С.207.

обычайным искусством распутывал все дворцовые интриги, но и сам писал мемуары, живя в тридцатых годах в Петербурге. Так, например, М.Б.Лобанов-Ростовский рассказывал о П.В.Долгорукове: «Так как глаза его всюду все высматривали, он прекрасно знал о нашей любовной связи с маленькой кузиной и был этим очень доволен, как всяким предметом, который он мог занести в свои мемуары». В другом месте он же заявляет: «Я уверен, что уже давно фигурирую в его мемуарах»<sup>141</sup>. Эти записи относятся к 1839. Такая рукопись Долгорукова неизвестна, а могла бы представлять исключительный интерес для биографов Пушкина и Лермонтова. Весьма подозрительно, что в дошедших до нас памфлетах и мемуарных статьях Долгорукова нет ни слова о истории гибели Пушкина. Также умолчано о гонениях на Лермонтова, хотя какое-то вредоносное участие Долгорукова в деле дуэли с Барантом не подлежит сомнению, т.к. отражено в документах.

Грубый литературный стиль его нам известен. Если отвлечься от политической остроты его разоблачений романовской династии и ее слуг, мы найдем в его лице такого же литератора невысокого разбора, как и автор донесений из Вены. Можно быть уверенным, что Пушкин раскусил их обоих не хуже, чем ненавистного ему Фиглярна.

### Был ли Пушкин ревнивцем?

Судача ли о Пушкиных, вдумываясь ли глубоко в его семейную трагедию, знакомые и друзья отмечали одну и ту же поражающую их черту: Наталья Николаевна ничего не скрывала от мужа. «Его доверие к ней было безгранично, тем более, что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса, — большая, ужасная неосторожность»<sup>142</sup>, — писала в своем дневнике Д.Ф.Фикельмон в день смерти Пушкина. Объяснение этому приговору мы находим в записках А.О.Смирновой (в передаче ее дочери): «Она [Наталья Николаевна. — Э.Г.] воображала, что это — верх чистосердечия, ей не приходило в голову самой ввести дерзкого в приличные границы. Сколько раз мой муж просил ее не передавать Пушкину всех расточаемых ей глупостей, убеждая ее, что это раздражает мужа, что жене следует самой давать некоторые уроки; она досадовала на него, не обращала внимания на его советы»<sup>143</sup>. А.И.Васильчикова, тетка Соллогуба, тоже получившая экземпляр

<sup>141</sup> Лобанов-Ростовский М.Б. Указ. соч.

<sup>142</sup> Хмелевская Е.М. Из дневника графини Д.Ф.Фикельмон // Пушкин: Исследования и материалы. Т.1. М.; Л., 1956. С.349.

<sup>143</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.3.



«диплома», повторяла мнение света: «Жена Пушкина, безвинная вполне, имела неосторожность обо всем сообщать мужу и только бесила его»<sup>144</sup>. Смирновы и Соболевский давно покинули Петербург и не были свидетелями того накала страстей, к которому привело развитие событий с осени 1836 до самой катастрофы. Поэтому мнение С.А.Соболевского, умного друга Пушкина, основывалось на несколько более ранних впечатлениях. Тем не менее, оно многое объясняет в самом Пушкине. А это для нас важнее всего.

Обращаясь к мужу А.О.Смирновой-Россет, Соболевский говорил так:

M-me Nathalie до сих пор пансионерка, она жила, как живут дети, без размышлений, без забот, для нее жизнь была рядом празднеств, балов, туалетов, прогулок и как только ей делали ласковое лицо, она воображала, что ее обожают; она поверяла эти маленькие тайны г-же X, а эта последняя, сходящая с ума по Дантесу, передавала их ему, а потом разносила повсюду, что Nathalie обожала своего beau-frère. А Nathalie — женщина, неспособная обожать кого бы то ни было; у нее спокойная холодная натура и если она кого-нибудь любила, то это все-таки Пушкина, которого она любила на свой лад, совершенно его не понимая. Она ревновала его; он никогда не ревновал, так как он глубоко понимал ее, но он был оскорблен той наглостью, с которой за ней ухаживали, это оскорбляло даже вкус его. Он никогда не думал, что она изменила своему долгу. Ведь Вяземский писал об этом твоей жене, он говорил об этом своим друзьям перед дуэлью и после нее. Он ни за что не солгал бы в такую минуту, он смеялся бы, но не говорил бы, если бы сомневался в своей жене<sup>145</sup>.

Беседуя незадолго до дуэли с Елизаветой Михайловной Хитрово, Пушкин говорил о Наталье Николаевне: «Мне не в чем еще ее упрекнуть, но я не могу перенести мысль, что, может быть, ее душа уже смущена»<sup>146</sup>.

Так вспоминал старик барон В.И.Левенштерн, отставной генерал-майор, некогда бывший другом и сослуживцем первого мужа Хитрово бар. Ф.И.Тизенгаузена. А дочь Хитрово Д.Ф.Фикельмон, размышляя о причинах катастрофы, писала в уже цитированной записи из дневника: «Пушкин тогда [зимой 1836-1837 гг. — Э.Г.] совершал большую ошибку, разрешая своей молодой и слишком красивой жене выезжать в свет без него»<sup>147</sup>.

<sup>144</sup> Рассказы о Пушкине. Указ. изд. С.38.

<sup>145</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.22-23.

<sup>146</sup> Левенштерн В.И. Мемуары // ОР РНБ. Ф.425. Ед.хр.17. Л.48об (пер. с франц.).

<sup>147</sup> Хмелевская Е.М. Указ. изд. С.349.

Ну, разве ревнивцы так поступают?

Нельзя не согласиться с Б.В.Казанским, который еще в 1937 заявил: «У нас нет никаких свидетельств о ревности Пушкина»<sup>148</sup>. Можно вспомнить также отзыв жены П.В.Нашокина о поэте: «Пушкина называли ревнивым мужем. Я этого не замечала. Знаю, что любовь его к жене была безгранична»<sup>149</sup>.

Создается впечатление, что разговоры о ревности Пушкина носили механический характер и не соответствовали облику поэта. Такие замечания, как «он ревнует свою жену из принципа», «он кажется обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает», или откровения того же Грубецкого: «Пушкин вовсе не ревновал Дантеса к Наталье Николаевне» — говорят о чем-то более сложном... А разговор Пушкина с Е.Н.Мещерской, слышанный Софьей Николаевной Карамзиной? Он рассказывал Екатерине Николаевне «обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения»<sup>150</sup>. Разве это свидетельствует о «бешенстве обезумевшей ревности»? Скорее это говорит о проничтательности и самообладании Пушкина.

По-видимому, Пушкин разглядел все происки Геккернов и все проделки Идалии Полетики давно, и рассказ Натальи Николаевны о сводничестве старшего Геккерна был только последней каплей, переполнившей чашу. Ведь письмо Пушкина, в котором с такой брезгливостью обозначено поведение посланника, а Дантес прямо назван плутом и негодяем, было написано еще 21 ноября. Пушкин все понимал, но терпел еще долго. «Пушкин должен был бы выгнать их всех из своего дома, — писала Смирнова об Идалии, сестрах Гончаровых и Дантесе, — и увезти Наталью в деревню, не обращая внимания на ее жалобы. Но он ненавидел патетические сцены. Он не ревновал, но был возмущен тем, что творилось»<sup>151</sup>.

В этих заметках вновь пересмотрена, казалось бы, уже устоявшаяся концепция истории гибели национального поэта. Критике подверглись отдельные частности. Но пока общая картина не разбита на отдельные фрагменты, трудно проанализировать ее целиком. В настоящей публикации рассмотрены не все подробности, необходимые для понимания произошедшей трагедии. Выделены лишь основные спорные моменты.

<sup>148</sup> Казанский Б.В. Гибель поэта. Указ. изд. С.225.

<sup>149</sup> А.С.Пушкин в воспоминаниях современников. Указ. изд. Т.2. С.205.

<sup>150</sup> Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов. Указ. изд. С.148.

<sup>151</sup> Смирнова А.О. Указ. изд. С.24.

Мои возражения связаны с самим подходом к толкованию событий. Я ищу ответа на вопрос: «Что случилось?» Мои потенциальные оппоненты ставят перед собой другую задачу: «Как истолковать события, контуры которых в общем-то ясны?» Во многих трудах обнаруживается, как я уже говорила, пренебрежение фактом дуэли. Ее вроде бы могло и не быть. Изучается само светское общество, рисуются портреты его членов, меньше уделяется внимания непосредственному виновнику смерти Пушкина. При этом психологическая основа драмы Пушкина игнорируется.

Я старалась показать в своих заметках, что главным врагом поэта в этой кровавой расправе был не Дантес, а Геккерн-дипломат. Кровь льется только там, где задеты основные жизненные интересы враждующих. У Геккерна этим интересом была страсть к Дантесу. Связь с ним висела на волоске из-за того, что Геккерн хватил через край, усыновив его и поселив у себя. Он преследовал семью Пушкиных для спасения своей заветной мечты.

И, наконец, что самое главное, я стремилась показать правоту Пушкина, то есть развеять легенду о его неловком и неумелом поведении, о «его известной ревности», на которую так любил указывать государь Николай Павлович.

В истории дуэли Пушкина есть еще, на мой взгляд, непроясненные моменты. Я надеюсь, что мне удастся осветить их, напечатав полный вариант написанной мной работы о последней дуэли Пушкина.

А.М.Ранчин

## «...У АЛТАРЯ ПУСТОГО Я СТОЮ!»

Е.П.Ростопчина в 1850-х гг.

Литературная судьба Евдокии Петровны Ростопчиной (1811-1858) подобна яркой, но быстро угасшей звезде. В начале 1840-х выход в свет книги ее стихотворений стал событием, с нетерпением ожидаемым и приветствуемым многими критиками<sup>1</sup>. Одобрительно, хотя и сдержанно оценивал ее лирику В.Г.Белинский, признавая совершенство стиха, но упрекая поэтессу за узость тем и предметов творчества (светская жизнь и балы)<sup>2</sup>. Имя Ростопчиной-писательницы неоднократно встречается в переписке современников (П.А.Вяземского, А.И.Тургенева, П.А.Плетнева, Я.К.Грота и др.) в сопровождении самых лестных эпитетов<sup>3</sup>. Современники называют ее имя в числе первых русских поэтов, и едва ли это лишь «салонный» комплимент...

Но к концу 1840-х — началу 1850-х все меняется. Образ романтической, тонко чувствующей, возвышенной героини, страдающей от непонимания окружающих, от несчастливой любви или разлуки с возлюбленным, уже не мог вызвать живого отклика у читателей, воспитанных на произведениях «натуральной школы» и ставивших выше всего верность действительности и социальный анализ. Критики 1850-х либо обходят молчанием произведения Ростопчиной, либо избирают их мишенью для издевательских

---

<sup>1</sup> См., напр.: Современник. 1840. Т.18. №2. Отд.1. С.89-93 (П.А.Плетнев); рецензии на кн. «Стихотворения» (СПб., 1841): Русский вестник. 1841. Т.5. №1. Новые русские книги. С.52-56 (Н.А.Полевой); Москвитянин. 1841. Ч.4. №7. С.171-182 (С.П.Шевырев); Сын Отечества. 1841. Т.2. №18. Литературное обозрение. С.95-104 (А.В.Никитенко). О восприятии современниками этой книги см. также: Ранчин А. [150 лет книге «Стихотворения гр. Е.Ростопчиной»] // Памятные книжные даты: 1991. М., 1991. С.121-123.

<sup>2</sup> Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т.5. М., 1954. С.456-461.

<sup>3</sup> Свод основных источников о Ростопчиной см. в кн.: Ростопчина Е.П. Талисман: Избранная лирика. Нелюдимка: Драма. Документы. Письма. Воспоминания / Сост. В.Ф.Афанасьев. М., 1987. С.261-311. См. также: Ходасевич В. Графиня Е.П.Ростопчина: Ее жизнь и лирика // Ростопчина Е.П. Счастливая женщина: Литературные сочинения. М., 1991. С.416-431.

по тону инвектив (статья в некрасовском «Современнике»<sup>4</sup>). Поэзия светского раута или бала, эстетизированные, «этикетные» любовные объяснения, встречи и расставания, автобиографичность и «исповедальность» сочинений, придающие остроту и оригинальность клишированным, трафаретным образам, известность автора — красивой, очаровательной женщины, благословленной на «поэтический путь» Пушкиным, доброго друга и поверенной чувств и мыслей Лермонтова, — все эти черты, создавшие литературную славу Ростопчиной десятилетие назад, обратились против Евдокии Петровны. Немолодая, но молодящаяся и кокетливая дама, без усталости напоминающая о дружбе с писателями (порой придуманной, как в случае с Карамзиным), оценившими ее первые опыты и предсказавшими успех в словесности, была способна вызвать насмешку или ироническую похвалу. Она же по-прежнему пишет и печатает стихотворения и поэмы о любви и даже пьесы и романы (далекие от совершенства, а порою и просто очень слабые). Ростопчина как бы «уходит в себя», отрицает новые литературные веяния и общественные идеи. Отрицает талантливо: ее сатиры «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки. Разговор в стихах» (1856) и «Дом сумасшедших в Москве в 1858 году» (1858) изящны и остроумны. Впрочем, эти сочинения не изменили литературную судьбу автора к лучшему: полные язвительных шпилек и стрел в адрес едва ли не всех современных «партий» (от славянофилов до радикалов-разночинцев), сатиры Ростопчиной могли принести (а отчасти и принесли) лишь одиозную известность «реакционерки» и озлобленного критика всех и вся<sup>5</sup>.

В 1856 в стихотворении «Моим критикам» она сама признала свою чуждость:

---

<sup>4</sup> Первые резкие замечания в адрес Ростопчиной появляются в «Современнике» в 1852 (в №4 — о романе «Счастливая женщина»; в №7 — о комедии «Домашнее уложение»). Позднее появляются рецензии Н.Г.Чернышевского на 1 и 2 тома «Стихотворений» (Современник. 1856. №3, 10) и Н.А.Добролюбова на действительно слабый роман «У пристани» (Современник. 1857. №10). Единственным известным критиком, благожелательно писавшим о Ростопчиной в 1850-х, был А.В.Дружинин (Библиотека для чтения. 1856. №6).

<sup>5</sup> При жизни писательницы оба произведения не были опубликованы (сохранился список комедии «Возврат Чацкого в Москву...» (1857) с фрагментами, снятыми цензурой, — ОР РГБ. Ф.236. Карт.45. Ед.хр.7). «Возврат...», антиингилистический «Простой обзор» (1857), отстаивающий идею сословности общества и утверждающий историческую миссию аристократии «Боярин» (1854), саркастически рисующий модные общественные «поветрия» «Цирк девятнадцатого века» (1850) явились причиной создания Н.П.Огаревым, близко знавшим Ростопчину в отрочестве (тогда еще — Додо Сушкову), стихотворения-обличения «Отступнице» (1857).

Я разошлася с новым поколеньем,  
Прочь от него идет стезя моя.  
Понятьями, душой и убежденьем  
Принадлежу другому миру я.  
Иных богов я чту и призываю  
И говорю иным я языком:  
Я им чужда, смешна, — я это знаю,  
Но не смущаюсь перед их судом  
/.../  
Сонм братьев и друзей моих далеко —  
Он опочил, окончил жизнь свою.  
Немудрено, что жрицей одинокой  
У алтаря пустого я стою!<sup>6</sup>

«Расхождение» было и литературным, и эстетическим, и мировоззренческим. Неприязненное отношение поэтессы к радикально-демократическим идеям публицистов «Современника» хорошо известно. (Необходимо только отметить, что резкие высказывания Ростопчиной в их адрес провоцировались самими радикалами, посвящавшими автору «Возврата...» оскорбительные «критические разборы»). Традиционное толкование эволюции общественной позиции Ростопчиной таково: писательница переходит от неглубоких либеральных увлечений юности (выраженных в свободолобивых стихотворениях «К страдальцам-изгнанникам», 1830 и «Мечта», 1831) к последовательно ретроградным и реакционным взглядам 1850-х, проявившимся при встрече с радикально-демократическими идеями<sup>7</sup>.

Простоту этой схемы как будто нарушает баллада «Насильный брак» (1846), в которой в аллегорической форме изображено унижительное положение Польши под деспотической властью российских императоров<sup>8</sup>; но исследователи объясняли создание этого произведения (за публикацию которого Ростопчина была выслана в Москву) минутным порывом, фрондерством и т.д.

Но была ли вообще эволюция? Не пытаемся ли мы, находясь «извне» той ситуации и того века, обнаружить противоречия

<sup>6</sup> Ростопчина Е.П. Талисман. Указ. изд. С.156-157.

<sup>7</sup> См., напр.: Абрамович А.Ф. Н.Г.Чернышевский и Е.П.Ростопчина: Из истории общественно-литературной борьбы в России 50-60-х годов XIX века // Труды Иркутского государственного университета. Т.28. Вып.2. 1959. С.165-206; ср. также очерк о Ростопчиной в кн.: Файнштейн М.Ш. Писательницы пушкинской поры. Л., 1989. С.95-98.

<sup>8</sup> Об истории написания и публикации этого произведения и о реакции властей см.: Киселев В.С. Поэтесса и царь // Русская литература. 1965. №1. С.144-156; Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. СПб., 1909. С.331-336.

там, где их, с точки зрения либерально настроенного дворянина, родившегося в начале 1810-х и ставшего взрослым в конце 1820-х, попросту не было? Свободолюбие и воспевание подвига декабристов в 1830-х ни в коей мере не противоречат отстаиванию сословных прав дворянства и аристократии и неприязни к идеям социального и имущественного равенства в пятидесятых.

Надо признать, что Ростопчина в конце 1840-х и позднее высказывалась подчас очень определенно. «Если бы нам теперь себя огородить духовно Китайскою стеною, запретить *все* без изъятия книги и журналы, прервать все сношения с Западом, мы бы еще на много веков отвратили от себя заразу»<sup>9</sup>. Или: «...хотелось бы на часок быть Богом, чтобы вторым, добрым потоком утопить коммунистов, анархистов и злодеев; еще хотелось бы быть на полчаса Николаем Павловичем, чтобы призвать налицо всех московских либералов и демократов и покорнейше просить их, яко не любящих монархического правления, прогуляться за границу»<sup>10</sup>. Требовать от светской женщины и романтической поэтессы последовательности во всех ее высказываниях и оценках было бы, возможно, несправедливо. Кроме того, примем во внимание некоторые обстоятельства, не учтенные исследователями, цитировавшими приведенные фрагменты. Первое: оба письма составлены в преддверии или в разгар революции 1848 года в Европе. Определенная оппозиционность, свободолюбие и признания законными *народных* мятежей и революций — вещи разные (вспомним отрицание декабристами народного восстания как способа свержения деспотической власти). Второе: коммунизм и анархизм — совсем не то же, что либерализм (неприязненное отношение Ростопчиной к идеям имущественного равенства нимало не исключает приверженности к либеральным принципам). И третье, не менее существенное: оба письма отправлены человеком, находящимся в ссылке, пусть и не тягостной<sup>11</sup>; Ростопчина знает,

---

<sup>9</sup> Письмо В.Ф.Одоевскому от 18 января 1848 // Русская старина. 1904. №7. С.164.

<sup>10</sup> Письмо М.П.Погодину от 26 сентября 1848 // ОР РГБ. Ф.231/II. Карт.18. Ед.хр.41. Л.63-64. Цитируемый фрагмент без указания даты воспроизведен в кн.: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн.11. СПб., 1895. С.272-273.

<sup>11</sup> Хотя Ростопчина ощущала свою жизнь в Москве именно тягостной: «*Ах издали* есть точно определение моего отношения к всему Петербургскому и... к самому Петербургу! /.../ Москва для меня *ад*. ”И скучно, и грустно, и некому руку подать!” Тем более, тем искреннее, тем чаще, тем живее сожалею о милом прошлом, об просвещенных землях и краях, о друзьях на берегу Невы, то есть о тех многих, которые были для меня всегда одними, не меняясь, не отступаясь, не лицемеря...» — писала она П.А.Вяземскому 10 сентября 1848 (РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.2683. Л.17об.-18об.); ему же 23 апреля 1848 Ростопчина жалуется, что жи-

что ее письма могут подвергнуться перлюстрации, и включает в них эти фразы в расчете, что они будут прочитаны и станут известны властям. Удаление из Петербурга, вынужденное расставание с друзьями, запрещение появляться при дворе были мучительны для Ростопчиной; письма с лояльными фразами должны были, вероятно, удостоверить императора и его окружение в благонамеренности опальной графини и, может быть, содействовать отмене запрета жить в столице.

Конечно, ретроградные высказывания Ростопчиной не ограничиваются цитатами из двух писем 1848. В поэме «Дом сумасшедших в Москве в 1858 году» она причисляет к «красным» даже консервативно настроенного Л.Н.Толстого, недавнего гостя ее московского салона, за одно лишь знакомство с литераторами «Современника»; другого Толстого, Николая Степановича, нижегородского помещика, в предреформенное время — члена Нижегородского губернского комитета по устройству быта крестьян, принадлежавшего к крепостническому меньшинству в комитете, Ростопчина изображает в поэме рыцарственным борцом за дворянские права:

Бедный граф Нижегородский  
Всех насмешек целью стал,  
Все за то, что по-господски  
Бар от плебы<sup>12</sup> защищал...  
Каждый день на Голиафа  
Сто Давидов восстают /.../<sup>13</sup>

В ответе на замечания дяди, Н.В.Сушкова, по поводу поэмы «Дом сумасшедших...» Ростопчина резко аттестует А.Н.Островского, недавнего посетителя ее салона, чьи драмы высоко ценила: «он только кабашник и сотрудник, проданный Современнику»<sup>14</sup>. В письме к дяде она и его, литератора «старого времени», называет «красным»<sup>15</sup>...

---

вет в Москве в «умственной и физической спячке» (Там же. Л.3). Ср. в письме Ю.Н.Бартеневу от 3 июня 1853: «Мне всегда бывало нерадостно, а теперь просто тоска одолевает, когда посмотрю на жизнь свою, и на все, что она не дала, что во мне не утолила, что даром погубила» (РГАЛИ. Ф.46. Оп.8. Ед.хр.65. Л.23).

<sup>12</sup> Слово вписано рукой Ростопчиной. См. оригинал: ОР РГБ. Ф.297. Карт.5. Ед.хр.9. Л.185.

<sup>13</sup> Эпиграмма и сатира. Т.2. М.; Л., 1932. С.54.

<sup>14</sup> Русская старина. 1885. Т.45. №3. С.702; слово «кабашник» пропущено публикатором, а «проданный» воспроизведено как «преданный». См. оригинал: ОР РГБ. Ф.297. Карт.6. Ед.хр.28; копия — в общем корпусе с «Домом...» и перепиской дяди и племянницы о поэме: ОР РГБ. Ф.297. Карт.5. Ед.хр.9. Л.177-198.

<sup>15</sup> Русская старина. 1885. Т.45. №3. С.705. Отметим в этой связи, что не разобранная Е.С.Некрасовой фамилия в ответном письме Н.В.Сушкова (С.707) — «Полторацкий» (записана «1 1/2цкий»).



Москву Ростопчина считает рассадником ложных идей, прежде всего «якобинства». «Вы представить себе не можете, сколько здесь в салонах произносится якобинских речей, сколько провозглашается потрясающих идей и стихотворных деклараций. А что случится, если вся Россия станет мыслить по образцу наших незадачливых доморожденных дантончиков?»<sup>16</sup> «Я прочитала благородную и разумную статью Тютчева»<sup>17</sup>. Приятно найти единомышленника в наш век ересей и раскола /.../ Что касается семейства Карамзиных, то их уличают в якобинстве /.../ Хорошо еще, что эти дамы не стали санкюлотами», — замечает она в другом письме Вяземскому и с вызовом добавляет: «Мне не интересны /.../ эти бури в стакане воды /.../ Для меня важно то, что из Любека наконец прибыли мои венецианские зеркала»<sup>18</sup>.

Выразительная характеристика отношения Ростопчиной в 1850-х к политическим оппонентам дана в мемуарах ее дяди Н.В. Сушкова:

Мало кто, кроме Пушкина, был спозаранка так оценен, как Ростопчина. Ее девичьи стихотворения были превознесены читателями и особенно читательницами; ее женские произведения, с 1836 г., утвердили за нею славу даровитой писательницы. Но в последние годы своей жизни она вооружила против себя многих своими запальчивыми выходками на те или другие мнения, гадания, стремления, не согласные с ее понятиями и направлением. И пером, и словом она неумолимо преследовала свободно мыслящих и в сущности неопасных, невинных говорунов и мечтателей, в которых видела кромвелей, робеспьеров, мащини (вовсе не похожих на кровожадных деятелей во времена английской и французской революций) /.../ Раздражение на них Ростопчиной доходило до необузданности. Так, например, вечером входит в нашу гостиную гость, приезжий из Петербурга, с одним из приятелей, едва последний успел его назвать, едва успели мы обменяться обычными при первом знакомстве приветствиями (я давно желал познакомиться с вами, с вашим семейством... мы душевно благодарны вам...), как она накинулась на него потоком укоризн, обличений, усовещаний, так что я вынужден был вступитьсья за гостя, онемевшего от удивления. К сожалению, этот гость

<sup>16</sup> Письмо П.А. Вяземскому от 23 апреля 1848 (РГАЛИ Ф 195 Оп 1 Ед хр 2683 Л 50б -6)

<sup>17</sup> Подразумевается статья Ф.И. Тютчева (родственника Ростопчиной) «Россия и революция», написанная весной 1848 как отклик на европейские события. Статья была прочитана в рукописи П.Я. Чаадаевым, который познакомит с нею московское общество (Об отношении Ростопчиной и Чаадаева см. Чаадаев П.Я. Статьи и письма М., 1989 С 444, ср. С 601, комм. Б.Н. Тарасова)

<sup>18</sup> РГАЛИ Ф 195 Оп 1 Ед хр 2683 Л 78 В письме игра слов «sans culottes» по-французски буквально «без штанов»

был погибший впоследствии Михайлов [Михаил Ларионович (1829-1865) — поэт и революционер, умерший в сибирской ссылке — А.Р.].

Вот причины упорного молчания о ней по смерти ее. Время снимет с нее опалу<sup>19</sup>.

Народные восстания и распространение коммунистических и социалистических идей в революционной Европе Ростопчину, видимо, действительно страшат (уж если она верит в «якобинство» женщин из семьи покойного Н.М.Карамзина!). Но главная причина резких, «реакционных» оценок, все-таки, кажется, не в этом. Личная обида слышится в ее горьких словах об изменившем себе Льве Толстом, «переметнувшемся» в «Современник», или о совершившем такой же «грех» Островском. Ее знакомцы, облаканные в ее литературном салоне, уходят к врагам, оскорбившим в графине Ростопчиной и писательницу, и женщину, и аристократку. (В реальной литературной и общественной ситуации середины 1850-х Ростопчина разбирается плохо: только так можно объяснить и зачисление Толстого в «красные», и восприятие Москвы, а не северной столицы как рассадника «вредных политических идей»). Общественные симпатии и антипатии модифицированы у Ростопчиной личными отношениями с членами «партий».

Естественно, Ростопчина не «идеолог»; наверное, она не всегда последовательна и не думает быть таковою. Ее высказывания — часто непосредственная острая реакция на событие. И все же...

Могла ли убежденная, яростная сторонница правительства Николая I, неограниченной монархической власти написать «декабристские» стихи в начале 1830-х и подарить одно из них («К страдальцам-изгнанникам») вернувшимся из Сибири С.Г.Волконскому и З.Г.Чернышеву, написать и напечатать в 1846 «Насильный брак»? Если уж пытаться проверять искренность взглядов поэтессы, то почему позволительно сомневаться в ее «либерализме», а «реакционные» суждения принимать в качестве «последнего слова»?

Нелюбовь и даже ненависть Ростопчиной к «партиям» конца 1840-х — начала 1850-х имела не столько «идейный» (в таком случае невозможно объяснить одинаковую неприязнь поэтессы и к славянофилам, и к радикалам-разночинцам), сколько «культурный» и «эстетический» характер. Односторонность воззрений, отказ от светской, «этикетной» культуры общения или ее незнание, чуждость аристократическим идеалам — вот, вероятно, чер-

<sup>19</sup> ОР РГБ. Ф.297. Карт.5. Ед.хр.9. Л.204об.

ты членов современных группировок и кружков, отталкивавшие от них Ростопчину. Характерно, что и в «Доме сумасшедших в Москве в 1858 году»<sup>20</sup>, и в «Возврате Чацкого в Москву...» симпатичные писательнице героини объединены не по «идейному», а по культурному признаку: это члены «комиссии врачей» в поэме-сатире (литераторы «пушкинского времени» П.А.Вяземский и В.Ф.Одоевский, родственник поэтессы поэт Ф.И.Тютчев, молодой археолог и историк граф А.С.Уваров, сама «Сафо-Ростопчина»), княгиня Цветкова (в образе которой угадывается сама Евдокия Петровна) и Чацкий (литературный «двойник» Грибоедова и хорошего знакомого Ростопчиной П.Я.Чаадаева). Салон, который княгиня просит посетить Чацкого («Я позову для вас и женщин просвещенных, / И несколько мужчин, и стариков почтенных»), — это, конечно, московский салон Ростопчиной, стремившейся сблизить на своих приемах людей света и литераторов разных поколений и направлений. (Не случайно упоминание о присутствии «женщин просвещенных» — дамы были хозяйками и гостями литературных и музыкальных салонов времен юности и молодости Евдокии Петровны; традиции того времени и желает восстановить хозяйка дома на Ново-Басманной графиня Ростопчина).

При таком, «культурно-эстетическом», а не «идеологическом» принципе оценок современников и их воззрений были неизбежны aberrации (так, автор «Дома сумасшедших...» причисляет к «социалистам» Б.Н.Чичерина).

Для характеристики самоощущения Ростопчиной 1850-х показательны ее ответы на пункты некоей анкеты, относящейся к 1857 или 1858 (она была, по-видимому, прислана редакцией «Русского художественного листка», издававшегося В.Ф.Тиммом; ответы редактор, вероятно, намеревался использовать для заметки о поэтессе, однако в номерах «Русского художественного листка» за 1857-1858 публикаций о Ростопчиной не было):

- 1) Евдокия Петровна Ростопчина, ур[ожденная] Сушкова.
- 2) Родилась в Москве, там и воспитана до замужества; потом жила в деревне, в Петербурге, за границей, etc.

<sup>20</sup> Сама писательница воспринимала поэму-сатиру, продолжение сатиры А.Ф.Воейкова «Дом сумасшедших», как вынужденный, ответный выпад против врагов («Видите, как агнцы и голуби обращаются в кошек, когда их слишком заднут за живое», — писала она М.П.Погодину 14 февраля 1858 — ОР РГБ. Ф.231. Р.11. Карт.28. Ед.хр.45. Л.30-30об.). Однако Н.В.Сушков, на чей суд Ростопчина отдала поэму, посчитал ее недопустимо резкой и необъективной. Посылая копию со своего письма о поэме и, видимо, сам «Дом...» Ростопчиной знакомому, он делает предостерегающую приписку по поводу текста поэмы: «Не давай его никому. Я уверен, что автор уничтожит эти стихи» (РГАЛИ. Ф.259. Оп.1. Ед.хр.126. Л.4).

3) Родители: Петр Васильевич Сушков, сын знаменитой русской писательницы Марии Васильевны Сушковой, рожденной Храповицкой; племянник статс-секретаря Вели[кой] Екатерины, Александра Вас[ильевича] Храповицкого; внук Елены Сердюковой, о которой есть в семействе данные, что она дочь *Петра 1-го и жены Сердюкова, строителя Ладожского канала*. (См. *Голыкова, о объяснении Петра с Сердюк[овым] на счет жены его*). Мать, Дарья Ивановна Пашкова, правнука знаменитого в свое время Симбирского мещанина *Мясникова*, железопромышленника, отправившегося, при Екатерине, в Сибирь с 500-ми рублей и нажившего честными трудами 16 заводов медных и железных, рудокоеп, которые и разделены на несколько фамилий, и теперь существующих в нашей высшей аристократии. —

На 5-й и 6-ой вопрос [так. — *А.Р.*] прошу позволить не отвечать —.

7) Начала слагать стихи 7-ми лет, *по-французски*, либо, 14-ти, по-русски. Все это уничтожено тогда же.

8) Новые написанные мои стихотворения [так. — *А.Р.*], *Талисман*, напечатано без моего ведома А.П. [так! — *А.Р.*] *Пушкиным*, домашним, всеневным гостем и другом моих родных, в «Северных цветах» 30-го, либо 31-го года.

9) Ей-Богу, не могу припомнить, всё писались или, вернее, слагались мелкие стих[отворения] до 40-го года, когда я попробовала, говея, в деревне, переложить на стихи *Кант* [так! — *А.Р.*] *Покаянный Свя[того] Андрея Критского*, который до сих пор не напечатан, по милости духовной Цензуры. — После того, из выписок из моего дневника и девичьего журнала склеилось нечто в виде романа в стихах, белых и рифмованных, под названием «Поэзия и проза жизни, дневник Зинаиды» [правильно: «Дневник девушки». — *А.Р.*]. Это было напечатано в «Москвит[янин]е» 1851 или 1862-го года [1850. №5-24. — *А.Р.*] и появится вновь в 3-м томе *Смирдинского издания*. [Ростопчина Е.П. Стихотворения. Т.3. СПб., 1859; издатель — Смирдин-сын. — *А.Р.*] Прозою начала писать тоже в деревне, в конце 30-х годов, *повести Ясновидающей*, напечатанные без имени прежде в «С[ыне] Отечес[тва]» Полевого [1838. №2, 4. — *А.Р.*], потом отдельно Очерки большого света. [СПб., 1839. — *А.Р.*].

10) Сочиненья мои напечатаны отдельно сперва в С.-Петербурге [урге] 1841, в 1 томике, потом у Смирдина, 1856 и 1857, в двух издань[ях]; во 2 томе, — у него же, в 1857, в «Библиотеке» для дач», вышел мой роман *У пристани*.

11) отрывка, характеризующего меня, сама не берусь выдать, либо назначить; прошу г-на Тимма [Василия Федоровича, 1820-1895, художника, издателя «Русского художественного листа», 1851-1862. — *А.Р.*] известить, что ему угодно из изданных и напечатанных моих сочинений<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> ОР РНБ. Ф.1000. Карт.22. Ед.хр.4. Л.1-10б.

В этих ответах очень интересны два момента. Во-первых, внимание Ростопчиной к своей (не мужа, отношения с которым были очень сложными!) родословной. Евдокия Петровна напоминает о своем аристократическом происхождении, о близости ее предков ко двору и их роли в истории (фраза о А.В.Храповицком, статс-секретаре Екатерины II, авторе ценных мемуаров). Причем она готова даже сообщить сомнительные и не очень лестные, компрометирующие прабабку сведения о рождении ею ребенка от самого Петра I — Ростопчина оказывается правнучкой первого русского императора! (Писательница ссылается на анекдот, приведенный историком И.И.Голиковым<sup>22</sup>). Одновременно Ростопчина упоминает и о своем предке-мещанине, *честными трудами* составившим состояние, унаследованное потомками, принадлежащими к «высшей аристократии».

Ростопчина гордится не только родством с историческими деятелями, знаменитыми людьми, не только своим происхождением. Она подчеркивает, что и «литературная» родословная ее не менее славна. Ради этого писательница готова отступить от истины. Поэтесса М.В.Сушкова не была «знаменитой русской писательницей»; стихотворение «Талисман» напечатал в альманахе «Северные цветы на 1831 год» не Пушкин, а Вяземский (даже не знавший полного «взрослого» имени юной Додо Сушковой и не испросивший ее согласия)<sup>23</sup>. С Пушкиным же Ростопчина встречалась за го-

---

<sup>22</sup> Анекдота о жене смотрителя Вышневолоцкого (не Ладожского!) канала, прежде — слуги-калмыка Михаила Ивановича Сердюкова, обратившего на себя внимание Петра I своими познаниями в механике, ни в «Деяниях Петра Великого», ни в «Анекдотах» И.И.Голикова (а также и у Я.Я.Штелина, опиравшегося на труд Голикова) обнаружить не удалось; упоминаются лишь история о знакомстве царя с Сердюковым и рассказ о ложном обвинении Сердюкова в приверженности старообрядчеству (См.: Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра Великого, собранные Иваном Голиковым. Изд. 3-е, испр., доп. и умноженное. М., 1807. С.305-307; Голиков И.И. Деяния Петра Великого. Изд. 2-е. Т.15. М., 1843. С.154-155; ср. другие упоминания: Т.7. М., 1838. С.273, 452; Т.9. М., 1839. С.87; ср. также: Штелин Я. Подлинные анекдоты о Петре Великом. 3-е изд., вновь испр. Ч.2. М., 1830. С.57-60). У Голикова приведен анекдот о жене купца Барсукова, которую или только испытывал, или безуспешно пытался соблазнить царь. Барсуков жил в Старой Ладого, куда Петр приезжал «для надзирания за работами» по строительству канала (Анекдоты. Указ. изд. С.392-396; ср.: Деяния... Указ. изд. Т.15. С.196-199). Ростопчина или ошиблась, отнеся анекдот о супруге купца к жене Сердюкова (основанием могло быть упоминание Ладожского канала в анекдоте о Барсуковой, а также обыкновение Петра останавливаться дома у обоих знакомых — и у купца, и у смотрителя), или намеренно отступила от истины, чтобы назвать Петра в числе своих предков.

<sup>23</sup> Сушков С.П. Биографический очерк о Е.П.Ростопчиной // Сочинения графини Е.П.Ростопчиной. Т.1. СПб., 1890. С.IX-X; Ростопчина Л.А. [Биография Е.П.Ростопчиной] // Ростопчина Е.П. Счастливая женщина. Указ. изд. С.413.

ды до замужества как минимум дважды, в 1828 и 1831<sup>24</sup>, однако близкими знакомыми они не были (не являлся поэт и «домашним, всedневым гостем» семей Сушковых и Пашковых). Теперь, в 1850-х, Ростопчина намеренно принимает роль «архаистки», напоминая о своем аристократическом происхождении и объявляющей себя наследницей поэзии 1820-х — 1830-х. («Архаистичность» ее демонстративная, провоцирующая — назвать на исходе 1850-х известной писательницей давно забытую М.В.Сушкову!)

Аристократизм Ростопчиной, отстаивание ею принципов сословной корпоративности, настойчивое подчеркивание прав аристократии, дворянства отличают ее не только от декабристов («последовательницей» которых она назвала себя в стихотворении «К страдальцам-изгнанникам»), но и от официозных (наподобие Ф.В.Булгарина) и официальных (вроде С.С.Уварова) идеологов. 4 июля 1855 она пишет близкому знакомому, литератору Н.В.Путяте:

Везде средние классы портятся и развращаются все своим эгоизмом, продажеством, честолюбием мелким и мелочным /.../ Даже люди способные между ними скорее сносны, чем полезны, потому что пружины их деятельности не честь и не благородство. Если у нас *Боярства* нет, то именно потому, что не было родовое, коренное, независимое и фундаментальное, а доставалось, как *мандаринство*, по высшему соизволению или капризу, ни за что ни про что иногда. Дайте наследственных бояр, и мы возродим общее мнение, эту необходимую пружину в многосложной машине всякого правительства и управления!<sup>25</sup>

Дворянство как сословие, четко отграниченное от других, сословие, доступ в которое затруднен, обладающее своими корпоративными правами и являющееся выразителем общественного мнения; родовая аристократия как защитница не только собственной, но и народной свободы — эти взгляды свойственны и А.С.Пушкину в 1830-х. (Близкие воззрения были и у П.А.Вяземского). В заметках «О дворянстве» (1830) Пушкин писал:

Что такое дворянство? Потомственное сословие народа высшее, т.е награжденное большими преимуществами касательно собственности и частной свободы. Кем? народом или его

<sup>24</sup> Сушков С.П. Возражения на статью Е.С.Некрасовой о графине Е.П.Ростопчиной // Вестник Европы. 1888. №5. С.405; Сушков С.П. Биографический очерк о Е.П.Ростопчиной. Указ. изд. С.VIII-IX; Пушкин А.С. Письма: 1815-1833. Т.3 / Под ред. и с примеч. Л.Б.Модзалевского. М.; Л., 1935. С.214.

<sup>25</sup> Цит. по: Ранчин А. История женщины и поэтессы — в романе, повести, комедии // Ростопчина Е.П. Счастливая женщина. Указ. изд. С.11.

представителями. С какою целью? с целью иметь мощных защитников или близких ко властям и непосредственных представителей. Какие люди составляют сие сословие? люди, которые имеют время заниматься чужими делами. Кто сии люди? люди, отменные по своему богатству или образу жизни. Почему так? богатство доставляет ему способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву du souverain. Образ жизни — т.е. не ремесленный или земледельческий — ибо все сие налагает на работника или земледела различные узы /.../ Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить — или задушить. Нужны ли они в народе, так же как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они sauvegarde [охрана (*франц.*) — *А.Р.*] трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества<sup>26</sup>.

Итак, отстаивание сословных прав и борьба за общественную свободу, по Пушкину, нимало не противоречат друг другу. Более того, по его мысли, декабристы вышли на Сенатскую площадь и с целью отстаивать свои, ущемленные правительством и новым дворянством, аристократические права. А ведь Пушкин 1830-х — хороший знакомый Ростопчиной по Петербургу, один из желанных гостей ее салона. Так же как, добавим, и Вяземский. Евдокия Петровна, по-видимому, хорошо запомнила разговоры о правах дворянства, о дворянстве как силе, противостоящей деспотизму власти (самодержавной ли, республиканской...).

Впрочем, похожие соображения высказывал и младший современник Ростопчиной, ее московский гость — граф Л.Н.Толстой, в 1850-х последовательный «архаист» в литературных вкусах и общественных воззрениях<sup>27</sup>. Еще в дневнике 1847 года юный Толстой, размышляя о «Наказе» Екатерины II, замечал: «Дай Бог, чтобы в наше время благородные поняли свое высокое назначение, которое состоит единственно в том, чтобы усилиться. Чем поддерживается деспотизм? Или недостатком просвещения в народе, или недостатком сил со стороны угнетенной части народа»<sup>28</sup>. 3 августа 1852 Толстой делает запись о замысле будущего

<sup>26</sup> Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.8. Л., 1978. С.104-105. См. также дневниковую запись Пушкина от 22 декабря 1834 (Там же. С.44-45). Противопоставление старого дворянства новой знати содержится в стихотворении «Моя родословная», отчасти в «Дубровском». О коллизии старое дворянство — новая знать — народ у Пушкина см., напр.: Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII-XIX вв. М., 1993. С.413-414; Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. М., 1988. С.107-124.

<sup>27</sup> Об «архаистичности» литературной и общественной позиции Толстого в 1850-х см.: Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн.1.: 50-е годы. Л., 1928. С.261-291.

<sup>28</sup> Толстой Л.Н. Собр. соч. Т.21. М., 1985. С.11.

«В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархическим, правления, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю тебя, Господи, дай мне силы»<sup>29</sup>. Итак, толстовская идея — конституционная монархия с сословным, дворянским представительством.

Конституционные проекты нимало не мешают Толстому (подобно Ростопчиной) относиться с опасением и настороженностью к вариантам закона об освобождении крестьян, ущемляющим имущественные права помещиков<sup>30</sup>. Однако саму деятельность по освобождению крестьян Толстой объявляет инициативой не правительства, а дворянства: «рескрипт о освобождении только отвечал на давнишнее, так красноречиво выразившееся в нашей новой истории желание одного образованного сословия России — дворянства. Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы, и несмотря на все противодействие правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможного более подавлять ее»<sup>31</sup>.

Неприятие радикализма, консерватизм в отношении к «крестьянскому вопросу» сочетаются у Толстого с интересом к декабризму; декабристы противопоставляются «нынешнему поколению» (замысел романа «Декабристы»). Непоследовательности, противоречивости в своих взглядах Толстой не ощущал, — просто потому что ее и не было. Так же, как нет противоречия между вольнолюбием молодой Додо Сушковой и отстаиванием сословных прав и неприязнью к народным восстаниям, коммунистическим и социалистическим идеям у «московской затворницы» графини Ростопчиной<sup>32</sup>. Противодействие «заразе» ложных учений

<sup>29</sup> Толстой Л.Н. Собр. соч. Указ. изд. С.78.

<sup>30</sup> См. черновик письма Д.Н.Блудову (Там же. С.175-177) и «[Записку о дворянском вопросе]» (1858) (Указ. изд. Т.16. М., 1983. С.407-411).

<sup>31</sup> Там же. Т.16. С.408-409.

<sup>32</sup> Близость суждений Ростопчиной идеям Пушкина или Толстого не исключает существенного различия: в отличие от них писательница рисует некую идеальную, утопическую ситуацию; в действительной прошлой и нынешней российской жизни Ростопчина не обнаруживает независимого дворянства. Ср. в этой связи рассуждения современного ученого об отсутствии феодализма в России, восходящие к мыслям русских историков прошлого века: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С.70-77; ср.: С.225-251.



Ростопчина считает своим долгом. Она колеблется между двумя вариантами борьбы с ненавистными сочинениями. Первый — допускать печатать все (ибо хождение произведения в списках лишь усиливает его воздействие), но умело критиковать и опровергать через специально созданную правительственную газету. Этот «проект» изложен в письме П.А.Вяземскому и А.С.Норову от 28 ноября 1856 «...лекарство состоит единственно в изобличении перед Россиею ничтожности, глупости, недобросовестности тех кружков, тех лиц, которые в тайне и несправедливо движут у нас общим мнением по своему произволу и согласно своим видам. Гласности, гласности и еще раз гласности! /.../ Гнать, преследовать, приговаривать к запрету нельзя теперь, несвоевременно, не поможет. Надо все позволять, но все анализировать и выставить слабые и дурные стороны всего, что губительно и недобросовестно»<sup>33</sup>. Письмо Ростопчиной — своеобразная рекомендация, программа действий, предложенная правительству (А.С.Норов в то время был министром народного просвещения, а П.А.Вяземский — товарищем министра).

Это письмо, возможно, явилось плодом раздумий Ростопчиной, неожиданно для самой себя пришедшей к мысли о необходимости предоставить слово врагам. По крайней мере, примерно полтора года назад Евдокия Петровна в письме А.С.Норову от 19 марта 1855 еще предлагала, напротив, ужесточить цензуру «крамольных» сочинений:

У меня волосы дыбом стоят, когда я читаю, что Московская цензура пропускала в последнее время: любопытствуйте, Ваше Высочайшее превосходительство, заставьте себе прочитать или рассказать драму *Потехина* «Брат и сестра»<sup>34</sup>, повесть «Крестьянку»<sup>35</sup> и проч.: Вы в них найдете зловреднейший социализм, возбуждение народа на дворян, приписыванье нам последним всяких несправедливостей и низостей, — одним словом, худшие на-

<sup>33</sup> О пользе гласности: Письмо Е.П.Ростопчиной П.А.Вяземскому и А.С.Норову / Публ. А.М.Ранчина // Литературное обозрение. 1991. №4. С.111. Ростопчиной могли быть близки аристократическая оппозиционность Вяземского, признание им прав Польши на отделение от России и убежденность в необходимости смягчения цензуры, но не полной свободы печати. Ср. о взглядах Вяземского: Кутанов Н. [Дурылин С.] Декабрист без декабря // Декабристы и их время. Т.2. М., 1932. С.201-290.

<sup>34</sup> Пьеса Алексея Антиповича Потехина «Брат и сестра» (1854), в которой изображена судьба гувернантки, крестьянки по происхождению, страдающей от барыни-самодурки, но в конце концов находящей счастье в браке с либеральным помещиком. Драма дидактична, причем поучения помещикам вложены в уста мужаика.

<sup>35</sup> Роман А.А.Потехина, своеобразным продолжением которого является пьеса «Брат и сестра».

чала Запада, переведенные на грязнейший язык русской черни... А цензора пропускали, по дружбе к издателю... (не хочу предполагать других причин, гораздо виновнейших!)<sup>36</sup>

Письмо было внимательно прочитано Норовым (на первом листе его карандашная помета: «представить мне означенные пьесы»), но едва ли, прочитав отнюдь не «возмутительные» и не «поджигательные» произведения Потехина, Авраам Сергеевич согласился со своей корреспонденткой.

Евдокия Ростопчина, однако же, продолжала свои обличения и инвективы, поднимая, как знамя, свое благородное имя:

Нет, нет, совсем не Евфросинья,  
Не Фалаида, не Аксинья,  
Я Евдокией рождена.  
Не верьте слухам, сплетням ложным,  
Московским болтунам ничтожным,  
Всегда самой себе верна.  
Вовек от имени родного  
Не отступлюсь, не откажусь,  
Как от стиха неподкупного,  
От меня резкого, от слова  
Я своего не откажусь<sup>37</sup>.

Очаровательная девушка и женщина, автор и героиня романтических стихотворений и поэм, на склоне лет становится сатириком, обличительницей ложных мнений и авторитетов. Судьба Ростопчиной в 1850-х гг. — судьба писательницы, «пережившей» свое время и сознательно противопоставившей новой чуждой эпохе идеалы и идеи прежних лет.

<sup>36</sup> ОР РНБ. Ф.531. Ед.хр.557. Л.2.

<sup>37</sup> РГАЛИ. Ф.450. Оп.1. Ед.хр.16. Л.528. Датировано 1854 годом. Опубликовано с разночтением («Филида»): Русский архив. 1908. Кн.3. С.142.

Е.Ю.Буртина

## МЕЛОЧИ ИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Документальный очерк об И.С.Беллюстине

«Мелочи», само собой разумеется, я прочитал не отрываясь. Но впечатление от чтения осталось во мне какое-то смутное — не то благодарность Вам за некоторые, верно схваченные и переданные черты, не то досада на Вас за то, что это лишь черты...

*Из письма И.С.Беллюстина Н.С.Лескову по поводу его очерков «Мелочи архиерейской жизни». 7 марта 1879 г.<sup>1</sup>*

Имя калязинского священника и писателя Ивана Степановича Беллюстина (1819-1890) знакомо сейчас немногим, но в 1860-1880-х оно пользовалось довольно широкой известностью. Он сотрудничал во множестве различных изданий: в 1850-1860-х в газетах «Московские ведомости», «Русский дневник», «Земледельческая газета», «Русская газета», «Наше время», «День», «Москва», «Голос», «Русский», в журналах «Русский вестник», «Москвитянин», «Журнал землевладельцев», «Дух христианина» и других. Правда, читателям этих изданий имя Беллюстина не всегда было известно, потому что многие свои статьи и заметки он в то время печатал без подписи или под псевдонимами. Зато в 1870-х подписчики журнала «Беседа», газет «Неделя» и «Церковно-общественный вестник» должны были запомнить его фамилию, регулярно появлявшуюся на их страницах. Кое-где он печатался эпизодически (например, в «Вестнике Европы»), немало его публикаций — можно не сомневаться в этом — остаются невыявленными.

Публицистические выступления Беллюстина не раз порождали полемику, навлекали на него и на издания, в которых он печатался, цензурные преследования. Кроме того, он был автором ряда книг, первая из которых — «Описание сельского духовенства», анонимно вышедшая в 1858, — открыла в отечественной журналистике запретную ранее тему и стала настоящим событием.

<sup>1</sup> РГАЛИ. Ф.275. Оп.4. Ед.хр.12. Л.32об.

Что касается духовной среды, то здесь имя Беллюстина знали все — от сельского попа до митрополита. Так, например, в 1876 рязанский архиепископ Алексей, узнав о предполагаемом переводе можайского епископа Игнатия в Тверь, писал последнему: «Управление епархией трудно, [отому] ч[то] там есть Беллюстин<sup>2</sup> и К<sup>о</sup>...» В свою очередь еп. Игнатий в письме к харьковскому епископу Савве сетовал: «После такого светила, каким был нынешний Владыка киевский [бывший архиепископ Тверской Филофей. — *Е.Б.*] страшно всходить на кафедру. Потом Беллюстин. Семинария не преобразована. Хорошо только, что близко»<sup>3</sup>. Ни для кого из трех иерархов имя Беллюстина не нуждалось в комментариях, как и не подлежало сомнению, что его присутствие в Тверской епархии создает серьезные трудности для местного архиерея.

Печатные сведения о жизни и литературной деятельности И.С.Беллюстина довольно скудны<sup>4</sup>: в словаре С.А.Венгерова вместо статьи о Беллюстине помещено его письмо, которое, возможно, отчасти объясняет бедность биографических сведений о нем и в других изданиях. Вот выдержка из этого письма от 18 ноября 1887:

Через П.А.Гайдебурова я получил Ваше приглашение — при-  
слать Вам свою автобиографию. Усердно благодарю Вас за сделанную мне честь. К сожалению, вынужденным нахожусь ответить и Вам то же, что отвечал М.И.Семевскому, который, года три тому, просил меня о том же для своего журнала.

Автобиография у меня готова, хоть сейчас в печать. Но главное ее содержание — мои борьбы за все время моей служебной деятельности (48 лет) с своим чиновначалием по вопросам о духовенстве, о свободе совести и т.п. и с духовной цензурой. Возможно ли сообщать все это теперь, особенно при существующих условиях печати!.. Конечно, невозможно. Нужно, по крайней мере, мне прежде убраться на вечный покой; там, после, разве что анафему провозгласят над таким отчаянным у нас еретиком, да уж она нисколько не устроит. А теперь еще раз подвергнуться преследованиям, в роде былых, уже сил не станет вынести<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Сам Беллюстин всегда писал свою фамилию с двумя «л», но в документах того времени часто встречается ее написание с одним «л» Здесь и далее в цитатах сохраняется написание, присущее документу

<sup>3</sup> Цит по Савва Хроника моей жизни Т 5 Сергиев Посад, 1904 С 389, 390

<sup>4</sup> Это в определенной мере относится и к моей статье о Беллюстине в словаре «Русские писатели 1800-1917» (Т 1 М., 1989) Дело в том, что Беллюстин был включен в словник только на завершающей стадии работы над первым томом, и статья писалась спешно, только по печатным источникам

<sup>5</sup> Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых СПб., 1897-1904 Т 6 С 430 После смерти Беллюстина его автобиография не была опубликована Среди архивных материалов ее пока также не удалось обнаружить

К счастью, недостаток печатных сведений о Беллюстине с лихвой восполняется обилием архивных источников. Помимо обширного личного фонда, хранящегося в Государственном архиве Тверской области (в составе фонда Тверской ученой архивной комиссии), материалы о нем имеются почти во всех центральных архивах, где есть дореволюционные фонды. В основном это письма Беллюстина разным лицам: М.П.Погодину, Н.С.Лескову, издателю «Журнала землевладельцев» А.Д.Желтухину, инспектору военно-учебных заведений генерал-майору В.А.Половцеву и другим. В секретном архиве III Отделения в ГАРФ сохранились материалы, связанные с перлюстрацией его писем, в фондах Синода и Петербургского комитета духовной цензуры в РГИА — документы о служебной и литературной деятельности Беллюстина.

В данном очерке я хочу предложить вниманию читателя лишь одну группу документов — материалы об И.С.Беллюстине из фонда Тверской духовной консистории, хранящиеся в Тверском областном архиве. Как известно, православное духовенство в дореволюционной России имело свою сословную администрацию, основным звеном на местном уровне были консистории, состоявшие при епархиальных архиереях. Материалы, которые нам предстоит рассмотреть, отражают повседневные отношения и конфликты Беллюстина в соборе, где он служил, в городе, где прошла почти вся его жизнь, и те самые «борьбы» с церковным «чиноначалием», о которых он писал С.А.Венгерову. Эти документы ярко рисуют личность нашего героя, ту среду, к которой он принадлежал, живо воссоздают атмосферу маленького уездного города 1860-1870-х. Иными словами, эти материалы представляют не только биографический, но и более широкий исторический интерес, открывают возможности для наблюдений по истории культуры, быта, внутрисословных отношений русского духовенства и его отношений к другим группам населения дореволюционной России.

### Приданое, или Как издать книгу

В описи фонда Тверской духовной консистории значится 48 дел, касающихся И.С.Беллюстина. Из них лишь четверть сохранилась до наших дней. Самое раннее из уцелевших — дело 1862 года «Об издании священником Беллюстиным книги под названием "О церковном богослужении"»<sup>6</sup>. Речь в нем идет о второй

<sup>6</sup> См.: Государственный архив Тверской области (далее — ГАТО). Ф.160. Оп.8. Калязинский Николаевский собор. Ед.хр.191. 10 июня 1862. Далее при ссылках на этот фонд указываются только номер дела и его хронологические рамки.

книге Беллюстина (и первой, подписанной его именем) «О церковном богослужении. Письма к православному» (Ч.1-2. СПб., 1862), в которой разъясняются происхождение, содержание и смысл богослужения Православной церкви.

Для Беллюстина это была, несомненно, очень важная книга. В ней он реализовал свое давнее стремление содействовать религиозному просвещению русского общества, которое считал христианским лишь по названию<sup>7</sup>. Понятие «невежество» включало для него в качестве одной из главных составных частей незнание основных истин христианства, и в этом невежестве он видел самую серьезную из общественных бед России. Будущее страны, считал он, от решения этой проблемы зависит не меньше, чем от проводившихся в то время реформ, так как реформы, по его мнению, пересоздают лишь внешние формы жизни, а христианство — самого человека. Но только в том случае, если оно становится глубоким личным убеждением. На формирование таких религиозных убеждений (и в частности — осмысленного отношения к богослужению) и была нацелена его книга.

Эта книга, по-видимому, имела для Беллюстина и другое значение: она позволяла ему заявить о себе как о духовном писателе и тем самым скорректировать свою литературную репутацию, которая определялась, главным образом, «Описанием сельского духовенства». Нарисованная в этой книге картина глубокого социального унижения основной массы русского духовенства произвела в обществе сильное впечатление<sup>8</sup>. Но, как и следовало ожидать, книга не понравилась тем, против кого была направлена, — церковной аристократии, которую Беллюстин считал заинтересованной и повинной в существующем положении дел. Несмотря на то, что книга была издана анонимно и вопреки желанию автора<sup>9</sup>, Синод, каким-то образом узнав его имя, приговорил Беллюстину к заключению в Соловецкий монастырь. Как сообщили Беллюстину, только личное письмо Александра II обер-прокурору

<sup>7</sup> См., например, фрагмент «Описания сельского духовенства», не вошедший в печатное издание: Русь православная // Континент. 1993. №74. С.141-158.

<sup>8</sup> Общественное возмущение, вызванное появлением этой книги, выразилось, в частности, в выступлениях студентов духовных академий против своего начальства (см.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.50/2. Л.2; ГАРФ. Ф.109. Секретный архив. Оп.3. Ед.хр.1395. Л.1-3).

<sup>9</sup> Беллюстин писал «Записку о сельском духовенстве», как он называл свое сочинение, в расчете на то, что М.П.Погодин, предложивший ему составить эту записку, сможет ознакомить с нею кого-то из высших правительственных лиц. Однако Погодин, очевидно, посчитав, что без публикации «записка» не принесет желаемого результата, подготовил ее к печати и с помощью князя Н.И.Трубецкого передал для издания за границу.

Синода, в котором говорилось, что автор «Описания...» «заслуживает признательности за правду», заставило членов Синода отказаться от своего решения<sup>10</sup>.

Понимая, что недоброжелатели так или иначе найдут способ наказать его, Беллюстин, как только пронеслась «гроза», попытался вырваться из-под их власти и хлопотал о переводе в Гренадерский полк (военные священники не подчинялись Синоду, а имели свое особое начальство: Главного священника гвардии и grenадер и Главного священника армии и флота), затем — в Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, состоявшую под покровительством великой княгини Елены Павловны (она благосклонно отнеслась к «Описанию сельского духовенства»), наконец, — в одну из посольских церквей. Ни один из этих проектов не реализовался. Чтобы помешать их осуществлению, недруги Беллюстина даже распустили слух, что он — горький пьяница<sup>11</sup>.

Однако не только «Описание...» было причиной враждебного отношения к Беллюстину со стороны церковного начальства. В то время в духовной среде многими неодобрительно воспринимался сам факт участия священника в светской печати. Тверское епархиальное начальство Беллюстина, узнав о его статьях в прессе (по-видимому, в начале 1850-х), «строжайше воспретило» ему и всем священникам епархии выступать в печати, «обязав подпискою». (На духовные издания запрет не распространялся). Мотивы этого распоряжения Беллюстин воспринимал так: «Как осмелилось печатать свои статьи такое ничтожное лицо, как поп уездного города?...»<sup>12</sup> По этой причине в 1850-1860-х Беллюстин был вынужден помещать свои статьи в светских изданиях без подписи или под псевдонимами, каждый раз заклиная редакторов «никому не объявлять, кто пишет из Калязина»<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> См.: ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.44об.

<sup>11</sup> Авторство этой напраслины, чрезвычайно обидной для Беллюстина, который терпеть не мог пьяниц, он приписывал петербургскому митрополиту Григорию (Постникову), который ранее был тверским архиереем (в 1831-1848). Многие из того, что в «Описании...» говорится об архиереях (в частности, об их жестоком и пренебрежительном обращении с простыми священниками), основано на впечатлениях от личности Григория. Возможно, он узнал себя в некоторых местах этой книги, хотя Погодин при подготовке рукописи к печати исключил из нее все имена собственные, а также невыгодное для Григория сравнение с его преемником, архиепископом Гавриилом (см.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.3. Карт.1. Ед.хр.66. Л.2об.-3об., боб.-7).

<sup>12</sup> См.: ОР РНБ. Ф.601. Ед.хр.1413. Л.1об.

<sup>13</sup> Из письма Беллюстина А.Д.Желтухину 25 февраля 1858 (ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.1об.). Ниже в этом письме: «Нам строжайше запрещено участвовать в светских изданиях, а больше всего думать и писать о современности» (Л.1об.-2).

Появление «Описаний сельского духовенства» могло только усилить негативное отношение церковного начальства к публицистической деятельности Беллюстина. В разговоре с тверским епископом Филофеем<sup>14</sup> на эту тему Беллюстин оправдывался тем, что пишет ради заработка и даже предъявил архиерею тетрадь с записями своих доходов и расходов. Филофей внимательно просмотрел тетрадь и на вопрос Беллюстина «Что же прикажете мне делать, Ваше Высокопреосвященство?» ответил: «Не знаю; знаю одно, что Вы подвергаете себя великой опасности, занимаясь светской литературой»<sup>15</sup>.

Отказаться от сотрудничества в светской печати Беллюстин не хотел и не мог (и, конечно, не только из-за денег). Но появление книги духовного содержания создавало ему новый образ, несомненно, более приемлемый для тех, от кого зависела его судьба.

С изданием этой книги Беллюстин связывал и надежды на решение некоторых материальных проблем. «Этот труд, — писал он Погодину, — приданое для моей дочери»<sup>16</sup>. Для Беллюстина, отца семи дочерей<sup>17</sup>, выдача их замуж была одной из самых тяжелых забот. Подходящие женихи попадались редко, поскольку в маленьком уездном городе круг людей, близких Беллюстину по социально-имущественному положению и отвечающих его требованиям в нравственном и культурном отношении, был очень узок. Но даже хорошим женихам Беллюстин не раз отказывал лишь потому, что не было денег на приданое. Обычная стоимость приданого, которую «назначали» женихи, составляла около тысячи рублей. Для Беллюстина эта сумма была совершенно невыносимой, так как его годовой доход не превышал тогда 300-400 рублей<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Филофей (в миру Т.Г.Успенский, 1808-1882) — архиепископ Тверской и Кашинский в 1857-1876 (до 1861 — епископ), позднее — митрополит Киевский. В 1859-1868 — присутствовал в Синоде.

<sup>15</sup> Из письма Беллюстина А.Д.Желтухину 8 октября 1860 (ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.б. Л.78).

<sup>16</sup> См.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.51/1. Л.7.

<sup>17</sup> Прасковья (1840-?), Александра (1842-1860), Клавдия (1843-?), Августа (1845-?), Анна (1849-?), Серафима (ок.1853-?), Александра (1860-?). Кроме того, у Беллюстина было четыре сына, два из которых умерли в детстве: Иван (1848-1849) и Сергей (ок.1855-1858). О старшем сыне Беллюстина Николае см. прим. 87. Младший сын Беллюстина Валерий (ок.1854-?) окончил Медико-хирургическую академию, служил старшим ординатором Надеждинской больницы в Петербурге. Умер в чине надворного советника.

<sup>18</sup> Годовой доход Беллюстина складывался из жалованья за преподавание закона Божьего в уездном училище (143 рубля) и платы прихожан за исполнение треб (церковных обрядов, совершаемых по желанию прихожан). При этом, по расчетам Беллюстина, расходы семьи священника из 9 человек на самые минимальные потребности составляли в конце 1850-х не менее 450 руб. в год (см.: [Беллюстин И.С.] Описание сельского духовенства. Лейпциг, 1858. С.158-161).



На волне общественного сочувствия к гонимому автору «Описания сельского духовенства» несколько известных и неизвестных Беллюстину лиц пожелали оказать ему материальную помощь<sup>19</sup>. Это позволило ему в 1860 выдать замуж сразу двух дочерей: Александру — за учителя Калязинского уездного училища М.А.Игнатьева<sup>20</sup>, Прасковью, которая, сдав в Московском университете экзамен на звание домашней учительницы, воспитывала детей своего родного дяди по матери, известного юриста Ф.Л.Морошкина, — за учителя второй московской гимназии С.Н.Орнатского (эту партию Беллюстин считал для себя блестящей). Правда, чтобы устроить вторую свадьбу, ему пришлось «пожертвовать последним достоянием на земле» — заложить дом<sup>21</sup>. Теперь третья дочь, Клавдия, к которой уже не раз сватались женихи, ждала своей очереди. Ей-то в приданое да на уплату долга по закладной и предназначал Беллюстин доход от новой книги.

За издание Беллюстин взялся сам, хотя средств на это у него не было. С помощью петербургских друзей ему удалось познакомиться со своим сочинением великую княгиню Елену Павловну, и та разрешила выдать ему из своей конторы ссуду в 500 рублей с обязательством возврата ее в течение трех месяцев после выхода книги. Остальные 700 из 1200 рублей, необходимых для издания, дала (под залог тиража) типография товарищества «Общественная польза», в которой печаталась книга. Та же типография получила право распространения из 30% комиссионных<sup>22</sup>.

Хлопоты по изданию заставили Ивана Степановича трижды приезжать в Петербург. Каждая такая поездка стоила немало. Например, «отрадная» в этом отношении для него двухнедельная поездка в августе 1861 обошлась в 60 руб., то есть поглотила примерно шестую часть его годового дохода. И это при том, что почти все время Беллюстин жил у друзей, то есть не платил ни за стол, ни за квартиру<sup>23</sup>. Кроме того, на отъезд из Калязина необходимо было каждый раз получить разрешение архиерея и паспорт в консистории, дававшиеся отнюдь не автоматически<sup>24</sup>.

<sup>19</sup> Это были виновники публикации рукописи Беллюстина за границей, М.П.Погодин и Н.И.Трубецкой, а также знакомый Погодина купец-миллионер В.А.Корев. Кроме того, деньги Беллюстину прислали Н.С.Редькин, двое неизвестных и Литературный фонд (см.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.51/3. Л.4).

<sup>20</sup> Через девять месяцев после свадьбы эта любимая дочь Беллюстина умерла от тифа.

<sup>21</sup> См.: ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.75об.

<sup>22</sup> См.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.51/3. Л.12.

<sup>23</sup> ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1287. Л.6. (Дневник поездок Беллюстина в Петербург).

<sup>24</sup> Собираясь в 1859 в столицу, Беллюстин волновался, «допустит ли архиерей до Петербурга» (ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.65). Позднее выезд из Калязина был

В цензуре также не обошлось без проблем. В дневнике, который вел Беллюстин во время этих поездок, упоминается такой эпизод: рассматривавший рукопись цензор архимандрит Макарий запил, и Беллюстину пришлось возвращаться в Калязин ни с чем. В следующий приезд он в течение двух недель «возился с цензурой: отстаивал свои русские переводы стихир и прочего, но особенно литургию. Сошлись, наконец, на том, что все, что из служебника — на славяно-русском [то есть на церковно-славянском. — Е.Б.], а из прочих — на одном русском. Грешно было бы, впрочем, жаловаться на Сергия и Макария: прекраснейшие люди, но бояться сами. "Если б Вы — не Б[еллюсти]н, — иное бы дело", — несколько раз повторили оба»<sup>25</sup>. Вопрос о переводах имел для Беллюстина принципиальный характер. Он был убежден, что православие только тогда станет религией русского народа, когда Библия и все богослужение будут переведены на современный язык.

Связывая с выходом книги «О церковном богослужении» столько надежд, Беллюстин загодя начал беспокоиться о ее распространении. Еще в августе 1861 во время визита к архиепископу Филофею он прочитал ему отрывки из своего сочинения. Архиерей, по словам Беллюстина, «пришел в пассию» и «обещал всяческое содействие по цензуре и распространению»<sup>26</sup>. Памятуя об этом обещании, 10 июня 1862 он обратился к Филофею с просьбой разрешить разослать объявление о продаже книги через консисторию по всей Тверской епархии. Архиепископ удовлетворил просьбу. Прошение Беллюстина с резолюцией Филофея да приложенное к нему объявление о продаже книги — вот и все «дело» Тверской духовной консистории, связанное с этой книгой. Однако его благополучный исход был омрачен для Беллюстина следующим обстоятельством: несколько раньше, чем удовлетворить просьбу Беллюстина, архиерей разрешил разослать по епархии труд на ту же тему тверского священника В.Ф.Владиславлева<sup>27</sup> (по отзыву

---

для него (по крайней мере, какое-то время) еще более затруднен. В 1864, когда Беллюстин, будучи в Петербурге, привлек к себе внимание III Отделения какими-то «неуместными суждениями», обер-прокурор Синода А.Н.Ахматов предписал Филофею не увольнять его в столицы «без особых на то уважительных причин» и без согласования с обер-прокурором. (РГИА. Ф.797. Оп.34. Отд.1. Ед.хр.89). К сожалению, ни одно из семи дел «О выдаче паспорта Священнику Беллюстину», указанных в описи фонда Тверской консистории, не сохранилось.

<sup>25</sup> ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1287. Л.18.

<sup>26</sup> Там же. Л.2об.

<sup>27</sup> См.: Владиславлев В.Ф. Объяснение богослужения святой православной церкви. Ч.1-2. Тверь, 1862. Один из рецензентов некоторые недостатки книги объяснял тем, что она — «едва ли не первый опыт в этом роде» (см.: Странник. 1863. №1. Отд. III. С.10). Владиславлев Василий Федорович (ок.1821-1896) — прото-

Беллюстина, «компилятивный»). Фактически его книга была навязана священникам епархии, что сделало распространение труда Беллюстина среди местного духовенства невозможным, а разрешение архиепископа — бесполезным. Беллюстин увидел здесь не совпадение, а коварный умысел против него архиерея и консистории<sup>28</sup>. Прав ли он был — сказать трудно.

Мысль, что книга не разойдется, что вместо дохода она принесет ему неоплатные долги, — приводила Беллюстина в отчаяние<sup>29</sup>. По совету Погодина он предпринял попытку «для внешней поддержки издания» представить книгу императрице, которая в свое время благожелательно отнеслась к «Описанию сельского духовенства»<sup>30</sup>. Но недруги Беллюстина «не допустили сделать это под тем предлогом», что его книга «вся пропитана желчью и злом»<sup>31</sup>. Вскоре, однако, безо всякой «внешней поддержки» она разошлась, и уже в 1864 автор смог выпустить второе издание. В конце концов книга «О церковном богослужении» оказалась самым популярным из произведений Беллюстина: она выдержала шесть изданий, столько же — выпущенная отдельной брошюрой глава «О божественной литургии»<sup>32</sup>.

#### О «предосудительных поступках» дьякона Крылова и пономаря Трунева

Следующие два «дела» погружают нас в атмосферу повседневных служебных отношений И.С.Беллюстина в Калязинском Николаевском соборе, с которым была связана почти вся его жизнь<sup>33</sup>.

Это был большой старинный собор на берегу Волги с огромной колокольней, которую Беллюстин относил к «лучшим произведениям в этом роде по смелости зодчества, по красоте частей

иерей Владимирской церкви в Твери, член консистории, редактор «Тверских епархиальных ведомостей».

<sup>28</sup> См.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.51/3. Л.14.

<sup>29</sup> Беспокойство Беллюстина усиливалось еще и оттого, что книга не была замечена прессой. Единственная рецензия появилась в малочитаемом духовном журнале «Странник» (1862. №11. Отд. III. С.171-187).

<sup>30</sup> См.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.50/2. Л.10б.

<sup>31</sup> ИРЛИ. Ф.95. Оп.3. Ед.хр.72. Л.3.

<sup>32</sup> По свидетельству Беллюстина, первые три издания книги «О церковном богослужении» разошлись в количестве 2400, 3600, 3600 экземпляров (см.: РГИА. Ф.796. Оп.154. Ед.хр.1425. Л.60б.).

<sup>33</sup> После окончания Тверской семинарии в 1839 Беллюстин, женившись на дочери пожилого священника, занял его место в церкви села Васисино под Калязином. В 1843 переведен в Калязинский собор, откуда уволился по старости в 1887.

и великолепию целого»<sup>34</sup>. (Еще и теперь, когда часть Калязина вместе с собором оказалась на дне Угличского водохранилища, ее верхушка возвышается над водой, оставляя у проплывающих мимо туристов смешанное чувство ужаса и восторга). Штат собора состоял из 14 человек: 4 священников (один из которых был настоятелем), 4 дьяконов и 6 причетников (дьячков и пономарей)<sup>35</sup>. Богослужения в соборе и в относившейся к нему Вознесенской церкви на кладбище священники совершали обычно поочередно — каждый со своим причтом, то есть с дьяконом и одним-двумя причетниками. Приход собора также был разделен между священниками. Так что Беллюстину редко приходилось сталкиваться с другими священниками, и благополучное течение его служебной жизни во многом определялось отношениями с причтом.

В «Описании сельского духовенства» Беллюстин рисует отношения между священниками и причетниками как традиционно враждебные. Источник этого антагонизма он видит в том, что вакансии причетников, по сложившейся практике, замещаются бывшими учениками духовных училищ и семинарий, исключенными за пьянство, воровство и т.п. Формируемый таким образом причт Беллюстин изображает как средоточие всех пороков: «Это животное, вечно алчное, прожорливое, хищное, хитрое на самые злые и пагубные проделки, радующееся гибели других и особенно высших себя...»<sup>36</sup>. Нужно было немало натерпеться от причетников, чтобы составить о них подобное мнение! Некоторые места в книге не оставляют сомнений в том, что они основаны на личных впечатлениях автора. Например, такое: «О, как часто между утреней и обедней дьякон и причетники нарочно стараются уколоть, уязвить, раздражить священника, и он, сохранив все наружное хладнокровие, служит, однако же, литургию с растерзанной душой /.../! Как часто причетник, подавая кадило священнику, тут же говорит ему грубости; как часто, пьяный, он бесчинствует, хохочет, бурлит на клиросе и даже в алтаре, и все это среди самой литургии!»<sup>37</sup> С другой стороны, взгляд на причетников, которых Беллюстин презрительно именовал «этим людом», как на людей

---

<sup>34</sup> Беллюстин, интересовавшийся всем, что его окружало, не мог обойти вниманием свой собор. Сведения о нем и двух относящихся к нему церквях собраны в его «Записке о городе Калязине» (см.: Архив исторических и практических сведений, относящихся до России: 1860-1861. СПб., 1861. Кн.2. С.11-15). Каменный пятиглавый собор был построен в 1693, колокольня в 1800.

<sup>35</sup> См.: Ед.хр.183. Л.10.

<sup>36</sup> См.: [Беллюстин И.С.] Описание сельского духовенства. Указ. изд. С.93.

<sup>37</sup> Там же. С.99.

изначально и безнадежно испорченных, вряд ли способствовал установлению добрых отношений с ними.

О вражде между священниками и причетниками Беллюстин пишет как о явлении всеобщем и повсеместном. Возможно, это так и было. Но в конкретных конфликтных ситуациях, о которых он рассказывает, фигурирует не рядовой «батюшка», мало чем отличающийся от причетников, а священник «еще не погрязший в омуте жизни». «Строгий к себе, он /.../ строг и к дьякону и причетникам»<sup>38</sup>. Он заводит в церкви и в приходе различные улучшения, нарушающие привычки причта, требующие от него дополнительных усилий. Словом, Беллюстин имеет в виду именно тот тип священника, к которому принадлежал сам и который, видимо, особенно не пользовался расположением причта.

Описывая антагонизм между священниками и причтом с позиций одной из враждующих сторон, Беллюстин, конечно, не был достаточно объективен, но важно, что он отметил это явление, свидетельствующее о внутрисословных напряжениях в духовенстве. Поэтому документы Тверской консистории, запечатлевшие его собственные конфликты с причетниками, интересны не только как эпизоды биографии Беллюстина, но и как своеобразный исторический комментарий к его книге, конкретный бытовой материал для характеристики названного явления.

«Дело о нетрезвой жизни дьякона Калязинского Николаевского собора Александра Крылова»<sup>39</sup> открывается рапортом Беллюстина от 1 октября 1864 архиепископу Филофею о том, что упомянутый дьякон «предается самому безобразному пьянству» и не является к богослужению по несколько недель. (В рапорте точно указаны дни, когда дьякон отсутствовал в соборе, начиная с ноября 1863: значит, в течение почти целого года Беллюстин записывал эти даты). «Все, что человек в силах сделать для поправления другого, мною по отношению к дьякону Крылову сделано, — писал Беллюстин, — и без всякой пользы». Для «исследования» по этому делу он просил назначить лицо, «чуждое Калязину», так как «последнее следствие о пономаре Преферанском потому и не повело к новым делам и следствиям, что не желалось до конца отягчить его участь». Сам же Беллюстин был настроен на то, чтобы «отягчить участь» Крылова именно «до конца», то есть удалить его из собора.

Как видно из приложенной к делу справки, 45-летний дьякон (ровесник Беллюстина) служил в соборе с 1838, куда был опреде-

<sup>38</sup> [Беллюстин И.С.] Описание... Указ. изд. С.94, 100.

<sup>39</sup> Ед.хр.195. 1 октября 1864 — 1 мая 1869.

лен дьячком по исключении из низшего отделения Тверской семинарии. Возведен в сан дьякона по ходатайству Беллюстина. «В семействе у него жена и сын (благочинным)». Обстоятельство, отмеченное в скобках, — не пустяк. Благочинный — священник, назначаемый архиереем для надзора за состоянием церквей, поведением духовенства, расходом церковных сумм и т.п. на определенной территории, имеет большие (неформальные) возможности повлиять на рассмотрение дела в духовном правлении (низшее звено духовной администрации) или в консистории. В справке также указано, что по клировой ведомости (с ежегодными отметками о службе и поведении членов клира каждой церкви) за 1863 Крылов «рекомендован так: в исправлении должности начал оказывать великую неисправность; поведения довольно хорошего».

Консистория учла просьбу Беллюстина — поручила вести следствие священнику соседнего с Калязином города Кашина Сергею Косухину. «Следователь» отобрал «объяснение» у обвиняемого и снял показания свидетелей — священников, дьяконов и причетников Николаевского собора.

Крылов «по сущей справедливости» объяснил: «действительно, иногда не ходил я к должности немалое время», но «не всегда по нетрезвости, а большею частью по сильной боли в голове и по опасению, не случилось бы дурных последствий от головокружения, от тошноты и от рвоты с кровью, от сильной боли в пояснице и от дрожания во всем теле<sup>40</sup>. При сем признаюсь чистосердечно, что в это время употреблял водку /.../ но никогда до самозабвения и безобразия не доходил, оттого и потому ни в церковь, ни в приход не ходил, опасаясь, не нарушить бы благочиния при служении /.../ Теперь, с 1-го октября [то есть с того дня, когда Беллюстин написал свой рапорт. — *Е.Б.*], от употребления хмельных напитков всячески воздерживаюсь и должность свою /.../ исправляю неопустительно /.../ За прошедшие же неисправности /.../ как 14-го марта у настоятеля и всей братии нашей соборной признавался в слабости [и] просил прощения и молитвы за меня, так и ныне милостивейшее начальство усерднейше прошу снизить к моей немощи и отечески оные мне простить за признание мое в оных».

Священники собора во главе с исполнявшим обязанности настоятеля Дмитрием Флоренским показали, что дьякон Крылов «неоднократно и в продолжительное время не являлся к исправле-

---

<sup>40</sup> Крылов называет симптомы, характерные для заболеваний желудка и поджелудочной железы.

нию своей должности». По какой причине — не знают; слышали, что «по слабости к пьянству», но сами пьяным его не видели. Один священник (Стефан Бутягин) высказался определеннее: «Знаю я его как человека доброго, способного к службе /.../ но вместе как больного, издавна приверженного запою». Причетники же собора, хотя и дали «клятвенное обещание /.../ показать самую сущую правду», фактически уклонились от ответа: им явно не хотелось «топить» товарища. Так пономарь Арсений Никольский заявил: «О поведении дьякона Крылова худого ничего не могу сказать и нетрезвости его не знаю». Только причетник Беллюстина пономарь Николай Трунев полностью подтвердил его рапорт и показал, что в отсутствие Крылова исполнял его обязанности вместе с Беллюстиным, «платы же за оное ни от кого не получал доселе». И, видимо, отвечая на соответствующий вопрос, добавил: «Неприятностей между нами [то есть между ним и Крыловым. — Е.Б.] никаких не было».

Дело шло неспешно. Лишь через два месяца, 3 декабря, Кашинское духовное правление вынесло решение, утвержденное впоследствии консисторией: наказать А.Крылова «двухнедельным монастырским подначалием» и взыскать из его доходов 5 рублей серебром в пользу пономаря Трунева. А за день до этого Беллюстин направил архиерею рапорт, в котором аннулировал свой первый рапорт в связи с тем, что получил от дьякона письмо с просьбой о прощении.

Однако не прошло и месяца, как Крылов вновь перестал появляться в соборе. Возмущенный Беллюстин пишет новый рапорт, возникает новое дело<sup>41</sup>. Негодование Беллюстина, видимо, было вызвано не только тем, что обещания Крылова оказались «наглым обманом», но и очевидным попустительством ему со стороны местных духовных властей, которое выразилось как в слишком мягком наказании, так и, возможно, в негласном освобождении даже от него. Как видно из материалов дела, спустя два месяца после назначения «подначалия» Крылов так и не приступил к его отбыванию. Епархиальное начальство, видимо, также приняло новый рапорт Беллюстина с раздражением: ведь этим рапортом он прямо указывал на ошибочность решения по делу Крылова. Проявилось это раздражение, в частности, в том, что следователем на этот раз был назначен местный благочинный. Проведенное им следствие позволило кашинскому духовному правлению прийти к заключению, что дьякон Крылов может быть уличен только (!) в «нехождении к богослужениям и в неисpravлении

---

<sup>41</sup> Ед.хр.196. 9 января — 15 мая 1865.

приходских треб», но не в пьянстве, и потому назначенного ранее наказания для него вполне достаточно. Консистория и архиерей утвердили это решение.

Спустя некоторое время Беллюстину в связи с этой историей пришлось выслушать от Филофея «строгое внушение». Очевидно, архиерей сделал ему выговор за то, что он сначала ходатайствовал о возведении пьющего человека в сан дьякона, а потом хлопотал об его удалении. Беллюстин, не любивший оставлять такие «внушения» без ответа, воспользовался прошением Крылова о сложении с него штрафа для того, чтобы, поддержав это прошение, объяснить архиерею: в том и в другом случае он «действовал с единственной целью — спасти достойного служителя Церкви от конечного падения»<sup>42</sup>.

Это объяснение не кажется убедительным. Если требование об увольнении Крылова Беллюстин рассматривал только как воспитательную меру, то зачем отзывал свой рапорт, когда дьякон попросил у него прощения? Скорее он действовал под влиянием противоречивых побуждений. В наши дни это нелегко представить, но для Беллюстина порок был действительно абсолютным злом, к которому он испытывал глубокую и искреннюю ненависть, так что подчас какой-то один недостаток или слабость заслоняли в его глазах живого человека<sup>43</sup>. Как священник он считал борьбу с пороком своей безусловной обязанностью (по крайней мере, по отношению к своей пастве) и испытывал нравственные мучения, когда не мог сделать в этом отношении всего, что требовал от него долг. Следовало бороться с пороком в лице дьякона, но тот был, видимо, неплохим человеком, только слабым или больным, к тому же, по тогдашним понятиям, уже пожилым. Это и мешало, очевидно, Беллюстину быть последовательным в своей борьбе: стоило дьякону попросить прощения, как он тотчас сложил оружие, хотя удовлетворительных мотивов для таких порывов среди его идейно-нравственных установок, видимо, не было.

В фонде Тверской духовной консистории больше нет дел, связанных с жалобами Беллюстина на Крылова. То ли дьякон избавился от своей слабости (что для человека, страдающего запоями, было бы настоящим подвигом), то ли (что вероятнее) Беллюстин смирился с ней, убедившись, что обращениями к началь-

<sup>42</sup> Ед.хр.195. Л.32.

<sup>43</sup> К примеру, друг Беллюстина, известный петербургский священник А.В.Гумилевский упрекал его в том, что он готов отвернуться от него из-за его слабости (см.: ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1292. Л.49).



ству ничего, кроме неприятностей, не добьешься. Во всяком случае, какую-то приемлемую для себя формулу отношений с Крыловым он нашел, потому что 10 лет спустя в одной из своих статей описал эти отношения следующим образом: «Тридцать лет мирно прослужил он [Беллюстин говорит о себе. — Е.Б.] с одним причетником и надеется с ним же закончить свое пастырское служение...»<sup>44</sup>

Однако надежде Беллюстина не суждено было сбыться. В 1880, когда Беллюстину за статью «К вопросу о раскольниках» временно запретили священнослужение (см. ниже), Крылов опять запил (а может быть, в отсутствие Беллюстина его некому было покрывать). Настоятель собора И.Морошкин подал об этом рапорт архиепископу Савве<sup>45</sup>, и тот, даже не назначая следствия, распорядился удалить старого дьякона из собора. Настоятель хотел было заставить Крылова продать новому дьякону свой дом, построенный на церковной земле (обычная драма отставленных духовных, а также семей умерших священников и причетников: приходилось продавать дом на условиях покупателя, часто за полцены, бросать насиженное место, возделанный огород, сад и т.п.), но это обращение Морошкина Савва оставил без ответа. Последнее упоминание об Александре Крылове в материалах духовной консистории относится к 1886, когда, по ходатайству нового настоятеля Григория Первухина, бывшему дьякону выдали из епархиального попечительства пособие в 50 рублей<sup>46</sup>.

Возможно, в том, что отношения Беллюстина с Крыловым в конце концов уладились, сыграл свою роль конфликт о.Иоанна с другим его причетником — уже упоминавшимся пономарем Труневым. Не исключено, что этот конфликт заставил Беллюстина оценить своего старого сослужителя, не всегда трезвого, но, видимо, смиренного, почтительного и уж во всяком случае не способного так безобразничать в церкви, как Трунев.

Как видно из «Дела о предосудительных поступках пономаря... Николая Трунева»<sup>47</sup>, отношения с ним у Беллюстина испортились после того, как в 1866 настоятелем собора стал Д.Флоренский и, как считал Беллюстин, по вине нового настоятеля. Доказательство этой вины Беллюстин видел в том, что Флоренский якобы скрыл от епархиального начальства его жалобу на «дер-

<sup>44</sup> Два слова гг. псаломщику и не псаломщику // Церковно-общественный вестник. 1876. №5.

<sup>45</sup> Савва (Тихомиров, 1819-1896) — церковный археолог и палеограф. С 1876 — архиепископ Тверской.

<sup>46</sup> См.: Ед.хр.216.

<sup>47</sup> Ед.хр.197. 15 мая — 21 июля 1867.

зости» Трунева и на хищение им церковных денег, как и просьбу Беллюстина ходатайствовать об удалении пономаря из собора. В действительности, судя по материалам дела, Флоренский не скрывал этого, но консистория по его рапорту не приняла никаких мер, кроме поручения настоятелю «строго смотреть» за Труневым. Тот «смотрел» не особенно строго.

«Неуспех моей просьбы, поддержка и поощрение св[ященника] Флоренского /.../ довели дерзость Трунева до той степени, когда не стает всех сил человеческих выносить ее, — писал Беллюстин архиепископу Филофею в рапорте от 15 мая 1867. — Хорошо зная, что всякое неблагочине, всякий беспорядок, всякое соблазнительное действие при церковных богослужениях возмущает меня до самой глубины души, он редкое богослужение пропускает без того, чтобы не произвести бесчиния и соблазна — то своим гнусливым, в двух шагах от него неслышимым чтением, то безобразным до кощунства пением /.../ то уходом из церкви в то самое время, когда требуется, например, подавать кадило и т.п.». Отсутствие реакции на его обращения заставляет Беллюстина напомнить: «Законоположение Церкви прямо и положительно говорит: "аще кто из причта досадит пресвитеру, да будет отлучен от общения церковного" ("Прав[ила] св[ятых] ап[остолов]" §56)<sup>48</sup>. Но тут дело не об личном "досаждении", каких я неисчислимо множество видел от пономаря Трунева, не обращая никакого внимания; тут každослужебное "досаждение" в том, что я считаю высшим делом своей жизни, "досаждение", возмущающее всю душу /.../ до того, что не однажды представлялась мысль — прекратить богослужение /.../ чего, без сомнения, и добивается священник Флоренский, употребляя это грязное орудие для своих настоятельских целей». Здесь требуется пояснение. Беллюстин обвиняет Д.Флоренского в том, что он, с помощью Трунева, пытается спровоцировать его на действия (скандал в церкви или прекращение богослужения), за которые, по церковным законам, священнику грозило серьезное наказание — вплоть до лишения священного сана. В заключение Беллюстин просит Филофея избавить его от пономаря Трунева.

Консистория хотела было назначить следствие, но архиерей закрыл дело, удовлетворив просьбу Беллюстина: распорядился перевести Николая Трунева в причт священника Стефана Бутягина, а к Беллюстину перевел пономаря Стефана Томилова.

---

<sup>48</sup> Правила апостолов — основанные на преданиях правила внутрицерковной жизни, признанные каноническими как в католической (первые 50 правил), так и в православной церкви (85).

Николай Трунев, несомненно, представляет иной, нежели дьякон Крылов, тип причетника, более соответствующий характеристике причта в «Описании сельского духовенства». Видимо, ему больше, чем Крылову, было свойственно отмеченное Беллюстиным завистливое чувство по отношению к священникам: им полагались и больший почет, и большая плата от прихожан, и большая часть церковного дохода, — все это нередко вызывало в причетниках желание унизить и оскорбить священника. (Интересно, что Беллюстин, довольно болезненно воспринимавший невысокий социальный статус «поповства», гневно обличавший духовную «знать» за высокомерное и пренебрежительное отношение к приходским священникам, не видел в этом завистливым взгляде причта на священников ничего, кроме проявления его нравственной «дурноты»). Пономарь и пономарский сын, исключенный из духовного училища, человек еще молодой (в 1867 ему было 29 лет), чья юность пришлось на эпоху, когда идеи эмансипации и личного достоинства носились в воздухе, Трунев должен был острее, чем пожилой и добродушный Крылов, переживать свою приниженность — даже по сравнению с простым уездным попом.

Тем более, что Беллюстин, водивший дружбу с крестьянами и мещанами, избегал сближения со своими подчиненными. Об этом свидетельствует, в частности, такая деталь. В одном из своих «объяснений» дьякон Крылов между прочим заметил, что пьяным его Беллюстин видеть никак не мог, потому что ни разу не бывал у него дома. И это за 20 с лишком лет совместной службы — при неплохих, в целом, отношениях, при тесноте уездного «мира»!

Со Стефаном Бутягиным Трунев тоже не сумел ужиться. В марте 1872 священник пожаловался на него в консисторию за систематическую неявку к богослужению, грубость и дерзость. Трунев свои «прогулы» объяснил тем, что подрабатывает у нотариуса письмоводством, а также занят дома с тремя малолетними детьми, недавно лишившимися матери. Решение, принятое консисторией, могло лишь усилить раздражение пономаря против собратей по сословию. Его, вдовца с малыми детьми на руках, консистория оштрафовала в пользу вдов и сирот духовного звания (!) и запретила заниматься у нотариуса. Когда в сентябре того же года Бутягин пожаловался на него вновь, Трунев попросил уволить его от должности, обвинив при этом священников в желании выжить его из собора и закрыть вакансию для увеличения собственных доходов<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> См.: Ед.хр.206.

Чтобы завершить тему служебной деятельности И.С.Беллюстина, рассмотрим, нарушив хронологию изложения, еще два дела. Оба связаны с одним событием: в январе 1875 после смерти о.Дмитрия Флоренского калязинцы подали четвертое прошение архиерею о назначении о.Иоанна настоятелем собора, которое, как и все предыдущие, было оставлено без ответа.

«Дело об оскорблении настоятеля Калязинского Николаевского собора протоиерея Или Морощкина...»<sup>50</sup> возникло оттого, что Беллюстин, обиженный тем, что его вновь обошли при назначении, не стерпел и, как нередко с ним бывало, сгоряча написал об этом заметку «Образчики епархиальной администрации» в газету «Церковно-общественный вестник», где, в частности, не совсем лестно отозвался о новом настоятеле (не называя его по имени). Последний обратился к архиерею со следующей жалобой:

Резолюциею Вашего Высокопреосвященства, изображенною в указе Тверской духовной консистории от 25 февраля /.../ я, протоиерей, из Старицкого Борисоглебского собора перемещен в настоятеля Калязинского Николаевского собора. Священник же сего собора Иоанн Беллюстин, разными путями домогавшийся настоятельства и не достигший своей цели, — в поругание моей чести, заслуженных наград и беспорочного 45-летнего служения в разных должностях издал статью, отпечатанную в «Церковно-общественном вестнике» в №38-м /.../ Высокопреосвященный Владыко! Благодетельнейший Отец и Архипастырь! Если статье Беллюстина, исполненной злоязычества и клеветы в отношении собственно моей личности, дано печатное место в «Церковно-общественном вестнике», то позвольте и мне, не столько в оправдание свое (потому что мне перед клеветником оправдываться не в чем), сколько в опровержение упомянутой статьи написать несколько строк.

1. Беллюстин пишет, что «общество поставлено было в необходимость принять меня в настоятеля собора как личность чуждую, нежеланную и непрощенную», — а между тем мне совершенно известно, что другое общество, во всяком случае превышающее общество Беллюстина и просившее меня в Калязин, по прибытии моем в Калязин, несмотря на кратковременное мое служение, оценило мою службу и Вашему Высокопреосвященству изъявило благодарность за определение меня в настоятеля собора. 2. Беллюстин пишет, что я явился в Калязин будто бы на принадлежащее ему при соборе настоятельское место — уже на место пятое или десятое и был выпровожаем с каждого места с позором. Напротив, я горжусь таковыми перемещениями, пото-

<sup>50</sup> Ед.хр.212. 20 апреля — 26 мая 1875.

му что таковые перемещения служили поводом к моему по службе возвышению.

Послужной список, который Морошкин далее приводит, действительно выглядит внушительно. Сначала 10 лет в сельской церкви, затем — более 10 лет в одной из церквей Ржева, наконец — четверть века в Старицком соборе. В Ржеве и в Старице «проходил», как тогда говорили, множество должностей, причем таких, которые свидетельствуют о доверии епархиальных властей: благочинный, цензор проповедей, член духовного правления. Награжден почти всеми наградами, предназначенными для духовенства (набедренник, скуфья, камилавка, бронзовый и золотой наперсный крест), а также орденами св. Анны 3-й и 2-й степени. Становится понятным, почему Филофей выбрал на это место именно Морошкина. По всем формальным статьям он был более «заслуженным» священником, чем Беллюстин, так что обжаловать его назначение калязинцам было бы нелегко.

В заключение Морошкин просит «Беллюстина, как клеветника, предать законной ответственности и на будущее время воспретить ему выдавать в печать подобного рода статьи, которые не только подрывают авторитет долговременно прослужившего священнослужителя, но и входят в состав порицания и уничижения власти самого епархиального начальства».

Весь стиль этого документа говорит о том, что его автор — Беллюстина. Вместо того, чтобы опровергнуть «клеветника» в печати, он старается обрушить на него гнев епархиального начальства. Однако во многом Морошкин прав. Беллюстин действительно «домогался» настоятельского места. Его статья действительно продиктована не только обидой за городское общество, мнением которого в очередной раз пренебрегли, но и личной обидой. И неблагоприятное указание на то, что статья Беллюстина задевает не только его, Морошкина, но и епархиальную власть, — тоже справедливо. Более того, статья направлена именно против епархиального начальства, а о новом настоятеле в ней говорится вскользь, между прочим. В то же время сведения о перемещениях Морошкина в статье явно оказались неточными, да и перевод с повышением вряд ли можно назвать позорным изгнанием. (Другое дело, что Беллюстин, у которого и в Ржеве, и в Старице было немало знакомых, мог знать какую-то иную сторону официально «беспорочного» служения Морошкина. Так, до него доходили слухи, что новый настоятель — из тех попов, которые «пользуются особенным расположением Филофея за услуги по части шпионства»<sup>51</sup>).

<sup>51</sup> РГАЛИ. Ф.373. Оп.1. Ед.хр.79. Л.35-35об.

Казалось бы, правота, по крайней мере, формальная, — на стороне Морошкина. Тем не менее епархиальное начальство ответило ему отказом, напомнив о его праве жаловаться на Беллюстина в светский суд. Возможно, Филофею не понравился намек Морошкина, что он тоже должен считать себя оскорбленным статьей Беллюстина. Мне кажется, Филофей считал себя выше всяких оскорблений и уж во всяком случае не хотел, чтобы кто-нибудь подумал, что его могут задеть какие-то газетные статьи.

Но надо рассказать о том, как Беллюстин «домогался» места настоятеля, чтобы у читателя не сложилось о нем превратного представления. Началась эта история еще в 1855, когда калязинские дворяне и чиновники во главе с уездным предводителем дворянства обратились к архиерею с просьбой исходатайствовать Беллюстину звание протоиерея за различные «понесенные им труды» и особенно за исполнение обязанностей священника при калязинской дружине подворного ополчения<sup>52</sup>. Получить это звание для Беллюстина было очень важно. Тогдашний настоятель собора престарелый Иоанн Приселков<sup>53</sup> подумывал об уходе на покой, и Беллюстин, как старший после него священник в соборе, мог рассчитывать занять это место. Оно означало для него и повышение общественного статуса, и улучшение материального положения, и достижение той самостоятельности в служебных делах, о которой он всегда мечтал. Звание протоиерея<sup>54</sup> сделало бы его права на это место совершенно неоспоримыми. Архиепископ Гавриил<sup>55</sup>, знавший Беллюстина лично, наложил резолюцию: «Совершенно достоин, представить в Синод»<sup>56</sup>, но консистория, «воспользовавшись болезненным состоянием» старого архиерея, положила прошение калязинцев под сукно. Беллюстин видел причину в том, что он не дал взятку (60 руб. серебром), которую с него требовали в консистории<sup>57</sup>. (Он никогда не давал взяток).

<sup>52</sup> См.: ОР РНБ. Ф.601. Ед.хр.1413. Л.12-12об.

<sup>53</sup> Приселков Иван Васильевич (1789-1861) — протоиерей Калязинского собора с 1845.

<sup>54</sup> Это почетное звание присваивалось обычно при назначении на должность настоятеля церкви, но иногда давалось просто как знак отличия.

<sup>55</sup> Гавриил (в миру В.Ф.Розанов, 1781-1858) — архиепископ Тверской с 1848. Беллюстин произвел на Гавриила хорошее впечатление во время посещения последним Калязина в 1849. Архиерей похвалил Беллюстина за проповедь и наградил набедренником, а впоследствии удостоил личной перепиской. (См.: ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1291. Л.44об.-45; Ед.хр.1289. Л.3-4об. и др.).

<sup>56</sup> ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1289. Л.65.

<sup>57</sup> См.: ОР РНБ. Ф.601. Ед.хр.1413. Л.12об.

С выходом в свет «Описания сельского духовенства» возможности повышения по службе для Беллюстина были закрыты. Об этом ему и его приверженцам в Калязине недвусмысленно заявил новый епископ Филофей<sup>58</sup>, сменивший Гавриила в 1857. Тем не менее, когда в декабре 1861 умер И.Приселков, калязинцы подали архиерею прошение о назначении Беллюстина настоятелем собора. Вместе с простыми горожанами (мещанами и купцами) под этим прошением поставили свои подписи все руководители местной администрации (городничий, исправник, уездный судья, городской голова). А через неделю к Филофею было направлено еще одно прошение — от городских и сельских прихожан собора, не успевших подписать предыдущее прошение<sup>59</sup>. Консистерия оставила эти прошения без ответа. В то же время исполнение обязанностей настоятеля собора было поручено — «впредь до усмотрения» — старшему священнику собора, то есть Беллюстину. Тот расценил это решение как «иезуитскую проделку» Филофея, смысл которой видел в том, что архиерей, не желая удовлетворить просьбу калязинцев, не хотел и отказать им, чтобы не вызвать с их стороны жалобу в Синод<sup>60</sup>. Но, думаю, он напрасно негодовал на Филофея. Как присутствующий в Синоде, архиерей, несомненно, лучше Беллюстина знал, каковы шансы о.Иоанна на эту должность.

Беллюстин сразу отказался от исполнения обязанностей настоятеля, заявив Филофею, что не может делать это иначе, как «на всех правах настоятельства». Архиерей не принял его рапорт и сказал: «Потерпите, подождите; все будет, а теперь нельзя»<sup>61</sup>. Возможно, он надеялся, что со временем отношение членов Синода к Беллюстину смягчится и они согласятся утвердить его в должности настоятеля. Но у Беллюстина не хватило терпения, и хотя настоятельская деятельность приносила ему большое удовлетворение<sup>62</sup>, в конце 1864 он отказался от нее. (Впрочем, возможно, его заставили это сделать какие-то неизвестные нам обстоятельства). Исправляющим обязанности настоятеля был назначен следующий по старшинству священник собора — Дмитрий Флоренский.

<sup>58</sup> См.: ОР РГБ. Ф.231/II. Карт.3. Ед.хр.51/1. Л.12-12об., 14об.-15.

<sup>59</sup> Копии этих прошений см.: РГИА. Ф.796. Оп.160. Ед.хр.831. Л.23-25об., 29-31об. Прощения подписали в общей сложности 144 человека, в том числе 35 крестьян и 90 купцов и мещан.

<sup>60</sup> См. ОР РГБ. Ф.231/II. Карт.3. Ед.хр.51/3. Л.3-3об., 6.

<sup>61</sup> ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1287. Л.18об.

<sup>62</sup> «Дела мои по собору хороши, как я и не ожидал, — писал Беллюстин Погдину в ноябре 1862. — Беспорядки, дошедшие при покойном протоиерее до последней степени, — исчезают; и это без шума, без малейшего вмешательства властей» (ОР РГБ. Ф.231/II. Ед.хр.51/3. Л.20об.-21).

В ноябре 1866 калязинцы вновь обратились к архиепископу с просьбой о назначении о.Иоанна настоятелем собора. В прошении, в частности, говорилось о «запустении» собора с тех пор, как Беллюстин оставил настоятельское место<sup>63</sup>. Это обращение также осталось без ответа, а настоятелем утвержден Д.Флоренский. (Прошение, вероятно, и было вызвано предстоящим утверждением его в этой должности). Наконец в январе 1875, как уже говорилось, почитатели Беллюстина в четвертый раз попытались добиться назначения его настоятелем, но вновь безуспешно.

Огорченные этой неудачей приверженцы Беллюстина подали на высочайшее имя прошение о разрешении им поднести ему золотой наперсный крест с украшениями, чтобы хотя бы таким образом выразить ему свое уважение. Из шести прошений, поданных калязинцами по поводу Беллюстина, это было первое, в связи с которым в консистории было заведено дело<sup>64</sup> и на которое просители получили официальный ответ: оставить прошение без последствий. Основанием послужило решение Синода, принятое в 1873, не ходатайствовать о дозволении подносить золотые кресты тем священникам, которые не имеют такого креста, пожалованного императором. (Это решение фактически налагало запрет на выражение общественной поддержки популярным священникам в форме поднесения им крестов).

Чем же Беллюстин заслужил такое расположение своих сограждан? В чем заключалась его «ревностная пастырская деятельность», о которой они писали в прошениях?

«Извольте посудить об нашей службе, — писал Беллюстин Погодину в 1857. — По должности увещателя депутата<sup>65</sup> хожу я в присутственные места 4-6 раз в неделю и каждый раз убиваю не меньше 3-х часов; две недели в месяц почти каждодневно в полицию для приведения к присяге; три раза в неделю являюсь в острог и по несколько часов толкую с арестантами<sup>66</sup>; все это труд нелегкий и небесполезный /.../; и что ж? Не только вознаграждения — «спасибо» ни от кого не слыхивал! Еще три недели в ме-

---

<sup>63</sup> См.: РГИА. Ф.796. Оп.160. Ед.хр.831. Л.32-35. Прошение подписали 97 человек, в основном крестьяне и мещане, из местного начальства — только исправник.

<sup>64</sup> Ед.хр.211. 9 мая — 20 августа 1875. Прошение подписали 43 человека, все, за исключением двоих, — купцы, мещане и крестьяне. Меньшее, чем под предыдущими прошениями, количество подписей, очевидно, объясняется тем, что в данном случае подписывались лишь те, кто мог внести деньги на крест.

<sup>65</sup> Духовный депутат — должностное лицо, назначаемое архиереем для участия в светских судах и следствиях по делам лиц духовного звания.

<sup>66</sup> Должность духовника арестантов, содержащихся в Калязинском остроге, Беллюстин в 1849 принял на себя добровольно.



сяц кряду службы церковной<sup>67</sup>; около 1500 д[уш] (муж[ских] и ж[енских]: сколько треб и иных дел!) приходу<sup>68</sup>; и что ж? Если б не училище (3 раза в неделю по 4 1/2 часа), буквально пришлось бы питаться сухарями с водой!»<sup>69</sup>. Кроме того, Беллюстин постоянно писал и произносил проповеди и воскресные поучения, так что на литературные занятия у него нередко оставалась только ночь, а ведь к заутрене надо было вставать в 2-3 часа.

«Еще если б только утомление физическое, — жаловался Беллюстин А.Д.Желтухину, — нет под иной час измучаешься всей душой. Например, десятками пригоняют к нам раскольников. Как увещатель я должен убеждать каждого. А как станешь убеждать, когда знаешь, что земская полиция таскает этих несчастных единственно для грабежа и призывает тебя, совсем их обделав? Станешь ли убеждать их в чистоте и правоте нашего верования, когда все — от деревенского попа /.../ и до исправника /.../ хлопочут лишь о том, чтобы обирать их, елико возможно чаще и чище? А говоришь, по целым часам говоришь: "нельзя-с, форма того требует"»<sup>70</sup>.

По праздникам от двух до четырех дней уходило на хождение с молебнами по приходу, чего Беллюстин очень не любил из-за необходимости собирать с прихожан деньги: «благочинный /.../ поверяет все собранное /.../ и делает жесточайшие выговоры, когда соберешь мало (утаил, украл — первые его слова...)»<sup>71</sup>.

Но самым тяжелым для себя Беллюстин считал время исповеди, когда ежедневно ему приходилось исповедовать по несколько десятков человек. Невозможность обстоятельно поговорить с каждым, «научить, вразумить» угнетала его. «С чем явишься на суд Христов?»<sup>72</sup> — сетовал он.

Как человек долга, Беллюстин все свои обязанности исполнял не просто добросовестно, но с рвением — в том числе и те, что были простой формальностью, превращая их в настоящее, серьезное дело. Служебное рвение не раз становилось для него источником неприятностей. Однажды о.Иоанн потратил четыре

<sup>67</sup> 5-8 часов в день.

<sup>68</sup> Половину прихода Беллюстина составляли крестьяне окрестных деревень, так что для исполнения своих обязанностей ему приходилось нередко идти пешком или ехать в крестьянской телеге несколько верст в любую погоду, в любое время суток. «Мне же и во сне видятся: клячи, навозные телеги, бабы-роженицы, арестанты, раскольники и т[ому] подобные отрадные вещи», — признавался он А.Д.Желтухину (ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.27).

<sup>69</sup> ОР РГБ. Ф.231/II. Карт.3. Ед.хр.49/6.

<sup>70</sup> ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.13об.

<sup>71</sup> См.: Там же. Л.41-41об.

<sup>72</sup> ОР РНБ. Ф.377. Ед.хр.1430.

дня на увещание известного вора и в результате — нажил себе врага в лице городничего. «Вор в общем присутствии показал, что жил постоянно в Калязине и большею частью на городнической кухне /.../ — рассказывал Беллюстин. — А полиция-то, видите, доносила каждый месяц, что ни его, ни следов его в Калязине и уезде нет. Кто ж виноват тут выходит? Увещатель, внушивший вору мысль открыть *все* /.../ И уж который раз попадаюсь я в подобный просак!»<sup>73</sup>.

Об интенсивности проповеднической деятельности Беллюстина свидетельствует огромное количество проповедей и поучений, хранящихся в Тверском архиве. Подводя в конце жизни итоги этим трудам, Беллюстин так определил их содержание и результаты: «Я неустанно повторял, что главное в христианстве — нравственное начало, что Богу можно угодить не свечами, не молебнами, не бродяжничеством по монастырям, а жизнью по учению и заповедям Христа; что царство Божие есть царство правды и любви, а где нет их, там царство дьявола /.../ Влияла ли моя проповедь на слушателей и были ли заметны плоды ее?.. Да, с убеждением и радостью видел, что от моих проповедей не разбегаются, как от проповедей иных-прочих, а плотной массой всегда к ним налегают. А плоды?.. Нечто переходило в жизнь и заявлялось мне с искренними благодарениями, особенно по части семейной жизни. Но разве скоро /.../ внесешь луч истинного света во все отправление жизни?»<sup>74</sup>.

В своих обращениях к прихожанам Беллюстин касался и актуальных тем. Так, в 1859, в разгар крестьянского трезвенного движения, охватившего многие губернии России, он произнес два «слова» о пьянстве и два о трезвости, чем вызвал ярость местного откупщика. Тот написал Филофею донос, в котором предупреждал, что «если народ сделает буйство против откупа», то он «объяснит самому Царю, от кого это произошло». Узнав об этом, Беллюстин написал архиерею письмо с объяснениями. Филофей по этому поводу заметил: «Что тут за объяснения? Я знаю его [Беллюстина. — *Е.Б.*]: вредный человек, от которого давно пора избавиться...»<sup>75</sup>. Вероятно, с этим случаем связано не сохранившееся

<sup>73</sup> ИРЛИ. Ф.616. Ед.хр.6. Л.41об.

<sup>74</sup> ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1289. Л.15об.

<sup>75</sup> РГБ. Ф.231/II. Карт.3. Ед.хр.51/1. Л.9. Тогда же Филофей выразил недовольство тем, что И.Приселков положительно аттестует Беллюстина. Старый протоиерей в связи с этим писал архиерею: «Готовясь предстать на Страшный Суд самого Бога, я не осмелюсь уже аттестовать кого-либо ложно...» Немного нашлось бы в то время священников, способных отстаивать свое мнение перед архиереем, тем более — мнение о человеке, на которого ополчился весь Синод.

«Дело Тверской духовной консистории об увольнении от должности катехизатора<sup>76</sup> священника Беллюстина и об определении на его место священника Первухина» (1860). Но Беллюстин все-таки продолжал говорить поучения, о чем свидетельствует название другого не сохранившегося дела: «О том, что священник Беллюстин произносит поучения без предварительной цензуры» (1868). А в 1872 консистория завела «Дело об увольнении священника Беллюстина от произнесения проповедей». Обстоятельства этого увольнения (в том числе, было ли оно добровольным или принудительным) мы, вероятно, так и не узнаем, потому что от упомянутого дела также уцелело лишь название.

Но, видимо, наибольшее число почитателей Беллюстину доставила его преподавательская деятельность. Не случайно в прошении о поднесении ему золотого креста (написанном, кстати, его бывшим учеником, купеческим сыном В.И. Стуловым) специально отмечены его «добрые влияния на учащиеся поколения». Беллюстин преподавал закон Божий более тридцати лет — сначала в приходском, а затем в уездном училище, — и через его класс действительно прошли несколько поколений калязинцев. В некоторых семьях расположение к Беллюстину стало своего рода традицией: многие из тех, кто подписывал прошения в его пользу в 1875, были детьми или младшими родственниками калязинцев, просивших о назначении Беллюстина настоятелем в 1861 и 1866.

Беллюстин любил работу учителя, любил свое училище, в котором чувствовал себя, видимо, свободнее, чем на церковной кафедре, особенно в годы, когда смотрителем училища был его младший брат Андрей Степанович<sup>77</sup>. Как и многие люди того времени, он придавал первоначальному образованию огромное значение<sup>78</sup>, и потому подходил к своему делу обдуманно и ответственно. «Либеральным» учителем, видимо, он не был, но обычные пороки тогдашней школы — зубрежка, формализм, жесто-

---

<sup>76</sup> Катехизатор — священник, которому поручалось готовить и произносить по воскресеньям поучения для наставления прихожан в законе Божиим. Беллюстин был назначен катехизатором в 1845.

<sup>77</sup> До назначения на место смотрителя калязинского уездного училища в 1858 (это место выхлопотал ему Иван Степанович с помощью А.Д. Желтухина) А.С. Беллюстин около 10 лет был учителем уездного училища в г. Бежецке Тверской губернии.

<sup>78</sup> См., например, его статью: Приходские учителя // Журнал Министерства народного просвещения. 1861. №4. С.2-4. Вообще Беллюстину принадлежит довольно большое число статей по проблемам народного образования. Часть из них напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения», к сотрудничеству в котором его привлек К.Д. Ушинский. (Ранее он приглашал Беллюстина участвовать в задуманном им журнале «Убеждение», который, однако, не

кость в обращении с детьми — были ему ненавистны. В своей учительской практике он мало считался со школьной программой. Его уроки проходили в форме живой беседы с детьми<sup>79</sup>. К своему делу Беллюстин относился не как к службе, а как к служению, и потому, несмотря на обилие и трудоемкость своих обязанностей, никогда не ограничивался их рамками. Так, еще во время службы в селе он начал собирать прихожан по воскресеньям и праздникам для неформальных «собеседований» на религиозно-нравственные и житейские темы. Считая такие беседы более эффективными, чем обращения с кафедры, Беллюстин советовал проводить их всем приходским священникам: «Это должны быть семейные, родственные разговоры, где всякий имеет право высказать свою мысль, свои недоумения, требовать объяснения непонятного и пр.»<sup>80</sup>. Можно не сомневаться, что его беседы с прихожанами были именно такими. Организовать подобные «собеседования» в Калязине, с его разношерстной городской публикой, было гораздо труднее, и Беллюстин стал собирать детей. «Господь помог мне, — писал он в 1859 своему другу В.А.Половцеву, — устроить предпраздничные собеседования с учениками, которых 90 /.../ Собираются очень охотно. Читается и объясняется Евангелие, толкуется праздник, прицепляются и дела жизни»<sup>81</sup>.

Можно было бы и дальше рассказывать о «пастырском служении» Беллюстина, но, наверное, и сказанное в достаточной степени объясняет его популярность среди сограждан.

Но не все в Калязине разделяли это отношение к Беллюстину. Читатель, очевидно, помнит ядовитое замечание Ильи Морошкина, что помимо «общества», желавшего назначения о.Иоанна настоятелем собора, в городе имелось и «другое общество», прошившее назначить на это место старицкого протоиерея.

Что же представляло собой это «другое общество»? Ответ, который дают на этот вопрос материалы Тверской духовной консистории, возможно, покажется неожиданным: с середины 1860-х главным врагом Беллюстина в Калязине стало земство. Посмотрим, как и почему это произошло.

---

состоялся). Судя по письмам Ушинского к Беллюстину, выдающийся педагог считал калязинского священника одним из немногих людей, близких ему по духу (см.: Архив К.Д.Ушинского. М., 1959. С.65, 66).

<sup>79</sup> Свой метод преподавания Беллюстин отстаивал в статье: Законоучительство в народных училищах // Церковно-общественный вестник. 1874. №114. 2 октября.

<sup>80</sup> Континент. 1993. №4. С.149.

<sup>81</sup> ОР РНБ. Ф.601. Ед.хр.1413. Л.44.

Так называлась одна из многих статей Беллюстина на городские темы<sup>82</sup>. Архивные материалы, которые нам предстоит рассмотреть, вносят в характеристику этой жизни несколько дополнительных штрихов.

Начнем с «Дела о взимании налога с недвижимого имущества священника Калязинского Николаевского собора Иоанна Беллюстина»<sup>83</sup>. Фактически оно состоит из двух дел. Первое (1867) связано со случаем, когда Беллюстин отказался уплатить налог на свою недвижимость (дом) в размере 30 коп. серебром, предназначенный на содержание губернской и уездной земских управ. Как сказано в отношении Калязинской городской управы в духовную консисторию, отказ Беллюстин мотивировал тем, что ему никто не объяснил, почему «они, духовные, отстраненные от всякого участия в делах земства, должны платить на содержание его». «Одно из двух, — заявил он, — или они, духовные, должны платить и тогда должны участвовать в выборах земских членов, или не имеют права на это участие и тогда не лежит на них обязанность платить». И добавил: «Пусть представляют об этом духовному начальству, и когда оно разъяснит дело, тогда уплата не будет задержана».

Совершенно очевидно, что своим отказом Беллюстин стремился заставить епархиальное начальство как-то высказаться по поводу отстранения духовенства от участия в земских выборах. Однако консистории до такой степени не хотелось касаться этой темы, что она предпочла добиться освобождения Беллюстина от уплаты налога, чем давать какие-то объяснения. В ответе городской думе она предложила не взимать налог с Беллюстина на том основании, что имущества духовного ведомства, не приносящие дохода, не подлежат обложению. Конечно, из этого ничего не вышло, потому что дом Беллюстина был не церковной, а частной собственностью. Попытка освободить его от уплаты как неимущего также не имела успеха, так как дума сочла его недостаточно бедным. Дело тянулось с марта по декабрь, когда наконец консистория, так ни словом и не упомянув о праве духовенства на участие в земских выборах, «внушила» Беллюстину уплатить налог, «не утруждая на будущее время епархиальное начальство излишнею перепискою по сему предмету».

<sup>82</sup> См.: День. 1864. №47-48.

<sup>83</sup> Ед.хр.198. 8 марта 1867 — 3 декабря 1869.

Подоплеку этой истории обнаруживает статья Беллюстина «Духовенство и земство»<sup>84</sup>. Здесь рассказывается, как во время первых земских выборов в Тверской губернии летом 1865 дворянство старалось не допустить избрания священников в земские органы. В Калязине дело происходило так: «После многих интриг, чтобы духовенство на выборах потерпело поражение от крестьян, когда убедились, что, напротив, духовенство будет сильно поддержано ими, употребили следующую проделку /.../ Съезд уполномоченных назначили на 15 число августа и в девять часов утра, рассчитывая, что в двенадцатый праздник<sup>85</sup> и, кроме того, в воскресенье ни один порядочный священник не согласится оставить свою церковь без службы /.../ Расчет оказался верным». Но было и еще одно обстоятельство, видимо, объясняющее, почему епархиальное начальство так упорно отмалчивалось на запрос Беллюстина. Вопреки закону, предусматривавшему *избрание* уполномоченных от сословий для участия в выборах гласных, благочинные калязинского уезда *назначили* уполномоченных от духовенства по своему усмотрению. И сделали это, по их собственному признанию, потому, что опасались, что собравшиеся для выборов священники «могут повести ненужные речи» о благочинных, поднять «неудобные» вопросы и т.п.<sup>86</sup>. Вряд ли бы они решились на такой шаг без негласного одобрения со стороны епархиального начальства.

Что касается помещиков, то их усилия Беллюстин объясняет стремлением получить полный контроль над земством, особенно над его финансовой деятельностью (из-за расстройств большинства дворянских хозяйств). Духовенство, по его мнению, могло, хотя бы отчасти, помешать превратить земство в орудие осуществления дворянских интересов. Как единственное сословие, способное соперничать с дворянством по уровню образования и — в силу подчиненности своей администрации — менее зависимое от местных властей, духовенство действительно могло на первых порах внушать дворянству некоторые опасения. Другое дело, насколько тогдашнее духовенство было способно их оправдать. Во всяком случае, Беллюстин принадлежал к тем (вероятно, немногим) представителям этого сословия, от которых недобросовестным деятелям земства безусловно следовало ждать неприятностей.

---

<sup>84</sup> Дух христианина. 1865. №8. С.467-484.

<sup>85</sup> Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати основных церковных праздников.

<sup>86</sup> См.: Дух христианина. 1865. №8. С.470-471.

В июле 1869 Калязинская уездная земская управа пожаловалась архиерею на «неприличные действия священника Беллюстина при измерении его дома». Как видно из приложенного к делу акта Комиссии для оценки городских недвижимых имуществ, эти «неприличные действия» состояли в том, что при попытке комиссии измерить дом Беллюстиных священник и его старший сын Николай<sup>87</sup> «в сильном волнении начали кричать, что не допустят к измерению без предъявления предварительно постановлений и распоряжений правительства по сему предмету и будут жаловаться губернатору на произвол и незаконные действия». Комиссия явно хотела представить дело так, будто гнев Беллюстина был вызван именно обмером дома, что выглядело просто как проявление его дурного характера. Акт был составлен — «в виду встреченного затруднения». Но думаю, действительной причиной составления акта явилось желание предупредить обещанную Беллюстиным жалобу губернатору.

Консистория приняла решение: «Поставив на вид священнику Беллюстину допущенное им отступление от местного городского порядка, вменить ему в обязанность допустить комиссию» к измерению дома. Но Филофей не утвердил это решение, распорядившись предварительно взять у Беллюстина «надлежащее объяснение».

В изложении Беллюстина происшествие предстает в ином виде. На его вопрос членам комиссии, «что значит это обмериванье?», члены комиссии ответили, что оно производится по приказанию председателя уездной земской управы П.В.Неронова<sup>88</sup> «ради усиления сборов с городских имуществ». Именно в связи с этим Беллюстин и заявил, что «личного приказа Неронова для такой общей меры недостаточно» и если для увеличения сборов действительно нет иных, более законных оснований, то он будет жаловаться губернатору, потому что «город и без новых произвольных раскладок чересчур отягощен повинностями». Что же касается измерения дома, то оно, подчеркивал Беллюстин, было произведено «без малейшей помехи» с его стороны, о чем в акте комиссии сознательно умалчивается. В заключение он, как обыч-

---

<sup>87</sup> Беллюстин Н.И. (1845-1908) — юрист. Окончил Тверскую гимназию и Московский университет, служил нотариусом Московского окружного суда, потом членом этого суда. Позднее был товарищем председателя Петербургского окружного суда, юрисконсультom Министерства финансов (одновременно управлял Мальцовскими заводами), директором Департамента таможенных сборов в том же министерстве. Умер в чине тайного советника.

<sup>88</sup> Неронов Петр Владимирович (1826-1881) — калязинский уездный предводитель дворянства, действительный статский советник.

но, просит произвести расследование этого дела, чтобы он мог преследовать судебным порядком Неронова и тех, кто подписал акт, за «возведенные на него клеветы».

Консistorия в назначении следствия Беллюстину отказала, а за «оскорбительные для председателя Калязинской земской управы выражения» постановила сделать ему «на первый раз замечание без внесения в послужной список». (Наказание, вроде бы, небольшое, но оно создавало прецедент и позволяло в следующий раз испортить Беллюстину формуляр).

Если бы Филофей утвердил это решение, победа осталась бы за Нероновым и К<sup>о</sup> и моральное значение, которое мог иметь для города протест Беллюстина, было бы нейтрализовано. Но в консистории служил в это время сочувствующий Беллюстину человек — Михаил Ефремович Маевский<sup>89</sup>. Он был секретарем консистории, то есть руководил ее делопроизводством, но участвовать непосредственно в принятии решений не мог. Однако он представил членам консистории доклад, в котором предлагал отменить принятое ими решение, поскольку измерение дома, вопреки заявлению комиссии, произведено, а ни о каких «оскорбительных выражениях» Беллюстина, за которые ему делается замечание, в акте комиссии не сказано. Но консистория твердо стояла за честь председателя уездной управы. На доводы секретаря она ответила, что «крик есть уже неприличное действие» и что хотя измерение дома было произведено, крик Беллюстина и его сына «мог быть поводом к медленному исполнению поручения, возложенного на членов комиссии». Однако Филофей, которому интересы П.В.Неронова, видимо, были не так близки, в декабре 1869 фактически присоединился к мнению Маевского, наложив резолюцию: «Дело сие в настоящем положении не требует особого распоряжения».

Описанное происшествие — лишь один из эпизодов постоянной войны, которая на протяжении нескольких лет шла между Беллюстиным и руководителями местного земства. Беллюстин вел ее, главным образом, на страницах столичной печати (в газетах «Голос», «Москва», «Русский» и др.), а квинтэссенцией

---

<sup>89</sup> О знакомстве с ним Беллюстин в феврале 1862 сделал в своем дневнике следующую запись: «Консistorия изумила своею предупредительною вежливостью. Секретарь Маевский изъявил желание познакомиться и продержал битых два часа. Ругает монахов беспощадно и говорит, что пока они заправляют делами, мерзости по части административной у нас не выведутся. Разумеется, я слушал и молчал» (ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1287. Л.9). Разговор явным образом был связан с «Описанием сельского духовенства», по отношению к которому Беллюстин тогда еще не решался открыто признавать свое авторство и потому держался с Маевским сдержанно и осторожно.



этих выступлений стала статья «Провинциальное земство»<sup>90</sup>. Основное содержание публикаций Беллюстина на эту тему можно суммировать следующим образом.

Земство «во главе всех своих забот» должно было поставить содействие экономическому и культурному развитию крестьянства. Вместо этого руководители калязинского земства<sup>91</sup> (как и многих других) подчинили его деятельность своим личным и сословным (то есть прежде всего дворянским) интересам. Это выражается в чрезмерном отягощении крестьянства земскими налогами и повинностями, в несправедливом их распределении, в жестоком, не считающемся с возможностями крестьянских хозяйств взимании недоимок (при снисходительном отношении к недоимкам помещиков<sup>92</sup>). В сочетании с казенными повинностями и выкупными платежами да с невыгодными хозяйственными условиями, в которые поставила бывших крепостных крестьянская реформа (малоземелье, отсутствие пастбищ, лесов и др.) — все это ведет к разорению крестьянства. Мало того, собранные средства расходуются земством совершенно бесконтрольно и без всякой пользы для крестьян: на неоправданно большие оклады членам управ, содержание земских канцелярий и т.п. Деятельность земства по части народного просвещения и здравоохранения Беллюстин считал незначительной и, по большей части, «бумажной». Обо всем этом он писал, оперируя цифрами из земских отчетов, обнаруживая хорошее знание хозяйственной жизни местного крестьянства<sup>93</sup>.

---

<sup>90</sup> Вестник Европы. 1868. №5. С.352-368, подпись: Б.

<sup>91</sup> Главные враги Беллюстина названы им в письме к М.Н.Каткову 29 декабря 1866, перлюстрированном в III Отделении. Кроме П.В.Неронова, это были члены управы: бывший предводитель дворянства И.Н.Ушаков и «артисты по части составления отчетов» (земских) Д.Н. и П.Н.Шубинские (бывший исправник и бывший уездный судья). «На гибель судебных учреждений, — пишет Беллюстин, — последний выбран даже мировым судьей...» (ГАРФ. Ф.109. Секретный архив. Оп.3. Ед.хр.2209. Л.2). Интересно, что в 1861 братья Шубинские подписали прошение о назначении Беллюстина настоятелем собора. Видимо, Беллюстина и его бывших доброжелателей развели в стороны земские дела.

<sup>92</sup> К примеру, недоимки были за самим П.В.Нероновым, в частности, — невыплаченный штраф в 1500 руб. за уклонение от уплаты долга казначейству, — «и никому до этого дела нет» (Вестник Европы. 1868. №5. С.359).

<sup>93</sup> Отношение Беллюстина к народу — особая тема, требующая специального рассмотрения. Беллюстин с молодых лет относился к крестьянству с интересом и горячим сочувствием, а в более зрелые годы — и с уважением, но без идеализации. Пользуясь доверием крестьян, он дорожил этим доверием и старался быть с ними честным. Но только с началом деятельности земства он открыто заявил (и, возможно, осознал) себя защитником крестьянских интересов. Народолюбие Беллюстина интересно еще и тем, что оно существовало как бы вне идейных течений того времени.

Не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы одну цитату, характеризующую калязинское земство. «С 1-го по 26-е сентября, — рассказывает Беллюстин, — управа показала в расходе 12926 р. 13 к.<sup>94</sup> Ради каких земских потребностей такой крупный расход в такое короткое время? По отчету, не ради каких-то особенных... Но дело в том, что после 26 сентября избранными от земства депутатами должна быть произведена проверка израсходованных управой сумм /.../. Когда же они потребовали [от председателя управы Неронова. — *Е.Б.*], по крайней мере, документов на эти так крупно израсходованные тысячи, тогда юпитеровское "Я израсходовал" вразумило их, что тут не документов следует требовать, а подписать и благодарить; а иначе кому придется место полуторатысячное потерять, кому в управу не попасть и т.п. Подписали и благодарили»<sup>95</sup>.

Статья «Провинциальное земство» сильно задела калязинских громовержцев. «Эта шайка грабителей народа, — писал Беллюстин в редакцию «Вестника Европы», — добивается одного, чтобы здесь, в Калязине, притянуть автора к суду, где уж она распорядилась бы на всей своей воле»<sup>96</sup>. Но редакция на запрос из Калязина отказалась дать информацию о фамилии автора статьи, необходимую для возбуждения судебного дела. Хуже было то, что на статью обратило внимание III Отделение. «После появления этой статьи, — говорится в справке данного ведомства, — возникло опасение, что Беллюстин, пользуясь своею близостью к сельскому населению, начнет распространять в среде этого населения изложенные в означенной статье мысли и обвинения, а потому за ним, Беллюстиным, учреждено было негласное наблюдение, но таковым в действиях его ничего предосудительного не обнаружено»<sup>97</sup>.

В борьбе с руководителями уездного земства Беллюстин использовал и свои возможности непосредственного обращения к согражданам. В его бумагах сохранилось любопытное поучение или «слово», посвященное годовщине покушения Каракозова на Александра II. Начав с обязательных сентенций о чудесном спасении царя, Беллюстин неожиданно переходит к вопросу о том, почему в результате преобразований «уровень общественного благосостояния не только не возвысился, но заметно упал за последнее время». Причина здесь, по мнению Беллюстина, не в са-

<sup>94</sup> При общей сумме земских сборов за этот год в 30694 руб.

<sup>95</sup> Вестник Европы. 1868. №5. С.463-464.

<sup>96</sup> ИРЛИ. Ф.293. Оп.1. Ед.хр.204. Л.13.

<sup>97</sup> ГАРФ. Ф.103. Секретный архив. Оп.1. Ед.хр.1955. Л.7-7об.

мих преобразованиях, а в лицах, на долю которых выпало их осуществление, то есть в конечном счете — «в той самой среде, которой приходится терпеть» от избранных ею лиц. Это — прямой ответ на недовольство городского и сельского населения уезда земством, выразившееся, в частности, в нескольких жалобах губернатору и министру внутренних дел (в одной из них содержалась просьба, чтобы «Всемиловитивейший Государь избавил от новых учреждений»)⁹⁸. В заключение Беллюстин призывает «от самой глубины душ и сердец» благословить царя за преобразования, но «при новых избраниях /.../ злонамеренных и зловредных отстранять от всякого участия в общественных делах, — отстранять, какие бы козни и ухищрения ни употребляли они, чтобы держаться на раз занятых местах»⁹⁹.

Многие избиратели восприняли совет Беллюстина, но и на следующих выборах (летом 1868) «козни и ухищрения» взяли верх. «При выборе гласных от сельских обществ первого участка, — говорится в приводимой Беллюстиным жалобе бывших государственных крестьян Калязинского уезда, — выборщики, в числе 170 человек, единогласно предлагали избрать гласным священника Б. [то есть Беллюстина. — *Е.Б.*]; но мировой посредник Н. /.../ оному избранию единственно своею волею воспрепятствовать и быть избранным священника Б. не допустил. Тут же /.../ волостной писарь из местных крестьян С., баллотировавшийся по желанию всего общества, но против желания посредника Н., получил избирательных 129 шаров, а неизбирательных 41; но каким-то случаем, как видно из списка гласных, изложенного в "Тверских губернских ведомостях", он, С., в число гласных не помещен»¹⁰⁰.

Чтобы не допустить избрания Беллюстина и других нежелательных для городской верхушки кандидатов в самом Калязине, был проделан следующий трюк. «Когда дело дошло до самой баллотировки в гласные, вдруг некая заседавшая тут власть заявляет, что она не имеет возможности оставаться дольше в собрании и просит отложить баллотировку до следующего раза. Кто нужно, были подготовлены и сейчас изъявили согласие. Неподготовленные не смекнули сразу, в чем дело, и не нашлись, что сказать толком... Через день было опять собрание, но не общества, которому даже и повестки не были разосланы, а какого-нибудь десятка личностей, хорошо налаженных, что именно следует устроить /.../

⁹⁸ ГАРФ. Ф.103. Секретный архив. Оп.3. Ед.хр.2209. Л.1-2.

⁹⁹ ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1289. Л.106-108.

¹⁰⁰ Вестник Европы. 1868. №5. С.365.

Одураченное большинство покричало, покричало, да на том и повершило: "Протестовать?! Поди тут, свяжись еще, пойдут следствия да допросы..."<sup>101</sup>. Все прежние руководители земства вновь заняли свои посты.

Однако эти опыты, видимо, не прошли для калязинцев даром. Во всяком случае в начале 1870-х им удалось провести Беллюстина в состав гласных городской думы. К сожалению, об этой деятельности Беллюстина у меня нет сведений, кроме следующих грустных строчек в письме к Погодину: «В качестве гласного думы начал было работать кое-что на общественную пользу: не переваривается, не принимается — так и бросил»<sup>102</sup>.

Но мы несколько отвлеклись от материалов Тверской духовной консистории. Картину ответных действий противников Беллюстина дополняют еще два дела: «О неуместных выражениях» Беллюстина и о нарушении им «благочиния во время отправления божественной службы»<sup>103</sup>.

Первое состоялось в следующем. Председатель земской управы П.В.Неронов, бывший одновременно председателем уездного училищного совета, в начале 1869 узнал от директора училищ Тверской губернии А.Н.Робера<sup>104</sup> о том, что Беллюстин в своей приходской деревне Матвейково организовал школу для крестьянских девочек<sup>105</sup>. Сообразив, что сделано это без разрешения уездного совета, Неронов усмотрел здесь возможность сделать Беллюстину неприятность. Он «словесно предложил» калязинскому полицейскому управлению произвести дознание относительно этой школы. Полиция, не найдя в таком поручении ничего удивитель-

<sup>101</sup> Вестник Европы. 1868. №5. С.367.

<sup>102</sup> РГАЛИ. Ф.373. Оп.1. Ед.хр.79. Л.34.

<sup>103</sup> Первое — Ед.хр.199. 24 января — 28 апреля 1869; второе — Ед.хр.202. 25 ноября 1871 — 8 февраля 1872.

<sup>104</sup> С ним у Беллюстина в 1868 состоялась острая полемика о роли земств и училищных советов в развитии народного просвещения на страницах газеты «Русский». Хотя А.Н.Робер считал выступления Беллюстина на эту тему более резкими, чем доказательными (отчасти справедливо), его, очевидно, заделли упреки калязинского священника, что он не знает реального положения дел в губернии, поскольку судит о нем только по благополучным отчетам земств. И Робер предпринял поездку по губернии, посетив, в частности, школу в Матвейкове. Позднее, когда дело об этой школе рассматривалось на губернском училищном совете, Робер сообщил, что «успехи учениц в означенном училище очень хорошие».

<sup>105</sup> Будучи горячим поборником женского народного образования, Беллюстин пропагандировал его в печати (см.: Об училищах для девиц в уездных городах. М., 1859; Нужны ли у нас училища для крестьянских девиц? // Русский вестник. 1859. Август. Кн.1. Совр. летопись. С.300-306; Октябрь. Кн.2. Совр. летопись. С.332-339; Еще раз: нужны ли у нас училища для крестьянских девиц? // Русский вестник. 1860. Февраль. Кн.1. Совр. летопись. С.150-156) и сам организовал, по крайней мере, три женские школы: две в Калязине и одну — в Матвейкове.

ного, дознание произвела и установила следующие подозрительные факты. Школа открыта в октябре 1868 в доме крестьянина Кондратия Яковлева, под руководством священника Беллюстина. Обучаются в ней 24 девочки и 2 мальчика. Грамоте их учат К.Яковлев и его сестра Анна, закону Божию по субботам — священник Беллюстин (бесплатно). На расходы по училищу (отопление, учебные принадлежности и т.п.) родители вносят по рублю за ученика.

Все это было сообщено на специально созванном по этому поводу заседании уездного училищного совета. Из знакомых нам лиц на заседании присутствовали, кроме Неронова, настоятель собора Д.Флоренский и смотритель уездного училища А.С.Беллюстин. Показания вызванного на заседание К.Яковлева несколько расходились с полицейскими сведениями: он утверждал, что все преподавание ведется Беллюстиным, а он и его сестра лишь предоставляют дом и присматривают за детьми. Думаю, что полицейские сведения более соответствовали действительности: вряд ли Беллюстин при всех его обязанностях мог взять на себя еще и ежедневное преподавание в школе, находящейся вне Калязина. Очевидно, крестьянину пришлось солгать, потому что они с сестрой без утверждения в должности учителей училищным советом не имели права заниматься преподаванием. Показания Яковлева были, несомненно, согласованы с Беллюстиным, который в «объяснении» всю ответственность за создание школы взял на себя. Правда, как священник, он не мог солгать и потому вообще обошел вопрос о распределении обязанностей в школе, назвав Кондрата Яковлева своим помощником<sup>106</sup>.

Совет пришел к заключению, что Беллюстин нарушил статью 10 «Положения о начальных народных училищах», согласно которой для учреждения таких училищ «городскими и сельскими обществами и частными лицами требуется разрешение уездного училищного совета». От Беллюстина потребовали объяснений и вменили ему в обязанность «испросить установленное разрешение на продолжение существования училища».

Состояние, в которое привело Беллюстина предписание Неронова, хорошо передает тотчас же написанное им объяснение.

---

<sup>106</sup> Семья Яковлевых, видимо, принадлежала к числу наиболее близких Беллюстину среди крестьян его прихода. Кондратий трижды подписывал прошения калязинцев в пользу Беллюстина: в 1861, 1866 и 1875 (о поднесении золотого креста). О брате и сестре Яковлевых в цитируемом ниже объяснении Беллюстин отозвался так: «личности, по умственному и нравственному развитию лучшие среди всего моего сельского прихода».

«Отвечаю на спрос Председателя от 24 января за №3, и даже не в течение четырех дней, как приказывается лицу, не подчиненному председателю, а через четыре часа по получении запроса.

Исполняя одну из главных обязанностей пастырства, я собираю, по силам, в селении моего прихода Матвейкове девочек для обучения их молитвам и основным истинам христианства. Чтобы это обучение прочно шло в жизнь и девочки могли продолжить в дальнейшем ознакомление с жизнью и учением Христа Спасителя, они, вместе с тем, обучаются и грамоте /.../ Главнейшее дело моего пастырства никаких отношений к училищному совету не имеет и ни в каком смысле подчиниться его контролю не может /.../ Поэтому вступать с ним в какие-либо сношения — не имел и не имею ни нужды, ни желания, да и впредь надеюсь не иметь их<sup>107</sup> /.../ В случае каких-либо притязаний со стороны училищного совета — и с председателем включительно, — вроде сделанного запроса, собранные на эту зиму девочки будут распущены, о чем будет донесено прямо Св[ятейшему] Пр[авительствующему] Синоду для зависящих от него дальнейших распоряжений».

Немедленно был собран вновь училищный совет. Поскольку «обучение в доме Кондрата Яковлева соединяет все условия обучения училищного, а не пастырской проповеди, как то объясняет г.Беллюстин», а также «принимая во внимание полное нежелание г.Беллюстина подчинить преподавание в этом училище контролю училищного совета», члены этого совета, «вполне сочувствуя мысли открытия частными лицами начальных народных училищ», приняли решение просить губернский училищный совет о закрытии (!) школы в д. Матвейково, а о «неуместных» выражениях священника Беллюстина сообщить епархиальному начальству. А.С.Беллюстин это решение совета, как и предыдущее, не подписал, но и заявленного им особого мнения в протокол не внес. Видимо, он не обладал бойцовским характером своего брата.

Консистория, всегда с пониманием относившаяся к представлениям председателя калязинской управы, постановила: «подтвердить священнику Белюстину чрез настоятеля калязинского собора, чтобы впредь не открывал училищ без разрешения училищного совета и чтобы в ответах должностным лицам не употреблял неуместных выражений и был осмотрительнее». Но архиепископ Филофей отменил это решение, сославшись на статью 9 упоминавшегося «Положения». Она гласит: «Правительственные ведомства и духовное начальство учреждают и закрывают начальные

---

<sup>107</sup> Очевидно, именно эти слова были сочтены Нероновым «неуместными» и дали название настоящему делу.

народные училища по собственному своему распоряжению, сообщая только об этом для сведения уездному училищному совету». Вряд ли эта статья подходила к данному случаю, но поскольку сам архиерей указал на нее, получалось, будто школа в Матвейкове организована по его распоряжению.

На заседании губернского училищного совета проявился тот же подход к делу — возможно, под влиянием позиции Филофея, который был членом совета. Здесь пришли к заключению, что Беллюстин, открыв школу в Матвейкове, только исполнил распоряжение епархиального начальства, которое «вменяет в обязанность приходским священникам заботиться об открытии возможно большего числа училищ». Поэтому, а также в связи с тем, что «ни беспорядков, ни вредного направления» в школе Беллюстина не обнаружено, губернский совет не нашел никаких законных оснований к ее закрытию. Вместе с тем он «выразил сожаление» по поводу «резких выражений», которые позволил себе Беллюстин в официальной переписке, а также нашел, что «производство дознания через полицию о правильности открытия училища» было не совсем оправданным. Постановление подписали: Филофей, тверской губернатор А.Н.Сомов, директор училищ А.Н.Робер, губернский предводитель дворянства князь Б.В.Мещерский, член от земства П.А.Бакунин.

Если не считать двухмесячного напряжения, в котором держала Беллюстина эта история, можно считать, что затея Неронова не удалась. Однако мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе школы. Ведь не исключено, что полицейское дознание, вызов к председателю уездной управы и ожидание возможных притеснений с его стороны в будущем могли отбить у Кондрата Яковлева охоту тратить свое время и средства на это дело.

Своеобразным показателем того, что Беллюстин в Калязине постоянно находился в центре общественного внимания, может служить тот факт, что любая его оплошность сразу замечалась и использовалась против него. Однажды, в ноябре 1871, во время заутрени, услышав, что стоявшие на клиросе прихожане не в лад подпевают пономарю Стефану Томилову (чего, как мы видели, Беллюстин терпеть не мог), он вышел из алтаря и вполголоса сказал пономарю: «Что же ты не гоняешь не умеющих петь?» Тот ответил: «Гоняю, да не слушают». «Но ведь рознят так, что терпения нет слушать», — сказал о.Иоанн и удалился в алтарь.

Раздраженное замечание священника, видимо, задело «не умеющих петь». (Это были мещане И.С.Былинин и И.И.Рыжков, купеческий сын Н.И.Рыжков и купец А.Н.Киселев). Но, скорее всего, дело тем бы и кончилось, если бы кому-то более влия-

тельному, чем горе-певчие, не пришло в голову воспользоваться этим случаем, чтобы «проучить» Беллюстина. Спустя десять дней (!) помощник калязинского исправника Савелов, «вследствие пронесшейся молвы о допущении неприличия во время отправления Божественной службы священником Беллюстиным, произвел о сем дознание» и составил протокол, в котором эпизод выглядит значительно более эффектно. По версии Савелова, Беллюстин «в порывах сердца довольно громко вскричал на псаломщика Стефана Томилова такими словами: ”Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты эту сволочь гонял вон; возьми грязную метлу и гони их!“»<sup>108</sup>.

Опять началось следствие, Беллюстину пришлось писать объяснение, просить «истребовать» от Савелова показания, по чьему приказу он проводил дознание, просить дать ему (Беллюстину) очную ставку с подписавшими протокол и т.д. Ни одна из этих просьб не была удовлетворена, но дело все равно кончилось ничем (если не считать двухмесячной нервотрепки): консистория оставила донос Савелова без последствий, так как изложенные в нем факты не подтвердились.

### «Дела» литературные

Несколько дел Тверской духовной консистории связаны с литературной деятельностью Беллюстина. Все они относятся к 1870-м и показывают, что даже в это время положение литератора в духовной среде имело существенные особенности. Публицисту-священнику иногда приходилось сталкиваться с такими ситуациями, которые его коллегам-мирянам скорее всего показались бы страшным анахронизмом.

31 августа 1872 товарищ обер-прокурора Синода Ю.В.Толстой<sup>109</sup> обратился к архиепископу Филофею со следующим письмом:

Милостивый государь и архипастырь!

До сведения моего дошло, что священник г. Калязина Беллюстин, получивший от Святейшего Синода замечание за статью свою в журнале «Беседа» под заглавием «Что сделано по вопросу о духовенстве», приготавливает к печати новые статьи о монасты-

<sup>108</sup> Из четырех участников конфликта один, А.Н.Киселев, не подписал протокол, составленный Савеловым, и, видимо, не случайно: его подпись стоит под прошением о назначении Беллюстина настоятелем собора в 1866 и 1875.

<sup>109</sup> Толстой Юрий Васильевич (1824-1878) — историк, государственный деятель. Товарищ обер-прокурора Синода с 1866.



рях и решил подписать под ними свою фамилию, чтобы отсутствием подписи не ослабить их значения.

Имею честь уведомить о сем Ваше Высокопреосвященство с тем, не изволите ли признать нужным потребовать эти статьи Беллюстина к Вашему просмотру<sup>110</sup>.

Филофей приказал Беллюстину представить ему названные статьи. Требование это было, конечно, совершенно незаконным, но, по церковным правилам, не выполнить распоряжение архиерея священник не мог. (Выполнив его, он мог пожаловаться в Синод. Но если, как в данном случае, указание исходило от Синода, жаловаться было некому, так как духовенство — единственное из всех сословий — не имело права подавать жалобы на Высочайшее имя).

К счастью, попытка предотвратить публикацию этих статей (вернее, одной большой статьи под названием «Нравственное значение монастырей», которую Беллюстин, видимо, рассчитывал печатать в двух номерах) оказалась запоздалой: в это время они уже печатались в сентябрьском номере журнала «Беседа»<sup>111</sup>. Так что Беллюстин мог спокойно и не без торжества ответить Филофею, что не имеет возможности удовлетворить его требование, так как никаких статей о монастырях у него в настоящее время нет.

Что же представляла собою статья, публикация которой пытался остановить Синод? В ней Беллюстин доказывает, что монашество в целом утратило характер религиозного подвижничества и теперь приносит обществу больше вреда, чем пользы, потому что вопиющее несоответствие между обетами и реальной жизнью монахов способствует упадку веры и нравственности. Фактически он подводит читателя к мысли, что монашество как институт изжило себя и должно быть уничтожено. Однако статья имела и другой, не менее важный для автора смысл. Как известно, вся иерархия русской церкви по традиции формировалась исключительно из монахов. Слабо обеспеченная канонически, эта практика обычно обосновывалась ссылками на особые христианские доблести монашества. Статья Беллюстина как раз и была направ-

<sup>110</sup> Ед.хр.204. 31 августа — 14 октября 1872.

<sup>111</sup> См.: Отд. I. С.219-255. Правда, читатели получили этот номер значительно позже, так как за статью «Очерк современного женского института» весь тираж его был арестован и уничтожен, а затем перепечатан с исключением запрещенной статьи. (См.: Добровольский Л.М. Запрещенная книга в России: 1825-1904. М., 1962. С.103). Таким образом, утверждение И.Я.Айзенштока в комментариях к «Дневнику» Никитенко, что причиной уничтожения номера послужила статья Беллюстина, является ошибочным (см.: Никитенко А.В. Дневник. М., 1956. Т.3. С.457).

лена на то, чтобы лишить этого обоснования монополию монахов на власть, — монополию, в которой он видел одну из главных бед русской церкви<sup>112</sup>.

Но как могли в Синоде узнать об этой статье и даже о намерении автора печатать ее за своей подписью? Скорее всего, сведения об этом поступили из III Отделения, где письма Беллюстина перлюстрировались, видимо, с 1860<sup>113</sup> и некоторые выписки из них направлялись обер-прокурору Синода.

В арсенале церковного руководства был и такой специфический способ воздействия на пишущих «духовных», как «архипастырские внушения». В материалах Тверской консистории имеются сведения о двух случаях применения к Беллюстину подобных воспитательных мер. Первый — упомянутое в письме Ю.В.Толстого замечание за статью «Что сделано по вопросу о духовенстве»<sup>114</sup>. По заключению светской цензуры, «статья эта, признавая все принятые до сего меры по улучшению быта духовенства мерами паллиативными, внешними, обращает затем все свое внимание на характеристику нравственного уровня нашего духовенства и целым рядом крайне резких фактов и заявлений обвиняет разных лиц духовного звания /.../ в поступках, унижительных для духовного сана». На этом основании в Главном управлении по делам печати сделали вывод, что статья «может быть признана оскорбительною для духовного ведомства и подлежащею преследованию по ст. 1040 Улож[ения] о нак[азаниях]»<sup>115</sup>. По этой статье «за всякий оскорбительный отзыв в печати о частном или должностном лице, или обществе, или установлении, заключающий в себе злословие или брань», виновному грозил или штраф до 300 рублей, или арест от 7 дней до 3 месяцев, или тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Характеристика статьи Беллюстина в цензурном заключении явно «подтянута» к этой норме. В действительности Беллюстин

---

<sup>112</sup> Фоном для выступления Беллюстина послужила большая анонимная статья «Наши монастыри, их богатства и получаемые ими пособия» (Беседа. 1872. №3-8, 10, 11), обильно подкреплявшая его обвинения в адрес монахов фактическим материалом.

<sup>113</sup> 7 октября 1860 Беллюстин сообщил М.П.Погодину: «На днях, между прочим, писали мне: "Ваши 'друзья' достигли того, что на Вашу переписку обращено внимание Третьего отделения"» (см.: ОР РГБ. Ф.231. Оп.2. Карт.3. Ед.хр.51/1. Л.15). Выписки из писем Беллюстина см.: ГАРФ. Ф.109. Секретный архив. Оп.3. Ед.хр.1334, 1392, 1397 (пометки о передаче сведений в Синод см.: Ед.хр.1397. Л.13, 19).

<sup>114</sup> См.: Беседа. 1871. №3. Отд. I. С.134-157; №11. С.61-82.

<sup>115</sup> Сведения об этом взыскании содержатся в справке, находящейся в составе Ед.хр.207. Л.7-8.

и не думал «оскорблять» свое сословие. С горечью говоря о низком культурном и нравственном уровне духовенства, он обвинял в этом условия, в которые оно поставлено и которые характеризовал как «атмосферу деспотизма и бюрократии», состояние «крепостной зависимости» от церковного начальства.

По закону возбуждать судебное преследование по обвинению в печатном оскорблении должна была пострадавшая сторона. Поэтому министр внутренних дел передал заключение цензуры обер-прокурору Синода, и тот 10 декабря 1871 представил его на рассмотрение церковной коллегии. Но решение по этому вопросу было вынесено почему-то лишь полгода спустя, в июне 1872. Вероятно, дело затянулось из-за переписки по поводу установления личности автора статьи. То, что Синоду потребовались официальные сведения на этот счет (статья была подписана), возможно, говорит о намерении привлечь Беллюстина к суду. Но если действительно такое намерение было, то вполне естественно, что, по здравом размышлении, от него отказались. Судиться с простым священником, допустить к разрешению этого спора светских лиц, сделать его предметом газетных и журнальных толков и, может быть, проиграть дело, — достаточно было представить себе все это, чтобы призрачная возможность наказать Беллюстина потеряла для членов Синода свою привлекательность. В конце концов Синод решил дело «по-семейному»: поручил архиепископу Филофею сделать «священнику Беллюстину архипастырское внушение, в видах удержания его от издания на будущее время сочинений, подобных по образу мыслей и выражений означенной выше статье».

В другой раз на Беллюстина обиделись в III Отделении. В корреспонденции из Калязина, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» (1873. №261), описывая разгром, учиненный в сельской церкви подвыпившими крестьянами во время пожара, он заметил: «Но вот что всего замечательнее, поселенные в этом селе жандармы ничем не заявили своего присутствия». По поводу этой фразы и возникло дело<sup>116</sup>. Товарищ шефа жандармов граф Н.В. Левашов написал обер-прокурору Синода, что «по собранным сведениям» корреспонденция из Калязина оказалась «несправедливою» и что «священник Беллюстин давно уже известен как автор многих лживых статей, направленных против разных учреждений, в том числе и духовных». Все эти обвинения полностью перешли в указ Синода от 30 ноября 1873, которым архиепископу Филофею предписывалось сделать Беллюстину «строжайшее внушение

<sup>116</sup> См.: Ед.хр.207. 30 ноября 1873 — 30 июля 1878.

с таковым предварением, что в случае нового повторения в печати отзывов неуместных и оскорбительных для правительства лиц и учреждений он /.../ подвергнется законному суждению», то есть судебному преследованию. Последнее предупреждение, впрочем, не стоит принимать всерьез: это лишь попытка представить незаконное административное взыскание как проявление снисходительности. Обращение III Отделения в Синод как раз и было вызвано желанием наказать Беллюстина без судебного разбирательства, где обвинение необходимо доказывать.

Беллюстин, однако, был не из тех, кто обвинение во лжи, даже если оно исходит от одного из руководителей III Отделения, мог оставить без ответа. В представленном в Синод «объяснении» он без обиняков назвал эти обвинения «голословным извещением». Рассказ о погроме в церкви, настаивал он, «со слов церковного старосты до последней буквы передан верно» и, в случае необходимости, может быть подтвержден старостой и священником. Относительно обвинения в «лживости» других его статей Беллюстин писал: «За "лживые статьи, направленные против учреждений", авторы их привлекаются к суду /.../; по меньшей мере, против таких статей печатаются опровержения. С напечатанными мною статьями ничего подобного не было, что и служит неопровержимым доказательством, что никакой лжи в них никогда не заключалось. Да и не было нужды мне прибегать ко лжи, когда столько горькой правды в действительной жизни. Не ложь, например, а несомненная правда то, что живший в г. Калязине жандармский офицер (Гофман), приехав в село Троицко-Нерльское и призвав к себе священника, допрашивал его с угрожениями, "как он смел отлучить от причащения крестьянскую женщину" (женщина была удержана от причащения за открыто прелюбодейную связь с жандармом /.../). Не ложь, а сама действительность то, что в том же /.../ селе жандарм сжег в арестантской двоих крестьян, из которых один — мой прихожанин, оставивший после себя семь сирот в безвыходной нищете (дело замято, но свидетели факта живы и готовы подтвердить его /.../))»<sup>117</sup>. Теперь становится ясно, почему Беллюстина наказали, в сущности, за вполне невинную фразу. Местные жандармы знали, что в Калязине есть человек, горящий желанием вывести их на чистую воду. Стоило ему лишь слегка задеть их в печати, как они постарались отбить у него это желание раз и навсегда<sup>118</sup>.

<sup>117</sup> РГИА. Ф.796. Оп.154. Ед.хр.1425. Л.5-6об.

<sup>118</sup> Вскоре после этой истории жандармы были удалены из Калязинского уезда. Беллюстин увидел в этом доказательство признания его правоты со стороны руководства III Отделения (см.: Там же. Оп.160. Ед.хр.831. Л.45).

Как и следовало ожидать, Синод не удовлетворил просьбу Беллюстина снять с него «назаслуженную кару» или хотя бы разрешить ему «судебным порядком доказать свою правоту». Но мотивировав свой отказ тем, что вынесенное ему взыскание «не имеет характера судебного наказания, а составляет только предупредительную административную /.../ меру»<sup>119</sup>, Синод фактически дезавуировал свое предыдущее решение.

Со временем Синоду, видимо, пришлось сократить или же вовсе прекратить практику подобных взысканий. Во всяком случае, в 1878, когда министр внутренних дел вновь обратил внимание обер-прокурора на литературную деятельность Беллюстина в связи со статьей, за которую газета «Церковно-общественный вестник» получила первое предостережение<sup>120</sup>, Синод ограничился тем, что, в свою очередь, предложил обратиться на него внимание тверскому архиерею. В чем выразилось это внимание — мне неизвестно.

В отношениях Беллюстина с цензурой был и такой эпизод, когда он попытался использовать Синод для того, чтобы обойти цензуру.

Цензура была кошмаром всей жизни Беллюстина, но со второй половины 1860-х печататься ему стало особенно трудно. В 1867 он жаловался Погодину: «В журналах и газетах: "об этом нельзя говорить, об другом — опасно печатать, об третьем — молчать велено" и пр., — и гибнут работы»<sup>121</sup>. Более четырех лет потратил он на борьбу за издание книги «Страстная неделя». Пропущенная в 1865 духовной цензурой, она в 1867 на основании отзывов митрополита Московского Филарета и Можайского епископа Саввы (будущего архиепископа Тверского), обвинивших Беллюстина в заимствованиях из книги «неблагонамеренного» французского писателя Ренана «Жизнь Иисуса», была запрещена<sup>122</sup>. И только в 1869, после того, как Беллюстин, представив в Синод возражения на отзывы своих рецензентов, добился отмены этого решения, книга наконец увидела свет. Другой анало-

<sup>119</sup> РГИА. Ф.796. Оп.154. Ед.хр.1425. Л.9об.

<sup>120</sup> Имеется в виду статья «По поводу учительного известия» (Церковно-общественный вестник. 1878. №67), содержавшая резкий отзыв о «пресловутых улучшениях» быта духовенства. Дело о ней см.: РГИА. Ф.797. Оп.48. Ед.хр.114; Указ Синода см. также: Ед.хр.207. Л.3-4об.

<sup>121</sup> РГАЛИ. Ф.373. Оп.1. Ед.хр.79. Л.10об.

<sup>122</sup> Одновременно Синод поручил архиепископу Филофею «обратить особое архипастырское внимание на образ мыслей» Беллюстина. Это выразилось в установлении надзора за ним со стороны настоятеля собора Д.Флоренского, чем Беллюстин чрезвычайно тяготился (см.: ОР РГБ. Ф.262. Карт.50. Ед.хр.7; Савва. Хроника моей жизни. Сергиев-Посад, 1901. Т.3. С.347).

гичный по замыслу труд — двухтомные «Библейские беседы» — не был пропущен духовной цензурой<sup>123</sup>. «Принялся было опять за журнальные работы — запылали инквизиторские костры, при сиянии которых, понятно, опустились руки»<sup>124</sup>, — писал Беллюстин Погодину в феврале 1873.

Все эти впечатления, очевидно, и толкнули Беллюстина на следующую наивную хитрость: свое новое сочинение «Религиозные смуты на Востоке»<sup>125</sup> он решил представить непосредственно в Синод и испросить у него благословения на его публикацию. Видимо, таким образом он надеялся не только обезопасить себя от цензурных преследований, но и предупредить возможную негативную реакцию со стороны самого Синода, обезоружив его таким проявлением лояльности. Расчет Беллюстина был основан на том, что в этой статье — может быть, впервые за время своей публицистической деятельности — он выступил в поддержку Синода, точнее — его позиции по так называемому греко-болгарскому церковному вопросу.

В мае 1872 Болгарская православная церковь, давно стремившаяся выйти из-под власти константинопольского патриарха, провозгласила свою независимость. Патриарх не признал этого решения и в сентябре того же года созвал церковный собор, на котором болгар осудили как схизматиков. Руководство Русской православной церкви, несмотря на приглашение патриарха, воздержалось от участия в этом соборе. Дело в том, что официальные церковные и светские круги оказались в сложном положении: с одной стороны, Россия поддерживала стремление болгар к национальному освобождению и в церковной автономии видела шаг в этом направлении, с другой — была связана традиционными отношениями с Восточной православной церковью. Что касается общественного мнения, то в целом оно было настроено в пользу болгар. Вместе с тем прозвучали и критические выступления в адрес Синода, среди которых особую известность получила статья Т.И.Филиппова «Определение константинопольского собора по вопросу о болгарском экзархате»<sup>126</sup>. Как сказано в прошении

---

<sup>123</sup> «Подумаете — ересь нашла? — писал Беллюстин Погодину. — Нет, всего только правду об лицах и событиях ветхозаветных, переданную мною буквально с еврейского, без фарисейских перифразов, умалчиваний и смягчений. Да!! Цензор Геласий, не обинуясь /.../ порешил: "Мы настолько изолгались, что именно правды-то о библейских лицах и событиях и не можем пропустить!"» (РГАЛИ. Ф.373. Оп.1. Ед.хр.79. Л.34-34об.).

<sup>124</sup> Там же. Л.34об.

<sup>125</sup> Автограф статьи см.: РГИА. Ф.834. Оп.2. Ед.хр.1856.

<sup>126</sup> Гражданин. 1871. №23-28.

Беллюстина в Синод, его статья «Религиозные смуты на Востоке» является ответом на эти выступления. Однако при некотором поверхностном сходстве в выводах, позиции Беллюстина и Синода коренным образом различались в основаниях, в исходных мотивах. И хотя Беллюстин постарался не обнаруживать своих мотивов, архиепископ Макарий (М.П.Булгаков), знаменитый богослов и историк церкви, которому Синод поручил дать отзыв об этой статье, уловил в ней несовпадения с официальной точкой зрения. «Это одно непрерывное обличение и порицание константинопольского патриарха и греческих архиереев по поводу греко-болгарской распри, — писал Макарий, характеризую содержание статьи. — Автор /.../ говорит /.../ о тех подкупах и интригах, чрез которые они приобретают и часто теряют свои кафедры; о тех насилиях и грабительствах, каким предаются они в своих епархиях и особенно каким предавались на епархиях болгарских...» «Может быть, — замечает в связи с этим Макарий, — /.../ автор говорит и одну только правду; но говорит слишком резко и не всегда осторожно, позволяя себе, например, часто выражаться "византийское православие" и как-то глумясь над этим православием».

К счастью, высокопоставленный рецензент не догадывался, что стоит за этой странностью, потому что «византийское православие» для Беллюстина — это официальное православие, идеология церковной элиты, не имеющая, по его мнению, ничего общего с подлинным христианством, которое греческая церковь еще во времена Византийской империи превратила в «религию обрядов и внешностей», выхолостив его нравственный смысл, подчинив достижению корыстных целей. «Византийское православие» — страшное духовное зло, оно уже привело к гибели византийского общества и такую же участь сулит всем народам, находящимся под его влиянием. (Нравы греческих иерархов в глазах Беллюстина являлись очевидным доказательством злокачественности их «православия»). Вот откуда в статье мысль, также показавшаяся Макарию сомнительной, что в случае освобождения всех славянских племен из-под власти цареградского патриарха они, говоря словами Макария, «не только ничего не потеряют, но и еще весьма много приобретут и для настоящей и для будущей жизни...» И на публикацию статьи, содержащей подобные пассажи, Беллюстин хотел получить благословение Синода!

Заключение Макария было следующим: «По моему мнению, Святейший Синод не может дать ни благословения, ни даже дозволения от своего имени на напечатание этой статьи (то и другое не осталось бы тайной и сообщило бы статье особое значение),

а может только предоставить автору, чтобы он, по пересмотре и исправлении статьи, препроводил ее в цензурный комитет, и если статья будет разрешена комитетом, напечатал ее в каком-либо журнале»<sup>127</sup>. Но Синод, видимо, счел эту рекомендацию слишком снисходительной и не только отказал в благословении, но и вообще запретил Беллюстину печатать статью, а рукопись приказал передать на хранение в Синодальную библиотеку. Так, вместо благословения Беллюстин выхлопотал себе запрет и фактически арест рукописи. Пришлось ему просить Синод выдать его собственную статью для снятия копии. Получив рукопись, Беллюстин, видимо, надеялся как-нибудь уклониться от ее возвращения. Через год на запрос консистории он ответил, что копия «за крайними недосугами» еще не снята. Но два года спустя, уже при новом архиерее, консистория все же заставила Беллюстина вернуть рукопись в Синод<sup>128</sup>.

Последнее и самое громкое литературное дело Беллюстина (а также последнее из сохранившихся дел о нем в архиве Тверской духовной консистории) возникло «по поводу составленных им крайне вредных по своему содержанию и направлению статей "К вопросу о раскольниках", помещенных в 43 и 44 №№ газеты "Церковно-общественный вестник" за 1879 год»<sup>129</sup>.

Эта история о том, как Беллюстин выкрикнул наконец свое заветное слово и как дорого за это поплатился. В статье «К вопросу о раскольниках» он впервые прямо и открыто сказал то, что в зародыше присутствовало во многих его выступлениях, в том числе и в статье «Религиозные смуты на Востоке». А именно: убеждение, что религия, заимствованная Русью из Византии, не является подлинным христианством. Христианство несовместимо с насилием над совестью, с преследованием инакомыслящих. То, что подобные преследования стали возможны, он связывал с совершившимся в Византии превращением христианства в государственную религию — со свойственным ей «фанатическим догматизмом», «ревностью об обрядовых внешностях» и забвением того, что, как считал Беллюстин, составляет сущность христианства, — его нравственного учения. Ереси, раскол, сектантство — это результат смутного осознания народом неистинности официальной религии. Тем самым он морально и исторически оправдывал раскол, ставил народную интуицию выше авторитета Церкви.

<sup>127</sup> РГИА. Ф.796. Оп.154. Ед.хр.1415. Л.3-6.

<sup>128</sup> См.: Ед.хр.208. 9 ноября 1873 — 3 ноября 1876.

<sup>129</sup> См.: Ед.хр.215. 11 мая 1879 — 10 сентября 1882.



Статья интересна еще и в том отношении, что с очевидностью обнаруживает тот нравственный импульс, который привел Беллюстина к созданию этой несложной, но выстраданной и требовавшей определенного мужества «теории». Это — трагический для преданного своему делу священника вопрос: почему лучшая, то есть наиболее духовно активная часть народа, ищет себе удовлетворения не в православии, а в различных «уклонениях» от него<sup>130</sup>? Вопрос тем более важный и острый, поскольку 1870-е годы ознаменовались мощным всплеском религиозного инакомыслия в народной среде.

Понятно, что подобная статья не могла остаться безнаказанной. Газете «Церковно-общественный вестник» за нее было объявлено второе предостережение, а за Беллюстина Синод взялся сам, и взялся очень круто<sup>131</sup>. 11 мая 1879 Синод приказал Тверской консистории, истребовав от Беллюстина объяснение по поводу названной статьи, запретить ему священнослужение и обсудить вопрос о том, может ли он быть оставлен в священном сане. Причем столь суровая мера как запрещение священнослужения никак не ставилась в зависимость от объяснений Беллюстина. 30 июня священнослужение ему было запрещено. И после того, как он не признал свои статьи «ни "крайне" (как выражено в указе Синода), ни "весьма" (как выражено в указе дух[овной] консистории), ни просто вредными», консистория, припомнив Беллюстину все его прежние литературные «прегрешения», постановила, что он не может быть оставлен в священном сане, «так как все кроткие методы внушения и вразумления остались для священника Беллюстина недействительными и он, как бы в поругание этих мер, продолжает высказывать возрастающую дерзость и резкость в статьях и как бы посмеивается и над пастырями Церкви Христовой, и над самою Церковью, и над предержашею властью, покровительствующею Св. Церкви Христовой»<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> Беллюстин в течение многих лет собирал сведения о расколе, имел среди раскольников широкий круг общения и личных друзей, глубоко переживал преследования их (см., например: ГАТО. Ф.103. Ед.хр.1289. Л.65, 73). Опубликовал несколько статей о раскольниках: Современное движение в расколе // Тверские губернские ведомости (неофиц. часть). 1863. 2 ноября. №44; Еще о движениях в расколе // Русский вестник. 1865. №6. С.761-776 и др.

<sup>131</sup> Как видно из приложенной к делу записки (судя по всему, это выписка из какого-то письма Беллюстина, сделанная в III Отделении), о.Иоанн считал, что «бурю» против него в Синоде подняли Филофей, бывший в то время уже митрополитом Киевским, и придворный протоиерей Рождественский.

<sup>132</sup> Выражение «посмеивается» по отношению к Беллюстину звучит довольно странно: юмористические интонации были настолько не свойственны его публицистике, что можно заподозрить его в отсутствии чувства юмора.

Вдобавок попечитель московского учебного округа князь Н.П.Мещерский, узнав о запрещении Беллюстину священнослужения, поспешил уволить его от должности законоучителя в уездном училище<sup>133</sup>. Запрещение священнослужения Беллюстину было временной мерой и не требовало немедленной реакции со стороны учебного ведомства. Инициатива попечителя, возможно, объяснялась тем, что он приходился родным братом писателю В.П.Мещерскому, издателю газеты «Гражданин», с которой Беллюстин не раз резко полемизировал. Таким образом, Беллюстин, которому было в это время уже 60 лет, лишился сразу основных источников существования и надежды на минимальное обеспечение в старости, так как священники, лишенные сана, теряли право на пенсию<sup>134</sup>.

Правда, окончательное решение о лишении Беллюстина сана должен был принять Синод, а он, так и не поставив этот вопрос на рассмотрение, в конце концов разрешил о.Иоанну священнослужение. Почему же, столь решительно приступив к делу, Синод не привел его к завершению? Думаю, этому есть несколько причин.

Прежде всего, подобное решение необходимо было обосновать. По церковным законам лишению духовного сана священники подвергались в строго определенных случаях, причем различалось лишение сана с низведением в причетники — за совершение богослужения в нетрезвом виде, драку в церкви и другие служебные преступления, — и лишение сана с исключением из духовного звания — за совершение уголовного преступления или за отступление от православия в раскол или ересь. Очевидно, что Беллюстина можно было попытаться подвести под последнюю статью. Но доказать подобное обвинение было бы непросто, так как в статье «К вопросу о раскольниках» он не касался религиозных догматов, а требование свободы совести, подкреплявшееся ссылками на Евангелие, и нетрадиционные суждения о некоторых фигурах и событиях церковной истории, опиравшиеся на свидетельства отцов Церкви, не могли дать достаточного материала для такого обвинения.

С другой стороны, видимо, и сам Синод не был особенно заинтересован в осуждении Беллюстина за отступление от православия. В общественном мнении это все равно было бы воспринято как преследование за выступление в защиту свободы совести, привлекло бы к Беллюстину внимание и сочувствие, а авторитету

<sup>133</sup> См.: РГИА. Ф.797. Оп.49. Ед.хр.142. Л.3-4об.

<sup>134</sup> Пенсию размером 130 руб. в год священники получали за выслугу 35 лет. Стаж Беллюстина равнялся уже 40 годам.

Церкви был бы нанесен урон — и не только внутри страны<sup>135</sup>. Да и сам по себе факт уклонения известного православного священника в ересь, засвидетельствованный приговором Синода, ничего не прибавил бы к авторитету Церкви. К тому же — в условиях распространения религиозного инакомыслия в народной среде — этот факт мог иметь влияние, совершенно нежелательное для официальной Церкви. Видимо, все эти негативные последствия лишения Беллюстина духовного сана со временем были осознаны в Синоде.

На исход этого дела, возможно, оказала определенное влияние и поддержка Беллюстина земляками. В ноябре 1879 городские и сельские прихожане Николаевского собора обратились в Синод с просьбой разрешить о.Иоанну священнослужение и законоучительство<sup>136</sup>. А в день его именин, 30 января 1880, устроили его чествование, во время которого торжественно преподнесли ему икону<sup>137</sup>. Сообщения об этих проявлениях уважения и сочувствия к Беллюстину со стороны калязинцев печатались в газетах<sup>138</sup>, так что постановление о лишении его священного сана, если бы оно состоялось, появилось бы на фоне этих сообщений, что также не могли не учитывать в Синоде.

Но Беллюстин и сам не сидел сложа руки. Искушенный в бумажных битвах с церковным начальством, он сумел правильно выбрать стратегию защиты и повел ее по двум основным направлениям. Во-первых, он постарался не допустить использования его прежних литературных дел в качестве дополнительного основания для его осуждения, как это было сделано в постановлении консистории. В трех обращениях к Синоду он доказывал: поскольку после его возражений на отзыв епископа Саввы о «Страстной неделе» решение о запрещении этой книги было пересмотрено и наказание, наложенное на него (в виде надзора со стороны настоятеля собора), снято, значит, Синод признал невиновность Беллюстина. Что же касается «внушений» за газетные публикации, то

---

<sup>135</sup> Учитывая это, Беллюстин пытался опубликовать сообщение о своем деле в одной из европейских газет, в частности, просил об этом Н.С.Лескова и А.С.Суворина, которые в это трудное время поддерживали его морально и материально (см.: РГАЛИ. Ф.275. Оп.4. Ед.хр.12. Л.35-35об.).

<sup>136</sup> См.: РГИА. Ф.796. Оп.160. №831. Л.38-40. По просьбе Беллюстина к его делу были приложены и копии прошений калязинцев о назначении его настоятелем собора.

<sup>137</sup> Видимо, это кому-то не понравилось, так как в консистории было заведено дело «О торжественном несении иконы Трех святых в дом священника Беллюстина в день его ангела» (не сохранилось).

<sup>138</sup> См., например: Новое время. 1880. 11 февраля. №1421; Церковно-общественный вестник. 1880. №21.

они делались в нарушение законов о печати и потому также не могут быть использованы против него<sup>139</sup>.

Во-вторых, Беллюстин стал добиваться развернутой и мотивированной формулировки обвинения по статье «К вопросу о раскольниках». Дело в том, что первоначально эта формулировка сводилась к указанию на «вредное направление» его статьи. Такое обвинение было неуязвимым, против него невозможно было возражать. Ссылаясь на то, что, по гражданским законам, обвиняемому должны быть предоставлены все средства для оправдания, Беллюстин просил консисторию, а затем и Синод «означить точно — в чем именно обнаружено вредное направление» его статьи, чтобы он «мог разъяснить дело». На каком основании можно было отказать ему в этом? Обвинение, составленное консисторией, Беллюстин оспорил пункт за пунктом, доказывая, что его статья получила произвольное истолкование, что ему поставлено в вину то, что писал один из отцов Церкви<sup>140</sup>. Правда, при этом ему пришлось кое в чем опровергать самого себя. Но важно, что обвинение против него стало предметом обсуждения, а значит — более уязвимым. Так что Синод был вынужден более серьезно подойти к обоснованию обвинения. Не случайно отзыв о статье «К вопросу о раскольниках» поручили составить председателю Учебного комитета при Синоде протоиерею И.В.Васильеву. Обращение к Васильеву, видимо, говорит не только о значении, которое придавали этому делу в Синоде, но и о появлении примирительных настроений по отношению к Беллюстину, так как председатель Учебного комитета считался церковным либералом и даже подозревался в покровительстве «Церковно-общественному вестнику»<sup>141</sup>.

Отзыв И.В.Васильева оказался довольно суровым (к примеру, в нем содержалось обвинение, что представление Беллюстина о «безусловной свободе совести» приводит его к отрицанию Церкви и ее авторитета), но в резюмирующей характеристике статьи о ней говорится как о произведении несамостоятельном и малозначительном, то есть никак не «тянущем» на серьезное наказание. Не исключено, что это была осторожная попытка И.В.Васильева помочь опальному священнику, но скорее его отзыв указывает на стремление Синода, не теряя лица, завершить нашумевшее дело миром.

Указом 8 апреля 1880 Синод предписал Беллюстину «по тщательном ознакомлении» с отзывом председателя Учебного коми-

<sup>139</sup> См.: РГИА. Ф.796. Оп.160. №831. Л.45-47.

<sup>140</sup> Там же. Л.41-42об.

<sup>141</sup> См.: Савва. Хроника моей жизни. Т.5. Сергиев-Посад, 1904. С.942.

тета представить объяснение, «признает ли он в своих статьях неправильности, искажение истины и вред, указанные в том отзыве, и раскаивается ли он искренно в написании сказанных статей». Предъявляя Беллюстину этот отзыв, Синод как бы давал ему понять, что имеет веские доказательства его вины, но готов оставить их без внимания, если Беллюстин, со своей стороны, пойдет на определенные уступки. Видимо, о.Иоанн уловил этот смысл в присланных из Синода бумагах, а, может быть, и заранее был осведомлен об условиях «сделки»<sup>142</sup>, потому что на сей раз, вопреки своему обыкновению, не стал писать никаких возражений, а ограничился следующим ответом: «В своих статьях "К вопросу о раскольниках" /.../ "неправильности", усмотренные Святейшим Правительствующим Синодом, я признаю; в напечатании статей, если от них произошел действительный вред для Церкви Христовой, раскаиваюсь, но искажение истины и ложные мысли, поскольку в них предполагается преднамеренное действие, отрицаю».

Даже такого полураскаяния Беллюстина оказалось достаточно, чтобы Синод 2 июня 1880 (через год после первого, грозного, указа) предписал епископу Савве разрешить ему священнослужение. Однако при этом Синод потребовал от Беллюстина тяжелой жертвы: обязал его «подпискою, чтобы он на будущее время статьи свои, касающиеся догматов веры, истории и управления Церкви, помещал в печати не иначе, как с разрешения духовной цензуры». Весь смысл этой подписки заключался в обязанности представлять в цензуру статьи по истории и управлению Церкви, которые, по закону, не подлежали рассмотрению духовной цензуры (в ее ведении находились лишь сочинения, касающиеся догматов веры и священной истории). Тем самым Беллюстин принял на себя обет молчания по всему кругу проблем внутрицерковной жизни, составлявших главный предмет его интересов. Да и на острое выступление по другим вопросам — после всего случившегося — ему, очевидно, нелегко было решиться, а писать иначе он не умел. С этого времени литературная деятельность И.С.Беллюстина пошла на убыль<sup>143</sup>.

<sup>142</sup> Судя по описи фонда Тверской духовной консистории, в 1880 Беллюстину выдавался паспорт для отъезда из Калязина. Возможно, он ездил в Петербург для улаживания своих дел в Синоде.

<sup>143</sup> В это время он написал и частично опубликовал свои воспоминания (см.: Из заметок о пережитом: Период юношества // Церковно-общественный вестник. 1882. №18, 33, 36, 39, 43, 47, 54, 59).

Е. Динерштейн

## ПУБЛИЦИСТ «КРАЙНИХ УБЕЖДЕНИЙ»

Путь А.С.Суворина к «Новому времени»

Жизненный путь Алексея Сергеевича Суворина (1834-1912) был хотя и извилист, но достаточно обыден. Почему и примечателен лишь тем, что пройден человеком неординарным, оставившим заметный след в анналах отечественных литературы, театра, книгоиздания и журналистики. В последнем случае, не боясь преувеличений, можно сказать, что речь идет об одном из крупнейших организаторов газетного дела и популярнейшем журналисте, к голосу которого внимательно прислушивались не только в Зимнем дворце, но и в зарубежных правительственных кругах; фельетоны которого встречали восторженный прием в одних слоях общества и негодование в других.

Эволюцию взглядов Суворина одни объясняли свойствами человеческой природы, другие социальными причинами, но и те, и другие воспринимали его конформизм как некую данность и объясняли закономерность и типичность суворинской карьеры временем, в котором ему довелось жить. Поэтому биография Суворина в какой-то мере даже помогает уяснить ход истории, его внутренний механизм, не говоря уже о том, что она дает основания увидеть роль и значение конкретной личности и тем самым избавиться от некоторых стереотипов, укоренившихся в нашем сознании. Однако биографических работ о Суворине очень мало, и носят они, за немногими исключениями, частный характер<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Из работ последних лет об А.С.Суворине см.: Роскина Н. Об одной старой публикации // Вопросы литературы. 1968. №6. С.250-253; Краснов Г.В. Из записок А.С.Суворина о Некрасове // Прометей. Вып.7. М., 1969. С.285-291; Рейфман П.С. Запрещенная книга А.С.Суворина // Ученые записки Тартуского государственного университета (Далее: Уч. зап. ТГУ). Вып.251. 1970.С.350-356; Ласунский О.Г. И.С.Никитин и молодой Суворин // «Я Руси сын!..» Воронеж, 1974. С.45-61; Рейфман П.С. К проблеме эволюции либеральной журналистики в 1860-е годы // Уч. зап. ТГУ. Вып.369. 1975.С.76-78; Соловьева И., Шитова В. А.С.Суворин: портрет на фоне газеты // Вопросы литературы. 1977. №2. С.162-199; Драган Г.Н. Дневник А.С.Суворина как исторический источник // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 1983. №3. С.57-67; Ласунский О.Г. Литературно-общественное движение в русской провинции. Воронеж, 1985 (по

В данной статье мы стремились охарактеризовать ранний, менее известный период жизненного пути знаменитого журналиста.

\*\*\*

Отец Суворина, Сергей Дмитриевич, происходил из крестьян-однодворцев села Коршево Бобровского уезда Воронежской губернии. Только попав в солдаты, он двадцати лет от роду выучился основам грамоты, высотами которой не овладел и до конца своих дней. Зато успехами по службе имел все основания гордиться. В двадцать девять лет он унтер-офицер, в тридцать восемь — фельдфебель, в тридцать девять — подпоручик, в сорок три — поручик, в сорок пять — штабс-капитан, в сорок восемь — отставка и чин капитана, дававший в те годы дворянство.

Квартирмейстер Костромского полка был честным человеком и на солдатский паек не покушался. Нажитый им за тридцать лет службы капитал составлял всего тысячу рублей. Пенсия была невелика — шестьсот рублей ассигнациями в год. Зато семьей Бог его не обидел. За год до отставки умерла жена, оставив двух дочерей; вторая жена, Александра Львовна Соколова, наградила его девятью детьми. Была она дочерью местного священника и, подобно мужу, не получила никакого образования.

Вернувшись в родные края, Сергей Дмитриевич построил ветряную мельницу, потом крупорушку. Стал заниматься земледелием, арендуя казенные земли. Сам вел хозяйство, нанимая лишь одного работника да кухарку. Жили бедно, «похуже духовенства». Чай пили только по праздникам «вприкуску». «Единственная книга, которая была у нас, — это Евангелие на русском языке, издание Библейского общества», — вспоминал Суворин<sup>2</sup>. Он же писал как-то в одном из своих «Маленьких писем», что «до 14 лет /.../ не читал ни одной детской книжки и не знал об их существовании. До 14 лет /.../ не имел понятия о том, что такое

---

указателю); Бобырь А.В. Чехов, Заньковецкая и Суворин // Литературный процесс и проблемы литературной культуры: Материалы для обсуждения / Таллинский педагогический институт им. Э.Вильде. Таллин, 1988. С.33-35; и др., а также наши работы: Издательская деятельность Суворина // Книга: Исследования и материалы. Сб.48. М., 1984. С.82-118; Собеседники // Динерштейн Е.А. А.П.Чехов и его издатели. М., 1990. С.72-118; А.С.Суворин и «еврейский вопрос» // Вестник еврейского университета в Москве. 1992. №1. С.57-74; На правее: Жизнь и смерть А.С.Суворина // Свободная мысль. 1993. №10. С.80-93.

<sup>2</sup> Суворин А.С. Автобиография // Нева. 1912. №11. Стлб.1932.

театр. Пушкин мне попался в руки, когда мне было 15 лет. О газете и журнале я узнал гораздо позже»<sup>3</sup>. Пропорционально тому, как увеличивалась семья, покидало ее и без того весьма относительное благосостояние. Но несмотря на окружавшую его бедность, Суворин сохранил теплую память о днях детства. «Мои детские воспоминания носят на себе отпечаток полной свободы и беззаботности. Я любил отца и мать, особенно мать», — писал он впоследствии<sup>4</sup>.

Кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы в ноябре 1845 в Воронеже не был открыт Михайловский кадетский корпус. Отец забрал двух старших сыновей из Бобровского уездного училища, в котором их больше секли, чем учили, и отдал в корпус. Учитывая бедственное положение семьи, одного из братьев определили «пансионером» богатейшего воронежского помещика Черткова, пожертвовавшего на корпус миллион рублей. «Я очутился в обстановке совершенно для меня новой /.../, — писал Суворин. — Товарищи все были воспитания высшего, чем я, многие говорили по-французски. Я не умел ни встать, ни сесть, и в моем говоре было много чисто народных выражений. Одним словом, я мало чем отличался от крестьянского мальчика, так как и язык моей матери был простонародный»<sup>5</sup>.

Директор корпуса генерал Н.А.Винтулов в молодости был знаком с К.Ф.Рылеевым и В.К.Кюхельбекером, но от Сенатской площади судьба его уберегла. Этот высокообразованный и суровый человек держался «старых педагогических правил» и, по словам Суворина, очень «старался в том, чтобы кадеты учились и развивались. Учебная часть была поставлена в корпусе лучше, чем военная»<sup>6</sup>. Многие из педагогов одновременно преподавали в местной гимназии и не чуждались литературных занятий. Большое влияние оказал на юного Суворина преподаватель русского языка Петр Сергеевич Малыхин, с которым связан весьма знаменательный эпизод. На экзамене по его рекомендации Суворин прочел думу Рылеева «Петр Великий в Острогожске». Имя автора оставалось тайной не только для чтеца, но и для всех его соучеников. Но старому генералу оно было хорошо знакомо. После чтения стихотворения «Винтулов стал шептаться с Малыхиным, и оба улыбались как-то таинственно»<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Гранки статьи А.С.Суворина «Маленькие письма. CDX» // РГАЛИ. Ф.459. Оп.2. Ед.хр.82.

<sup>4</sup> РГАЛИ. Ф.459. Оп.2. Ед.хр.138. Л.8.

<sup>5</sup> Суворин А.С. Автобиография. Указ. изд. Стлб.1936-1937.

<sup>6</sup> Там же. Стлб.1941.

<sup>7</sup> Там же. Стлб.1939.



По праздникам генерал брал кадетов, остававшихся в корпусе, к себе домой, и они проводили время с его детьми, обедали вместе с хозяевами и их гостями. Чаше других этой чести удостоивался юный Суворин. Благорасположение сказалось и в разрешении пользоваться превосходной домашней библиотекой генерала, на полках которой хранились сочинения Рылеева и изданный им (совместно с А.Бестужевым) альманах «Полярная звезда», имелось даже «Путешествие из Петербурга в Москву» (естественно, подобные книги показывались только особо доверенным лицам)<sup>8</sup>.

Проучившись шесть лет в корпусе, Суворин в 1851 поступил в специальные классы Дворянского полка, преобразованные впоследствии в Константиновское военное училище, которое окончил в 1853. В стенах корпуса Суворин познакомился с Иринархом Ивановичем Введенским, преподававшим русскую литературу. «Это был человек с огромными научными сведениями, но главное его достоинство и заслуга заключались в том, что он умел увлечь молодежь своим предметом. В его классе все мы были — внимание и слух; тишина была необыкновенная, мы чувствовали и сознавали, что этот человек идет сам и нас ведет по совершенно новому пути.... Этот преподаватель был наш идеал; мы не только основательно изучали его предмет, но многие старались говорить его языком, перенимали его манеры, употребляли его поговорки, одним словом, сами хотели сделаться Введенским», вспоминал один из его учеников<sup>9</sup>. Стать саперным офицером Суворин, однако, не пожелал и по прошению был уволен «в статскую службу с первым чином»<sup>10</sup>. Он собирался поступить в Петербургский университет, но боязнь голодной студенческой жизни заставила его возвратиться в родные края, в г. Бобров, куда после смерти отца в 1855 переехала его мать. Выдержав в начале 1856 экзамен на звание учителя истории и географии, он стал преподавателем того самого Бобровского училища, в котором в свое время учился сам. Судя по его аттестату, официально он числился библиотекарем при училище (с 11 января 1857 по 5 мая 1859)<sup>11</sup>. Одновременно он служил секретарем бобровского предводителя дворянства

<sup>8</sup> См.: Кузнецов В.И. Взлет и падение Де-Пуле // «Я Руси сын!...» Воронеж, 1974. С.100.

<sup>9</sup> Миклашевский А.М. Дворянский корпус в 1840-х годах // Русская старина. 1891. №1. С.116.

<sup>10</sup> Лисовский Н.М. Алексей Сергеевич Суворин // Библиограф. 1892. №10-11. С.355. (Первая часть статьи была авторизована Сувориным. См.: РГАЛИ. Ф.776. Оп.3. Ед.хр.441. Л.335).

<sup>11</sup> РГАЛИ. Ф.459. Оп.2. Ед.хр.664. Л.1-2.

В.Я.Тулинова, владельца обширной библиотеки, каталог русским и французским книгам которой составил.

В Боброве Суворин женился и вскоре дебютировал в печати переводом стихотворений Беранже «Роза» и «Клара», опубликованных в петербургском журнале «Ваза» (1858), затем последовал перевод из Шенье в «Московском вестнике» и оригинальные статьи в «Весельчаке» и «Русском дневнике».

Первая жена Суворина, Анна Ивановна (урожд. Баранова, 1840-1874) получила неплохое образование, знала французский и немецкий языки. Дочь купца 3-й гильдии, она не принесла большого приданого. Неприкрытая бедность сопутствовала Суворину вплоть до переезда в Петербург. Помощь жены в литературных и житейских делах Суворин чрезвычайно ценил, и не исключено, что ее трагическая гибель в какой-то мере сказалась на его судьбе.

В 1856 у Сувориных родилась дочь Александра, через два года — сын Михаил, а в 1862 — второй сын, Алексей.

По совету жены, женщины незаурядной и волевой, в мае 1859 семья переехала в Воронеж, где Суворин стал преподавать в уездном училище и нашел близкую себе среду. Речь идет о кружке, группировавшемся вокруг литератора и издателя Михаила Федоровича Де-Пуле, в который входили И.С.Никитин, Н.И.Второв, И.А.Придорогин, И.С.Милошевич и др. Особенно близко Суворин сошелся с поэтом Никитиным и почти ежедневно просиживал часами в его книжной лавке. Плодом сотрудничества членов кружка стал альманах «Воронежская беседа на 1861 год», в котором Суворин поместил рассказы «Гарибальди» и «Черничка». Первый из них имел успех у публики, благодаря публичному чтению его артистом Малого театра Провом Садовским. Но демократическая критика отнеслась к опусам Суворина настороженно. «Это не сатира, — писал Н.Шелгунов, — а что-то такое может быть и смешное, но в сущности неверное, искусственное, исключаящее народ и рисующее его совсем не таким, каким он есть»<sup>12</sup>.

Де-Пуле через своих московских друзей рекомендовал Суворина издательнице газеты «Русская речь» Елизавете Васильевне Салиас де Турнемир, родной сестре драматурга А.В.Сухово-Кобылина, писавшей под псевдонимом Евгения Тур. Корреспонденции Суворина ей настолько понравились, что она предложила ему место секретаря редакции и «сотрудничество по критической части». («Русская речь» выходила два раза в неделю с января 1861).

На переезд в Москву Суворин решился не сразу, его с большим трудом уговорила жена. Колебания Суворина вполне объяс-

<sup>12</sup> Языков Н. [Шелгунов Н.] Теперешний интеллигент // Дело. 1875. №10. С.98.

ними. Живя в Воронеже, он преподавал в уездном училище и двух частных женских пансионах, давал частные уроки. Вступая же на стезю профессионального литератора, он лишался гарантированного заработка<sup>13</sup>.

Перед самым отъездом в Москву, 25 июля 1861, Суворин получил чин губернского секретаря и, уже живя в Москве, 29 ноября 1861 был уволен от службы по болезни.

Переехав в Москву, Суворин поселился во флигеле небольшого дома издательницы на Большой Садовой близ Сухаревской площади, против дома Ермолова, в том самом флигеле, в котором до него с семьей жил Н.С.Лесков. Неожиданно для себя Суворин оказался в центре литературной жизни второй столицы. Не располагая сколько-нибудь значительными средствами, издательница «Русской речи», используя свои в прошлом тесные связи с Н.И.Надеждиным и И.И.Панаевым, умудрялась принимать весьма широкий круг литераторов. «В маленькой ее квартире можно было постоянно встретить Грановского, Кудрявцева, И.С.Тургенева, В.П.Боткина, А.Д.Галахова и других... И боже мой, как любила она говорить! Это была для нее жизненная потребность, необходимое условие ее существования», — вспоминал один из ближайших ее сотрудников Е.М.Феоктистов<sup>14</sup>.

Оказавшись в Москве, Суворин сразу почувствовал ветер надвигающихся перемен. В его рассуждениях появились такие нотки, что они вызвали недоуменный вопрос Де-Пуле: «Вы-то кто? Я, ей-богу, не пойму /.../ По последнему письму, [Вам] нужно прямо отправляться в лагерь "Современника"»<sup>15</sup>. На что через неделю последовал весьма определенный ответ адресата: «Я не принадлежу по своим убеждениям ни к конституционалистам, ни к красным, ни к Каткова партии, ни к партии Чернышевского, ни к партии "Времени". Вас, конечно, это может удивить, а я не знаю, сумею ли я объяснить, к какой же собственно партии я принадлежу?»<sup>16</sup>.

О том, что Суворин не уваливал от ответа, а с полным основанием отвел обвинения в радикализме, свидетельствует восприятие его статей другим участником кружка — И.С.Никитиным. «Щелчок, данный Вами "Современнику", — писал он Суворину,

<sup>13</sup> Суворин А.С. Письма к М.Ф.Де-Пуле / Публ. М.Л.Семановой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1979 год. Л., 1981. С.115.

<sup>14</sup> Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы: 1848-1869. Л., 1929. С.366-367.

<sup>15</sup> Цит. по: Суворин А.С. Письма к М.Ф.Де-Пуле. Указ. изд. С.123.

<sup>16</sup> Там же. С.145.

— довольно ловок и силен, он мог бы быть и сильнее; вообще видно, что Вы торопились»<sup>17</sup>.

В статье, которую имеет в виду Никитин, речь шла о «нигилистическом» направлении журнала, стремлении поносить все и вся, поскольку невеждам всегда нравится ругать то, в чем они не разбираются, спорить о том, чего не понимают, и охаивать все то, что создается другими. По словам Суворина, в «Современнике» нет «ничего, вызывающего на размышления, заманчивые заголовки статей и только... Рубрики существуют бог знает для чего. Это вывески над "лавочками", в которых именно нет того, что обозначено на вывеске»<sup>18</sup>. И в то же время в статье ошутимо сочувствие журналу, поддержка его направления, которое редакция вынуждена проводить «побочными путями». Он высоко оценивает роль и талант Чернышевского и Добролюбова, но явно с чужих слов определяет место Некрасова в руководстве журнала. Однако, боясь даже подозрений в симпатиях к «Современнику», заявляет, что не принадлежит к его «почитателям», а смотрит на журнал «беспристрастно», как на «необходимое явление».

Видимо, под влиянием книги маркиза де Кюстина вырабатывается идеал Суворина — ограниченная монархия при равноправии граждан. Он не разделяет взглядов славянофилов, которые «желают сохранения целиком старых государственных начал и отвергают европейскую цивилизацию». В то же время он «не поклонник "Современника", не поклонник "Рус[ского] вестника", а поклонник старых государственных начал, просветленных европейской цивилизацией и наукой, с некоторой долей социализма»<sup>19</sup>.

Несмотря на противоречивость приведенных высказываний и их нарочитую аффектацию, по ним можно судить, что выше всего Суворин ценит в журналисте убежденность и независимость.

Был ли до конца искренен Суворин в своей исповеди Де-Пуле, судить трудно, тем более, что он не мог исключать возможность прочтения писем «почтовыми цензорами»<sup>20</sup>. И как в воду глядел! Его письмо от 7 мая 1861, в котором он сообщил своему адресату о совещании журналистов у Каткова с участием Чернышев-

<sup>17</sup> Ласунский О.Г. И.С.Никитин и молодой А.С.Суворин. Указ. изд. С.50-51.

<sup>18</sup> Сухарев Ал. [Суворин А.С.] Нечто о лавочках журнала «Современник» // Русская речь. 1861. №54. С.31-32 (авторство Суворина установлено О.Г.Ласунским). Следует отметить, что издательница журнала до начала сотрудничества Суворина пользовалась псевдонимом В.Сухарев (образованным от названия Сухаревской площади, вблизи которой находился ее дом).

<sup>19</sup> Суворин А.С. Письма к М.Ф.Де-Пуле. Указ. изд. С.146, 169.

<sup>20</sup> Там же. С.132.

ского и событиях в Польше, оказалось не в архиве Де-Пуле, а в руках полиции. Высказанные в нем мысли кардинально отличаются от взглядов, пропагандируемых впоследствии его газетой «Новое время». «В Польше, — писал Суворин, — делались такие ужасы, которых вы себе представить не можете. Все лучшие люди здесь сочувствуют полякам и желают совершенно отторжения Польши. Ведь она нам-то собственно никакой выгоды не приносит, потому что для Польши Россия собственно держит 200 т[ысяч] войска. Вы не этого мнения. Не знаю, почему Вы держитесь за Польшу, словно это невесть какой лакомый кусочек для России»<sup>21</sup>. К сказанному остается добавить, что и более ранние публикации Суворина, помещенные в петербургской газете «Русский дневник» (январь — июль 1859), носили резкий, обличительный характер, говорили о дикости провинциальных нравов, казнокрадстве и злоупотреблениях властей, из-за чего, собственно, ему и пришлось просить редактора газеты П.И.Мельникова-Печерского печатать их анонимно<sup>22</sup>.

После закрытия «Русской речи» в начале 1862 (из-за недостатка подписчиков), Суворин не сошел с журналистской стези. Оставшись без постоянных заработков, он по предложению председательницы Общества по распространению полезных книг графини А.П.Строгановой взялся написать цикл популярных брошюр «Рассказы по русской истории» и подготовил три книжки: «История смутного времени», «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири», «Боярин Матвеев». Первая была запрещена министром внутренних дел весной 1862 года<sup>23</sup>. Гнев свыше навлекла и третья брошюра, вышедшая в 1864. В следующем году Министерство народного просвещения безвозмездно разослало ее по народным училищам. На беду Суворина ею заинтересовался черниговский архиепископ Филарет. По его мнению (которое он весьма резко высказал в письме к товарищу министра народного просвещения И.Д.Делянову) книгу Суворина следовало немедленно изъять, так как она «гасит в народе любовь к православию, верноподданнические чувства и проповедует женскую эмансипацию». В результате в июне 1866 Министерство просвещения направило в учебные округа специальное письмо, в котором рекомендовало изъять из обращения книгу<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> ГАРФ. Ф.109. Оп.1. Ед.хр.1974. Л.1.

<sup>22</sup> РНБ. Ф.37. Оп.1. Ед.хр.754. Л.1.

<sup>23</sup> РНБ. Ф.391. Оп.1. Ед.хр.743. Л.453.

<sup>24</sup> ИРЛИ. Ф.265. Оп.2. Ед.хр.4680. Л.1-2. Переписка Филарета с И.Д.Деляновым опубликована в «Черниговских епархиальных известиях» (1868. №14. 15 июля).

Либералы восторженно приняли брошюру «Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири» (М., 1863). «Книга г.Суворина найдет без сомнения многочисленных читателей», — писал рецензент «Вестника Европы». В особую заслугу автору ставилось то обстоятельство, что он, не ограничиваясь биографией героя, «пользуется каждым удобным случаем, чтобы изобразить внутреннюю картину того общественного строя, среди которого совершалась его деятельность». В противовес подобным высказываниям близкий к демократическим кругам журнал «Учитель» уверял читателя, что «ничего, кроме торжества грубой физической силы и хитрости» он не найдет в книге, на страницах которой «насилие, обман и несправедливость выставляются как похвальные качества, как героизм»<sup>25</sup>.

Еще будучи сотрудником «Русской речи», Суворин печатался в демократической газете «Современное слово», «Современнике», «Отечественных записках» А.А.Краевского, журнале братьев Достоевских «Время». Даже в журнале «Ясная Поляна» Л.Н.Толстого промелькнула его фамилия. Имя его получило некоторую известность в литературных кругах, но найти постоянную работу в Москве он не мог. Однако были весьма выгодные предложения из Петербурга: вначале от Краевского — стать секретарем заемаемой им газеты «Голос», а затем еще более привлекательное — от редактора «Санкт-Петербургских ведомостей» В.Ф.Корша — занять там аналогичный пост.

Впоследствии Суворин объяснял свой выбор принципиальными причинами. На самом деле все обстояло значительно проще. Приехав летом 1862 в Петербург, он обо всем договорился с Краевским. Но, как потом, оправдываясь, писал последнему, его «сбили с толку наши переговоры, вяло тянувшиеся». Поэтому, получив от Корша «деньги вперед», за день до того как пришли «подъемные» от Краевского, он изменил своему первоначальному намерению и принял предложение редактора «С.-Петербургских ведомостей». Так, по крайней мере, он сам объяснял свое решение в октябре 1862 года<sup>26</sup>. На самом деле Суворин, вероятно, вел переговоры одновременно с двумя «хозяевами». Выпало на Корша.

Сотрудничество Суворина в «С.-Петербургских ведомостях» продолжалось двенадцать лет, с 1863 по 1874. Поначалу его обязанности ограничивались чтением корректур статей второстепенных отделов газеты, затем на него были возложены сношения с цензурой. Он поместил на страницах газеты более 400 фельето-

<sup>25</sup> Вестник Европы. 1866. №4. С.32-33; Учитель. 1863. №19. С.929.

<sup>26</sup> См.: РНБ. Ф.391. Оп.1. Ед.хр.743. Л.458-460.

нов и множество заметок. Особой популярностью пользовались его воскресные «Недельные очерки и картинки», подписанные псевдонимом Незнакомец. Объем работы был чрезвычайно велик, а жалованье в 2000 руб. в год — явно мало. Волей-неволей пришлось с 1864 вести «Журнальные биографические заметки» в «Русском инвалиде», а с 1869 по 1872 сотрудничать в «Вестнике Европы»: на страницах этого журнала, например, была опубликована его статья «Историческая сатира» (1871. №4), направленная против «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина.

Современники по-разному объясняли успех Суворина-фельетониста. С.А.Венгеров считал, например, что Суворин восстал «против того ложного идеализма, который близко граничит с нелестным пониманием жизни, не признавая многого в деятельности людей сороковых годов, г.Суворин горячо стоял, однако же, за искусство, как возвышающий элемент, как предмет настолько же поучительный и важный при образовании общества, как и естественные науки... Как нельзя более убежденный в том, что еггаге humanum est [человеку свойственно ошибаться (*лат.*)]. — Е.Д.), он находит смешные стороны и в реальном, и в идеальном направлении и, эмансипируясь от полного порабощения одного из этих направлений, становится посредине и потому очень нравится читающей публике. Повторяем, тут не замешан пошлый принцип *juste milieu* [золотой середины (*франц.*)]. — Е.Д.), в силу которого люди мирятся с самыми вопиющими мерзостями общественной жизни, всегда находя лазейку для сделок со своею совестью. Г. Суворин вовсе не пошляк этой категории»<sup>27</sup>.

Однако были и иные мнения. «Корш в своих корректных "С.-Петербургских ведомостях" завел себе воскресного забавника, — писал П.Д.Боборыкин, — который тогда мог сказать про себя, как Загорецкий, что он был "ужасный либерал". Его обличительные очерки были тогда исключительно направлены на дореформенную Россию, и никто не проявлял большей бойкости и литературного таланта среди его газетных конкурентов. Все, кто жадно читал втихомолку "Колокол", — довольствовались вьявь и тем, что удавалось фельетонисту "Петербургских ведомостей" заменивать на ходячую, подцензурную монету»<sup>28</sup>. Сам же Суворин следующим образом оценивал свою деятельность в «С.-Петербургских ведомостях»: «Я ошибался часто, я брал фальшивые ноты, но я был всегда человеком искренним и любящим литерату-

<sup>27</sup> Венгеров С.А. Русская литература в ее современных представителях. СПб., 1875. Ч.1. С.15.

<sup>28</sup> Боборыкин П.Д. Воспоминания. М., 1965. Т.1. С.284.

ру, не ради только тех материальных средств, которые она приносит, а ради тех радостей, того горя, тех волнений, тех бессонных ночей, проводимых наедине с бумагой и пером, ради всего того, что поддерживает нравственную жизнь, что обещает и манит в будущем, что торопит жить и чувствовать и не дает ни спуститься, ни заснуть»<sup>29</sup>.

Коршевские «С.-Петербургские ведомости» не только составили имя Суворину, но и во многом определили круг его знакомств, создали ему положение в обществе и журналистике. Суворин по праву считался ведущим сотрудником газеты. В его фельетонах находила отражение внутренняя жизнь страны, проблемы развития промышленности и сельского хозяйства, железнодорожное строительство, финансовые спекуляции и связанные с ними скандалы, городская жизнь столицы. Он выступал и как публицист, полемизируя с противниками из консервативного лагеря, естественно, в пределах дозволенного цензурой, а иногда и выходя из них.

Под собственной фамилией, чаще — под псевдонимами или анонимно он писал о проблемах литературы и особенно часто о театре. Как летописец русского театра он оставил множество чрезвычайно ценных свидетельств и указаний об игре выдающихся артистов. Общеизвестно, что его театральные статьи 1860-1870-х годов содержат глубокую характеристику драматического репертуара того времени.

Сотрудничая в газете, Суворин близко сошелся с товарищем юности Салтыкова-Щедрина Владимиром Ивановичем Лихачевым и его женой Еленой Осиповной, известными в будущем общественными деятелями. В дальнейшем это знакомство сыграло важную роль в его жизни (о чем подробнее будет сказано ниже). Не без помощи Суворина одним из ведущих сотрудников «С.-Петербургских ведомостей» стал В.П.Буренин, с которым он познакомился еще в Москве.

Позиция «С.-Петербургских ведомостей» и сомнительное в глазах властей окружение Суворина определили их отношение ко всем его последующим начинаниям, особенно когда он, надеясь на внимание публики, занялся издательской деятельностью.

«Временные правила о печати» 1865 г. освобождали книги объемом свыше десяти печатных листов от предварительной цензуры, хотя и не избавляли авторов и издателей от кары, налага-

---

<sup>29</sup> Незнакомец [Суворин А.С.] Недельные очерки и картинки // С.-Петербургские ведомости. 1874. 29 дек.



емой в судебном порядке, или мер административного воздействия. Их и довелось испытать Суворину, когда он в 1866 издал книгу под названием «Всеякие: Очерки современной жизни» (значительная ее часть печаталась во втором полугодии 1865 в «С.-Петербургских ведомостях»). Книга вызвала первый в истории русской журналистики открытый судебный процесс и немало способствовала тому, что за Сувориным укрепилась репутация человека, пострадавшего за правое дело. По его словам, именно этому событию Некрасов посвятил известное стихотворение «Пропала книга»<sup>30</sup>.

Книга вышла под весьма прозрачным псевдонимом А.Бобровский. В цензуру она поступила 4 апреля 1866 — в тот самый день, когда Каракозов стрелял в Александра II.

«Я задался мыслью снять несколько те черные краски, которые положены на так называемых нигилистов такими мерзавцами, как Лесков (Стебницкий)», — писал Суворин о назначении книги одному из своих адресатов, имея в виду роман Лескова «Некуда»<sup>31</sup>. Таковой представлялась цель книги и ее современникам.

Вечером 4 апреля, когда появились слухи, что стрелявший — помещик, недовольный реформой, Суворин решил не подливать масла в огонь и не «разжигать ненависти» к дворянскому сословию; поэтому он сразу отказался от мысли давать объявление о книге. Обратившись вновь к председателю Главного управления по делам печати М.П.Щербинину, Суворин просил его взвратить книгу для переделки. Выяснив же, что тот не внял его просьбе, заявил «о своем намерении не выпускать книгу в настоящее время». Лишь после того, как он узнал, что против него возбуждено дело, Суворин обратился с письмом к министру внутренних дел. Он просил министра разрешить переделать вторую часть книги (первая, по его мнению, была «лишена политического характера») или, уничтожив книгу, приостановить преследование. Но делу уже был дан ход. За два дня до описываемых событий Щербинин послал запрос о благонадежности Суворина управляющему III Отделения Н.В.Мезенцеву, мотивируя свою просьбу тем, что его сочинение «изображает под прикрытием прозрачного и легко доступного пониманию вымысла личности людей, осужденных у нас как государственные преступники, возбуждает в читателе симпатии к этим личностям и той среде, которая известна у нас под именем "нигилистов", и предполагает между прочим точный рассказ и исполнение судебного приговора над Чернышевским /.../ а равно заключает в себе умышленно враждебное сопостав-

<sup>30</sup> См.: Суворин А.С. Дневник. М.; Пг., 1923. С.245.

<sup>31</sup> Суворин А.С. Письма к М.Ф.Де-Пуле. Указ. изд. С.181.

ление высших и низших классов общества, пропаганду коммунистических, социалистических и материалистических теорий и отрицает необходимость брака»<sup>32</sup>.

Ничего особо предосудительного о Суворине III Отделение сообщить не могло, так как он не состоял под надзором полиции. Тем не менее в ответе указывалось, что Суворин придерживается «в политическом отношении крайних убеждений»<sup>33</sup>. Обладая достаточной для этого властью, министр внутренних дел П.А.Валуев мог не возбуждать дела, но Суворин все же был привлечен к дознанию. Он признал справедливость части выдвинутых против него обвинений, но отрицал документальный характер изображенных в повести событий и всячески подчеркивал, что речь идет о художественном произведении. В так называемых «нигилистах» он не видел людей, способных повести за собой Россию. Борьбаться с ними, по его мнению, следовало не грубым очернительством, а развенчанием пропагандируемых ими идеалов. «Мне казалось более целесообразным выставить человека честного, искренно преданного своим убеждениям, и на нем показать всю тщетность и непригодность дорогих ему теорий», — объяснял он Валуеву суть поставленных им перед собой задач<sup>34</sup>.

Здесь важны упоминания о Самарском, в котором цензура без особого труда узнала Н.Г.Чернышевского. В книге говорилось о нем как о человеке, достойном уважения, хотя и ошибающемся, но страдающем за свои убеждения. С явной симпатией был обрисован и главный герой книги «нигилист» Ильменев. Видя, что народ остается равнодушным к идеям «нигилистов», он приходит к выводу о бессмысленности революционной борьбы. Насторожили цензуру не столько образы нигилистов, сколько то, какими приемами изображался противоборствующий лагерь.

На суде Суворин и его адвокат К.К.Арсеньев, в будущем академик и известный либеральный критик, пытались всячески доказать, что «отзывы, которые выражаются о Самарском в книге, уважение к нему никак не могут быть приписаны лично автору, а разве только тем лицам, которые действуют в повести». И наоборот, устами ее героев, изъясвивших «чувства благодарности к государю», «высказаны собственные мысли автора»<sup>35</sup>.

Оправдываясь, Суворин так или иначе вынужден был бы скрывать свои симпатии к Чернышевскому, но его последующие

<sup>32</sup> Шестидесятые годы. М.; Л., 1940. С.406.

<sup>33</sup> РГАЛИ. Ф.459. Оп.2. Ед.хр.686. Л.11. (Копия дела №145. О книге «Всякие», изданной Алексеем Сувориным).

<sup>34</sup> Шестидесятые годы. Указ. изд. С.406.

<sup>35</sup> Новые русские уголовные процессы. Т.1. СПб., 1868. С.107, 100, 110.

высказывания подтверждали то, что он говорил на суде. Значительно позднее описываемых событий, когда никто не тянул его за язык, он посчитал необходимым вновь коснуться этого вопроса. Суворин утверждал, что никогда не испытывал пиетета перед опальным писателем и не понимает, почему его роман «Что делать?» оказал такое внимание на современников. «Я не читал этого романа всего, — признавался Суворин, — а лишь отрывками, да и то 15 лет тому назад. Тогда роман показался мне скучным, деланным; помню только, что хвалили изображение матери Веры Павловны, и все смеялись над алюминиевыми дворцами /.../ Вообще литературные кружки не придавали значения роману и никак не предвидели, что он делается каким-то евангелием у молодежи /.../ Автор романа, сделавшись политическим ссыльным, вышел из ведения критики самим этим фактом. Произведение его существовало и приобретало поклонников именно потому, что оно явилось среди исключительных обстоятельств и принадлежало лицу, исключенному из общества, осужденному законом»<sup>36</sup>.

Когда был искренен Суворин: сочувственно изображая Самарского во время его гражданской казни или недоумевая по поводу причин успеха романа Чернышевского? Пытаясь уверить читателя в тщетности усилий молодого поколения поколебать строй и в несостоятельности идей революционной демократии, или рисуя мрачными красками российскую действительность? Возможно, неопределенность позиции автора и дала основание Некрасову в своем стихотворении усомниться в том, какой идее служила уничтоженная книга. Но прокурор судебной палаты Н.О.Тизенгаузен в этом отношении не испытывал никаких сомнений. В задержанной книге он видел «политический памфлет, имеющий целью возбудить в обществе сочувствие к таким идеям и стремлениям, которые стоят в прямом противоречии /.../ с требованиями политических законов государства». Поскольку в стремлении доказать свою правоту каждая из сторон по-своему трактовала одни и те же факты, ему ничего не оставалось, как заявить, что рассматриваемое сочинение написано весьма двусмысленно<sup>37</sup>. В чем, на наш взгляд, он был прав. Число претензий к Суворину и степень их строгости уменьшались по мере прохождения дела от инстанции к инстанции. Главное управление по делам печати даже опротестовало решение Окружного суда, который, по мнению цензуры, не принял во внимание ряд выдвинутых против Суворина

<sup>36</sup> Незнакомец [А.С.Суворин]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1879. 11 марта.

<sup>37</sup> Новые русские уголовные процессы. Указ. изд. С.102, 104.

обвинений. А приговор Петербургской судебной палаты оказался столь мягок, что вместо двух месяцев ареста, которые ему первоначально грозили, автор «Всяких» был приговорен к трем неделям гауптвахты<sup>38</sup>.

Неожиданно для себя Суворин стал героем дня, легендарной личностью. Неизвестные «доброжелатели» поспешили сообщить в III Отделение самые невероятные слухи о нем. Один из них доносил 5 января 1867, что «автор книги "Всякие. Очерки современной жизни" губернский секретарь Суворин, арестованный по суду на гауптвахту, содержится там по обыкновению в общей палате и распространяет вредные идеи между арестованными офицерами». Однако после проведенного расследования выяснилось, что среди лиц, содержащихся на гауптвахте, Суворин никогда не значился. Оскандалившийся агент, оправдываясь, доносил 11 января, что «в слухе о Суворине, как теперь оказывается, произошла ошибка: он еще на свободе и даже был в Земском собрании. О слухе этом было доложено в том только внимании, что он доходил из нескольких источников». В другой справке, сохранившейся в делах этого же ведомства, сообщались еще более страшные вещи: «Находясь под арестом, Суворин склонял на свою сторону артиллерийского офицера Баранцовского, который впоследствии эмигрировал» (Баранцовский содержался на гауптвахте за упущения по службе). Правда, аттестуя окружение Суворина как лиц «исключительно либерального направления», III Отделение вряд ли ошибалось<sup>39</sup>.

В конечном счете ареста Суворин избежал, но весь тираж его книги был уничтожен, и лишь в 1907 он переиздал ее.

Революционный террор и правительственные репрессии существенно изменили умонастроение Суворина. Исповедуясь Де-Пуле, он писал 13 мая 1866: «Этот негодный Каракозов испортил нам всю жизнь. До этого жилось лучше, покойнее, верилось в будущее. /.../ Нигилисты всегда мне были не по нутру, но теперь они стали противней всякой горькой редьки, и бессодержательность их выразилась необыкновенно ясно. Я в последнее время совсем славянофилом стал и даже к конституции восчувствовал омерзение»<sup>40</sup>. А через несколько лет (30 июня 1870), находясь за границей, он напишет знакомому: «Во Франкфурте я видел два номера "Колокола" — это дрянь беспримерная. Огарев тоскует о

<sup>38</sup> РГИА. Ф.1405. Оп.64. Ед.хр.6283. Л.1-6; Ф.777. Оп.2. Ед.хр.55. Л.23-25; Ед.хр.2. Л.314-315. Сборник сведений по книжно-литературному делу за 1866 год. М., 1867. Ч.2. С.78-136.

<sup>39</sup> ГАРФ. Ф.109. Секретный архив (далее —СА). Оп.1. Ед.хр.2049. Л.5, 7, 9, 11.

<sup>40</sup> Суворин А.С. Письма к М.Ф.Де-Пуле. Указ. изд. С.183.

необходимости тайного общества, другие ругают Герцена. Впрочем, кажется, он прекратился, ибо №7 и следующих я нигде достать не мог /.../ Вообще эта газета производит впечатление грустное, и из того, что я слышал об эмиграции нашей, можно заключить, что, если бы была амнистия, большая часть ее вернулась бы домой и стала бы покойными гражданами»<sup>41</sup>. Печатно в этом духе Суворин пока что предпочитал не высказываться, однако тон его фельетонов стал значительно менее резким. Лишь трижды до окончания коршевской аренды «С.-Петербургских ведомостей» его фельетоны вызвали широкий резонанс. Речь идет о знаменитом «Письме к М.Н.Каткову», литературном портрете «Павел Михайлович Леонтьев» и фельетоне «Обед у В.А.Полетики». В последнем он писал, что успехи отечественной промышленности зависят не от усиления покровительственной политики правительства, как уверял Н.И.Путилов, а от того, насколько скоро государство освободит русское общество «от темного наследства разных стеснений в экономической жизни»<sup>42</sup>.

Эту перемену в направлении суворинского творчества сразу отметили коллеги-журналисты. Его давний знакомый по «Русской речи» В.А.Слепцов писал в цикле фельетонов «Новости петербургской жизни» (1867) в «Женском вестнике» о превращении Суворина в Ивана Флюгарина, лакея, пуделя: «Я вспомнил одну собаку. Она была во время своей молодости хорошая, честная и полезная собака. Но она отъелась, зажирнела и обратилась в комнатного жирного пуделя, пользовавшегося лаской барина»<sup>43</sup>. Правда, далеко не все современники были согласны со Слепцовым в определении начала эволюции Незнакомца. Например, К.К.Арсеньев считал, что «судебный приговор — не отличавшийся, впрочем, той суровостью, какая вошла в моду в наши дни, — не оставил Суворина на избранной им дороге; наоборот, никогда он не восставал так энергично против лозунгов "назад" или "ни с места", как в "Недельных очерках и картинках", появлявшихся в конце шестидесятых и начале семидесятых годов. Мишенью для Незнакомца служили тогда представители узкого "охранительства", тупого обскурантизма и черствого, близорукого национализма, все больше и больше заполнявших тогда политическую сцену /.../ Крутой поворот к худшему в его положении совпал с кульминационным пунктом его славы»<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> ГАРФ. Ф.109. СА. Оп.1. Ед.хр.183. Л.1.

<sup>42</sup> Суворин А.С. Очерки и картинки. Кн.1. СПб., 1875. С.51.

<sup>43</sup> Литературное наследство. Т.71. М., 1963. С.246.

<sup>44</sup> Арсеньев К. Две смерти // Вестник Европы. 1912. №9. С.422-423.

Преследования «Всяких» не заставили Суворина отказаться и от литературно-издательской деятельности. В конце 1866 вышла его книжка с весьма примечательным заглавием: «Русские замечательные люди. Рассказы. I. Патриарх Никон. II. Ермак, покоритель Сибири. III. Боярин Артамон Сергеевич Матвеев. 2-е исправленное и дополненное издание» (СПб., 1866. 191 с.). Книга должна была начать серию подобных изданий (в рекламе на обложке сообщалось, что готовятся к печати книги «Богдан Хмельницкий и присоединение Малороссии», «Гетман Иван Степанович Мазепа» и «Князь Александр Данилович Меншиков»). Однако этим планам не суждено было осуществиться. Хотя, учтя ситуацию, Суворин существенно переработал свои исторические рассказы, III Отделение 8 февраля 1867 рекомендовало впредь воздержаться от распространения одного из них («Боярин Матвеев»). Уже через три недели последовало распоряжение Министерства народного просвещения подопечным учреждениям прекратить дальнейшее распространение книги, «вследствие чего Комитет грамотности исключил ее из своего каталога»<sup>45</sup>. Формально книга не была запрещена (для этого не было никаких оснований), но главные покупатели — народные библиотеки и училища — лишились права на ее использование. Понимая, что подобным образом могут быть перекрыты пути для распространения и остальных книжек серии, Суворин отказался от ее продолжения. Но не от мысли о собственном издательстве. Правда, для реализации задуманного проекта пришлось закамуфлировать свое участие в этом начинании. Официальными владельцами фирмы стали жены Суворина и Лихачева, но истинным ее руководителем был сам Суворин. Издательство носило просветительский характер и имело ярко выраженную демократическую направленность. Уже первые выпущенные им книги вызвали недовольство властей (например, вятский губернатор требовал запрещения книги Жюль Верна «Путешествие к центру Земли», в которой он усмотрел противоречия со Святым Писанием). Цензура пыталась вопреки уставу запретить монографию Ф. Минье «История французской революции» (СПб., 1866-1867. Ч.1-2), и только благодаря связям В.И. Лихачева удалось преодолеть этот барьер. Но особые баталии разыгались вокруг небольшой хрестоматии для детей, составленной из произведений известных русских и зарубежных писателей, «тенденциозно», по мнению цензуры, освещающих положение низших классов и тем самым противопоставляющих их высшим. Книга вышла в 1866 и имела весьма витиеватое название: «Для чтения.

<sup>45</sup> ГАРФ. Ф. 109. С. А. Оп. 1. Ед. хр. 2049. Л. 10-15.

Сборник повестей, рассказов, стихотворений и популярных статей для детей всех возрастов», но это обстоятельство не помешало критикам уловить ее направление.

Выпавшие на долю издательства, а вернее, Суворина, испытания заставили его быть более осторожным. Книги, выходявшие в дальнейшем под маркой этой фирмы, носили чисто популяризаторский характер и не вызывали опасений властей. Однако из-за последовавшей вскоре трагической гибели А.И.Сувориной деятельность издательства прекратилась.

Невольно напрашивается вопрос: что заставило Суворина, человека весьма честолюбивого, держаться в эти годы в тени? Скорее всего, свойственная ему осторожность. Боязнь гнева власть предержащих, надежда на их снисходительность к дамам-издательницам, на что он, как весьма популярный публицист, рассчитывать никак не мог.

Была, впрочем, еще одна причина, из-за которой Суворин предпочитал до времени оставаться в тени. В 1868 он задумал издавать совместно с В.И.Лихачевым ежегодник. В своих планах они шли еще дальше, мечтая о журнале или даже газете. Ежегодник должен был стать как бы пробой сил, но только в октябре следующего года Суворин решился приступить к его подготовке. Обращаясь за помощью к редактору «Правительственного вестника» Г.П.Данилевскому, он писал, что предполагает выпускать календарь универсального характера, состоящий из ряда разделов, посвященных литературе, искусству, политике, деятельности администрации, «фельетонного обозрения года», анекдотов и т.д. От адресата же он надеялся получить конфиденциальные сведения, касающиеся как отдельных лиц, так и редакции<sup>46</sup>. На сбор и обработку материалов ушло практически два года. Впервые «Русский календарь» вышел в конце 1871 (на 1872).

В предисловии к нему составитель писал, что рассматривает свое издание как справочную книгу, содержащую полный круг «сведений о России и данных для ознакомления с ее фактическими, экономическими и нравственно-политическими средствами в наличном их состоянии и причем сравнительно с такими же силами остальной Европы»<sup>47</sup>. Успех календаря превзошел все ожидания. Его появление было благосклонно встречено различными кругами русского общества. «Отечественные записки» аттестовали суворинское издание как «первый опыт хорошего, осмысленного календаря /.../ В календаре Суворина прежде всего выступает

<sup>46</sup> РНБ. Ф.236. Оп.1. Ед.хр.154. Л.1.

<sup>47</sup> Русский календарь на 1872 год. СПб., 1871. С.1.

систематизация разработки сведений и выбор их. Читатель получает не просто голый факт, но и удовлетворительную его монографию, из которой узнает, каким путем добыта приведенная в календаре цифра, и, так сказать, осязательным образом убеждается, что цифре этой следует верить не потому, что она напечатана в календаре, но потому, что она взята из достоверных источников и потом проверена практически»<sup>48</sup>.

Подобного же мнения держался и И.С.Аксаков, писавший Суворину в августе 1872: «Календарь Ваш пользуется вполне заслуженным успехом и лежит у меня на столе постоянно»<sup>49</sup>.

Успех издания позволил Суворину более четко определить не только его структуру, но и направление. Характеризуя «Русский календарь», он писал известному педагогу и либеральному земскому деятелю П.А.Корфу: «Служа справочною книжкою по разным вопросам внутренней и внешней политики, календарь должен вместе с тем служить пропаганде честных нравственных идей. Изложение статей должно быть популярно, так, чтобы календарь годился и грамотному крестьянину». Корф горячо поддержал идею Суворина и рекомендовал «обратить преимущественное внимание на провинцию», в которой еще многим «календари служат справочной книгой». Одновременно он предлагал «расширить статистический и справочный отделы» и обязательно поместить на его страницах важнейшие узаконения, имеющие для массы населения чисто практическое значение<sup>50</sup>.

Второй выпуск «Русского календаря» (на 1873 год) принес Суворину немало огорчений. Как свидетельствует А.В.Никитенко, над календарем нависла угроза уничтожения. Издателю пришлось исключить из него некролог Д.Мадзини и статью о росписи государственных расходов и окладов, получаемых «высокопоставленными лицами», и только после этого он вышел в свет<sup>51</sup>.

Сведения, сообщенные Никитенко, подтверждаются и письмом А.Яснопольского от 19 октября 1872, которое сохранилось в делах III Отделения: «Календарь Суворина сначала хотели было предать огню, — сообщал Яснопольский, — но потом смиловались в уважении недостаточного состояния издателя»<sup>52</sup>. По воспоминаниям Суворина, эта акция была осуществлена по личной инициативе М.Н.Лонгинова, возглавлявшего цензурное ве-

<sup>48</sup> Русский календарь на 1872 год А.Суворина // Отечественные записки. 1871. №12. С.224-225.

<sup>49</sup> Письма русских писателей к А.С.Суворину. Л., 1927. С.7.

<sup>50</sup> Русская старина. 1894. №4. С.95; РГАЛИ. Ф.459. Оп.1. Ед.хр.2000. Л.1.

<sup>51</sup> См.: Никитенко А.В. Дневник. Т.3. М., 1956. С.259-261.

<sup>52</sup> ГАРФ. Ф.109. СА. Оп.1А. Ед.хр.2142. Л.1-2.



домство. Он стороною дал Суворину знать, что лучше всего ему заново составить календарь, а об арестованном оставить «всякое попечение, ибо несомненно он будет уничтожен». Его доклад в Комитет министров был уже подготовлен и даже представлен министру внутренних дел, когда последний усомнился в целесообразности предложенной меры. Переменив свое первоначальное мнение, он велел выпустить календарь с теми изменениями, которые найдет необходимыми Лонгинов. Суворин, по его словам, так и не узнал, кто выступил в роли ангела-хранителя, поскольку в стенах министерства находил поддержку лишь у правителя канцелярии Л.С.Макова, фигуры в тот момент не очень-то влиятельной.

Как бы то ни было, Лонгинов был жестоко оскорблен таким поворотом дела. В отместку он заставил Суворина перенабрать 17 листов печатавшегося пятнадцатитысячным тиражом календаря. Он потребовал изъять из текста «самые общеизвестные истины, самые банальные цифры сравнений России с иностранными государствами, заимствования из бюджета о доходах и расходах. Все это было тщательно уничтожено». По его распоряжению были убраны справки о М.Е.Салтыкове-Щедрине, Ю.Ф.Самарине, Н.И.Костомарове, Н.А.Некрасове и др.<sup>53</sup>

Никитенко в уже упоминавшихся записях «Дневника» называл Суворина «беднейшим из бедных литераторов». Как можно судить по сведениям, сообщенным Сувориным в цитированном письме Корфу, прибыль от первого издания календаря действительно была невелика, а расходы по второму оказались больше предполагаемых. Судя по примерной смете, при тираже в 3000 экз. и объеме в 30 печатных листов, расходы по первому выпуску должны были составить более 1000 руб. Цена экземпляра не могла превышать 1 руб., так как приходилось считаться с конкурентами. К тому же книготорговая скидка по календарю обычно составляла 30%. Приступая к изданию календаря, Суворин не мог рассчитывать на значительный барыш; он так и писал Корфу: «Это проба — удастся — хорошо, не удастся — сложу руки»<sup>54</sup>.

Время в известной мере способствовало успеху суворинского начинания. С отменой в 1865 монополии Академии наук на издание календарей их выпуском занялся ряд издателей. Но, как отмечал рецензент «Отечественных записок», ни один из них не обладал ни знаниями Суворина, ни его литературными способностями. Читающая публика, предпочитавшая из-за более низкой цены

<sup>53</sup> См.: Незнакомец [Суворин А.С.]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1880. 14 ноября.

<sup>54</sup> Русская старина. 1894. №4. С.96.

частные календари академическим, вскоре убедилась в несовершенстве многих из них. Суворин же сумел сочетать энциклопедичность, высокие литературные качества материала с дешевой изданием, хотя ему и пришлось в конечном счете отказаться от мысли сделать свой календарь общественно-политическим ежегодником. В первые годы он сам составлял календарь (за исключением астрономического отдела), стараясь разнообразить формы подачи материала. Не удивительно, что календарь уже «в первый год своего существования разошелся вскоре весь до последнего экземпляра и долгое время был библиографической редкостью»<sup>55</sup>.

Хотя Суворин много внимания уделял книгоизданию, но главным его занятием оставалось сотрудничество в «С.-Петербургских ведомостях». Газете (как и Суворину, ведущему ее публицисту) приходилось тогда трудно — она подвергалась критике слева (со стороны демократически настроенных журналистов) и нападкам справа (из правительственного лагеря).

Мнение радикальных критиков сформулировал Г.З.Елисеев: «г. Корш не понял того, что в обществе, которое едва только начинает слагаться, журналистика должна высоко нести свое знамя. Она не должна поддаваться ни на какие компромиссы, постоянно выставлять перед обществом свои высокие идеалы, как зеркало, во всей их неприкосновенности, и ни для кого и ни для чего не смягчать суровости моральных принципов общественной деятельности». По его словам, газета никогда не придерживалась этого положения и мирилась «с разными несообразными явлениями, благословляя все направо и налево»<sup>56</sup>. Перманентное отступничество стало ее характерной чертой. Что же касается правительства, то оно, не вступая ни в какие дискуссии, пренебрегая существующими законами, сделало все возможное, чтобы досрочно отобрать у Корша аренду «С.-Петербургских ведомостей».

Еще в 1870 г. Д.А.Толстой, в те годы обер-прокурор Синода и министр народного просвещения, выступая на заседании Совета Главного управления по делам печати, заявлял, что нельзя терпеть такого положения, когда в газете, издающейся от имени Академии наук, «приютились различные темные литературные личности, и она отличается антинациональным и нередко даже антиправительственным направлением. Ложь, клевета, гаерство и глумление суть излюбленные орудия фельетонистов этой газеты. Суворин, Буренин и другие топчут в грязь лучших наших литературных деятелей. Симпатии свои к врагам России полякую-

<sup>55</sup> Лисовский Н.М. Указ. изд. С.358.

<sup>56</sup> Елисеев Г.З. Сочинения: В 2 тт. Т.1. М., 1894. С.473-474.

щая клика, притаившаяся в этой газете, почти не скрывает, и одно имя Каткова, которого они обвиняют в узком квасном фанатичном патриотизме, приводит сотрудников "С.-Петербургских ведомостей" в крайнее раздражение». В данном случае поводом для цензурных придирок послужил фельетон Суворина о выставке исторических портретов (1870. №74), в котором, по заявлению гр. Толстого, проскальзывала мысль о том, что «люди неблагоприятные почище всех аристократов»<sup>57</sup>.

Но и до этого случая цензура не раз обращала внимание на его фельетоны. В одном из них шла речь о порядках, установленных остзейскими баронами в Прибалтийском крае (1866. №252), в другом говорилось о диких нравах, царящих в стране и приводящих в ужас европейцев, например, когда им становилось известно, что в России «распечатывают и читают письма» (Вестник Европы. 1870. №9). Ничего подрывающего основы строя в этих высказываниях, конечно, не было, поэтому и реакция на них была сравнительно спокойной. В первом случае Петербургский цензурный комитет решил «не возбуждать судебного преследования за неимением достаточных оснований к тому», во втором Совет Главного управления по делам печати решил отнестись «с снисхождением и не принимать против единичного появления их [т.е. непозволительных выпадов. — *Е.Д.*] каких-либо административных мер»<sup>58</sup>. Но определенное мнение о Суворине, и не в его пользу, у властей к началу 70-х годов, безусловно, сложилось. Во всяком случае, сочувствующий ему А.В.Никитенко зафиксировал в дневнике 3 ноября 1872 попытку цензурного ведомства отлучить Суворина от журналистики: «Цензура такие сделала на него [т.е. Суворина. — *Е.Д.*] натиски, что он должен был прекратить свою литературную деятельность по этой части. Итак, эта почти единственная живая струя в газете иссякла от дуновения холодной цензурной бури»<sup>59</sup>. Правда, страхи тогда оказались несколько преувеличенными, вскоре фельетоны Незнакомца вновь появились на газетных полосах.

Трагический для «С.-Петербургских ведомостей» оборот дело приняло в тот момент, когда газетой заинтересовались издатели «Московских ведомостей» М.Н.Катков и П.М.Леонтьев. Используя свои связи с всеильным Д.А.Толстым, они через него добились представления в Государственный Совет предложения о передаче упомянутой газеты в министерство народного просвещения<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> РГИА. Ф. 776. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 117об.

<sup>58</sup> Там же. Ед. хр. 14. Ч. 2. Л. 27, 314.

<sup>59</sup> Никитенко А.В. Указ. изд. С. 257.

<sup>60</sup> См.: Дельвиг А.И. Полвека русской жизни. Т. 2. М.; Л., 1930. С. 545.

Толстой разрешил Коршу редактировать газету только до 1 января 1875. Возможность продолжения аренды оговаривалась правом министра утверждать редактора газеты. Коршу ничего не оставалось делать, как досрочно отказаться от «С.-Петербургских ведомостей». В качестве правительственного чиновника за процессом перехода аренды наблюдал служивший у Толстого литератор Б.М.Маркевич, имевший звание камергера и чин действительного статского советника. Вместо того, чтобы передать аренду в руки заваривших всю эту историю лиц, он за взятку уступил ее владельцу банкирской конторы Ф.П.Баймакову, помещавшему в свое время в этой газете биржевые отчеты. По мнению современников, Баймаков соблазнился возможностью получения казенных и частных объявлений. К тому же он рассчитывал, что прежние сотрудники «С.-Петербургских ведомостей» останутся в газете. Однако случилось непредвиденное: все они, за исключением А.А.Скальковского, заявили о своем уходе.

Редактировать газету согласился популярный исторический романист граф Е.А.Салиас де Турнемир. Предполагалось, что как чиновник ведомства Толстого он сумеет превратить «С.-Петербургские ведомости» в «Московские», если не по названию, то по духу. Но к новой для него роли он оказался совершенно не подготовлен.

Сын издательницы «Русской речи» Евгении Тур, пригласившей в свое время никому не известного провинциала Суворина в первопрестольную, он, следуя фамильной традиции, был не прочь воспользоваться его услугами и на сей раз. В письме к Баймакову он спрашивал последнего, не обратится ли им для спасения газеты к Суворину, за которым пойдут и остальные бывшие ее сотрудники. «Что касается меня, то, чем более я думаю, тем более убежден, что надо сближаться с *крайними*; там таланты, а у моих много смирения и все блестит бездарностью», — писал Салиас<sup>61</sup>.

Однако его приглашения никто из бывших сотрудников «С.-Петербургских ведомостей» не принял.

По свидетельству Баймакова, весной 1875 он вновь предложил «главным», по его выражению, сотрудникам Корша — Суворину и Э.К.Ватсону — вернуться в газету, но категорически возражал против утверждения «Московских ведомостей», что «хотел восстановить старую редакцию»<sup>62</sup>. Слухи об этом поползли с того момента, как редактором газеты стал сменивший Салиаса

<sup>61</sup> Ф.П.Б[аймаков] От издателя // С.-Петербургские ведомости. 1875. 17 мая.

<sup>62</sup> Там же.

П.С.Усов. В делах Министерства внутренних дел сохранилась записка от 15 июля 1875, свидетельствующая об известной обоснованности этой версии: «Около Усова снова собираются все прежние сотрудники Корша, — писал осведомитель. — Так, Буренин уже начал с прежней субботы писать свои фельетоны. Суворин тоже начинает свое сотрудничество с октября месяца, как это уже обусловлено редакцией. Г.Усов, человек очень мелкий и податливый на всякие уступки, к которым его вынуждают, кроме всего, прошлые долги, большею частью принятые на себя Баймаковым»<sup>63</sup>.

Трудно обвинять Суворина в том, что нарушая данное в свое время слово, он собрался продолжить свою деятельность в «новых» «С.-Петербургских ведомостях». Ведь «Биржевые ведомости», издателем которых стал также бывший сотрудник коршевской газеты, заводчик и владелец верфи В.А.Полетика, мало чем отличались от газеты Баймакова.

В этот период Суворин находился на распутье. Под влиянием цензурных репрессий и притеснений «С.-Петербургских ведомостей» он мог радикализироваться, сблизиться с лагерем демократов, с которыми издавна поддерживал довольно тесные отношения.

Еще в начале 1860-х годов он через секретаря редакции «Современника» А.Н.Плещеева налазил контакты с сотрудниками этого журнала. Причастность к кругу «Современника» очень многое определила в жизненной позиции Суворина того времени. Да и сам он придавал завязавшимся связям с некрасовским окружением немаловажное значение. Недаром впоследствии, когда их пути окончательно разошлись, он вспомнил, казалось бы, случайный в его жизни эпизод, как в самом начале 60-х годов Салтыков-Щедрин и А.Н.Плещеев, планируя издавать журнал, пригласили его на совещание. «Мы вместе обедали в трактире. Но дело кончилось одним разговором»<sup>64</sup>. (Речь шла о затеваемом Салтыковым-Щедриным совместно с А.М.Унковским журнале «Русская правда»).

Вновь кандидатура Суворина всплыла в мае 1872, когда А.А. Краевский, напуганный очередным предупреждением и приостановкой газеты «Голос» на четыре месяца, вознамерился продать свою газету. Некрасов и Салтыков-Щедрин, полагая, что Суворин, будучи связан с ними материально и идейно, поведет газету в общем с «Отечественными записками» направлении, предло-

<sup>63</sup> ГАРФ. Ф.109. С.А. Оп.1. Ед.хр.2157. Л.9.

<sup>64</sup> Суворин А.С. Дневник. Указ. изд. С.86.

жили ему участвовать вкуче с ними в так и не состоявшейся сделке. Правда, Суворин, вспоминая об этом, уверял, что Некрасов, уговаривая его приобрести газету, советовал «вести ее так, как я сам понимаю»<sup>65</sup>. Но Салтыков-Щедрин, судя по тону его письма Некрасову, относился с явным предубеждением к этой затее<sup>66</sup>.

Когда в 1874 Суворин остался не у дел, Некрасов попытался привлечь его к работе в «Отечественных записках», с тем чтобы он вел в них «свой фельетон». Но против этого выступили некоторые члены редакции (достоверно известно три имени: М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.К.Михайловский и Г.З.Елисеев). По словам самого Суворина, при первом же разговоре с Салтыковым-Щедринным о возможности его сотрудничества в журнале, он понял, что тому этого не хочется. Предложение Некрасова рассматривалось редакцией 18 декабря 1874, и большинством голосов кандидатура Суворина была отвергнута<sup>67</sup>.

Однако редакция «Отечественных записок» еще не исключила Суворина из числа членов своей «литературной партии». В ее планах проникновения (под псевдонимами) в существующие газеты и журналы ему отводилась определенная роль, как человеку, все же ей близкому. В частности Некрасов и его друзья всячески поддерживали сотрудничество Суворина в «Биржевых ведомостях». Но признать его полностью «своим» они не могли, и тому были веские причины.

Еще в начале 60-х годов, когда «Современник» воспринимался как центр всех оппозиционных сил, Суворин в частном письме заявлял, что «не разделяет *вполне* мнений этого журнала, как они не честны». «Симпатия моя к "Современнику", — писал он Де-Пуле, — прежде всего основывается на плебействе, потом на вражде к деспотизму, к всякому насилию. Я признаю за "Совр[е]менником" ту услугу, что он отлично ведет свое дело». Но поскольку журнал «не останавливается на североамериканском демократизме и допускает его как явление переходное, точно так же, как конституционалисты переходным элементом к конституции считают гласные суды, свободу печати по французскому образцу (от которой избави нас бог, как от чумы!), — вот тут и кончается моя связь с "Современником", потому что далее у него — социализм, а я думаю, что социализм в форме Прудона и Консидерана у нас немислим»<sup>68</sup>.

<sup>65</sup> Незнакомец [А.С.Суворин]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1878. 1 янв.

<sup>66</sup> См.: Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. Т.18. Кн.2. М., 1976. С.111.

<sup>67</sup> См.: Краснов Г.В. Из записок А.С.Суворина о Некрасове. С.286.

<sup>68</sup> Суворин А.С. Письма к М.Ф.Де-Пуле. Указ. изд. С.168.

Аттестуя себя сторонником плебейского демократизма и противником утопического социализма, Суворин достаточно точно указывал границу, разделяющую его с журналом. Со временем она обозначилась еще резче, хотя сам Суворин этого явно не замечал. Во всяком случае, благодаря Некрасова за хлопоты, он писал ему 18 декабря 1874: «Относительно "Отечественных записок" /.../ по моему крайнему убеждению, я мог бы там работать лишь в том случае, если бы Вы были там единственным распорядителем: с Вами я бы сошелся вполне /.../»<sup>69</sup>. С такой же легкостью он готов был сойтись и с Краевским, о котором шла речь в этом же письме. Видимо, за прошедшие 14 лет взгляды Суворина на журналистику настолько эволюционировали, что он внутренне уже был готов стать под любое знамя, лишь бы оно вело к жизненному успеху.

Несмотря на неудачу, попытки Некрасова привлечь Суворина к совместной работе на этом не кончились. В одном недатированном письме этого периода А.Н. Плещеев писал ему о необходимости переговорить «по поручению Некрасова»<sup>70</sup>. В другом, от апреля 1875, содержатся и более конкретные сведения: «Некрасов просил Вас обедать у него в понедельник, будут Салтыков с Елисеевым. Я нынче с ним говорил еще и вынес из этого разговора то убеждение, что Вам следует непременно принять его предложение. Независимо от журнальной работы Вы можете в нем найти полезного компаньона для "изданий". Ему, по-видимому, очень бы хотелось, чтобы Вы вошли в редакцию»<sup>71</sup>.

О тесных связях Суворина с Некрасовым в этот период свидетельствуют и агентурные донесения. В одном из них (от начала января следующего года) сообщается о намерении Суворина открыть книжный магазин и привлечь «в качестве покупателей всю интеллигентную молодежь провинции и столицы /.../». В другом (от 9 января 1876) говорится о его планах приобрести газету «Новое время», с тем чтобы создать вокруг нее «целую партию», которая, «заведя обширные связи с провинцией, будет иметь огромное влияние на молодежь и на все русское общество». «В составе этой компании называют известного либерала — товарища председателя окружного суда Лихачева и литератора Н. Некрасова»<sup>72</sup>.

О том, что все сказанное не было досужим вымыслом агентов III Отделения, свидетельствует помета, сохранившаяся на первом

<sup>69</sup> Некрасов Н.А. Переписка: В 2-х тт. Т.2. М., 1987. С.472.

<sup>70</sup> РГАЛИ. Ф.459. Оп.1. Ед.хр.3331-а. Л.36.

<sup>71</sup> Письма русских писателей к А.С.Суворину. Указ. изд. С.114.

<sup>72</sup> Папковский Б. и Макашин С. Некрасов и литературная политика самодержавия // Литературное наследство. Т.49-50. М., 1949. С.523.

из названных документов, касающемся попытки приобрести находившийся на Невском проспекте книжный магазин А.А.Черксова: «Иметь в виду: Суворину мы уже отказали. 3 янв.»<sup>73</sup>. Магазин этот носил характер не столько коммерческого предприятия, сколько просветительного учреждения. Полиции было хорошо известно, что в нем легко можно приобрести и запрещенную литературу, включая герценовский «Колокол». После ареста Черксова и отказа властей Суворину в приобретении его магазина в состав администрации этого предприятия вошел В.О.Ковалевский. Проект приобретения магазина, видимо, не раз обсуждался и претерпевал изменения, о чем можно судить по письму Ковалевского брату (7 февраля 1876): «Мы почти решили соединиться вшестером, я, Суворин, Лихачев, Некрасов, Корш, Щедрин; внести по 5 тыс., т.е. 30 т., и заведем новый магазин под какой-нибудь фирмой "Деятельность" что ли, а циркуляры подпишем всеми нашими именами»<sup>74</sup>.

Но к тому времени, как 10 апреля 1876 Ковалевский наконец получил право на открытие книжного магазина, Суворин и Лихачев стали владельцами собственной газеты и вряд ли способны были ему помочь. Правда, еще некоторое время предполагаемые компаньоны не оставляли надежды осуществить свое намерение. По сведениям III Отделения, летом 1876 они предприняли какие-то шаги, чтобы «открыть обширный книжный магазин на Литейном проспекте. Так что эта партия крайних журналистов, — сокрушено замечал автор агентурного донесения, — положительно примет на себя монополию удовлетворения умственных потребностей столиц и особенно провинции, что имело плачевные результаты, когда эту роль "Нового времени" выполнял "Современник"»<sup>75</sup>.

Высказанные в столь категоричной форме опасения не имели, однако, серьезных оснований. Именно к лету 1876 все заметней начал проявляться отход «Нового времени» от курса «Современника» и явственно обозначилась межа, разделившая в конечном счете совладельцев газеты.

Но если власти не делали различий между Сувориным и сотрудниками «Отечественных записок», то почему последние так и не допустили его в свой круг? Все дело в том, что «Отечественные записки» были не совсем обычным журналом. Его редакторов объединяли не только близкие идейные позиции, но и высокие

<sup>73</sup> ГАРФ. Ф.109. СА. Оп.1А. Ед.хр.2049. Л.12.

<sup>74</sup> Цит. по.: Баренбаум И.Е. Литературно-издательская деятельность В.О.Ковалевского и русское революционное подполье 60-70-х годов XIX в. // Труды Ленинградского государственного института культуры. 1967. Т.18. С.271.

<sup>75</sup> ГАРФ. Ф.109. СА. Оп.1А. Ед.хр.2040. Л.26.



нравственные требования к собратьям по перу. Поэтому важную роль при приглашении сотрудников нередко играли не талант, а моральные критерии, деловая порядочность человека. А в этом отношении в журналистских кругах установилась далеко не добрая слава о Суворине. Поговаривали, и не без оснований, что ему ничего не стоило писать на страницах «С.-Петербургских ведомостей» одно, а в «Русском инвалиде», где он печатался под псевдонимом и анонимно, совсем другое (речь шла не о каких-то мало-значительных фактах, а таком важном предмете, как польский вопрос)<sup>76</sup>. Ходили слухи и иного рода. В 1874, когда велись переговоры о его сотрудничестве в «Отечественных записках», Суворин весьма оригинальными доводами оспаривал право нуворишей на лакомый кусочек пирога: «И кто у нас наживается, кому господь — посылает? Самым меньшим братьям, мужичкам, жидкам, приказчикам, ни в одной школе не обучавшимся»<sup>77</sup>. Однако подобные обличения не помешали ему завести самые тесные отношения с одним из таких «мужичков» — миллионером Петром Ивановичем Губониным. Н.К.Михайловский уже в те дни указывал на явные связи «бесспорно талантливому сотруднику "С.-Петербургских ведомостей" с этим беззастенчивым дельцом»<sup>78</sup>.

Губонин, бывший крепостной генерала Бибикова, незадолго до отмены крепостного права откупился за 10 тыс. руб. и к описываемому моменту стал одним из крупнейших воротил делового мира. В 1872 в статье, посвященной передаче подряда на строительство Донецкой железной дороги Мамонтову, Суворин выступил с неприкрытой защитой интересов Губонина<sup>79</sup>. А еще через три года имена Суворина и Губонина связала одна из самых бесстыдных авантур, когда-либо случавшихся в Петербурге: Речь идет о борьбе за концессию на устройство городских конно-железных дорог. Судьбу предприятия во многом определил фельетон Суворина, который ложно очернил главного из конкурентов — А.В.Эвальда. Причем сведения, содержащиеся в фельетоне, были получены (что в те дни считалось верхом неприличия) от подкупленной «неизвестным посетителем» прислуги и обнародованы с единственной целью — подорвать доверие к финансовым возможностям Эвальда (об обязательствах, данных английской фирмой,

<sup>76</sup> См.: Пашино А.С. Редакция и сотрудники В.Ф.Корша // Минута. 1882. 17 мая.

<sup>77</sup> Суворин А.С. Очерки и картинки. Указ. изд. С.65.

<sup>78</sup> Н.М. [Михайловский Н.К.] Литературные и журнальные заметки // Отечественные записки. 1872. №7. С.171.

<sup>79</sup> См. вырезку из неустановленной газеты (РГАЛИ. Ф.459. Оп.2. Ед.хр.48. Л.124).

по существовавшему условию знало лишь руководство Думы, равно как и об обещанных ею выгодах для города).

Когда выяснился источник использованных Сувориным сведений, в обществе поднялся шум. Впоследствии Суворин отрицал свою заинтересованность в деле и то, что он был тем «инкогнито», который расспрашивал прислугу. Но при этом обошел факт совпадения полученных сведений с приведенными в фельетоне.

События развивались следующим образом: в результате дискредитации Эвальда большинство голосов получил Корф. Но тут-то и проявилась истинная подоплека всей кампании. Известный нам Губонин достиг своей цели, объединив полученные голоса с голосами такого же «мужичка» С.Д.Башмакова. Получив концессию, они предъявили свои условия, невыгодные ни Думе, ни пассажирам. В результате жители Петербурга стали ежегодно переплачивать концессионерам более 300 тыс. руб. Неудивительно, что тариф за проезд на городском транспорте пришлось увеличивать с 3 и 5 коп. до 4 и 6 коп. Результаты этой аферы беднейшие слои населения, пользующиеся конкой, вскоре ощутили на своем кармане. Это было «одно из самых возмутительных дел, когда-либо совершенных в Петербурге», — замечал журналист<sup>80</sup>.

Суворину удалось убедить читателей в том, что не он собирал сведения, но так или иначе, сохранившиеся в его архиве три письма Губонина, написанные в 1872, свидетельствуют о их тесных связях.

Суворин был достаточно умен, чтобы не афишировать свои контакты с Губониным, но их нельзя было скрыть от братьев-журналистов. Доходили такого рода сведения и до редакции «Отечественных записок», одной из центральных фигур которой был Салтыков-Щедрин. К этому добавлялись и расхождения эстетического порядка. Выступая в качестве рецензента произведений Салтыкова-Щедрина, Суворин не учитывал ни цензурных условий их публикации, ни своеобразия таланта автора. Уже в ранней рецензии на книгу «Признаки времени и Письма о провинции» (СПб., 1869) он назвал Щедрина писателем «без установленного, глубоко продуманного политического или социального учения», что вызвало у автора весьма нелестные выражения по адресу критика<sup>81</sup>. Суворин видел в Салтыкове писателя, «богатого юмором и довольно бедного сколько-нибудь определенными идеалами» и утверждал, что «он не достаточно обладает способностью

<sup>80</sup> Калиостро. Мимоходом (для ответа г-ну Суворину) // Эхо. 1882. 1 февр. (Ответ см.: Суворин А.С. Г.Макшееву // Новое время. 1882. 1 февр.).

<sup>81</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. соч. С.15.

к концентрации характеров»<sup>82</sup>, (хотя сам сплошь и рядом поминал «глуповцев»). Салтыков весьма спокойно принял эти рассуждения, заметив, да и то в частном письме, что Суворину от наследства Белинского «досталось только две копейки — и с этим-то он хочет еще разжиться!»<sup>83</sup>

Более глубоко и резко расхождения проявились в рецензии на «Историю одного города». Оценив книгу как «уродливейшую карикатуру», Суворин посчитал необходимым заявить при этом, что «даже карикатура имеет свои пределы, за которыми она делается просто вздором». Объяснив, почему «фальшиво отношение г. Салтыкова к народу», он опять повторил свой старый тезис об отсутствии у автора устоявшихся идеалов и «нравственных идей»<sup>84</sup>.

Несмотря на четко обозначившееся взаимонеприятие, именно Щедрин привлек Суворина к переговорам с Краевским о передаче газеты «Голос», которые, как уже сказано выше, не получили завершения. 20 июня 1872 он писал Некрасову: «Суворина я в Москве видел, но он мне показался несколько сконфуженным; хотел быть у меня и даже назначил час, но не пришел»<sup>85</sup>.

Объяснение с Салтыковым-Щедриным все же состоялось. Об этом можно судить по письму Суворина к Тургеневу (19 февраля 1875): «Салтыков — литературный характер и Салтыков — обыкновенный человек — это разница. Мне иногда кажется, — писал Суворин, — что все те гадости, или по крайней мере некоторые из них, которые он изображает в своей сатире, есть в нем самом. Гоголь даже высказался в этом смысле, как известно. Кстати, в прошлом году Салтыков говорил мне: "Вы вот говорите, что у меня идеалов нет (он разумел мою статью в "Вестнике Европы" по поводу его книги "История одного города", — я не люблю этой книги), — их у Гоголя нет, а у меня они есть, да Вы признать их не хотите. А у Гоголя попробуйте открыть эти идеалы? Их совсем нет". Я пробовал возражать, но с Салтыковым это довольно бесполезно»<sup>86</sup>.

---

<sup>82</sup> А.С-н [Суворин]. Признаки времени и письма о провинции М. Салтыкова (Щедрина). СПб., 1869 // Вестник Европы. 1869. №4. С.981, 985.

<sup>83</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. изд. С.78-79.

<sup>84</sup> Б-ов А. [Суворин]. Историческая сатира // Вестник Европы. 1871. №4. С.725, 735, 736.

<sup>85</sup> Салтыков-Щедрин М.Е. Указ. изд. С.11.

<sup>86</sup> Цит. по: Макашин С.А. Салтыков-Щедрин: Середина пути: 1860-1870-е годы. М., 1981. С.511. После смерти писателя Суворин несколько иначе излагал суть этого разговора: «Салтыков старался убедить меня, что он в некоторых отношениях выше Гоголя. Я ему тогда не поверил, и теперь не верю, но знаю, что Салтыков большой талант, хотя совсем не Гоголь» (РГАЛИ. Ф.459. Оп.2. Ед.хр.50. Л.67).

Поэтому во всех статьях он, в сущности, повторял старый тезис: «Шедрин не сатирик, а фельетонист, не художник, а карикатурист». Но если бы это было так, как писал Суворин, то вряд ли в произведениях Салтыкова-Щедрина можно было бы увидеть «характеристику общества и литературы»<sup>87</sup>.

Версию о Щедрина-карикатуристе, которого «литературное начальство» в лице сначала Каткова, затем Чернышевского, Добролюбова и Некрасова «помарывало, чистило, указывало, направляло», он повторял неоднократно<sup>88</sup>.

Справедливости ради следует сказать, что Суворин чувствовал необычность, своеобразие художественной манеры Салтыкова-Щедрина. Однако в силу предубеждения, а может быть и ограниченности таланта не мог оценить в полную меру масштабности фигуры писателя, воспринять социальную направленность его творчества. Для него он никогда не был «гениальным художником фантазмагорических реальностей русской жизни»<sup>89</sup>. Наоборот, он казался ему писателем, преломившим реальности жизни в некую фантазмагорию, в конечном счете, ее искажавшую. «На Салтыкова у меня особенный взгляд. Я вовсе не считаю его сатириком: он сказочник, фантастический писатель, русский Гофман. Фантазия и действительность у него так переплетены, что подчас не проведешь между ними черты», — писал он в 1880<sup>90</sup>.

Салтыков-Щедрин более справедливо оценил Суворина. Резко отрицательно относясь к редактору «Нового времени», он отдавал должное его хватке и «высоко ставил издателя А.С.Суворина, сумевшего из ничего создать такое большое дело»<sup>91</sup>.

Но если природа взаимных симпатий и антипатий Салтыкова-Щедрина и Суворина более или менее ясна, то благорасположение Некрасова к Суворину объяснить гораздо сложнее. Дело, конечно, не во внешней схожести их жизненных мытарств и настойчивости, с которой каждый из них шел к поставленной цели, и даже не в добрых словах, сказанных когда-то начинающим свой путь в литературе Сувориным о только что вышедшей книге поэта<sup>92</sup>.

Чтобы составить какое-то представление об этом вопросе, следует выслушать самого Суворина: «Николай Алексеевич Не-

<sup>87</sup> Суворин А.С. Письмо к другу. X // Новое время. 1882. 19 дек.

<sup>88</sup> См. напр.: Новое время. 1882. 11 апр.

<sup>89</sup> Макашин С.А. Изучая Щедрина: Из воспоминаний // Вопросы литературы. 1989. №5. С.120.

<sup>90</sup> Незнакомец [А.С.Суворин]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1880. 7 дек.

<sup>91</sup> Салтыков К.М. Интимный Щедрин. М.; Пг., 1923. С.35.

<sup>92</sup> [Суворин А.С.] Грязь и идеалы // Русская речь. 1861. №103-104. 31 дек.

красов, — писал он в одной из статей, посвященных поэту, — принимал самое теплое участие во мне с тех самых пор, как мы хорошо с ним познакомились. Это было в 1872 г. Никакой ему нужды во мне не было, но он приезжал ко мне на Васильевский остров и долго беседовал о литературе. Тогда же он советовал мне завести свою газету и вести ее так, как я сам понимаю. Участие его, совершенно бескорыстное, указывающее именно на нежную его душу, простиралось до того, что в конце 1873 года он предложил мне значительную для меня сумму на поездку за границу, чтобы оправиться от постигшего меня несчастья [имеется в виду гибель жены. — Е.Д.]. Я не воспользовался этим предложением, но не могу не вспомнить об этом с глубокой благодарностью. Он же старался убедить меня купить "Новое время" и жалел, что устарел для ведения газеты, для участия в ней. Он дал для нее несколько стихотворений, из которых некоторые были напечатаны...»<sup>93</sup>.

Правда, не все, сказанное мемуаристом, достоверно — впоследствии сам же Суворин, вспоминая об этом визите Некрасова, говорил, что тот приезжал к нему не бескорыстно, а с целью просить «не печатать ничего об инциденте с одной известной артисткой»<sup>94</sup>. Да и уговоры касательно «Нового времени» носили, как известно, отнюдь не альтруистический характер.

Сохранившаяся переписка Суворина и Некрасова невелика, малоинформативна и если о чем и свидетельствует, то о почтительном отношении Суворина к Некрасову: «Я всегда придавал Вам огромное значение не только как поэту, но еще больше как главе журналистики, главе и голове самой светлой, самой разумной», — писал он 6 декабря 1877, поздравляя Некрасова с днем ангела<sup>95</sup>. Говорилось это, правда, смертельно больному человеку, дни которого уже были сочтены. Письма же Некрасова более сдержанны. При всем том, что поэт не был большим любителем эпистолярного жанра, его послания к Суворину поражают своей лаконичностью и сухостью. Характерная деталь: все они написаны наскорю, чуть ли не на клочках бумаги.

Дальнейшая эволюция Суворина и его газеты «Новое время» показала обоснованность настороженного отношения редакции «Отечественных записок» к человеку, казавшемуся многим «страшным радикалом». История «Нового времени» и ее многолетнего редактора должна стать предметом специального рас-

<sup>93</sup> Незнакомец [А.С.Суворин]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1878. 1 янв.

<sup>94</sup> Плещеев А.А. О прошлом: Отрывок из разговора с А.С.Сувориным // Новое время. 1912. 14 авг.

<sup>95</sup> Некрасов Н.А. Переписка. Указ. изд. С.475-476.

смотрения. Здесь же следует кратко остановиться лишь на самом начальном ее этапе, завершающем «либеральный» период жизненного пути Суворина.

Газета была приобретена Сувориным у К.В.Трубникова. По словам С.Ф.Либровича, переговоры о ее покупке велись при посредничестве книгопродавца и издателя М.О.Вольфа: «в маленьком кабинете при его магазине, где компания, состоявшая из самого Вольфа, Суворина, Лихачева, Трубникова, М.Федорова и В.Генкеля, при обсуждении вопроса об условиях покупки газеты засиживались иногда до поздней ночи»<sup>96</sup>. Акт был подписан 12 или 13 февраля 1876, а через две недели, в несчастливый по народному поверью Касьянов день, 29 февраля, вышел первый номер обновленной газеты. Прямета явно не оправдалась: к концу года тираж газеты увеличился в десять раз и достиг 15 тыс. экземпляров<sup>97</sup>.

В заявлении Суворина о покупке газеты «Новое время», сохранившемся в делах Главного управления по делам печати, имя Владимира Ивановича Лихачева не упоминается<sup>98</sup>. Но о его роли власти были осведомлены и внимательно следили за действиями компаньонов. В справке, составленной III Отделением 9 февраля 1876, отмечалось, что Лихачев и Суворин, вкуне с Некрасовым, намерены приобрести «Новое время» и сделать газету «самым веским либеральным органом»<sup>99</sup>.

Невольно возникает вопрос, почему власти, хорошо осведомленные о сути дела, не воспрепятствовали сделке? Ответ прост — потому что они не имели такой возможности. «Временные правила о печати» 1865 года устанавливали такой порядок, при котором для передачи издания требовалось только заявление от старого и нового издателя.

Номинально редактором газеты с 1872 числился Михаил Павлович Федоров. В этой роли он оставался еще долгое время. Только 9 июля 1877 было получено согласие III Отделения на то, чтобы наряду с ним обязанности редактора исполнял и Лихачев<sup>100</sup>.

Компаньоны решились приобрести газету, не имея на то необходимых средств. К кому бы они ни обращались с просьбой о займе, никто не желал или не мог помочь. По словам Суворина, спас дело Лихачев, который «был близок к Кронебергу, варшавскому банкиру, — он что-то важное для него сделал. У него мы и решились просить денег. Лихачев поехал к нему в Варшаву и

<sup>96</sup> Либрович С.Ф. На книжном посту. Пг; М., 1916. С.126.

<sup>97</sup> Суворин А.С. Дневник. Указ. изд. С.25; РГИА. Ф.777. Оп.3. Ед.хр.32. Л.2.

<sup>98</sup> См.: РГИА. Ф.776. Оп.3. Ед.хр.440. Л.2.

<sup>99</sup> ГАРФ. Ф.109. СА. Оп.1. Ед.хр.2049. Л.13-14.

<sup>100</sup> См.: РГИА. Ф.776. Оп.3. Ед.хр.440. Л.85-88.

привез 30 тысяч под его и мою расписку»<sup>101</sup>. По заключении договора Трубникову следовало уплатить лишь 15 тыс. руб., остальная часть выкупной суммы должна была быть выплачена в течение нескольких лет<sup>102</sup>. На оставшиеся 15 тыс. руб. и было начато дело, обогатившее в конечном счете Суворина.

Предшествующая история «Нового времени» ничем не знаменательна. Основал газету в 1868 бывший издатель «Виленского вестника» А.К.Киркор, в компанию с которым вошел Н.Н.Юматов, в прошлом редактор-издатель газеты «Весть». При них «Новое время» представляло, как писал А.С.Суворин, «интересы крупных землевладельцев Западного и Юго-Западного края». В 1870 Киркор был объявлен несостоятельным должником, и газета поступила на конкурс. В декабре 1871 за тысячу рублей ее приобрел бывший мировой судья Ф.Устрялов, пригласивший в качестве редактора И.Сухомлина, который «вскоре отказался от звания редактора, убоявшись, кажется, либерализма газеты. Назначен был новый редактор. Газета некоторое время издавалась тщательно, но г. Устрялов не вынес всей тяжести расходов и в 1872 заложил свою собственность. В 1873 г. Нотович взял газету в аренду, потом, в следующем году, купил ее и заложил одному петербургскому купцу. В ноябре 1874 г. Нотович продал газету г. Трубникову за 10000 рублей»<sup>103</sup>. Дальнейшее читателю уже известно.

Находясь на государственной службе, Лихачев не мог без специального на то разрешения стать официальным владельцем газеты. В то же время Суворин, чья литературная деятельность послужила основной причиной досрочного прекращения аренды «С.-Петербургских ведомостей» В.Ф.Коршем, не мог рассчитывать на благожелательное отношение Министерства внутренних дел к утверждению своей кандидатуры в качестве редактора. Да и формальная ответственность за направление газеты могла его сдерживать, как ведущего публициста. Поэтому компаньоны по-прежнему разделили обязанности: Суворин до конца своих дней числился владельцем газеты, оставаясь все эти годы ее фактическим редактором, а Лихачев, ведя хозяйство газеты, был оформлен как официальный соредaktor «Нового времени». Поскольку об истинном положении вещей знал довольно широкий круг лиц, так же, впрочем, как и о наметившихся к лету 1876 идейных расхождениях между компаньонами, Лихачев вынужден был объяс-

<sup>101</sup> Суворин А.С. Дневник. Указ. изд. С.328.

<sup>102</sup> См.: Суворин А.С. Письмо в редакцию // Новое время. 1889. 20 апр.

<sup>103</sup> Новое время. 1876. 29 февр.

ниться с подписчиками. Обращаясь к ним, он писал, что «Новое время» приобретено не им, а Сувориным, почему последний и является единственным собственником газеты. По его словам, их близкая связь «с г. Сувориным и его семейством, и происходящие вследствие этого взаимные услуги — чисто личного свойства и доверия, а потому никакого отношения к содержанию и направлению газеты "Новое время" не имеют»<sup>104</sup>.

Однако расторгнуть в тот момент соглашение компаньоны не рискнули, так как вложили все свободные средства в типографию и книжный магазин. При срочной ликвидации дела они понесли бы неминуемые убытки. Впрочем, какими-то незначительными средствами, чтобы расплатиться с Лихачевым хоть частично, Суворин, возможно, располагал, если они сохранились после реализации выпущенных им календарей и двухтомника избранных статей, а главное — выданного в свое время Коршем, сверх расчета, одного годового заработка, т.е. немногим более 3 тыс. руб. Но так или иначе, причитающиеся Лихачеву деньги были выплачены только во второй половине 1878 года.

Впоследствии «новременские» историографы откровенно признавались, что «Лихачев приходился, пожалуй, не ко двору редакцияльному составу газеты и своим уходом только облегчил "Новому времени" возможность приобрести вполне определенную националистическую физиономию»<sup>105</sup>.

Будучи человеком обеспеченным, Лихачев рисковал гораздо меньше, чем Суворин, который колебался, не зная, оформить сделку или нет. Только после настойчивых уговоров жены своего компаньона он наконец решился подписать условие (так, по крайней мере, объяснял он свои действия впоследствии). Суворина можно понять: оставшись вдовцом, он должен был думать о том, как прокормить пятерых детей, но устоять перед соблазном стать владельцем газеты все же не смог, и никакие издержки его не испугали. Н.М.Лисовский писал со слов Суворина, что расходы по газете за первые три года (1876-1878) составили 953 116 рублей<sup>106</sup>. По мнению современников, в те годы таких капиталов никто из издателей, кроме Краевского, не имел «и не мечтал добыть»<sup>107</sup>.

Основной капитал фирмы возрастал столь быстро, что в 1878 доля Лихачева в нем возросла с 10 тыс. руб. до 36 тыс. руб., которые и были возвращены ему по выходе из газеты. «Четыре года

<sup>104</sup> Лихачев В.И. Письмо в редакцию // Новое время. 1876. 1 авг.

<sup>105</sup> XL «Новое время» (1876-1916 гг.): Исторический очерк. Пг., 1916. С.27.

<sup>106</sup> См.: Лисовский Н.М. Указ. изд. С.429; РГИА. Ф.776. Оп.3. Ед.хр.441. Л.335.

<sup>107</sup> Как возникла газета «Новое время» // Вестник всемирной истории. 1899. №1. С.175.



состояния головою города Петербурга не дали ему [т.е. Лихачеву. — *Е.Д.*] столько жалованья, сколько дало ему менее чем трехлетнее участие в "Новом времени", — утверждал Суворин, отвергая упреки в несправедливом дележе прибыли. Он считал, что ни один из компаньонов ничем не обязан другому. Хотя, по собственному признанию, он и не касался хозяйства газеты, которым ведал Лихачев, но «зато практически целиком вел ее литературную часть»<sup>108</sup>.

Программа новой газеты была несколько туманно сформулирована в передовой статье первого ее номера: «Мы с направлением откровенным /.../, — писал Суворин. — Такое мы сочинили в отличие от радикального, либерального и консервативного»<sup>109</sup>.

Издатели рассчитывали, что «Новое время» будет отличаться от всех других газет не только необычностью своего направления, но и составом сотрудников<sup>110</sup>. Кроме известных либеральных литераторов, юристов, ученых, печатавшихся еще в «С.-Петербургских ведомостях» (К.К.Арсеньев, В.П.Буренин, В.Д.Градовский, В.О.Ковалевский, Д. де Роберти, В.Д.Спасович, В.В. и Д.В.Стасовы и др.), они предполагали привлечь к участию в ней крупнейших писателей: Л.Н.Толстого, Тургенева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и др. Сам по себе такой состав сотрудников служил прекрасной рекламой. В первый же месяц тираж газеты увеличился более чем в два раза и составил 3 500 экз. (1 500 экз. — подписка, 2 тыс. — розница), в то время как конкурирующий с ней «Голос» продавался в количестве всего 1 500 экз.<sup>111</sup> Уже летом 1876 один из сотрудников «Нового времени» отмечал, что газета «начинает иметь огромный успех. Оно веселее подлого "Голоса" и "Петербургских ведомостей"»<sup>112</sup>.

Ожидания Суворина полностью оправдались. По словам современника, появление новой газеты «представлялось как бы праздником, торжеством обиженных над обидчиками. Первые номера газеты покупались нарасхват, а люди, разделявшие взгляды коршевских "Ведомостей", в уверенности, что "Новое время" будет по характеру их продолжать, — спешили подписываться на них»<sup>113</sup>. Этому не следует удивляться, ведь даже Елисеев в цитированной статье соглашался с тем, что в «С.-Петербургских ведомостях» в годы коршевской аренды «появилось много и бес-

<sup>108</sup> Суворин А.С. Письмо в редакцию // Новое время. 1889. 20 апр.

<sup>109</sup> Новое время. 1876. 29 февр.

<sup>110</sup> РГАЛИ. Ф.459. Оп.1. Ед.хр.2362. Л.28.

<sup>111</sup> См.: Литературное наследство. Т.31-32. М., 1937. С.947.

<sup>112</sup> Цит. по: Баренбаум И.Е. Указ. изд. С.271.

<sup>113</sup> Как возникла газета «Новое время». Указ. изд. С.174.

спорно хорошего, и полезного». А уж о либералах и говорить нечего. Тургенев так прямо и писал одному из своих русских корреспондентов, используя щедринскую фразеологию: «очень жаль старой "Пенкоснимательницы" — и особенно жаль фельетонов Незнакомца»<sup>114</sup>.

Никто, конечно, не мог предположить, что «Новое время» явится не продолжателем «С.-Петербургских ведомостей», а наоборот — их антиподом. Никто не знал и какие мысли по этому поводу таились в голове Суворина. Во всяком случае, он ни с кем из близких ими не делился. В одном только он признавался откровенно: «Я давно стремился к тому, чтобы иметь литературный орган. И вот после пятнадцатилетнего скитальчества я наконец в своем доме»<sup>115</sup>. Примерно в тех же словах обосновывалась необходимость собственной газеты семейством Лихачевых. Уже после разрыва Е.О.Лихачева писала Суворину: «Когда основывалось "Новое время", мы трое, каждый кроме общего дома, видели в нем удовлетворение и какой-то личной мечты. Что до меня касается, то желая прежде всего помочь Вам осуществить мечту всей Вашей жизни, я в то время надеялась, — эти надежды разделял и муж, что оно даст нам постоянное, какое бы ни было занятие»<sup>116</sup>.

Став единоличным владельцем газеты, Суворин быстро растался не только со многими из бывших сотрудников, но и с либеральными идеями, сторонником которых долгое время считался. Редактор «Петербургского листка» А.А.Соколов, явно симпатизируя Суворину, объяснял случившееся просто и деловито: «Если бы Суворин продолжал проводить либеральные идеи, которые он проводил в качестве сотрудника "С.-Петербургских ведомостей", ему пришлось бы подвергнуть свою газету административным карам, даже может быть, подвести и под запрещение. Приходилось выбирать: или значительно поступиться своими прогрессивными идеями, или сохранить издание. "Новое время" выбрало путь более практический: оно понизило свое отношение к прогрессу»<sup>117</sup>.

<sup>114</sup> Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 тт. Письма. Т.11. М.; Л., 1966. С.6.

<sup>115</sup> Новое время. 1876. 29 февр.

<sup>116</sup> РГАЛИ. Ф.459. Оп.1. Ед.хр.2366. Л.43.

<sup>117</sup> Соколов А.А. Из моих воспоминаний // Московский листок. Иллюстрированное прибавление. 1909. №11. 15 марта. С.4.

A stylized, bold, black letter 'P' that serves as a logo. The top horizontal bar of the 'P' is slightly curved and has a small vertical tick mark at its left end. The vertical stem of the 'P' is solid black.

публикации



**А.И.Колечицкая**  
**МОИ ЗАПИСКИ ОТ 1820-го ГОДА**  
Публикация Е.Э.Ляминой и Е.Е.Пастернак

1

Выдержки из этой тетради в переплете с кожаным корешком, испи-санной изящным мелким почерком, впервые появились в печати в 1915<sup>1</sup>. С тех пор они с разной степенью точности и полноты использовались в работах различных исследователей, большинству из которых не удава-лось ознакомиться с оригиналом. Записи Анастасии Ивановны Коле-чицкой (Калечитской; урожд. Лыкошиной) содержат множество генеало-гических и фактических сведений, но чаще всего привлекали к себе вни-мание лишь одной своей стороной: из книги в книгу переходят отрывки о знакомстве Колечицкой с А.С.Грибоедовым и И.Д.Якушкиным. Из по-ля зрения выпадает личность автора «Мои Записки...», которая, по словам С.Н.Чернова, «владеет даром красивой и умной характеристики; этот дар обусловлен /.../ тонким умением наблюдать, цепкою памятью и искусством комбинировать припоминания»<sup>2</sup>.

В настоящее время автографы многотомных записей Колечицкой разрознены. Часть их находится в РГАЛИ: четыре тома вместе с перепис-кой — в фонде Рачинских (Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1577-1580; Оп.2. Ед.хр.2-5 и др.), а первый (собственно «Мои Записки от 1820-го года») и одиннадца-тый тома отнесены к фонду 1337 (Коллекция мемуаров и дневников. Оп.1. Ед.хр.142 и 143) и приписаны Марии Ивановне Лыкошиной. По-видимо-му, это обстоятельство и помешало С.А.Фомичеву, составителю сборни-ка «А.С.Грибоедов в воспоминаниях современников» (М., 1980; далее: Грибоедов в восп.), обратиться к оригиналу при воспроизведении фраг-ментов первого тома этих записей: они напечатаны по тексту книги Н.К.Пиксанова «Грибоедов и старое барство» (М., 1926) («с исправления-ми по копии Н.К.Пиксанова, хранящейся в его библиотеке (ИРЛИ)» (Гри-боедов в восп. С.351).

<sup>1</sup> В год войны. Пг., 1915. С.43-44, 65, 83.

<sup>2</sup> Чернов С.Н. Отчет о командировке в Москву летом 1924 г. Саратов, 1925. С.37. Среди многочисленных исследований, так или иначе касающихся смоленского круга знакомств Грибоедова, выделяется статья Н.П.Балуновой «Усадьба Хмелита и хмелитское окружение семьи Грибоедовых» (Проблемы творчества А.С.Гри-боедова. Смоленск, 1994. С.253-262). Работа Балуновой написана на основе мате-риалов Колечицких—Лыкошиных, хранящихся в РГАЛИ, и вводит в научный оборот новые документы.

Одними из последних владельцев архива Колечицких были внуки Анастасии Ивановны Анна Алексеевна Рачинская (1855-1916) и Григорий Алексеевич Рачинский (1859-1939), литератор и переводчик. Они жили в родовом имении Колечицких — селе Бобровке Ржевского уезда Тверской губернии<sup>3</sup>.

С судьбой этого архива были связаны интересы разных людей. В 1912-1915 в Бобровке часто гостил и работал А.М.Ремизов<sup>4</sup>. Позднее он вспоминал: «Летний месяц 1912 года мы жили в Бобровке у Анны Алексеевны Рачинской. Я писал повесть мою "Пятую язву" и слушал рассказы А.А. о ее бабушках и дедушках. И затеял "Круг жизни" в подлинных письмах представить тогдашнюю жизнь обыкновенных людей, о которых по смерти хоть и поется "вечная память", но никто никогда не вспоминает, а среди которых жили Грибоедов и Пестель»<sup>5</sup>.

Эта мысль воплотилась в ряде публикаций Ремизова: 1) Россия в письмах: Круг жизни: Письма 1817-1826 гг. // Заветы. 1914. №3. С.136-154; 2) Россия в письмах: Жичливая жена: Письма 1783-1835 гг. // В год войны. Указ. изд. С.37-88; 3) Россия в письмах: Разорение, общественно случившееся: Письмо отечественное: 1752-1814 гг. // Полон. Пг., 1916. С.123-166; 4) Россия в письменах: Живая жизнь: Письма Пестелей. 1824-1827 // Воля России. (Прага), 1925. №12. С.3-18. Последняя публикация одновременно появилась по-французски: *Lettres de la famille Pestel // Le Monde Slave*. 1925. №12. P.385-398.

Возможно, нам удалось выявить не все, что было им напечатано из этого архива. Во всяком случае, бобровский «круг» и поэзия документа действительно увлекли Ремизова, о его намерениях свидетельствует письмо к А.А.Рачинской от 8 июня 1915:

Всемиловитейшая государыня  
Глубокоуважаемая Анна Алексеевна!

Благословившись, начали сборы, чтобы быть у Вас в Бобровке после 15-го июня.

Издатели книги «В год войны» послали Вам книгу, чистая прибыль от которой поступает в пользу раненых.

Часть документов из Вашего архива из т.1 (Колечицкие—Телеснины—Храповицкие) войдут в мою «Россию в письмах» — в

<sup>3</sup> С.Н.Чернов, читавший в 1924 один из томов «Записок» Колечицкой (он называет его вторым, однако это том одиннадцатый), сообщает: «"Воспоминания" принадлежат сейчас Г.А.Рачинскому» (Чернов С.Н. Указ. соч. С.18). Дата рождения Г.А.Рачинского, которая в разных изданиях варьируется (1853 или 1859), уточнена нами по запискам его бабушки: 25 января 1859 она отмечает, что у ее дочери, Анны Петровны, родился сын Григорий (Мои Записки от 1859 года // РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1579. Л.3).

<sup>4</sup> В 1909-1912 сюда же наезжал А.Белый; (Лавров А.В. Андрей Белый: Хронологическая канва жизни и творчества // Андрей Белый: Проблемы творчества. М., 1988. С.783-784, 786). См. также письма Белого к А.А.Рачинской (ноябрь—декабрь 1911) — РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.2384.

<sup>5</sup> Воля России. 1925. №12. С.5.

«Смоленшину», которая будет напечатана в сборнике «Скарб» (в пользу разоренных поляков).

Приготовлены и пока не устроены из вашего архива 1) письма отечественные, 2) письма Пестелевы и 3) письма Якушкины.

Всего вам хорошего, Анна Алексеевна.

Кланяется Серафима Павловна.

Алексей Ремизов<sup>6</sup>

Известный исследователь жизни и творчества Грибоедова Н.К.Пиксанов, по его собственным словам, еще в 1912 знакомился с записками Колечицкой «через дружеское посредство поэта Юрия Н[икандровича] Верховского»<sup>7</sup>. Дочь старшего брата А.А.Рачинской Александра Николаевна была замужем за известным ученым, автором книг по химии Вадимом Никандровичем Верховским, братом поэта. Пиксанов, после 1917 пополнив свои сведения новыми фрагментами «Моих Записок...» Колечицкой и мемуаров В.И.Лыкошина, составил книгу «Грибоедов и старое барство», затем вошедшую в его сборник «Грибоедов: Исследования и характеристики». Для ученого эти документы были иллюстрацией к жизни еще неизвестной «Грибоедовской Москвы» — «Москвы усадебной, летней»<sup>8</sup>.

## 2

Если для Грибоедова «усадебная» жизнь оказалась лишь эпизодом, связанным с детством и ранней юностью, то для круга Лыкошиных—Колечицких она была основной. Отучившись и отслужив, мужчины обычно возвращались к себе в поместья, чтобы обзавестись семьей, построить свое гнездо, заниматься хозяйством и воспитывать детей. Отчасти это было связано с тем, что они были небогаты, и жизнь с семьей в столицах была им не по карману. Они предпочитали поместье и в Москву наезжали чаще всего зимой, чтобы свидеться с родными и сделать необходимые покупки. В Смоленской губернии, где жили потомки польско-литовских дворян, соседство зачастую поддерживалось родством (к обрусевшей шляхте себя причисляли Лыкошины, Колечицкие, Станкевичи, Якушкины). Л.Н.Энгельгардт, сам смоленский дворянин, отмечал, что «со времен завоевания царем Алексеем Михайловичем Смоленска они [смоленские дворяне] по привязанности к Польше брачались вначале с польками, но как в царствование Анны Иоанновны были запрещены всякие связи и сношения с поляками /.../ то сперва по ненависти к русским, а потом уже по обычаю все смольяне женились на смольянках. Поэтому, можно сказать, все смоленские дворяне между собою сделались в родстве»<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.2521. Л.7. Сборник «Скарб», вероятно, не вышел в свет. «Письма Пестелевы» — см. публикацию в «Воле России» и «Le Monde Slave».

<sup>7</sup> Пиксанов Н.К. Грибоедов: Исследования и характеристики. Л., 1934. С.53.

<sup>8</sup> Там же. С.53.

<sup>9</sup> Энгельгардт Л.Н. Записки. М., 1868. С.2.

Мать Анастасии Ивановны Колечицкой Миропия Ивановна (урожд. Лесли; 1770-1851) по женской линии принадлежала к разветвленному роду Станкевичей<sup>10</sup>. «Станкевичи польского происхождения, то есть их предки и их гнездо в Смоленской губернии; там их пренужество». Ее мать, тоже Миропия Ивановна, была дочерью И. Станкевича и Прасковьи Никитичны Татищевой — сестры историка В.Н. Татищева. П.Н. Татищева была замужем трижды, у нее было много детей, «и у всех пренеобыкновенные имена: [Епафродит], Филагрий, Аполлос, а других я не упомяну», — писала Е.П. Янькова<sup>11</sup>.

Миропия Ивановна Лесли вышла замуж за Ивана Богдановича Лыкошина (1757-1820), и они поселились в имении мужа — селе Казулине Бельского уезда. И.Б. Лыкошин был состоятельным помещиком, владел более чем 600 душами и «был уважаем во всем околотке за свою строгую честность и прямодушие. Получив то образование, которое вообще давалось в половине XVIII века в провинциальных богатых семействах дворянских, он учился в частном немецком пансионе в Смоленске и потом служил в военной службе до чина поручика»<sup>12</sup>. Его старшая дочь Мария писала, что он, по природе человек добрый, легко выходил из себя, и эти вспышки часто причиняли горе его жене и детям<sup>13</sup>. Весь уклад казулинского дома был подчинен воспитанию семерых детей, которое в основном лежало на Миропии Ивановне: им старались нанять хороших преподавателей, учили и французскому и английскому. М.И. Лыкошина была «превосходная во всех отношениях женщина, какой трудно бы найти подобную: прекрасного, всегда ровного характера, высокого ума и благочестия, она отличалась и по образованию», — вспоминал ее старший сын Владимир<sup>14</sup>.

Он родился в 1792. В 1805 Миропия Ивановна повезла старших детей в Москву, Владимир с братом Александром сдали экзамен и были приняты своекоштными студентами в Московский университет, где учились в одно время со своим дальним родственником и сыном ближайшей подруги матери А.С. Грибоедовым (поместье Лыкошиных Никольское, в котором они часто проводили лето, располагалось в нескольких верстах от грибоедовской Хмелиты). После того, как в 1808 Владимир получил

<sup>10</sup> Ее отцом был смоленский дворянин из не менее обширного рода — отставной капитан Иван Петрович Лесли, бывший в 1781 сычевским уездным предводителем дворянства. Один из его родственников — Александр Дмитриевич Лесли (1781-1856) — известен в истории войны 1812 года тем, что первым «предложил составить ополчение по Смоленской губернии» (Смоленская старина. 1912. Вып. 2. С. 323).

<sup>11</sup> Рассказы бабушки (из воспоминаний пяти поколений), записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1988. С. 61-62. Миропия — от греч.: «делающая мир». В отрывке, который приводится в книге Н.К. Пиксанова, это имя прочитано как «Миронья» (Пиксанов Н.К. Указ. соч. С. 67; см. также: Грибоедов в восп. С. 39). В третьем браке Татищева была за М. Грибоедовым, что положило начало родству Лыкошиных и Грибоедовых.

<sup>12</sup> Лыкошин В.И. Воспоминания // РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 30б.

<sup>13</sup> Рачинская М.И. Тетрадь с записями для дочерей // РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 1679. Л. 90б. (перевод с франц. наш. — Публ.)

<sup>14</sup> РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 4.



степень кандидата, а Александр был произведен в действительные студенты, братья вернулись в Казулино. Через два года Владимир уехал в Петербург, где по протекции Г.Р.Державина был принят на службу в министерство юстиции.

В 1812 семья «эмигрировала» из Казулина<sup>15</sup>. И.Б.Лыкошин не решился бросить имение без присмотра, и мать с детьми уехала одна. Они поселились в Орловской губернии — в ближайшем соседстве со своими родственниками Якушкиными. Владимир же, будучи в Петербурге, вступил в «конный волонтерский» полк барона Боде: «Я — 19-летний юноша, увлеченный общим воинственным настроением, решился променять мирную юстицию на бранные тревоги. И так, в одно прекрасное утро, не сказав ни слова ни министру [Дмитриеву], ни Державину, я поехал с одним из товарищей к барону Боде и немедленно был принят корнетом». Участвуя в кампаниях 1812-1814 гг., получил ордена св. Анны 3-й и св. Владимира 4-й степеней, брал Париж. После войны служил в Белорусском гусарском Принца Оранского полку. В 1818 вышел в отставку и, хотя его приглашали «войти в кирасиры», возвращаться к военной службе больше не стал<sup>16</sup> и зажил «почти безвыездной жизнью сельского помещика» в своем имении Трисвятском Бельского уезда<sup>17</sup>. В 1827 он женился на Екатерине Соколовской; в середине 1830-х был предводителем дворянства в Бельском уезде.

В конце жизни — «на осьмом десятке» — В.И.Лыкошин написал «Воспоминания», тем самым внеся свой вклад в создание «Семейной Хроники». Она постепенно составила из записей Марии — старшей сестры, «Моих Записок...» Анастасии и огромного количества писем, которыми регулярно обменивались члены семейства. Существовали также дневниковые записи Александра Ивановича Лыкошина<sup>18</sup>. А.И.Колечицкая, которая переписала в одиннадцатый (последний) том своих записок воспоминания В.И.Лыкошина, предваряла их следующими словами: «Помещаю здесь Воспоминания моего брата Владимира, — эту общую мне с ним Семейную Хронику, где внуки мои найдут интересные сведения, как о современных происшествиях, так и о родственных связях, которых память могла бы исчезнуть, когда меня уже не будет в этом мире»<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.27об.

<sup>16</sup> Там же. Л.27об., 29об.-30; письмо М.И.Лыкошиной к дочери Анастасии от 17 мая 1818. — РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.5. Л.59об.

<sup>17</sup> Сельское благоустройство. 1858. Кн.1. С.262.

<sup>18</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.33об. (примечание А.И.Колечицкой к воспоминаниям В.И.Лыкошина).

<sup>19</sup> В настоящее время местонахождение автографа воспоминаний В.И.Лыкошина неизвестно; сохранились две копии: одна входит в одиннадцатый том записок А.И.Колечицкой (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143), другая — неполная — была сделана А.А.Рачинской в начале XX в. (РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.2370). Исследователи обыкновенно опирались именно на эти копии; пространные выписки из одиннадцатого тома составляют существенную часть упомянутой книги С.Н.Чернова. Фрагмент мемуаров Лыкошина, приведенный в сборнике «Грибоедов в воспоминаниях современников» (Указ. изд. С.32-38), воспроизводит текст, напечатанный в работе Пиксанова.

Владимиру Лыкошину принадлежит стихотворение «Ночь», напечатанное в московском университетском альманахе «Весенний цветок... на 1807-й год»<sup>20</sup>. Много позже, в 1858, в период подготовки крестьянской реформы, он поместил ряд статей в «Журнале землевладельцев» (№5, 6 и 15) и в издании А.И.Кошелева «Сельское благоустройство» («Мысли белеского вотчинника по вопросу об устройстве быта смоленских крестьян». — Кн.1).

Его брат Александр (р.1794) в 1812 приехал в Петербург с намерением вступить в гвардию, но это ему тогда не удалось. В 1813 он был зачислен полковым подпрапорщиком в Преображенский полк: один из родственников сдал его «на руки Преобр[аженскому] полковнику Бор[ису] Вл[адими-ровичу] Полуехтову /.../». Перед Бауценским сражением он, «хотя и чувствовал себя уже больным /.../ держал знамя, пока горячка осилила его и он упал без чувств на землю, а когда после сражения наша армия ретировалась, французы забрали в плен все, что нашлось живого на поле сражения, в том числе и бедного брата», — писал В.И.Лыкошин. В 1816 Александр был поручиком 3-го Карабинерного полка, квартировавшего в Вязьме, в следующем году переведен в Жиздру. В 1820 вышел в отставку, а через четыре года женился на Е.А.Зыковой. Впоследствии А.И.Лыкошин служил директором училищ в Новгороде, с 1847 — в Смоленске. Ученик Смоленского дворянского пансиона вспоминал: «Директором гимназии в то время был почтеннейший Александр Иванович Лыкошин. В пансионе он бывал очень редко, да и в гимназии так же, хотя и помещался в самом ее здании /.../. Когда директор приезжал к нам в пансион, то почти всегда его сопровождала достойнейшая супруга, Елизавета Александровна, урожденная Зыкова, а иногда и еще кто-либо из его семейства или родственников. По воскресеньям или праздникам некоторые из пансионеров, и в том числе и мы, приглашались к директору на целый день и тогда уже всецело поступали под покровительство его жены, которая обращалась с ними, как с собственными детьми»<sup>21</sup>. Александр Иванович Лыкошин скончался в Смоленске в 1852 в чине коллежского секретаря.

Старшая дочь Лыкошиных — Мария (1791-1831) — приехала вместе с братьями в Москву в ноябре 1805. В течение двух месяцев, пока Мировия Ивановна оставалась в городе, «проф[ессор] франц[узской] словесности Aviat [de Vattov] давал [Марии] вместе с нами уроки литературы, а Loustot — рисования», — писал Владимир Лыкошин<sup>22</sup>. Она, как и младшая сестра ее Анастасия, сопутствовала матери во всех путешествиях и поездках на богомолье. Натура тонкая и, как сама признавалась, чрезвычайно впечатлительная, она с детства ощущала себя старшей и ответственной за судьбу семьи. П.Ф.Якушкина, двоюродная сестра Мировии Ивановны, жившая у Лыкошиных с 1810, невольно сыграла на этой осо-

<sup>20</sup> Издателем альманаха был Козьма Андреев. Выдержки из стихотворения см.: Пиксанов Н.К. Указ. соч. С.73.

<sup>21</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.29-29об., 33об.; Воспоминания, мысли и признания человека, доживающего свой век смоленского дворянина // Русская старина. 1895. №9. С.143.

<sup>22</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.16.

бенности характера Марии: напоминая ей о болезни матери, она внушила мысль о необходимости скорейшего замужества, чтобы быть опорой для младших. Случай представился в 1812: Мария Ивановна вышла за Виктора Денисовича Рачинского, у которого после смерти первой жены Февроньи Петровны Колечицкой (сестры будущего мужа Анастасии Лыкошиной) остался на руках маленький сын, и поселился в его имении Зайкове Бельского уезда. Жизнь у нее сложилась трудно: родные говорили о ней с неизменной болью и состраданием. Из высоких побуждений она пыталась преодолеть в себе неприязнь к будущему мужу, однако через несколько дней после свадьбы «ясно увидела, что характер мужа мрачный, а сам он едва ли может привязаться к такому человеку», как она<sup>23</sup>. Он был уже немолод; «необразованный /.../ капризный, необузданный человек женился на ней без любви и даже почти без цели, ибо он не доверил ей даже быть полною хозяйкою в его доме»<sup>24</sup>. Для тесно спаянного рода Лыкошиных, в который с женитьбами и замужествами входили все новые и новые семейства, родственники со стороны В.Д.Рачинского представляли собой «совершенно незнакомый /.../ круг»<sup>25</sup>. Единственной отрадой Марии было воспитание детей, один из которых, сын Александр (1826-1877), стал впоследствии известным историком и публицистом. М.И.Рачинская умерла рано, и Миропия Ивановна, которая во все время этого несчастного замужества страдала не меньше своей дочери, была уита горем. Она собиралась удалиться из мира еще после смерти мужа, но тогда ее духовный отец, киевский старец Вассиан, не благословил на это. В 1836 М.И.Лыкошина навсегда уехала в Киев, «чтоб беспрепятственно служить Богу и спасти душу свою»<sup>26</sup>.

Младшие дети Лыкошиных появились на свет «с началом столетия»<sup>27</sup>. Настя родилась вместе с веком. Через два года — Лиза, хорошенькая девочка, любимица отца<sup>28</sup>; «позже родились еще два брата, из которых старший, гениальный ребенок, умер лет семи»<sup>29</sup>. Его звали Дмитрием (р.1803 или 1804).

Имя другого сына было Алексей (р.1805), по-домашнему Лоло (Lolot). Оставив родительский дом в семнадцать лет, он поступил на военную службу юнкером Переяславского конно-егерского полка. Судя по его письмам к сестре Анастасии<sup>30</sup>, это был самоуглубленный человек мягущегося склада. Очень привязанный к родным, он впал в отчаянье, когда дольше обычного не получал от них известий, тяготился службою, стра-

<sup>23</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1679. Л.36об. (перевод с франц. наш. — Публ.).

<sup>24</sup> «Мои Записки...». Л.88-88об. (запись от 28 апреля 1831).

<sup>25</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.27.

<sup>26</sup> «Мои Записки...». Л.104об.; в 1844 А.П.Колечицкая записала в дневнике впечатления от свидания с М.И.Лыкошиной в Киеве: «О встрече с бабинькой нечего и говорить, она всегда бывает трудна и старушке, и моей маминьке, радость и слезы вместе» (РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1517. Л.10б.-2).

<sup>27</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.15об.

<sup>28</sup> Впоследствии Елизавета Ивановна вышла замуж за Николая Ивановича Тулубьева.

<sup>29</sup> РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.15об.

<sup>30</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.2.

дал от того, что, любя чтение, ничего не читает, не любя свет, вынужден в нем бывать. Женился Алексей Лыкошин «на воспитаннице Кологривовых». По словам А.И. Колечицкой, «он почти ребенок увлекся необдуманно, против воли» матери, которая долго «не могла решиться видеть его, но потом простила и приняла»<sup>31</sup>. По семейному разделу Алексею Ивановичу досталась Казулино. Известно, что в 1830, во время холеры, он не поддался общей панике и уговорил своих крестьян говеть, а когда они «отступились» от чаши причастия, «опасаясь, что вместе с Таинством» им «преподнесут яд», первым подошел к потиру. Холера обошла Казулино стороной<sup>32</sup>. Алексей Лыкошин скончался там в марте 1858.

3

В моей к вам привязанности вы верно, мой друг, не усумнитесь — вы знаете, что из всех сестер моих я более вас люблю, вы, котор[ая] для меня больше чем Ангел. Вы знаете, что несмотря на неравенство наших лет, вы служите мне и другом нежнейшим, и путеводителем /.../. Вы избавлены от предрассудков, кои столь обезображивают женщин; одно только мне больно подумать, это то, что я в последние два приезда ваши лишь к нам узнал вас совершенно. Я долго думал, что вы женщина хотя и умная и начитанная, но слишком строги для других, а не для самой себе, что в вас много *Affecté*<sup>33</sup>; но — что скажу вам — я такую видел разницу в сей картине с настоящим, что стыжусь теперь самого себя /.../ вы Ангел — конечно вы как человек имеете слабости, но они так простительны и не заметны, что никто не может вам ими упрекать. Мудрено, что, воспитывавшись вместе, я до сих пор не умел дать вам настоящей цены /.../. Я чувствую, что есть ли б прежде лутче вас знал, я был бы лутче, чем есть на самом деле<sup>34</sup>.

Это писал Лоло сестре Анастасии перед своим отъездом на службу в Елец. К этому времени она уже шесть лет как была замужем за Петром Петровичем Колечицким (р.1792), полковником в отставке.

В октябре 1806 ее будущий муж вступил в Преображенский полк, осенью 1811 в чине поручика был переведен в Литовский и определен в 1-ю гренадерскую роту полковым адъютантом. Участвовал в Бородинской битве. Его командир писал в рапорте: Колечицкий «был /.../ посылаем неоднократно с поручениями под самые сильные картечные выстрелы и не только оные выполнял, но даже сам собирал рассыпанных стрелков, с оными и действовал и был до конца сражения»<sup>35</sup>; за Бородино получил орден Св. Анны 2-й степени, украшенный алмазами. В мар-

<sup>31</sup> «Мои Записки...». Л.45.

<sup>32</sup> Русская старина. 1879. №11. С.539-540.

<sup>33</sup> Наигранности (*фрэнц*).

<sup>34</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.2. Л.3-4об.

<sup>35</sup> Пестриков Н.С. История лейб-гвардейского Московского полка. Т.1. СПб., 1903. Приложение. С.12.

те 1814 вошел в Париж. Через три года был уволен в отставку «по болезни, полковником, с мундиром»<sup>36</sup>. 19 октября 1817 обвенчался с семнадцатилетней Анастасией Лыкошиной и увез ее к себе в имение Шелканово Краснинского уезда Смоленской губернии<sup>37</sup>. Там в 1818 родился их единственный ребенок — дочь Анна (ум. 1876). В 1822-1825 Колечицкий служил по выборам краснинским уездным предводителем дворянства. Получив в декабре 1822 письмо, в котором муж сообщал ей о своей новой должности, Анастасия Ивановна была крайне огорчена, потому что жить порознь было тяжело, а вместе, в Красном, — не по средствам: «эта беспорядочная жизнь может расстроить наше небольшое состояние».

«Хозяйство /.../ держалось главным образом самой помещицей /.../ Настасья Ивановна принадлежала к типу хозяйек, мимо рук которой ничто не может пройти незаметно и, продавая крупные партии хлеба, она, в то же время, отмечала по своей кладовой все малейшие выдачи посылки птицам, расход яиц, приход и убыль цыплят и т.п. Даже яблоки, соленье, варенье — все было на учете»<sup>38</sup>. В Шелканове строился новый дом, в который Колечицкие перешли в ноябре 1828. «Весело в большом светлом доме /.../ после темного низенького флигелька, где жили более десяти лет»<sup>39</sup>.

Главным своим делом Анастасия Ивановна положила воспитание дочери. Она штудировала множество нравственных сочинений и книг по педагогике, делала из них пространные выписки, которыми заполняла отдельный «журнал Анни», или «De l'Education»<sup>40</sup>. В 1821, будучи в Москве, Колечицкая нашла в подруги своей дочери маленькую француженку Адель, которая и жила с ними и тогда, когда выросла. В следующем году была взята гувернантка M-me Namaid. В 1824 ее сменила «шотландка, старушка Кеу», которая «от старости засыпала на кресле», и вскоре пришлось выписать новую гувернантку — Miss Blackwood. Но и вспыльчивая англичанка не задержалась в Шелканове.

О шелкановской жизни этого времени можно судить по письму Алексея Лыкошина к сестре от 15 декабря 1824. «Как я люблю вас видеть (в воображении, конечно), моя дорогая, за вашим бюро, окруженную книгами, бумагами; подле вас моя милая маленькая Аннет, которая радуется вас своим английским щebetаньем; дальше — особа со скромными и строгими манерами, это Miss Blackwood; затем иногда Пьер, просматривающий кипу бумаг. — У вас, Nany, крепкое счастье»<sup>41</sup>.

В 1834 скончался Петр Корбутовский — дядя П.П.Колечицкого. «Он умер бездетен, и его имение наследовали Колечицкие — дети сестры

---

<sup>36</sup> Маркграфский А. История лейб-гвардии Литовского полка. Варшава, 1887. Приложение. С.26.

<sup>37</sup> Когда дочь уехала из родительского дома, Мировия Ивановна очень тосковала по ней и просила ее писать как можно чаще. Сама она постоянно посылала своей Nany подробные письма — «казулинскую газету».

<sup>38</sup> Смоленская старина. 1916. Вып.3. Ч.2. С.3-4 отд. паг.

<sup>39</sup> «Мои Записки...». Л.86. Запись 21 ноября 1828.

<sup>40</sup> «О воспитании» (франц.).

<sup>41</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. №2. Л.25 (перевод с франц. наш. — Публ.).

его»<sup>42</sup>. Петру отошло село Шиздерово. Как вспоминала А.И.Колечицкая, вместе с наследством им достались «горькие неприятности, заботы, дела, продолжавшиеся три года. Потом переехали в новое жилище, в милую Бобровку»<sup>43</sup>. Она предполагала, выдав дочь замуж, вернуться на житье в Шелканово (в 1842 там была заложена церковь во имя Казанской иконы Божией матери), но когда в 1845 Анна Петровна стала женой Алексея Антоновича Рачинского (1807-1888), родители остались в Бобровке вместе с молодыми. Впрочем, П.П.Колечицкий часто наезжал в обжитое и любимое им Шелканово. Мемуарист, состоящий с ним в отдаленном родстве и называющий его «дедушкой», сохранил в памяти живые черты «полковника-преображенца старых времен», подробности его посещений Шелканова: Петр Петрович приезжал сюда «большею частью один и во время его приездов почти ежедневно или он бывал у нас, или мы отправлялись к нему /.../. В то время, когда я стал его знать, ему было уже лет за шестьдесят, он был довольно высокого роста, но этот рост много скрывался почти непомерною тучностью. Как теперь вижу его слоновобразную, почтенную и благодушную фигуру, переваливающуюся с ноги на ногу, постоянно моргающий левый глаз, коротенькие седые бакенбарды (усов он не носил по форме времен Александра I), высокий и широкий лоб и огромнейшую Анну со стразами на шее. П[етр] П[етрович] был большой говорун, gourmet и хлебосол, а одиночества не любил больше всего на свете».

Автору воспоминаний было в ту пору четырнадцать лет, и он запомнил, как увлеченно «производил» Колечицкий «батальонное ученье целой толпы крестьянских мальчигов», как по воскресеньям после обедни бросал им с балкона пряники и орехи, как «любил устраивать крестьянские свадьбы, и каждая обвенчавшаяся пара прямо из церкви была обязана являться к нему со всем свадебным поездом /.../. Иногда он любил вспоминать свою военную службу, рассказывал некоторые случаи из нее и один раз при этом приказал принести целую кучу сохранявшихся бережно его прежних мундиров. В числе их находился сюртук с пробитою пулею полоу, во время Бородинского сражения /.../. Помню я также, с какою любовью и заботливостью был занят старик постройкою новой каменной церкви, почти на самом дворе его усадьбы; он почти целые дни присутствовал на работах и даже, несмотря на свою тучность, иногда лазал вверх по доске со ступеньками»<sup>44</sup>.

У Колечицких было пятеро внуков. Анна Алексеевна Рачинская помнила своего деда: по ее словам, он «лет десять до смерти был неподвижный в кресле старик — безучастный паралитик, а раньше живой, веселый, беспечный, непрактичный, хотя и не глупый, но узких крепостнических взглядов помещика, добродушно из педагогики секущего слуг, и при этом любящий, восторженный, сентиментальный муж и отец, — полная противоположность своей высокоумной образованной передовой жене»<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> «Мои Записки...». Л.133; см. также: В год войны. Указ. изд. С.83.

<sup>43</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1577. Л.88об.

<sup>44</sup> Русская старина. 1895. №8. С.101-102.

<sup>45</sup> Запись А.М.Ремизова цит. по: Заветы. 1914. №3. С.139; далее: Заветы.

Об отношениях между Колечицкими, такими разными по характеру, пишет также их шелкановский сосед. Он отмечает строгость Настасьи Ивановны — «женщины замечательного ума и образования», — которая держала «своего шаловливого супруга в ежовых рукавицах». Иногда «жалко было видеть, с какою робостью смотрел он на нее, накладывая себе на тарелку лишний кусок, так как Н[астась]я И[вановн]а постоянно и неутомимо следила за тем, чтобы он не объедался»<sup>46</sup>.

Он умер в 1867, Анастасия Ивановна — в 1871, оба похоронены в Бобровке.

4

Представления об А.И.Колечицкой были бы весьма неполными и даже превратными, если бы мы не попытались восстановить последний период ее жизни.

Со временем она все больше становилась похожа на свою мать. Как и та, она пеклась о доме и семье, не выпуская из поля зрения ни одной мелочи хозяйства, ездила с дочерью по святым местам, в Москву, Петербург, Киев. Ей был присущ глубокий интерес к жизни и бесчисленным родственным связям ее круга. Вчитавшись в письма и записи Колечицкой, А.М.Ремизов отметил, что их автор — «женщина замечательная, ума редкого и наблюдательности отменной»<sup>47</sup>. Убеждая себя в том, что она счастлива — и у нее, действительно; было все для счастья, — Анастасия Ивановна с детства выработала в себе стремление к идеальному совершенству во всем и страдала от его недостижимости: «из глубины души [я] благодарила Бога за столько лет, проведенных счастливо, — гораздо счастливее, нежели я того достойна»<sup>48</sup>, — писала она в годовщину своего замужества. А.И.Колечицкая умела не замыкаться в повседневности, но тяготилась необходимостью вникать в хозяйство, отвлекавшее ее от любимого занятия — чтения. Большую часть «Моих Записок...» составляют выписки из прочитанных книг: в 1820-1840-х здесь и Шатобриан, и мадам де Сталь, и Св. Франциск Сальский, и граф де Сегюр, и мадам Жанлис, и Пушкин, и Марлинский, и Лермонтов, и многие другие. Круг ее чтения заслуживал бы отдельной статьи. А.И.Колечицкая упоминала в «Записках» мельчайшие подробности своего прошлого (в особенности детства), складывая их в цельную картину, и вместе с тем старалась не терять из виду события «общественной современной жизни».

Вероятно, на середину 1850-х пришелся некий духовный кризис, который разрешил тяготившие ее противоречия. А.И.Колечицкая не ушла из мира, как ее мать, но, передав хозяйство дочери и зятю, обратилась к спасению души, умалению своего «гадкого я»<sup>49</sup>.

Постепенно ей становилось все тяжелее бывать в Бобровке; ее еще сильнее мучило собственное несовершенство и растраченное время. Из-

<sup>46</sup> Русская старина. 1895. №8. С.102.

<sup>47</sup> В год войны. С.40.

<sup>48</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1577. Л.88.

<sup>49</sup> Там же. Ед.хр.1534. Л.6 — письмо А.И.Колечицкой к дочери от 26 января 1865.

менился характер ее записок. «Я бывало любила вспоминать прошлое, — писала она в 1865, — а теперь, когда у меня другой взгляд на жизнь и ее назначение, мне тягостны эти воспоминания, именно потому, что ошибок и зла так много, а доброго столько упущено, все, что казалось тогда хорошо и должное, теперь видится суетным и порождением тшеславия, а не любви к ближнему из любви к Богу»<sup>50</sup>. Она подолгу жила в Смоленске, куда ее привлекала красота города и церковных служб. В конце 1859 смоленским епископом был назначен Антоний (Яков Гаврилович Амфитеатров; 1815-1879), бывший прежде ректором Киевской духовной академии и настоятелем Богоявленского монастыря. Возле него, по-видимому, составилась кружок симпатизировавших ему дам, в число которых входила и Анастасия Ивановна (преемник Антония, епископ Иоанн, ехидно намекая на любовь к нему дамского общества, называл его «бархатною юбкою»<sup>51</sup>). Антоний стал ее наставником, поддерживал духовно, она помогала ему, в чем и как могла.

«Моим любимым идеалом всегда было прекрасное учреждение первых времен — диакониссы; как жаль, что это прекратилось, и не вздумают в нашей церкви возобновить»<sup>52</sup>. Своим служением она избрала то, что умела делать хорошо, — переводить, перелагать. Вероятно, не без протекции Антония книготорговцы Н.П.Кораблев и М.Н.Сиряков выпустили несколько книг, составленных Анастасией Ивановной: «Ответы на главнейшие возражения против веры истинной» (СПб., 1867; 3-е изд.); «Вера и наука, или согласие христианских истин с новейшими открытиями науки» (СПб., 1867; подписано буквами «А.К.» с пометой: «Смоленск 1866 г.») и «Семейство Вифании, размышления о болезни, смерти и воскресении Лазаря» (СПб., 1871; с указанием: «Переделано с французского] А.К...кой»)<sup>53</sup>.

В ноябре 1866 митрополита Антония перевели в Казанскую епархию, паства и, в частности, А.И.Колечицкая была удручена его отъездом. Вскоре скончался муж — ее «старик» Петр Петрович. Временами она роптала на одиночество, на то, что «слова душевного сказать не с кем, посоветоваться»<sup>54</sup>, но умерла все же дома, в Бобровке, осенью 1871, отпустив дочь и зятя с детьми в Москву (при ней оставался старший внук Николай).

<sup>50</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1580. Л.106-106об. — «Мои записки от 1862 года» (запись от 29 мая 1865).

<sup>51</sup> Русская старина. 1895. №8. С.98.

<sup>52</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1580. Л.108об. — «Мои записки от 1862 года» (запись от 3 июля 1865).

<sup>53</sup> Авторство книги «Семейство Вифании...» раскрывает Н.Н.Голицын в «Библиографическом словаре русских писательниц» (СПб., 1889. С.138). См. также: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т.2. М., 1957. С.31. В начале 1871 А.И.Колечицкая записала в своем дневнике: «Я начала переводить "La Famille de Béthanie" с сокращениями и некоторыми изменениями /.../. Не знаю, дано ли мне будет ее кончить и пустить в ход, ка[к] два прежние мои перевод[а] или переделки» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.116).

<sup>54</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1534. Л.5.



А.И.Колечицкая начала «Мои Записки...» в 1820. Ряд особенностей бумаги, почерка, нумерации страниц, брошюровки тетради и «ошибок памяти» позволяет сделать вывод, что существенная часть публикуемого нами отрывка была написана заново в конце 1850-х, когда первые 16 листов были вклеены в старую тетрадь; граница между переработанным текстом и собственно дневниковыми записями приходится на 1825. Возвращаясь к событиям почти сорокалетней давности, А.И.Колечицкая, естественно, допускала неточности: например, о женитьбе Якушкина сообщается в записи от 10 августа 1822, тогда как это событие имело место лишь в ноябре; о *двух* его сыновьях говорится в 1824, когда второй ребенок еще не родился. Отсюда же разницей в употреблении глаголов настоящего и прошедшего времени в записи от 20 июня 1823. Две поездки в Москву — в начале 1821 и в 1822 — объединились по прошествии времени в одну (см. также в примечаниях к тексту). Поэтому трудно поддается датировке встреча Анастасии Ивановны с Грибоедовым<sup>55</sup>. Пребывание Колечицких в первопрестольной с зимы до середины лета 1822, о котором она рассказывает в записи под 10 августа, подтверждается, в частности, письмом Александра Лыкошина от 6 мая к сестре в Москву<sup>56</sup>. Однако до сего дня никаких иных свидетельств о том, что Грибоедов находился в это время в Москве, не имеется.

Мы выбрали для публикации почти все записи 1820-1825 и некоторые — 1826 (первый том «Моих Записок...» завершается 1840 годом). Мы сочли возможным поместить здесь отрывки, которые были прежде печатаны: о встрече с Грибоедовым (с исправлением неточностей, вкрапившихся в публикации Н.К.Пиксанова и С.А.Фомичева) и о летних сезонах в Никольском. Мы приводим записи о трагических событиях 1825 года, потому что они резко изменили привычный для автора ход вещей: «Все надежды /.../ теперь разрушены!». А.И.Колечицкая стремилась узнать от родных и друзей как можно больше подробностей о неожиданной смерти горячая любимого императора; брат Алексей писал ей 9 декабря, что в Петербурге и Москве, наверное, присягнули Константину, не дожидаясь его приезда из Варшавы, а 11 декабря уведомлял о том, что сам принес присягу: «Да здравствует император Константин!»<sup>57</sup>. Новым потрясением стало 14 декабря.

В этих событиях были замешаны многие из знакомых. В очередном письме к Анастасии от 10 января 1826 брат сообщал: «Я видел на днях нашу тетку Якушкину; она очень слаба, а ссоры с родными приближают

<sup>55</sup> В ИРЛИ сохранилась записка Грибоедова к Колечицкой, которая отнесена С.А.Фомичевым к 5-9 сентября 1818. (Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1988. С.452). В сборнике «Грибоедов в воспоминаниях современников» он же датирует ее 1823-1824. Первая датировка исключается: точно известно, что Анастасия Ивановна не выезжала из Щелканова осенью 1818 (17 сентября у нее родилась дочь).

<sup>56</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.3. Л.36-36об.

<sup>57</sup> Там же. Ед.хр.2. Л.36-36об.; (Перевод с франц. наш. — Публ.).

ее к могиле»<sup>58</sup>. Младших Лыкошиных связывали с детьми Прасковьи Филагриевны Якушкиной детские годы, проведенные в близком соседстве<sup>59</sup>. Когда же Анастасия Ивановна вышла замуж и поселилась в Шелканове, ее соседями оказались Пестели, которые жили в селе Васильеве. Павел Иванович Пестель был сослуживцем Петра Колечицкого по Литовскому полку. У Анастасии Ивановны завязались добрые отношения с родственниками, а впоследствии — с сестрой Пестеля Софьей<sup>60</sup>; соседи часто посещали друг друга.

6

Настоящая публикация остается весьма неполной не только по сравнению со всем корпусом записок А.И.Колечицкой, — она требует продолжения еще и потому, что «Мои Записки...» читаются совершенно иначе в контексте «Семейной Хроники» Лыкошиных. В этом клане родство было тождественно дружбе. Незадолго до свадьбы сестры В.И.Лыкошин писал ее жениху: «Не стану вас уверять, как приятно мне начать это письмо, называя вас братом — прибавлю только, что в нашем семействе слово брат и друг были однозначущие слова»<sup>61</sup>. ■

\*\*\*

Текст «Моих Записок от 1820-го года» печатается по автографу, хранящемуся в РГАЛИ: Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.142. Л.1об.-57. Записи 11 сентября 1820; 12 декабря 1822; второй абзац записи от 26 января 1823; 1825: 18 ноября, 4 декабря (кроме диалога Александра I и П.П.Колечицкого), 8 декабря, первый абзац записи от 10 декабря, 15 и 19 декабря; 1826: 4 января, 2 апреля, 24 июля, 10 августа, 5 ноября приводятся в нашем переводе с французского.

<sup>58</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.2. Л.36-36об. (перевод с франц. наш. — Публ.).

<sup>59</sup> Ср. с мемуарной записью В.И.Лыкошина: «Мать моя была очень дружна с двоюродною сестрою своею Прасковьею Филагриевною Якушкиною, и когда муж ее заболел и умер у нас в доме, она оставалась года три с детьми своими у нас, так как имение их было совершенно расстроено. Две дочери и сын ее были одних с нами лет, и мы жили и учились как одной семьей». По истечении этого времени Якушкины «уехали на житье в Орловскую губ[ернию] к брату их отца Сем[ену] Анд[реевичу], купившему прекрасное имение там» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.6,13).

<sup>60</sup> А.М.Ремизов опубликовал 20 писем Пестелей к А.И. и П.П.Колечицким (в основном это приглашения погостить в Васильеве и поздравления по разным праздничным случаям); в РГАЛИ хранятся также письма С.И.Пестель к Колечицкой 1867-1868 (Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1638).

<sup>61</sup> РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.4. Л.5.

Epigraphe  
Le Souvenir présent celéste,  
Ombres des biens que l'on n'a plus,  
Est encore un plaisir qui reste  
Après tout ceux qu'on a perdu.  
*Le C[om]te de Segure. Memoires<sup>1</sup>*

1820-й год

1-е сентября. Щелканово

Сегодня новый церковный год: мне всегда жаль, что Петр 1-й и в этом изменил наш коренной обычай и в подражание Западу переложил празднование на бессмысленный для нас день 1-го января<sup>2</sup>. Велик был Царь по гению, да нас-то сделали его «новшества» — как говорили староверы — жалкими обезьянами, чего, конечно, умный, но пылкий реформатор не предвидел.

Мне пришла мысль, что много лет жизни моей протекло, а не осталось памятных записок о минувших происшествиях и впечатлениях, я жалею, что не вела от самых юных лет дневника: сколько приятных событий, сколько уроков, опытом мне данных, изгладилась из памяти моей или представляются как неясный сон! На эти мысли навело меня прочитанное в Ричардсоновой Клариссе рассуждение /.../<sup>3</sup>.

Вот я и захотела последовать этому примеру и начну малопомалу вспоминать прошлое и записывать, что будет примечательного впредь в моей жизни; в моих чтениях и даже в общественной современной жизни; мы живем в замечательное время: в моей памяти еще свежи великие происшествия 1812 и следующих годов Отечественной войны; и теперь носятся в воздухе новые идеи, либеральные попытки, какое-то брожение во всем мире. Чем-то это кончится?.. Буду же записывать; мне интересно будет перечитывать и проверять мои мысли и дела; а когда меня не будет, эти листы — я знаю — будут дороги для моей Анничьки.

Какое увлекательное чтение этот роман Клариссы Гарлов; мне жаль, что я не по-английски его читаю, но франц[узский] перевод Лётурнера<sup>4</sup> очень хорош; здесь нет заманчивых приключений и романических эффектов, действие просто, естественно, это жизнь действительная, обыденная; но так свыкаешься с разнообразными личностями, что кажется, знаком с ними, где-то и когда-то видал их. Ричардсон даровитый писатель, но его «Грандсон» и «Памела»<sup>5</sup> далеко не то, что «Кларисса». Основная мысль этого романа та, что один безрассудный поступок увлекает в бес-

численные проступки и даже в гибель. Если бы она первое письмо Ловеласа показала матери, то не было бы гайного свидания их и дальнейших ужасов, которые позволил себе этот мерзавец, которого имя сделалось принадлежностью всех развратников. И какой урок родителям, не умевшим заслужить доверия дочери, — а без этого доверия, без той нежной любви, которая в юном сердце должна до времени быть первенствующим чувством дочери, чем же могла бы мать действовать и противостоять страстям, когда они проснутся? Уж конечно не строгостью испанской дуэньи! О моя дорога Анни! да поможет мне Бог поселить в тебя эту любящую, непринужденную доверенность! Твое воспитание есть главнейшая цель моей жизни; о сем тружусь неустанно и борюсь с окружающими препятствиями, и нет жертвы, которой бы не готова была принести для твоего блага!

5-е сентября

Начну же краткой очерк моей жизни теперь, надеясь вперед пополнить его; теперь у меня много занятий, кроме хозяйства, которое должна вести, как умею, и для которого теперь пора всех заготовлений, но еще я делаю выписки из всех книг о воспитании, какие могу только достать и свожу их по главам как добавление к любимой моей «Education pratique», par Marie Edgewarth<sup>6</sup>; эта превосходная книга есть мое главное руководство, и я только добавляю ее мыслями других, особенно в отношении религиозного воспитания, о котором она, к сожалению, вовсе не говорит.

Я родилась 1800 г. февраля 17-го; в тот год, когда начали строить Казулинскую каменную церковь<sup>7</sup>. Детство мое было мирно и счастливо: маменька моя особенно меня любила и всегда брала меня в свои дальние путешествия, в Москву, Тихвин, Киев. Старшая сестра моя Мария, добродетельнейшее существо, которое, казалось, дышало для одного добра, имела почти наравне с матерью мою любовь и доверенность, я не скрывала от них ни одного чувства, ни одной мысли; старшие братья мои, Владимир и Александр, в детстве моем забавлялись мною как куклою, а потом с летами были добрыми и нежными друзьями моими. Сестра Лиза, двумя годами меня моложе, была товарищем моих забав и уроков; она была любимица отца, — хотя это у нас в семье никогда не оказывало ни малейшего неравенства, — она была вострушка и часто, нашалив, умела так своротить на меня, что виноватою оказывалась я, но эти проделки не нарушали нашего доброго согласия. Два меньшие братья, Дмитрий и Лоло, были гораздо моложе нас; первый был гениальный ребенок, не любивший

игр, но постоянно погруженный в чтение более серьезных книг и в разговоры и расспросы любимого своего дядьки Герас[има] Сем[еновича]<sup>8</sup>, очень умного и много читавшего; красавец Дмитрий умер семи лет от какой-то медленно истомившей его болезни.

Гувернантки были у меня добрейшие: француженка Göze, потом англичанка Изабелла Яков[левна]<sup>9</sup>; почти все уроки давала нам сама маминька, а позже ученый француз Mr Cusuel, который умел сделать нам уроки чрезвычайно приятными; зато уж не любила я уроков фортепьяно, которые давала нам его жена, и это, вероятно, было причиной малых моих музыкальных успехов; напротив, к пению я пристрастилась, и мой учитель Ожогин<sup>10</sup>, воспитанник итальянцев знаменитых того времени в Петербурге, гордился моими успехами, особенно когда на домашних праздниках я пела с оркестром, который был превосходно составлен у нас<sup>11</sup>.

Из путешествий наших я помню поездки в Москву и ласки многочисленной родни нашей; но более живое воспоминание оставили мне две поездки в Киев, одн[а] в 1811 году, когда огромная комета наводила на всех какое-то предчувствие беды, но для нас была только великолепною диковинкою, на которую мы заглядывались, возвращаясь поздно ночью из Лаврских всеношных. Эта священная Лавра с ее дивными богослужениями, пещеры с их таинственной тьмою и ранними обеднями; дивный старец духовник наш слепой иеросхимонах Вассиан<sup>12</sup>, кроткой и любвеобильный как Ангел, в келью которого я спешила, чтобы вести его к средней обедне, в Больничную, и стать перед ним в молитве; и милый этот старец полюбил меня, — да кого же он не любил? Это был прекрасный образец истинно святого древних киновий<sup>13</sup> восточных. — Тогда в Киеве митрополитом был Серапион<sup>14</sup>, и был еще замечательный проповедник Леванда<sup>15</sup>, необыкновенно красноречивый, благообразный, в митре, полученной в награду, с самым благозвучным голосом. — В то время генер[ал]-губ[ернатором] Киева был Милорадович<sup>16</sup>, большой поклонник красоты, и как с нами бывала всегда в Лавре знакомая наша Алекс[андра] Сем[еновна] Ивкова<sup>17</sup>, очень красивая собою и полюбившая нашего Лоло, постоянно возле нас стоявшего, то ему всегда отдавал Милорадович просфору, полученную от Преосв[ященного], и когда он давал бал, то адъютант его Фед[ор] Ник[олаевич] Глинка<sup>18</sup> привез и нам приглашение, но маменька не хотела ехать, чтобы пустой светской рассеянностью не испортить благочестивого настроя, которое внушала нам святыня Матери градов. — Следующий год был знаменитый 1812 г., его разгром я опишу когда-ни-

будь подробнее; затем чрез год, осенью 1813-го, мы опять ездили в Киев, но уже без милой сестры Марьи, вышедшей в начале 12-го года замуж за В.Д.Рач[инского]<sup>19</sup>.

В 1817-м году 19-го октября я вышла замуж, а 17 сентября 1818 родилась моя Анни. Все это, если Бог даст, опишу когда-нибудь подробнее.

11-е сентября, в карете

Следовать своему предназначению есть прямая обязанность мужчины и в особенности женщины. Ох! чем стало бы общество, во что превратилась бы добродетель, если бы каждый мог по своему вкусу менять свое положение, которое ему не нравится, и слишком обременительные обязанности для того, чтобы выбрать себе подходящее призвание и более удобные добродетели?! Нет, самое благородное — это посвятить себя целиком своим обязанностям, пожертвовать ради них самыми дорогими склонностями и самыми приятными удовольствиями и постоянно следовать непреклонным законам добра и нравственной красоты. О Добродетель, неистощимый источник покоя, небесная Дочь Мудрости, которая правит миром, воцарись в моем сердце! сделай так, чтобы чистое наслаждение, животворный источник которого находится в тебе, было наградой за то, чем я жертвую во имя своих обязанностей; руководи моей волей в каждую минуту жизни и дай мне покой чистой совести, который бы всегда жил у меня в сердце. Боже Всемогущий и Милостивый, я молю о Твоей помощи! пошли мне поддержку Твоей Божественной благодати: она одна освящает, укрепляет нас, несчастных смертных, и заставляет стремиться к добру; без нее все становится немощью и небытием, жизнь тратится на благие решения, но не хватает мужества им следовать, и, мечась между добром и злом, мы приходим к могиле, где нас ждет счет, который вряд ли можно оплатить. Господи, сжался над слабостью нас, смертных! Я знаю, что Ты сделал все для того, чтобы научить нас творить добро под покровом Твоей Святой благодати, что Ты наставил нас постоянно просить ее у Отца нашего Небесного ради Святого Твоего Имени; я знаю, что лишь необузданные страсти делают нас слабыми и грешными. Боже мой, сжался над нами! Ты столь же милосерден, сколь и справедлив, мне известна Твоя бесконечная Милость лучше, чем другие Твои Божественные качества. Да не постыдится надеющийся на Тебя — так говорит Твое Слово Святое<sup>20</sup>.

1-е октября

Много говорят о каких-то революционных тайных обществах, рассеянных по всей Европе: Тугенбунд в Германии, Карбонары в Италии, Гетерия в Греции<sup>21</sup>, масонов везде; темная молва о каком-то громадном заговоре, имеющем будто бы агентов и в России. Меттерних<sup>22</sup> пугает нашего либерального прекрасного Александра Благословенного, чтобы склонить его на свои деспотические меры. Избави Господи, чтобы эта старая лисица не успела!

9-е ноября

Какое горе, Боже мой! мой добрый отец скончался 26-го прошедшего месяца, а от меня это скрыли! Пьер поехал на погребение<sup>23</sup>, а я и не догадывалась; год назад у отца сделался удар, но потом ему было лучше, он мог ходить, хотя не владел рукою и худо говорил; грустно мне было видеть его в этом положении, когда я летом ездила в Казулино; но теперь и в помышлении у меня не было, чтобы повторился удар, я получала спокойные письма от маминьки. А теперь, когда все дети его были собраны около него, я одна как отверженная была за полтораста верст! Я чувствовала какую-то безотчетную тоску, особенно когда Пьер без меня поехал под каким-то пустым предлогом; но сестра Марья Пет[ровна]<sup>24</sup> всячески успокаивала и рассеивала меня; и я просто думала, что скучаю, как обыкновенно, без Пьера.

О мой добрый отец! ты видишь теперь, как у меня на душе тяжело! Это ведь первое в моей жизни горе. Теперь мне приходит на мысль, что я не довольна была тебе покорна и, может быть, огорчала когда-нибудь; я не умела понимать вполне и изъявлять тебе благодарность за все труды и жертвы, которые ты приносил для блага твоего семейства, не жалея ничего для нашего воспитания, а себе одному отказывая всякую прихоть. Прости меня, мой дорогой отец, и благослови твою бедную дочь!

1-е декабря. Казулино

Горькое было свидание с матерью; тяжело мне было на гробе отца! Такие чувства нельзя выразить словами. Маминька до крайности печальна и в каком-то тревожном настроении духа; все в доме мрачно и грустно.

15-е марта

Маминька уехала в Киев из Смоленска, где совершала раздел имения с братьями; с нею поехала сестра Лиза, брат Алеша и дочь сестры Марьи Рац[инской] Катя<sup>25</sup>, которую она отпустила с маменькою, чтоб утешала бабушку, и особенно из опасения, чтоб она в своей безмерной горести не вздумала покинуть нас и остаться навсегда в Киеве, ею так много любимом. Сохрани Господи нас от этой печали! Она так нужна нам, мы ее так горячо любим с такою полною доверенностию, что, уже бывши замужем, у нас нет мысли, сокрытой от нее.

26 октября, Казулино

День горестного воспоминания!.. ровно год сегодня, как добрый отец наш скончался. Мы всею семьею собрались вокруг дорогой матери нашей, возвратившейся, слава Богу, из Киева, по совету мудрого старца, нашего дух[овного] отца Вассиана: он сказал ей, что еще не время ей удаляться, надо воспитать меньшого сына и устраивать его состояние. Какой светлый разум у этого святого подвижника, и сколько мы обязаны благодарить его. — Сестра Лиза имела в Киеве и много удовольствия по дружбе милой нашей двоюродной сестры Анаст[асии] Вас[ильевны] Дерфельден, рожденной Воронеж<sup>26</sup>; она там поселилась и имеет свой дом.

Мое здоровье очень худо: от самых родов, когда у меня разлилось молоко и бросилось, к счастью, только в ногу, несмотря на то, что я сама кормила свою Анни более десяти месяцев, мое здоровье расстроилось; несносный Гейман заливал меня лекарствами, а, видно, разлившегося молока не выгнал, как бы следовало; да еще подбавило потрясение первого горя — кончины отца, и отъезд на полгода матери в Киев; — все это сильно подействовало на меня: я чувствую, что мои умственные способности ослабели, какие-то страшные мысли и мечты наводят на меня ужас; непреодолимая тоска отравила все радости моей жизни; это, говорят, нервное раздражение, ипохондрия. Пробовала нынешним летом полечиться у славного и доброго Кемпфа, домашнего доктора Барышниковых<sup>27</sup>, лечившего с таким усердием целый год нашего покойного отца, но в опустелом Казулине, при отсутствии всякого развлечения, и его лечение не помогло мне. Что будет со мною?!.. Я так боюсь, что неспособна уже делать счастливым мужа, которого так горячо люблю, не могу, как должно, исполнять обязанности матери. Жизнь мне становится в тягость... а я еще так



молода! Неужели я навсегда простилась со всем, что делает жизнь приятною?!.. Я не смею жаловаться, я не ропщу; если я недостойна более тех семейных радостей, которые были моим сладким уделом, да будет воля Божия! Я только умоляю возвратить мне силу духа, необходимую для исполнения моих обязанностей, и чтобы мне не быть в тягость другим, не потерять любовь мужа, не быть бесполезною или вредною для дочери. Господи Боже мой! призри милосердно на меня, подай терпенье и покорность нести по воле Твоей крест, на меня наложенный, и да будет он мне спасителем! Счастье безмятежное могло бы окончательно меня испортить, а скорбь может выработать что-нибудь доброе в душе моей. Да будет воля Господня!

1822-й год

10-е августа

Я только что возвратилась из Москвы, где несколько месяцев лечилась у славного доктора Мат[вея] Яков[левича] Мудрова<sup>28</sup>, и его стараниям я обязана возвращением здоровья; сердце мое преисполнено благодарности к этому любезному и человеколюбивому врачу; да благословит его Господь наслаждаться долго своим семейным счастьем с милою его женою Соф[ьей] Харит[оновой] (дочерью профес[сора] Чеботарева<sup>29</sup>) и прекрасной его дочкою, прелестным ребенком, так хорошо воспитываемым умною матерью.

Но паче всего душа моя возносится к Тебе, Премилосердный Боже, всех благ подателю! Приими горячее мое благодарение! Ты испытал меня болезнями и душевными страданиями, но и в наказании Твоем я познаю Отческую благодать Твою: быв осыпана благодеяниями Твоими, я не умела благодарить непрестанно и часто забывала Того, Кто столь щедро расточал мне дары Свои; испив чашу земных радостей, я уже не чувствовала вполне цены их... Ты заставил меня опомниться! Я узнала всю цену здоровья и счастливой жизни и, может быть, буду более сочувствовать несчастным, узнав на опыте страданье, горести, страхи, начинавшие уже доводить меня до отчаяния и изнеможения душевного. Но Ты воззрел — и Божественная Благодать Твоя возвратила мне здоровье и счастье. Я начинаю как бы новую жизнь, вся природа, прежде казавшаяся мне мрачною, теперь снова прекрасна в глазах моих, улыбается мне, все стало светло и радужно; я чувствую возвращение сил душевных и телесных, разум снова действует, и светлее ум мой, столь долго омраченный каким-то туманом.

ном. О Боже! какой язык возможен достойно хвалить Тебе! Научи меня изъявлять Тебе благодарность и любовь мою исполнением Св[ятых] заповедей Твоих; не допусти, чтоб Твои благодеяния изгладились из памяти моей; даруй, чтобы вся жизнь моя была посвящена служению Тебе духом и истиною и исполнением обязанностей, Тобою мне назначенных, и доверши Твои благодеяния — чтобы, когда позовешь меня к Себе, я была готова идти, и чтобы смерть была для меня спокойным сном в уповании радостного пробуждения в блаженной вечности!

Мы отправились зимою с Пьером, Анничкою и сестрою Лизою в Москву; первое время стояли в доме священника Старого Вознесенья<sup>30</sup>, отца Иосифа, умного старика, любившего говорить по-французски, и случалось, что, обходя с кадиллом церковь, куда собирался весь beau-monde московской, он говорил «Pardon, mes-dames». Он был моим духовником, по совету нашей доброй, родной Анаст[асии] Фед[оровны] Грибоедовой<sup>31</sup>, которую от младенчества привыкла уважать как друга маминьки, и имевшую самое нежное попечение о братьях, когда они ходили в Университет. — Я чаще всего бывала у нее; помню, в один день она позвала меня обедать, и я нашла у нее большое общество; вдруг входит молодой человек в очках, которого мне нетрудно было узнать, как Александра Грибоед[ова], товарища нашей юности, а ему невозможно было неограниченно догадаться, что я та, которую он знал девочкою; но мать его, с обычной живостию, воскликнула: «Александр, как же это ты не узнаешь дочь Миропьи Ив[ановны] Лыкошиной?!» Тогда он подошел ко мне и стал расспрашивать о братьях. — Сестра его, Марья Сергеевна, лучшая музыкантша Москвы, ученица Фильда<sup>32</sup>, проводила все дни за фортепьяно и арфою. Однажды, когда я с нею ездила на концерт Шемановской, польской пьянистки с большим талантом<sup>33</sup>, случилось на мою беду, что я с утра, забыв о вечернем концерте, продолжала пить свой битер-васер<sup>34</sup>, предписанный Мудровым, и, когда Марья С[ергеевна] захала за мной, я беспечно поехала; но вдруг к моему ужасу, в самый развал концерта чувствую действие горькой воды; пока поют итальянцы, я забываю беду; но как скоро Шемановская начинает серьезную пьесу, не столько меня интересующую, — я погибаю; смотрю кругом, не увижу ль знакомого мужчину, который бы проводил меня к карете, но в толпе никого различить не могу. Кой-как доживаю до конца концерта, но тут моя спутница, встречаясь с разными знакомыми, перекидывается любезностями, я стою, и мне еще хуже, нежели сидя. Наконец-то попадаю я к себе домой, счастливая уже тем, что не случилось худшего. На следующий концерт уже не я, а сестра Лиза поехала с кузиною.

Бывала я также довольно часто у тетушки Прасковьи Александровны Ушаковой<sup>35</sup>, двоюродной сестры матери, умной, приветливой старушки, жившей одиноко в своем большом каменном доме, куда часто съезжались родные, особенно в великопостные дни, есть превкусные безрыбные обеды, приготовленные на прованс[ком] масле и миндальном молоке; там встречалась я с дальнею роднею Неклюдовой и дочерью ее Шеншиною<sup>36</sup>, с Яниковыми<sup>37</sup> и др.; видала и кн[язиню] Мещерскую, устроившую женскую общину в своей подмосковной<sup>38</sup>; и какого-то сенатского секретаря, рассказывавшего, как у них 70 лет длилось дело, начавшееся от курицы, перелетевшей чрез соседний забор.

В это время приехала в Москву Лиза Милюкова<sup>39</sup>, вторая дочь тетушки Праск[овьи] Фил[агриевны] Якушкиной<sup>40</sup> (жившей с детьми своими несколько лет в Казулине во время детства нашего, потом, выдав старшую дочь Вар[вару] Дмитр[иевну] за двоюродного брата нашего Вас[илия] Вас[ильевича] Воронца<sup>41</sup>, они жили в Языкове, недалеко от нас и наконец переехали в орловскую деревню<sup>42</sup>, где Лиза, с которою я была дружна, вышла замуж); это свидание возобновило в памяти счастливые дни нашего детства. Около этого времени сын тетушки Ив[ан] Дмитр[иевич] Якуш[кин] женился на Шереметьевой Анаст[асии] Вас[ильевне]<sup>43</sup>, и они летом приезжали в Жуково, тоже близ Казулина, с тещею его Надежд[ою] Ник[олаевною]<sup>44</sup>; и мы видались с ними, когда я бывала у матери.

Иногда бывала я и у милой кузины Мухановой Нат[альи] Влад[имировны], рожденной Полуехтовой (ее брату Борису Влад[имировичу]<sup>45</sup> был поручен по службе брат Александр в Преображ[енском] полку, а потом в его бригаде, стоявшей в Вязьме).

Мы скоро переменили квартиру и наняли на той же Большой Никитской очень миленькой флигель дома Бессоновых, богатых старушек, весьма нас полюбивших. Приятная жизнь в Москве, прекрасная весенняя погода, гулянья на Святой неделе, ежедневные по бульварам, загородные поездки в Сокольники, в Останково Шереметьева, в Кунцово Нарышкина с семейством родственника Пьерова Сергея Николаевича Глинки, сочинителя и добрейшего оригинала, и с милою, умною женою его Марьей Вас[ильевною]<sup>46</sup>, воспитывавшейся в доме Архарова<sup>47</sup> и сохранившей дружеские отношения с его семейством. — Эта разнообразная жизнь, при искусном лечении Мудрова, восстановила мое здоровье, и я возвратилась в деревню с новыми силами и охотою ко всем моим занятиям.

Я взяла в Москве маленькую француженку Adèle Rosvog<sup>48</sup> для сотоварищества моей четырехлетней крошке; для меня постарался знакомый мне книгопродавец Renaud, которого мать жила

гувернанткою у нашей родственницы Ел[изаветы] Пет[ровны] Яниковой. Адель прехорошенькая девочка лет шести, кроткая и послушная; мать ее, бедная и весьма непорядочная женщина, согласилась скоро отдать мне дочь; но, когда я уехала, — мне сказывали — она опомнилась, что отдала дитя свое вовсе незнакомой ей женщине; пробралась на квартиру Гр[игория] Ник[олаевича] Калечитского<sup>49</sup> с плачем и рыданием, но тот старался ее успокоить. Я взяла также няню француженку M-me Hamaid. Но это все я подробно описала, как и все касающееся до воспитания Анны, в особых Записках, в книге моих выписок De l'Education, стр.497-502. Потому-то и бывают такие пропуски в моих собственных Записках, что занимаюсь более теми.

12-е декабря. Щелканово

Какой грустный день для меня! Пьер мне пишет из Смоленска, что выбран Краснинским уездным предводителем; наконец-то случилось то, чего я так боялась! Заглядывая в будущее, вижу, что оно сулит мне только новые опасения: он будет так часто вдали от нас, и семья не будет больше единственным предметом его забот; быть может, он привыкнет быть не с нами, и кто знает, вернуться ли эти счастливые и мирные дни, так быстро промчавшиеся!.. но к чему заглядывать в будущее, по милосердию Божию сокрытое от нас? Один Он может все предвидеть, Он любит Своих детей и знает, что им полезно. Покоримся же без ропота Его воле — только так можно обрести душевный покой.

Как немощно мое сердце! Я падаю духом от малейшей неудачи. Где же то мужество, та твердость духа, которые я старалась выработать в юности; где та стойкость в несчастьях, примеры которой воспламеняли мое сердце?.. О моя юность! дивное невинное и мирное время, проведенное под родительским кровом! Счастливые дни, когда в лоне тихой жизни пылкое воображение приоткрывало мне жизненные бури, а неискушенное сердце жаждало вкусить тех нелегких добродетелей, которыми я восхищалась! Очаровательные мечты, что с вами стало? Почему же теперь не распространяете вы свое очарование на действительность?.. Действительность, перед тобой исчезает опьянение иллюзий, покрывало падает, и ты предстаешь нашим глазам такой, какова ты на самом деле, — суровой и подчас грустной. Что приходит на смену чарующим надеждам юности! Обыденная жизнь, зачастую тягостные обязанности, постоянная борьба желаний и рассудка, никому не ведомая, известная одному Господу Богу!.. И как коротки эти радости, о которых мы мечтали; по воле обстоятельств

и людей как непрочно счастье! В этом мире спокойствие обретают лишь те, кто не прилепляются сердцем к преходящему, а умеют довольствоваться всем тем, что им дано, и уповают на вечное блаженство. Я ими восхищаюсь, но у меня пока не хватает сил, чтобы следовать их примеру; все мои желания еще слишком приземленные. Боже мой! Научи меня жить, всегда чувствуя Твое присутствие рядом со мной, желая лишь Твоего одобрения, предаваясь во всем Твоей воле; и даруй мне Твоею благодатью мир сердца! Это самое драгоценное, что есть, можно снискать лишь в постоянной любви к ближнему — в прекрасной заповеди, дарованной нам Богочеловеком. Быть снисходительной к другим, строгой к себе одной, учиться без горечи переносить несправедливость, отвечать добром на зло — вот вкратце мои обязанности перед людьми.

1823-й год

26 января. Казулино

Я приехала к сегодняшнему дню рождения моей дорогой матери: при жизни отца этот день праздновался с особенною торжественностью, собиралось много родных и соседей, и особенно до 12-го года, пока была своя славная музыка, были танцы и во всей форме бал. Но теперь все изменилось, и мы съезжаемся к нашей дорогой, чтобы проводить этот день семейно, здесь моей Анни свиданье с детьми сестры Марьи, и им раздолье веселиться в большом новом доме, куда перешли после кончины отца<sup>50</sup>, и бабушка не мешает им шуметь, ибо ее комнаты во флигеле, соединенном коридором теплым с дом[ом], и там она беспрепятственно может исправлять свои благочестивые занятия и хозяйственные дела; но перед обедом она выходит обыкновенно в диванную, где ее пальцы, и мы все около нее с своими работами или читаем ей что-нибудь найденное интересным и приличным для ее слуха в наших светских чтениях; после обеда она идет к себе отдыхать и молиться и снова возвращается к чаю, который сама разливает, равно как и утренний кофе, любя видеть всю семью около себя в это время; она остается весь вечер с нами, пока в 9-м часу подадут ей в ее комнатах ужин ее (ибо она не кушает мясного); в это время мы сидим около нее, а в начале десятого она уходит в свою спальню, а мы к своему ужину.

Подле моей замечательной матери я вновь обретаю мужество переносить житейские неприятности и опасения, которые мне внушает новая служба Пьера; я опять укрепляюсь в решении неукос-

нительно выполнять святой долг делать счастливым того, чья судьба связана с моей моим свободным выбором и прекраснейшим таинством; изгонять из его сердца печали и заботы, предпочитая страдать самой, чем причинять ему малейшее огорчение; жить для них одних, для мужа и дочери; радостно жертвовать своим отдыхом ради их благополучия; быть матерью и воспитательницей, нежной, терпеливой, деятельной и благоразумной, так же как и бережливой хозяйкой дома, снисходительной и справедливой... Неотменимые обязанности, за которые я должна буду дать отчет Богу! Хорошо ли я их выполнила?.. О Боже мой! Будь милосердным к моему несовершенству, к моим слабостям. Я сознаю, что иногда позволяю себе увлекаться резкостью и упорством моих мнений, тем, что англичане называют «selfishness»<sup>51</sup>, правда, я раскаиваюсь тотчас же, но мне надо исправиться и стать смиренной сердцем. Это очень трудно, но Твоя благодать всемогущественна, и я молю Тебя о ней ежедневно!

20-е февраля. г.Красной

Я решила съехать сюда, находя несносною жизнь без Пьера в Шелканове. Но и здесь едва ли можно будет прожить долго; никому из нас нет угла спокойного в единственной квартире, которую могла найти и где хозяйка только дала нам четыре комнаты с одним крыльцом, — вещь в высшей степени неудобная, так как почти ежедневно являются с раннего утра бедные дворяне с просьбами к предводителю; наша спальня возле прихожей так мала, что невозможно поставить кровати, и мы спим на полу; в зале я должна была отгородить одно окно и там сделать комнату для *Maïd* с моими двумя девочками и сестры Лизы, приехавшей ко мне погостить; остается гостиная, где я должна принимать приезжающих, быть готова во всякое время, — и ко всему этому приятность одного выхода! Сверх того, в Красном, кроме калачей, ничего достать нельзя, и я за мясом должна посылать за 16 верст в мест[ечко] Ляды, а все нужное для стола привозить из Шелканова за 50 верст; а со всем тем иметь всегда готовый обед для приезжающих по делам из деревень и приготовиться угощать г[енерал]-губ[ернатора] кн[язя] Хованского<sup>52</sup> в проезде его из Витебска в Смоленск. Единственное городское общество — старик судья Энгельгар[дт] и городничий Зах[ар] Вл[адимирович] Шевандин<sup>53</sup>, порядочной молодой человек, а по соседству старушки Краевские, к которым Пьер возил меня знакомиться. Но хуже всего то, что эта беспорядочная жизнь может расстроить наше небольшое состояние, ибо эта служба много прибавляет

расходов к тем, уже слишком для нас значительны[м], которых требуют наши отношения к многочисленному родству и соседству щелкановскому. Да поможет нам Бог управиться с тем, чего переменить нам невозможно!

20-е июня. Щелканово

Как и предвидела, я должна была в начале этого месяца перебраться совсем из Красного и покориться тому, что Пьер может приезжать ко мне только в субботу, чтобы в понедельник быть опять на должности в Красном. Вместо отдыха в деревне на просторе, я должна была заняться приготовлением к именинам Петра П[етровича], ежегодно дающим мне много забот, а нынче еще более в ожидании множества посетителей, в небольшом нашем домике, хотя уютном и мило отделанном к нашей свадьбе Пьером. С помощью доброй сестры Марьи Петр[овны], более опытной в хозяйстве, и моей славной ключницы Арины Филип[повны] и отличного нашего повара Симона, учившегося на кухне министра Гурьева<sup>54</sup>, с этими хлопотами я кой-как справилась. К 12-му числу собралась в Щелканово толпа гостей около ста человек, из коих половина почти ночевала. Кроме залы, которая во всю ширину дома, то е[сть] около 12 арш[ин] длины, надо было поставить и другой стол на балконе; а для ночлегов устроить в саду палатку, и большой каретный сарай заставить березками в виде ширм, со множеством кроватей, а нам искать убежища на ночь в маленькой оранжерейке, которая под балконом в половине горы выкопана; в доме же комнаты отданы почетным гостям. Говорят все, что у нас праздники очень веселы, но мне усталость не дает этого чувствовать.

Соседство у нас большое и много хороших и приятных домов; назову замечательнейших: Милашевичевы Вас[илий] Ив[анович], бывший ген[ерал]-губ[ернатор] Молдавии, родственник Калечитских, и жена его Елис[авета] Ник[олаевна], рожденная Опочинина<sup>55</sup>, премилые и чрезвычайно ко мне ласковые; у них единственная дочь Варбе и много живущих девиц<sup>56</sup>; их Тростянка есть самый приятный дом, где танцы и веселье продолжаются по несколько дней. — Малашева Пелагея Ив[ановна]<sup>57</sup>, почтенная старушка, у которой, кроме замужних ее дочерей Швейковской, Бородовициной, Рыдванской, еще три в девицах и сын, женатый на Кавелиной, хотя большею частию живет за границею, но иногда проводит лето в Коханове близ Черепова, где живет его мать; у него премилый молодой доктор Mandileny<sup>58</sup>, швейцарец, воспитанник знаменитого Песталоцци: он искусный врач по совершенно

новой методе, приводящей в ужас привыкших к шарлатанству здешних докторов, которые и на сахарную воду — пожалуй — пропишут рецепт в аптеку; но я верю Mandileny, показавшему свое искусство в болезни моей маминьки и моей Анни; он мне привозит заграничные журналы и книги и много рассказывает о методе воспитания Песталоцци в образцовом его заведении Гофвиле близ Ивердена<sup>59</sup> в Швейцарии. — Дом Барадудичевых Потемкино в семи верстах от нас, и там милая старушка баронесса Шлиппенбах, рожденная гр[афиня] Миних, мать хозяйки дома Марии Антон[овны], красивой элегантной женщины, замужем за глухим, но очень добрым Вас[илием] Яков[левичем] Барадудич; его сестра Елис[авета] Яков[левна] замужем за старшим Пьериным братом Яков Петр[овичем]<sup>60</sup>. — Старушка Марья Серг[еевна] страстная любительница цветов, и коль скоро свидится с Петром П[етровичем], тотчас отправляются в сад, какая бы ни была жара. Ее старший сын Конст[антин] Ант[онович]<sup>61</sup>, сослуживец брата Александра в Преображ[енском] полку. Близ Смоленска Рай, дом Лярских Александра Вас[ильевича] и Софьи Ив[ановны], рожден[ной] Храповицкой (сестры тетушки Пел[агеи] Ив[ановны] Корбут[овской])<sup>62</sup>, славился своим гостеприимством и равно, как и городской их дом, ежедневно полный народом; кроме красивых трех дочерей и трех сыновей<sup>63</sup>, у Лярских воспитывались разные племянницы и родственники; каждый вечер у них можно было встретить все, что жило и приезжало в Смоленск, военную и штацкую молодежь, и импровизированные танцы, и jeux de societ <sup>64</sup>. Я любила бывать у них, несмотря на то, что мне была беспощадная гонка от Софьи Ив[ановны] за книжное — как она говорила — воспитание моей Анни; но эта женщина делала столько добра и принимала такое живое участие в горе и радости ближнего, что ей прощались живость и резкость ее слов. — Много еще других более или менее близких соседей входило в круг нашего знакомства.

О родстве Петра П[етровича] кстати скажу несколько слов: сестра его Марья Пет[ровна] живет в Добросельи верстах в 12 от нас, это добрейшее в мире существо оказывает мне постоянно искреннюю любовь, хотя наши воззрения и вкусы расходятся во многом, но и я душевно уважаю и люблю ее. Старшая сестра Февр[онья] П[етровна] была первою женою Викт[ора] Ден[исьевича] Рач[инского] и оставила одного сына Пет[ра] Вик[торовича]<sup>65</sup>, которого сестра моя Марья любила наравне с собственными детьми. Старший брат Яков П[етрович], добрейший оригинал, имел любимую поговорку: «Живи и другим не мешай» и действовал по ней; жена его Елис[авета] Як[овлевна] Барадудич, пожилая, очень добрая женщина, любящая свет и гостеприимство, но благодушно



покоряется противоположным вкусам мужа. — Меньшой брат, любимый друг мой Мишель<sup>66</sup>, самого веселого, приятного характера, благородный душою и любящего сердца; никто лучше его не умеет оживить беседу; но его веселость несколько изменили заботы и обстоятельства. Он женился на молоденькой богатой Богдановичевой Александре П[етровне], и их жилище, старинный отцовский дом Клемятино, в двух верстах от нас.

В многочисленном родстве Калечитских соблюдаются строго все старинные обязанности и непременные посещения в известные дни, несмотря на отдаленность иногда более ста верст, а вблизи живущих как можно чаще. Признаюсь, что, несмотря на все мое уважение к родственным связям, я нахожу эти обычаи до крайности стеснительными и отымающими у меня много времени необходимого мне для воспитания моей Анни и тех познаний, которые самой мне нужно приобретать. Но избежать этих разъездов и приемов нет никакой возможности и сочлось бы за «crime des [liens de] parenté»<sup>67</sup>. Из главных родственников:

Дядя Петр Мих[айлович] Корбутовский<sup>68</sup>, родной брат Анны Мих[айловны], матери Пьеровой, почтеннейший и добрейший старик, женатый на Храповицкой Пелагее Ив[ановне], ласковой и весьма внимательной женщине. Они живут в семи верстах от нас в Герчикове, в прекрасном каменном доме, окруженном садами, где, хотя не бывает роскошных праздников, но всегда беспрепятливый приезд родных и знакомых, с гостеприимством принимаемых. Верстах в 17 от нас великолепно[е] имение Кошино двоюродного брата Влад[имира] Степ[ановича] Храповицкого<sup>69</sup>, у которого особенно празднуется храмовый день Св. Тихона 16 июня и день его именин; он имел несчастье безрассудно жениться в Петерб[урге] и должен был развестись с женою. — Его единственная сестра Софья Степ[ановна]<sup>70</sup> была за Павлом Егор[овичем] Соколовским и оставила дочь Елену<sup>71</sup>; вторая жена Павла Егор[овича] Анна Андр[еевна] Реад, они живут в прекрасном имении Преображенском в 12 верстах от Смоленска, где мы бываем часто.

Дядя Николай Мих[айлович] Калечитский, брат Пьеринного отца<sup>72</sup>, умный, строгий старик прошедшего века, у которого в раболепном повиновении поседевшие сыновья и дочери; живет верстах более ста от нас в Николаевском Дорогоб[ужского] уезда; все обычаи этого дома напоминают глубокую старину. — Старший сын Григорий Ник[олаевич] женат на граф[ине] Салтыковой Елис[авете] Алексеевне, которой брат гр[аф] Григ[орий] Алекс[еевич]<sup>73</sup> владетель местечка Хиславич, верстах в 30 от Щелканова, уже в Могилевской губ[ернии], где в конце июля бывает многолюдная ярмарка, куда также считается за обязанность ездить, при-

возя с собою целой дом посуды, постелей и провизии и помещаясь в мерзких жидовских лачугах; если бы не приносило это столько хлопот, то, может быть, и я любила бы эту суету, и балы, и ласковые приемы гр[афини] Екат[ерины] Алекс[андровны], рожденной Херасковой<sup>74</sup>, но физическая усталость отымает у меня всякое удовольствие. — Меньшой сын Иван Ник[олаевич]<sup>75</sup>, любезный гусар, мой любимец из всей семьи. — Старшая дочь Анаст[асия] Ник[олаевна] вышла за двоюродного дядю моего Аполоса Эпафр[одитовича] Станкевича<sup>76</sup> /.../

Из двоюродных братьев Пьера от сестер отца его: кн[язь] Др[уцкий]-Соколинский Андрей Константинович<sup>77</sup>, холостой старик, к которому на именины непременно должно было собираться всем родным в Гальцово верстах в 30 за Смоленском по ужасной дороге и есть от каждого из двадцати блюд, подаваемых у него за столом. — Брат его кн[язь] Никита Конст[антинович]<sup>78</sup>, женатый на почтеннейшей женщине Марии Евграф[овне], рожденной Арсеньевой и родственнице моей матери, примерно исполняющей свои трудные семейные обязанности с всегда веселым и благодушным видом; они живут в Славкове близ Дорогобужа; из детей их старший любимец мой кн[язь] Владимир<sup>79</sup>; старшая дочь Catherine за Дмит[рием] Ив[ановичем] Потемкиным, сыном родственницы Пьеровой Христины Алекс[сеевны], рожденной Пенской<sup>80</sup>. — В этом семействе я люблю бывать, когда ездим в Казулино из Дорогобужа, к ним заезжаем.

От другой тетки дети: Сергей Дмит[риевич] Потемкин<sup>81</sup>, умнейший и любезный человек, и жена его Анна Францовна, достойнейшая женщина, живут в большой нужде при многочисленном семействе, но очень хорошо ведут своих детей. Пьер часто делает для них сборы денежные в семействах родных. — Сестра его Елисавета Дмит[риевна] Каховская<sup>82</sup>, также умнейшая дама, воспитанница первого выпуска Смольного монастыря; у ней на попечении три внучки княжны Соколинские, сироты ее старшей любимой дочери, которых она немножко странно одевает и заставляет петь в обществе, не учась музыке, и при всем уме своем подвергает их насмешкам<sup>83</sup>. Разумеется, что я здесь упоминаю только о самой малой части родных; но должна еще о почтенной тетушке Анне Богд[ановне] Азанчевской, сестре Никол[ая] Богд[ановича] Потемкина<sup>84</sup>; ее дочь за богачом Ив[аном] Ник[олаевичем] Аничковым<sup>85</sup>, необразованным, но очень неглупым человеком, которого жена эта Елис[авета] Яков[левна] ведет странную жизнь (подобную граф[ини] Анны Родионовны Чернышевой<sup>86</sup>): весь день спит, а всю ночь бодрствует и принимает общество до рассвета; муж большею частию разъезжает по своим имениям, но, когда

бывает дома в своем великолепном имении Мошкинки, то живет как все люди днем, и тетушка Анна Бог[дановна] уже хозяйкою принимает приезжих.

Я написала эти заметки, чтобы со временем для Анни известны были отрасли родственных семейств.

16 августа. Казулино

Этот памятный день нашей помолвки я люблю проводить в Казулине и вспоминать приезд Пьера после обедни.

Я рада, что отправлен Массон<sup>87</sup>, гувернер брата Алексея, вскруживший голову моей Наmaid. Алешу везет брат Владимир определять в дивизию Ольшевского<sup>88</sup>, родственника нашего в Переяславс[кий] Конно-Егерской полк, которым командует Акинфиев<sup>89</sup>, также родственник нам; этот полк в Орловск[ой] губ[ернии], недалеко от имения, где живет тетушка Прас[ковья] Фил[агриевна] Якушкина.

15-е декабря. Щелканово

Я должна отправить Наmaid, нельзя держать ее более; смотри журнал Анни стр.505 и 507.

1824-й год

20-е февраля. Щелканово

Я только что возвратилась из Москвы, куда должна была одна ехать, оставя Анни с Аделью у маминьки, искать гувернантку на место отправленной француженки; я в журнале Анни стр.505 описала все свои заботы там и как должна была решиться взять шотландку старушку Кеу, которая в Москве казалась свежа еще, но, вероятно, от дороги ослабела; не знаю, что будет?!

22 мая

Мы только что возвратились из Калужской губернии со свадьбы брата Александра, который женился на Зыковой Елис[авете] Александ[ровне], премилой, прекрасно образованной и страстно любящей брата. Свадьбу мы отпировали очень приятно в небольшом кругу родных с обеих сторон. Панизово — прекрасная усадьба с большим и покойным домом, церковь великолепная. Старик Александр В. Зыков<sup>90</sup> умный, старого века барин, гостеприимный, вся семья пред ним в строгом повиновении, но Лиза его

любимая дочь и имеет над ним влияние по своему благоразумию; ее сестра Анаст[асия] Александровна<sup>91</sup> красивая и любезная девушка; брат их, военный, не был на свадьбе; у них воспитываются сыновья умершей сестры их Суходольской, Alexandre и Pierre, премилые молодые люди, и у них славный гувернер француз. Был на свадьбе двоюродный брат Лизы кн[язь] Влад[имир] Вас[ильевич] Вяземской<sup>92</sup>, старый волокита московский, который надоел мне своими любезностями, а Пьера привел в порядочный assès de jalousie<sup>93</sup>; были и кузины их Кругликовы<sup>94</sup>. Были и двоюродные сестры наши Екат[ерина] Андр[еевна] Паньшина с Ив[аном] Фед[оровичем]; Любовь и Варвара Андр[еевны] Лыкошины<sup>95</sup>, с которыми я так рада была встретиться, не видав их лет пять или шесть. Они звали нас к себе в Милотичи, где мы опять пировали несколько дней; Паньшины живут на богатую руку, у них славный сад с выкопанною сажелкою, стоимшею более 10 тыс. ассигнациями, и в ней живут стерляди, карпии<sup>96</sup> и другие лучшие породы рыб; оранжереи их и сараи грунтовые с великолепными фруктами, и милый Иван Фед[орович] подарил мне на целый сарай груш бонкретьен и шпанск[их] вишен<sup>97</sup>, также и множество кустов лучших сортов ягод, за которыми и пошлем осенью. Эта поездка оставила мне самое приятное впечатление; равно как и прием в Казул[ине] наших милых молодых у маминьки, которая очень полюбила Лизу, и решено, что они поселятся у нее, пока имение братнино Никольское будет приводиться в комфортабельное жилище.

Брат Владимир уехал на Кавказ с своим добрым другом Осип[ом] Дан[иловичем] Ольшевским.

31-е мая

Удивляет всех слух, что любимец Государя кн[язь] Александр Ник[олаевич] Голицын, бывший мин[истром] просвещения и дух[овных] дел, смнен и место его заступил Шишков<sup>98</sup>, страшный ретроград и противник молодой литературы карамзинской школы, которую так покровительствовал попечитель Петерб[ургского] унив[ерситета] Сергей Сем[енович] Уваров<sup>99</sup>. Все знающие дело полагают, что это интрига Аракчеева<sup>100</sup>. Говорят, что и Библейское Общество<sup>101</sup>, так славно действовавшее по всей России, будет прекращено; это крайне жаль.

22-е июня. Щелканово

Еще теперь не могу отдохнуть от именин Пьеровых; что за толпа людей была у нас, и сколько важных лиц: два экс-генер[ал]-

губернатор[а]: Вас[илий] Ив[анович] Милашевич и Ив[ан] Борис[ович] Пестель, бывший Сибирским ген[ерал]-губ[ернатором] и переехавши[й] на житье в деревню верстах в 25 от нас, в Васильево с женою и дочерью<sup>102</sup>, которых общество для меня истинное наслаждение; но Елис[авета] Ив[ановна] не приехала на наш праздник в общество ей вовсе не знакомое, а любит запросто проводить у нас дня два и более. Был и Смол[енский] губернатор Иасон Сем[енович] Храповицкий<sup>103</sup>, и кроме всех обычных ежегодных гостей, которых описала в прошлом году стр.20, были и наши Панышины, и Екат[ерине] Андр[еевне], любящей вообще светской блеск, очень понравился наш аристократический кружок, довольно, правда, редкий в деревне. Были и наши милые новобрачные, и в их приезд за несколько дней до 12-го вышел забавный случай: они по дороге остановились в Путятине, куда недавно приехал молодой владелец барон Черкасов, он как-то встретился гуляя с братом Александром, зазвал их к себе в дом, вместо беспокойной избы, где они остановились, и брат уговорил его ехать с ними к нам познакомиться. Брат, выходя первый из кареты, на крыльце говорит мне второпях: «Je vous emmène le baron», а я, зная его за весельчака, полагая, что он шутит, отвечаю ему песнию: «Un baron barbouillé, mouillé» и пр., но к великому конфузу вижу точно выходящего из экипажа элегантного молодого человека. Впрочем, мы очень скоро познакомились хорошо, и я сама ему объяснила мою ошибку и спела ему эту песню: «Du bas Poitou vous saurez qu'un baron»<sup>104</sup> и пр., которая заставляла его много смеяться и повторялась хором много раз.

2-е сентября. Казулино

Мне привезли англичанку Blackwood<sup>105</sup>, рекомендованную мне невесткою Лизою, у которой она в Панизове жила, на место моей бедной старушки Кеу, которая от старости засыпала на кресле, и Анни с Аделью этим пользовались, чтоб улететь в сад. О Блэквуд я описала в журнале Анни стр.512.

В воздухе носится какое-то волнение умов; поговаривают шепотом о каких-то тайных обществах. У нашего Ив[ана] Дм[итриевича] Якушкина, проводящего лето в Жукове, собираются его друзья Мих[аил] Ник[олаевич] Муравьев, женатый на Шереметьевой, сестре Анаст[асии] Вас[ильевны] стр.14<sup>106</sup>, Фон-Визин, Граббе<sup>107</sup> и др[угие]; там и у Петра П[етровича] Пассек<sup>108</sup> брат Владимир слышит их толки о злоупотреблениях администрации, о застое обществ[енной] деятельности в России, о конституционном порядке других государств. Я знаю, что Якушкин ездил по

Аракчеевским поселениям и нашел там много раздражения в народе. Теща его Надежда Ник[олаевна] Шереметьева, милая женщина и то, что англичане называют: «buzzy body»<sup>109</sup>, приезжая в Казулино любит потолковать с дядькою Герасим Сем[еновичем] и другими личностями о том, как живут мужички и дворовые у таких и таких соседних помещиков. Я люблю бывать в Жукове, их образ жизни такой *comme il faut*, Анаст[асия] Вас[ильевна] миленькая молодая женщина, два мальчика Вячеслав и Евгений прелестны как Ангелы<sup>110</sup>; милый наш Якушкин, друг юности нашей, так любезен, умен, в разговоре его столько занимательного, в библиотеке его все, что есть нового в иностранной литературе, особенно по социальным вопросам. Хотелось бы чаще быть в таком обществе, где получаешь много новых идей.

Ноябрь. Страшное наводнение в Петербурге: по Дворцовой площади ездит лодка, а в отдаленных частях города дома деревянные совершенно разрушены, и народа погибло множество; но много было утешительных явлений самоотвержения к спасению погибающих.

1825-й год

10-е сентября. Щелканово

Пьер только что возвратился из Дорогобужа, куда ездил для свидания с Государем Александром Пав[ловичем], ехавшим в Таганрог; лишь только Он вступил в собор, тотчас узнал Пьера и, выходя, на крыльце подал ему руку, расспрашивал о его службе и семействе и видимо был доволен, что он из далека приехал, чтоб видеть Его; да и как же иначе! этот обожаемый Монарх всегда и во всяком случае во время службы Пьера в Преображ[енском], а потом Литовском гвард[ейском] полку оказывал ему отлично милое внимание; и как жаль мне, что Пьер не продолжал службу, все сослуживцы его — Адлерберг, Исленев, Шульгин<sup>111</sup> и множество других, все уже генералы и занимают важные места. Но Пьер находил, что при небольшом состоянии ему с семьею невозможно было бы жить в Петербурге.

Странно, что Дибич<sup>112</sup> в толпе заметил, что на брате Владимире белая шляпа, и просил Дорог[обужского] предводителя Кононова<sup>113</sup> сказать ему, что Государь не любит этих шляп, вероятно, потому, что их носят заграничные либералы<sup>114</sup>; брат, конечно, тотчас же отправился с площади. Все это показывает, как умели возбудить подозрительность Государя, столько прежде

либерального и готового дать России то конституционное устройство, которое Он так щедро даровал Польше, — как и выразил сам при открытии Сейма в Варшаве<sup>115</sup>. Но Меттерниху и нашим ретроgrадам такие тенденции не по вкусу, и придворные интриги удалили от Него многих сочувствовавших Его стремлениям.

12-е ноября. Смоленск

Мы переехали в Смоленск, где по приказанию кн[язя] Хованского составлена комиссия из Петра П[етровича], брата Владимира как депутата Дорогоб[ужского] и Ильи П. Аршеневского депут[ата] Бельского для проверки отчетов Казен[ной] Палаты за десять лет; дела им бездна, и находят страшные неправильности, но Палата затягивает ответы, и явно намерение продлить дело до наступающих выборов, когда будут избраны новые лица и можно будет повернуть дело поудобнее для Палаты.

Я отправила Блаквуд, ее вспыльчивость до забвения приличий и вообще капризы вывели меня из терпения; смотри журнал Анни стр.515. Я надеюсь иметь сестру прекрасной англичанки Feveuear, которая живет у сестры Марьи<sup>116</sup>.

18-е ноября

Я только что прочла в «Cours d'Etudes» Кондильяка<sup>117</sup> рассказ об образе жизни, который вели пифагорейцы: они жили все вместе, со своими семьями; каждому часу их дня соответствовало определенное занятие; встав с восходом солнца, каждый шел гулять отдельно от других, чтобы проснуться, потом они собирались в школе; после занятий была гимнастика, борьба, верховая езда, танцы; потом приходило время общего обеда, весьма скромного. — После обеда каждый мог заниматься своими домашними делами, гулять, купаться; ужинали на заходе солнца, потом общее чтение, наставление старца. Наконец каждый просматривал все, что он делал, говорил и думал в течение дня, и все шли спать. — У пифагорейцев в большом почете была музыка, одна звучала утром, чтобы разбудить ум, другая — вечером, чтобы успокоить душу и отвлечься от дневных умозрительных построений. — Том 6, стр. 103.

Этот приятный образ жизни имеет много общих черт с жизнью моравских братьев, которым дал пристанище граф Ценцендорф<sup>118</sup> в 1722 году у себя в Гернгуте в Силезии; но гернгутеры были выше пифагорейцев; их деятельность, освященная Евангелием, была более благородной и полезной для общества, нежели

схоластические диспуты древних философов, и опыт бессмертия, который их вдохновлял, в своем действии более утешителен и полезен, чем учение последователей Пифагора о метемпсихозе. Жизнь моравских братьев была одним из самых приятных мечтаний моей молодости; я до страсти любила прелесть жизни, полной тихих занятий; эта явная склонность к покою и некоторая врожденная леность, несомненно, были причиной моей нелюбви к развлечениям, к шумным радостям, одним словом — к великосветской жизни, о которой многие так мечтают. Я всегда предпочитала умственные удовольствия: чтение, учение, испытание моих умственных и нравственных сил были для меня с самой ранней юности неиссякаемым источником удовольствия, и сидя за своим письменным столиком, с пером в руке, я пренебрегала балами и развлечениями, обычными для девушек моего возраста. Опыт, однако, показал мне, что немного более деятельный характер и вкус к домашним хлопотам, которыми я занимаюсь только скрепя сердце и по обязанности, были бы мне очень полезны в семейной жизни и избавили бы меня от отвращения к обязательным делам.

4 декабря

Боже мой! какая ужасающая новость! Нет больше нашего милостивого Государя, этого ангела доброты. Александр, имя которого было почитаемо во всей Европе как имя судьи народов, который избежал гибели на поле боя, вдруг подкошен безжалостной смертью в неизвестном городке своей огромной империи. Пусть его прекрасная душа найдет на небе воздаяние за свои добродетели, а на земле — дань наших слез и молитв. Все надежды, которые я на него возлагала, теперь разрушены!

Я навсегда запомню день 1 октября 1817, когда впервые любовалась им в Московском Кремле, с восхищением глядя на эти обожаемые черты, изысканную осанку, чарующий взгляд, навеки запечатленные в моей памяти<sup>119</sup>. Но кто может выразить чувства моего сердца при мысли о том, что 5 сентября сего года, всего три месяца назад, наш любезный монарх в своем последнем путешествии проездом через Дорогобуж узнал в лицо Пьера после девяти лет разлуки. Входя в собор, он тотчас его заметил, дружески с ним раскланялся и сказал Дибичу: «Это старой знакомой». — Выходя из церкви, он обернулся к моему мужу, взял его под руку и сказал: «Я тебя тотчас узнал, ты не переменялся, ты свежее меня. Далеко ль живешь отсюда, служишь ли, где» и пр. — Муж хотел поцеловать руку обожаемого императора, но тот тут



же убрал ее; затем из коляски он снова обратился к нему: «Калечитской, женат ли ты, сколько у тебя детей». — И, улыбнувшись на прощание своей очаровательной улыбкой, уехал. — Ангел доброты! как он умел вызывать восхищение /.../

8-е декабря

Какое трогательное письмо я только что прочла, письмо несчастной Императрицы Елисаветы к вдовствующей Императрице; первое письмо было написано через несколько часов после смерти того, кого она так любила; оно столь же естественно, столь же правдиво, как и ее боль; никакой выпренности чувств, только глубокое горе!<sup>120</sup> /.../

10-е декабря

Из частных писем мне удалось узнать некоторые подробности о смерти Императора; мне очень важно все, что имеет к нему отношение; это смягчает горе, которое я переживаю.

Покойный Государь имел предчувствие о своей близкой кончине, хотя безотчетное, неясное тогда, но поразительное по совершении горестного события. Он имел обыкновение 29-е августа<sup>121</sup> приносить в Александро-Невскую Лавру дары свои, обыкновенно состоящие в сосудах, ризах и пр[очих] богатых украшениях; но в этот год Государь дал свеч, масла, ладана на целый год! Выезжая из Лавры совсем уже в путь свой, он был провожаем митрополитом<sup>122</sup> в полном облачении за святые ворота, хотя облачение носится только в церкви; и Серафим был сам удивлен своему забвению. — Наконец, проехав Московскую заставу, Государь приказал остановиться на Пулковой Горе, обратился к Петербургу и долго не мог отвести взоров от столицы своей, которую украшал с такою любовью; глубокая горечь была видна на лице его и поразила всех бывших с ним. — В пути своем везде оставлял он следы милосердия своего и того неподражаемого очарования, которое умел он разливать вокруг себя; везде принимал милостиво изъявления усердия и любви к нему и за самые ничтожные вещи, подносимые ему, присылал потом богатые подарки; — так ценил он знаки любви народной; и любовь эта была искренная!.. Приехав в Таганрог, он был один день занят письмами, и как день был сумрачный, то приказал подать себе зажженную свечу; когда погода прояснела, камердинер вошел к нему и спросил, не прикажет ли принять свечу. — «Что! верно какая-нибудь примета, что свеча горит днем?» — «Нет, Государь, но русский народ не любит видеть днем огонь в доме!» — «Они, верно, дума-

ют, что покойник; ну вынеси свечи». — Возвращаясь из Крыма, Государь простудился, переезжая без шинели на пароме и не хотя принять лекарство, советуемое ему доктором Виллие<sup>123</sup>, приехавши в Таганрог, занемог крымскою лихорадкою 8-го ноября. В первые дни своей болезни, когда камердинер подавал ему белье, он сказал: «У меня из головы не выходят свечи, помнишь ли? Я, верно, умру, но буде воля Божия!» — 15-го числа он призвал духовника, соборного протоиерея и сказал ему: «Поступайте со мной как с христианином, и забудьте мое Величество». — Когда он приобрел Святых Тайн, то сказал присутствующим: «Я никогда не был так покоен, как теперь». — Согласился принимать лекарство, но ни шпанские мухи, ни пиявки, ничто не помогло. За несколько минут до кончины он взял руку Государыни, поцеловал очень нежно и, положив на сердце, так и скончался 19-го ноября, тихо, без страданья, как будто уснул! — Императрица закрыла ему глаза, поцеловала его, потом, выбежав в другую комнату, зарыдала!.. но пришел в себя, обратилась к Образу и сказала: «Господи! прости моей слабости!!», — возвратилась к телу и приказала служить панихиду.

Дивная женщина! какая покорность воле Божией! Как нежно она его любила, как снисходительна была к слабостям, в которые он впадал, как человек, но в которых всегда раскаивался, как христианин. — Небо соединило в этих супругах все добродетели и возвело их на престол, чтоб показать дивный пример для подражания народу; набожность, великодушие, ангельская доброта их будут удивлением потомства.

Сделан странный вычет: год рождения покойного Государя 1777-й. — Восшествие на престол 1801-й. — Кончина 1825-й. — Поставя эти цифры в длину и сделав сложение, выходит число 48 — лета его жизни<sup>124</sup>.

### 15-е. Смоленск

Сегодня закончилась служба моего мужа как предводителя дворянства. Слава Небесам! Одной тяжестью меньше на сердце. В других обстоятельствах это привело бы меня в восторг, но смерть Императора внесла в мою душу столько горечи, что это отравляет все приятные чувства. К тому же эта служба расстроила наши дела; нам придется взять ссуду в банке в 12 тысяч рублей, чтобы заплатить долги, которые мы вынуждены были сделать; наших доходов не хватает на то, чтобы покрыть необходимые расходы, несмотря на всю нашу экономию и ограничения, которые мы на себя накладываем. Но нужно было принимать у себя

весь уезд, к нам в деревню постоянно приезжали к мужу по делам и чтобы доказать ему свою привязанность; по праздникам бывало 75 и до 100 человек. Кроме того, генерал-губернатор кн[язь] Хованский, проезжая туда и обратно через Красное, любил находить у нас хорошее угощение; он даже в деревню приезжал к нам пообедать. Все эти расходы были необходимы, и вот теперь мы платим за трехлетнюю деятельную и добросовестную службу жизнью, еще более стесненной, чем прежде, потому что уже давно истрачены сорок тысяч рублей моего приданого: эти деньги пошли на уплату служебных долгов мужа и покупку крестьян в наши деревни взамен умерших после двенадцатого года. Моя болезнь тоже стоила денег, и кроме того платили гувернанткам Аннет. — Да будет воля Божия! Я не мечтаю о богатстве ни для нас, ни для Аннет, но мне нужны средства для ее воспитания, чтобы знания и способности могли выручить ее во всех случаях жизни, в которых она может оказаться. Вот что терзает мне сердце и наполняет его горечью. Но я уповаю на Бога и сделаю все, что зависит от меня /.../

19-е декабря

Из писем стало известно, что Константин отказывается от короны! Еще одной надеждой меньше, потому что он был так добр к моему мужу, у которого есть даже письмо от него!.. 14 числа сего месяца несколько гвардейских полков отказались присягать Николаю. На Сенатской площади собралась толпа народу, которая требовала Константина и конституцию. Милорадович был убит; пустили в ход артиллерию. Те, кого взяли, находятся в крепости, и повсюду идут розыски. Я боюсь за многих людей! — Бедная моя страна! Что тебе суждено!

1826-й год

1-е января. Смоленск

Вчера был у губернатора Храповицкого вечер; мы там встречали Новый Год и в полночь приветствовали новорожденного шампанским; много было военных; генералы Талызин<sup>125</sup>, Панкратьев, которого жену, урожденную Бибикову<sup>126</sup>, я так люблю; Свечин<sup>127</sup> и много других. Все мы старались забыть общую печаль; что принесет нам этот год? Наверное, почти более горьких чувств, нежели приятных; не всегда ли так бывает в этой бедной жизни!

Я не смею иметь желаний, они так мало сбываются; и знаю ли я, что мне истинно полезно. Прошу у Бога счастья всего мне драгоценного, твердости духа и покорности во всех случаях жизни.

Сегодня была парадная обедня в Соборе, и наш Преосвященной Иосиф<sup>128</sup> говорил речь о повиновении властям, указывая на послушание Иисуса Христа к земным родителям. Наш достойный пастырь имеет самую приятную наружность, служит удивительно хорошо и говорит трогательно и убедительно /.../

4 генваря. [Щелканово]

Я провела очень приятный день в Васильеве. Пестели так любезны, каждый по-своему. Говорят, что у него государственный ум, я же люблю в нем милого старика, веселого нрава, несколько язвительного, так мило рассказывающего все, что он видел и слышал в свои лучшие годы; и его знакомства со столькими замечательными людьми делают беседу с ним такой интересной. М-те Пестель, урожденная Крок, — женщина удивительного ума, имеющая знания, которыми могут похвастаться немногие женщины. Она владеет высшей степени хорошим тоном и искусством вести необыкновенно приятную беседу, проведя часть жизни при дворе, в Дрездене, Париже и Италии; удивительно ли, что в ее обществе получаешь столько удовольствия и узнаешь столько нового. Но то, что я ценю в ней более всего, это ее стойкость, то мужество, благодаря которому она в себе находит источник душевного богатства, живя в самой глухой и скучной деревне, какую только можно себе представить; и в обстоятельствах, которые сломили бы обыкновенного человека, у нее хватает власти над собой, чтобы поддерживать мужа, скрашивать ему жизнь, следить за воспитанием дочери, заменять собою всех возможных учителей и кроме того тщательно входить во все мелочи хозяйства, руководить строительством, одним словом, принимать на себя все тяготы мучительного существования; и при этом такая благожелательность по отношению ко всем на свете, умение снискать любовь своих скучных соседей, которые способны разговаривать только о капусте и репе. В самом деле это женщина замечательная, я гляжу на нее с почтением, как на великий образец для подражания. Ее дочь, очаровательная девочка пятнадцати лет, ангельской нежности и доброты, будет утешением — я уверена — своей достойной матери /.../

М-те Пестель, прекрасная музыкантша, играла марш из оперы Вебера<sup>129</sup> «Фрейшюц», которая в прошлом году доставляла радость всей Европе /.../.

18-е января. Казулино

/.../ Сегодня утром приехала англичанка, которую я ждала из Петербурга, Miss Kitty Feveryear; она производит впечатление хорошо воспитанной особы. Как я буду счастлива, если Небо пошлет мне в ней человека, полезного для воспитания моей Аннет, ей всего восемь лет, а сколько гувернанток мне пришлось переменить: французенка M-me Namaid была подходящей, но она начала вести себя слишком легкомысленно, и я вынуждена была ее отослать; англичанка Mistriss Key была слишком старая; Blackwood слишком раздражительная; повезет ли мне теперь /.../

2-е апреля

Я была у M-me Пестель, она в ужасном горе. Ее сын<sup>130</sup> серьезно замешан в деле либералов<sup>131</sup>. Я поехала, чтобы ее утешить, но, напротив, это я у нее училась смирению и мужеству. Ее душа такая большая и сильная, несмотря на то, что у нее чувствительный характер. Она обожает и оплакивает своего сына, но она находит еще в религии все, что помогает ей не сломиться под бременем несчастья, утешать мужа и дочь и заниматься своими ежедневными делами. Однако эта борьба природы и разума сильно сказывается на ее здоровье; она ужасно исхудала. Ее милая дочь, столь же рассудительная и смиренная, как мать, прячет от нее горькие слезы, которые она льет втихомолку. Достойная семья! я всегда ухажу от вас, восхищаясь вашими добродетелями и унося решительное желание подражать им. Рядом с людьми такого благородства дышишь другим воздухом; чувствуешь, как возвышается душа, облагораживаются мысли, и с радостью понимаешь, как велика и прекрасна добродетель /.../

24 июля

Страшное известие потрясло все мое существо и разбило то спокойствие, которое моя душа начала обретать! 14 числа этого месяца около ста несчастных были осуждены; пятерых казнили, другие приговорены к каторжным работам. О Боже мой! сделай так, чтобы моя душа склонилась перед Твоей непостижимой волей и дай несчастным, оставшимся в живых, смирение, а тем, которых уже нет, — жизнь счастливой, чем та, которую у них отняли в расцвете их существования. Какое горе должны были они испытать, вынужденные умереть молодыми, полными жизни и здоровья! И по какому праву отнимают жизнь, которую не умеют ни дать, ни вернуть... Но Ты испытал это, Господи! я должна умолкнуть!

11 августа

Вчера я навещала несчастное семейство Пестелей; горести бедной матери разбили мне сердце<sup>132</sup>; могла ли я утешить ее?.. я могла лишь плакать вместе с ними... Не стоит жалеть тех, кто умер христианами; гораздо несчастнее те, кто еще влачит тяжкое существование в оковах. Бедный Якушкин, навеки разлученный с прелестной женой и детьми, воспитанием которых он столько занимался, лишенный всех радостей жизни; и столько других, которых тоже жаль!..

Я вспоминаю, что в самый день казни и, вероятно, в тот же час я видела сон, который меня поразил и который я рассказала всей семье. Мне снилось, что мой покойный отец пришел мне объявить, что для несчастных все кончено! Проснувшись, я была безумно удивлена. Что это за таинственное откровение, неужели мне, все время сосредоточенной на одной мысли, выпало на долю вступить в связь с невидимым миром! Тем не менее я это пережила! /.../

23-е августа

Я вернулась от Пестелей, у которых провела три дня; они видят мое искреннее участие в их горе, и это установило доверие между нами /.../ Горькую радость доставило мне письмо несчастного Paul, написанное незадолго до смерти<sup>133</sup>. Какая благородная душа, какая возвышенность чувства, какая нежная привязанность к матери! Нет, человек, который так пишет в ожидании конца, не может быть чудовищем, каким его нам изобразили. Он просит мать, которая его так хорошо знает, не верить всему тому, в чем его обвиняют; он уверяет ее, что в тех заблуждениях, за которые он сам себя корит, сердце его никогда не участвовало и что, если бы пришло время действовать, сердце исправило бы ошибки его ума. В высшей степени трогательно выражение его любви к родителям; он горько упрекает себя в том, что причинил им столько страданий, и говорит, что в своей чрезмерной любви к ним желает, чтобы, если это возможно, они забыли о нем. «Я устал от жизни, — говорит он, — и предпочитаю смерть любому тюремному заключению; но в то же время я хотел бы жить, чтобы посвятить вам всю свою жизнь. Какой бы ни была моя судьба, мой последний вздох будет вздохом любви к вам». Он просит мать порадоваться тому, что теперь он понял Божественную сущность Спасителя, и пишет, что эта вера дает ему утешение в тюрьме и помогает отнестись к смерти со смирением<sup>134</sup>.

Мне так досадно, что я не решилась попросить копию этого прекрасного письма; я боялась вновь вызвать их страдания, пролив бестактность /.../

13-е октября. Казулино

Мой муж в Петербурге устраивает детей Рачинских на государственную службу<sup>135</sup>. Мне тяжело его долгое отсутствие, и я приехала скоротать его у моей замечательной маменьки /.../

14-е октября

Сегодня был вечер воспоминаний; мы с братом Владимиром мысленно бродили по старому Казулинск[ому] дому и в каждом уголке находили несколько младенческих радостей. Сколько есть приятных впечатлений, которые светятся в памяти и в которых иногда не можешь дать себе отчета; это какие-то неясные воспоминания, но исполненные дивной — свежей прелести. Блаженные дни младенчества! с чем вас сравнить! Но тогда мы не знали их цены; мы стремились к будущему, жаждали чего-то неизвестного. А теперь усталые от жизни, пережившие много очарований, мы снова обращаемся мыслью к прошедшему, желали бы снова начать жизнь, и начнем мы новую жизнь — за пределами гроба /.../

5-е ноября. Казулино

Я живу здесь одиноко и занимаюсь тем, что мне приятно; читаю, пишу, учу Аннет, и, если бы Пьер был со мною, мне нечего было бы желать. Сегодня великолепная погода, я долго гуляла и зашла в сад, который вернул меня к милым воспоминаниям детства; я остановилась в том месте, которое особенно любила в последний год до замужества; это похоже на маленький остров в самом конце сада, совсем уединенный, но оттуда открывался вид на дом, две церкви в окружении деревьев, большую дорожку, мельницу. В этом убежище с книжкой Циммермана<sup>136</sup> в руках я любила вкушать одиночество, которое он описывает с таким очарованием. Волны озера, плеща у самых ног, погружали меня в мечты; здесь сложились самые дорогие замыслы моей жизни, самые прекрасные грезы!..

В этих любимых местах воспоминания чередой теснились в сердце, и непреодолимое желание запечатлеть хоть что-нибудь из этого овладело мною. События моей жизни очень просты, но вспоминать о них мне так приятно.

Я родилась 17 февраля 1800. Этот год в нашей семье памятен тем, что тогда началось строительство прекрасной церкви в Казулине. Говорят, что я была мила, и я была счастливейший в мире ребенок. Моим первым горем стала разлука с доброй кормилицей, которую я нежно любила, я пряталась, чтобы горько плакать, и сдерживала слезы, когда думала, что меня видят. Моя маменька сама выучила меня читать; терпение и кротость этой отличной наставницы заставили меня сделать быстрые успехи, скоро я впервые попыталась писать и начертала на доске слова: «Милая Маминька». В пять лет мне нашли гувернантку французку M-elle Göze, добрую женщину, очень набожную, но крайне медлительную. Я была счастлива с нею и очень жалела, когда она оставила наш дом.

Я участвовала во всех больших путешествиях маменьки, и когда мы однажды посетили Успенский Собор и я в первый раз увидела мощи, я всех рассмешила, сказав растроганным голосом, что это, верно, мощи моей бабушки Лесли, которая, как мне было известно, похоронена в Москве. Мы были в Троицкой Лавре, в Ростове и Новом Иерусалиме, и от большого усердия я подошла приложиться к Царским Вратам и упала, когда они отворились; этот незначительный случай остался в памяти, потому что он причинил мне ужасное горе; я думала, что совершила преступление, и долгое время потом я каждую ночь чувствовала невыразимый страх и волнение. Такие детские впечатления, которыми обычно пренебрегают, имеют иногда влияние на всю остальную жизнь; этот случай и, возможно, другие в том же роде, на которые никто не обратил внимания, были причиной того, что впоследствии мелкие события вызывали у меня волнение столь сильное, что рассудок не мог вполне его побороть.

Когда мне было семь лет, мы проводили зиму в Москве, где мои братья учились в Университете. Мне нашли учителя танцев, Mr Lefevre, и я помню, как однажды горько плакала, когда меня заставляли танцевать перед преподавателями Университета, которые в этот день у нас обедали. Меня водили на балы к Иогелю<sup>137</sup>, где я поссорилась с английской девочкой моего возраста, которую я во что бы то ни стало хотела убедить, что ее мать не стоила моей. Мы бывали у всех родных, и у меня до сих пор стоят перед глазами столько старинных лиц, которые внушали мне большое уважение, и столько просторных гостиных, где я смертельно скучала.

Вернувшись с богомолья в Тихвине, мы нашли дома новую гувернантку, англичанку, добрую Изабеллу Яковлевну, о которой я сохранила воспоминания, полные любви и уважения; мы очень



любили ее сына Mr John (он иногда приезжал из Москвы ее навестить), потому что он нас веселил, заставляя прыгать через веревочку и делать гимнастику. — Моя мать нам давала все уроки, и я сохранила самые приятные воспоминания об этих часах, когда она сидела за своим бюро, делала выписки, а я около нее училась; в это счастливое время зародилась моя исключительная любовь к учению, она была развита примером всей нашей семьи, жизнь которой была домашней и трудолюбивой. Мы только изредка навещали соседей. К нам приезжали гости, но мы [дети] мало появлялись в их обществе, и этот образ жизни, такой правильный и соответствовавший неукоснительному воспитанию, которое нам давали, привел к тому, что я всегда предпочитала серьезные занятия всем светским удовольствиям. Иногда мы приезжали на несколько летних месяцев в Никольское, в нашу прекрасную деревню в 25 верстах от дома; здесь мы пользовались большей свободой, чем в Казулине; дом был очень маленький, мы располагались в разных постройках, что позволяло нам вволю бегать по двору и в прелестном лесу в двух шагах от дома, мы резвились от всей души. М-ме Грибоедова, родственница и подруга маменьки, тоже приезжала из Москвы на лето к своему брату<sup>138</sup> в нескольких верстах от Никольского, и мы были неразлучны. Хмелита была красивейшим местом, и мы находили там многочисленное общество; мы гуляли, устраивали parties de plaisir<sup>139</sup>, барышни Грибоедовы<sup>140</sup> были удивительные музыкантши, и никто не думал тогда, что одна из них станет такой знаменитой. В их доме жила молодая девушка Julie Careble, с которой мы очень подружились и долго потом переписывались<sup>141</sup>. Александр Грибоедов учился тогда в Университете, как и мои братья. Моей близкой подругой и сверстницей была Катрин Энгельгардт, очаровательная девочка, которую со всем усердием воспитывала ее мать (она была единственным ребенком в семье). В Овиновщине<sup>142</sup> давали маленькие детские балы, которыми мы наслаждались; у нас иногда ставили театральные представления, где мы были актерами, и эти не слишком частые удовольствия служили нам развлечением в ежедневных занятиях /.../

В 1809 году осветили нашу церковь<sup>143</sup>. Церемония продолжалась три дня, и у нас все время было много гостей /.../ Так как дом был полон, мы жили у священника, и нам было весело бегать из дома в дом; мне казалось, что я очень занята: надо было принимать гостей и следить за порядком на столах, приготовленных в саду для бедных и крестьян, собравшихся посмотреть на церемонию. Я считала себя очень полезной и была вполне счастлива.

Вскоре после этого к нам приехала из Орла кузина нашей матери Якушкина, дети которой воспитывались вместе с моими старшими братьями и сестрами. Моя тетка любила свет и внешний лоск; ее присутствие пробудило во мне желание нравиться; первый раз я задумалась о своей внешности и нарядах. Я захотела быть красивой и сделалась манерной, но родители постарались дать мне понять, как смешна была эта аффектация, и я понемногу от нее отвыкла. — В это время нам нашли учителя пения Ожогина, у которого была очень хорошая метода преподавания, хотя иногда он бывал пьян, но в это время особенно ярко проявлялся его талант; в естественном состоянии он был застенчив, а под влиянием вина становился увереннее в себе и выдавал прекрасные трели и рулады. Довольный моим прилежанием, он давал мне долгие уроки, и я скоро научилась хорошо петь итальянские арии в обществе, собиравшемся на именины и дни рождения моих родителей.

Тогда же у нас был новый преподаватель Mr Cucuel, очень образованный человек, занятия с которым развили и укрепили мой вкус к серьезному учению. Я особенно любила уроки истории и литературы, которые он умел сделать очень приятными. Нашей подругой на уроках стала дальняя родственница отца Наташа Якушкина; брат Александр продолжал учиться с нами, и сестра Лиза также участвовала в наших классах; я по-прежнему занималась английским языком /.../ Лиза Якушкина, которая со времени замужества своей старшей сестры поселилась с матерью в нашем соседстве, часто проводила целые месяцы в Казулине; она гуляла и училась с нами. Мы вместе обрабатывали маленький цветник у нас под окнами, устраивали в нем клумбы и писали имена из цветов. У меня был очень романтический склад ума; я никогда не читала романы, но черпала пищу для мечтаний в случайно услышанных разговорах и живом воображении. Я начала выдумывать романы (не имея возможности их читать) и себя в них обычно выводила главной героиней. Один такой роман я однажды доверила Якушкину, брату Лизы, потому что не хотела потакать любопытству других; несмотря на мои просьбы, он показал мой роман нашей семье, надо мной стали смеяться и дразнить именем героини. Это вызвало во мне еще большую скрытность, но я не отказалась от моих любимых сочинений. Когда у меня был растрепаны волосы, Якушкин называл меня кающейся Магдалиной, он предсказывал, что из меня выйдет нечто замечательное. Несчастный молодой человек! тогда мы не предчувствовали его бедственной судьбы... Я пыталась также писать стихи, которыми осталась недовольна; и так как мне хотелось добиться

совершенства во всех своих начинаниях, неудачи легко лишали меня сил; я бросала все, что могла бы сделать, быть может, не без успеха, если бы у меня не было честолюбивого желания сделать это немедленно. Так же было и с рисунком; моим учителем был академик архитектуры<sup>144</sup>, который развил прекрасный талант моей сестры Марии; я очень хотела рисовать портреты, но они не удались, и я отчаялась. Дело не в том, что мне не хватало настойчивости, мое упорство более соответствовало мужчине, нежели женщине; я скорее предпочитала страдать, чем нравиться. Я никогда не была упрямой, наоборот, я была очень чувствительна и поддавалась доводам здравого смысла, но чтобы меня внутренне убедить, требовалось множество таких доводов; иными словами, в моем характере не хватало женственности, и часто в жизни я сожалела об этом.

Mr Cusuel уехал от нас, как и наша прекрасная англичанка и учитель пения; когда мне было всего одиннадцать лет, не осталось никого, кто бы руководил моими занятиями. Тогда мне пришлось на помощь страстное желание получить образование; я продолжала одна все свои уроки, я старалась чтением расширить свои знания; я читала с ненасыщаемой жадностью, делала выписки; сколько усилий я прилагала, чтобы понять и раскрыть то, что хотела знать, и с каким удовольствием я часто сидела ночами над книгами одна в своей комнатке, в которой жила с тех пор, как моя сестра вышла замуж. Как я ее любила, эту комнату, она была простой и скромной, кровать, несколько стульев, книжный шкаф, ключи от которого мне были даны, и окно, выходившее на большую дорогу и кладбище около старой церкви<sup>145</sup>; сколько сладких часов я провела возле этого окна в лунные ночи, глядя на брэнность жизни и, вместе с тем, мечтая о жизни и о том, что придает ей такое очарование. Я была так счастлива своей умственной жизнью, что не мечтала ни о каких развлечениях /.../

Как все хорошее на земле, это счастливое время тоже подошло к концу. Мало-помалу счастливые жители Казулина рассеялись /.../ Братья поступили на службу, сестра вышла замуж; я лишь изредка виделась со своей подругой Энгельгардт после смерти ее матери. Наташа вернулась к себе домой, а Лиза [Якушкина] вскоре уехала со своими в Орел. Дома остались только мы с сестрой Лизой.

Так началась моя молодость. Моя душевная жизнь приобрела серьезный и вдумчивый характер. Переход от детства к более зрелому возрасту не был постепенным; это случилось сразу. Трудные обстоятельства, страдания тех людей, которых я любила, закаляли мой нрав и рассудок, и в том возрасте, когда большин-

ство молодых людей все еще сохраняют беззаботность юности, я живо ощущала себя взрослой. Замужество моей бедной сестры оказалось несчастным, и эти мучения, свидетелем которых я часто бывала, сжимали мне сердце. Мать, которая ее обожала, страдала не меньше ее, и лишь в религии находила силы, чтобы вынести это горе. Наш дом стал грустным; дуновение несчастья иссушило цветы жизни. Вскоре неожиданное событие принесло нам новые неприятности. Разгорелась война 1812 года; враг с невероятной скоростью приближался к воротам Смоленска. При его приближении все бежало; мы вынуждены были уехать и расстаться с отцом, который мог решиться покинуть свое любимое обиталище только в случае крайней необходимости. Преисполненные горем и страхом за судьбу дорогого отца, предвидя в будущем одни беды и нищету, мы покидали родной кров, который не надеялись более увидеть. Тем не менее я вспоминаю, что сборы и будущие скитания виделись мне не без некоторого удовольствия; мы представляли себя маленькими эмигрантами из прекрасного романа М-те Жанлис<sup>146</sup>, и я мечтала, как в случае нашего разорения я буду зарабатывать на жизнь и поддерживать семью; в своей неопытности я рисовала себе благородные и опасные поступки, которые я совершу /.../ Но я с сожалением думала о своей комнатке в Казулине, которую я тщательно заперла, оставив записочку господам французам: я умоляла их ради их всем известной вежливости воздержаться от разорения моего небольшого имущества /.../ Чудом, явленным милостью Божией, наш дом избежал всех ужасов войны<sup>147</sup>. Для того, чтобы почувствовать цену благополучия, нужно познать лишения. Счастье возвращения домой было нарушено отъездом брата Александра в армию, которую он догнал в Калише в 1813 году; вступив в Преображенский полк, он опасно заболел и попал в плен во время отступления при Бауцене. Это грустное известие и волнения за брата Владимира, который тогда тоже воевал, причиняли нам живую боль.

Поездка в Киев несколько отвлекла нас от этих несчастий /.../

Вернувшись домой, я принялась за свои занятия с новым жаром; я обдумывала прочитанное /.../ Еще я любила представлять себе обязанности матери семейства и хотела подготовиться, чтобы их выполнять; для этого я читала сочинения, посвященные воспитанию, я придумывала методы обучения; с самого детства я чувствовала настоящие призвание к тому, чтобы воспитывать детей; я всегда давала уроки, и успехи моих учеников подталкивали меня к моим будущим обязанностям /.../

Мне пошел восемнадцатый год; говорят, я была хороша собой; я сама никогда не была вполне довольна своей внешностью;

я изводила себя желанием достичь совершенства как в духовном, так и физическом отношении, и всегда была лишена самоуверенности и апломба, которые позволяют тем, кто ими обладает, вкушать светские удовольствия, и, вероятно, поэтому они мне никогда не нравились. — Все, что чувствовало мое сердце, было живо и глубоко; у меня была восприимчивая и пылкая душа; меня снедала потребность любить, я искала предмет, который бы привлек мое внимание.

Наконец он нашелся. Я увидела Пьера Калечицкого год назад у моего зятя<sup>148</sup>, где наша семья проводила несколько дней; я показала ему слишком юной, чтобы внушить серьезное чувство; в то же время я с девичьей проницательностью догадалась, что я его заинтересовала, и этого было достаточно, чтобы я сильно им увлеклась, но так как я его долго не видела, мало-помалу он все меньше занимал мои мысли. Летом 1817 года он приехал к нам в Казулино под тем предлогом, чтобы поблагодарить моих родителей за участие в воспитании его племянника<sup>149</sup>, который жил у нас. Его вид возродил огонь, который теплился под пеплом; он пробыл у нас несколько дней, говорил со мной очень мало, но я замечала, как он наблюдал за мной, что приводило меня в ужасное смущение. Он уехал, так и не дав мне возможности догадаться, какое впечатление я на него произвела; эта неопределенность меня беспокоила, потому что я впервые испытывала серьезное чувство, основанное на уважении. Наконец 16 августа он вернулся, объявил о своем чувстве, и ему обещали мою руку. Это был предел моих желаний, я видела, что меня любят, и вкушала все очарование любви /.../

Я восстановила самые прекрасные моменты моей жизни; эти драгоценные воспоминания оживили мне сердце. Суждено ли мне увидеть когда-нибудь счастье моей возлюбленной Аннет; пусть и она сможет испытать эту волшебную чашу, без которой жизнь не имеет цены. Боже, сделай ее счастливой, чтобы я могла спокойно умереть!

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Эпиграф. Божественные воспоминания, тени утраченных благ, остаются единственной радостью, когда все потеряно. Граф де Сегюр. Воспоминания (*франц.*).

<sup>2</sup> И. П. Лесли (внук В. И. Лыкошина), автор обстоятельного исследования «Жизнь помещиков три четверти века назад», написанного на материале хозяйственных книг Колечицких за 1834 и 1846, отмечает, что они «вели расход по-старинному, считая год не с января, а с сентября (сообраз-

но прихода по хозяйству») (Смоленская старина. 1916. Вып.3. Ч.2. С.10 отд. паг.).

<sup>3</sup> Автор приводит выдержку из французского перевода романа Сэмюэла *Ричардсона* «Кларисса, или История молодой леди, охватывающая важнейшие вопросы частной жизни и показывающая, в особенности, бедствия, проистекающие от дурного поведения как родителей, так и детей в отношении к браку» (1747-1748). Этот роман в письмах, чрезвычайно популярный в конце XVIII — начале XIX вв., рассказывает о несчастной судьбе Клариссы Гарлов, доверие которой завоевал светский кутила Роберт Ловлас. Он добивается того, что она бежит из семьи, и заключает ее в публичный дом. Роман заканчивается смертью героини от горя и лишений и гибелью Ловласа, раненного на дуэли ее родственником. В приведенном Колечичкой отрывке, в частности, говорится: «Но с тех пор, как я решилась записывать то, что я намерена сделать или то, что сделала, мои поступки или решения остаются передо мной закрепленными на бумаге, привлекая меня к себе, отталкивая или требуя их исправить. Это нечто вроде договора с самой собой... как обязательство повседневно приближаться к добродетели».

<sup>4</sup> *Летурнер* Пьер (1736-1788) — французский литератор, переводил Юнга, Оссиана, Шекспира, Ричардсона.

<sup>5</sup> Речь идет об эпистолярных романах «Памела, или Вознагражденная добродетель» (1740) и «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

<sup>6</sup> Имеется в виду французский перевод книги известной английской романистки Марии Эджворт (1767-1849) «Очерки практического воспитания» (1798).

<sup>7</sup> Церковь во имя Сошествия Святого Духа; см. также прим. 143.

<sup>8</sup> В 11-м томе записок Колечичка рассказывает, что дядька Г.С.Вишневецкий был «из рода шляхтичей», попавших в крепостные «к одному из предков» Лыкошиных; «он посредством чтения приобрел замечательное образование и своими увлекательными рассказами из "Детского чтения", издаваемого Карамзиным, возбуждал в нас любознательность и сочувствие до горьких слез к бедствиям и проступкам какого-нибудь Фрица или Юлиньки или к приключениям любимого нами Робинзона. Можно сказать, что в отношении развития наших детских умственных способностей мы многим обязаны умному дядьке Герасиму» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.34).

<sup>9</sup> *M-elle Göze* была свояченицей И.Д.Петрозилиуса, учителя и воспитателя А.С.Грибоедова. *Изабелла Яковлевна* вышла замуж за русского, некоего Соколова (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.38).

<sup>10</sup> Возможно, имеется в виду Андрей Гаврилович *Ожогин* (1746-1814) — певец (бас) и драматический актер с ярким комедийным дарованием. С 1780 выступал в Петровском театре в Москве; оставил сцену в начале 1800-х.

<sup>11</sup> По воспоминаниям В.И.Лыкошина, в 1811 Иван Богданович Лыкошин, «справедливо желая сберечь крестьянские дворы, отдал большую часть молодых музыкантов в рекруты», и домашний оркестр перестал существовать (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.26об.).

<sup>12</sup> *Вассиан* (в миру Вавила) — знаменитый иеросхимонах Киево-Печерской Лавры; в 1816 его посетил Александр I, исповедовался и беседовал с ним, после чего пожаловал наперсный бриллиантовый крест (Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1862. Кн.1. Отд.V. С.188-189).

<sup>13</sup> Имеются в виду общежительные монастыри.

<sup>14</sup> *Сератион* (Стефан Александровский, 1747-1822) — с 1803 митрополит Киевский и Галицкий, член Синода.

<sup>15</sup> *Леванда* Иоанн Васильевич (1734-1814) — с 1787 протоиерей Софийского собора в Киеве. В 1798 был награжден митрой наравне с членами Синода из белого духовенства. Другой современник вспоминает: «С прекрасною наружностью Леванда соединял звонкий и отменно приятный голос, и проповеди свои, которые и поныне могут служить образцами, говорил он еще лучше, нежели писал» (Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891. Т.1. С.65).

<sup>16</sup> *Милорадович* Михаил Андреевич (1771-1825) — в 1810-1812 генерал-губернатор Киева.

<sup>17</sup> Вероятно, дочь С.М.Ивкова, помещика Краснинского уезда.

<sup>18</sup> *Глинка Ф.Н.* (1786-1880) был адъютантом М.А.Милорадовича в 1803-1806 и 1812-1822.

<sup>19</sup> *Рачинский* Виктор Денисович (ум.1845). Возможно, к нему обращено письмо Абрама Андреевича Боратынского от 23 июля 1790 из плена (см.: Лица: Биографический альманах. Вып.2. М.; СПб., 1993. С.211). Тетка А.А.Боратынского Ефросинья Васильевна была замужем за М.К.Рачинским.

<sup>20</sup> Неточная цитата из 69-го псалма.

<sup>21</sup> *Тугенбунд* («Союз добродетели») — тайное политическое общество, существовавшее в 1808-1810 в Кенигсберге, его основной задачей было возрождение «национального духа» и свержение французского владычества; *карбонары* (карбонарии) — члены тайной организации «Carbonaria», основанной в Италии в первой половине XIX в. с целью освобождения страны от французского ига; *Гетерия* (Этерия) — греческая революционная организация, созданная во второй половине XVIII — начале XIX вв. для освобождения Греции от турецкого господства.

<sup>22</sup> *Меттерних* Клеменс (1773-1859) — австрийский министр иностранных дел (1809-1821), канцлер (1821-1848).

<sup>23</sup> И.Б.Лыкошин был похоронен в Казулинской церкви.

<sup>24</sup> Колечицкая М.П. (ум. 1832 в девичестве) — сестра П.П.Колечицкого. Жила недалеко от Щелканова в имении Доброселье, которое заве-

шала П.П. и А.И.Колечицким. Запись А.И.Колечицкой о ее кончине см.: Полон. Пг., 1916. С.127.

<sup>25</sup> Рачинская *Екатерина* Викторовна (ум.1840) — старшая дочь М.И. и В.Д.Рачинских, замужем за Михаилом Михайловичем Лесли.

<sup>26</sup> *Дерфельден* А.В. (урожд. Воронец) — дочь сестры И.Б.Лыкошина Аграфены Богдановны. О свадьбе «красавицы Анаст. Вас. Воронец с полковником Псковского полка Дерфельденом» см. в «Воспоминаниях» В.И.Лыкошина (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.120б.).

<sup>27</sup> Возможно, речь идет о семье артиллерийского майора *А.И.Барышникова*, «богача», жившего «верст в 10» от якушкинского Жукова (Записки, статьи, письма декабриста И.Д.Якушкина. М., 1951. С.33, 26; см. также С.531. Далее — Якушкин И.Д. Указ. изд.).

<sup>28</sup> *Мудров М.Я.* (1772 или 1776-1831) — московский врач, талантливый клиницист, с 1813 профессор Медико-хирургической академии, основатель русской терапевтической школы.

<sup>29</sup> *Чеботарев* Харитон Андреевич (1746-1815) — историк и географ; с 1776 профессор, а затем первый ректор Московского университета.

<sup>30</sup> Церковь Старое (Малое) Вознесение на Большой Никитской была построена в 1584, перестроена в 1627.

<sup>31</sup> *Грибоедова А.Ф.* (1768-1839; урожд. Грибоедова) — мать А.С. и М.С.Грибоедовых. В.И.Лыкошин вспоминал в своих «Записках», что, когда они с братом Александром учились в университете, они «поручены были родственному надзору /.../ добрейшей» Анастасии Федоровны, которая «нежными попечениями заменяла» им мать (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.160б., 18).

<sup>32</sup> *Грибоедова М.С.* (1792-1856), в замужестве Дурново. *Фильд* (Филд) Джон (1782-1837) — ирландский пианист-виртуоз, композитор и педагог, в России с 1802.

<sup>33</sup> *Шимановская* Мария (1789-1831) — польская пианистка, композитор. Весной—летом 1822 состоялось ее концертное турне по России; первый концерт в Москве она давала 2 мая. С 1827 жила в Петербурге.

<sup>34</sup> *Биттер-вассер* (буквально: горькая вода) — английская соль.

<sup>35</sup> *Ушакова П.А.* (1748 или 1750-1824; урожд. Теряева) — дочь обер-секретаря Сената А.И.Теряева (1720-1783), внучка Прасковьи Никитичны Татищевой (в первом браке П.Н.Татищева была за И.Теряевым). По воспоминаниям Е.П.Яньковой, Ушакова в Москве «жила где-то на Немецкой улице за Елоховым мостом /.../ в доме всё было по-старинному, как было в ее молодости, за пятьдесят лет тому назад /.../ она носила и платье и чепцы по прежней моде» (Рассказы бабушки. Указ. изд. С.283). Г.Шторм называет также другой адрес: «Двор и строения П.А.Ушаковой находились в Ушаковском переулке; ныне — Хилков переулок, под №2», в приходе Зачатьевского монастыря (Шторм Г. Потаенный Радищев. М., 1974. С.142). Наряду с другими родственниками Ушакова опекала братьев Лыкошиных, когда те учились в Москве (Грибоедов в восп. С.35).



<sup>36</sup> Речь идет об Анне Николаевне *Неклюдовой* (урожд. Дмитриевой-Мамоновой), вдове Тамбовского губернатора С.В.Неклюдова, и ее дочери Марье Сергеевне (1798-1847), с 1817 жене В.Н.Шеншина.

<sup>37</sup> *Яниковы* (Яньковы) — Елизавета Петровна (1768-1861; урожд. Римская-Корсакова) и ее дети (у нее было шестеро дочерей и один сын).

<sup>38</sup> Имеется в виду Евдокия Николаевна *Мещерская* (1774-1837; урожд. Тютчева), сестра Н.Н.Шереметевой (см. прим. 44). В 1796 она вышла замуж за князя Б.И.Мещерского, который умер менее чем через три месяца после свадьбы. Летние сезоны она проводила «в своем звенигородском имении, в сельце Аносине. Там церкви не было, когда Мещерская купила имение. Она была очень благочестивая и набожная женщина и потому выпросила у митрополита Платона дозволение построить у себя церковь. /.../ По соседству с Аносином [в селе Ламонове] жила Прасковья Александровна Ушакова /.../; она была дружна с княгиней» (Рассказы бабушки. Указ. изд. С.127). Мещерская основала в Аносине богадельню, затем — женскую общину. Она хотела «устроить монастырь общежительный по образцу мужских, каковых тогда женских еще не было в московской епархии»; по ходатайству митрополита Филарета на это было получено высочайшее разрешение, в сентябре 1823 Мещерскую постригли в монашество под именем Евгении и «произвели во игуменью» Борисоглебо-Аносинского общежительного девичьего монастыря (Рассказы бабушки. Указ изд. С.277, 276).

<sup>39</sup> *Милюкова* Елизавета Дмитриевна (1795-?; урожд. Якушкина) была замужем за Мардарием Васильевичем Милюковым. Их дети: Владимир (1821-1841), Евгений (1822-1847) и Анна (1823-1842).

<sup>40</sup> *Якушкина П.Ф.* (?-1827; урожд. Станкевич) — двоюродная сестра Миропии Ивановны Лыкошиной: ее отец Филагрей Иванович Станкевич приходился братом М.И.Станкевич-Лесли, матери М.И.Лыкошиной. Д.А.Якушкин, ее муж, умер в Казулине, где часто гостило семейство Якушкиных. После этого вдова с тремя детьми в течение нескольких лет жила у Лыкошиных, и дети воспитывались вместе.

<sup>41</sup> *Воронец В.Д.* (1792-?; урожд. Якушкина) около 1810 вышла замуж за поручика *В.В.Воронца*, брата А.В.Дерфельден. К 1826 у Воронцов было 9 человек детей, они нуждались: И.Д.Якушкину приходилось посылать матери, Прасковье Филагриевне, «пособие в содержании» (Чернов С.Н. Имущественное положение декабристов // Красный архив. 1926. Т.2 (15). С.213).

<sup>42</sup> В Ливенском уезде.

<sup>43</sup> *Якушкин И.Д.* (1793-1857) в ноябре 1822 женился на *А.В.Шереметевой* (1807-1846). Выйдя в отставку в 1818, он подолгу жил в своем имении — сельце Жукове Вяземского уезда Смоленской губернии. Жуково стояло на р.Дыме, в нем было «7 дворов /.../ дом господский деревянный с плодовым садом, мучная мельница» (цит. по: Щепкина Е. Помещичье хозяйство декабристов // Былое. 1925. №3 (31). С.12). После свадьбы он почти на два года уехал в подмосковную Шереметевых Покров-

ское, в июне 1824 вместе с женой, тещей и недавно родившимся сыном вернулся к себе в Жуково.

<sup>44</sup> Шереметева Н.Н. (1775-1850, урожд. Тютчева) — жена В.П.Шереметева, тетка Ф.И.Тютчева.

<sup>45</sup> Родство Лыкошиных с *Полухтовыми* (Полуэктовыми) идет от Станкевичей: сестра Миропии и Филагрея Станкевичей Еванфия была замужем за И.И.Аргамаковым. На их дочери Екатерине Ивановне (1756-1811) женился В.Б.Полухтов, бригадир, в 1792 уездный предводитель дворянства в г.Никитине Московской губернии. Колечицкая встречалась в Москве с их дочерью Натальей (1782-1847), женой Н.И.Муханова (1761-1841 или 1843). Борис Полухтов (1778-1843), с детства записанный в Преображенский полк, начал служить в нем в 1798. В 1809 — полковник, с 1810 командовал 1-м батальоном полка. В 1813 в чине генерал-майора был назначен командиром Московского гренадерского полка; в 1818 — командиром 1-й бригады 2-й гренадерской дивизии. Во время учебы в университете братья Лыкошины часто бывали у Полухтовых. Помимо Натальи и Бориса известны еще трое детей В.Б.Полухтова: Варвара (1780-1843, в замужестве Фабр), Вера (1783-?, в замужестве Пенская), Екатерина (1785-?). Полухтовы посещали и Хмелиту, и Казулино (Грибоедов в восп. С.32, 34). В письме М.И.Лыкошиной из Казулина к дочери в Щелканово (11 октября 1818) сообщается: «Севодни от нас поехали Грибоедовы и Варвара Полухтова, вчера обедали и зделали нам день премудреной, мы их ждали до 4-х часов, следовательно, обедали при свечах, немного посидевши, по обыкновению уехали, не приняв моего предложения остатка ночевать по невозможности переехать реку — но принуждены были от Днепра опять возвратится и так весь день прошел у меня в кутерме» (РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.5. Л.83об.).

<sup>46</sup> Глинка М.В. (1791-1853) — жена *Глилки С.Н.* (1776-1847) с 1808. Братья Глилки (о Федоре см. выше) были уроженцами Смоленской губернии (Духовщинский уезд). В октябре 1812 П.П.Колечицкий писал матери: «сию пору не знаем наверное, где вы находитесь, а слышали от братца Сергея Николаевича Глилки, что вы изволили будто уехать в Нижний Новгород» (Полон. Указ. изд. С.137).

<sup>47</sup> Речь может идти об одном из двух братьев Архаровых: Николай Петрович (1740 или 1742-1814), с 1775 московский обер-полицмейстер, в 1782-1784 московский губернатор; Иван Петрович (?-1815) — в 1796-1797 военный губернатор Москвы. В 1797 оба брата были отставлены от службы и высланы в тамбовские поместья. В 1801 получили разрешение вернуться в столицы: Николай в основном жил в Москве, Иван — в Петербурге.

<sup>48</sup> Адель была взята в дом в начале 1821 (см. вступительную статью). 4 апреля 1821 М.И.Рачинская, поздравляя сестру «с удачным возвращением из Москвы», писала: «Ты легко себе представить можешь, chère Nany, как я рада, что желание твое исполнилось в рассуждении маленькой иностранки, дай Бог, чтоб она тебе занимала и была бы полезна милой Анниньке» (РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1653. Л.22).

<sup>49</sup> *Колечицкий Г.Н.* — сын Николая Михайловича Колечицкого, двоюродный брат П.П.Колечицкого. В ОР РГБ сохранились письма Г.Н.Колечицкого к княгине Н.П.Голицыной (1808-1816), которая, видимо, оказала ему содействие в решении какого-то судебного дела (Ф.64. К.99. Ед.хр.28).

<sup>50</sup> В ноябре 1817 М.И.Лыкошина писала дочери в Щелканово: «Рара очень спешит со строительством; он торопит архитектора закончить скорей план /.../ уверяю вас, что хотя новый дом нам необходим, мне будет жаль старого дома, где я была счастлива, воспитывая моих детей и радуясь их нежности» (РГАЛИ. Ф.427. Оп.2. Ед.хр.5. Л.10об.).

<sup>51</sup> Эгоизм (англ.).

<sup>52</sup> *Хованский Николай Николаевич* (1777-1837) — князь, с 1821 сенатор; с 1822 генерал-губернатор смоленский, витебский и могилевский; генерал от инфантерии.

<sup>53</sup> По-видимому, имеются в виду судья уездного суда подпоручик Григорий Степанович *Энгельгардт* и коллежский асессор, заседатель уездного суда *З.В.Шевандин*. По «Месяцеслову на 1825 г.» (СПб., 1825. Ч.2; сведения за 1824) краснинским городничим значится капитан Михайло Алексеевич Гедеонов.

<sup>54</sup> *Гурьев Дмитрий Александрович* (1757-1825) — в 1810-1823 министр финансов; известен своим гурманством (манная каша, изготовленная на его кухне, получила название «гурьевской»).

<sup>55</sup> *Милашевич* (Красно-Милашевич) *В.И.* (1752-?) в 1796 был правителем Киевского наместничества; с 1801 сенатор; с 1817 — в отставке. См. письма В.И. и Е.Н.Милашевичей 1818-1825 в публикации А.М.Ремизова: В год войны. Указ. изд. С.54-62.

<sup>56</sup> В 1866 Колечицкая делает примечание: впоследствии Варвара Васильевна Милашевич вышла замуж за О.М.Миклашевского, а «девиц», живших в Тростянке (в 71 версте от Красного на р.Соже), звали Верой, Любовью и Надеждой Захаровнами.

<sup>57</sup> *Малашева П.И.* (?-1824). См. РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1613. Л.38об. (письмо П.П.Колечицкого к жене от 28 января 1824 о том, что он «зван к Малашевым отдать последний долг Палагее Ивановне»).

<sup>58</sup> Несколько писем доктора *Mandilenu* 1821-1822 из Черепова (в 53 верстах от Рославля, при речке Выдрыже) опубликованы Ремизовым: В год войны. Указ. изд. С.71-75. С 1823 *Mandilenu* жил в Москве.

<sup>59</sup> *Песталоцци* Иоганн Генрих (1746-1827) в конце жизни перевел в Ивердён свою школу, основанную им ранее в Бургдорфе.

<sup>60</sup> Колечицкий Я.П. — лейб-гвардии прапорщик.

<sup>61</sup> Шлиппенбах К.А. (1795-1859) — в 1813-1825 служил в Преображенском полку, в 1825 в чине полковника переведен в Московский полк, через четыре года вернулся в Преображенский; в 1831 произведен в генерал-майоры и с отчислением от полка назначен начальником Школы юнкеров. В примечании 1860 Колечицкая пишет, что он был их «добрым приятелем в Петербурге, женился на богатой Мавре Ник[олаевне] Смирновой, потом

разными оборотами расстроил дела и нещастно кончил жизнь». М.Н. Смирнова была в близком родстве с Платоном и Петром Бекетовыми.

<sup>62</sup> *Лярский* (Вонлярлярский) А.В. (1776 - после 1853?) — состоятельный помещик Смоленского уезда, знакомый старшего поколения Колечицких и Корбутовских (о нем см.: Ильин-Томич А.А. «Вот и все, что остается...» // Вонлярлярский В.А. Большая барыня. М., 1987. С.4-5; Полон. Указ. соч. С.141, 145). Его жена *Софья Ивановна* (1782-?) — дочь коллежского советника И.Ю.Храповицкого (1739-1800). Ее старшая сестра *Пелагея* (1781-1854) была замужем за дядей П.П.Колечицкого Петром Михайловичем Корбутовским (см. прим. 68). «Деревенский образ жизни» Пелагеи Ивановны Корбутовской, по свидетельству ее соседа по имению, «очень верно, хотя и мимоходом, описан ее родным племянником, некогда весьма популярным писателем Василием Александровичем Вонлярлярским» в романе «Силуэт» (Русская старина. 1895. №8. С.101).

<sup>63</sup> Авторское примечание 1865 г.: «Из дочерей Лярских Елиз[авета] Алек[андровна] была за братом [двоюродным братом П.П.Колечицкого — Публ.] Вл[адимиром] Ст[епановичем] Храпов[ицким] /.../; вторая Лярская София была игуменья в Киевском Фрол[овском] монаст[ыре], а Catherine умерла в молодости. — Старший Александр Александрович женился на Вере Дм[итриевне] Полтарацкой и был прозван Monte-Cristo за роскошную жизнь и украшение его Вон-Лярова; он был любезнейший и добрейший человек, но прожектами расстроил свои дела». Об Александре Александровиче (1802-1861) см.: Дельвиг А.И. Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т.1 (по указателю). Другой сын Вонлярлярских — Василий Александрович (1814-1853) — стал впоследствии известным беллетристом. Родовое имя сельцо Рай (в 7 верстах от Смоленска) досталось по наследству его дочери Софье (Ильин-Томич А.А. Проза Василия Вонлярлярского // Вонлярлярский В.А. Большая барыня. М., 1988. С.5).

<sup>64</sup> Светские игры (*франц.*).

<sup>65</sup> П.В.Рачинский (ум. не ранее 1862).

<sup>66</sup> Колечицкий Михаил Петрович — младший брат Я.П. и П.П.Колечицких. В начале 1811 был зачислен в Преображенский полк; осенью того же года прапорщиком переведен в Литовский; вместе с братом Петром участвовал в войне 1812-1814 гг., за Бородинское сражение произведен из подпоручиков в следующий чин. В 1817 в чине штабс-капитана переведен в Московский полк. Скоропостижно скончался в 1833 в Петербурге. Письма М.П.Колечицкого и его жены (урожд. Богданович) 1826 см.: Заветы. Указ. изд. С.151-152, 154. У них было трое сыновей: Петр, Павел и Иван; о трагической судьбе Ивана Михайловича см.: Русская старина. 1895. №10. С.109-110.

<sup>67</sup> Преступление против родственных уз (*франц.*). Однако А.И. и П.П.Колечицкие не могли избежать родственных упреков: «Мы точно за вами гоняемся и нигде вас не поймем, все Колечицкии нонечи принесоветательная стали» (письмо П.И.Корбутовской от 21 декабря 1826 цит. по: В год войны. Указ. изд. С.86).

<sup>68</sup> *Корбутовский П.М.* (до 1765-1834) — сын Михаила Ивановича (1703-1765), ротмистра Преображенского полка, и Февроньи Федоровны Корбутовских (после смерти мужа она вышла за секунд-майора князя Ивана Богдановича Друцкого-Соколинского); с 1787 служил в Преображенском полку, в 1796 был капитан-поручиком; в 1810-1813 предводитель дворянства Краснинского уезда. Судя по письмам П.М. и П.И. Корбутовских к Колечицким 1823-1826, они подолгу жили в Москве (В год войны. Указ. изд. С.81-86). О жизни в Герчикове (Горчакове) сохранилось свидетельство современника: «Горчаково было село очень красивое, с огромным каменным барским домом и каменною же церковью /.../ От церкви к дому шла аллея огромных, великолепных каштанов, а самой дом был окружен цветниками, оранжереями и парком, по склону холмов спускавшихся к обширному пруду /.../ Владелицею этого села была /.../ почтенная, важная и чопорная старушка, вдова полковника екатерининских времен, П[елагея] И[ванован]а К[орбутовская]я, которая зимою жила постоянно в губернском городе, а на лето переезжала сюда с целою свитою гостей, приживалок и дворовых людей» (Русская старина. 1895. №8. С.99-100).

<sup>69</sup> *Храповицкий В.С.* (1795-1861) — сын полковника, смоленского губернского предводителя дворянства (1786) С.Ю.Храповицкого (р.1743) и Е.И.Друцкой-Соколинской (1769-1802), сводной сестры А.М. и П.М. Корбутовских; в чине прапорщика Литовского полка участвовал в войне 1812; в 1817, будучи подпоручиком, зачислен в Московский полк, уволен в отставку в чине поручика; смоленский совестный судья (1829-1835); уездный предводитель дворянства (1855). В июле 1822 он сообщал своим кузенам П.П. и М.П.Колечицким: «Несчастною женидьбою своею удалась от всех родных, несовместными поступками своими заслужил справедливое их ко мне негодование. Но по близкой связи родства нашего долгом поставляю себе известить вас, любезные братцы, о происходящей важной перемене в жизни моей. Жена моя поведением своим вынудила меня просить о разводе, каковым делом я теперь и занят» (Заветы. Указ. изд. С.145). Расторжение брака завершилось в 1826. Вторая жена В.С.Храповицкого — Е.А.Вонлярляская (ум. 1880); см. прим. 63.

<sup>70</sup> Соколовская С.С. (р. 1790; урожд. Храповицкая).

<sup>71</sup> *Соколовский П.Е.* — сын коллежского асессора Е.А.Соколовского, бывшего в 1794 ельнинским уездным предводителем дворянства; Соколовская Е.П. — с 1827 жена В.И.Лыкошина.

<sup>72</sup> *Колечицкий Н.М.* — отставной поручик. У него было трое сыновей, которых он в 1812 послал в военную службу; «он пожертвовал для армии 3000 четвертей хлеба и исполнял за немощных дворян все установленные повинности, истратив на этот предмет до 2000 руб. Война его совершенно разорила» (Вороновский В.М. Отечественная война в пределах Смоленской губернии. СПб., 1912. С.246). Его брат, Петр Михайлович (ум. 1812), отец П.П.Колечицкого, — отставной ротмистр, краснинский уездный предводитель дворянства в 1786.

<sup>73</sup> Салтыков Г.А. (1772-1829) — сын камергера графа А.В.Салтыкова, полковник.

<sup>74</sup> Салтыкова Е.А. (р. 1776; урожд. Хераскова).

<sup>75</sup> В 1825 он женился на богатой невесте М.П.Ушаковой; 27 апреля П.П.Колечицкий извещал жену, что дядюшка Николай Михайлович «уведомляют о помолвке брата Ив[ана] Н[иколаевича] с Мар[ией] Пет[ровной] Ушаковой и просят очень захватить к ним» (РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1613. Л.48).

<sup>76</sup> Речь идет о сыне коллежского асессора Епафродита Ивановича Станкевича и Марфы Ивановны Нащокиной.

<sup>77</sup> *Друцкий-Соколинский А.К.* (р.1760?) — сын секунд-майора К.С. Друцкого-Соколинского (р.1732) и Анастасии Михайловны Колечицкой (р.1742), флота капитан-лейтенант, смоленский уездный предводитель дворянства (с 1808).

<sup>78</sup> Друцкий-Соколинский Н.К. (р. 1769) — с 1790 поручик.

<sup>79</sup> Друцкий-Соколинский *Владимир* Никитич (р. 1806) — штабс-капитан, дорогобужский уездный предводитель дворянства (1854-1858), женат на П.Л.Боборыкиной.

<sup>80</sup> *Потемкин Д.И.* (1795-1841) — коллежский регистратор, бельский уездный судья (1834-1835). Его мать *Х.А.Пенская* была замужем за секунд-майором Иваном Демьяновичем Потемкиным (р. 1757).

<sup>81</sup> *Потемкин С.Д.* — ротмистр, сын майора Дмитрия Степановича Потемкина.

<sup>82</sup> *Е.Д.Каховская*, как и ее сестра Авдотья, закончила первый выпуск Смольного института в 1776 (Черепнин Н.П. Императорское воспитательное общество благородных девиц. Пг., 1915. Т.3. С.473).

<sup>83</sup> Имеются в виду дочери Марии Николаевны Каховской и князя Ивана Антоновича Друцкого-Соколинского (р. 1782): Мария (в замужестве Каленова); Агафья (Кусакова) и Елизавета (1811-1875). Правнук Е.Д.Каховской писал: «О ее чудачествах много прежде ходило рассказов /.../ известный писатель [Н.И.] Хмельницкий, бывший в то время губернатором в Смоленске, в своих "Бабушкиных попугаях" изобразил именно ее и ее способ воспитания своих внучек» (Русская старина. 1895. №8. С.69).

<sup>84</sup> *Потемкин Н.Б.* (р. 1751) — секунд-майор, смоленский губернский предводитель дворянства (1794-1797).

<sup>85</sup> Возможно, речь идет о *И.Н.Аничкове* (р. 1777), титулярном советнике и смоленском уездном предводителе дворянства (1828).

<sup>86</sup> *Чернышева А.Р.* (1744-1830; урожд. Ведель) — фрейлина, с 1784 вдова фельдмаршала З.Г.Чернышева.

<sup>87</sup> Видимо, ему принадлежит небольшое письмо к А.И.Колечицкой (1823) за подписью Н. Masson (В год войны. Указ. изд. С. 70).

<sup>88</sup> *Ольшевский* Осип Данилович (ум. 1832) — генерал-лейтенант, в 1815 командовал Белорусским гусарским принца Оранского полком, позд-

нее начальник Конно-егерской дивизии; близкий друг Д.В.Давыдова, который выдавал свою автобиографию «Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова» за сочинение Ольшевского. Об Ольшевском тепло вспоминал В.И.Лыкошин, служивший под его началом в 1815-1818 (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.30об.-31).

<sup>89</sup> *Акинфиев* (Акинфьев) Федор Владимирович (1789-1848) — полковник (1816), в 1817-1824 командир Переяславского конно-егерского полка; женат на Н.А.Римской-Корсаковой (см.: Гершензон М.О. Грибоедовская Москва; П.Я.Чаадаев; Очерки прошлого. М., 1989. С.86, 92, 94, 96, 386). Сестра А.Ф.Грибоедовой была за неким Акинфиевым, вероятно, этим объясняется родство Лыкошиных с Акинфиевыми.

<sup>90</sup> Капитан *А.В.Зыков* в 1817 установил в своем имении Панизово (Понизовье) Мосальского уезда Калужской губернии памятник со следующей надписью: «В память потомству. 1816 г. 3 сентября в три часа пополудни Его Императорское Величество Государь Император Александр Павлович благоволил осчастливить сей дом» (Педашенко С.А. Памятники Императору Александру I... М., 1912. С.54).

<sup>91</sup> *Зыкова А.А.* — в замужестве Теплова, во втором браке Палицына.

<sup>92</sup> Предположительно сын Прасковьи Ивановны Кругликовой и Василия Андреевича Вяземского.

<sup>93</sup> Приступ ревности (*франц.*).

<sup>94</sup> Дочери Гавриила Ивановича Кругликова и княгини Е.П.Вадбольской, сестры И.Г.Чернышова-Кругликова; одна из них — Екатерина Гавриловна — была замужем за сенатором А.Г.Тепловым (Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С.195); другая — Анна (1788-1855) — в замужестве Пражевская.

<sup>95</sup> Речь идет о Екатерине, Варваре и Любви Андреевне *Лыкошиных*, дочерях Андрея Богдановича Лыкошина и Марии Васильевны Ваксель, племянницах И.Б.Лыкошина: Варвара вышла за М.Г.Осоргина, Любовь (предположительно) — за Моравского.

<sup>96</sup> *Surginus carpio* (*лат.*); по-русски — карп, карпий.

<sup>97</sup> Имеются в виду сорта груш (от франц., буквально: «добрый христианин») и вишен (крупных и темно-алых, по словам В.И.Даля).

<sup>98</sup> *Голицын Александр Николаевич* (1773-1844) — в 1816-1824 министр духовных дел и народного просвещения; с 1818 главноначальствующий над почтовым департаментом. 15 мая 1824 министерство духовных дел было упразднено, министром народного образования назначен Александр Семенович *Шишков* (1754-1841), а Голицын остался начальником почт.

<sup>99</sup> Лыкошины были знакомы с *С.С.Уваровым* (1786-1855) по соседству их имений. «По другую сторону нашего Козулина, по Бельской большой дороге, был Холм Уваровых /.../ Дар[ья] Ив[ановна] Уварова /.../ умная и весьма приятная старушка, жила здесь скромно, но любила ездить к соседям и принимать их у себя запросто; ласковая, приветливая, с изящ-

ною французскою речью /.../ она представляла тип тогдашних аристократов, доступных и для простых смертных /.../ На вакации приезжали к ней сыновья [Сергей и Федор Семеновичи] — изящные молодые аристократы с своим важным гувернером l'abbé Monquin, и этот дом был для нашего детства училищем высокого тона и аристократического *сomme il faut*» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.14-14об.). Позднее в Холме постоянно жил Ф.С.Уваров, а летом к нему приезжал брат Сергей. Попечителем Петербургского университета и учебного округа Уваров был в 1811-1822.

<sup>100</sup> *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769-1834) — в 1815-1825 был докладчиком по делам Комитета Министров: все государственные дела шли через него.

<sup>101</sup> Первое библейское общество учреждено в 1813 в Петербурге (президент А.Н.Голицын). Общество должно было переводить Библию с церковнославянского языка на русский, издавать и распространять ее. В 1824 Голицына сменил митрополит Серафим; в 1825 запрещена продажа уже напечатанного первого тома русской Библии; в апреле 1826 общество закрыто, его имущество конфисковано.

<sup>102</sup> *Пестель И.Б.* (1765-1843) — в 1806-1819 генерал-губернатор Сибири; с 1816 член Государственного Совета. После отставки, в июне 1823 переехал в Васильево, небольшое родовое имение (149 душ), принадлежавшее его жене Елизавете Ивановне (ум. 1836; урожд. Крок). Их дочь — Софья (1810 - после 1875).

<sup>103</sup> *Храповицкий И.С.* (1785-1851) — генерал-майор, в 1821-1829 смоленский губернатор, губернский предводитель дворянства (1838-1841); женат на Е.А.Клейнмихель, сестре П.А.Клейнмихеля.

<sup>104</sup> «Я привез к вам барона»; «Барон грязный и мокрый»; «Сейчас вы узнаете, как один барон равнины Пуату...» (*франц.*).

<sup>105</sup> В поисках новой гувернантки принимала также участие жена доктора Mandilenu. 23 мая 1823 она писала А.И.Колечицкой из Москвы: «Я уже видела мисс Блэкуд, которая мне показалась очаровательной особой, она мне сказала, что никакого письма ею не получено от вашей сестры [невестки. — *Публ.*], тогда я ей сообщила все то, что вы хотите от особы, которая должна быть при вашем ребенке» (цит. в переводе Ремизова по: В год войны. Указ. изд. С.77).

<sup>106</sup> *Муравьев М.Н.* (1796-1866) с 1820 находился в отставке в чине подполковника. Его жена — Пелагея Васильевна (1802-1871; урожд. Шереметева), старшая сестра жены И.Д.Якушкина. Якушкин вспоминал: «24 и 25-го года я жил в Жукове, ни с кем не выдавая, кроме Пассека, Мих. Муравьева и Левашевых, и то довольно редко по дальности между нами расстояния» (Якушкин И.Д. Указ. изд. С.56). В Рославльском уезде Смоленской губернии у Муравьева были имения Хорошково и Лозинцы. Колечицкая указывает ту страницу своих записок, где говорится о А.В.Шереметевой, в наст. изд. см. С.299.



<sup>107</sup> *Фон-Визин* (Фонвизин) Михаил Александрович (1787-1854) в 1822 вышел в отставку в чине генерал-майора. Якушкин познакомился с Павлом Христофоровичем *Граббе* (1789-1875) в начале 1818 в Москве. Граббе был командиром Лубенского гусарского полка, который вскоре был переведен в Дорогобуж, по соседству с Жуковым. С 1823 он в чине полковника служил в Северском конно-егерском полку.

<sup>108</sup> *Пассек П.П.* (ум. в апреле 1825) — отставной генерал-майор, друг Якушкина с 1819. В марте 1825 последний сообщал П.Я. Чаадаеву: «Теперь скажу тебе о себе, что я девять месяцев как поселился в своей деревне Жукове /.../ соседей знакомых у нас почти нет; ближайший — Пассек — от меня шестьдесят верст /.../». Имение Пассека — деревни Яковлевичи и Крашнево — в Ельнинском уезде Смоленской губернии было, по словам Якушкина, «прекрасно устроено» (Якушкин И.Д. Указ. изд. С.243, 32). О Пассеке см. также: Модзалевский Б.Л. Роман декабриста Каховского. М., 1991. Гл.2.

<sup>109</sup> Деятельная натура (*англ.*).

<sup>110</sup> Дети Якушкиных: *Вячеслав* (1823-1861) и *Евгений* (1826-1905). Второй сын родился в то время, когда Якушкин находился под арестом. Упоминание о нем в записи Колечицкой под 1824 г. — анахронизм (подробнее см. вступительную статью). Ср.: «Все говорят, что это ангел [Вячеслав], и не потому, что я его мать, а потому, что это правда» (Дневник А.В. Якушкиной // Новый мир. 1964. №12. С.140).

<sup>111</sup> *Литовский* лейб-гвардейский полк был сформирован в ноябре 1811: в него попал 2-й батальон *Преображенского* полка, а также офицеры и нижние чины многих других полков. С осени 1817 полк был поделен на две части: два его батальона стали называться лейб-гвардейским Московским полком, а третий, расквартированный в Варшаве, сохранил название Литовского полка. Служивцы П.П. Колечицкого: *Адлерберг* Эдуард (с 1829 Владимир) Федорович (1791-1884), в 1811 вступивший прапорщиком в Литовский полк из камер-пажей. С 1817 адъютант вел. кн. Николая Павловича. Тогда же в чине поручика зачислен в Московский полк. С 1820 — полковник, с 1823 — управляющий канцелярией генерал-инспектора по инженерной части, с 1825 — флигель-адъютант. *Исленев* (Исленьев) Петр Александрович попал в Литовский полк из Преображенского также в 1811; за участие в битве под Бородиным награжден орденом св. Владимира 4 класса с бантом. В 1817 уволен от службы «за ранами полковником с мундиром» (Маркграфский. Указ. соч. Приложение. С.26). *Шульгин* Дмитрий Иванович (1785-1854) переведен в 1811 из Преображенского полка (где служил с 1800) в чине штабс-капитана. Будучи полковником, в 1817 переведен в Московский полк. В 1824 в чине генерал-майора командовал 3-й бригадой 2-й гренадерской дивизии.

<sup>112</sup> *Дибич* Иван Иванович (1785-1831), отличившись в войне 1812 г., был назначен начальником штаба 1-й армии. С 1820 стал постоянным спутником Александра I в его путешествиях. С 1824 начальник Главного штаба.

<sup>113</sup> Кононов Акинфий Никитич — штабс-капитан, дорогобужский уездный предводитель дворянства.

<sup>114</sup> Этот эпизод свидетельствует о том, что в последние годы жизни в поведении Александра I проявлялись те же болезненные подозрительность и раздражительность, которые отличали его отца, Павла I. Напротив, начало царствования Александра было отмечено мгновенной переменой в costume. Как известно, покойный император не выносил круглых шляп — «не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах» (Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1892. Т.1. С.180).

<sup>115</sup> Имеется в виду речь Александра I на открытии польского сейма 1 марта 1818.

<sup>116</sup> Т.е. у М.И.Рачинской. Когда Kitty *Feveryear* попала в дом Колечицких, ее стали звать по-русски Катериной Петровной.

<sup>117</sup> Кондильяк Этьен Бонно (1715-1780) — философ-сенсуалист. А.И.Колечицкая читала «Учебный курс», который был написан им для внука Людовика XV (в 13 тт., 1769-1773).

<sup>118</sup> Граф Николай Людвиг Цинцендорф (1700-1760) разрешил поселиться в своих владениях близ Бертельсдорфа моравским (иначе чешским, богемским) братьям — религиозной секте, основанной в Богемии в XV в.

<sup>119</sup> В 1860 Колечицкая сделала следующее примечание на полях: «Это было, когда Царская фамилия приехала в Москву перед рождением Александра Николаевича (ныне царствующего Государя); был большой выход от Красного крыльца в Соборы. Государь Александр подавал руки вдовствующей Императрице Марии Фед[оровне] и супруге своей Елисавете Алексеевне, сзади шел в.кн. Николай Пав[лович] с Александрою Федоровною; я была тогда невестою, и Пьер мне представил некоторых из своих сослуживцев».

<sup>120</sup> Здесь Колечицкая приводит отрывки из двух писем Елизаветы Алексеевны от 19 и 23 ноября 1825 (см.: Шильдер Н.К. Император Александр I. Т.4. СПб., 1905. С.386).

<sup>121</sup> Накануне своих именин, праздника перенесения мощей благоверного князя Александра Невского.

<sup>122</sup> Серафим (Степан Васильевич Глаголевский; 1757 или 1763-1843) — с 1821 митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский.

<sup>123</sup> Виллие (Вилье) Яков Васильевич (1767-1854) — лейб-медик Александра I.

<sup>124</sup> Этот «вычет» существует в самых различных вариантах и списках; см., например: РГАЛИ. Ф.2591. Оп.1. Ед.хр.369 («Годы жизни и царствования Александра I, вычисленные по системе пророчества Иезекииля») и Ф.373. Оп.1. Ед.хр.10 («Удивительное сочетание чисел»).

<sup>125</sup> Скорее всего, имеется в виду Федор Иванович *Талызин* (1773-1844) — генерал-лейтенант (с 1820), в 1824-1826 командир 11-й пехотной дивизии.

<sup>126</sup> *Панкратьев* Никита Петрович (1788-1836) — генерал-майор (с 1817), в 1823-1827 командовал 2-й бригадой 11-й пехотной дивизии. Его жена — Анна Гавриловна *Бибикина*, сестра Д.Г.Бибикина, героя войны 1812 г.

<sup>127</sup> *Свечин* Никанор Михайлович (р.1772) — генерал-лейтенант (с 1826), в 1823-1828 — командир 10-й пехотной дивизии.

<sup>128</sup> *Иосиф IV* Величковский — епископ Смоленский с 1821; в 1833 по собственному желанию удалился на покой в Киевскую лавру.

<sup>129</sup> *Вебер* Карл Мария фон (1786-1826) — немецкий композитор и дирижер; основоположник немецкой романтической оперы.

<sup>130</sup> Пестель Павел Иванович (1793-1826) — старший сын И.Б. и Е.И. Пестелей, полковник, с 1821 командир Вятского пехотного полка; бывал в Васильеве несколько раз (достоверно известно, что с 26 февраля 1824 он провел здесь около двух недель, затем вернулся 6 мая и прожил у родителей до 17 июля). 23 февраля 1826, вскоре после того, как Пестели получили известие об аресте сына, И.Б.Пестель отправился в Петербург. 3 июня в Петропавловской крепости состоялось его свидание с Павлом. После казни отец вернулся в Смоленск и только там 28 июля узнал, какой именно смертью погиб его сын, — до этого ему говорили, что он расстрелян. Другой сын Пестелей — Владимир — находился 14 декабря на Сенатской площади в рядах правительственных войск, за что был награжден орденом св.Анны 2-й степени.

<sup>131</sup> Ср. с тем, что писала Е.И.Пестель своему сыну Павлу в марте 1825: «Как была бы я огорчена, если бы я узнала, что кто-либо из моих сыновей мог быть в числе так называемых либералов, которые вообще, а у нас в особенности, есть то же, что поджигатели» (Красный архив. 1926. Т.3 (16). С.187).

<sup>132</sup> Последние десять лет жизни Е.И.Пестель провела «в тяжелой болезни от неописанной горести ее материнского сердца» (Русский архив. 1875. Кн.1. №4. С.407).

<sup>133</sup> Это письмо (от 1 мая 1826) С.И.Пестель передала вместе с другими семейными материалами в «Русский архив», где оно и было напечатано в 1875. Пересказ А.И.Колечицкой очень близок к тексту, опубликованному П.И.Бартеневым. Приводим соответствующие места: «Не знаю, какова будет моя участь; ежели смерть, то приму ее с радостью, с наслаждением: я утомлен жизнью, утомлен существованием. Но когда подумаю о вас, мои дорогие, мои добрые родители, то желал бы, чтобы Государь меня помиловал для того, чтобы я мог посвятить вам всю мою жизнь /.../ Во всяком случае, любезные родители, вы будете моею последнею, как были всегда, моею постоянною мыслию, и последний мой вздох будет вздох любви к вам /.../ Сердце мое, по истине, нисколько не участвовало в том, что творила голова, и я могу, наверное, сказать, что когда бы настала минута действовать, то сердце остановило бы голову /.../ Радуйтесь же теперь со мною! /.../ вера в нашего Спасителя состав-

ляет теперь мое счастье и мое утешение. Я вижу жизнь в другом виде, и смерть содержит для меня восхитительные надежды /.../ Я вас так люблю, что желал бы, чтобы вы могли совершенно забыть меня /.../ Я даже смерть почту за счастье в сравнении всякого заключения» (Русский архив. 1875. Кн.1. №4. С.421-422).

<sup>134</sup> Родители Пестеля в течение нескольких лет надеялись разрешить его сомнения «относительно Спасителя нашего, Сына Божия», что отразилось в их письмах. 8 сентября 1825 Е.И.Пестель писала ему: «Я желала бы видеть, что ты следуешь наставлениям нашего Божественного Спасителя для твоего же спокойствия и твоего счастья в сем мире и для твоего вечного счастья в мире будущем, которое мой Спаситель стяжал для меня ценою Своей крови» (Красный архив. 1926. Т.3 (16). С.183, 186).

<sup>135</sup> П.П.Колечицкий отправился в Петербург вместе с «Петрушей и Митинькой» Рачинскими и их отцом В.Д.Рачинским, они прибыли туда 16 октября 1826. Письма Колечицкого к жене из Петербурга см.: РГАЛИ. Ф.427. Оп.1. Ед.хр.1613. Л.50-62об. 30 ноября его сестра М.П.Колечицкая сообщала Анастасии Ивановне, что «получили письма приятнейшие от 20-го сего месяца от любезного брата Петра Петровича: пишет, что милой Петруша экзамент выдержал и везут его к представлению Его Высочества» (Заветы. Указ. изд. С.152). Колечицкий вернулся домой в декабре.

<sup>136</sup> *Циммерман* Иоанн Георг (1728-1793) — швейцарский врач и философ, писал по-немецки. А.И.Колечицкая могла читать его известные сочинения «Мысли об уединении» (1756) или «Об уединении» (в 4-х тт., 1773-1786), последнее, скорее всего, было ей известно во французском переводе Л.Мерсье (1788).

<sup>137</sup> *Иогель* Петр Андреевич (1768-1855) — московский танцмейстер и устроитель детских балов.

<sup>138</sup> Грибоедов Алексей Федорович (1769-1833?). Колечицкая называет его «внучатым братом» своей матери (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.37).

<sup>139</sup> Увеселительные прогулки (*франц.*).

<sup>140</sup> Имеются в виду М.С.Грибоедова (см. выше) и дочь А.Ф.Грибоедова от первого брака Елизавета Алексеевна (1795-1856), впоследствии жена И.Ф.Паскевича и владелица Хмелиты; возможно, речь также идет о ее сводной сестре Софье Алексеевне Грибоедовой, которая с 1828 была за С.А.Римским-Корсаковым (Гершензон М.О. Грибоедовская Москва; П.Я.Чаадаев; Очерки прошлого. М., 1989. С.62). См. также: Тархова Н.А. Грибоедовская усадьба Хмелита // А.С.Грибоедов: Материалы к биографии. Л., 1989. С.60.

<sup>141</sup> Из этой переписки известно письмо Жюли Капбель к Анастасии Лыжиной от 4 июля 1811 из Москвы, где, в частности, говорится: «Я не надеюсь иметь счастье обнять вас в скором времени, мой любезный друг, так как М-те Грибоедова намеревается на будущий год поехать в Петербург, и возможно, что мы пробудем там долго. Сообразуясь с собствен-

ным моим сердцем, я надеюсь, что и вы меня не забудете и всегда будете меня считать вашим верным другом» (В год войны. Указ. изд. С.48).

<sup>142</sup> Помесье Ивана Яковлевича Энгельгардта в 33 верстах от Дорогобужа, при Днепре, где жила подруга детства А.И.Колечицкой Екатерина Энгельгардт (в замужестве Белкина). Ее мать — Прасковья Ивановна, урожденная Любучина.

<sup>143</sup> Постройка этой церкви начата в 1800 (см. выше). Она была каменной, двухэтажной, с четырьмя престолами: Сошествия Святого Духа, Рождества Богородицы, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца (Санковский А. Краткое описание церквей Смоленской епархии. Смоленск, 1898. Вып.1. С.111). В.И.Лыкошин вспоминает: «Летом 1809 года новая церковь наша была окончена, и стали готовиться к освящению трех престолов нижнего яруса, мать поехала в Москву для закупки утвари церковной и взяла меня с сестрами, Марьею и Настею, с собою. Это было в июне» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.20об.-21).

<sup>144</sup> В.И.Лыкошин писал: «Когда отец решился выстроить каменный храм, то в 1800 году вызвали из Москвы архитектора Тархова, ученика Академии Художеств Кремлевской» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.9об.). «Архитектор Матвей Мат[веевич] Тархов прожил в доме нашем около двадцати лет, учил нас всех рисованию, играл с отцом по вечерам в пикет и был строителем многих соседних храмов» (Там же. Л.34об.-35).

<sup>145</sup> Ср.: «В нашем селе Казулине была деревянная двухпрестольная церковь в нескольких шагах от дома, построенная за полтора года назад и еще довольно крепкая, но зимою очень холодная; ее окружали крытые галереи, а внизу во всю церковь был склеп; она стояла среди кладбища, где были часовни соседних семейств для погребения их покойников. Несколько берез осеняли это древнее кладбище, а за ним находились дома церковнослужителей» (РГАЛИ. Ф.1337. Оп.1. Ед.хр.143. Л.9).

<sup>146</sup> Имеется в виду эпистолярный роман Стефани Фелисите *Жанлис* (1746-1830) «Маленькие изгнанники, или Переписка нескольких детей» (1798).

<sup>147</sup> Казулинский дом избежал разорения благодаря тому, что рядом находились «пикеты, из вооруженных дворовых людей составленные, /.../ дворовые люди с.Казулина, собрав окольных крестьян и дворовых людей, пошли вслед за неприятелями, которые, увидя себя окруженными толпою поселян, /.../ начали отступать с оставлением на пути всего ими награбленного /.../» (Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962. С.196).

<sup>148</sup> В.Д.Рачинского.

<sup>149</sup> П.В.Рачинского.

## ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Публикация Т.Ф.Нешумовой

Михаил Александрович Дмитриев (1796-1866) прожил довольно долгую и относительно благополучную жизнь. Человек пушкинского поколения, он прожил почти вдвое больше Пушкина. Юность и молодость его пришлось на «золотой век» России — царствование Александра I. Ему было двадцать девять лет в декабре 1825. Он жил и писал в 30-е, 40-е, 50-е и 60-е годы. Почти все (стихи, переводы Горация, критические статьи, мемуарные и библиографические заметки) напечатал. Большой славы своими литературными творениями он не снискал и отдавал себе в этом отчет. «Следа я в мире не оставил», — заметил он в одном стихотворении 1843. Чем далее он жил, тем более наблюдал перемены в общественной и литературной жизни и острее чувствовал свою ей чуждость. «Литература наша становится хотя и деятельнее прежнего, но если что особенно отличает ее от литературы нашего времени, то это односторонность ее направления. В наше время читали всё, что хорошо, оттого что всякому была воля и писать, и читать, что хочешь; теперь, когда скипетр словесности держат журналы, приятели и крикуны, требуется, чтобы были поставщики именно в таком-то роде, а другие все отвергаются! — На истинных литераторов [к каким, несомненно, Дмитриев причислял себя. — Т.Н.] это, конечно, не действует, но зато их и не читают! А это произвело множество не писателей, а писцов в обыденном, по большей части каком-то неумытом роде...»<sup>1</sup>, — так воспринимал он литературную ситуацию конца 1850-х. Парадоксальным образом отсутствие аудитории (вряд ли ею можно считать нескольких литературных старцев, хотя среди них были А.Ф.Вельтман и М.П.Погодин) плодотворно сказалось на замысле широкого мемуарного полотна, обращенного в неведомую перспективу, к «читателю в потомстве»: за два года до смерти, исключительно слабый здоровьем, шестидесятивосьмилетний Дмитриев решает на тяжелый литературный труд — он приступает к последовательному описанию своей жизни и успевает написать два увесистых тома воспоминаний. Дмитриев не предназначал их для печати при своей жизни — так он был свободнее, мог говорить не таясь, «откровеннее», как сам заметил, сравнивая свои характеристики разных лиц с жихаревскими. Но вряд ли автор мог предположить, что его труд будет так долго — более 120 лет! — ждать своего часа.

<sup>1</sup> Письмо А.Ф.Вельтману от 6 апреля 1858 // ОР РГБ. Ф.47/II. Карт.3. Ед.хр.5. Л.3об.

Эти мемуары, названные «Главами из воспоминаний моей жизни», хорошо известны исследователям русской литературы. Цитаты из них встречаются во многих работах историков и литературоведов. Опубликованы и отдельные главы<sup>2</sup>. Данная публикация продолжает знакомить читателя (к сожалению, вновь фрагментарно) с воспоминаниями М.А.Дмитриева.

Дмитриев принадлежал к старинному дворянскому роду, ведущему свой счет от Рюрика, и в 1860-е годы — в эпоху стремительной демократизации и ускорения человеческой жизни благодаря техническому прогрессу — ему было важно осознавать свои корни: это давало незыблемую почву для восприятия (а вернее, — для неприятия) нового. Последовательный рассказ о дальних своих предках во «Введении» к «Главам...», он заключает таким пассажем: «Происхождение довольно древнее. Я не горжусь им, но и не пренебрегаю. Желая, чтоб и дети мои помнили о своих предках, как оставших им задатки благородства, которому оказывают пренебрежение только те люди, которым его недостает: это нынешнее пренебрежение аристократии, нынешняя к ней ненависть происходят от зависти, наследственного порока плебеев. Нам завидовать нечему, а есть чему подражать /.../ А у них ни наследственного имени, ни наследственного имени: оттого и зависть, и ненависть! — Но неужели всегда так будет? Неужели не образумится Россия от этого демократического угара, в котором трудно дышать людям, привыкшим к чистой атмосфере благородства, чести, справедливости, честности и даже такого вежливого обращения, которое дается благородным воспитанием, и которого у демократов не видно!»<sup>3</sup> Очевидно, что его позиция отнюдь не сводится к старческому брюзжанию и априорному неприятию сегодняшнего дня. Своеобразие общественных взглядов Дмитриева выразилось в его осуждении не только демократического лагеря, но и правительственных кругов. Так, в цитированном выше письме А.Ф.Вельтману он пишет о бедственном положении России: «Это произошло от неумения правительства, которое довело ее [Россию. — Т.Н.] до этого более, чем татары и вся прочая история»<sup>4</sup>. Противопоставление двух эпох, двух веков, с нескрываемым предпочтением к «золотому», «минувшему» времени — основная тема поздних стихотворений Дмитриева (послание «С.Т.Аксакову», цикл «Старик»). Это противопоставление часто декларируется и в воспоминаниях: «Все нынешние подвиги, особенно у людей демократической партии состоят не в деяниях, а в так называемых убеждениях»<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> См.: Воспоминания о Лабзине // Русский архив. 1866. №6. Стлб.837-855; Главы из воспоминаний моей жизни / Публ. О.А.Проскурина // Наше наследие. 1989. №4. С.77-86 (фрагменты 11 и 12 глав); Главы из воспоминаний моей жизни / Публ. О.А.Проскурина // Новое литературное обозрение. 1992. №1. С.205-231 (10 и фрагмент 11 главы, там же обстоятельная статья публикатора о М.А.Дмитриеве: «Зонд» — С.191-204).

<sup>3</sup> Главы из воспоминаний моей жизни // ОР РГБ. Ф.178. Музейное собрание. Ед.хр.8184. Л.12-12об. Далее: Главы (с указанием номера листа).

<sup>4</sup> ОР РГБ. Ф.47/II. Карт.3. Ед.хр.5. Л.4.

<sup>5</sup> Главы... Л.60б.

Перо же Дмитриева стремится к тем временам, «когда мы были равные между равными, когда мы уважали друг друга, и в самом коротком обращении, в самой юношеской дружбе не забывали, что мы обязаны один другому и нашему благородному воспитанию»<sup>6</sup>. Но тема, материал, живое повествование, цепкая память, детальное описание быта и многих человеческих характеров отодвигают концепцию «золотого александровского времени» на второй, третий, четвертый план и часто о ней напоминают лишь прямые публицистически заостренные авторские пассажи. Вместе с тем, мемуарист прекрасно понимал, что он не только фиксатор, но и творец истории, за которым, в конечном итоге, может остаться последнее слово. Это понимали и его современники. Показательны в этом смысле строки письма Дмитриева Погодину, написанные вскоре после выхода его первой мемуарной книги «Мелочи из запаса моей памяти»: «Вообразите, что Чаадаев в претензии на меня за то, что я в моих "Мелочах", говоря об И.И.Дмитриеве, ни слова не сказал о нем, о Чаадаеве! Да что же о нем сказать? Он не писатель, не издатель, словом, человек неизвестный! До какой степени обольщает нас избалованное самолюбие». Оставим сейчас в стороне истинные отношения Дмитриева и Чаадаева и лукавство этих строк, вполне очевидное для Погодина, прежде вместе с Дмитриевым перечитывавшего сочиненное Чаадаевым<sup>7</sup>. Важна мысль: «не попасть в мемуары» почти равно «не попасть в историю».

В давней статье «О натуральной школе и народности» Дмитриев предложил русским литераторам, уделившим, как ему казалось, слишком много внимания фигуре столичного чиновника, приглядеться к жизни провинциального помещика, в котором, по мысли Дмитриева, воплотились основные черты русского характера. Дмитриев набросал в статье портрет некоего среднего помещика, который любит «похвастаться и столом, и садом, и конским заводом», любит охоту, где «в жару подвига, в полноте удовольствия, все равны», где «все забывается, кроме тяжбы», так как «уступить, проиграть тяжбу — тут страдает самолюбие перед другими помещиками. Да и опасно, чтобы, глядя на это, как на призрак слабости духа, не навязывались другие с процессами! /.../ А искушение славы, чтобы заставить говорить о себе в суде, в городе, в целом уезде — и сделаться на время громким человеком»<sup>8</sup>. Портрет удался Дмитриеву потому, что это был отчасти и автопортрет, и портрет его ближайших родственников — деда, дяди Сергея Ивановича.

В данной публикации читательскому вниманию предлагаются 1-я и 2-я главы дмитриевских мемуаров, посвященные семейству Дмитриевых, его родственным и культурным связям.

Центральной фигурой 1-й главы, повествующей о родовом гнезде Дмитриевых — селе Богородском, — является дед Михаила Александров-

<sup>6</sup> Главы... Л.12об.

<sup>7</sup> См. письмо М.А.Дмитриева к П.Я.Чаадаеву от 30 августа 1847 // ОР РГБ. Ф.103. №1032. Ед.хр.15. Л.1-2об.

<sup>8</sup> Москвитянин. 1848. №9. С.27-28.



вича (далее — М.Д.) и отец Ивана Ивановича (далее И.Д.) Иван Гаврилович Дмитриев (1736-1818 или 1819), прежде нечеткой тенью скользнувший в мемуарах И.Д. «Взгляд на мою жизнь». Но И.Д., написавший их, по выражению П.А.Вяземского, «в мундире», не занимался описанием семейных отношений, жертвуя им ради рассказа о службе, интеллектуальных интересах, друзьях-литераторах. Воображаемый обстоятельный биограф И.Д. непременно споткнулся бы об этот порог молчания, отстраненности и недоговоренности, не имея драгоценных страниц М.Д. Знакомство с ними дает картину сложных, полных драматизма отношений между главою семейства Иваном Гавриловичем, с одной стороны, и всеми его родственниками, включая и И.Д., с другой. Психологический склад Ивана Гавриловича и весь порядок жизни в Богородском вызывают в памяти фигуру Николая Андреевича Болконского и бытовой уклад жизни в Лысых Горах, даже и в деталях. Иван Гаврилович вместе со стариком Болконским мог бы повторить, что «есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум». Неутомимой деятельностью семидесятилетнего Ивана Гавриловича держались и дом, и хозяйство в Богородском. «Порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности», «князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность /.../ Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имя князя, считал своим долгом явиться к нему» — эти слова Л.Н.Толстого о Болконском со всей естественностью могли бы находиться и в повествовании М.Д. Так же как старик Болконский, Иван Гаврилович сам занимался воспитанием детей (о тяжести этих уроков бегло упоминает И.Д. и подробно рассказывает М.Д.): оба они вполне могли бы сочувствовать княжне Марье, испытывавшей непреодолимый страх вблизи от «сухого лица старого отца» и совершавшей внутреннюю молитву перед уроками с отцом (такую же молитву совершал маленький М.Д.).

Жизнь в Богородском была тяжела. В следующих главах своих мемуаров М.Д. вспомнит горькую усмешку тетюшек при чтении державинского «Лета», обращенного к И.Д.: «в доме жив летом, в раю ты небесном, / в сладком поместье сызранском с отцом». Им эта жизнь отнюдь не казалась раем. В этом «раю» не жилось и И.Д. в его несчастие наезды на родину. Он предпочитал гостить в соседних краях у дядюшки Н.А.Бекетова (о чем он подробно и с удовольствием рассказал во «Взгляде на мою жизнь»). Ко всему добавлялась материальная зависимость от отца — об этом тоже рассказывает М.Д. На особое понимание своего положения И.Д. мог рассчитывать, пожалуй, лишь у своего двоюродного и даже молочного (они имели общую кормилицу) брата Платона Петровича Бекетова, о чем свидетельствуют письма И.Д. к последнему. Бекетов сам пережил подобную зависимость: только смерть отца позволила ему выйти в отставку и дала средства заняться любимым делом — собиранием книжных редкостей и портретов, а также изданием сочинений русских авторов. До того он порой, промотавшись, прятался от кредито-

ров в Богородском. Немудрено, что лишь Платон Петрович — один из самых человеческих родственников М.Д., интересуется судьбой «непутевого» дядюшки М.Д. — Федора Ивановича, потерявшего связь с другими родственниками вследствие женитьбы на унтер-офицерской дочке... О Платоне Петровиче Бекетове и, шире, о доме Бекетовых повествует 2-я глава.

Многим в своей жизни (художественным вкусом, коротким знакомством с литературными знаменитостями, камер-юнкерством, а в молодости — и просто кровом) М.Д. был обязан своему знаменитому дяде И.Д. Но на страницах воспоминаний племянник говорит о дяде довольно скупое. При этом Иван Иванович удаивается не самых лестных замечаний: в тексте публикуемых глав это иронический рассказ о безграмотной учительнице-французенке, присланной из Москвы Иваном Ивановичем, который «мог бы и проверить» ее грамотность; описание страданий мальчика Миши, наряженного в жаркий сюртук во время летнего приезда знаменитого дяди; уколom в адрес Дмитриева-дяди звучит фраза о том, что мальчиками по приезде в Москву занялся П.П.Бекетов, а не отсутствующий Иван Иванович. Вряд ли эти не слишком значимые упреки можно расценивать как сведение каких-то счетов (ведь отношения дяди и племянника были вполне добросердечными — лишь однажды они осложнились в связи с журнальной полемикой о романтизме и обменом колкими эпиграммами с П.А.Вяземским), скорее это намеренная фиксация реальных черточек характера Ивана Ивановича, во многом неясного для посторонних<sup>9</sup>. М.Д. свои наблюдения над И.Д. сформулировал так, сравнивая дядю с дедушкой: «Сравнивая теперь характеры дедушки и дяди Ивана Ивановича, я должен сказать, что хотя первый был и крут, но основательнее и дельнее; а последний, не будучи собственно мечтателем и будучи холост сердцем, вечно был под властью настоящей минуты и настоящего впечатления. Всякое дело, довольно того, что оно дело, было ему тяжело, пугая будущей скукой. Скука и боязнь быть ridicule<sup>10</sup> были для него два пугала, которых он страшился пуще всего на свете. Он не опасался говорить правду и Государю; но мнение света было для него законом! Капризы его происходили не от дурного нрава; но от легкомыслия и от боязни сколько-нибудь стеснить себя для другого! — отец его, а мой дед, был человек положительный и не боявшийся ни труда, ни скуки, для достижения полезной цели, он жил не для одного себя, но и для других»<sup>11</sup>.

\*\*\*

Воспоминания воспроизводятся по авторской рукописи, хранящейся в ОР РГБ (Ф.178. Музейное собрание. Ед.хр.8184. Л.14-36). Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Некоторые французские

<sup>9</sup> По крайней мере, ни один из мемуаристов, живописавших И.Д., будь то П.А.Вяземский, С.П.Жихарев или Ф.Ф.Вигель, не смог проникнуть в тайны его души и передать их читателям.

<sup>10</sup> Смешным (*франц.*).

<sup>11</sup> Главы... Л.110об.

слова Дмитриев передает в русской транскрипции, иногда часть слова написана им по-французски, другая по-русски. В таких случаях мы приводим правильную французскую запись. Фамилию учителя Дмитриева (в рукописи есть множество ее вариантов) мы во всех случаях даем как Д'Англемон.

## РОЖДЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ, ОТЪЕЗД В МОСКВУ

Я родился 23 мая 1796-го года, Симбирской губернии, Сызранского уезда, в имении моего деда в селе Богородском. Я знаю верно день и число моего рождения, потому что дед мой записал его в «Христианский месяцеслов, 17.. года», изданный Новиковым, книга ныне чрезвычайно редкая, отыскиваемая нашими библиоманами, и которая сохранилась у меня донныне<sup>1</sup>. В ней записано так: «1796 года мая 23-й в пятницу, в таком-то часу пополуночи, невестка Марья Александр[овна]<sup>2</sup> родила сына Михаила, и имя дано того же дня», т.е. именины мои приходятся в день моего рождения. Мне рассказывали, что при моем рождении тетка Анна Ивановна<sup>3</sup> принесла мне розу, на которую я устремил глаза. Несмотря на то, что первым приветствием мне была роза, жизнь моя однако шла не по розам; но и ныне, в старости, я особенно люблю розы.

Будучи семи недель, по существовавшему тогда обычаю, я был записан в гвардию, в Семеновский полк; а 1 июля того же 1796 года был отпущен в дом до совершеннолетнего возраста. У меня до сего сохранился паспорт на этот отпуск, за подписью подполковника Семеновского полка, генерала-аншефа и сенатора Салтыкова<sup>4</sup>. Но по вступлении на престол императора Павла, который повелел всем записанным в гвардию явиться к своим полкам, неявившийся по малолетию. я наравне с другими был выключен из списка; а потом, наравне со всеми неявившимися, получил дозволение числиться в отставке. Таким образом, как будто в предзнаменование будущих неудач по службе<sup>5</sup>, я начал свою службу выключкою из службы и отставкою, еще на руках кормилицы.

Говорят, что я был в первые годы младенчества очень хорош собою; мое лицо испортила сильная оспа, которой тогда еще не умели прививать<sup>6</sup>, и по деревням не прививали. Но кормилица моя, Соломонида, а по отцу Еремеевна, как матушка недоросля Митрофанушки<sup>7</sup>, была уверена, что меня сглазил итальянец, который проезжал с мелкими товарами. Оспа изрыла мое лицо, и я вышел дурен собою.

Отец мой<sup>8</sup>, служивший, как и все тогдашние дворяне хороших фамилий, в гвардии в Семеновском полку, перешел при Павле в армейский Софийский полк, который стоял в Казани. Благовидная причина этого перехода была та, чтобы быть ближе к отцу; но истинною причиною могло быть и желание быть подальше от Павла, которого бешеная строгость и дисциплина, к которой гвардейцы не привыкли при Екатерине, была для него и отяготительна, и опасна.

Но судьба устроила иначе. Этот полк был послан в землю черноморских казаков, где месяц прожил отец мой, бывши уже в чине полковника, имея поручение произвести суд по случаю неувольствия тамошних казаков, которое было представлено в виде бунта. Отец мой поступал по всей справедливости, но вскоре, в Екатеринодаре, он скончался от желчной горячки, и дело поручено было другому, который, впрочем, из угождения власти, осудил безвинных казаков: многие были наказаны и сосланы в Сибирь. Их провозили через наше село, где им назначено было ночевать. Узнав, что они в имении отца, их прежнего судьи, они выпросили позволения прийти к моему деду, упали ему в ноги и благодарили за сына, который поступал с ними кротко и справедливо.

Мне было два года, когда я лишился отца, и я его не помню; но во всех дворовых, даже в ребятах, долго сохранялась память о его добродушной ласке и кротости. Последнее тем более делает ему честь, что он от природы был вспыльчив, но всегда себя удерживал. Если ему случалось рассердиться на слугу, он высылал его как можно скорее, боясь, чтобы как-нибудь его не обидеть или не ударить. Этим всегда и кончалась его суровость.

После его кончины приехали бывшие у него служители Никифор и Николай, привезли небольшое его имущество, состоящее из мундиров, фраков и другого поношенного платья и двух немецких седел. Привезли еще три письма, продиктованные им при своей кончине. Они сохранены были и по возрасту моем поступили ко мне. Он помещаются в особом приложении<sup>9</sup>.

Мать моя после его кончины простудилась. Она была в бане; коридора в доме не было, и не было другого хода, как через гостиную; а у деда, ее свекра, были гости, она принуждена была идти в свою комнату через двор по снегу. Она лишилась употребления ног, и я уже не помню ее на ногах. Она всегда сидела в креслах, а на другие креслы были положены ее ноги. Лечить было некому. Она занималась рукоделием или вязанием чулков и чтением книг, из которых любимую ее книгою был роман Бернарден де Сен Пьера «Павел и Виргиния» в русском переводе<sup>10</sup>. Она любила

моего отца и была до конца своей жизни истинно несчастлива. Много способствовали этому погрешности и состав семейства, о чем будет упомянуто после.

Имя ей было Марья Александровна, по фамилии Пиль. Отец ее был по происхождению швед, совершенно обрусевший, однако имевший в лице и фигуре что-то напоминавшее склад нерусский. Я помню это длинное лицо и этот прямой стан, даже в его старости, также и учтивость, совсем не похожую на тогдашнее резкое обращение дворянства. Имя его было Александр Алфертович<sup>11</sup>, он служил в Саратове советником палаты и имел Владимирский крест, что тогда было большой редкостью. А брат его Иван Алфертович<sup>12</sup>, генерал-поручик, был наместником или вице-губернатором Сибири, и сместил в этом звании Якоби, за которого по невинности его в разных клеветах на него возведенных так выступал прямодушный Державин<sup>13</sup>. Иван Ал[фертович] кончил жизнь в отставке в Симбирске, где он имел небольшую деревеньку и небольшой деревянный дом в губернском городе.

Отец мой, человек строгой добродетели, был, однако, влюбчив. В Петербурге он был влюблен в Софью Ивановну Тишевскую, девицу, как говорил мой дядя, достойную любви и уважения. Из любви к ней даже поправлял он переводы ее брата и напечатал исправленный им его перевод комедии «Голубочек», где на заглавном листе сказано, что она переведена 12-летним сержантом гвардии Сергеем Тишевским<sup>14</sup>. Девушка и ее родители были согласны на их брак, но отец ожидал сколько-нибудь обеспечения их состояния, желал, чтобы отец уделил ему при жизни хотя бы малую часть имения. У него было 1400 душ, и отделить было можно, но дед мой, будучи и скуп, и своенравен, принял это за признак корыстолюбия, не согласился, и свадьба разошлась.

Мать мою увидел мой отец впервые в Сарепте, на серных водах, и опять влюбился. Дед мой, заметивши, вероятно, какое действие горести произвел первый отказ, согласился на этот брак, и свадьба состоялась.

Я лишился моей матери, кажется, в 1806 году, когда мне было около 10 лет. Помню, что во время ее болезни я принес ей цветы и что она мне сказала: «Украшай, украшай меня: тебе осталось недолго меня видеть». Помню, как пронесли мимо моих окошек ее гроб, обитый синим атласом, помню, как меня подвели к ней прощаться: в первый раз я увидел тело умершего — мою мать. Помню, какую грусть и чувство страха вызывало во мне медленное и однообразное чтение Псалтыри. Вот и все мои воспоминания об отце и об матери. После нее я поступил в надзор к моей тетке Надежде Ивановне<sup>15</sup>; и в те лета, когда именно начинают

воспитание ума и сердца, я был под ее руководством. В дни памяти по моей матери она всегда брала меня с собою в церковь, и когда для совершения литии<sup>16</sup> сходили мы за священником в фамильный склеп, под алтарем, я помню, что это возбуждало во мне не столько горесть, сколько страх: слыша рыдания тети и мучась тем, я всегда очень плакал, но ожидал только поскорее выйти из склепа.

Тетя меня очень любила, но не баловала. Это было бы хорошо, если она не почитала баловством и те уступки, которые смягчают характер воспитания. Но и любовь ее, и строгость были иногда без толку и не руководились истинными началами, образующими характер. Об этом скажу после.

Я начал учиться читать очень рано. Четырех лет я уже читал хорошо, а в 1801 году, когда дядя мой Ив[ан] Ив[анович] написал стихи на коронацию государя Александра Павловича, бывшую 30 сентября<sup>17</sup>, эти стихи, будучи 5 лет от роду, я декламировал наизусть перед гостями моего деда. Письму и первым правилам арифметики учил меня дворовый человек Сидор Иванович. Арифметика мне трудно давалась, и я не любил ее; но читать был охотник, и посредством чтения приобрел много сведений, которые впоследствии мне облегчили и более серьезное учение.

Кажется в 1806 году, только помню, что еще при жизни моей матери, была привезена из Москвы для двоюродной сестры моей и для меня Елизавета Ивановна Дяноберти с дочерью, которая была нас постарше. У ней начали мы учиться французскому языку. Я выучился несколько понимать и лепетать по-французски, но мало. Учение шло без метода и без толку. Она заставляла нас переводить, когда мы еще не знали ни слов, ни спряжений. К счастью, она оказалась не совсем благонадежного поведения, и ей отказали. У меня остались еще писанные ей прописи (*exemples d'écriture*), из них я увидел впоследствии, что она не знала даже правописания и писала *le promenet* и *le livre*<sup>18</sup>. Эту воспитательницу прислал нам из Москвы дядя Иван Иванович; кажется, можно было удостовериться хоть в ее орфографии. Но какая порядочная женщина поехала бы в такую даль, за несколько сот рублей жалованья, и в такое семейство, где ни один человек не говорит по-французски?

После нее дядя прислал из Москвы уже учителя; это был француз старого века, эмигрант, который говорил, что служил в королевской гвардии, добрый и умный шестидесятилетний старик в круглом парике. Этот знал, по крайней мере, правописание, но и его учение было только на память, без всякой метода. Мы выучили у него наизусть слово в слово всю французскую грамматику

Мартына Соколовского<sup>19</sup>; выучили и французский текст, и русский перевод, но без всякого толкования, так что, зная наизусть все правила и примеры, никак не понимали, к чему они служат. Хотя выучена была грамматика Соколовского, Monsieur George D'Anglemont был в большом затруднении, чему еще учить? — Но у нас была еще французская грамматика Г-на Ресто<sup>20</sup>, в русском переводе. Он заставил нас выучить ее от доски до доски, потом заставил нас перевести ее всю на французский язык и выучить наизусть свой перевод. Между тем, что было полезнее всего, он заставлял спрягать и писать на бумаге спряжение разных глаголов, учить слова, диалоги и заниматься переводами. Я помню, что диалоги о весне и лете, о прогулках я выучил скоро и с большим удовольствием: мне веяло от них воздухом и волей. Но диалоги о зиме, о кухне, диалоги с портными и проч. были мне скучны и никак не давались моей памяти. Мы перевели на французский многие Эзоповы басни и «Юлию» Карамзина<sup>21</sup>, которые и теперь еще у меня хранятся. Он же учил нас географии по книгам «L'Enfants géographie» и заставлял читать и рассказывать древнюю историю по детским же книжкам: «L'Education complete, par mag. Lamène de Beaumont»<sup>22</sup>. Географии помогал и атлас. Но и книги, и атлас содержали в себе еще ту географию, которая была до революции, и потому мы изучали La Normandie, La Picardie, когда их уже не существовало<sup>23</sup>. В довершение курса мы учились еще мифологии, которая почиталась тогда необходимою; я любил ее как сказку: она занимала мое воображение, и потому я и теперь отлично знаю мифологию. Д'Англемон всякий вечер приходил к моему деду пить чай и разговаривать. Дед мой говорил по-немецки, некогда понимал и французский язык, но забыл, и потому разговоры происходили по-русски: кое-как понимать Д'Англемона было можно, а в случаях решительных неразумений прибегали к моему переводу. Он получал одну французскую газету «Le Spectateur du Nord»<sup>24</sup>. Когда ее привозили, дед и учитель сидели у стола друг против друга. А я стоял подле них, и весь вечер читал им французскую газету и переводил ее на словах по-русски. Эта практика послужила мне к большому знанию французского языка, и ввела меня в тогдашнюю политику.

У Д'Англемона вообще я так привык говорить по-французски, что иногда забывал даже русские слова, и помнил французские. Главное же, я освоился с французскими идиомами и выражениями, которые помню уже только по привычке. В первую войну с французами я с любопытством следил за войною; помню, что дядя прислал из Москвы раскрашенный план аустерлицкого сражения; я срисовывал его, и потому аустерлицкое сражение больше всего

осталось у меня в памяти. Помню и Тильзитский мир; кажется, ему радовались как миру, не разбирая его условий<sup>25</sup>. Впрочем, так как его условия состояли не в материальных приобретениях или уступках, а более в приступлении к континентальной системе, то невыгоды его ясно не понимали. Только когда вдруг подорожал сахар и дошел до ста рублей пуд, тут только почувствовали невыгоды этого мира. Наполеона и тогда ненавидели. Вот и все, чему учился я дома. Русской грамматике не учили; да некому было учить: никто не знал даже правописания. О катехизисе никто не думал, чтоб он был нужен; да и книги не было. Два священника, бывшие в нашем селе, были неученые и служили по навыку; они и сами не имели никакого понятия о догматах. У деда была довольно большая библиотека, состоявшая из историй, путешествий, романов и сочинений русских авторов; но в ней не было ни одной духовной книги<sup>26</sup>. Библии нельзя было достать, и я не видывал ее до изданий библейского общества<sup>27</sup>: тогда и дед мой купил себе библию, но не читал ее. Псалтырь считали только годным читать по умершим. Но сочинения г. de Вольтера в трех томах и его сказки<sup>28</sup> были переведены по-русски и были у моего деда. Чего было ожидать от такого воспитания?

Я с малолетства был страстен к чтению. Читал с вниманием «Московские ведомости», с завистью находил в них известия о продающихся книгах, как о недостижимом для меня блаженстве. С 1806 года я начал постоянно читать «Вестник Европы», особенно стихи и статьи об искусстве, которые помещали в нем впоследствии. К именам Державина, Жуковского, да и ко всякому, кто только печатал под стихами свое имя, я чувствовал какое-то благоговение, как к существам высшей природы. И не мог вообразить себе такого блаженства, чтобы когда-нибудь видеть и слышать этих людей. Стихи дяди я почти все знал наизусть, а имя Карамзина было в нашем семействе чем-то избранным, чем-то веющим чеством и красотой. Однако и имена Вас[илия] Л[ьвовича] Пушкина и книги Шаликова, издававшего «Аглаю»<sup>29</sup>, тоже были для меня имена любезные и почетные. Но полного собрания сочинений Карамзина у нас не было; я знал только его «Безделки» и «Путешествие»<sup>30</sup>. Дед мой как-то недорого ценил его сочинения, и впоследствии времени, когда он сделался историографом<sup>31</sup>, никак не верил, чтобы он мог сладить с таким трудом, после книг Щербатова<sup>32</sup>, которого дед мой знал лично и бывал у него в кабинете, и помнил, что посередине кабинета стоял огромный стол, вокруг которого на медных прутьях задегивалась и отдергивалась зеленая материя, за которой лежали груды столбцов и летописей. Вся эта библиотека казалась ему очень важною, рассказывая это,



он как будто думал о Карамзине: где ему! Но он любил поэзию, то есть он любил ее по выбору: достоинства ее состояли для него в силе и высоте мысли и выражения, в картинах и намеках. И потому он из всех поэтов особенно любил Державина и Хемницера<sup>33</sup>. Стихи и басни своего сына Ивана Ивановича он находил прекрасными, но никак не равнял его с упомянутыми двумя поэтами.

Я помню, нередко случалось, что при гостях, особенно когда речь доходила до Екатерины, которую он считал умною государыней, но не очень любил, он посылал меня доставать или Державина, или Хемницера. Это было для меня пригодным занятием. Я лазил, как белка, по полкам библиотеки, доходившим до потолка, и громогласно читал или оду «Бог» и другие, или лучшие из басен Хемницера, метившие на учреждения Екатерины, например, «Орлы», «Совет», «Лестница», которые особенно восхищали моего деда<sup>34</sup>.

Когда в «Вестнике Европы» начали появляться стихи Жуковского, я особенно пристрастился к этому поэту. Но его «Людмила», появившаяся в 1808 году, привела меня в восторг и ужас: я не мог вообразить себе ничего подобного и столько ее перечитывал, что нечувствительно выучил ее наизусть. Надобно сказать, что и во всех она произвела изумление, как новость, невиданная в нашей поэзии, и приобрела какую-то любовь к самому Жуковскому. Таково было действие первой русской баллады; и после этого будут говорить, как многие и писали, что баллада не свойственна русской поэзии<sup>35</sup>!

В 1810 году переехала на житье в свою небольшую деревню, в пяти верстах от нас, прибывшая из Петербурга соседка Екатерина Васильевна Лобанова, дочь генерала-лейтенанта, командовавшего лейб-гренадерским полком и умершего в это время<sup>36</sup>. Она в своем детстве жила в нашем доме, любила моих теток как старших сестер, а деда моего называла по привычке дедушкой, хотя вовсе не была нам родня. Еще при жизни отца она была помолвлена за его адъютанта Ивана Ивановича Кашпирова. Жених приехал вслед за нею, и свадьба состоялась.

Я упомянул об этом потому, что с этого времени нас с двоюродною сестрою стали, так сказать, считать в людях, разговаривать с нами и приглашать в гости. До этого времени мы не выезжали из деревни, кроме как раз в год в Сызрань, на лодки, приходившие с товарами. Дед мой был человек серьезный, неразговорчивый; с ним никто из семьи, кроме бабушки, не смел первый начинать речи; а мы его страшно боялись! — Но тут, всякий раз, когда приезжали Кашпировы, с жившей у них милой и умной хохотуньей, институткой, жившей у них для компании Марьей Тимофе-

евной Сапожниковой<sup>37</sup>, у нас в семье как-то делалось светло и живо. Иногда Кашпиров с двоюродным братом своим, офицером Кексгольмского мушкетерского полка<sup>38</sup>, пели песни: они были мастера петь. Светлее делался и дедушка; смелее делались тетки, а мы были в восторге, и от некоторой свободы, и от обращения с нами. Когда нас брали к Кашпировым, это было для нас истинным праздником. Мы сидели и ходили без страха, наравне с большими. Кроме того, у них был сад, предрянной, состоящий весь из старых ветл, но для нас он был в диковинку. Можно было в нем при всех даже и бегать, чего нам при дедушке не позволяли. Был и у нас сад с плодovitыми деревьями, яблонями и грушами. Последние никогда не приносили плода, а яблоки иногда бывали, но очень дурные, потому что садовника не было, садом никто не занимался, и он всегда был заперт. Раза два в лето ходила в него бабушка и нас брала с собою; там иногда находили яблоки, но всего больше радовали нас розы, которые, каким-то чудом, без всякого ухода, все еще цвели перед дерновою скамьей, на которую садилась бабушка.

Все наши прогулки состояли в беганье по двору; разумеется, не по переднему двору, на который были окошки гостиной, и не по задней его части, на которую выходил кабинет дедушки, а по тому пространству довольно большому, которое было перед нашей комнатой и комнатами теток. Иногда пускали нас за околицу; иногда, очень редко, на гору и к родникам. Но далее, например, в лес, надо было просить у дедушки; а к нему не всякий решался подойти и не во всякое время.

Я помню, однажды позволено было теткам ехать к Кашпировым, а об нас забыли. Мы с сестрой и ее родным братом маленьким Валентином<sup>39</sup> были в отчаянии, а никто не решался идти замолвить за нас слово. Я всегда был смел, а главное, никогда не любил деспотизм, и решился войти в кабинет к деду, в который никто не ходил без призыву. Эта смелость, видимо, изумила его, и этому изумлению я был обязан позволением и себе, и сестре, и брату ехать к Кашпировым. Когда прибежал я в восторге к теткам с этим известием, они долго не верили и много дивились моей смелости. В такой жили мы строгости и страхе.

Здесь место описать характер всей семьи. Дед мой, Иван Гаврилович, родился в 1736 году, начал служить в гвардии. При императрице Елизавете Петровне вышел в отставку. Он женился, будучи 18 лет от роду, на дочери полковника<sup>40</sup> Катерине Афанасьевне Бекетовой, которая была одним годом его моложе. В осьмнадцатилетнем возрасте он был уже, по смерти своего отца, полным властелином имения, состоявшего из 1500 душ, к которым почти уже в старости он прикупил еще 200 душ. Живучи еще в Пе-

тербурге, он, по брате жены, Никите Афанасьевиче Бекетове<sup>41</sup>, бывшем фаворите Елизаветы, был знаком с Сумароковым<sup>42</sup> и другими значительными людьми того времени, между прочим, по гвардейской своей службе был знаком с Орловыми<sup>43</sup>. Потом жил он в Симбирске год, во время губернатора Вас[илия] Мих[айловича] Сушкова<sup>44</sup>, была гульба ужасная. Там же он познакомился и с Суворовым, который был там во время Пугачева; но от Пугачева он со всею семьею убежал в Москву<sup>45</sup>. Потом, желая возвыситься в чине и ездить четверкой (ибо при его богатстве ездить парой было обидно), он, посредством своего шурина Бекетова<sup>46</sup>, выпросился в воеводские товарищи и наконец получил место сызранского городничего. В этой должности он был примерно строгой справедливости; его весь город уважал и любил. Из этой должности он вышел в отставку с чином надворного советника и остался жить в Сызрани. Но в 1795 году весь этот город выгорел. Сгорел и дом его со всеми пожитками и старинным серебром, которого было много. Тогда он переехал жить в село Богородское.

Прежде, говорят, мой дед жил открыто и весело: имел большие знакомства и псовую охоту. При Екатерине помещики позволяли себе барство, какого после не было и в помине. Так, у моего деда было 12 гусар<sup>47</sup>: я помню еще их платья и шапки с лопастью, которые хранились в кладовой. Он ездил из города в деревню и обратно, окруженный гусарами. Но мало-помалу старые знакомые редели; межевание, возникшие с ним процессы и взяточничество требовали денег и не давали покоя; пожар сызранский еще более раздражил его; и он жил в деревне, окруженный заботами и скукою. Думаю, что это еще более испортило его характер, который, надобно признать, был тяжек всему семейству. Никогда улыбки, никогда семейного разговора; взаимное отчуждение и разделение семейства на партии: вот что я, с моей любящей душою, был осужден видеть в своем детстве. Деда все боялись, всё от него скрывали, боясь его неукротимого нрава; от этого скрывали от него многие вины служителей, которые этим пользовались. Одна была у него забава: конный завод, который, он сказал однажды при мне, стоил ему, овсом и содержанием конюхов, 40 тысяч ассигнациями ежегодно. Но детям давал он мало: Ивану Ива[новичу], который был обер-прокурором и потому уже сенатором<sup>48</sup>, посылал он по тысяче руб[лей] ассигнациями ежегодно. Другому сыну, Сергею Ивановичу, отдал он, в его пользу, заволжские луга; за что он их отдаст в найм, то и было его: я думаю, что круглым счетом он получал не меньше старшего брата. Теткам покупал, по своим фантазиям, ситцу на платья и давал рублей по 25 на именины и рождения. А между тем выписал для них из Москвы

бриллиантовые серьги: каждая пара в тысячу рублей ассигн[ация-ми], что тогда было немало. Только им и некогда, и не с чем было надевать эти серьги: они в них наряжались обыкновенно в день именин отца, как в самый торжественный день года. Впрочем, у них были свои деньги: дядя их, Никита Афанасьевич Бекетов, отказал сыновьям и дочерям сестры немаловажные суммы, из которых они получили от мужа его покойной дочери, Всеволожско-го<sup>49</sup>: братья по пяти тысяч, а сестры по две тысячи. Эти деньги отдавались по 10 процентам. Таким образом, каждая имела свой пай по 200 р[ублей] серебром в год. На чай, на сахар и на платья было довольно. Кроме того, горничные их вышивали по кисее в тамбуре<sup>50</sup> фаты и рукава для сызранских купчих. Это тоже составляло некоторый доход. Нам давалось в такие дни, когда мы подросли, по 10 руб[лей]. Но эти деньги тотчас у нас брали; мы считали, что так это и должно быть, да и купить на них было нечего. Нас с двоюродным братом одевали очень бедно: я помню, что тетка Над[ежда] Ив[ановна] покупала мне канифасу<sup>51</sup> и красила его в орлянку<sup>52</sup>; из этого шили мне панталоны оранжевого цвета, которые, когда полиняют, превращались в совсем желтые. Да к приезду Ив[ана] Ив[ановича] из Москвы в 1809 году сшили нам однобортные длинные сертуки из светлофиолетовой байки, со стоячими воротниками. В них и щеголяли мы при дяде; в самые жары, в июле месяце. Были у нас и фраки, тоже какого-то особенного фасона; можно бы летом ходить в них: все было бы не так жарко. Но, по тогдашним деревенским обычаям, фраки надевались только по воскресеньям и праздникам; носить их дома ежедневно было бы что-то выходящее из ряда, и как будто быть в гостях. Однако наш Д'Англемон ходил во фраке.

Полевое хозяйство шло у деда хорошо, потому что он сам с раннего утра ездил всякий день в поле или на гумно; знал толк во всех мелочах земледелия, а приказчики, мужики и бабы боялись его, как огня: за дурную пашню и плохое жнитво расправа следовала тут же. Правда, сеял он немного, не обременяя крестьян излишним посевом; но земля пахалась отменно, выпевало сполна, и урожай, кроме известного голодного года, были отменные. У деда моего на гумне было такое множество хлеба, лет за восемь, что копны стояли улицами, и некуда было девать хлеба; невозможно было всего и перемолотить. Овес шел весь на лошадей, в Богородском и Троицком он позже никогда не продавал хлеба, потому что не хотел отдавать его за низкую цену и не хотел продавать нового. А старого, простоявшего несколько лет, никто не брал. В других деревнях его продавали. По всем этим причинам, несмотря на 1400 душ, он получал доходу не более 10 тысяч

руб[лей] сер[ебром] в год. Другие хозяева прикупали имения и богатели, а он оставался при том же. Денег он в проценты никому не давал, и сам не бывал должен. В опекунский совет тоже не клал; и потому его капитал, очень небольшой, по сравнению с его средствами, оставался в сундуке мертвым капиталом. Дед мой был во внешних своих отношениях человек непоколебимой справедливости. Имевши много дел по имениям, особенно же со времени межевания, он знал хорошо гражданские законы; а будучи богат, он никого не боялся и потому, при разговоре о делах, был гроза сызранских судей. Один из них вывел его из терпения незнанием закона (а его вывели из терпения было очень легко). Он сказал ему: «Да ты бы, братец, читал законы!» — «Ох, пробовал читать, батюшка!» — отвечал судья. — «Ну и что же?» — «Хуже выходит!» — Строгий старик расхохотался.

В этом же Сызранском уезде жил богатый помещик Василий Борисович Бестужев<sup>53</sup>, старик умный, но низкой души, хитрый и корыстолюбивый и такой сутяга, что заводил дела о земле с малосильными помещиками, содержал судей на своем жаловании и обирал кого хотел. Он служил прежде в гвардии вместе с дядей моим Иваном Ивановичем, потом, вышедши в отставку, был знаком и с отцом его, а моим дедом. Понадобилась ему земля, принадлежащая моему деду, которую он и начал оттягивать судом; дед ни за что не уступил бы, из одного самолюбия. Однако ж встретились они в гостях, где речь зашла о их тяжбе. Дед мой сказал: «Я ни за что не уступлю вам, Василий Борисович, хотя бы мне дело стоило дороже земли; из того только не отступлюсь, чтобы не сказали, что я уступил Бестужеву. Однако вам есть верное средство даром получить эту землю!» — «Какое же?» — спросил Бестужев. — «Да вот какое. Признайтесь здесь при всех, что земля по праву принадлежит мне и что вы хотите оттягать ее незаконно. Я завтра же дам вам на нее купчую крепость». Бестужев начал говорить обиняками, что, конечно, земля-то нужна ему, что подошла бы его меже и проч. Дед ему возразил: «Нет, мне этого мало, что она вам нужна! Вы сознайтесь прямо, что тяжба ваша незаконна!» — Твердость его слова знали; знали, что он от него не отстанет; и Бестужев сознался. Дед плюнул, сказал, что завтра же напишет купчую, но что с этих пор они не знакомы. На другой же день он поехал в гражданскую палату и написал купчую крепость на имя Бестужева. Как это бывало странно видеть, когда дядя мой, бывши уже сенатором, приезжал к отцу в деревню, Бестужев, как старый его сослуживец и приятель, всегда приезжал видеться с ним и жила у нас дня по два. Дедушка принимал его, угощал за обедом, заботился о его помещении и покое,

но во все время ни при встрече, ни в гостиной, ни за обедом, ни прощаясь, — во все дни не говорил с ним ни слова. Все говорили с Бестужевым, а старик разговаривал и со своими, и с другими гостями, а с Бестужевым ни одного слова! — Такой это был твердый характер.

Скучна была жизнь всей семьи. Иногда приезжали гости, которым надоедал он рассказами о межевании или показывал свой конный завод. Но к его именинам 26 сентября съезжались к нам гости, иногда не из одной Симбирской губернии, а и из других. Как изобразить тогдашнее общество? Судьи, помещики и купцы — все пиривало вместе. Тогдашние судьи появлялись к обедне в мундирах — и это в деревне, на именинах надворного советника! Купцы — в сертуках, в кафтанах и в тулупах на [нрзб.] меху, с малиновыми [нрзб.] кушаками. Для отъезда к обедне подавали обыкновенно несколько карет четверкой и в каждой были лошади особой масти: серый, гнедой, белый, чубарый (особенно любимые хозяином) и другие.

Тотчас после обедни подавали закуску: круглый пирог, кулебяку с осетром и вязигой, икру черную и паюсную, сыр и сельди. За обедом всегда было два горячих: стерляжья уха и суп, огромная кулебяка, огромная рыба, два холодных, два соуса, фрикасе<sup>54</sup> из цыплят и рагу. Пирожное и бланманже<sup>55</sup>, потом были дыни и арбузы, которыми изобиловали заволжские деревни и которые были стольких различных сортов и вкусов, каких я после никогда не видывал. Вина подавали в изобилии, различных названий; но не думаю, чтобы они были порядочные, потому что покупались в Сызрани, где и теперь вино прескверное. Дед мой в старости был очень умерен и отроду не отведывал водки, и когда перед обедом дядя Сергей Иванович выпивал рюмку сладкой водки, с ложкой эликсира долговечной жизни, он всегда дивился, как он может принимать водку. За обедом вина никогда не было, а иногда для желудка выпивал он рюмку [нрзб.], настоящего на горьком дереве *Lignum quassi*<sup>56</sup>. Но пищу употреблял иногда тяжелую: за обедом и за ужином ел равно, и поросенка под хреном, и ветчину, иногда выпивал на это еще стакан сливок; видно старик желудком был крепок. Домашние полпиво<sup>57</sup> и квас были для него необходимы. После обеда раздевался, ложился в постель и спал два часа. Но на этих обедах и он не отказывался от вина. Вечером одни гости садились играть до ужина в карты; другие вместе с купцами усаживались по стенке в столовой, и их беспрестанно обносили винами; таков был обычай. Однако я не помню, чтобы они бывали пьяны, кроме одного купца Петра Гавриловича Заворожного, который выходил к своей кибитке и тянул из бочонка привезенное им простое вино.

Эти праздники были для нас, детей, истинным наслаждением: во-первых, некогда было смотреть за нами и строгость утихала, а во-вторых, к этим дням приезжали обыкновенно Карамзины и Философовы с кучей детей, наших внучатых сестер и братьев. Алекс[андр] Мих[айлович] Карамзин и Марфа Мих[айловна] Философова (урожденная Карамзина), родные брат и сестра историкографа, были моему отцу двоюродки<sup>58</sup>.

Таков был мой дед и таков был его образ жизни. Бабка моя Катерина Афанасьевна была годом его моложе, она была женщина добрая, кроткая, некогда красивая, и кажется, несчастная, потому что не пользовалась любовью своего мужа. Всякое утро, помолвившись сидя на кровати (от застуженной рожи ноги были в ранах, хотя она и ходила), она вынимала силуэт моего отца и другого сына Николая<sup>59</sup>, целовала их и горько плакала. Это было ежедневно.

Дядя Серг[ей] Ив[анович]<sup>60</sup>, поручик гвардии в отставке, был человеком основательного ума, много читал по-русски, но кроме русской грамоты не учился ничему и даже не знал правописания. Он был человек добрый, помогал отцу в хозяйстве, и всякий день, как скоро по окончании послеобеденного сна у деда открывались ставни, он шел из флигеля в общую гостиную и там или отвечал на вопросы отца, потому что с ним никто первый не заговаривал, или играл с ним в пикет. Он любил тоже русских поэтов.

Старшая из теток Анна Ивановна была добродушна, открывенна и скоро в своей правдивости. За это ли или за что другое, только ни отец, ни мать ее не любили. А из сестер она была дружна с второй сестрой Надеждой Ивановной. Она любила прогулки. Она занималась рукоделием и много читала, не только романов, но и книг духовного содержания. Она скончалась в 1842 году.

Вторая — Надежда Ивановна, которой я был поручен по смерти моей матери, была тихого, но скрытного характера. Она тоже не очень была любима отцом и матерью, но держалась своей уступчивостью. Она тоже любила чтение. Умерла в глубокой старости, и под старость обнаружила какую-то особенную раздражительность. В детстве и молодости она любила меня, даже пристрастно, но по старости перенесла свою привязанность на одну из дочерей брата Федора Иван[овича], о котором скажу после<sup>61</sup>. Но ко мне она совершенно охладела, без всякой причины.

Третья — Наталья Ивановна<sup>62</sup>, живущая ныне (1864 г.) в монастыре, была живого характера, лукава, капризна и ровно ничем не занималась: ни рукоделием, ни книгами. Ходила из комнаты в комнату и говорила, что придет в голову, хотя была очень умна. Она была одна любимица отца и матери, да и Сергей Иванович

любил ее больше, чем других сестер. Может быть за то, что она не таилась во всем, как другие, впрочем, ей было это и не так нужно, как любимой дочери ей все сходило благополучно, за что на других сестер произошла бы досада. Так несправедливость производит скрытность, а скрытность производит опять отчуждение. Она взяла в свое покровительство упомянутую мною двоюродную мою сестру, Лизу, дочь умершего их брата Николая Ивановича, брошенную ее матерью. Она баловала ее до бесконечности, заступалась за нее, а меня не любила и была ко мне вообще несправедлива. Но в старости, напротив, охладела совершенно к своей любимице, а меня особенно полюбила, также и детей моих, и даже отдала свое имяние младшей моей дочери.

Спросят, отчего же такие перемены? Надобно заметить, что любовь людей непросвещенных всегда пристрастна, а в старину, кажется, в семье никогда не было равенства: всегда были или избранные любимцы, фавориты, или гонимые. Наша семья не была образцом семейного чувства и разделялась на партии. С одной стороны были бабушка, тетка Нат[алья] и Лиза; с другой — сестрицы Анна Ив[ановна], Над[ежда] Иван[овна] и я. Дедушка отдавал мне справедливость, но любил более тоже Лизу.

Над[ежда] Иван[овна] не спускала мне шалости, впрочем я был мальчик только резвый, но послушный и не шалун. Она меня учила говорить всегда правду, быть уступчивым в ссорах, терпеть несправедливости и не делать возражений; на последнее была у нее поговорка: «Тихое молчанье ничему не ответ». — Но разногласие семейства и крутой нрав деда были причиною, что практика иной раз противоречила некоторым из этих правил. Иногда заставляли меня многое скрывать. Так, однажды дядя Ив[ан] Ив[анович] привез нам из Москвы несколько французских книжек с картинками, которые мне первому дали на выбор. Некоторые мне так нравились, что я не мог никак сделать выбора; а число их превосходило то, которое должно было достаться на мою долю. Дядя решился подарить мне особо три тома книжки «Galerie des Hommes»<sup>63</sup>, и мне их дали тайно от двоюродной сестры и ее брата и не велели показывать. Иногда тайно давали мне лакомства. В ссорах с сестрою, Над[ежда] Ив[ановна] судила нас справедливо и обыкновенно уводила меня от нее из общей детской в свою комнату; не защищала меня и не оправдывала, но всегда делала вид, что уводит от сильных слабого, потому что Нат[алья] Иванов[на] никогда не разбирала, кто прав, и вступалась за свою любимицу. Так, поневоле, ковыляло на все стороны нравственное воспитание. Из него я вынес одно хорошее: чувствуя, что принадлежу к какой-то угнетенной партии, я с малолетства вознена-



видел пристрастие и несправедливость и, будучи в зрелых годах судьей<sup>64</sup>, от которого зависела судьба людей, я сохранил это чувство, то самое чувство, которое инстинктивно развилось во мне в младенчестве. Но словесными наставлениями тетки я мало воспользовался. К терпению, уступчивости и молчанию без возражений я никогда не мог привыкнуть, и мне много вредила в моей жизни резкость возражений. Так, справедливо то, что надобно воспитывать не столько наставлениями, сколько практически. Однако скрытность, которой невольно иногда меня учили, никогда не была моим пороком, потому что я ее считал ложью, а ложь я от природы ненавидел и считал унижением. Напротив, в течение моей жизни я больше грешил излишнею доверчивостью к людям. Так, справедливо и то, что природы не переделать! К терпению иногда приучала она меня методами, которые меня приводили в отчаяние. Так, например, она не позволяла мне ничего просить настоятельно. Однажды, я помню, приехали разносчики, у которых были невиданные мною плоской формы карандаши. Мне их так захотелось, как будто в них состояло все мое счастье: я всегда был страстен в моих желаниях. Но как я ни упрашивал купить мне эти карандаши, тетка захотела переломить мою страстную натуру и не купила. Я плакал как от несчастья и долго не мог забыть лишения. Нехороша и эта излишняя твердость с ребенком: надобно разбирать, какого рода желание.

Тетка меня строго наказывала: самыми строгими из наказаний бывали: за леность — запрещение идти гулять, а за неумеренное беганье и прыганье — приказание сидеть целый вечер, не сходя с места и без книги. Эти два наказания были для меня самые жестокие. Я был чрезвычайно жив, а прогулки были единственное мое наслаждение и единственная свобода. Когда меня со двору пускали одного прогуливаться, я или ходил на мельницу дивиться устройству мельничной машины, или бежал в поле, где для меня было великое удовольствие перебегать овраг, полюбоваться родничками, а иногда доходил даже и до лесу, называвшегося Ближний Носок. Но в луга и на гору нужно было высшее дозволение. Помню эти прогулки и доньше, и помню то, что я чувствовал иногда инстинктивно: природа и воля — вот что меня делало тогда счастливым; я любовался на небо, на землю, на лес, на воду, я весь упивался этими наслаждениями, которые и до старости остались моими потребностями и делают меня почти счастливым!

Зимою нас не выпускали на воздух, разве только брали с собой в церковь. Но Д'Англемон брал иногда меня с собою кататься в санях. Это было для меня и необыкновенно, и чрезвычайно приятно как некоторое отличие.

Я сказал уже, что в 1810 году приезд в наше соседство Кашпировых несколько изменил наш образ жизни. Произошла перемена даже и в том, что вместо 12 часов начали обедать в два часа, что сначала казалось нам очень поздним обедом. У ней была небольшая отцовская библиотека, состоящая из новейших романов и сочинений Коцебу<sup>65</sup>, переведенных по-русски. Тетки мои брали у ней для чтения эти книги, которыми и я пользовался с жадностью. Модные романы были тогда романы г-жи Жанлис и Радклиф<sup>66</sup>. Некоторые произведения первой мне не нравились и казались всегда приторными, но тетки немало пролили чувствительных слез над ними. А ужасы и тайны мад[ам] Радклиф приводили меня в восхищение, как и всех тогдашних читателей.

Зимой 1809-1810 года последовало еще другое знакомство, которое имело влияние на мою жизнь, на мое будущее, на мое счастье и несчастье. В зимний вечер все семейство наше собралось в гостиную пить чай. Вдруг послышался под окнами шум полозьев зимнего экипажа, подъехавшего к крыльцу. Знать что приехали гости. Приезжая велела сказать о себе: из Лукоянова, Александра Степановна Быкова, бывшая Ружевская. Начали наскоро вспоминать, кто такая, и решили, что это должна быть дочь Ружевской, бывшей Дмитриевой, которая приезжала когда-то к бабушке с молоденькой дочерью; и что это должна быть ее дочь. Оказалось, действительно так.

Вошла прекрасная черноволосая женщина и объяснила свое дальнейшее родство таким гармоническим голосом, который вместе с ее наружностью и обращением просто всех пленил. С ней приехал ее молоденький брат, годами четыремья меня постарше, и семилетняя ее дочь, белокурая и живая Наташа<sup>67</sup>. Я пошел в бабушкину спальню безо всякой цели, по обыкновению дети бродили по всем комнатам. Там нашел я Наташу с ее нянею, уже расставившую свои игрушки, и остановился поиграть с нею. Я с первого взгляда полюбил Наташу и не расставался с нею. Летом они приехали к нам опять и — кто этому поверит? — я, четырнадцатилетний мальчик, влюбился в семилетнюю девочку. Когда нянька после ужина относила ее на руках во флигель, где они жили, я бегал провожать ее и упрашивал няньку донести ее на своих руках; Наташа обнимала меня за шею, и я доносил до крыльца мою милую подругу, которой назначила судьба быть другою моею жизнью, но ненадолго. Нашу взаимную детскую любовь заметили в семействе и шутя называли нас женихом и невестою; даже однажды тетка Анна Ивановна хотела благословить нас образом, но ее не допустили до этой шутки, как до профанации священного обряда. Я не могу забыть наших игр, наших про-

гулок; я дышал только для этой девочки, и помню, что она была мне дороже всего на свете.

В то время, как они приехали к нам, отец ее, Михаил Егорович<sup>68</sup>, поехал в Петербург, где дядя мой был в это время министром юстиции, и определился в его департамент. Вслед за ним посланы были к дяде от отца и матери рекомендательные об нем письма, и он получил место губернского прокурора в Симбирске, куда они и переехали, что было для них тем выгодно, что у них была небольшая деревня в Карсунском уезде. Мы звали Александру Степановну, по отдаленному родству, теткою, а я и Наташа называли друг друга братом и сестрой. Наташа даже писала ко мне из Симбирска письма, по линейкам, и прислала однажды в подарок, разумеется, с позволения матери, шелковый платок; и письма ее, и платок я храню донныне: так дорога мне была ее память.

Осенью они приехали опять; все эти свидания укрепляли нашу любовь, и мы обещались: я — на ней жениться, а она — ни за кого, кроме меня, не выходить замуж. Но скоро надобно было расстаться надолго.

Приходило время отправить и меня, и моего двоюродного брата Валентина в Москву, чтобы продолжить или, лучше сказать, правильно начать наше учение. Наконец, решительно было назначено нам ехать. Плакал я о разлуке с родными, с домом и с привычной жизнью; вдвое плакал о разлуке с Наташей. Но еще до отправления нашего должно было расстаться с Д'Англемоном, добродушным стариком, который, что мог, все для меня сделал, что мог, все мне передал.

Когда он в первый раз приехал к нам, сначала его несколько чуждались, как иностранца, но вскоре увидели, что это человек добрый. Сначала и крестьяне дичились его, как нехристя, но он стал помогать больным своими советами и лечил их. Это послело к нему доверие; начали ходить старухи, потом и бабы водить больных детей; одним словом, его полюбили. Он был человек спокойный, неприхотливый и во всем умеренный. Одна страсть у него была — охота к ружьям; и потому у него были гончие и легавые собаки. Ему дан был слуга и другой взрослый мальчик, которых он тоже сделал стрелками. Дичи около нас было множество. Каждую субботу, по окончании утреннего класса (ибо в субботу вечером мы учились по-русски), он садился с двумя своими егерями на дрожки и пропадал до понедельника. Питался он во время охоты печеными яйцами и булками; ел очень умеренно, а перед пищей выпивал маленькую рюмку сладкой водки. Больше ему было не нужно. Настрелял он пропасть, и все записывал: летом — уток, куликов, бекасов; зимой — зайцев; лис тогда еще

не было: они развелись там через 50 лет после Д'Англемона; он не дожил до счастья этой охоты.

Д'Англемон не был особенно благочестив, как француз, никогда не читал Библию; но, кажется, был доступен религиозному чувству, потому что один раз в год, в день памяти его матери, он заказывал в нашей сельской церкви панихиду, и во все время службы стоял на коленях и, сложив по-католически руки, молился со слезами.

Все было хорошо! Егор Иванович (как называли у нас Д'Англемона) был всем доволен и жил благоразумно. Как вдруг лукавый попутал шестидесятилетнего старца! — В доме у нас была чернорабочая девка Дарья, сестра буфетчика Афанасия: толстая была, плотная и румяная. Егор Иванович воспытал страстью, которой оказались явные признаки. Дед мой, дававший иногда полную волю своей господской натуре, был, однако, строгий наблюдатель домашней добродетели в других. Егору Ивановичу отказали. Старик плакал, хотел купить Дарью, просил позволения поселиться с ней в заволжской деревне деда; ничто не помогало! Должен был ехать в Симбирск. Я и сам не меньше Д'Англемона тосковал о разлуке с ним, но он обещал ко мне писать из Симбирска. И действительно, почти всякую неделю я получал от него письма и сам писал к нему, что, между прочим, было мне полезно, как практика по французскому языку, на котором шла наша переписка. Он иногда поправлял мои письма или делал на них замечания.

С отъездом Д'Англемона учение наше прекратилось; это ускорило отправление наше в Москву. Мы и сами наконец рады были скорее отправиться, потому что в его отсутствие дед наш вздумал заставлять нас повторять уроки и ходить к нему то на исповедь в повторении, то показывать русские тетради. Все это сопровождалось с нашей стороны трепетом и страхом, а с его — беспрепятственным сердцем, досадой, выговорами. Видеть всякий день и так близко его сердитое лицо (а он почти постоянно был сердит; я не помню его веселым и довольным) — это было истинное мучение! — Я помню, когда, бывало, идешь, дрожа заранее, показывать ему тетради, тетка Надежда Ивановна всегда крестила меня и отпускала с наставлением читать про себя всю дорогу от нашей комнаты до кабинета: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» — Но и вспоминание кротости царя Давида не помогало: это было наше мучение<sup>69</sup>; насилу вырвались в Москву.

Наконец стали нас собирать тою же зимою: нашили нам теплого платья и шапок. Бабушка напекла пирогов, в том числе и с вареньем; нажарила кур; наплакались вдоволь, благословили и отпустили.

В числе разных наставлений деда и бабки я помню особенно одно: беречься села Бунькова и в нем не останавливаться, потому что в нем живут разбойники и убивают ночью проезжающих, которые останавливаются тут ночевать. Это бывало действительно в старину, когда они сами езжали в Москву; а в последний раз ездили они туда скрываться от Пугачева<sup>70</sup>. С того времени прошло сорок лет; но старики никак не могли вообразить, что с тех пор все переменялось. А Буньково было в старину так страшно и опасно, что те, которые проедут его благополучно, служили даже благодарственный молебен. Бабушка из всех опасностей дальнего пути боялась больше всего — Бунькова!

Мы отправился в Москву (я, брат Валентин и двое дядек) на почтовых в февраль месяце 1811 года.

### ПРИЕЗД В МОСКВУ. ДОМ. ИРИНА ИВАНОВНА БЕКЕТОВА И ЕЕ РОДСТВЕННИКИ

Итак, в конце февраля 1811-го года мы въехали в Москву и остановились на Волхонке, в доме родственницы моей бабки, Ирины Ивановны Бекетовой<sup>71</sup>. Дом этот существует еще и ныне (1864 г.), но куплен в казну и назначен к ломке. Он находится против дома князя Сергея Михайловича Голицына<sup>72</sup>, а заднею частью двора обращен был к тогдашнему Алексеевскому монастырю, ныне к великолепному недоконченному храму Спасителя. По одним сторонам были длинные двухэтажные флигеля, из которых один, правый, смотря с улицы, заворачивал далеко и по улице. Ныне левый флигель сломали. В большом флигеле жил тогда пасынок хозяйки, Платон Петрович Бекетов<sup>73</sup>.

Мы были приняты ласково, как родные. Но чистота, красиво убранные комнаты, мебель красного дерева, а особенно паркеты и мраморный камин с зеркалом, отроду не виданные нами, казались нам таким великолепием, которое беспрестанно напоминало нам, что мы на чужой стороне, что мы тут чужие. Нам отвели помещение в бельэтаже, в парадных комнатах, потому что хозяйка не могла ходить по лестницам и жила в нижнем этаже. Там были стены под мрамор, огромная зала, штофная мебель<sup>74</sup>: мы пуше растерялись, как перенесенные в волшебный замок, до всего дотрагивались и едва смели ложиться на кровати. Так привыкли мы в своей комнате к бревенчатым стенам, не закрытым даже обоями, и к мебели, состоящей из простых стульев и липовых некрашенных столов. Нам казалось там покойнее; здесь были мы не на своем месте и по образу жизни не в своей атмосфере.

Ирина Ивановна была вторая жена тогда уже умершего Петра Афанасьевича Бекетова<sup>75</sup>, родного брата моей бабки. Первая жена его была Репьева, от которой остался сын, упомянутый мною двоюродный наш дядя Платон Петрович. У ней же были еще два сына, Иван Петрович и Петр Петрович<sup>76</sup>. Те жили не с нею: один на Тверской, в наследованном после отца доме<sup>77</sup>, который он увеличил прикупкою дома доктора Фреза<sup>78</sup> и пристройками; а другой, Иван П[етрович], жил и летом, и зимой на даче, приезжая оттуда ежедневно к матери обедать. А пасынок, Платон Петрович, жил один с нею, и она любила его не меньше родных сыновей своих.

Она была дочь симбирского купца Ивана Борисовича Твердынина-Мясникова<sup>79</sup>. Их было два брата; оба небогатые, но умные и смысленные. Они открыли в Оренбургской губернии медные и железные руды, которые по тогдашнему закону Екатерины были предоставлены в их пользу, с платою некоторого процента в казну Екатерины. Видя в подобных открытиях и предприятиях пользу общую, не хотели присваивать руды одной казне и лишать честных людей выгоды, сопряженной с обогащением самого государства. Братья Твердынины вскоре разбогатели неимоверно, один из них, Семен, умер бездетным, и все досталось одному Ивану. После него имение разделили между четырьмя его дочерьми, но оно было так огромно, что у одной Ирины Ивановны Бекетовой было две тысячи душ и заводы, что приносило ей ежегодного чистого дохода до 400 тысяч ассигнациями.

Надобно упомянуть и о других сестрах, потому что их детей и внуков я узнал в это время, и видел их часто как обстановку той пестрой картины, которая поражала меня с непривычки к людям, но которую я разобрал и оценил скоро.

Катерина Ивановна<sup>80</sup> была замужем за известным эллинистом Григорием Ивановичем Козицким<sup>81</sup>, который печатал свои переводы в «Трудолюбивой Пчеле», издавал журнал «Всякая всячина» и был статс-секретарем императрицы Екатерины. Дочь его Анна Григорьевна<sup>82</sup> была замужем за известным остроумцем и любителем художеств Александром Михайловичем Белосельским-Белозерским<sup>83</sup>; другая, Александра, за графом Лаваль<sup>84</sup>. Лаваль был эмигрант, он ходил в Петербурге по знатным людям и продавал помаду и духи. Так был он вхож и к князю Белосельскому. В французика влюбилась Александра Григорьевна. Князь заметил, что иногда за обедом она жала ему руку и трогала его ногами; Лавалю было отказано от дому. Но он, имея знакомство между знатными, довел до императора Павла, что они были влюблены друг в друга и что мать девицы мешает счастью двух

сердец. Чувствительный Павел разрушил препятствие очень просто. К Катерине Ивановне был прислан обер-полицмейстер Архаров<sup>85</sup> с полицейскими драгунами. Взяли ее у матери и отвезли в церковь; там ожидал ее уже жених. Их обвенчали и привезли к матери. Долго еще после этого лакеи Козицкой анонсировали его титулом Мусье Лаваль; но теща всегда повторяла: «Должно вам говорить, чтобы звали его Иван Степанович». После восстановления Бурбонов<sup>86</sup> он съездил в Париж и возвратил себе титул графа<sup>87</sup>. Впоследствии я знал его церемониймейстером нашего двора.

Третья сестра Степанида Ивановна была замужем за Алексеем Федоровичем Дурасовым<sup>88</sup>. У ней были дети: известный богатством, роскошной жизнью, стерлядью, театрами, балетами и глупостью Николай Алексеевич Дурасов, о приемах которого упоминает в своих записках С.П.Жихарев<sup>89</sup>. Дочери ее были: Катерина Алексеевна, замужем за бригадиром Степаном Егоровичем Мельгуновым, человеком очень простым, которого сыновья известны и ныне своей глупостью<sup>90</sup>; другая, Аграфена Алексеевна, замужем за Михаилом Зиновьевичем Дурасовым же<sup>91</sup>, отставным генерал-майором и георгиевским кавалером, которая под конец жизни жила в Симоновом монастыре, постриглась и отличалась отшельническою и святою жизнью. Их дочь Аграфена Михайловна<sup>92</sup> была замужем за попечителем университета сенатором Писаревым<sup>93</sup>. Третья дочь Степанида Алексеевна была замужем за известным любителем древности и оригинальным собирателем графом Федором Андреевичем Толстым<sup>94</sup>. Их дочь Аграфена Федоровна вышла замуж за генерала-адъютанта Закревского<sup>95</sup>.

Четвертая сестра Дарья Ивановна была в замужестве за Пашковым. Ее дети были: обер-егермейстер Василий Александрович и бригадир Иван Александрович Пашковы<sup>96</sup>.

Когда я узнал их потомство, двух сестер уже не было в живых, оставались только Ир[ина] Ив[ановна] Бекетова в Москве и Кат[ерина] Ив[ановна] Козицкая в Петербурге. Эти семейства съезжались во всякое воскресенье и среду на обед к Ирине Ивановне, который накрывали, по крайней мере, на сорок кувертов.

До того времени я не бывал даже в Симбирске; я видел у деда многих приезжавших оттуда, но не имел никакого понятия о губернском обществе. Узнавши его впоследствии, я могу сказать ныне, что вся эта компания родственников, собиравшаяся у Ирины Ивановны, была совершенно провинциальна, хотя я принимал их тогда за людей высшего общества. Болтовня о московских новостях и увеселениях и игра в карты: вот был характер этого собрания родственников; так что даже и мне, не выдавшему ничего лучшего, некоторые из них казались смешными, и все вообще

утомляли меня, мальчика, своею пустотою. Многие из них, например, Никол[ай] Алекс[еевич] Дурасов, Иван Александрович Пашков и Степан Егорович Мельгунов, были нестерпимо глупы; последние двое хотя бы без претензий, а Дурасов с надменной уверенностью позволял себе иногда нестерпимые выходки, хвастовство и глупые шутки, которым и хохотал. Он хвастал богатством, презирая всякий ум и всякие талант и ученость, унижал их с каким-то глупым наслаждением. Ему и другим родственникам досталась в наследство какая-то библиотека, и он не иначе согласился разделить ее, как по форматам, маленькую книжку за маленькую, большую за большую, а многочисленные сочинения разделил тоже поровну, так и сделали. И разрозненное убрали, не пошло ни на что. Но он угощал роскошно Москву; жил в своем Люблине, как сатрап, имел в садках всегда готовых стерлядей, в оранжереях огромные ананасы, и был до эпохи французов, все изменившей, необходимым лицом общества, при тогдашней его жизни и тогдашних его потребностях. С.П.Жихарев в своих заметках студента очень верно изобразил Дурасова, хотя и не с моей открытостью.

Граф Федор Андр[еевич] Толстой был тоже не дальнего ума, но добродушен, а страсть его к собранию летописей и других древних рукописей делает ему большую честь и составила ему имя, хотя она остается для меня и поныне загадкою. Он не знал ни одного иностранного языка, не читал ни одной русской книги, не имел никакого образования и не мог порядочно разбирать старинных рукописей. Он покупал все редкое и старинное, что ни попадалось, и потом показывал это как знатокам Платону Петровичу и Ивану Петровичу, которые делали ученую оценку его покупкам. Скупая жена его давала на это ему по 10 тысяч рублей ассигнациями ежегодно. С ним бывали довольно странные ошибки. К Бекетовым ходили всегда по этим дням, когда сходились он и граф Толстой, одни книжники. Петра Григорьевича Козицкого<sup>97</sup> по сближению понятий называли фарисеем<sup>98</sup>. Этот фарисей знал всю подноготную русской библиографии и книжной торговли и мог достать со дна моря редкую книгу. Однажды до приезда гр[афа] Толстого он вытряхнул перед Бекетовыми из своего мешка какое-то французское письмо, писанное новейшей женскою рукою и подписанное Marie St. На обороте было написано: à Mr. Palme. Платону Петровичу вздумалось сыграть шутку с гр[афом] Толстым и уверить его, что это письмо Марии Стюарт. Иван Петрович был уверен, что граф не поверит; да и потом, к кому она писала? — «Скажем, — возразил Плат[он] Петрович, — что к книгопродавцу Пальму, расстрелянному Наполеоном!»<sup>99</sup> Фарисей



велел просить 500 рублей и потом уступать. Что же! Добродушный археолог всему поверил, тем более, что Платон Петрович собирал автографы и почерк Марии Стюарт был ему знаком. Граф торговался жарко; сторговал это письмо за 150 рублей; но проказники расхотались и открыли ему правду и не допустили его до покупки. Однажды он привез к обеду купленный им вместе с другим хламом какой-то, как говорил он, чудный платок с старинными изображениями. Вытащил его из кармана, и это оказался антиминс<sup>100</sup>, вероятно, выброшенный из церкви французами. Граф остолбенел, когда ему растолковали, и не знал, что делать.

Платон Петрович Бекетов, отставной майор, и брат его Иван Петрович, отставной полковник<sup>101</sup>, были люди очень умные, просвещенные, даже по тогдашнему учению, и оба очень приятны в разговоре и в обращении. Оба они знали языки: французский, немецкий, понимали латынь. Первый учился вместе с Карамзиным в пансионе Шадена и был старше Карамзина четырьмя годами<sup>102</sup>. Он имел лучшую в Москве типографию, которую перед моим приездом продал Воейкову<sup>103</sup> и которая со всеми книгами и запасами во время французов сгорела. Он был первым председателем Общества Истории и Древностей, и был всеми любим за свой ум и добродушие. У него была огромная библиотека, наполненная редкими, драгоценными и великолепными изданиями. Она тоже сгорела.

Иван Петрович, действительный член того же общества, занимался преимущественно историей и ботаникой; у него на даче за Серпуховской заставой был прекрасный зимний сад, составленный из трех отделений, по различным климатам жарких поясов, где находились в группах деревья Южной Америки, Индии и Африки. Переход из дома в этот сад составлял птичник<sup>104</sup>, в котором были насажены уже наши отечественные деревья. У него тоже была отборная и огромная библиотека. Оба брата были любители картин, эстампов и статуй и имели очень хорошие копии с знаменитейших произведений скульптуры.

Младший брат их Петр Петрович был совсем не похож на старших, ни умом, ни познаниями. Отец их, заботившийся о воспитании старших и отпустивший их на службу в Петербург, не хотел учить младшего, говоря, что от тех нет никакой подпоры отцу в его старости. Взяли мадам, поучили его немного по-французски, да тем и кончили. Потом записали его в гвардию и перевели с чином в провиантскую комиссию, где он ничего не делал. Отец купил для него при Павле мальтийское командорство, то есть крест Иоанна Иерусалимского на шею. Тут он присватался кем-то к дочери Кутузова<sup>105</sup> (потом князя Смоленского) и был

помолвлен. Кутузов выпросил ему тогда камергерство, что дало тогда генеральство. Но открыли, что он глуп и ревнив, и отказали. Дочь вышла после за Хитрова, а он, никогда не служа, вышел в действительные камергеры, т.е., по-нынешнему, в действительные статские советники<sup>106</sup>. Он строил, не имея понятия об архитектуре, имел инструментальную, вокальную и роговую музыку; был человек очень добрый, раздавал много денежных наград и пенсий. После матери разделил с братом Иваном ее огромное имение, не умел управлять им и умер разоренным, однако в огромном доме, купленном им на Мясницкой, потому что, по упрямству перед законными требованиями московского градоначальника, не хотел отделать прежнего на Тверской<sup>107</sup>.

У Ирины Ивановны было еще две дочери: Катерина Ивановна<sup>108</sup> за сенатором Кушниковым<sup>109</sup> и Елена Петровна за министром полиции Балашевым<sup>110</sup>.

Платон Петрович, человек умный и просвещенный, был особенно добродушен, я его любил чрезвычайно и почитал не менее, как родного дядю. В молодости, служа еще в гвардии, он промотался и наделал долгов. Отец сперва заплатил за него, но после, видя, что он еще более мотает (особенно по привязанности своей к актрисе Синявской<sup>111</sup>, которую он отбил у графа Хвостова<sup>112</sup>), отказался платить долги сына, который принужден был скрываться у родственников, чтобы не попасть в тюрьму: то у дяди своего Павла Афанасьевича Бекетова<sup>113</sup>, в его арзамасской деревне, то у моего деда, женатого на Катерине Афанасьевне, родной его тетке. Здесь, живучи у них в селе Богородском, он особенно полюбил наше семейство и подружился с двоюродными братьями и сестрами; и все его полюбили как родного брата. Так проскитался он до самой кончины своего отца<sup>114</sup>, по смерти которого мачеха Ирина Ивановна тотчас же заплатила за него все долги, составлявшие более ста тысяч, сумма и теперь огромная, а тогда и подавно. Мудрено ли, что он так был привязан к мачехе и жил даже в ее доме, тогда как родные сыновья жили каждый особо.

Прежде моего приезда в Москву дом Ирины Ивановны был на Рождественке; она продала его под медико-хирургическую академию. Платон Петрович помещался в одном флигеле, который сам по себе [был] большим барским домом. А в главном здании были даже мраморные колонны и мраморные лестницы, что тогда было большая редкость. К дому примыкал огромный сад с террасами и оранжереями, выходивший заднею каменною оградой на другую улицу. Все это существует и ныне, не знаю, в том ли виде<sup>115</sup>. Она, продавши этот дом, купила другой, поменьше, на Волхонке, в котором жили и мы по приезде в Москву.

Дяди Ивана Ив[ановича] не было тогда в Москве, он был министром юстиции и жил в Петербурге<sup>116</sup>. Его вполне заменил нам Платон Петрович, и думаю даже, что эта замена была нам полезна, при простоте нрава и доброте душе его, которые были нам очень нужны, как пересаженным растениям нужны тепло и солнце.

Платон Петрович сводил нас с братом рекомендовать попечителю университета Павлу Ивановичу Голенищеву-Кутузову, с которым он был дружен. Надобно сказать, что основанием этой дружбы было, кажется, то, что Кутузов печатал на его счет свои сочинения<sup>117</sup>.

Кутузов был себе на уме, и его вообще не хвалили как человека, но добродушный Бекетов смотрел на одни его хорошие отношения к себе. Он печатал тоже на свой счет и в своей типографии журнал «Друг просвещения»<sup>118</sup>, который издавали Кутузов, гр. Салтыков и граф Д.И.Хвостов. Этот журнал можно помянуть добром только потому, что в нем помещал Евгений<sup>119</sup> свой словарь российских писателей. Что касается до литературы — трое бездарных редакторов пользовались своим журналом только как средством помещать свои стихи, которых никто не хотел печатать. Но тут происходила еще вот какая взаимная хитрость: они собирались читать свои стихотворения, назначенные для журнала; при этом чтении, как скоро были у кого из них плохие стихи, двое других их-то и принимались взапуски хвалить с тою целию, что их собственные произведения при этих стихах покажутся лучше. При такой методе можно вообразить, каков был их журнал. И действительно, Бекетов потерпел от него убытки и от печатания второго года отказался. В этом журнале появлялась самая гениальная быль графа Хвостова, в которой, например, пьют шампанское «под Троей греки-храбрецы»<sup>120</sup>, и другие курьезности в том же роде. Здесь у П.И.Кутузова увидел я в первый раз дочь его, Авдотью Павловну, впоследствии Глинку<sup>121</sup>. Она была годом или двумя меня постарше.

Потом Плат[он] Петр[ович] представил нас инспектору (впоследствии названному директором), т.е. к непосредственному главному начальнику университетского благородного пансиона, Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому<sup>122</sup>, он слегка проэкзаменовал нас. Чего было экзаменовать? Я знал только по-французски и мифологию, а брат Валентин, который был и моложе меня, и ленивее, не знал и того. Антонский присоветовал поучиться нам на дому, чтобы сколько-нибудь приготовиться к поступлению в пансион, и обещал прислать учителя давать нам уроки. Вследствие этого явился к нам кандидат университета и надзиратель

пансиона Михайло Игнатъевич Ханенко, педант, который, оказалось впоследствии, сам [был] почти ничего не знающим в сравнении с другими учителями и надзирателями<sup>123</sup>. Но он был любимец Антонского. Не помню, чему он нас учил, но кажется, русской грамматике, арифметике и читать на немецком языке, которого он только и знал, что умел несколько читать. Давши нам достаточное число уроков, то есть достаточное не для приготовления нас к дальнейшему учению, а для получения себе денег, он сказал, что мы приготовлены. Нас отвезли в пансион. Антонский дал нам так называемую таблицу, в которой было назначено, в каком предмете в какой класс нам поступать. Потом дал записку к книгам, которые должно было купить в пансионской библиотеке, и растолковал, к какому надзирателю<sup>124</sup> явиться, то есть в какие быть помещенными комнаты. Что это значило, я объясню после. Я явился к Ивану Федоровичу Гудиму-Левковичу<sup>125</sup>, который после был председателем симбирской уголовной палаты и женился на приятельнице моей первой жены: тогда мы оба не воображали этого.

Я поступил во французском и русском языке в средний класс; в арифметике — тоже; в немецком языке во второй, т.е. только что не в самый нижний. А всеобщей истории и географии и русской истории были одни, для всех общие. Брат Валентин поступил еще ниже. Учебные книги были следующие: Краткая русская грамматика, изданная для пансиона; французская грамматика; немецкая Гейма; латинская таблица, содержащая склонение, спряжение и другие части речи, вместе с нужнейшими именами существительными и глаголами; Логика Богданова, Риторика Мерзлякова, всеобщая история Шрекка; география в двух толстых томах; курс математики Безу и атлас древней географии Лафиза, переведенный Черепановым. Впоследствии прибавлена была еще славянская мифология Кайсарова<sup>126</sup>. Вот какие были наши учебные пособия. Кроме этого надобно было купить еще кожаную теку<sup>127</sup> для книг и тетрадей. А потом для меня была куплена еще рапира и маска для фехтования.

Кроме учебных книг, назначено было нам приобрести еще французскую хрестоматию; детский театр, изданный для пансиона, кажется, Сандуновым<sup>128</sup>, и книжицу, издаваемую пансионерами высшего класса, под заглавием «В удовольствии и пользе»<sup>129</sup>.

Так поступили мы в пансион. Плата за нас была за учение, стол и помещение 400 рублей ассигнациями за каждого, но перед этим было еще менее, на одного 350 руб[лей]. Платье, белье, постель и учебные пособия были свои собственные. Кроме того, каждый пансионер при вступлении должен был внести серебряную ложку, которая и оставалась в пользу заведения<sup>130</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: Христианский календарь на лето от Рождества Христова 1784, а от сотворения мира 7292, которое есть високосное и содержит в себе 366 дней. М., 1784. В 1787 книга была конфискована в связи с «делом» Н.И.Новикова, поэтому и стала редкой.

<sup>2</sup> Дмитриева (урожд. Пиль) *Марья Александровна* (?-1806) — мать М.Дмитриева.

<sup>3</sup> Дмитриева *Анна Ивановна* (?-1842) — старшая из сестер Дмитриевых.

<sup>4</sup> *Салтыков* Николай Иванович (1736-1816) — генерал-аншеф (с 1773), подполковник лейб-гвардии Семеновского полка, генерал-фельдмаршал (с 1796), президент Военной коллегии (1796-1802), сенатор.

<sup>5</sup> М.Дмитриев дослужился до чина действительного статского советника и вследствие конфликта с начальством вышел в отставку в 1847.

<sup>6</sup> Оспу начали прививать в России в 1768, когда из Англии был выписан доктор Димсдаль. Первыми его пациентами стали Екатерина II, Г.Г.Орлов, наследник Павел Петрович, а за ними и многие жители столицы, но в провинции в конце XVIII — начале XIX в. оспу еще не прививали. Ср. свидетельство Е.П.Янковой: «Осенью 1770 года было сильное оспинное поветрие; оспы тогда еще не умели прививать и ждали, чтобы пришла натуральная» (Рассказы бабушки. Указ. изд. Л., 1989. С.21).

<sup>7</sup> Кормилица Митрофана из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» также имела отчество Еремеевна.

<sup>8</sup> Дмитриев Александр Иванович (1759-1798), обучавшийся вместе с младшим братом Иваном в пансионах Манжени и Кабрита, в 1772 был записан в Семеновский полк солдатом, в 1774 поступил в полковую школу, в 1789 выпущен в армию премьер-майором, в том же году переведен с чином подполковника в Суздальский мушкетерский полк, стоявший в Казани. В 1790 участвовал в шведской кампании. После войны вновь служил в Казани (в 1798 — уже полковник), в этом же году скоропостижно скончался в Екатеринодаре. Он известен как переводчик «Собрания писем Абельярда и Элоизы» (М., 1787), «Поэм древних бардов» Дж.Макферсона (СПб., 1788) и других книг и как автор повести «Слава русских и горе шведов» (СПб., 1790) и нескольких стихотворений, помещенных в «Московском журнале» Н.М.Карамзина, с которым он был в близких дружеских отношениях. Карамзин упоминает о нем в «Цветке на гроб моего Агатона», в письмах к И.И.Дмитриеву. См. о нем статью Ф.З.Кануновой в «Словаре русских писателей XVIII века» (Вып.1. Л., 1988. С.268-269).

<sup>9</sup> В рукописи это приложение отсутствует.

<sup>10</sup> *Бернарден де Сен-Пьер* Ж.А. *Павел и Виргиния*. М., 1793.

<sup>11</sup> Пиль *Александр Алфертович* был записан на службу в 1741, в 1784-1795 служил советником Уголовной палаты в Саратове (в чине надворного советника).

<sup>12</sup> Пиль *Иван Алфертович* (?-1801) на службе с 1745, с 1763 подполковник, с 1775 генерал-майор, с 1782 генерал-поручик и губернатор Лифляндии, с 1789 генерал-губернатор Иркутского и Кольванского наместничеств.

<sup>13</sup> *Якоби* Иван Варфоломеевич (1726-1803) — иркутский генерал-губернатор (с 1783). В 1786 было возбуждено дело о «намерении его возмутить Китай против России». Г.Р.Державин занимался этим делом целый год и четыре месяца ежедневно читал Екатерине II «сенатский экстракт» по делу Якоби, который в итоге был совершенно оправдан. См.: Державин Г.Р. Собр. соч. Т.6. СПб., 1871. С.633-643.

<sup>14</sup> См.: Голубок комедия, сочинение г-жи Жанлис / Перевел с французского Сергей Тишевский. СПб., 1789. Однако отчество Тишевского — Андреевич (см.: Сводный каталог русской книги XVIII века. Т.5. М., 1967. С.193), из чего следует, что либо М.Дмитриев неверно называет отчество «девицы», либо степень ее родства с переводчиком Жанлис была иная.

<sup>15</sup> Дмитриева *Надежда Ивановна* (?-1849) — средняя из сестер Дмитриевых.

<sup>16</sup> Краткая церковная служба об упокоении души умершего.

<sup>17</sup> См.: Дмитриев И.И. Стихи на случай священного коронования Его Императорского Величества Государя Императора Александра Первого. М., 1801 (в позднейших переизданиях — Песнь на день коронования Его Императорского Величества...).

<sup>18</sup> Т.е. путала род существительных и ошибалась в правописании; нужно: la promenade, la livre.

<sup>19</sup> Имеется в виду одна из книг М.Н.Соколовского: «Французская грамматика с российским переводом, расположенная по вопросам и ответам...» (М., 1781) или «Сокращенная французская грамматика, расположенная по вопросам и ответам, с российским переводом...» (М., 1762), каждая из которых несколько раз переиздавалась до конца XVIII века.

<sup>20</sup> См.: Новая французская грамматика, сочиненная вопросами и ответами: Собрана из сочинений г-на Ресто и других грамматик / Перевод Василия Теплова. СПб., 1752 (2-е изд. — 1762).

<sup>21</sup> См.: Карамзин Н.М. Юлия. М., 1796.

<sup>22</sup> «Детская география»; «Всестороннее обучение магистра Ламени де Бомона» (*франц.*). Может быть, речь тут идет о книгах детской писательницы Мари Лепренс де Бомон (*Marie Léprieux de Beaumont*, 1711-1780). К сожалению, уточнить выходные данные этих изданий нам не удалось.

<sup>23</sup> Законом, принятым французским Учредительным Собранием 15 января 1790, старое административное деление страны на провинции (в

число которых входили Нормандия и Пикардия) было упразднено. Новый закон разделил страну на 83 департамента.

<sup>24</sup> Имеется в виду не газета, а журнал «Le Spectateur du Nord, journal politique, littéraire et moral» (1797-1802), издававшийся в Гамбурге французским эмигрантом М. де Бодю. По характеристике Ю.М.Лотмана, этот журнал «не был на правом крыле эмигрантской печати: позиция журнала состояла в стремлении к сближению умеренных элементов внутри Франции с умеренными же элементами эмиграции, не стремившимися вернуться к дореволюционному порядку» (см.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С.677). Одним из авторов этого журнала был Н.М.Карамзин.

<sup>25</sup> В сражении под Аустерлицем 20 ноября 1805 Наполеон одержал победу над русскими и австрийскими войсками. По Тильзитскому миру (25 июня 1807) Россия обязана была присоединиться к континентальной блокаде, объявленной в 1806 Наполеоном и означавшей запрещение торговли с Великобританией.

<sup>26</sup> По свидетельству И.И.Дмитриева, в этой библиотеке были и духовные книги: «Маргарит» (поучительные слова) Иоанна Златоуста и «Острожская библия» (см.: Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С.19).

<sup>27</sup> *Библейское общество* было создано в 1813. В 1816 общество выпустило славянскую Библию (23-е издание Библии на церковно-славянском языке), в 1818 вышел перевод Четвероевангелия на русский язык, в 1821 Четвероевангелие вышло с Книгой деяний апостольских и первыми десятью Посланиями.

<sup>28</sup> Собрания сочинений Вольтера в 3-х томах выходили в 1785-1789 в Петербурге и в 1802-1805 в Москве. Речь, скорее всего, идет о последнем, упоминаемом и в «Мелочах из запаса моей памяти» (М., 1869. С.47). «Вадины сказки» Вольтера были изданы в Петербурге в 1771.

<sup>29</sup> *Пушкин Василий Львович* (1766-1830) — поэт, дядя А.С.Пушкина; *Шаликов Петр Иванович* (1768-1852) — поэт, журналист. Журнал «Аглая» он издавал в 1808-1810 и 1812.

<sup>30</sup> Восьмитомное собрание сочинений Н.М.Карамзина вышло в 1803-1804. Полное издание «Писем русского путешественника» появилось в 1801. Два тома повестей и мелких сочинений в стихах и прозе «Мои безделки» — в 1791 (2-е изд. — 1797; 3-е — 1801).

<sup>31</sup> Карамзин был назначен историографом в 1803.

<sup>32</sup> *Щербатов Михаил Михайлович* (1733-1790) — историк и публицист, автор «Истории Российской от древнейших времен...» в 7 томах (СПб., 1770-1791).

<sup>33</sup> *Хемницер Иван Иванович* (1745-1784) — поэт.

<sup>34</sup> Речь идет об оде Г.Р.Державина «Бог» (1784) и баснях Хемницера «Орлы» (1779), «Лев, учредивший совет» (1779) и «Лестница» (1782).

<sup>35</sup> Литературная известность пришла к Жуковскому после публикации перевода элегии Т.Грея «Сельское кладбище» (Вестник Европы. 1802. №24). Баллада «Людмила» (вольный перевод «Леноры» Г.А.Бюргера), напечатанная в «Вестнике Европы» (1808. №9), вызвала бурную полемику. Отрицательно оценили жанр баллады Н.И.Гнедич (О вольном переводе Бюргеровской баллады // Сын Отечества. 1816. №27) и А.Ф.Мерзляков — в выступлении в московском обществе любителей российской словесности в 1818. (Эпизод подробно описан М.Дмитриевым; см.: Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти. Указ. изд. С.168). Подробнее о восприятии баллад Жуковского см.: Немзер А.С. «Сии чудесные виденья...» // Жуковский В.А. «Свой подвиг совершив...» М., 1987. С.155-264.

<sup>36</sup> Лобанов Василий Михайлович (1764-1809) — генерал-майор, командир лейб-гвардии Гренадерского полка с 1799 по 1809. (Подробнее о нем см.: История Лейб-гвардии Гренадерского полка / Сост. В.К.Судравский. Т.1. СПб., 1906. С.308-309). Дочь его, *Е.В.Лобанова*, умерла около 1811.

<sup>37</sup> Воспитанница Смольного института, окончившая курс в 1800, дочь коллежского асессора Тимофея Ефимовича Сапожника.

<sup>38</sup> Кашперов Никита Прохорович (1783-1833) — офицер (в 1801 — прапорщик, в 1816 — майор) Кексгольмского гренадерского Императора Австрийского полка. В 1816 по болезни был уволен от службы в чине полковника и определен на инвалидное содержание. Был женат на Любови Ивановне Дмитриевой (1791-1830), родственные связи которой с М.Дмитриевым нам выявить не удалось.

<sup>39</sup> Двоюродные брат и сестра М.Дмитриева — *Валентин* и *Елизавета*, дети Николая Ивановича Дмитриева. Впоследствии Валентин окончил Пажеский корпус, а Елизавета вышла замуж за Петра Сергеевича Пазухина, двоюродного племянника Н.М.Карамзина.

<sup>40</sup> Бекетов Афанасий Алексеевич — полковник, воевода в Симбирске в 1729-1731, был женат на шведке, умершей в 1771. У них были три сына: Никита (см. ниже), Николай (поручик, казанский прокурор в 1771), Петр (1732-1796; подполковник в 1775) и дочь Екатерина (1737-1812), бабушка М.Дмитриева. «Ее хотели взять ко двору: она была еще очень молода, лет шестнадцати, и красавица! — Отцу этого очень не хотелось: он боялся придворных нравов. Вскоре присватался к ней мой дед: ей было уже 17 лет, а ему 18. Отец и рад был этому случаю отдать дочь за хорошего человека и богатого дворянина хорошей фамилии, чтобы только отклонить ее принятие ко двору» (Дмитриев М. Мелочи из запаса моей памяти. Указ. изд. С.9). Таким образом, свадьба состоялась в 1754. Ошибочная дата (1764; ср. даты рождения сыновей — 1759 и 1760) указана в поколенной росписи рода Бекетовых (см.: Сборник исторических и статистических материалов о Симбирской губернии. Симбирск, 1868. Вклейка между с.176-177).

<sup>41</sup> *Бекетов Никита Афанасьевич* (1772-1794) — выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, автор стихов и песен, участник войны с Пруссией, в 1763-1773 — астраханский губернатор (основал г.Сарепту, место знакомства родителей М.Дмитриева), с 1780 сенатор.



<sup>42</sup> *Сумароков Александр Петрович (1717-1777)* запечатлел Н.А.Бекетова в образе Нарцисса в одноименной комедии. Ниже М.Дмитриев пишет, что Сумароков «нередко обедал у молодых супругов, бабушка знала лучшие места из трагедий Сумарокова и восхищалась его песнями» (Л.62). Это подтверждается и свидетельством И.И.Дмитриева во «Взгляде на мою жизнь» (С.17).

<sup>43</sup> *Орловы: Григорий Григорьевич (1734-1783)* и *Алексей Григорьевич (1737-1808)* — участники дворцового переворота, государственные деятели в царствование Екатерины II.

<sup>44</sup> *Сушков Василий Михайлович (1747-1819)* — симбирский губернатор в начале 1770-х и в 1803, муж писательницы М.В.Сушковой, отец соученика М.Дмитриева по благородному пансиону, литератора Н.В.Сушкова.

<sup>45</sup> А.В.Суворов привез плененного Пугачева в Симбирск в октябре 1774. К этому времени семейство Дмитриевых уже вернулось в Симбирск.

<sup>46</sup> Т.е. Никиты Афанасьевича *Бекетова*.

<sup>47</sup> Здесь: в значении «служитель у вельмож, в венгерской одежде» (В.И.Даль).

<sup>48</sup> С 1797 И.И.Дмитриев занимал пост обер-прокурора Сената и в это же время был «озабочен /.../ бедностью /.../ принужден закладывать вещи», «занимая по 5 и 10 руб. на содержание людей и лошадей» (Письмо П.П.Бекетову от 25 октября 1798. Цит. по: Дмитриев И.И. Сочинения. М., 1986. С.377). Сенатором И.И.Дмитриев был назначен в 1806.

<sup>49</sup> Н.А.Бекетов не был женат, но имел двух дочерей, одна из которых, Елизавета Никитична, была замужем за Всеволодом Андреевичем *Всеволожским* (1769-1836), действительным камергером, отцом Александра и Николая Всеволожских, петербургских приятелей А.С.Пушкина.

<sup>50</sup> Способ вязания крючком.

<sup>51</sup> Плотная хлопчатобумажная ткань в полосу.

<sup>52</sup> Желтая краска.

<sup>53</sup> *Бестужев Василий Борисович* — в 1768 зачислен в Семеновский полк, где и служил с 1778 по 1785 (от сержанта до полковника), губернский предводитель симбирского дворянства в 1796-1798, статский советник в 1805.

<sup>54</sup> Дичь, варенная в масле.

<sup>55</sup> Род желе.

<sup>56</sup> Дерево *Квассия (лат.)* — горькое дерево, употребляемое в медицине.

<sup>57</sup> Легкое, слабое пиво.

<sup>58</sup> *А.М.Карамзин* и *М.М.Философова (?-1821)* — сводные брат и сестра Н.М.Карамзина, дети его отца Михаила Егоровича Карамзина и его ма-

чехи — родной сестры И.Г.Дмитриева — Авдотьи Гавриловны. Муж Марфы Михайловны — Никита Никитич Философов — предводитель дворянства г.Карсуни в 1808-1811 и в 1815-1816 и Аладырского уезда в 1813-1814, капитан. Его сын — Николай Никитич — учился впоследствии в Артиллерийском училище. Сын А.М.Карамзина Борис воспитывался в московском благородном пансионе. Вот что пишет ниже М.Дмитриев о А.М.Карамзине: «... приехал к нам однажды в это время [1812 г. — Т.Н.] Александр Михайлович Карамзин, родной брат историографа и племянник моего деда. Ему обрадовались, как и всегда были рады. Но он, только что вошел в гостиную, упал в ноги к моему деду и заревел; а мужчина он был рослый, толстый и здоровый. Все перепугались, думая, не умерла ли его жена или не случилось ли другого какого несчастья. Оказалось, что его берут в ополчение, и он приехал просить дядю своего избавить его от службы. Дедушка сказал ему с пренебрежением: "Как тебе не стыдно, братец, этак реветь и отказываться, когда настала такая нужда в дворянской службе!" Однако поехал в Симбирск, просил об нем губернатора; ему дали поручение покупать в Оренбурге лошадей для ополчения. Это было его дело, и он успокоился» (Л.56-56об).

<sup>59</sup> Дмитриев *Николай Иванович* — третий сын И.Г.Дмитриева, умерший в молодости.

<sup>60</sup> Дмитриев *Сергей Иванович* (?-1829), служивший, как и старшие братья, в Семеновском полку (1798-1799), но «пожертвовавший сыновней любви всеми выгодами честолюбия и независимости» (Дмитриев И.И. Сочинения. Указ. изд. С.356), был предводителем сызранского дворянства в 1809-1811 и 1816-1820 и заседателем гражданской палаты Симбирска в 1813-1815.

<sup>61</sup> Ниже М.Дмитриев писал: «У меня был еще дядя Федор Иванович. Он служил сначала тоже в гвардии; потом перешел в какой-то армейский полк, стоявший в Москве. Он был человек довольно умный и чрезвычайно добродушный, но слабый характером, тем, что с кем ему ни случилось жить и сблизиться, у того перенимал он и нравы и образ жизни. Стоя с полком в Лафертовских казармах, он сблизился с дочерью унтер-офицера Агафьей Николаевной Доброхотовой; слабость характера и совесть заставили его на ней жениться; свадьба состоялась без ведома родителей, тайно от брата Ивана Ивановича, жившего тогда в Москве, и от других родных. Это совершенно его от них отдалило, а отец, узнавший об этом, не хотел об нем и слышать. Он попал в другой круг низшего разряда, купил как-то в Лафертово домик, и не знаю, чем жил, но знаю, что в бедности. Когда Иван Иванович сделался министром юстиции, он определил его членом военной конторы, а потом перевел его за обер-прокурорский стол, чтобы в этих двух местах он, по крайней мере, получал жалование, небольшое, но для него было оно значительным пособием. Бабушка и тетки, по мягкости сердца, продолжали любить его /.../ писали письма, тайно от дедушки /.../. О дяде осведомлялся у нас один добродушный Платон Петрович [Бекетов — Т.Н.]. При вступлении неприятеля в Москву, он, по недостатку денег и по тогдашней не-

возможности достать в Москве лошадей, принужден был остаться в Москве и попался к неприятелям. Они ограбили у него все, но вслед за первыми нагрянули еще поляки, самые злейшие из тогдашних грабителей, и начали требовать у него денег, которых не было. На отказ Федора Ивановича, один из них выстрелил в него из ружья: в самый пах. Он умер, а жена и дети пошли скитаться» (Л.59-59об.). Федор Иванович служил в Семеновском полку с 1797 по 1802, когда был переведен в Московский гарнизонный полк.

<sup>62</sup> Дмитриева *Наталья Ивановна* (1780-1866). В одном из ее писем пересказывается следующая шутка Ивана Гавриловича: «Отец мой всегда смеялся, говоря своему племяннику (Карамзину): братья твои родились в Оренбургской губернии, кругом башкир, и никоторый не похож на башкира, а особенно Николай (у которого была белизна необыкновенная), а ты родился около Симбирска и черен, как азиатец» (Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. СПб., 1866. С.452).

<sup>63</sup> «Человеческая галерея» (*франц.*).

<sup>64</sup> М.Дмитриев был судьей Московского надворного суда первого департамента (с 1826), советником Московской палаты уголовного суда (с 1828) и обер-прокурором 2 отделения 6 департамента Сената (с 1833).

<sup>65</sup> *Коцебу* Август Фридрих Фердинанд (1761-1819) — немецкий драматург, автор сентиментальных мелодрам.

<sup>66</sup> *Жанлис* Стефани Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746-1830) — французская писательница, автор сентиментальных романов из светской жизни. *Радклиф* Анна (1764-1823) — английская писательница, прославившаяся своими готическими романами.

<sup>67</sup> Быкова *Наталья* Михайловна (1802-1822) — первая жена М.Дмитриева.

<sup>68</sup> Быков *Михаил Егорович* служил губернским прокурором Симбирска в 1811-1820.

<sup>69</sup> Ср. сходное впечатление И.И.Дмитриева от занятий с отцом: «Такой ход учения наводил на меня грусть и отвращение» (Дмитриев И.И. Сочинения. Указ. изд. С.271).

<sup>70</sup> В 1773.

<sup>71</sup> *Бекетова Ирина Ивановна* (урожд. Мясникова; 1741-1823) — вторая жена родного брата бабушки М.Дмитриева Петра Афанасьевича Бекетова. Ее дом значился под №470 в 5 квартале на Пречистенской улице.

<sup>72</sup> *Голицын Сергей Михайлович* (1774-1859) — попечитель Московского учебного округа. Его дом значился под №464 в 5 квартале на Пречистенской улице.

<sup>73</sup> *Бекетов Платон Петрович* (1761-1859) — известный книгоиздатель и типограф, председатель Общества истории и древностей российских (1811-1823). (См. о нем: Симони П.К. П.П.Бекетов // Старые годы. 1908. №2-4; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей

и ученых. СПб., 1891. Т.2. С.374-377; Словарь русских писателей XVIII века. Вып.1. Л., 1988. С.76-77).

<sup>74</sup> Мягкая мебель, обтянутая штофом — одноцветной шелковой тканью с рисунком.

<sup>75</sup> *Бекетов Петр Афанасьевич* (1734-1796) — полковник.

<sup>76</sup> *Бекетов Иван Петрович* (1766-1835) — капитан гвардии (1790), позже полковник в отставке, действительный статский советник. Известен как нумизмат, собиратель редкостей. Прожил холостяком и умер бездетным; его имение оценивалось в 7 млн. рублей. *Бекетов Петр Петрович* (1775-1849) — камергер.

<sup>77</sup> Дом помещался в приходе Ильи Пророка на Тверской улице, 2 квартал, №106 (в 1793), №109 (в 1818). Не сохранился.

<sup>78</sup> *Фрез* или *Фрезе* — модный московский врач, без которого «ни один достаточный москвич ни выздороветь, ни умереть не смеет» (*Жихарев С.П. Записки современника. Т.1. М.; Л., 1934. С.332-333*).

<sup>79</sup> Дмитриев неточен. Знаменитые купцы-богачи (владельцы 8 металлургических заводов в Оренбургской губернии) *Иван Борисович* (?-1773) и *Яков Борисович* (?-1783) *Твердышеевы* умерли, не оставив наследников. Их компаньоном был муж их сестры *Иван Семенович Мясников*, дочери которого *Ирина*, *Екатерина*, *Аграфена* и *Дарья* унаследовали это огромное состояние.

<sup>80</sup> *Козицкая* (урожд. *Мясникова*) *Екатерина Ивановна* (1746-1833) «преумнейшая женщина» (*Вигель Ф.Ф. Записки. Т.2.М., 1928. С.51*).

<sup>81</sup> *М. Дмитриев* ошибается в отчестве: *Григорий Васильевич Козицкий* (1725?-1775), статс-секретарь *Екатерины II*, литератор, редактор сатирического журнала «*Всякая всячина*», главным автором которого была сама *Екатерина II*.

<sup>82</sup> *Белосельская-Белозерская* (урожд. *Козицкая*) *Анна Григорьевна* (1773-1846).

<sup>83</sup> *Белосельский-Белозерский Александр Михайлович* (1752-1809) — дипломат, литератор, член Российской академии, почетный член Академии наук и Академии художеств.

<sup>84</sup> *Лаваль Александра Григорьевна* (урожд. *Козицкая*; 1772-1850). *Лаваль Иван Степанович* (1761-1846) — управляющий 3-й экспедицией Коллегии иностранных дел, член Главного правления училищ, камергер, тайный советник. Петербургские знакомые *А.С.Пушкина*, родители жены декабриста *Е.И.Трубецкой*.

<sup>85</sup> *Архаров Иван Петрович* (1747-1815) — генерал, при *Павле I* московский военный губернатор, командир московского гарнизона, солдаты которого исполняли полицейские обязанности (так называемые *архаровцы*).

<sup>86</sup> В 1814 после падения *Наполеона* французский престол занял *Людовик XVIII*.

<sup>87</sup> Во время пребывания Людовика XVIII в Митаве Лаваль ссудил его деньгами и был пожалован в графы.

<sup>88</sup> Дмитриев ошибается: третью сестру звали не Степанидой, а Аграфеной, муж ее А.Ф.Дурасов был бригадиром.

<sup>89</sup> Дурасов Николай Алексеевич (1760-1818) — известный хлебосол, помещик, «человек добрый, недалкий, необразованный и в то же время самый тщеславный» (Аксаков С.Т. Собр. соч. М., 1986. Т.1. С.455), учился вместе с И.И.Дмитриевым в Симбирске, затем жил в Москве и селе Никольском, впоследствии принадлежавшем В.А.Соллогубу. Та часть воспоминаний Степана Петровича Жихарева (1788-1860) «Записки современника», которую имеет в виду М.Дмитриев, была впервые напечатана в «Москвитянине» под названием «Дневник студента» (1853. №3. С.55-58). Ознакомившись с ней, М.Дмитриев писал М.П.Погодину: «Меня восхитили "Записки студента". Я не мог оторваться от чтения. Хотя я начал знать Москву годами четыремя позже этого времени [т.е. с 1805. — Т.Н.], но вообразите, что я за этим чтением пережил вновь все прежнее, потому что большую часть людей знал и многих видел тут как в зеркале. Я подписал имена, отчества и фамилии тех, которые означены только заглавными литерами; и наконец расхохотался, узнавши Николая Алексеевича Дурасова, с его хвастовством, с его подлинными словами, ДРЯНЬ-С, которые я тысячу раз слышал... /.../ Дурасов — родной дядя графини Закревской, Аграфены Федоровны. Племянница расхохочется, если прочтает о дядюшке». (Цит. по: Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П.Погодина. СПб., 1898. Т.12. С.265).

<sup>90</sup> Один из них — Алексей Степанович Мельгунов (?-1871) — статский советник, женатый на княжне А.А.Урусовой, московский знакомый А.С.Пушкина.

<sup>91</sup> Дурасова Аграфена Алексеевна (?-1835), ее муж — Михаил Зиновьевич Дурасов (1772-1828) — генерал-лейтенант.

<sup>92</sup> Правильно: Агриппина Михайловна Дурасова (?-1877).

<sup>93</sup> Писарев Александр Александрович (1780-1848) — литератор, попечитель Московского учебного округа в 1825-1830.

<sup>94</sup> Толстой Федор Андреевич (1758-1849) — сенатор, тайный советник, см. составленное К.Калайдовичем и П.Строевым «Обстоятельное описание славяно-русских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке тайного советника... графа Федора Андреевича Толстого» (М., 1825). Жена его, С.А.Толстая, умерла в 1821.

<sup>95</sup> Известная красавица Аграфена Федоровна Закревская (1799-1879) — предмет увлечений Е.А.Баратынского, П.А.Вяземского, А.С.Пушкина, в 1818 вышла замуж за Арсения Андреевича Закревского (1786-1865), участника Отечественной войны, генерал-лейтенанта, московского военного генерал-губернатора, министра внутренних дел (1828-1831).

<sup>96</sup> Пашков Александр Ильич — с 1802 владелец знаменитого Пашкова дома; его сыновья: знакомые А.С.Пушкина Василий Александрович

вич *Пашков* (1764-1834) — обер-гофмаршал, обер-егермейстер, член Государственного Совета и Иван Александрович *Пашков* (1758-1828) — подполковник, дедушка поэтессы Е.П.Ростопчиной.

<sup>97</sup> Сын Г.В.Козицкого.

<sup>98</sup> В России в XIX в. фарисеями именовали бродячих букинистов-мешочников.

<sup>99</sup> Нюрнбергский книгопродавец *Пальм* был расстрелян по приказу Наполеона за то, что отказался назвать автора брошюры, направленной против оккупантов-французов.

<sup>100</sup> Платок из льняной или шелковой ткани с изображением положения Иисуса Христа во гроб.

<sup>101</sup> Оба Бекетовых служили в Семеновском полку: Иван Петрович с 1786 по 1797, Платон Петрович с 1776 по 1788.

<sup>102</sup> П.П.Бекетов учился с И.И.Дмитриевым в казанских и симбирских пансионах. В 1774-1776 он был в московском пансионе И.М.Шадена (Н.М.Карамзин учился там же в 1775-1781). Бекетов был старше Карамзина не на четыре, а на пять лет (они родились соответственно в 1761 и 1766), но М.Дмитриев считал годом рождения Карамзина 1765 (см., напр.: Дмитриев М. Московские элегии. М., 1985. С.184).

<sup>103</sup> *Воейков* Александр Федорович (1778 или 1779-1839) — поэт, журналист. Первые издания типографии Воейкова (чаще означаемой как «Типография Воейкова и компании») появляются в 1811.

<sup>104</sup> Ср. описание подобного птичника (у Пашкова дома): «По саду расхаживали разные птицы: павлины, фазаны; было несколько пребольших сетчатых птичников из золоченой проволоки» (Рассказы бабушки. Указ. изд. С.155).

<sup>105</sup> Кутузова Елизавета Михайловна (1783-1839), дочь М.И.*Кутузова*, была замужем дважды: за Ф.И.Тизенгаузеном, погибшим под Аустерлицем в 1805, и (с 1811) за генерал-майором Николаем Федоровичем Хитрово (1771-1819); хозяйка известного салона и приятельница Пушкина.

<sup>106</sup> Камергер, действительный статский советник — чины 4 класса табели о рангах.

<sup>107</sup> Ср. следующее свидетельство о Петре Петровиче Бекетове: «Из имения своего 6000 душ крестьян отпустил он в свободные хлебопашцы и около 6000 душ определил тоже в вольные, с тем, чтобы они небольшую сумму платили на богоугодные заведения. К сему последнему именно определил попечителями детей двоюродного брата своего Аполлона Николаевича Бекетова; такое распределение имения встревожило его знатных родных, они хотели учредить над ним фамильную опеку, но Петр Петрович Бекетов в 1823 году написал государю письмо, с изъяснением, между прочим, что отпуск крестьян на волю есть молитва его к Богу за род Бекетовых, и поручил оное представить и дать подробные объясне-

ния Сергею Николаевичу Глинке. Государь император спросил Глинку: сам ли Бекетов писал представленное письмо. Г[осподин] Глинка подтвердил и услышал резолюцию: "Я тебе верю, успокой Бекетова, что над ним никогда опеки не будет". Бывший при том Александр Николаевич Голицын сильно защищал гонимого, коротко знакомого ему приятеля Бекетова, и он мирно умер около 1848 года холостым, оставив после себя значительное богатство и дома на Мясницкой и Тверской» (Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии. Симбирск, 1868. С.190).

<sup>108</sup> Описка Дмитриева. Правильно: Катерина Петровна.

<sup>109</sup> *Кушников* Сергей Сергеевич (1765-1839) — адъютант главнокомандующего Москвы А.А.Прозоровского (1792), затем адъютант Суворова, участник Отечественной войны, член Государственного Совета. В пятой главе М.Дмитриев рассказывает о нем подробнее: «В это время [после пожара Москвы в 1812. — *Т.Н.*] в доме своей тещи Бекетовой, в бельэтаже, жил сенатор Сергей Сергеевич Кушников, с женою своею и зятем, потому что их дом на Никитской сгорел. Он был красавец собою, ума основательного, человек просвещенный и добрый; он общался со мною, как следует достойному родственнику, и оказывал мне и тогда и после всевозможное внимание. Он был по матери родной племянник Карамзину, хотя был и одних лет с ним, а мне, по жене своей, был двоюродный дядя. Он воспитывался в Пажеском корпусе, при Ангальте, говорил прекрасно по-французски, как и все тогдашние кадеты, знал языки: немецкий и итальянский; был любимым адъютантом Суворова, участвовал в Итальянской кампании и имел много иностранных крестов, которые до войны 12-го года были большою редкостью. Он сам любил Суворова, вспоминал о нем всегда с чувством и рассказывал об нем много анекдотов, неизвестных. Я любил слушать его рассказы, но помню теперь не много. Вот один из них. Суворов, во время итальянской войны, был однажды болен и лежал на своей походной постели. Рано по утру призывает он Кушникова, велит ему сесть к столу и писать под его диктант. Это бывало нередко и прежде, и Кушников ничего не ожидал до себя относящегося. Суворов начал диктовать письмо к королю Сардинскому: вдруг видит адъютант, что это письмо об нем и что Суворов выпрашивает ему орден. Он встал, благодарил и сказал, что у него и без того наград много, и проч. Суворов отвечал: "Это не твое дело! Пиши!" Письмо было послано, орден получен, а Кушников все еще не знал, за что. Однажды Суворов сам объяснил ему это. "Ты помнишь, — сказал он ему, — что я позвал тебя писать письмо, только что я проснулся. Я видел во сне, что я во дворце, где множество людей, и все меня теснят и толкают и не дают мне дороги. Один ты пошел впереди, всех расталкивая и расчищая мне путь. Проснувшись, я подумал: в самом деле, Кушников человек добрый, и если бы мне при дворе пришло худо, он один не оставил бы меня. Вот за это я тебе и выпросил орден".

Кушников был послан Суворовым к императору Павлу с известием о взятии какой-то крепости. — Павел был в восхищении. — "А Нови?" — спросил он. — "Я думаю, — отвечал Кушников, — что теперь сдалась

и Нови<sup>4</sup>. Действительно, к вечеру приехал и другой курьер с известием о сдаче Нови. — Павел обнимал Кушникова и всякий день принимал его к обеду и к ужину. — После, когда рассердился на Суворова, он велел всех Кушниковых выслать из Петербурга; и все Кушниковы, какие только нашлись, были высланы» (Л.77-78).

<sup>110</sup> *Балашев* Александр Дмитриевич (1770-1837) — генерал-адъютант, член Государственного Совета, министр полиции в 1810-1819. В пятой главе М.Дмитриев так характеризует его: «Он был мал ростом, коренаст, с брюшком и выдававшейся вперед грудью, как все военные, небольшого роста. Он был чрезвычайно умен; он умел говорить интересно даже и о погоде, потому что у него не было слова без маски. Говорил он громко и красноречиво; после Карамзина я не находил человека красноречивее Балашева. Он, с поручениями государя, изъездил всю Европу, был при всех дворах, всеми королями был принимаем, как любимец русского императора, получал от них и ленты, и золотые табакерки. И все эти подарки сгорели в его петербургском доме. Он умел рассказывать не только умно и живописно, но иногда и с примесью легкой насмешки /.../ Все полагали тогда Балашева первым любимцем Александра. Но после я узнал из рассказов графа Григория Владимировича Орлова, который в Париже был тоже при государе, что фавор Балашева и тогда уже колебался и что все эти поручения к королям доказывали, что государь искал случая отдалить Балашева» (Л.78-78об.).

<sup>111</sup> *Синявская* Мария Степановна, в замужестве Сахарова (1762-1829) — талантливая актриса русской драматической труппы в Петербурге, «первая женщина, которая у нас в России согласилась выступить на сцену» (Вигель Ф.Ф. Записки. Т.1. М., 1928. С.115).

<sup>112</sup> *Хвостов* Дмитрий Иванович (1757-1835) — поэт, переводчик, впоследствии член Государственного Совета, сенатор. Упоминаемый факт имел место до женитьбы Хвостова в 1789.

<sup>113</sup> В поколенной росписи рода Бекетовых *Павел Афанасьевич Бекетов* не значится. По-видимому, имеется в виду двоюродный дядя Платона Петровича — Павел Яковлевич Бекетов (1745-1811), титулярный советник, владелец имений в Арзамасском уезде.

<sup>114</sup> Т.е. до 1796 года. Ср. воспоминания И.И.Дмитриева: «Семьсот девяносто четвертый год был для меня лучшим питическим годом. Я провел его посреди моего семейства в приволжском городке Сызране /.../ Для меня достаточно было одной моей семьи и двоюродного моего брата Платона Петровича Бекетова...» (Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. Указ. изд. С.70).

<sup>115</sup> Бекетовой принадлежал бывший дом графа И.Л.Воронцова, построенный в 1778 архитектором М.Ф.Казаковым. Он сохранился до наших дней, но в сильно измененном виде (сейчас там Московский архитектурный институт). В 1808 часть дома Бекетовой, выходящая на Рождественку, была приобретена в казну для Медико-хирургической академии. Описанный Дмитриевым сад был «регулярный», разбитый



по примеру версальских садов, с прудами и беседками и привольно текшей в естественных берегах рекой Неглинной» (Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958. С.248).

<sup>116</sup> И.И.Дмитриев, живший до этого времени в Москве, в 1810 был назначен министром юстиции и переехал в Петербург. В 1814, после отставки, он вернулся в Москву.

<sup>117</sup> *Голенищев-Кутузов Павел Иванович* (1767-1829) — поэт, переводчик, куратор (в 1793-1803) и попечитель (1810-1817) Московского университета. В типографии П.П.Бекетова печатались его переводы: «Стихотворения Сафы» (1805), «Творения Гесиода» (1807) и другие издания. С.П.Жихарев писал, что И.И.Дмитриев «жалеет, что пособия Платона Петровича падают большею частию на бездарных писателей, довольно назойливых. Дождит на злые и благие!» (Жихарев С.П. Записки современника. Т.1. М.; Л., 1934. С.44).

<sup>118</sup> *Журнал «Друг просвещения»* (1804-1806) печатался в типографии П.П.Бекетова только в 1804. Кроме Голенищева-Кутузова, Хвостова и Григория Сергеевича Салтыкова (1777-1814), в нем сотрудничали В.Л.Пушкин, Н.П.Николев, К.А.Долгоруков, С.Н.Глинка, А.С.Шишков, Г.Р.Державин и др. См. также: Вацура В.Э. И.И.Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // XVIII век. Сб.16. Л. 1989. С.139-179.

<sup>119</sup> *Евгений* (Евфимий Алексеевич Болховитинов, 1767-1837) — митрополит Киевский и Галицкий, библиограф, историк, переводчик. Здесь речь идет о его труде «Новый опыт исторического словаря о российских писателях», печатавшемся в «Друге просвещения» в 1805-1806.

<sup>120</sup> В стихотворениях Хвостова, напечатанных в «Друге просвещения», таких слов нет. Возможно, имеется в виду «Письмо к приятелю».

<sup>121</sup> *Глинка Авдотья Павловна* (1795-1863) — писательница, супруга декабриста Ф.Н.Глинки.

<sup>122</sup> *Прокопович-Антонский Антон Антонович* (1760-1848) — профессор, ректор Московского университета, директор Московского университетского благородного пансиона.

<sup>123</sup> В «Подробном начертании учения в Университетском благородном пансионе на 1810 год» сообщается, что «Михайло Ханенко и Матвей Гаврилов, кандидаты, изъяснят учащимся у них российскую этимологию и правописание, по изданным для пансиона правилам грамматики; разбирая небольшие, приличные детским летам пьесы, постараются приучить их к правописанию» (Цит. по: Сушков Н.В. Московский университетский благородный пансион. М., 1858. С.6). Негативное отношение М.Дмитриева к Ханенко объясняется, по-видимому, тем, что как-то в пансионе Ханенко публично раскритиковал стихи юного Дмитриева и даже усомнился в его авторстве. Такого Дмитриев не забывал.

<sup>124</sup> «Все отделения и горницы были вверены комнатным надзирателям. Обязанности их: быть неотлучно при детях в свободное время от

учения и в часы приуготовления и повторения уроков (репетиции), следить за их занятиями, играми, поступками и обращением между собою, наблюдать за чистотою, умеренною теплотою и освежением покоев воздухом, за своевременной явкой детей в классы и в столовую к обеду, к ужину и т.д., за здоровьем их и опрятностью в одежде» (Сушков Н.В. Указ. соч. С.39).

<sup>125</sup> *И.Ф.Гудим-Левкович* позже служил секретарем гражданского губернатора Симбирска (1816-1818); стряпчим (1818-1820) и советником (1821-1822) Симбирской уголовной палаты. Один год (1830) он был председателем Симбирской гражданской палаты.

<sup>126</sup> См.: Краткая российская грамматика: В пользу юношества в Благородном пансионе при Имп. Московском университете. М., 1793; Ломон Ф.Ш. Начальные основания французской грамматики. М., 1808; Гейм И.А. Немецкая грамматика для классов гимназии и вольного Благородного Пансиона при Московском университете. М., 1802; Тростин Д.П. Новая латинская азбука, или легчайший метод читать по латине и в то же самое время учиться началам латинского языка, местами из латинских писателей, для упражнения детей в чтении избранными, кратким изъяснением частей слова, некоторыми грамматическими нужными правилами, таблицами склонений и спряжений, и наконец словарем, для употребления в низших классах снабженный. Изд.3. М., 1804; Богданов П.П. Краткая логика для юношества, обучающегося в Московском пансионе. М., 1806; Мерзляков А.Ф. Краткая риторика, или правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических: В пользу благородных воспитанников Университетского пансиона. М., 1809 (переработка учебных книг И.-И.Эшенбурга); Шрекк И.М. Всеобщая история. Изд.2. М., 1805; Всеобщее землеописание, изданное от Главного управления училищ для употребления в гимназиях Российской империи. СПб., 1806; Начертание знатнейших народов света по их происхождению, распространению и языкам / Пер. с нем. [Н.Е.Черепанова] М., 1798; Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология. Изд.2. М., 1810.

<sup>127</sup> Тека (*греч.*) — здесь в значении «портфель».

<sup>128</sup> Детский театр, или собрание пьес, представленных воспитанниками в Университетском благородном пансионе. Ч.1-2. М., 1802 (книга была издана Н.Н.Сандуновым).

<sup>129</sup> См.: В удовольствие и пользу: Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. Ч.1-2. М., 1810-1811. «Первая [часть. — Т.Н.] была издана до меня, а во второй напечатан мой перевод жизни Младшего Плиния» (Дмитриев М. Главы... Л.43об.).

<sup>130</sup> Ср.: «Годовая плата за пансионера в начале составляла 150 руб. асс. В 1811 г., после 32 лет, она удвоилась. По изгнании Наполеона из Москвы, увеличиваясь постепенно, в 1824 г. дошла до 650 /.../ всю единственную прибыль составляли ложки, на которые выменивались серебряные, с позолотой внутри, стаканы. В этих-то ложках и стаканах и заключалось все богатство пансиона». (Сушков Н.В. Указ. соч. С.37).

# ПИСЬМА Ф.В.БУЛГАРИНА К Р.М.ЗОТОВУ

Публикация А.И.Рейтблата

Биография и журналистская деятельность Ф.В.Булгарина, как, впрочем, и других журналистов-профессионалов 1830-1840-х гг. (Н.И.Греч, Н.В.Кукольник, В.С.Межевич, Ф.А.Кони, Н.А.Полевой), изучены весьма слабо. А ведь именно он и упомянутые его коллеги «делали литературу» (наряду, впрочем, с О.И.Сенковским, А.А.Краевским, В.Г.Белинским), задавая рамки и ориентиры литературного процесса, формируя иерархию литературных авторитетов, обеспечивая, наконец, «духовной пищей» десятки тысяч русских читателей.

Между тем в архивах отложились ценнейшие материалы по данной теме, и хотя архив самого Булгарина, по-видимому, безвозвратно утрачен, но сохранились многочисленные его письма самым разным адресатам (литераторы, цензоры, III Отделение, правительственные чиновники, купцы, читатели и т.д.), в том числе и по журнально-газетным делам. Опубликовано пока меньше половины<sup>1</sup>.

Поскольку архив «Северной пчелы» (далее в тексте и комментариях СП) не сохранился, особый интерес приобретает переписка Булгарина с сотрудниками редакции и авторами, позволяющая воссоздать его взаимоотношения с различными правительственными инстанциями, литераторами, читателями, а также внутривредакционную «кухню». Богатая информация такого рода содержится в письмах Булгарина своему соредак-

---

<sup>1</sup> Большинство публикаций учтено в: История русской литературы XIX века: Библиографический указатель. М.; Л., 1962. С.178-189. Из пропущенных укажем следующие: А.В.Воейковой (Русский библиофил. 1915. №3. С.8), Варшавскому обществу любителей наук (Kraushar A. Towarzystwo Warszawskie przyjaciel nauk. 1800-1832. Kraków; Warszawa, 1905. Т.8. S.232), А.С.Грибоедову (Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Т.1. СПб., 1889. С.217; Русский вестник. 1894. №3. С.199-201), М.А.Дондукову-Корсакову (Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Т.1. Ч.2. М., 1913. С.421), М.Конарскому (Pamiętnik Towarzystwa literackiego im. A.Mickiewicza. R.2. Lwow, 1888. S.242-243), Немцевичу (Kraushar A. Op. cit. Т.7. S.464); А.Я.Стороженко (Стороженки: Семейный архив. Т.3. Киев, 1907. С.16-57); неизвестному [Василию Васильевичу] (Киевская старина. 1893. №5. С.321-322). Позднее были опубликованы письма Е.А.Бестужевой (Звезда. 1975. №12. С.157-158); И.И.Глазунову (Российский архив. М., 1991. Вып.1. С.42-43) и П.А.Муханову (Русская литература. 1971. №2. С.114-116). Список писем и записок Булгарина в III Отделение приведен нами в: Новое литературное обозрение. 1993. №2. С.113; позднейшие наши публикации см.: Русская литература. 1993. №3. С.82-99; Тыняновский сборник: Пятое тыняновские чтения. Рига; М., 1994. С.250-274; Новое литературное обозрение. 1994. №6. С.88-92.

тору Н.И.Гречу<sup>2</sup>, многолетнему секретарю редакции П.С.Усову<sup>3</sup>, библиотекарю И.П.Быстрову<sup>4</sup> и др.

Эпистолярные и мемуарные свидетельства демонстрируют, что Булгарин и Греч внесли большой вклад в профессионализацию газетного труда и его дифференциацию (фельетонист, театральные рецензент, обзоратель книг, переводчик, секретарь редакции и т.д.). В 1840 В.А.Соловьев информировал Е.Ф.Корша: «На Булгарине лежит редакция "Северной пчелы": Греч по-прежнему заправляет только так называемой политикой [т.е. переводами зарубежных политических новостей. — А.Р.]; все же прочее делается Булгариным, для чего он и имеет под своим начальством человек двух молодых людей, описывающих по его поручению бенефисные спектакли, трактиры и лавочки...»<sup>5</sup> Среди многолетних активных сотрудников СП можно назвать О.М.Сомова (1825-1829), В.П.Бурнашева (1831-1835), В.М.Строева (1834-1839), А.Н.Греча (конец 1830-х — 1849), В.С.Межевича (1840-1842), Ф.А.Кони (1836-1839), Я.Н.Турунова (1831-1850-е) и др.

Принадлежал к их числу и многолетний театральный рецензент и переводчик газеты Рафаил Михайлович Зотов (1796-1871), большой комплекс писем Булгарина к которому публикуется ниже<sup>6</sup>. С 1812 он служил в Дирекции императорских театров (вначале начальником репертуара немецкой труппы, с 1820 — русской), но в 1836, после острого конфликта с директором театров Гелеоновым, вызвал его на дуэль и был уволен по распоряжению царя, с указанием не брать его никуда на службу. Снисходя к его униженным просьбам, III Отделение в течение 15 лет пыталось устроить его в какое-нибудь ведомство, но успеха эти попытки не имели. В поисках заработка Зотов обратился к литературе. В прошении в III Отделение (1838) он писал: «Я занимаюсь литературою, — и в ней теперь мое единственное пропитание. Тружусь день и ночь, чтоб прокормить многочисленное свое семейство /.../ с непреодолимою тоскою чувствую всю тягость, всю ничтожность моей теперешней профессии. Я — русский дворянин, — и первую, единственную целию жизни должна бы быть: служба Царю и Отечеству»<sup>7</sup>. Тем не менее его многочисленные исторические романы (Таинственный монах, или Некоторые черты из жизни Петра I. СПб., 1836; Шапка юродивого, или Трилистник. М., 1839, и др.) имели успех у массовой читательской аудитории.

<sup>2</sup> См.: Литературные портфели. М., 1923. С.51-53; Литературный вестник. 1901. №2. С.172-177; Русский архив. 1870. №10. С.1943-1944; Древняя и новая Россия. Т.1. 1876. С.98-99.

<sup>3</sup> См.: Усов П.С. Ф.В.Булгарин в последнее десятилетие его жизни // Исторический вестник. 1883. №8. С.284-331.

<sup>4</sup> См.: ОР РНБ. Ф.119. Оп.1. Ед.хр.4.

<sup>5</sup> Цит. по: В.Г.Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С.104.

<sup>6</sup> О Р.М.Зотове см.: Русские писатели: 1800-1917: Биографический словарь. Т.2. М., 1992. С.356-358. Небольшие фрагменты писем были опубликованы (Ливанова Т.Н., Протопопов В.В. Оперная критика в России. Т.1. Вып.1. М., 1966. С.267; Петров О. Русская балетная критика конца XVIII — первой половины XIX века, М., 1982. С.169-171) с большим числом неправильных прочтений.

<sup>7</sup> ГАРФ. Ф.109. 2 эксп. 1836. Ед.хр.431. Л.5.

В роли театрального рецензента он выступал с начала 1820-х — в журналах «Сын Отечества» и «Благонамеренный».

За свою жизнь Зотов написал и перевел более 100 пьес, большая часть которых шла на сцене. Он оставил «Театральные воспоминания» (СПб., 1859), являющиеся ценным источником по истории русского театра первой трети XIX в. Отстаивая в теории принципы классицизма, в своей драматургической практике он ориентировался на популярные зарубежные образцы «массового» романтизма (французская мелодрама, немецкая мещанская драма).

Эстетические взгляды Зотова были довольно архаичны (что и приводило его нередко к столкновениям с более современным Булгариным, как об этом свидетельствует публикуемая переписка). Он признавался: «Мы более придерживаемся системы классицизма, потому что он всегда имел целью поучения зрителей высокими примерами доблестей древних исторических лиц; он внушал в них чувство изящного, любовь к поэзии, привязанность к условленному порядку даже в театральных пьесах, а комедии классицизма высмеивали порок и предрассудок умно, тонко, забавно и с сохранением нравственной цели». Романтизм, по его мнению, утратил моральную цель театра, теперь «вместо приучения к порядку разреши идеи анархии и разврата»<sup>8</sup>.

В СП он печатался с 1842 преимущественно как оперный и балетный критик, демонстрируя doskonaльное знание предмета и хороший вкус, а эстетическая консервативность не мешала ему оценивать современные явления в этих медленно изменяющихся видах искусства. По крайней мере, историк балета отмечает, что «в балетных статьях он показал себя несомненным знатоком хореографического искусства»<sup>9</sup>.

Много писал Зотов о чрезвычайно популярной в Петербурге в середине 1840-х итальянской опере. Он сам отмечал, что «существование Итальянской оперы сделало в петербургском обществе какой-то переворот: все лучшее и образованнейшее общество почитает теперь какую-то необходимостью быть в Итальянском спектакле. Мнений, партий — множество; энтузиасты на каждом шагу; споры беспрестанные /.../»<sup>10</sup>.

Публикуемая переписка дает богатый материал для характеристики внутриредакционных отношений в СП (любопытна, сравнительно с нынешними временами, гораздо большая независимость сотрудников, допускающая полемику членов редакции на страницах газеты), вкусов Булгарина, его взаимоотношений с разного рода властями, цензурой и т.д.

<sup>8</sup> Зотов Р. Театральные воспоминания. СПб., 1859. С.24.

<sup>9</sup> Петров О. Указ. изд. С.172.

<sup>10</sup> Р.З. [Р.М.Зотов] Обзор С.-Петербургских театров за прошедший театральный год // СП. 1845. 9 марта. Об итальянской опере того времени см.: Иванов М.М. Первое десятилетие постоянного итальянского театра в Петербурге в XIX веке (1843-1853) // Ежегодник императорских театров. Сезон 1893-1894 гг. Приложения. Кн.2. СПб., 1895. С.55-95; Вольф А.И. Хроника петербургских театров. СПб., 1877. Ч.1.; Яхонтов А.Н. Петербургская итальянская опера в 1840-х годах // Русская старина. 1886. №12. С.735-748; Михайлов Н. Из прошлого итальянской оперы // Колосья. 1885. №3. С.301-310; Арнольд Ю.К. Воспоминания. М., 1893. Вып.3. С.73-77.

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Я с большим удовольствием прочел статью вашу о «Фаворитке»<sup>1</sup> — и хотя на счет *талантов* наших певцов имею совершенно противоположное мнение — т.е. почитаю их вовсе *бесталанными барачниками и коровицами* и не могу слышать, без ужаса, ни одной ноты на русской сцене — но Вас благодарю, что вы их похвалили, — ибо мне вовсе неохота ссориться за эту дрянь и сражаться, за Дульцинею, с ветряными мельницами! Но разбор, т.е. система разбора «Фаворитки» — точно такая, как быть должно — и *техника* вовсе не мешает, а напротив<sup>2</sup>. Но все это было постороннее — а вот в чем сейчас я должен Вас предупредить, чтобы Вы остереглись говорить об анахронизмах в декорациях и костюмах «Руслана и Людмилы»<sup>3</sup> — ибо они апробованы высоким лицом<sup>4</sup>, которое ими чрезвычайно довольно<sup>5</sup>. «Пчела» же некоторым образом — придворная газета. Ее читают и царь, и принцы, и принцессы! *Prenez garde à vous!*<sup>6</sup> Мы уже испытывали то, за неумение попасть в такт, чего и врагу не желаем. Ради бога — ни гу-гу о постановке пьесы — если не угодно хвалить — но нельзя же не похвалить великолепия. Предостерегаю Вас, почерпнув известие из верного источника. — Кроме того предостерегаю Вас еще и о том, чтоб быть осторожнее в изъявлении *гласного* мнения о пьесах. Слова Ваши теперь ловят на лету и переносят, а в дирекции боятся Вас как черта!

Преданный и верный

Ф.Булгарин

30 н[оября] 1842

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.21.

<sup>1</sup> Опера итальянского композитора Г.Доницетти, впервые исполненная в Петербурге (силами русской оперной труппы) 18 ноября 1842.

<sup>2</sup> В своем отзыве о спектакле (СП. 1842. 30 нояб.) Зотов дал подробный разбор всех его компонентов в такой последовательности: содержание оперы, костюмы, декорации, вокал, игра актеров, музыка, перевод либретто.

<sup>3</sup> Опера М.И.Глинки, премьера которой состоялась 27 ноября 1842.

<sup>4</sup> По-видимому, императором.

<sup>5</sup> Сам Булгарин в отлике на премьеру (Первые впечатления, произведенные оперою «Руслан и Людмила» // СП. 1842. 1 дек.) отрицательно отозвался об опере, но уже в самом начале рецензии отмечал, что «деко-

рации превосходные!» Зотов посвятил премьере обширную статью (СП. 1842. 8, 10 дек.), где довольно сдержанно оценил музыку Глинки, хотя и не отрицал, что в ряде отношений «опера его имеет высокие достоинства». Зато он тоже отметил, что «декорации прелестные, костюмы чудесные», и заключил, что «постановка "Руслана и Людмилы"» выше всего, что мы до сих пор видели в этом роде. Это такие роскошь и величание, которым бы позавидовали нам все столицы Европы». Но он все же не внял предупреждениям Булгарина и не удержался от того, чтобы не отметить «небольшой анахронизм» в изображении церкви. Обзор рецензий на первые спектакли «Руслана и Людмилы» см.: Ливанова Т.Н., Протопопов В.В. Оперная критика в России. М., 1966. Т.1. Вып.1. С.262-287 (в том числе о Булгарине на с.262-268, о Зотове на с.272-273).

<sup>6</sup> Берегитесь (*франц.*).

## 2

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Ратьков<sup>1</sup> и Песоцкий<sup>2</sup> отговариваются праздниками — и невозможностью делать дела. Но я вырву у них из горла! Потерпите! —

Но вот теперь надобно потолковать о делах. Бурнашев<sup>3</sup> взялся доставлять оригинал *научного эконома*<sup>4</sup>, а потому на вашу часть достанется только приделывать маленькую медицину, т.е. переводить *страничку* из немецких книг, составлять *туалет* — из франц[узского] «Parfumeri mille secrets»<sup>5</sup>, *напитки* — если есть — и переводить *новости мелкие* что все никак не может составить даже печатного листа в месяц, а уж много лист, иногда с хвостиком. Бюджет «Эконома» *плох*, потому что Ширяев<sup>6</sup> обокрал его — и еще на будущий год останется «Эконому» уплачивать долг. — Песоцкий и Ольхин<sup>7</sup> составили в контракте бюджет, от которого я не могу отступить, и как отношения ваши к «Эконому» совершенно изменяются — то он и не может более уделить Вам, как 100 руб. ассигнац[иями] в месяц или 1200 в год. Теперь вам не нужно распорядиться, пока я здесь — а если угодно, то и корректуры я же буду делать — лист в неделю меня вовсе не затрудняет. Только во время болезни моей и отлучки в Дерпт он заступит мое место по механизму.

Итак вы с 1-го января получаете от Ивана Петровича Монтандра<sup>8</sup> за «Пчелу»:

	4000 руб. асс[игнациями]
от Ольхина за «Эконома»	1200 [руб. ассигнациями]
	<hr/>
	5200 руб. асс[игнациями]

Если угодно, прошу известить меня немедленно.

Мне чрезвычайно совестно беспокоить Вас — но я не могу избегнуть этого. Нам надобно непременно составить общий совет (т.е. вы, я и А.Н.Греч<sup>9</sup>) и переговорить насчет составления *Смеси*. Рассмотрев ваши пробные статьи — мы видим, что вы будете иногда напрасно работать. На письме весьма затруднительно объясняться, но на словах легко. Назначьте день и час совещания в редакции — мы явимся по вашему назначению. Непременно надобно выразуметь друг друга и сообщить друг другу свои понятия о деле.

Душевно преданный

Ф.Булгарин

Декабрь 1842

НВ. После написания письма был у меня Ратьков и обещает непременно уплатить в понедельник.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.3-4.

<sup>1</sup> *Ратьков* Петр Алексеевич — книгопродавец и издатель. В 1820-х — 1830-х жил в Москве и управлял сначала конторой «Московского телеграфа», а потом книжной лавкой Н.А. и К.А.Полевых; по характеристике К.Полевого — «человек испытанной честности, благоразумный, деятельный» (Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С.331). В конце 1840 переехал в Петербург в качестве поверенного К.А.Полевого, управлял его петербургским магазином. Позднее открыл свой магазин. Булгарин писал, что он «своею аккуратностию, отчетливостию, исправностию в платежах достоин всякого уважения» (СП. 1841. 1 марта). В начале 1840-х Булгарин был тесно связан с ним; в 1842 Ратьков принимал участие в издании редактируемого Булгариным журнала «Эконом». См.: Полевой К.А. Записки. СПб., 1888. С.528, 537, 539.

<sup>2</sup> *Песоцкий* Иван Петрович (ок.1823-1848) — издатель. Сын состоятельного московского купца, он «получил в Москве Белокаменной в каком-то тамошнем пансионе самое поверхностное из поверхностных образования, итог которого представлял всего на все легонькое практическое знание французского языка с придачею еще более легоньких, в самых гомеопатических размерах, сведений энциклопедии, сшитой на живую нитку из кусочков того-сего, а больше ничего» (Бурнашев В.П. Булгарин и Песоцкий, издатели еженедельного журнала «Эконом», в сороковых годах // Биржевые ведомости. 1872. 19 окт.). Унаследовав после смерти отца несколько десятков тысяч рублей, в конце 1830-х переехал в Петербург и занялся издательской деятельностью. Приятель журналиста и драматурга В.С.Межевича, завсегда кулис, он вначале издавал водевили, потом журнал «Репертуар русского театра» (1839-1841; в 1842-1847, после объединения с другим журналом, выходил под названием «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров»), многотом-



ное, богато иллюстрированное издание (совместно с В.С.Межевичем): Михайловский-Данилевский А.И. Император Александр I-й и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 гг.: Военная галерея Зимнего дворца. Т.1-6. СПб., 1845-1849. С 1841 он издавал (под редакцией Булгарина) хозяйственный журнал «Эконом» (программа — СП. 1840. 7 нояб.; пояснительная статья Булгарина «Что такое "Эконом"»? — Там же. 23 дек. — издание, которое по характеристике Булгарина, «еженедельно представляет /.../ *прекрасные* блюда, туалетные рецепты, предписания на счет содержания белья, платья, мебели, советы к сохранению здоровья, лечению недугов простыми средствами и множество разных предметов, которые полезны и в *городе*, и в *деревне*, на месте и в дороге!» (Ф.Б[улгарин]. Беседы «Эконома» с городскими хозяевами и хозяйшками // Эконом. 1843. Тетрадь 114. С.73). Первое время Булгарин часто печатался в журнале: «Самый простой и легкий способ возделывания картофеля, средства к его сохранению и совет, как заставить русского человека полюбить его» (1841. Тетр.1), «Русские письма о торговле и фабричной и мануфактурной промышленности» (1841. Тетр.1, 2); «Управление имением» (1841. Тетр. 11, 12), «Практический домашний курс сельского хозяйства, для начинающих хозяйничать» (1842. Тетр. 56, 57, 59, 66, 70) и др. Но потом стал писать реже, а после конфликта с Песоцким (завершившегося 15 мая 1843 дракой; см.: Полевой Н.А. Дневник // Исторический вестник. 1888. №4. С.164; см. также воспоминания В.П.Бурнашева: Новое литературное обозрение. 1993. №4. С.173) вскоре снял с журнала свою подпись и прекратил печататься там. Позднее он утверждал, что заведовал редакцией «Эконома» до мая 1844 (См.: СП. 1845. 18 дек., а также: СП. 1849. 16 марта). Написанный Булгариным некролог Песоцкого см.: СП. 1848. 21 августа.

<sup>3</sup> *Бурнашев* Виктор Павлович (1810-1888) — детский писатель, мемуарист, автор многих статей и книг на хозяйственно-экономические темы. В своих воспоминаниях неоднократно писал о Булгарине (о Бурнашове и его мемуарах см.: Летописец слухов / Предисл., публ. и комм. А.И.Рейт-блата // Новое литературное обозрение. 1993. №4. С.162-174).

<sup>4</sup> С начала 1843 Бурнашев активно сотрудничал в «Экономе», во многом выполняя работу по редактированию журнала и в значительной части заполняя его своими материалами, а вскоре стал и фактическим редактором журнала.

<sup>5</sup> «Тысяча секретов парфюмерии» (*франц.*).

<sup>6</sup> *Ширяев* Александр Сергеевич (?-1841) — московский книгопродавец и издатель (со второй половины 1820-х). В письме А.Ф.Орлову от 13 апреля 1845 Булгарин назвал его в числе обанкротившихся книгопродавцев, которые продавали его книги, а денег не отдали (см.: Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. СПб., 1909. С.297).

<sup>7</sup> *Ольхин* Матвей Дмитриевич (1806-1853) — петербургский издатель и книгопродавец. В 1840 открыл книготорговлю, поддерживал тесные контакты с Булгариным (тот часто рекламировал его в СП), издал ряд его

книг (Полн. собр. соч. Т.1-7. СПб., 1839-1844; Суворов. СПб., 1843; Воспоминания. Ч.1-3. СПб., 1846-1847), на чем и разорился (см.: РГИА. Ф.1286. Оп.13. Ед.хр.2110). О нем см.: Материалы для истории русской книжной торговли. СПб., 1879. С.33-34; Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. Т.9. Кн.2. Л., 1984. С.344, 347, 348 (комментарий Б.Л.Бессонова); Лица. Вып.2. М.; СПб., 1993. С.336, 361 (комментарий А.А.Ильина-Томица).

<sup>8</sup> Управляющий типографией Н.Греча и кассир «Северной пчелы».

<sup>9</sup> Греч Алексей Николаевич (1814-1850) — журналист, сын Н.И.Греча. В 1830-х — 1840-х гг. выполнял функции секретаря редакции СП. Булгарин считал (о чем писал И.П.Липранди 23 марта 1855), что А.Н.Греч «был человек весьма способный для механического издания "Северной пчелы", человек весьма неглупый и смирный» (Русский архив. 1869. №9. С.1555). См. письма Булгарина к нему (ОР РГБ. Ф.178. Муз. собрание. К.8566. Ед.хр.12; ИРЛИ. 27.287) и письма А.Греча Булгарину (РГАЛИ. Ф.2567. Оп.2. Ед.хр.257. Л.18-20).

### 3

Для общей пользы и процветания нашей «Пчелы» мы должны иногда совещаться<sup>1</sup>. Предлагайте мне ваши виды и мысли, как я предлагаю вам мои. Я просил бы вас, говоря о иностранной словесности и театре, особенно о французской — не унижать их, в пользу глупой русской литературы<sup>2</sup>! Что у нас за литература, что за театр! Помилуйте! Ум наш под каблуком Уварова<sup>3</sup>. — Театр — увы! — мы только и живем и дышим Францией и Германией<sup>4</sup>! Ради Иисуса и всех святых не говорите о *безнравственности* франц[узской] литературы! Нас и так жмут — и мы еще все припоминаем *о вреде* от литературы! Это не наше дело! На то попы, жандармы и цензоры. — Мы ищем только *изящного*. — Будто вся новая литература *безнравственная*? В *новой* литературе — более философии и нравственности, чем в *водяной* XVIII века! — «Пчела» должна идти *с веком* — все вперед — и вовсе не *морализировать*. — Как не читать Сю, Бальзака, Дюма, Гюго и др.? — Ведь это *чудные таланты*! — Исповедуюсь перед Вами, что я приверженец новой, усовершенствованной франц[узской] литературной школы! — Политика не мое дело! Пусть бесятся — но только б давали такие вещи — как «*Mysteres de Paris*»<sup>5</sup>! —

Еще прошу Вас — обращайтесь внимание не на один театр — но и на литературу, новые книги — открытия в науках и проч. и проч.

Вот мои просьбы — с которыми прибегаю к Вам, желая Вам всяческих благ

Ваш верный

Ф.Булгарин

19 янв[аря] 1843

NB. Вы, по доброте своей, интересовались моим детищем. Бог спас его — он теперь [слово нрзб.], но мы — родители — крепко упали на здоровьи.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.5.

<sup>1</sup> На обратной стороне листа, свернутого при отправлении в форме конверта, надпись: «Его высокоблагородию Рафаилу Михайловичу Зотову».

<sup>2</sup> Зотов часто помешал отрицательные отзывы о французской литературе. Незадолго до письма Булгарина он писал, что «нынешнее направление французской литературы вовсе не годится для нашей сцены. Это или *политика*, которая выставляет великих людей наперекор истории и общественного порядка, или мнимая *философия*, в которой супружество, честь, добродетель подведены под уравнивание нуля. Главная забота нынешних писателей состоит в том, чтобы выставить порок с самой интересной, привлекательной и извинительной стороны, а добродетели — с ничтожной и смешной» (СП. 1843. 15 янв.) и что в парижских театрах «нет ничего утешительного» (СП. 1843. 18 янв.). Просьба Булгарина не возымела никакого действия. Уже через неделю Зотов вновь писал, что «произведения французских писателей читаются легко, приятно, но это скорее можно назвать фейерверком, который изумляет, восхищает и ничего после себя не оставляет. Блистательность, острота — главные достоинства; глубоких мыслей не ищите, потому что если они где-нибудь и есть, то избави Бог всякого порядочного человека от этой философии» (СП. 1843. 26 янв.).

<sup>3</sup> *Уваров* Сергей Семенович (1786-1855) — министр народного просвещения (1833-1849), президент Академии наук (1818-1855), литератор, один из создателей «Арзамаса». В письме к А.В.Никитенко от 4 декабря 1845 Булгарин писал: «Не завидую я месту Уварова в истории! /.../ Набросил на все тень, навел страх и ужас на умы и сердца — истребил мысль и чувство...» (Русская старина. 1900. №1. С.182. Уточнено по автографу: ИРЛИ. 18.439).

<sup>4</sup> Булгарин вскоре после этого письма писал в «Северной пчеле»: «Мы сознаемся откровенно, что мы в иностранной литературе французской, английской, немецкой находим несметные сокровища для ума и сердца и верим даже, что для того, чтоб быть полезным России, надобно быть посвященным в таинства всех европейских литератур, следить за успехами наук в целом мире, перенося на русскую почву все чистое, благородное, полезное, то есть действуя в духе Петра Великого, исторгшего нас из тьмы невежества! /.../ Мы хотим быть русскими, по духу и закону, но вместе с тем хотим быть и европейцами по просвещению и образованности...» (СП. 1843. 30 янв.).

<sup>5</sup> «Парижские тайны» (*франц.*) — роман Э.Сю.

Любезнейший и добрейший Рафаил Михайлович!

Вы меня сердечно порадовали, что не разгневались за мой совет! Приятно быть с такими людьми, как Вы — в сношениях! —

Отвечаю по пунктам: 1. «Пчелу», правда, обокрал Монтандр — но этого не должны чувствовать и не почувствуют никогда сотрудники! За декабрь месяц вам должен заплатить Алешка Греч. *Между нами будь сказано, под секретом*: Алеша Греч взял займы денег у Монтандра, а как его отставили от казначейства «Пчелы» — так он, в счетах — и перевел должное вам за декабрь — на Алешу Греча — а тот ждет, пока получит за «Листок для светских людей»<sup>1</sup> и за «Репертуар»<sup>2</sup> — чтоб отдать вам! Вот в чем *сила*! Понимаете ли меня! А.Греч — dans l'embarras<sup>3</sup>! Но Алеша сам стыдится — и не дай бог если узнает, что я вам объявил *тайну*. Он из первых своих денег — отдаст Вам!

2. За 1843 год за «Пчелу» и «Эконома» вы будете получать *ежемесячно* от Ольхина. Там, т.е. в магазине сделано всяческие распоряжения — и *деньги за год вперед* для уплаты сотрудников оставлены у Ольхина. У меня правило: прежде уплатить сотруднику — а после делить барыши! Но прошу Вас *не поручать никому брать деньги за вас* — а брать самому. Своя ноша легка! —

3. Ратьков — теперь сидит у меня и говорит, что он не переводил за «Эконома» — *на меня*! Тут есть недоразумение! Что вам следует *вы должны получить немедленно* — и я не хочу пользоваться чужим трудом. Вы еще мало меня знаете! Я рад, когда могу доставить другим вознаграждение за честный труд.

3. [правильно: 4. — А.Р.] С Песоцким надобно рассчитаться без церемонии. С Туруновым<sup>4</sup> кончено.

Сегодняшний фельетон очень хорош в «Пчеле»<sup>5</sup> — спасибо!

Обнимаю Вас душевно —

верный

Ф.Булгарин

20 янв[аря] 1843

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.7-8.

<sup>1</sup> Петербургский иллюстрированный журнал (1839-1844). Вначале был посвящен исключительно модам, с 1842 введен литературный отдел, существенно расширенный в 1843. В журнале печатались В.Бенедиктов, Е.Гребенка, А. и Н.Гречи, П.Корсаков, Н.Кукольник, В.Даль, И.Мятлев, И.Панаев, Е.Ростопчина, В.Соллогуб, А.Струговщиков и др. Стихотворение «Скорый марш» (1843. №44), подписанное «Фаддей Старосолда-

тов», принадлежит, по-видимому, Ф.Булгарину. В 1844 (№2) под рубрикой «Музей Листка» была помещена карикатура В.Тимма, изображающая Булгарина в виде пчелы, приколотой булавкой к переплетенной «Северной пчеле», с анонимным сопроводительным текстом, где о Булгарине в лыство-юмористическом тоне говорилось следующее: «есть ли хоть один литератор, более его обстреливаемый критическими батареями наших журналов и, при всем том, кто менее его заботится об этих ежемесячных и еженедельных залпах, не отнимающих у него ни крепкого сна, ни цветущего здоровья, ни оригинального суждения, ни веселости в субботних фельетонах "Северной пчелы", в которых он кружится, как пчелка, приколотая булавкою к центру предписанных ей пределов? /.../ никто у нас не сравнится с ним в составлении коротких газетных статей, в которых, говоря техническими выражениями, "должно улечься в четырех столбцах газетного листа". Достоинство это признал в нем И.И.Дмитриев, сказавший, разумеется в шутку, в домашней беседе, что Булгарин — Гомер журнальных статей! Кто лучше его умеет толковать с нашею публикою в фельетонах обо всем и ни о чем, мешая театральную критику с рассказом об общественных собраниях, увеселениях и прогулках, литературу с рассуждениями об освещении лестниц в домах и т.д.»

<sup>2</sup> Петербургский журнал «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров» в 1842 выходил под редакцией Булгарина (он поместил там свои «Очерки театральных нравов» — №1. С.29-37), печатались там и другие сотрудники СП: Р.Зотов, А.Греч (см., напр. рассказ «Два поручения» — 1842. №6).

<sup>3</sup> В затруднительном положении (*франц.*).

<sup>4</sup> Турунов Яков Николаевич (1811-1873) — педагог, сотрудник СП с конца 1830-х по 1850-е гг., помещавший там главным образом переводы и рецензии.

<sup>5</sup> Фельетон Зотова «Журнальная всякая всячина» (СП. 1843. 20 янв.) был посвящен состоянию современной литературы, которая вся ушла в фельетон. Взглядам Булгарина были созвучны соображения Зотова о том, что раньше литераторы «играли важную роль в обществе», теперь «они уже не думают и не ищут быть выше своего века, а напротив, подделываются под вкус и направление идей своих современников. Это так и должно быть. Публика их кормит, так кому же и угождать им, как не ей? /.../ Литература сделалась теперь спекуляциею».

## 5

Любезнейший и почтеннейший Рафаил Михайлович.

Сегодня дебют г-жи Венецкой<sup>1</sup>, на Александр[инском] театре. Прошу и умоляю Вас посудите ее — и если уж решительно нет похвал, то спустите [слово нрзб.]. Это бедная сирота и моя землячка — и я принимаю в ней живейшее участие, но только не телесное, а душевное. Мне было бы весьма прискорбно, — если [бы] Венец-

кую бранили в «Пчеле» — и с первого появления — плюнули в глаза. Надеюсь, что по дружбе ко мне — вы обделаете это дело — так, что я буду благодарен Вам! —

У вас много теперь дела. Дебют Гран<sup>2</sup>, Венецкой, бенефис м. Аллан<sup>3</sup> и «Ломоносов»<sup>4</sup>! Только ради бога лягте на прокрустово ложе и сожмитесь! Прекрасные Ваши оригиналы должны гнить — от того, что нет места.

Билеты на концерты благоволили доставить

Верный Ф. Булгарин

28 янв[аря] 1843

ИРЛИ. Ф.548. Оп.1. Ед.хр.71. Л.1-2.

<sup>1</sup> *Венецкая* — актриса Александринского театра.

<sup>2</sup> *Гран* Люсиль (1819-1907) — датская балерина. В Петербурге дебютировала 30 января 1843 и, по словам Н.А. Некрасова: «Прекрасно! восхитительно! / Виват, девица Гран! / В партере все решительно / Кричали: "Сé шарман!"» (Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. Т.1. Л., 1981. С.392). Зотов с похвалой отозвался о ее дебюте: «...прекрасная танцовщица, которая будет украшением нашего балета» (СП. 1843. 5 февр.); сам Булгарин тоже высоко оценил балерину: «...чрезвычайно грациозна и легка, как Сильфида! /.../ Талант в г-же Гран — не гран, а пуд!» (СП. 1843. 6 февр.). Но В.Р. Зотов, сын Р. Зотова, иначе вспоминал о том, как «дебютировала в балете "Жизель" хореографическая знаменитость, Люсиль Гран, заменившая Тальони, с которою Петербург простился на маслянице 1842 года. Дебютантка не произвела особенного впечатления, хотя была хорошая танцовка. Но заменить Тальони было не легко, и второстепенная балерина не могла увлечь нашу публику /.../ Гран, протанцовав три месяца в Петербурге, оставила его незаметно, не простившись с публикой, принявшей ее довольно холодно. А между тем это была танцовка хорошей школы, в ней было много искусства, чистоты, отчетливости, но некоторые резкие жесты и позы разрушали всякое очарование» (Зотов В.Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. №1. С.42). О петербургских гастролях Гран см. также: Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л.; М., 1958. С.226-227.

<sup>3</sup> *Аллан-Депрео Луиза* (1809-1856) — актриса петербургской французской драматической труппы в 1837-1847, впоследствии играла в «Комеди Франсез». Зотов написал статью о ее бенефисе 29 января в Михайловском театре (СП. 1843. 4 февр.).

<sup>4</sup> Премьера «драматической повести» Н.А. Полевого «Ломоносов, или Жизнь и поэзия» состоялась 2 февраля 1843 (опубл.: Библиотека для чтения. 1843. №1-2). Пьесу высоко оценили и сам Булгарин (СП. 1843. 6 февр.) и Зотов (СП. 1843. 11 февр.). Об успехе «Ломоносова» см.: Полевой К.А. Записки. СПб., 1888. С.552.

Любезнейший и почтеннейший Рафаил Михайлович!

Ради бога не думайте, чтоб я *просил* Вас *хвалить* Венецкую! Репутация «Пчелы» — дороже мне чувства сострадания! Я только просил Вас и прошу *не бранить* — а это вовсе не значит, что надобно *хвалить*! Если нет таланта — и она вовсе дурна в игре — можно отделаться *фразами*, сказав, что надобно *ученья, опытности, познания сцены* и проч. и проч, что *ремесло* весьма *тяжелое* и проч. и проч. — но *хвалить* дурного мы никогда *не должны* и *не можем*, ибо совестьность есть обязанность наша — а снисхождение к женщине может сочетаться с долгом судьи<sup>1</sup>.

М-т Гран я вовсе не интересуюсь и даже не спешу видеть ее, ибо я вообще не страстный любитель балетов, но крайне *боюсь* и *трепещу*, чтоб *резким суждением* не прогневить двора и не задеть дирекции, которой мы не должны вовсе касаться. Все неприятности, какие мы только имели — были за театр! И теперь несносная переписка за 50 скрипачей! — Умоляю Вас, на коленях, не делайте никаких намеков на нашу дирекцию! Вы должны знать, что главный распорядитель всем: сам Царь наш<sup>2</sup>, по нем Волконский<sup>3</sup> — тут Гедеонов<sup>4</sup> — друг Дубельта<sup>5</sup>!.. Как вам самим не страшно?! Говоря о *иностранных* театрах не должно никогда обращаться к *нашему* — ибо каков наш есть, такова воля *Набольшего* — а наше дело — сторона! Говоря же о наших театрах — наше дело *пьеса* и *игра актеров*. А зачем играл тот, а не другой, зачем выбрали ту, не другую пьесу, почему так декорировано, а не этак — все это не подлежит нашему суждению.

Ради бога и детей наших войдите в положение наше и покори-тесь судьбе!

Как получу от Турунова журнал, сообщу Вам!

Молю Бога, да хранит Вас в своем святом попечении — и остаюсь

верный ваш

Ф.Булгарин

29 янв[аря] 1843

СПб.

NB. Еще осмелюсь припомнить Вам, что *comparaison, n'est pas raison*<sup>6</sup>, и что *ничто в мире* не должно сравнивать с Тальони<sup>7</sup> — *несравненной и единственной* в мире<sup>8</sup>! Тальони не масштаб — это просто чудо природы! Даже я — враг балетов — любовался ею, как греческою статуею — *оживленною*!

<sup>1</sup> Статья «Дебют г-жи Венецкой» была напечатана в СП 4 февраля без подписи, но принадлежит, по-видимому, Зотову, чья статья о бенефисе Л. Аллан-Депрео помещена на той же странице газеты. Автор писал о хорошем приеме Венецкой публикой и, снисходительно похвалив ее (и отметив при этом недостатки), резюмировал (в духе болгаринских пожеланий): «Очень мудроно судить о степени ее дарования по первому дебюту. Дальнейшие труды и ученье, вероятно, разовьют ее талант во всей силе, и мы со временем поговорим о ней поболее, вполне надеясь, что она заслужит прием, сделанный ей публикой».

<sup>2</sup> По воспоминаниям Ф.А.Бурдина, «театр был любимым удовольствием Николая Павловича» (Исторический вестник. 1886. №1. С.145), он часто бывал за кулисами, беседовал с актерами, иногда давал указания по постановке и оформлению опер и балетов. См.: Шуберт А.И. Моя жизнь. Л., 1929. С.58, 67; Зотов Р.М. Записки // Историч. вестник. 1896. №8. С.318-320; В.В.Самойлов в рассказе о начале своей артистической деятельности // Русская старина. 1884. №10. С.135-138 и др.

<sup>3</sup> Волконский Петр Михайлович, князь (1776-1852) — министр двора (1826-1852). По воспоминаниям Р.Зотова, он «сам читал тогда все рецензии о театрах и охотно дозволял благонамеренную критику» (Исторический вестник. 1896. №12. С.792).

<sup>4</sup> Гедеонов Александр Михайлович (1790-1867) — директор императорских петербургских театров (1833-1858), «большой мастер угодить и услужить сильному миру сего» (Бурдин Ф.А. Материал для истории русского театра // Вестник Европы. 1901. №10. С.586).

<sup>5</sup> Дубельт Леонтий Васильевич (1792-1862) — управляющий III Отделением с 1839, «хотя и не принадлежал к театральному миру, но был так к нему близок, что, вспоминая о театре, невольно вспоминаешь и Леонтия Васильевича. Актеры, даже маленькие, до того с ним освоились, что называли его просто по имени и по отчеству /.../» (Максимов Г.М. Свет и тени петербургской драматической труппы за прошедшие тридцать лет. СПб., 1878. С.127). В.Р.Зотов вспоминал, как Дубельт, «отчески покровительствовавший экс-танцорке [Левкеевой. — А.Р.], еще до прекращения "Репертуара" просил "в личное для себя одолжение" не говорить ни слова об этой особе. Я, конечно, должен был сделать это одолжение» (Исторический вестник. 1890. №4. С.94). См. также: Шуберт А.И. Указ. изд. С.56; Куликов Н.И. Театральные воспоминания // Русская старина. 1892. №8. С.464.

<sup>6</sup> Сравнение не довод (*франц.*).

<sup>7</sup> Тальони Мария (1804-1884) — итальянская балерина. В 1837-1842 ежегодно (с большим успехом) выступала в Петербурге. См.: Светлов В. [В.Я.Ивченко] Тальони в Петербурге // Библиотека Театра и искусства. 1913. №1-3.



<sup>8</sup> Зотов внял просьбе Булгарина. Позднее он писал: «Не будем сравнивать г-жи Гран с нашею незабвенною Талиони. Это было бы несправедливо. Талиони *одна* и нейдет ни с кем в сравнение» (СП. 1843. 5 февр.).

7

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Я просидел дома всю масляницу, больной и без рук — ибо мне пускали кровь из обеих рук — так пришло круто — да и жилу немного попортили. Теперь я выезжаю со двора — но в халате.

Посылаю вам между прочим «Voleur»<sup>1</sup> — из которого прошу перевести для «Эконома» об английской кухне. Я ввожу фельетон в «Эконома».

Прошу вас, ради бога осматривайтесь, чтоб не помещать в «Экономе» что уже было в нем в прошлые годы. Оказывается, что весьма многое из туалета, напитков и мелочей — что мы печатаем теперь — уже было напечатано. Это ужасно вредит «Эконому».

Во время моей болезни я хотел просить вашей помощи по журнальным моим делам, но Алеша Греч сказал мне, что вы усердно празднуете масляницу — а за тем увидимся на первой неделе поста и переговорим.

Верный Ф.Булгарин

26 февр[аля] 1843  
СПб.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.11.

<sup>1</sup> Voleur. Gazette des journaux français — нем. издание, выходившее в Лейпциге (1834-1844) на французском языке; с 1845 — в Париже: Voleur et le Cabinet de lecture reunis: Gazette des journaux français et étrangers (Journal litteraire).

8

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Вы требовали возвращения статьи о несчастном Лемольте, а потому и препровождаю ее к вам, с покорнейшею просьбою не печатать ее в других журналах, потому что это будет крайне при-  
скорбно и Н.И.Гречу и мне — любящих страстно доброго Лемольта<sup>1</sup>. Думал ли он, несчастный, когда я просил у него билеты — что это будет билет для него! Да и стоит ли разбирать *детскую забаву* — как *курс* или *лекции*! Ведь он забавлял детей и дам — без притязания на ученость. Впрочем, вольному воля!

О комете у нас всего нельзя писать на святой Руси<sup>2</sup>. В иностранных журналах извещают, что планета Венера горит и уходит из нашей системы, что Сатурн загорелся, что Венера изменяет ось и следовательно эклиптику. Но у нас говорят, что этих вещей не должно пускать в народ, чтоб не испугать его. *Ainsi soit-il*<sup>3</sup>.

Ваш Ф.Булгарин

30 марта 1843

NB. Вы обяжете А.Н.Греча, если сообщите ему адрес актера В.В.Самойлова<sup>4</sup>.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.12-13.

<sup>1</sup> *Лемольт* — владелец детского театра, сочетавшего кукольный театр, диораму, китайские тени, фейерверк и др. зрелища. См. анонимную публикацию: Детский театр г. Лемольта, в деревянном павильоне на углу Большой Морской и Кирпичного переулка // СП. 1843. 11 февр.

<sup>2</sup> В.Р.Зотов вспоминал, что в 1843 столицу очень занимала «комета, неизвестно откуда-то вдруг появившаяся, в конце марта, вместе с такими морозами, каких не было во всю зиму. Комета эта, загнутая хвостом на 42 градуса, то есть почти на четверть горизонта, исчезла недели через три так же неожиданно. Достигла она двадцатью четырьмя днями позже своего перигелия, земля непременно попала бы в хвост ее и вторжение этой странной светящейся материи в нашу атмосферу могло бы произойти в ней какой-нибудь переворот. Это было громадное светило с ядром, в тысячу семьсот раз большим, чем земля, с хвостом в шестьдесят миллионов миль» (Зотов В. Р. Указ. изд. №1. С.49). Сам Булгарин писал в фельетоне о «нынешней комете, которая должна быть из самых огромнейших между всеми кометами, которые только заходили в гости в нашу солнечную систему» (СП. 1843. 27 марта; см. также 3 апр.). Зотов поместил через несколько дней статью «Комета 1843 г.» (СП. 1843. 2 апр.). Позднее (5 и 27 апреля) в СП печатались дополнительные сведения о комете.

<sup>3</sup> Да будет так (*франц.*).

<sup>4</sup> *Самойлов* Василий Васильевич (1813-1887) — актер-комик, с 1835 — в труппе Александринского театра.

## 9

### Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Мне ужасно неприятно, что «Северная пчела» должна снова воевать с вами! В предисловии статьи «Суд знаменитого художника»<sup>1</sup> как вы возвеличили *скомороха* Рубини<sup>2</sup> — вы сказали, что только одни художники могут судить художников<sup>3</sup> — и этим ниспровергли *все здание критики*, которое я лепил в течение 20 лет! Помилуйте, да разве Винкельман<sup>4</sup> и проч. — художник? — Впро-

чем, прочтите мой ответ<sup>5</sup>. Рубини просто *инструмент* — машина, а не художник! Художники — *творцы*. Этот выстрел в журнальную критику крайне огорчил меня, хотя я и уверен, что вы это сделали без всякого умысла. При сем прилагаю мои покорнейшие просьбы —

1. В театральных критиках отнюдь не трогать дирекции — ни прямо, ни косвенно, как вы сами обещали Л.В.Дубельту.

2. В литературных и художественных суждениях — придерживаться, как можно ближе, к духу «Пчелы»: хвалить хорошее в *первом злодее* «Пчелы» — в «Коньке»<sup>6</sup> и Краевском с братьями<sup>7</sup> — а дурное и в друзьях — вежливо и умеренно *замечать*! Несправедливо ваше мнение в нынешней «Пчеле» — что надобно замечать *одно хорошее*<sup>8</sup> — хоть бы его было и *мало*! Ведь и Хвостов<sup>9</sup> проговаривался хорошими стихами! Капля меду бочка дегтя! — Нет — надо брать *на вес* и что *перевесит* — хорошее или худое, то и решает! — Одна идея — в томе чепухи — все-таки чепуха!

3. Ради бога не ругайтесь, не насмехайтесь над французами, немцами и вообще иностранцами! Они *выше* (на 100000000 градусов) нас образованностью и литературою и нам смешно быть их судьями! Что же мы, русские, сделали — на поприще просвещения? — Война другое дело — тут мы мастера своего дела — но литература — хи, хи, хи! — Дух «Пчелы»: честный и благородный Европеизм — без гнусных революций и дерзости — но общая толеранция и уважение к иностранному просвещению.

4. Не забудьте, что вы обещали давать библиографию. Возьмите у Ольхина какие-нибудь легонькие книжонки — да и разберите — не бранно. — Это нужно «Пчеле». — Наконец:

5. Алексей Греч *слезно плачет*, что вы, присылая ему статьи, вероятно, *не перечитываете их и не переправляете предваритель-но*. Он говорит, что поправка их и корректуры — *отнимает у него все время*. А к тому присылаются иногда статьи, которые уже *были в «Пчеле»*. Ради Иисуса обратите на все это внимание. Нам механизм и время дороже всего. — Когда же радеть о чужом пуризме!

6. Итальянская опера кончается — а об ней ни словечка не было. Кому будет любопытно *после*, т.е. после ужина горчица.

Вот вам откровенное излияние чувств моих и желаний. Если бы я Вас не любил и не уважал, то не говорил бы так открыто, а кончил бы дело иначе. Но я вас люблю — и потому хотел бы, что[бы] все было между нами благополучно.

Искренно преданный Ф.Булгарин

27 мая 1843

СПб.

NB. Билетов [слово нрзб.] у меня нет — с Ратьковым еще не видался.

NB. NB. Я ошибкой послал вам предпоследний раз «Voleur» et «Cabinet de lecture reunion»<sup>10</sup>. — Ради бога, возвратите сегодня к вечеру — надо Турунову.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.16-17.

<sup>1</sup> Правильно — «Отзыв знаменитого художника» (СП. 1843. 25 мая).

<sup>2</sup> *Рубини* Джованни Баттиста (1794 или 1795-1854) — итальянский певец. Пел в Петербурге в составе оперной труппы в 1843-1845 и 1847. По воспоминаниям Ю. Арнольда, «явился к нам /.../ всемирно тогда славившийся тенор Джан-Баттиста Рубини и привел, конечно, весь петербургский музыкальный мир в неописанный восторг» (Арнольд Ю. Воспоминания. М., 1893. Вып.3. С.73). См. о нем: Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М., 1962. С.32-43. В своих газетных отзывах Булгарин иначе отзывался о Рубини, напр.: «он так хорошо пел /.../ и притом играл с таким чувством и одушевлением, что трудно представить себе, чтоб можно было петь и играть в опере еще лучше! Сознаемся, что мы никогда не слышали лучшего певца» (СП. 1843. 1 мая).

<sup>3</sup> В своей статье, называя Рубини «великим художником» и «прекраснейшим талантом», Зотов писал, что «только истинный художник может быть хорошим судьей в своем искусстве и что один голос гениального артиста в этом случае значит больше, нежели восторженные клики толпы /.../».

<sup>4</sup> *Винкельман* Иоганн Иоахим (1717-1768) — немецкий историк искусства.

<sup>5</sup> Свой фельетон Булгарин начинал с объяснения причин внутренней полемики в газете: «Весьма неприятно и притом странно, что "Северная пчела" обязана иногда опровергать мнения своего сотрудника /.../ Зачем же вы печатаете, скажут нам, если вы не согласны в мнениях? Ведь вы ответчики перед публикою! Оно так, но ведь "Северная пчела" отвергает всякую монополию мнений в литературе и готова печатать даже мнения своих противников, если только они выучатся писать вежливо. Как наш почтенный сотрудник, подписывающийся буквами Р.З., человек опытный и сведущий, то мы полагаем, что мнения его служат выражением образа мыслей части мыслящей публики и, следовательно, *печатает* их, хотя иногда и морщась» (СП. 1843. 29 мая). После этого он опровергал Зотова, утверждая, что «художник может лучше осудить трудности искусства, механизм его, но не целое создание. Винкельман, барон Тейлор, граф Форбен, Кастиль-Блаз, Форлис и прочие критики живописи, скульптуры, музыки не были ни живописцами, ни ваятелями, ни виртуозами, но давали и дают законы в области изящного!»

<sup>6</sup> Такую кличку Булгарин дал журналисту и водевилисту Федору Алексеичу Кони (1809-1879), который в 1837-1838 сотрудничал в СП,

а в 1839 перешел в лагерь противников Булгарина. С 1839 Кони печатался в «Литературных приложениях к Русскому инвалиду» и созданной на их основе в 1840 «Литературной газете», редактировал ее (1841-1843), а также «Пантеон русского и всех европейских театров» (1840-1841). См. его памфлетную характеристику в романе Булгарина и Н.А.Полевого «Счастье лучше богатства», где он выведен как Федор Аникиевич Мул (Библиотека для чтения. 1845. Т.69. С.149-152).

<sup>7</sup> Краевский Андрей Александрович (1810-1889) — журналист, издатель, редактор. Хорошо усвоив уроки Булгарина, Н.И.Греча, О.И.Сенковского по профессионализации литературы, он смог сочетать организационные формы и методы деятельности коммерческой, ориентированной на «публику» журналистики с художественной и идеологической программой, сформулированной ранее элитарными дворянскими литераторами — так называемыми «литературными аристократами» (См.: Орлов В.Л. Молодой Краевский // Орлов В.Л. Пути и судьбы. Л., 1971. С.449-504; Кулешов В.И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1959). Редактируемые Краевским издания («Литературные приложения к Русскому инвалиду», «Литературная газета», «Отечественные записки») вели постоянную войну с Булгариным, он также не оставался в долгу. В 1846-1848 Булгарин подал в III Отделение ряд доносов на «Отечественные записки», обвиняя их в революционных тенденциях, но Краевский, подобно Булгарину, сумел заручиться жандармским покровительством (В.А.Владиславлева и самого Л.В.Дубельта. См.: Орлов В.Л. Указ. С.472, 475, 491, 493-494) и в результате остался неуязвимым (см.: Никитенко А.В. Дневник. Т.3. Л., 1955. С.283, 298). «Братьями» Краевского Булгарин называет, по всей вероятности, ведущих сотрудников «Отечественных записок» — В.Г.Белинского, А.И.Герцена, В.Ф.Одоевского, В.П.Боткина и др.

<sup>8</sup> В статье о парижских театрах Зотов писал, что рецензент «должен отыскивать все хорошее, и если, по его убеждению и исчислению, будет хоть около половины всего произведения, достойного похвалы и одобрения, то труд автора заслуживает полной благодарности. Все же дурное, если оно не переходит границ и общего хода человеческих заблуждений, можно приписать нашей натуре, которая ни в чем и никогда не может быть совершенною» (СП. 1843. 27 мая).

<sup>9</sup> Хвостов Дмитрий Иванович, граф (1757-1835) — поэт, член Российской академии, имевший в 1830-1840-х репутацию графомана.

<sup>10</sup> См. прим. 1 к п. №7.

Почтеннейший и любезнейший Рафаил Михайлович!

Вы умный и добрый человек, и я чрезвычайно люблю Вас и уважаю, но сознаться должен, что не встречал в жизни человека щекотливее (pointilleux), недоверчивее и мнительнее Вас! Вы гово-

рите, что я уехал<sup>1</sup>, не простившись с Вами и не сказав ничего о том, что печатаю<sup>2</sup>. Я простился с Вами у меня в доме, сказав, что зайду к Вам — *если успею* — и не успел. Дел у меня бездна и без литературы! Я сказал Вам, что печатаю противу Вас *протест* и *напечатал* бы, [даже] если вместо вас написал Н.И.Греч, сам министр и даже Исус Христос, что художества и художников могут судить одни художники — а прочие могут только удивляться как болваны! Я уже вам писал, что излагая это правило — вы уничтожаете всякую критику в «Пчеле» — и каждый может мне сказать: ты не живописец, не музыкант, не архитектор — следовательно *молчи* и *не суди*! Удивляюсь, как вы могли, с вашим умом и опытностью, сказать это в журнале — когда журналы — издаются *не художниками* — ибо все они *безграмотны*! Я вас очень люблю, но Варвара мне тетка, а «Сев[ерная] пчела» — сестра! Я должен был протестовать — ибо нельзя мне губить себя! Сказал я, что *иногда* морщусь — печатая ваши мнения. Это правда, особенно когда вы говорите о *нравственном* и *безнравственном* в литературе. Это не наше дело — а дело полиции. У Леонтия Васильевича<sup>3</sup> есть для этого особые люди — а наше дело сторона. Как можно осуждать Евгения Сю? — Но все-таки я нимало не сердился на вас и не сержусь — ибо умные люди в XIX веке не сердятся *за литературное мнение*! У вас *одно* — у меня *другое* — и только! Никакая интрига и сила в мире не могут заставить меня расставаться с человеком, которого я уважаю — и который подобно Вам исполняет свою обязанность свято и аккуратно, по *крайнему своему разумению* — Вы меня так мало знаете, как я мало знаю меккского имама! На меня может действовать Гедеонов!!! Тьфу ты пропасть — до чего я дожил — что меня можно подозревать в этом! Меня может принудить Л.П.<sup>4</sup> переменить сотрудника!!! Рафаил Михайлович — что вы это? Ведь я *человек*, а не *кукла* — и никого в мире не боюсь, кроме Бога, Царя и Закона! — Царь может мне *приказать* — а никто из его подданных не имеет права вмешиваться в мои частные дела, если они не вне закона. Повторяю, я и не думал расставаться с Вами — а сердиться — не имел причины, а потому прошу Вас, покорно, заниматься по-прежнему в «Северной пчеле» и «Экономе», получать деньги от Ольхина, а меня любить и жаловать! Черт побери! Стоит ли честным людям ссориться и расставаться из литературных дразгов! Написано — и то и другое — и ваше и мое — давно забыто — а дружба наша должна оставаться. Вспомните стихи покойного издателя «Демокрита» Кропотова:

Плюнь на суку,  
Морску скуку!<sup>5</sup> —

Дайте руку — и баста! Не слушайте скотов и чопорных приятелей. Я вам неизменное копьё. Но ради бога входите в дух нашей газеты — что я вам уже объяснял. Вы у нас еще новы — свыкнетесь, будет лучше. Все со временем! Обнимаю вас дружески и прошу верить, что и для спасения души не солгу и не покривлю душою.

Истинно преданный

Ф.Булгарин

8 июня 1843

Карлово, возле Дерпта

НВ. Пишите ко мне в Дерпт. Да что за беда сделалась с виньетки в «Экономе». Я не получаю его — а Бурнашев штурмует меня крепко письмами и жалобами! —

Амен!<sup>6</sup> —

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.14-15.

<sup>1</sup> Булгарин уехал в свое поместье Карлово под Дерптом 28 мая. См.: Полевой Н.А. Дневник // Исторический вестник. 1888. №4. С.166.

<sup>2</sup> То есть о своем печатном возражении Зотову. См. прим. 5 к предыдущему письму.

<sup>3</sup> То есть Дубельта.

<sup>4</sup> Не ясно, о ком идет речь. Возможно, тут описка (вместо Л.В.) и имеется в виду Л.В.Дубельт.

<sup>5</sup> *Кропотов* Андрей Фролович (1780-1817) — писатель, издатель журнала «Демокрит» (1815). В своих мемуарах Булгарин, называя его «оригинальным человеком» и цитируя его стихи, писал: «Я видывал Кроптова в Кронштадте, куда он приезжал в гости к прежним товарищам и приятелям, но не был с ним коротко знаком. Излишняя, отчасти циничная его фамилиарность и грубые приемы пугали меня, и я держался в стороне; но иногда я от души смеялся его рассказам о самом себе» (Булгарин Ф. Воспоминания. СПб., 1849. Ч.6. С.132). Цитируемые стихи принадлежат не Кропотову, а В.К.Тредиаковскому (из его «Песенки, которую я сочинил, еще будучи в Московских школах, на мой выезд в чужие края», 1726 г., см.: Тредиаковский В.К. Избранные произведения. М.; Л., 1963. С.95) и нередко приводились в качестве примера стихотворной грубости и нелепости (сообщено В.П.Степановым). Вполне возможно, что Булгарин слышал их от Кроптова.

<sup>6</sup> Аминь! (*лат.*).

Любезнейший и почтеннейший Рафаил Михайлович!

Я получил Ваше письмо от 12 июня, с тремя сотнями загвоздок, тремя пудами булавок — и целым грузом несправедливых подозрений на счет моих сношений с вами! Мои советы и просьбы вы

принимаете за *оскорбления и рекриминации*! Что после этого остается мне делать? Кладу руку на сердце и уверяю вас честью, что не имел никогда ни малейшего намерения оскорбить или обидеть вас, а если неумышленно оскорбил или обидел, то прошу покорно извинить меня в том и приписать единственно тому, что я не умею писать дипломатических нот, а что думаю, прямо рублю с плеча!

За что мне оскорблять и обижать вас? Ведь я, слава Богу, еще не сумасшедший! —

Напрасно вы говорите о вашей ко мне благодарности! Никакою благодарностью вы мне не обязаны, и я не имею ни малейшего на нее права. Вы работаете и публика вам платит — работаете вы совестно, по крайнему своему разумению, и если мы не согласны, иногда, в литературных мнениях — это не делает вас хуже, а меня лучше! Конечно, было бы лучше, если бы мы были согласны в мнениях — но если это невозможно, то надобно быть терпеливым.

Статья ваша о Рубини (т.е. в двух номерах «Пчелы»)² превосходная и очень благодарю вас за нее! —

Никогда я не требовал от вас, чтоб вы *только хвалили* театр, в угоду Гедеонову! Но дирекции мы *не смеем* касаться — т.е. не смеем говорить, почему *постановка* пьесы не так, почему *роль* дана той, а не той, и проч. Вспомните, что многие пьесы *поставляются* по воле и вкусу самого Царя! Впрочем, мне однажды *приказано*, именем Государя, устами графа Бенкендорфа не мешаться в *распоряжения* дирекции. Наше дело: игра актеров, содержание пьесы, исполнение и композиция музыки — довольно с нас и этого! После этого говорите что угодно! Я не для оскорбления и не для стеснения воли вашей объяснял вам это дело! Такова воля Царская — и я беспрекословно повинуюсь ей!

На счет французской литературы — ни за спасение души не соглашусь с вами и слезно умоляю вас и покорнейше прошу не объявлять никакой книги *безнравственною*\*. Что бы это была за литература, если б авторы думали, что должно читать *девицам*, а чего не должно!!! Пусть *девицы* не читают скандального — и конец! А что скажут монахи, святоши? «Les mystères de Paris» просто *chef d'oeuvre* — и глава «Блядская госпиталь» — выше «Илиады»! Разумеется, я не дам читать этого моей дочери иначе, как дают горькое лекарство — но дам читать! Вы соблазняетесь романом, где жена заставила мужа заболеть! — не дав зайти — чтоб развестись. Зачем же *девицам* читать этот роман? — А в библии,

\* «Пчела» не Index³ римской Sacra Collegia⁴! (Прим. Булгарина).



а в истории, а в греческой мифологии — разве лучше? Для *девиц*, для *grudes*<sup>6</sup> и для монахов — другая литература. Если б судить по тому, что должны читать *девицы* — по нашим понятиям о *непорочности*, то «Федра» — и все греческие трагедии — *весь театр\** в мире и все романы — не годятся — ибо везде страсти, злодеяния — и под конец — везде [нрзб.]. Полноте, любезнейший Рафаил Михайлович! Выбирайте сами чтение для ваших дочерей — и не трогайте талантливых литераторов, честь нашего века и перло человечества! Нравственность у каждого в душе, а не в оконечностях тела. *Diable, où la vertu va-t-elle se nicher?*<sup>8</sup> —

Вам кажется обидно — зайти в лавку Ольхина, спросить новую книгу — и разобрать ее для «Пчелы»? Да ведь до сих пор все сотрудники так поступали! Так делает теперь и Полевой<sup>9</sup>. Другим обидно кажется, если им редакция посылает книги — они сами хотят *выбирать*! Как тут угодить! — Впрочем, если вам это *обидно* — не делайте! Век живи, век учись! Прожил 53 года — и будучи 26 лет журналистом в Варшаве, Вильне и Питере<sup>10</sup> — впервые узнал я, что обидно выбирать самому книгу для рецензии!

Повторяю: я не имел намерения обижать вас — а затем все что вы пишете об обидах, я [не] принимаю на свой счет. Совесть моя чиста.

Об чем я вас *прошу* — вы называете *упреком* — об чем высказываю *мое мнение* — это у вас *рекреминация*, когда несогласен в мнении — тут будто я *сержусь*! Помилуйте, Рафаил Михайлович — да взгляните на свет в *белое стекло*! Люди, право, не так дурны, как вы думаете, и я право не зверь Азор — хотя и люблю Земир<sup>11</sup>! —

Удивляюсь, что Бурнашев не сообщил материалы для «Эконома»! Должно быть у А.Н.Греча. — Пишу к Бурнашеву. — Для «Эконома» также сообщу статьи из Карлова<sup>12</sup>.

Пожалуйста, рассейте всякие сомнения на мой счет — и работайте весело, в полной уверенности, что Вы имеет дело с честным и прямодушным человеком. Быть может, что мне следовало промолчать и не печатать моего *протеста* — чтоб не трогать вашей щекотливости! Вперед не буду ничего печатать — а теперь обнимаю вас дружески и искренно — и прошу любить и жаловать вашего верно преданного

Ф.Булгарина

14 июня 1843  
Карлово

\* *Joconde, Mariage de Figaro, Don Juan* — о ужасы! (*Прим. Булгарина*).

NB. На досуге — бросьте грамотку в Карлово — только уже без всяких объяснений!  
Amen!

ОР РГБ. Ф.622. К.1. Ед.хр.3.

<sup>1</sup> Обвинения, упреки (*франц.*).

<sup>2</sup> Речь идет о статье Зотова «Рубини и опера» (СП. 1843. 7, 8 июня), в которой он, изложив историю отечественной оперы и итальянской оперы в России, подробно характеризовал Рубини, подчеркивая, что его талант «доставил нам величайшее наслаждение», «разгадал нам тайну: что такое опера и пение» (8 июня).

<sup>3</sup> То есть «Index librorum prohibitorum» — издаваемый Ватиканом список книг, которые под угрозой отлучения запрещено читать верующим. Выходил с 1559; с 1571 его составлением ведала специальная канцелярия, называвшаяся конгрегацией индекса.

<sup>4</sup> Священное собрание (*лат.*).

<sup>5</sup> Шедевр (*франц.*).

<sup>6</sup> Чопорные дамы, недотроги (*франц.*).

<sup>7</sup> Жоконда, Женитьба Фигаро, Дон Жуан (*франц.*) — названия известных опер.

<sup>8</sup> Черт возьми, до чего можно дойти? (*франц.*).

<sup>9</sup> Н.А.Полевой вел в 1843 в СП рецензионный отдел, Р.Зотов поместил лишь несколько рецензий в начале года.

<sup>10</sup> Булгарин начал свою литературную деятельность в Варшаве в 1815, выпуская какое-то эфемерное периодическое издание на польском языке («Варшавский свисток»? — см.: Кюхельбекер В.К. Путешествие: Дневник: Статьи. Л., 1979. С.500; Исторический вестник. 1883. №8. С.313; Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX века. Л., 1975. С.351), в 1816-1819 он печатался в виленских периодических изданиях (на польском языке), а с 1820 — на русском языке в петербургских журналах.

<sup>11</sup> Булгарин называет персонажей комической оперы «Земира и Азор» (текст Ж.-Ф.Мармонтеля, музыка А.-Э.-М.Гретри) (сообщено М.И.Перпер). Впервые она была поставлена в 1771, в России шла в Москве в 1782 и 1829, издана была там же в 1783.

<sup>12</sup> Статей с подписью Булгарина после мая 1843 в «Экономе» не было. См. прим.2 к письму за декабрь 1842.

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Вы сетуете на меня и штурмуете записками, а я вовсе не виноват. Типография должна делать счета — Ратьков против — первая ничего не делала, второй не имеет денег — а счета «Пчелы» сводятся только в первых числах каждого месяца. Мне невозможно ни пре[о]долеть беспорядков, ни ниспровергнуть порядок — и я только хлопочу, чтоб все вошло в свою колею. Деньги за «Пчелу» принесут вам завтра, много послезавтра на дом. За «Репертуар» непременно получите — я порука — но когда — не знаю. У Ратькова нет вовсе денег. С почтой бьюсь как рыба об лед. Он забрал за «Русский вестник»<sup>1</sup>, а ему удерживают за «Репертуар»!

Ратьков катит в Москву с Ольхиным продавать душу. Кончится все [за] Ольхиным — деньги не пропадут — но надобно терпенье. Я бы крайне был вам обязан — если б мы могли устроить свидания — по 1/2 часа в неделю, у А.Н.Греча — об «Экономе».

Ваш Ф.Булгарин

4 окт[ября] 1843

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.18.

<sup>1</sup> «Русский вестник» (1841-1844) — петербургский ежемесячный журнал, официальным издателем-редактором которого был Н.И.Греч, а фактическим — вначале Н.А.Полевой, а с 1842 — П.П.Каменский.

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

При всем моем уважении к Вам и при всей преданности, я должен вам высказать правду — невзирая ни на что. Я вас просил ради бога — прошу и просить буду — не мешайте вы дирекцию в ваши разборы — ни с плюсом +, ни с минусом —. Наше дело: играна была пиеса — хороша она или дурна — играли: хорошо или дурно — и баста! В статье о «Норме»<sup>1</sup> Вы взялись защищать — кого! Дирекцию? — Нет, гнусного Неваховича<sup>2</sup>, человека *без честного слова*, т.е. un homme sans parole — который кроме всех своих гадостей вздумал еще оскорблять меня. Но если б Невахович был прав — я, при всей моей нелюбви к нему, — обязан был бы печатать его оправдание! Но это подлейшая интрига — с этой Ассандри — чистое сводничество<sup>3</sup> — и «Сев[ерная] пчела» поднимает оружие на защиту интриги и бесталанности! Вы написали ровнехонько то, что шептал мне Невахович у вас! Разумеется,

что вы вдалились в обман неумышленно, по приязни с Неваховичем — тут я третий — зрящий и ведающий — и надувала Невахович может надуть меня лажей — но не вовлечет в интригу! Вы говорите в статье, что дирекции мы должны быть *благодарны* за то, что она нашла *подставки*<sup>4</sup> Рубини и Гарция<sup>5</sup>!! А какие же это подставки? — Дрянь и сволочь! Лучше б дирекция нашла *бассо* и *контральто* — за эти деньги! Вы смотрели на дело с другой точки зрения. Благодарят за хорошее — а не за дрянь. У нас Шоберлехнер, Шюц-Довремон<sup>6</sup> без места — а скурюха Ассандри — дерет нам уши своим кошачьим пенъем — в угоду Неваховичу! Я оставил все ваши похвалы Ассандри и длинному запевале старцу Пазини, но все выгорожение Неваховича вычеркнул, потому что эта защита вопреки мнения публики и моей совести. Вот если б можно было написать, чтоб Неваховича согнать с места и посадить на его место человека знающего, основательного, серьезного — то я б напечатал золотыми буквами. По моему мнению — и наша Степанова и даже Лилеева<sup>7</sup> лучше Ассандри — а Леонов<sup>8</sup> в 1 000 000 раз лучше старца Пазини. Но это уже вам дело судить — а я молчу, оговорившись однако ж — что это не я сужу о 2-м представлении «Нормы» — и что я тут не был<sup>9</sup>.

Вот в каком положении дело. Вас опутал Невахович, а я вас *спасаю* от гнева публики — и за это, кажется, не должно гневаться на меня.

Еще другая просьба. У вас любимое слово *благодарность* — *mais chaque publique*<sup>10</sup> — и это словцо подхватили — и называют фельетоны — *благодарными* фельетонами. В иных фельетонах мы исключаем по *шести* благодарностей. В этом фельетоне — кроме *благодарности* дирекции, Ассандри и другим были *две* благодарности *дрянной* Тадини<sup>11</sup>, итальянской вороне! Ради бога — за что ее благодарить? За то разве, что выросла с печку и откормила филейные части! Вообще, ни журнал, ни публика *никогда не должны* *никого благодарить*! Артисты должны быть *благодарны* — если платящая им публика — довольна. У нас ради спокойствия — можно раз в год — вопреки совести — сказать доброе слово дирекции — но не тогда, когда представителями ее Невахович и Киреев<sup>12</sup>! Прекрасная компания! Нечего сказать! Знаю, что от этого письма щекотливость ваша разыграется — и вы на меня разгневаются — но я уже отдал себя на жертву всему — а правдою и пользою «Пчелы» не могу жертвовать — и хотя люблю вас и уважаю — а должен был высказать все что думаю<sup>13</sup>.

Преданный Ф.Булгарин

15 ноября 1843  
Спбург.

<sup>1</sup> Речь идет о статье Зотова «Итальянские спектакли» (была опубликована через несколько дней: СП. 1843. 19 нояб.), где он с похвалой отозвался о дебюте певицы Ассандри и об исполнении певца Пазини.

<sup>2</sup> *Невахович* Александр Львович (1810-1880) — переводчик, секретарь директора театров А.М.Гелеонова, заведующий репертуарной частью (1837-1850), «всегда вежливый и благонамеренный по службе, всегда веселый и любезный в обществе» (Каратыгина А.М. Воспоминания // Каратыгин П.А. Записки. Т.2. Л., 1930. С.208), «но начальник положительно невозможный, путавший все и всех в своем управлении» (Зотов В.Р. Указ. изд. №4. С.103). См. о нем: Под сению кулис и под кровлею борделя: («Писатель не для дам» М.Н.Лонгинов) / Публ. А.М.Ранчина // Лица: Биографический альманах. Вып.2. М.; СПб., 1993. С.393-395, 414-417.

<sup>3</sup> На следующий день после этого письма А.В.Никитенко сделал в своем дневнике следующую запись: «Некто [Николай I. — А.Р.] увидел в Варшаве на сцене певицу Ассандри, которая очень красива, и захотел, чтобы она была в Петербурге. Ее пригласили участвовать в Итальянской опере за большие деньги. На беду Ассандри настолько же дурно поет, насколько она прекрасна. Наглость ли или надежда на высокое покровительство воодушевили ее, только она решилась выступить на сцену после величайшей певицы нашего времени — Гарсии-Виардо. Ее жестоко ошкаривали. Публика знала, каким образом она попала в Петербург, и в шиканье ее, может быть, сказывалось и другое, тайное намеренье. Как бы то ни было, кому-то это не понравилось, и когда Ассандри вторично выступила на сцену в "Норме", ей хлопали такие руки, которые могут всю Россию отхлопать по щекам» (Никитенко А.В. Дневник. Т.1. Л., 1955. С.272).

<sup>4</sup> То есть певцы на замену.

<sup>5</sup> Виардо-Гарсиа Мишель Полина (1821-1910) — французская певица (контральто), друг И.С.Тургенева. Булгарин постоянно хвалил ее в СП, и Некрасов, например, специально подчеркивал, что Виардо «так хорошо поет, / что даже у Филирина [т.е. Булгарина. — А.Р.] / Ругательств не стает» (Некрасов Н.А. Указ. изд. С.405). О Виардо см.: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. Л., 1982.

<sup>6</sup> Через месяц Булгарин писал в газете об этих певицах: «Почти в одно время с итальянскими артистами прибыли к нам две певицы, не ангажированные в нашу труппу: г-жа Шоберлехнер (урожд. Далокка) и г-жа Шиц-Ольдози. Мы не слышали пенья г-жи Шоберлехнер с 1838 года, т.е. с тех пор, как она посещала нас в последний раз. Выхав из России, она занимала место примадонны на первостепенных театрах в Италии и пользовалась славою весьма искусной певицы. Г-жа Шиц-Ольдози также занимала долгое время место примадонны в Италии и Германии и также пользовалась славою» (СП. 1843. 24 дек.). Шоберлехнер Софья Филипповна (1807-1864) была дочерью петербургского преподавателя пения и в 1820-х пела в петербургской опере. Амалия Шюц-Ольдози — придворная певица импе-

ратора Австрийского и герцогини Пармской; с 1843 с успехом выступала в Москве и СПб., осталась в СПб. после отъезда Винардо-Гарсии.

<sup>7</sup> *Степанова* Мария Матвеевна (1815-1903), *Лилеева* Эмилия Августиновна (урожд. Шеффердекер; 1826-1893) — русские оперные певицы (сопрано).

<sup>8</sup> *Леонов* Лев Иванович (наст. фам. — Шарпантье; 1815- ок.1872) — русский оперный певец (тенор).

<sup>9</sup> К статье Зотова Булгарин сделал следующее примечание: «Сами издатели "Северной пчелы" не были во втором представлении "Нормы" и потому представляют судить почтенному сотруднику, знатоку музыки, который и ответчик за свое мнение. *Изд.*» (СП. 1843. 19 нояб.).

<sup>10</sup> Но каждая публика (*франц.*).

<sup>11</sup> *Тадини-Троттер* Изабелла — певица итальянской оперы (сопрано).

<sup>12</sup> *Киреев* Александр Дмитриевич (1796-1857) — управляющий петербургской театральной конторой с 1832 по 1853.

<sup>13</sup> То, что он «думает», Булгарин высказал за два дня до этого письма и печатно (в отклике на первое представление «Нормы» с Ассандри и Пазини) 8 ноября следующим образом: «Об этом представлении не скажем ни словечка, по латинской поговорке: aut bene, aut nihil [или хорошо, или ничего (*лат.*) — *А.Р.*]. Позволяем себе только заметить, что на здешней сцене мы видели, в роли Нормы, знаменитую Паста и первую германскую певицу, Сабину Гейнефетер, и basta!

Гораздо больше наслаждения имели мы в зверинце г-на Зама /.../» (СП. 1843. 13 нояб.). По свидетельству А.В.Никитенко, «из-за этой фразы над цензурой разразилась страшная гроза. Князь Волконский (министр двора) требует ответа для доклада государю: "на каком основании осмелились пропустить сию неприличную фразу (сравнение оперы со зверинцем), и кто ее сочинитель?" Мы до пяти часов пробыли в цензурном комитете, изготовляя ответ на сей мудрый запрос. Ответили, что цензура не находит в этой статье ничего ни для кого обидного, и "в простом сближении двух разнородных предметов — оперы и зверинца — она видит только дурной вкус автора статьи, против чего нет никаких цензурных правил, а, напротив, цензурный Устав требует, чтобы цензора не вмешивались в дела личного вкуса" (приведены параграфы устава)» (Никитенко А.В. *Дневник*. Т.1. Л., 1955. С.272-273). Министр двора П.М.Волконский по приказу Николая I сделал «строжайший выговор» Булгарину «за неприличную статью /.../ в которой хотя и не разбирается ни игра, ни пение, но говорится весьма резко не в пользу артистов и сверх того допущено крайне неприличное сравнение императорского театра с зверинцем» (*Русская старина*. 1903. №4. С.176). Одновременно Волконский сделал распоряжение, чтобы все статьи об императорских театрах отдавались на его предварительное рассмотрение через III Отделение (Там же. С.177).

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

На мне, как на представителе редакции «Северной пчелы», лежит неприятная обязанность объявлять все решения и потом навлекать на себя одного неудовольствия. Но как без этого нельзя — то я и решился быть целью, в которую стреляет весь мир!

Если б даже «Сев[ерная] пчела» и не была ограблена в прошлом году, более нежели на 70 т. рублей ассигн[ациями]<sup>1</sup>, — то самая справедливость и правила, какими руководствуется редакция, заставили бы ее возобновить с Вами условия. 4000 рублей ассигнациями в год «Северная пчела» не в состоянии платить вам за настоящую вашу работу для «Пчелы», т.е. за разборы новых русских и итальянских представлений, и перевод *Смеси*. №1 условий покажет вам, чего «Пчела» требовала от сотрудников за 4000 рублей; №4, чего стоила *одна Смесь*, №3, что стоили прелестные *фельетоны* Строева<sup>2</sup>, а №5 ваше собственное условие. Как вы положили мне условием, чтоб я сам доставлял вам книги для разбора — и при моих хлопотах это было для меня неудобноисполнимым, и совершенно невозможным, то я составил при вас же новые условия на мой собственный счет с Н.А.Полевым, чтоб он доставлял библиографию. — Итак, в будущем году, 1844-м, редакция предлагает вам только: 1. Разбор итальянских и русских спектаклей, и 2. Наполнение фельетона переводною *Смесью*, из журналов, — не в связи, как я прежде желал от вас, но *отдельными статейками*, как напечатано в иностранных журналах. Как на французские и немецкие представления вы сами редко ходите, то и эту часть редакция поручает особенному сотруднику. А потому, если вам угодно принять на себя обязанность сообщать известия о *новых* русских и итальянских спектаклях — и наполнять нижние колонны журнала *переводною смесью* — благоволите известить меня и назначить плату, которую вы желаете получать в год, от редакции «С[еверной] пчелы» — за сие ваше занятие.

Записки на Ратькова, о которой вы пишете в письме вашем, я не получил; верно вы забыли вложить в письмо. Если что назначено получить от Ольхина — то и благоволите к нему отнестись. Книгопродавцы должны платить по моим запискам, ибо я распоряжаюсь тем, чем имею право распоряжаться.

На счет «Эконома» скажу вам, что это дело уступлено мною Ольхину с Песоцким — я только не снял имени и распоряжаюсь статьями, пока дело пойдет в ход. Громко вопиял я — вопию и вопиять буду, что вы мне чрезвычайно были полезны по «Эконому» — и что другого сотрудника я бы вовсе не желал иметь.

Но Песоцкий нарочно водил меня за нос, чтоб отказом не заставить вас подать вексель к взысканию — и наконец стараниями Песоцкого и Ольхина — помещен Фурман<sup>3</sup>, который должен и переводить, и рисовать, и гравировать. Я вовсе не имею удовольствия знать г. Фурмана — и не имея права вмешиваться в их распоряжения — беру, что мне дают, чувствуя, что без вас — в «Эконе» не будет прежней аккуратности.

Прошу вас покорнейше возвратить мне 5-ть прилагаемых условий, которые я, взяв из архива редакции, — поверяю на *честь* вашу, а еще более прошу не гневаться на меня. Сотрудничество дело двоякое: *литературное* и *торговое*, и редакция может платить только за то, что получает, и покупать, что ей нужно. Это дело не зависимо от дружбы и всех светских отношений — и за это сердиться нельзя.

С истинным почтением и искренною преданностью честь имею быть покорный слуга

Ф.Булгарин

27 декабря 1843  
СПб.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.22-23.

<sup>1</sup> В письме Л.В.Дубельту от 30 апреля 1844 Булгарин писал, что «бывший правитель типографии и кассир редакции [Монтандр. — А.Р.] похитил в прошлом году 67000 рублей» (цит. по: Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. СПб., 1909. С.291).

<sup>2</sup> *Строев* Владимир Михайлович (1812-1862) — журналист, переводчик. С 1834 печатал в СП рецензии, фельетоны, переводы и т.д.

<sup>4</sup> *Фурман* Петр Романович (1816-1856) — писатель и журналист. Позднее Булгарин познакомился с ним и выяснил, что «он и отличный литератор, и отличный художник; знает основательно языки французский, немецкий, английский и италианский, и пишет по-русски совершенно правильно, а трудолюбие его поистине удивительное» (СП. 1851. 23 мая).

Признаюсь, почтеннейший Рафаил Михайлович, что у меня руки опустились и лист выпал — по прочтении вашего мнения о «Семирамиде»<sup>1</sup>! Если это *captatio benevolentiae*<sup>2</sup> князя Волконского — то я хотя и постигаю, но сожалею, что «Пчела» для угождения старому волоките должна говорить такие вещи — если же



это ваше *убеждение*, то зная ваш вкус и познания в музыке — ничего не понимаю! Уже не сочтете<sup>3</sup> ли это? — Жаль, право жаль! Как эта кривоногая курва Каstellлан, которая *фальшивила* во всю оперу, а в конце выбилась из сил, как кобыла в возе, с своим бездушным визгом, могла привести вас в восторг? — Эта бочка Альбони<sup>4</sup> — с своим *бар-басом* — могла возбудить вас! Да у Альбони нет вовсе голоса! Да нет? Это звуки из различных мехов в одной кузнице. Все разорвано — сопрано, альт, конральт и бас не составляют одного целого — а выходят из толстого брюха скачками, — без [слово нрзб.], без методы, без игры. Просто *grave fille*<sup>5</sup> — бочка, без всякого таланта, а все ее достоинство — нежная страсть Неваховича! Уж извините — а я протестую в «Пчеле»<sup>6</sup> — что не разделяю вашего мнения — представляя вам говорить что угодно с подписью вашего имени. Только, пожалуйста, не думайте, чтоб это могло расстроить наше доброе согласие. — Это дело само по себе.

Теперь ответ на ваше письмо.

1. Разумеется, надобно посмотреть «Павла и Виргинию»<sup>7</sup> — снисходительным глазом. Всегда и везде должна быть честь таланту.

2. «Ченерентолу»<sup>8</sup> дадут на будущей неделе в 3-й раз.

3. Сын А.Греч делает политику<sup>9</sup>.

4. Концертов в патриот[ическом] институте<sup>10</sup> даром не дают и умно делают.

Искренно преданный

Ф.Булгарин<sup>11</sup>

29 дек[абря] 1844  
Спб.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.24.

<sup>1</sup> Зотов в своей рецензии хвалил оперу Россини «Семирамида», а об исполнительнице главной роли Ж.А.Кастеллан писал, что она «превзошла все наши ожидания. Талант ее всякий день более и более совершенствуется» (СП. 1844. 29 дек.). Кастеллан пела в Петербурге в 1844-1846.

<sup>2</sup> Заискивание расположения (*лат.*).

<sup>3</sup> Кошмар (*франц.*).

<sup>4</sup> *Альбони* Мариетта (наст. имя Мария Анна Марция; 1826-1894) — итальянская певица (контральто), в 1844-1845 выступала в Петербурге. Ей «много вредила на сцене ее чрезмерная полнота, делавшая ее неуклюжей и неловкой. Как певица она имеет большие достоинства» (М.К. [М.Е.Кублицкий]. История оперы в лучших ее представителях. М., 1874. С.195).

<sup>5</sup> Толстуха (*франц.*).

<sup>6</sup> Отрицательно оценив постановку «Семирамиды», Булгарин писал: «Мнение наше совершенно противоположное суждению почтенного нашего сотрудника, подписывающего свои театральные статьи в "Северной пчеле" буквами Р.З. Мнения в журналах, на счет театральных представлений, свободны, только б были высказаны с должною вежливостью и приличиями, и если мы не в претензии на почтенного нашего сотрудника, то и он, надемся, не оскорбится самостоятельностью нашего убеждения» (СП. 1845. 13 янв.).

<sup>7</sup> Речь идет о пьесе Н.А.Полевого «*Павел и Виргиния*» (опубликована в журнале «Репертуар и Пантеон». 1845. Кн.1), премьера которой состоялась 2 января 1845. Зотов отмечал, что «пиеса имела успех» (СП. 1845. 15 янв.).

<sup>8</sup> «Ченерелтола» (или «Золушка») — опера Россини.

<sup>9</sup> То есть ведет в СП раздел политики.

<sup>10</sup> *Патриотический институт*, в который принимали дочерей офицеров, ставил своей целью «воспитание девиц, чтобы сделать из них добрых жен, попечительных матерей, примерных наставниц для детей и хозяек, способных трудами своими и приобретенными искусствами доставлять себе и их семействам средства к существованию» (Пушкарев И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. СПб., 1843. С.413).

<sup>11</sup> На обороте письма, посланного по городской почте, — адрес: «Его высокоблагородию Рафаилу Михайловичу Зотову на Театральной площади Большого театра в доме Немкова».

## 16

Почтеннейший и любезнейший Рафаил Михайлович!

Я получил Ваше письмо: охотно увольняю вас от писания о Полевом и Каратыгине<sup>1</sup> — но не постигаю причин, которые могут уволить человека от обязанности говорить *истину*!

Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Лермантов и многие, многие писали на меня эпиграммы, пасквили, клеветали, называли меня в обществах *шпионом*, потому что я с «Пчелою» отдан — *головою* — жандармерии<sup>2</sup>. — Полевой был ядовитым врагом моим в течение всего существования «Телеграфа»<sup>3</sup> — а я был всегда в восторге, *когда мог похвалить врагов* моих, найдя в них *похвальное*. Свидетельство — в *печати*: можно доказать<sup>4</sup>!

Полевой называется моим приятелем, но я только *из афиши* узнал о новой его драме «Ермак»<sup>5</sup>! Ему было *стыдно* сознаться, что он пишет, не писав *полгода ничего для «Пчелы»*, побирая денежки! — Что же касается до вашей комедии<sup>6</sup>, то я знаю *достоверно*, что В.А.Каратыгин — отказался не по *интригам*, но потому, что почел неприличным, чтоб *первый* трагик играл в комедии — в роли, которую он *не нашел довольно сильною для себя*! Об

этом он сам мне сказал. Быть может, Каратыгин ошибся в оценке роли — но все же это не *интрига*. Полевой даже не знает о существовании Вашей комедии — а я узнал только на другой день бе-нефиса Каратыгина<sup>1</sup>!

Откуда же тут взялась *интрига*? Что Невахович потерял или не потерял в этом — я не судья! От него станется и то, и другое! Но ведь игранное в вашей комедии не помешало бы Каратыгину играть в «Ермаке» и успех вашей комедии не помешал бы успеху драмы Полевого! Раздумайте и рассудите! Все дело в том, что Каратыгин счел, что его роль в вашей комедии — *не по нем*. А Полевого как тут приплесть? — Да ему и во сне не снилась ваша комедия!

Ваша мнительность и недоверчивость к людям и подозрительность дошли до высочайшей степени — и припоминают стихи Воейкова:

«Бесов вижу пред собою!»<sup>8</sup>

В каждом человеке, рожденном от жены, — вы видите врага и злодея — и каждая неудача — у вас — следствие *интриги*!

«А ящик просто отворялся!»<sup>9</sup> —

Если б мне бог дал Ваш образ мыслей на 24 часа — я бросился бы в Неву! Я в мире вижу миллионы добрых людей и миллионы дуралеев — а между ними, кое-где, злых! Если б было *более* злых — то мир бы не существовал, как не может существовать стадо овец, когда волков было более, чем овец! — Злым редко даже и удается делать зло — а все зло на свете — от дураков! Dixi<sup>10</sup>!

Припомню вам старинные стихи морского поэта:

«Плюнь на суку,  
Морску скуку» —

Сожалеею о вашем горе — но дай мне такого горя! Вот когда у меня дочь<sup>11</sup> закашляет — так горе — а прочее все — трын-трава!

Душевно преданный

Ф.Булгарин

14 фев[раля] 1845  
Спб.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.26-27.

<sup>1</sup> *Каратыгин* Василий Андреевич (1802-1853) — актер-трагик, хороший знакомый Булгарина.

<sup>2</sup> О репутации Булгарина см.: Рейтблат А.И. Видок Фиглярин // Вопросы литературы. 1990. №3. С.73-101. Эпиграммы на него (в том числе и перечисленных в тексте поэтов) см.: Эпиграмма и сатира. М.; Л., 1931. Т.1. С.361-396; Русская эпиграмма. Л., 1988 (по указателю адресатов).

<sup>3</sup> Это не совсем так. За время издания «Московского телеграфа» (1825-1834) был период (1827-1830), когда Булгарин и Н.А.Полевой не только прекратили взаимные нападки, но и нередко хвалили в своих изданиях друг друга. О взаимоотношениях Булгарина и Полевого см.: Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С.152-153, 167-169, 185, 270-276 и комментарии к ним.

<sup>4</sup> Действительно, Булгарин, демонстрируя беспристрастие, нередко печатал положительные рецензии на произведения своих литературных противников.

<sup>5</sup> Речь идет о пьесе Н.А.Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (опубликована в: Репертуар и Пантеон. 1845. Кн.3), премьера которой в Александринском театре состоялась 15 февраля 1845. Булгарин отрицательно отозвался о ней (СП. 1845. 17 февр.), а Зотов поместил сочувственный отзыв (СП. 1845. 5 марта).

<sup>6</sup> По-видимому, речь идет о стихотворной комедии Р.Зотова «Новая школа мужей» (опубликована в: Репертуар и Пантеон. 1845. Кн.10), премьера которой в Александринском театре состоялась 4 октября 1845.

<sup>7</sup> На бенефисе В.А.Каратыгина (8 февраля 1845) была исполнена трагедия В.Сежура «Еврей, или Слава и позор».

<sup>8</sup> Булгарин цитирует (не совсем точно) строку из сатиры своего многолетнего журнального оппонента Александра Федоровича Воейкова (1779-1839) «Дом сумасшедших». Опубликованная впервые лишь в 1857, она широко циркулировала в 1830-х — 1840-х в рукописных списках.

<sup>9</sup> Неточная цитата из басни И.А.Крылова «Ларчик» (нужно — «А ларчик просто открылся»).

<sup>10</sup> Я сказал! (*лат.*).

<sup>11</sup> Дочери Булгарина Елене было в это время немногим более 6 лет.

## 17

Благодарю Вас за посылку, почтеннейший Рафаил Михайлович! «Theater-Zeitung»<sup>1</sup> сберегу для Вас, непременно. Песочного мне жаль<sup>2</sup>! Я предсказал это, когда Межевич<sup>3</sup> интриговал, чтоб взять у меня «Репертуар»<sup>4</sup>. Песец<sup>5</sup> дурак — но добрый малый. — О Полевом не дивлюсь<sup>6</sup>! Он на все способен за деньги — даже и на доброе дело! Узнал я его хорошо! — Убьет он и «Лит[ературную] газету», как все убил, к чему ни прикоснулся! — За что ж вам воевать с Гедеоновым? — Если нельзя порицать — скажите — о таком-то или такой-то: *умалчиваем*. Принудить хвалить он не может — а молчать не запретит — а до распоряжений дирекции — я вам давно говорил — мне не *приказано* касаться именем Государя. По случаю приличных декораций в «Деве Дуная»<sup>7</sup> — мне внят-

но сказано: «Я директор!» — Да и зачем нам трогать дирекцию? Наше дело *пьеса* и *игра* актеров. Мы не переделаем Гедеонова!

Погода у нас для прогулки хорошая — но для земледелия — бич! Засуха! Вот два месяца ни капли дождя! С прошлого года голод\*: ждем заразы от ядения мяса хворой скотины. Никто ни об чем не заботится. Чудеса.

Я ужасно работаю. Должен кончить четыре сочинения — и за себя и за *честного* Полевого<sup>8</sup> — который взял деньги вперед и плюнул в кассу.

Пишите ко мне на досуге. Кланяйтесь своим и не забывайте искренно преданного Вам

Ф.Булгарина.

2 июня 1845  
из Богоспасаемого Карлова

ИРЛИ. Ф.548. Оп.1. Ед.хр.71. Л.4-5.

<sup>1</sup> «Театральная газета» (нем.).

<sup>2</sup> Причины этого нам не известны. Возможно, речь идет о том, что с июля Песоцкий был вынужден передать право на издание журнала «Репертуар и Пантеон» В.С.Межевичу (Песоцкий с 1839 был его издателем, со второй половины 1843 к нему в качестве соиздателя присоединился Межевич).

<sup>3</sup> *Межевич* Василий Степанович (1812 или 1814-1849) — критик, журналист. В 1840-1844 сотрудничал в СП, печатал литературные и театральные рецензии, переводы, мелкие заметки и т.д. Позднее стал литературным врагом Булгарина и неоднократно выступал против него в выходивших под его редакцией «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции».

<sup>4</sup> Булгарин редактировал журнал «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров» в 1842, с 1843 редактором стал Межевич.

<sup>5</sup> Таковую кличку Булгарин дал Песоцкому.

<sup>6</sup> Н.Полевой подписал договор с А.А.Краевским, по которому он с 1846 на три года становился полновластным редактором «Литературной газеты».

<sup>7</sup> Балет А.Адана, шел в Петербурге в 1837 во время гастролей Тальони.

<sup>8</sup> Булгарин совместно с Полевым писал роман «Счастье лучше богатства» (Библиотека для чтения. 1845. Т.68, 69; 1847. Т.80-86), оставшийся незаконченным.

---

\* Мой мужичий магазин, слава Богу, полон! Это только у 4 помещиков, а — [слово нрзб.].

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Прошу Вас идти сегодня в Италианскую оперу и составить статью об италийской опере, т.е. об ее открытии<sup>1</sup>.

Наш номер в 4 ряду — 79. Переменили.

При сем, ради бога, прошу вас, не превозносить до небес и даже выше небес г-жу Каstellан, потому только, что кривая рожица ее нравится князю Волконскому<sup>2</sup>! — Вы слишком музыкальны, чтоб не чувствовать, что она *второстепенный талант* и не может никого *привести в восторг* — пением, хотя и имеет хороший сопрано. — Странно, что мы не можем соблюсти одного духа в газете и разногласим на одном листе! Не стесняя вовсе вашей воли, прошу одной справедливости, без оглядки на князей и сильных Земли. —

Искренне преданный

Ф.Булгарин<sup>3</sup>

1 октября 1845

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.1.

<sup>1</sup> Итальянская опера открылась 29 сентября 1845, 1 октября, в день написания письма, состоялся второй спектакль. Отчет Зотова об открытии итальянской оперы был помещен в газете 11 октября.

<sup>2</sup> Зотов не внял просьбе Булгарина. Он писал, что «г-жа Каstellан, хотя и имела на этот раз какую-то слабость в голосе, происшедшую, вероятно, от дороги, но почитатели таланта ее приняли ее с большими аплодисментами», а о ее исполнении во втором спектакле отозвался с большой похвалой.

<sup>3</sup> На обороте письма адрес: «Его высокоблагородию Рафаилу Михайловичу Зотову, на Театральной площади в доме купца Немкова».

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Конечно, русский журналист не может требовать того от своих сотрудников, что французы, но все же: *est modus in rebus!*! — Будь я сотрудником хоть самого завалящего журнала и чувствуй я себя выше и чином, и умом, и породой самого издателя — все же наведалься бы хоть раз в неделю в редакцию: *как и что* — и предложил бы какую-нибудь мысль, узнал, кто в какой театр идет и проч. Переписка — дело *невозможное* — вот в неделю я едва

удосужился написать к вам. У меня и литература — и *дела*. Вы ежедневно прогуливаетесь пешком по Невскому проспекту — следовательно редакция (дом Греча) — вам *по дороге*. Хоть бы в две недели зайти на 5 минут! В изустных объяснениях много было бы выиграно драгоценного времени!

Кресла в италийском театре, во французском всегда почти пусты — а занимать их надобно, по условиям — как можно все переписываться!

Присылаю записку к Дюкерле<sup>2</sup>, если она может быть полезна. Он должен быть мне благодарен — но деньги он ставит выше всех чувств.

Преданный Ф.Булгарин

23 ноября 1845

Спб.

NB. Письмо к Дюкерле запечатайте.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.28.

<sup>1</sup> «Мера должна быть во всем...» (*лат.*) — цитата из Горация (перев. М.Дмитриева).

<sup>2</sup> Установить, кто имеется в виду, не удалось.

17

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Зная Вашу почти сверхъестественную щекотливость [и] выше-человеческую раздражительность, я не посылаю вам подлинного письма А.Н.Греча, в котором он слезно плачет и жалуется, что не может никак поладить с вашими переводами *Смеси*, предпочитая сам переводить, чем *поправлять*, и не понимая ничего без оригинала. Как доказательство, прилагаю при сем две статьи; одну исправленную А.Н.Гречем, другую *вынутую из набора*, по рассмотрении ее в корректуре. Скажите, ради бога, что б было, если б мы *напечатали о мосте* — так, как *вы составили* статью, и было ли что подобное в «Иллюстрации»? Дело налицо — следовательно нет и спора. Пересчитайте, сколько ту *свай*! Сперва 36 двойных (№1) — потом 180 (№2) и наконец 80000 свай (№3). Как 222 арки поддерживаются *сваями*? Да притом 36-ю (см. №1)? — вы перемешали *быки, устои и сваи* — и вышло весть что — а напечатай мы, *уложили бы навеки* «Пчелу»! А что значит *Lloyd austriatico*? Уже или *Adriatico*, или *Austriaco*<sup>2</sup>. При большом листе «Пчелы» — что мы будем делать, когда каждую мелкую статеечку *Смеси*

должно *выправлять, сверять* с оригиналом, отыскивать в газетах и т.п. Ведь это *двойная работа* — а недоспанные ночи — расстраивают здоровье А.Н.Греча. — Ведь «Пчела» первая газета, читается всеми и должна быть образцом слога, языка и правильности. — Валять с плеча нельзя, в надежде на то, что другой *поверит и поправит*. Прежде мы никогда не поправляли сотрудников, да этого и не должно. Если вам трудно переводить или отделять начисто статьи — *удержите театр, а от Смеси откажитесь*, потому что А.Н.Греч решительно объявил, *что более не в силах исправлять и верить*. — Целые короба вашей Смеси лежат у него без употребления — потому что без оригинала он не может исправить — а потом смесь стареется.

Вот вам изложение дела, основанного *на слезной жалобе* Греча и подкрепленное *документами*. Ни из родства, ни из дружбы, ни из уважения я не могу и не должен умолчать об этом, ибо благосостояние «Пчелы» тесно с этим связано — а за сим с истинным уважением и преданностью честь имею быть вашим покорным слугой

Ф.Булгарин

29 декабря 1845  
Спб.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.29.

<sup>1</sup> Иллюстрированный журнал (1845-1849), редактором-издателем которого в 1845 был приятель Булгарина Н.В.Кукольник. Будучи журнальными конкурентами, Булгарин и Кукольник вели мелочную полемику, уличая друг друга в промахах и ошибках.

<sup>2</sup> Lloyd — мореходная компания, Adriatico — т.е. в Адриатическом море, Austriaco — в Австрии.

21

Почтеннейший Рафаил Михайлович!

Приключение с Вашею статьею<sup>1</sup> весьма неприятно, но не знаю, как пособить горю. Заключение ваше (об «Охотнике в рекруты»<sup>2</sup>) переправлено вероятно потому, что Я перед А.Гречем *расплывался в восторгах* — насчет этих сцен и игры Мартынова и Марковецкого<sup>3</sup> — и написал для «Всякой всячины» — что *высшего ничего не знаю*<sup>4</sup>! — О том, что И.И.Сосницкий<sup>5</sup> поддерживал пьесу — *вымарал* г-н директор театра<sup>6</sup> — в чем вам легко справиться. Никогда бы Гречи не подняли руки на Сосницкого — а я



и подавно — да я и не видал статьи вашей! — Это воля командира! — на счет Кажинского<sup>7</sup>, А.Н.Греч сказал мне: «*Надобно смягчить преувеличенные похвалы*» — Мой ответ: «*Смягчи*». — На поверку вышло, что из смягчения сделалось преувеличение вашего мнения. Жаль тем более, что Кажинский у меня домашний человек и еще вчера обедал у меня! — Мое мнение о Кажинском — весьма высокое! — Но из всего этого не стоит делать, как говорят немцы, *спектакль*, а лучше принять меры на будущее время. Вражды к вам у А.Н.Греча нет никакой — а из тромбонов и труб ссориться и оставлять «Пчелу» — просто смешно — или, говоря языком «Отеч[ественных] записок» *ридикюльно*. Зачем в каждом деле видеть злой умысел, вражду, злобу, мщение? Что было бы, если б Я следовал вашей системе? Дело простое: А.Греч взял в руки перо, чтоб смягчить — мнение вылилось — и он, не думая, пустил в свет, в надежде, что вы ему говорили — что *можно исправлять!* Вот и все!

Не обижайтесь завтрашним моим фельетоном. Я излагаю мое мнение о Самойловой 2-й<sup>8</sup>, моей любимице, вопреки вашему мнению, и об эффекте драмы «*La dame de St. Tropez*» на русской сцене. — Вы сказали, [что] драма не произвела эффекта, а она *произвела и производит* фигура! В моих речах соблюдены все приличия — а противуречие мое докажет публике вашу самостоятельность. Иначе быть не может. Все это такие мелочи, что не стоят выеденного яйца — а вы мучитесь, терзаетесь, приходите в отчаянье! Ах, боже мой! — Надобно же движение, трение, качка — чтоб не было застоя! Покойный Кропотов писал, в своем «Демокрите»:

Плюнь на суку,  
Морску скуку!

Искренне любящий и уважающий вас

Ф.Булгарин

8 фев[раля] 1846  
Спб.

РГАЛИ. Ф.207. Оп.1. Ед.хр.11. Л.30.

<sup>1</sup> Речь идет о статье Зотова о бенефисе И.И.Сосницкого в Александринском театре 4 февраля 1846 (СП. 1846. 7 февр.).

<sup>2</sup> Программа бенефиса завершалась «сценами из русского народного быта» П.Григорьева «Охотник в рекруты». О них в упомянутой выше рецензии говорилось, что это — «сцены двух пьяных мужиков, превосходно, мастерски разыгранные Мартыновым и Марковецким. Если обо всем предыдущем должно было нам говорить скрепя сердце, то уже об

этих сценах смело скажем — они *совершенство!* Вот золотая руда, которая ожидает искусной обработки! Вот неоцененный материал для *русского театра!*»

<sup>3</sup> *Мартынов* Александр Евстафьевич (1816-1860) и *Марковецкий* Семен Яковлевич (1819-1884) — актеры-комики.

<sup>4</sup> Булгарин писал: «Мы были в театре в бенефис И.И.Сосницкого и были в восторге от г.Мартынова в маленькой, незначительной пьесе "Охотник в рекруты", в которой изображен на сцене, весьма удачно, крестьянский быт /.../ [Мартынов] был неподражаем в роли крестьянского сына-негодяя, неподражаем в полном значении слова, как Крылов в своих баснях. Каждое движение г-на Мартынова, каждая интонация — гениальность! /.../ г.Марковецкий также был удивительно хорош: его иронический смех — совершенство комисма. Давным давно мы так не наслаждались, как в это представление» (СП. 1846. 9 февр.).

<sup>5</sup> *Сосницкий* Иван Иванович (1794-1871) — актер-комик.

<sup>6</sup> То есть А.Гедеонов.

<sup>7</sup> *Кажинский* Виктор Михайлович (в некот. ист. — Матвеевич; 1812-1867) — композитор, с 1845 — капельмейстер Александринского театра. Печатался в СП. См.: Путевые заметки из музыкального путешествия из Германии // СП. 1845. 15, 21 февр., 2, 7 марта.

<sup>8</sup> То есть о Вере Васильевне *Самойловой* (1824-1880), комедийной актрисе, с 1838 выступавшей на сцене Александринского театра. В рецензии на бенефис В.В.Самойловой Зотов утверждал, что она «одарена большим, самобытным дарованием, но /.../ как будто боится иногда дать ему полную силу и развитие /.../ В излишнем жару редко кого упрекут; недостаток же сейчас ощутителен» (СП. 1846. 30 янв.). Булгарин писал в ответ, что эта актриса «всегда доставляет нам неизъяснимое наслаждение своею милою, натуральною, благородною игрою, и мы все не понимаем, чего требует от нее наш почтенный сотрудник, который, будучи сам знатоком театра, должен был бы соображать ее физические средства с игрою. /.../ Этот нежный, но великолепный цветок мы должны беречь с любовью и лелеять с родительским попечением. Просим покорно нашего почтенного сотрудника, занимающегося театральною критикою, быть не столь строгим к милой, умной и истинно даровитой артистке, щадить ее юность и не требовать от нее гигантских порывов и громовых воплей» (СП. 1846. 9 февр.).

<sup>9</sup> Зотов в своей рецензии, отрицательно оценив пьесу О.Анисе-Буржуа и А.Ф.Деннери «Дама из Сен-Тропеза» (на русской сцене шла под названием «Графиня Клара д'Обервиль»), утверждал, что актерам нечего было играть (СП. 1846. 30 янв.). Булгарин, признаваясь, что «мы и сами не охотники до /.../ так называемых эффектных драм, и также не находим никакого эстетического наслаждения в самом естественном изображении на сцене злобных побуждений души, гнусных пороков, злодеяний и физических страданий», утверждал, тем не менее, что «масса публики и в Париже и здесь любит это, следовательно должно повиноваться,

и наш почтенный сотрудник во всяком случае не прав, не разобрав подробно игры В.А.Каратыгина /.../ Писеса может не нравиться критику во всех отношениях, но если артисты прекрасно исполнили свое дело, то игра их должна быть подробно разобрана, для успеха и искусства».

22

Любезнейший Рафаил Михайлович!

Я искренне люблю Вас и уважаю, но писать к вам — комиссия. Вы *раздражительны* и *мнительны*, а я *откровенен* — вот и беда! Получая письмо — смотрите, из какой души оно вылилось. Иногда комплимент хуже брани.

Владимир Рафаилович<sup>1</sup> человек умный и образованный, с дарованьем, владеет хорошо пером, — и я бы согрешил перед Богом, если б сказал, что я недоволен его фельетонами<sup>2</sup>. — Но он еще не вьелся в фельетон русский. Жюль Жанен<sup>3</sup> пишет 16 столбцов об *одном* предмете, и Европа довольна, а наша публика ведь не Европа, и весь недостаток фельетонов Владимира Рафаиловича в том, что он много говорит *об одном предмете*. У нас любят *разнообразие*. Когда я пишу фельетон, то всегда считаю, о скольких предметах сказано. — Хоть *мелочи* да *свои*, и их-то надобно *побольше*. Попросите от меня Владимира Рафаиловича, чтоб он описал *день* петербургского жителя в городе и *день* петербургского жителя за городом — разумеется *летом*. Это любопытная тема! Говоря об *обеде*, он мне окажет услугу — если отдаст преимущество Ислеру Ивану Ивановичу, в доме армянской церкви, и умолчит о подлеце Легране. Тут с моей стороны нет пристрастия, ибо я раз в два или три года обедаю в трактире, но знаю, как у всех дела производятся. Для русского обеда *Василиевс* (сиречь: царь) — Палкин<sup>4</sup>! Вот у него так я иногда покупаю ботвиньи и кулебяки. Працаки — *чай* в русском трактире на Крестовском *возле гор* — и проч. и проч. и проч., цены извозчиков и проч. и проч. — может быть весьма любопытно<sup>5</sup>.

О расчете с Владимиром Рафаиловичем я пишу к Н.И.Гречу. Извините меня перед Владимиром Рафаиловичем, что я теперь не пишу к нему.

Происшествие с А.Н.Гречем<sup>6</sup> есть случай, который мог быть только *dans le Bas-Empire*<sup>7</sup>, в Византии! Степень литератора и журналиста теперь обозначена. — Мы стоим наряду с бродягами, ворами и пьяницами, которых сажают в полицию предварительно, без суда и расправы! Наше дело терпеть, молчать и молиться Богу: «Господи, и не введи нас во искушение!»... Книга о центральном солнце для вас есть и будет выслана в четверг с Фурма-

ном. Жаль, что это открытие сделано в России! Пожалуй, Кокошкин возьмет в полицию Медлера<sup>8</sup> за то, что он затмил его фонари! Происшествие с А.Н.Гречем облило желчью весь здешний университет. Um Gottes willen! Wo sind Wir?<sup>9</sup> — говорят немцы.

Кокошкин и подобные ему беззаконники — вот враги Царя, отечества, вот истые карбонары, возбуждающие верных подданных к неудовольствию, а у нас on cherche midi à quatorze heures<sup>10</sup>!

Даст Бог, покончу нынешнею зимою все дела мои и скроюсь в моей раковине.

Поцелуйте от меня милаго и умнаго Владимира Рафаиловича и скажите ему от меня, что Межевич подлец и непременно он укусит его или загрязнит<sup>11</sup>.

Обнимаю вас от души.

Друг и покорный слуга

Ф.Булгарин

NB. Прочтите в Евангелии, где сказано: «не надейтесь ни на князи, ни на сильные земли». Леонтий Васильевич позволил А.Греча посадить в полицию! Этого я никогда не ожидал! Если б я был там, труп мой принесли бы в полицию. Видно Богу угодно было спасти меня на этот раз! «Да святится имя Твое, и да будет воля Твоя!»

[Первая половина июля 1846.

Карлово]

Литературный вестник. 1901. №2. С.179-180.

<sup>1</sup> Зотов *Владимир Рафаилович* (1821-1896) — поэт, прозаик, журналист, сын Р.М.Зотова.

<sup>2</sup> В 1846 во время летнего пребывания Булгарина в Карлово (с конца мая по начало сентября) В.Р.Зотов помещал в СП «Городской вестник» (подписываясь Х.З.).

<sup>3</sup> *Жанен Жюль Габриель* (1804-1874) — французский писатель и журналист.

<sup>4</sup> *И.И.Излер, Легран, Палкин* — известные петербургские рестораторы. Еще недавно Булгарин совсем иначе отзывался о Легране, утверждая, что «Легран, в кухонном деле, то же, что Вольтер и Ривароль во французском языке! /.../ Ресторация Леграна — волшебный замок фон Морганы, куда плывут из всех морей рыбы, устрицы, раки и черепахи, куда летят все птицы, бегут все звери и животные и куда подают все заморские фрукты и зелени /.../» (СП. 1843. 5 июня).

<sup>5</sup> В.Р.Зотов исполнил просьбу Булгарина. Вскоре после получения письма он писал в СП: «Как вообще можно провести или убить время в Петербурге? Что делать в нем в течение летнего дня? Вот вопрос, кото-

рый предложил однажды "Городскому вестнику" один деревенский житель, не забывающий в своем роскошном поместье петербургских треволнений» и далее отвечал: «Ресторанов и трактиров в Петербурге бездна. В настоящее время мы должны отдать преимущество *Ислеру*, обеды которого /.../ удовлетворяют всем вкусам и требованиям /.../ Признаемся, что мы не принадлежим к почитателям *Леграна* и находим, что по цене его обедов можно было бы требовать гораздо лучшего. Коренными русскими блюдами не накормит никто лучше *Палкина*, это давно известно» и т.д. (СП. 1846. 20 июля). Через неделю, 27 июня В.Р.Зотов поместил фельетон о дне петербуржца за городом.

<sup>6</sup> В конце мая 1846 петербургский обер-полицмейстер Сергей Александрович Кокошкин (1785-1861) посадил под арест А.Н.Греча (в связи с отсутствием в Петербурге Булгарина и Н.Греча, выполнявшего обязанности редактора СП) за публикацию в газете фельетона, который он посчитал оскорбительным для себя (см. письмо по этому поводу Булгарина А.Ф.Орлову от 5 июня 1846: Новое литературное обозрение. 1994. №6. С.88-90).

<sup>7</sup> В Восточной Римской империи (*франц.*).

<sup>8</sup> *Медлер* Иоганн-Генрих (1794-1874) — известный астроном, профессор Дерптского университета (1840-1865). В 1846 в Дерпте выпустил книгу «Die Centralsonne». В одном из своих «Ливонских писем» (СП. 1846. 10 июня) Булгарин подробно излагал теорию Медлера о существовании «центрального солнца», вокруг которого вращается и наше Солнце.

<sup>9</sup> Боже мой! Где мы находимся? (*нем.*).

<sup>10</sup> Ищут совсем не там, где нужно (*франц.*).

<sup>11</sup> Межевич был причастен к аресту А.Греча.

## 23

До сих пор ждал, не будет ли легче, чтоб явиться к вам, но как болезнь не проходит, то и не могу явиться без головы, а за тем письменно поздравляю Вас с днем Ангела, желаю праздновать еще 50 лет!

С истиннейшим уважением и преданностью  
Ваш покорный слуга

Ф.Булгарин

8 ноября 1847  
СПб.

ИРЛИ. Ф.548. Оп.1. Ед.хр.71. Л.6.

Прошу покорно Владимира Рафаиловича поправить переписанные стихи. Да мне крайне нужно повидаться с Рафаилом Михайловичем, а потому и прошу назначить rendez-vous<sup>1</sup>

преданный Ф. Булгарин

ИРЛИ. Ф.548. Оп.1. Ед.хр.71. Л.3.

<sup>1</sup> Свидание (*франц.*).

# ИЗ ПЕРЕПИСКИ КНЯЗЯ П.А.ВЯЗЕМСКОГО С Н.И.ГНЕДИЧЕМ

Публикация Д.П.Ивинского

Публикуемые письма отражают ход работы Вяземского над статьей «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева», послужившей предисловием к сборнику стихотворений Дмитриева, изданному Вольным обществом любителей российской словесности<sup>1</sup>. Почетным членом этого общества Вяземский был избран 27 сентября 1820<sup>2</sup>. Несмотря на то, что статья Вяземского датирована сентябрем 1821, работа над ней продолжалась и позднее. 23 ноября 1821 Вяземский писал А.И.Тургеневу: «Работа подвигается к концу»<sup>3</sup>. Но еще летом 1822 Вяземский продолжал вносить в текст поправки, вызванные, в частности, замечаниями «дружеского ареопага», т.е. Н.М.Карамзина, Д.Н.Блудова и А.И.Тургенева (Гиллельсон. С.93).

Помещенная здесь часть переписки с Гнедичем обнимает период от начала работы Вяземского над статьей до отправки окончательного текста ее в Петербург. Впереди было драматическое обсуждение статьи Вольным обществом. Гнедич прочел ее на заседании 2 октября 1822; мнения по поводу статьи разделились. Д.И.Хвостов требовал немедленного голосования, предполагая неблагоприятный для Вяземского его исход (в вину Вяземскому ставились его своеобразный слог, отсутствие внешней отделки, а также многочисленные отступления). Общество, однако, не согласилось с Хвостовым, постановив отложить голосование и просить Н.М.Карамзина убедить Вяземского исправить рукопись (подробнее см.: Гиллельсон. С.93-94). Чрезвычайно существенными оказались цензурные изъятия. Одно время Вяземский предполагал даже переводить «Известие...» на французский язык и печатать в Париже (ОА. Т.2. С.298). Статья появилась в свет в неполном виде, о чем и говорилось в издательском предисловии к «Стихотворениям И.И.Дмитриева».

<sup>1</sup> Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. Ч.1. СПб., 1823. С.1-111. Статья неоднократно перепечатывалась (в т.ч.: Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т.1. СПб., 1878. С.112-166; далее: Вяземский П.А.). О статье Вяземского, ее обсуждении в Обществе любителей российской словесности и отзывах современников см.: Гиллельсон М.И. Новое о статье П.А.Вяземского «Известие о жизни и стихотворениях И.И.Дмитриева» // Русская литература. 1962. №3. С.219-223; Гиллельсон М.И. П.А.Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С.84-95 (далее — Гиллельсон).

<sup>2</sup> См.: Базанов В.Г. Ученая республика. М.; Л., 1964. С.447.

<sup>3</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. Т.2. СПб., 1899. С.229 (далее — ОА).

В публикуемых письмах отразилась и история отношений Вяземского и Гнедича. Первые письма Гнедича — официальные по тону, лаконичные и сухие. Вяземский в ответных письмах столь же сдержан. Эта сдержанность и даже холодность, конечно, не были случайными. Вяземский никогда не воспринимал Гнедича как близкого по духу литератора и невысоко оценивал его авторское дарование. 22 января 1817 в письме Д.Н.Блудову он так отзывался о предпринятом Гнедичем переводе «Илиады»: «Вы, почтенная Кассандра<sup>4</sup>; пророк истинного Вкуса. Я уверен, что Вы предсказываете дурной перевод Илиады, и я благоговею перед Вашею пронизательностью» (Гиллельсон. С.368; иронический отзыв Блудова о Гнедиче в ответном письме см.: Там же. С.371-372). Подобное отношение к Гнедичу, по-видимому, отражало его арзамасскую репутацию (Там же. С.370). Тем любопытнее, что в момент оживления переписки Вяземский, говоря Гнедичу о Катенине, едва не переходит на «арзамасское наречие», используя те катенинские стихи, которые был значимы для него именно в арзамасском контексте («плешивый месяц» и т.д.)<sup>5</sup>. Впрочем, игровой характер некоторых писем не может, кажется, рассматриваться как свидетельство дружеского сближения поэтов: после выхода в свет «Стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева» их переписка замирает — общих тем более не было. Едва ли возникли они и впоследствии, во время, по-видимому, довольно редких встреч Вяземского с Гнедичем в Петербурге<sup>6</sup>.

\*\*\*

В подборку для полноты охвата материала мы включили три письма, опубликованных ранее (Гнедича Вяземскому от 15 августа 1821 и Вяземского Гнедичу от 7 мая и 3 июля 1822). Все письма публикуются с сохранением существенных особенностей орфографии и пунктуации авторов.

<sup>4</sup> Арзамасское прозвище Блудова.

<sup>5</sup> В «Арзамасе» «баллады Катенина служат источником собирательных имен беседчиков. "Адской сволочи скаканье" (1 публикация "Ольги") трансформируется в "адскую сволочь" "Беседы /.../"; "мухомор" (1 редакция "Лешего") превращается в "мухоморов Беседы" /.../. Эти имена воспринимались арзамасцами как примета ложного, смешного стиля, чуждого жанру баллады. Наделение арзамасца именем, взятым из баллады "анти-Жуковского", означало наказание: включение провинившегося в число осмеиваемых противников Арзамаса. Ср.: "угрозу" Эоловой арфе: "Признать его покойником /.../. Переименовать его из Эоловой Арфы Убийцею или Лешим, или Плешивым месяцем /.../"» (Ронинсон О.А. О «грамматике» арзамасской «галиматзи» // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 822. Тарту, 1988. С.6-7).

<sup>6</sup> См.: Вяземский П.А. Записные книжки (1813-1848). М., 1963 (далее — Записные книжки). С.169, 177.



Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Вследствие изъявленного Вашим Сиятельством согласия написать жизнь И.И.Дмитриева к новому изданию Стихотворений его, и с нею вместе взгляд на его Поэзию, Комитет из членов Общества Любителей Российской Словесности, составленный для сего издания, обращается к вам, как члену Общества, и просит приступить к труду сему. Вы, милостивый государь, как близко знакомый с почтеннейшим автором<sup>1</sup>, более нежели кто-либо знаете главнейшие черты жизни его, а как Литератор, отличающийся тонкостью вкуса, более другого чувствуете красоты его произведений и характер их отличающий. Комитет питается приятною надеждою, что талант Ваш, в сем роде испытанный<sup>2</sup>, составит лучшее украшение издания.

С истинным почтением и таковою же преданностию честь имею быть,

милостивый государь, Вашего Сиятельства  
покорнейшим слугою Николай Гнедич.

№591

15 Августа 1821

Его Сият[ельству] Князю П.А.Вяземскому,  
Г[осподину] Почетному члену Вольного  
Общества Любителей Российской  
Словесности.

РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.5084. Л.100. Впервые опубликовано М.И.Гиллельсоном (Гиллельсон. С.84). Текст письма сверен с автографом.

<sup>1</sup> Вяземский еще в детстве познакомился с И.И.Дмитриевым, довольно часто бывавшим в московском доме Вяземских и в их подмосковном имении Остафьево. В глазах Вяземского Дмитриев, наряду с Карамзиным, — незыблемый авторитет в литературном мире. Эту оценку значения Дмитриева в истории русской литературы Вяземский пронес через всю жизнь, не уставая отстаивать ее правильность — в т.ч. в полемиках с Ф.В.Булгариным (см.: Сын Отечества. 1824. Ч.1. №14. С.306-312) и А.С.Пушкиным (Вяземский П.А. Т.1. С.153-166). Вяземский отдал должное Дмитриеву и в своей лирике («Дом Ивана Ивановича Дмитриева», 1860). Об отношениях Вяземского и Дмитриева см. также: Вяземский П.А. Т.1. С.ХХVIII-ХХIX; Письма И.И.Дмитриева к князю П.А.Вяземскому. СПб., 1898; Письма П.А.Вяземского к И.И.Дмитриеву // Русский архив. 1866. №11/12. Стлб.1691-1721; 1868. №4/5. С.602-658; ОА. Т.1-5 (по указ.); Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву.

СПб., 1866 (по указ.); Письма к П.А.Вяземскому о кончине И.И.Дмитриева / Комм. К.Я.Грота // Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. 1901. Т.VI. №4. С.237-238, 243-246; Гиллельсон (по указ.).

<sup>2</sup> Речь идет о статьях Вяземского «О Державине» (1816) и «О жизни и сочинениях В.А.Озерова» (1817).

## 2

Милостивый государь Николай Иванович!

С покорностию, но не без робости, принимаю поручение, возлагаемое на меня лестным назначением Общества Любителей Российской словесности и приношу Вам, милостивый государь, мою признательность, за изъявление мне его воли, в письме Вашем от 15 августа. Приложу возможное старание, чтобы сделать труд мой достойным и писателя, о коем буду говорить, и Общества, которое готовит читателям просвещенным издание поэта, едва ли не более других приучившаго русскую публику читать русские стихи. Усердие мое, руководствуемое советами избранного комитета, приблизит меня, может быть, до желаемой цели. Начну просьбою разрешить мне следующие запросы: Как пространно быть должно известие о жизни гражданской и авторской Ив[ана] Ив[ановича] Дмитриева? не лучше ли заняться исключительно описанием последней, ибо в описании первой, при нынешнем ограничении свободы письменной, предвижу затруднения, почти неподобимыя, а сухое изложение постепенного прехождения из чина в чин почитаю более некрологиею, чем Биографию Поэта? К какому времени должен быть окончен мой труд? При сем долгом представляю себе предварить Вас, что частныя дела, вызывающия меня на месяц и более из Москвы, не позволят мне приняться за работу прежде, как только по возвращении моем домой. На всякий случай, прошу покорнейше, доставить мне список с краткого известия о жизни Ив[ана] Ив[ановича] Дмитриева, им самим доставленного Н.И.Гречу; и еще желательно было бы мне иметь список с оглавления стихотворений, поступающих в новое издание<sup>1</sup>.

С истинным почтением и постоянною преданностию, честь имею быть, милостивый государь,

Вашим покорнейшим слугою

К[нязь] П.Вяземский

Остафьево

4 Сентября 1821 года

Печатается по рукописной копии: РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.1242. Л.1. Черновой автограф, почти не различающийся с текстом копии, см.: РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.1052. Письмо это того же 4 сентября 1821 Вяземский отослал А.И.Тургеневу, который и передал его Гнедичу (ОА. Т.2. С.208). Несколькими днями ранее, 29 августа, Вяземский просил Тургенева передать Гнедичу, что его письмо получено (ОА. Т.2. С.206).

<sup>1</sup> Ожидая ответа на эти «запросы», Вяземский писал Тургеневу и просил поторопить Гнедича: «Скажи Гнедичу, чтобы он скорее высылал требуемое мною» (ОА. Т.2. С.213, письмо от второй половины сентября 1821; см. также: ОА. Т.2. С.217, письмо от 19 октября). Гнедич в это время болел, и по его просьбе Вяземскому отвечал Н.И.Греч; в письме его от 18 октября 1821, в частности, говорилось: «Н.И.Гнедич поручил мне отвечать Вам на письмо Ваше к нему. Он страдает в течении 4-х недель ужаснейшею простудою, и едва начал оправляться, как постигло его несчастье смертью одного любезного ему человека, однофамильца его, доктора Гнедича. Биографические сведения о И.И.Дмитриеве при сем препровождаю в копии. Равномерно посылаю и список Сочинений И[вана] И[вановича], печатаемых в новом издании. Стихотворения, отмеченные знаком NB, почтенный наш Поэт хотел было исключить из сего нового издания, но по просьбе В[ольного] Общества Любителей Р[оссийской] Словесности согласился оставить оныя. На вопрос ваш: скоро ли нужна сия биография, отвечаем, что ныне приступаем к печатанию книги, которая кончена будет месяца через два, к которому времени желательно было бы иметь и биографию. Вы спрашиваете еще, велика ли она должна быть? На сие отвечать трудно. По моему мнению, чем больше, тем лучше. И предмет сей Биографии и Сочинитель ее так любезны всей Отечественной публике, что она с удовольствием примет страницы, которые в других обстоятельствах могли бы показаться лишними» (РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.5084. Л.12-12об. Сообщено С.И.Пановым).

### 3

Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Вольное Общество Любителей Российской Словесности, издавая Стихотворения Попечителя своего Ивана Ивановича Дмитриева, желало бы украсить оныя портретом Его Высокопревосходительства. Вашему Сиятельству конечно известно, что из числа гравированных портретов нашего Попечителя нет ни одного верного, а между тем слышно, что у Платона Петровича Бекетова<sup>1</sup> есть весьма похожий. Комитет, составленный для издания сих сочинений, поручил мне покорнейше просить Ваше Сиятельство принять на себя труд исходатайствовать у Платона Петровича означенный портрет и прислать в Общество, которое избереет для выгравирования оного искусного художника и с благодарностию

возвратит Вашему Сиятельству. Присовокупляя к просьбе Комитета и мою собственную, с истинным почтением и совершенною преданностию честь имею быть,

милостивый государь, Вашего Сиятельства  
покорнейший слуга Н.Гнедич

№864

9 Ноября 1821, С.Петербург  
Его Сият[ельству] Г[осподину]  
Почетному члену Общества  
Князю П.А.Вяземскому

РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.1729. Л.1-1об.

<sup>1</sup> П.П.Бекетов (1761-1836) — двоюродный брат И.И.Дмитриева, поэт, переводчик и издатель. См. о нем: Словарь русских писателей XVIII века. Вып.1. (А-И). Л., 1988. С.76-77 (статья Г.Н.Ионина).

4

С[анкт-] П[етер]бург.  
Декаб[ря] 3. 1821.

Милостивый государь князь Петр Андреевич!

К вам, если не ошибаюсь, было послание от общества с просьбою касательно портрета И.И.Дмитриева. Время бежит и велит мне повторить просьбу; дело вот в чем. Портрет к настоящему изданию необходим. В Петербурге, несмотря что есть много их живописных, нет ни одного даже порядочного; а в Москве у П.П.Бекетова, как уверяют все видевшие, прекрасный. Поэтому можете судить, какое благотворение сделаете вы, князь, обществу, если исходатайствуете этот портрет у Платона Петровича и доставите его к нам, свернув, как обыкновенно делается с картинами, одну холщану, буде рамка огромна. Он во всей сохранности возвратится почтенному хозяину с свидетельством признательности Общества. — Но когда, от чего Боже сохрани, вы встретите в этом затруднение, не оставьте, князь, известить меня, чтоб благо временно принять в деле сем другие способы, хотя впрочем я не предвижу их более.

Да хранят Вас Пенаты здоровым для дома и Парнасса и большим для света. С совершенным почтением имею честь быть навсегда

Вашего Сиятельства  
покорнейший слуга Н.Гнедич

РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.5082. Л.98.

Москва.  
Декабря 12-го 1821.

Милостивый государь, Николай Иванович!

Стечение разных обстоятельств было причиною моего молчания. Болезнь сына<sup>1</sup>, переезд мой, в следствии того, из деревни в город, хлопоты в приискании дома и проч., и проч. Но между тем поручение Общества не было мною забыто. Портрет, находящийся у П.П.Бекетова, мне неизвестен, но Ив.Ив.Дмитриев сказывал мне, что он вовсе не схож, и узнав от меня, что Вы желаете придать к изданию Стихотворений портрет его, он велел списать себя<sup>2</sup>. Список кончен, но я не доволен сходством и попытаюсь заказать другой портрет; по отделке и сличении не замедлю доставить Вам, милостивый государь, тот, который по большинству голосов, или глаз, окажется лучшим. Моя работа доведена до окончания и находится теперь в мытье. Как скоро ее перебелят, поспешу прислать Вам на рассмотрение. Молодой Олсуфьев<sup>3</sup> имеет для Вас письмо от Батюшкова<sup>4</sup>, которое должен вручить лично: нездоровие задерживает его в Москве. Приезжайте к нам послушать Россини<sup>5</sup>: теперь есть кого послушать в Москве. На днях в нашем обществе слушали мы «Гармонию» Мерзлякова<sup>6</sup>, но не могли вслушаться. Бобров<sup>7</sup> прозрачен в сравнении с ним. Да хранят и Вас Пенаты здоровым для Гомера<sup>8</sup>, а глухим и не чающим движения для Хвостова<sup>9</sup>, Каченовского<sup>10</sup> и тем подобных! Честь имею при сем свидетельствовать Вам, милостивый государь, чувства мои совершенного уважения и постоянной преданности.

Вяземский.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф.1225. Оп.2. Ед.хр.5. Л.1. На обороте письма адрес: Милостивому государю Николаю Ивановичу Гнедичу. В С.Петербург.

<sup>1</sup> Речь идет о сыне Николае (30 апреля 1818 — 9 января 1825). 22 ноября 1821 Вяземский писал А.И.Тургеневу: «Жена отвезла сегодня в город Николеньку, который не очень здоров. Бог знает, чего ждать? Мы так несчастны в сыновьях, что сердце замирает» (ОА. Т.2. С.227). См. также: Письма Н.М.Карамзина к князю П.А.Вяземскому: 1820-1826: Из Осташевского архива. СПб., 1897. С.120. Семейные дела, вероятно, и обусловили задержку с отправкой этого письма к Гнедичу, т.к. лишь 19 декабря Вяземский приложил его к посланию своему Тургеневу (ОА. Т.2. С.234).

<sup>2</sup> 11 декабря 1821 И.И.Дмитриев писал Вяземскому: «Живописный портрет у П.П.[Бекетова] еще менее похож, нежели этот [работы Герена], а гравированный им, столько же пакостен, как и выданный при образ-

цовой неопрятнице обоих изданий. И так не лучше ли дожидаться конца Гереновой работы? Ежели не сходен, то можно заказать бумагу и по крайней мере этот расположен и отработан с довольным вкусом» (Старина и новизна. Т.2. СПб., 1898. С.150). Как следует из письма Гнедичу, Вяземский не был удовлетворен работой живописца и заказал другой портрет у Вивьена (см. ниже письма 7 и 8).

<sup>3</sup> *Олсуфьев* Василий Дмитриевич (1796-1858).

<sup>4</sup> По-видимому, имеется в виду письмо Батюшкова Гнедичу от 21 июля / 3 августа 1821 из Теплица (Батюшков К.Н. Сочинения. Т.2. М., 1989. С.569-570).

<sup>5</sup> *Д.А.Россини* (1792-1868) — итальянский оперный композитор. Об отношении Вяземского к его произведениям см.: Записные книжки (по указ.). О выступлении итальянской оперной труппы в Москве в 1821-1822 и о восприятии музыки Россини в Москве см. в статье Вяземского «Поживки французских журналистов в 1827 году» (Вяземский П.А. Т.2. С.71). 22 ноября 1821 Вяземский писал А.И.Тургеневу: «В Москве я упивался Италией и точно блаженствовал: итальянская труппа очень хороша. Такое наслаждение в Москве невероятно. По музыке Россини можно Богу молиться: она шевелит душу и вливает какую-то весеннюю похоть в кровь. Не понимаю Батюшкова! Как скучать в отечестве Россини и его музыки! Я от них почти Москву полюбил» (ОА. Т.2. С.227).

<sup>6</sup> Стихотворение *А.Ф.Мерзлякова* «Гармония», с чтением которого он выступил в Обществе любителей российской словесности при Московском университете, было напечатано в «Трудах общества любителей российской словесности» (1822. Ч.1). Об отношениях Мерзлякова с Гнедичем см.: Лотман Ю.М. А.Ф.Мерзляков как поэт // Мерзляков А.Ф. Стихотворения. Л., 1958. С.40-41. Неприязненное чувство к Мерзлякову Вяземский вынес, кажется, из отроческих лет. Во всяком случае, именно Мерзляков был адресатом его первой эпиграммы (Вяземский П.А. Т.1. С.ХIII). Впоследствии Вяземский не раз говорил о литературной позиции Мерзлякова резко отрицательно (см., напр.: ОА. Т.1. С.131). Это, однако, не помешало Вяземскому оценить переводы Мерзлякова из Тиртея (Гиллельсон. С.21-22) и сожалеть о Мерзлякове: «Жаль, что он одурел в университетской духоте» (ОА. Т.3. С.13).

<sup>7</sup> Поэзия *С.С.Боброва* (1765-1810) — постоянный объект насмешек в кругу карамзинистов, воспринимавших его как «арханста» (Зайонц Л.О. «Маска» Бибруса // Ученые записки Тартуского университета. Вып.683. Тарту, 1986). Репутация «дикого» и «сумбурного» поэта закрепилась за Бобровым в значительной мере благодаря усилиям Вяземского (см. его эпиграммы на Боброва 1810 года «Быль в преисподней» и «К портрету выпренного поэта»).

<sup>8</sup> Гнедич в это время продолжал работу над переводом «Илиады».

<sup>9</sup> *Д.И.Хвостов* (1757-1835), воспринимавшийся современниками как докучливый графоман, в глазах карамзинистов — живое воплощение вырождения традиций высокой поэзии XVIII в. Вяземский посвятил

Хвостову несколько эпиграмм (см.: Русская эпиграмма второй половины XVIII - начала XX в. [Л.,] 1975. С.264-265) и пародий (см.: Записные книжки. С.7-10).

<sup>10</sup> М.Т.Каченовский (1775-1842) выступил с критическим разбором предисловия Карамзина к его «Истории государства российского» и высказал целый ряд замечаний, чем обратил на себя негодование кружка карамзинистов. В 1818 Вяземский выступил против Каченовского с эпиграммами, в 1821 — напечатал свое чрезвычайно резкое «Послание...» к нему (Сын Отечества. 1821. №2).

6

С[анкт-] Петербург.  
Дек[абря] 27. 1821.

Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Нельзя лучше как Вы устроили в рассуждении портрета И.И.Дмитриева. Вам будет обязано общество за оба изображения нашего знаменитого Поэта — и словесное и живописное. Как велико нетерпение, с каким ожидаем мы и того и другого, такая ж и благодарность ожидает Вас от соревнователей, а без сомнения и читателей. Эта книга будет кажется издана по-европейски; одна бумага пугает меня; по долгом, но напрасном искании хорошей, я решил заказать; это несколько позамедлит издание, но хуже бы было поспешить и людей насмешить.

Письмо Батюшкова меня чрезвычайно интересует; представьте себе, что этот Тассенок присылает другую уже просьбу об увольнении его, и от чего же? от свободы ездить по белу свету. Нельзя ли Вам, князь, сделать большого одолжения: получить от г.Олсуфьева, если он болен, письмо Батюшкова и мне его перебросить; может быть из него я узнаю какая-либо поручения или нужды Батюшкова, не терпящая отлагательства. Что до Гармонии Россиниевской и Российской, мы Вам не завидуем; последнюю и мы не скудны, а первую услышим и здесь. Как подает нам надежды новая Конституция театра; в нем произведена страшная революция и Майков треснул на царство<sup>1</sup>. Снабдите меня адресом к Вам, чтобы впредь не затруднять Кокошкина<sup>2</sup>. Прошу сказать мой усердный поклон Василию Львовичу Пушкину; а себя прошу уверить в моем искреннем к вам почтении и преданности, с которыми имею честь быть,

Милостивый государь, Вашего Сиятельства  
покорнейший слуга Н.Гнедич.

<sup>1</sup> Речь идет о назначении Аполлона Александровича *Майкова* (1761-1838) на должность директора петербургских театров (см.: Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С.312-313). Гнедич обыгрывает текст басни И.А.Крылова «Лягушки, просящие царя» (1809): «И плотно так он треснулся на царство, // Что ходенем пошло трясинно государство» (Крылов И.А. Сочинения. М., 1956. Т.1. С.59).

<sup>2</sup> *Ф.Ф.Кокошкин* (1773-1838) — член Общества любителей российской словесности, драматург; находился в приятельских отношениях с Вяземским (Вяземский П.А. Указ. изд. Т.7. С.33).

7

Милостивый государь Николай Иванович!

Списывается скорее, чем описывается; вот Вам портрет Ив[ана] Ив[ановича], а Биографии моей все еще нет. Портрет, кажется, похож, и еще был бы похоже под париком, но Ив[ан] Ив[анович] не хотел соглашаться. Испытайте накрыть голову и Вы убедитесь в истине моих слов. Благодарю Вас, милостивый государь, за письмо Ваше от 27-го декабря. Увижусь с Олсуфьевым и постараюсь исполнить Ваше требование. Сделайте милость, не берите у нас Росснии: нам уже надоели наши разины. Одно и есть только изящное удовольствие, и то хотите у нас отнять, и по какому же праву? Я рад за Аполлона, отца многолюдного семейства, но радоваться ли за театр? Впрочем, кажется, пока театр у нас будет казенная палата нель[з]я ожидать ничего хорошего<sup>1</sup>. Искусства, по крайней мере, должны быть свободны и вольная продажа талантов позволена. С которых пор усовершенствовалось у нас книгопечатание? С заведения вольных типографий<sup>2</sup>. Соревнование везде необходимо. Бедный Вас[илий] Львов[ич] сидит с подагрою: она его колет в палец, а г-н Плетнев в сердце худыми известиями о печатании, или лучше сказать, не печатании его Стихотворений<sup>3</sup>. Поздравляю Вас с новым годом, если есть с чем и с истинным уважением и неизменною преданностию, честь пребыть имею, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга,

К[нязь] П.Вяземск[ий].

2 Января. 1822-го. —

Вот мой адрес: у Спаса на Песках, близ Арбата в доме Щепочкина. Скажите мой усердный поклон Вашему по дому и Парнаассу соседу Ив[ану] Анд[реевичу] Крылову и Алексею Ник[олаевичу] Оленину<sup>4</sup>.

В[яземский].



Ив[ан] Ив[анович] просит Вас прислать ему 6 оттисков его портрета на лучшей бумаге, а я прошу возвратить мне подлинник.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф.1225. Оп.2. Ед.хр.5. Л.3-3об.

<sup>1</sup> Вяземский и в печатных текстах неоднократно обнаруживал свое невысокое мнение о состоянии русского театра: «наш театр со всеми принадлежностями стоит так одиноко, обращает на себя такое маловажное и второстепенное внимание», — читаем в статье его «Тальма» (1827) (Вяземский П.А. Т.1. С.311). О том же он писал и десятью годами ранее в статье «О жизни и сочинениях В.А.Озерова» (1817): «Драматическое искусство у нас еще в колыбели» (Там же. С.30).

<sup>2</sup> Речь идет об указе 15 января 1783, которым императрица Екатерина II разрешила открывать вольные (т.е. негосударственные) типографии. Еще до того, 1 марта 1771, И.М.Гартунгу было разрешено печатать книги на иностранных языках, а 22 августа 1776 книгопродавцам Вейнбрехту и Шнору — на русском. 16 сентября 1796 вольные типографии были запрещены (Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры: 1700-1863 г. СПб., 1892. С.36-37, 64).

<sup>3</sup> Имеется в виду сборник В.Л.Пушкина (1766-1820) «Стихотворения Василия Пушкина» (СПб., 1822), издателем которого был П.А.Плетнев и о котором писал Вяземский (Сын Отечества. 1821. Ч.73. №46. С.284-286; Вяземский П.А. Указ. изд. Т.1. С.71-72).

<sup>4</sup> Крылов и Гнедич служили в Публичной библиотеке и жили рядом с нею в библиотечном доме, напротив Гостиного двора. Об их положении в оленинском кружке см.: Голубева О.Д. Хранители мудрости. М., 1986. С.117-125, 172-179.

8

С[анкт-] П[етер]бург.  
Ген[варя] 11. 1822.

Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Если нам не с чем поздравить себя при новом годе, то есть чего пожелать; не надеюсь однакож моими желаниями что-нибудь прибавить к собственным Вашим. — Портрет Ивана Ивановича получен; в нем есть и сходство, впрочем не большое, как замечает Николай Михайлович и Катерина Андреевна, а Софья Николаевна<sup>1</sup> даже и не находит его. Но вот беда: общество желает издать портрет хороший, чистым резцом гравированный, а рисунок Вивьена сделан для беднейших в своем роде гравировок заказных, пунктированных. Этого мало; портрет, замечают худож-

ники, нарисован плохо. Голова, уверены они, нарисована без лба: обнижение ж головы не есть лоб; череп сверху — срезан неестественным образом, от чего пропорции головы потеряны; на лице положены светы совершенно-ложные, и черты его так округлены, как они бывают только на лицах детей и [т]щедушников, по выражению в бозе почивающего Третьяковского. Одним словом Уткин<sup>2</sup> не находит способов по рисунку Вивьена сделать что-нибудь порядочное, и поелику недостатки рисунка публика относит вообще на счет гравиров, то Уткин и гравировать не решает. Помочь этой беде я думал было бюстом Ив[ана] И[вановича]; то есть чертами его пополнить недостатки рисунка. Но Уткин находит такую разницу между выразительностью черт на бюсте видимых и плоскостью их на рисунке, что соглашается гравировать по одному бюсту, не принимая в соображение рисунка. Что делать? Бюст Ивана Ив[ановича] прекрасен, но чтоб живых людей гравировали по бюстам — не водится. Мелькает надежда, хоть и бледная: говорят будто Ив[ан] Ив[анович] располагает нынешней зимою приехать в Петербург? Бросьте нам луч ее более светлый или совсем погасите обманчивый. В последнем случае мы на что-нибудь решимся. Если с помощью бюста нельзя будет помочь рисунку, ничего не останется более, как гравировать бюст, когда только Ивану Ивановичу это не будет неприятно; а гравировку по нем можно сделать прекрасную. —

Пролейте бальзам в сердце Василия Львовича: подписка на издание стихотворений его — в ходу. Вчера и я у Никол[ая] Михайловича [Карамзина] умножил число его подписчиков<sup>3</sup>. — Ваше мнение о театре — истина неоспоримая, которую в один из Гатчинских вечеров проповедовал я Императрице, но истина для нас печальная: исполнения оной не видать нам, как ушей своих. — В этом месяце является на сцену стар[шая] Семенова<sup>4</sup>, но сдала сцену для бенефиса Валберховой<sup>5</sup> — соперницы своей во время оно; поступок необыкновенно благородный. — Сосед мой<sup>6</sup> посылает вам также усердный поклон свой и хотел было сделать это своеручно, но посовестился вводить вас в затруднение. С душевным почтением и преданностию имею честь быть навсегда, милостивый государь, Вашего Сиятельства покорнейшим слугою Н.Гнедич.

РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.5084. Л.102-103.

<sup>1</sup> Речь идет о Н.М., К.А. и С.Н.Карамзиных.

<sup>2</sup> Н.И. Уткин (1780-1863) — известный гравер. См. о нем: Северная пчела. 1860. №4, 5.

<sup>3</sup> Речь идет о подписке на «Стихотворения Василия Пушкина» (СПб., 1822).

<sup>4</sup> Е.С.Семенова (1786-1849) — трагическая актриса, ученица Н.И.Гнедича. Не выступала на сцене с мая 1819, а в январе 1820 была уволена в отставку, о которой просила после того, как роль Аменазиды в трагедии Вольтера «Танкред» (перевод Гнедича) была передана А.М.Колосовой (Медведева И. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964. С.202-209).

<sup>5</sup> В бенефисе М.И.Вальберховой (1788-1867), своей давней соперницы, Семенова выступила 16 января 1822 (Благонамеренный. 1822. Ч.17. №6. С.227; Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С.314) в роли Клитемнестры в трагедии Расина «Ифигения в Авлиде». Выступление Семеновой вызвало восторг публики и восторженные отклики журналов. Денежный сбор, поступивший в пользу Вальберховой, которая тогда была очень стеснена в средствах, составил около 12000 рублей.

<sup>6</sup> И.А.Крылов.

9

Москва.  
Маия 7-го дня 1822 года.

Милостивый государь Николай Иванович!

Я имел честь получить почтеннейшее отношение Ваше (говоря официальным языком) и приношу мою благодарность за официальные похвалы (приемлемые мною, как многия официальные истины), коими угодно поощрить Вам меня к окончанию труда, возложенного на меня благосклонностию Общества. Портрет, работы знаменитого Тончи<sup>1</sup>, на днях окончен и будет доставлен в Петербург по первому верному и удобному случаю. Биография также написана, но еще не переписана набело ни в письменном, ни в авторском отношении. Узнав от Вас, милостивый государь, что издание сочинений Ив[ана] Ив[ановича] Дмитриева подвигается к совершенному отпечатанию, поспешу и я принести дань своего уважения к Обществу, удостоившему меня лестным поручением, и к писателю, коего дарования и благородные качества были для меня всегда драгоценны.

Прошу покорнейше уверить Общество в готовности моей неумоимо содействовать, сколько силы и средства мои мне позволят, успеху его полезных предприятий и разделить с ним засвидетельствование моего искреннего уважения и неограниченной преданности.

Вяземский.

Из собрания автографов Императорской публичной библиотеки: Письма и записки к Н.И.Гнедичу: Письма князя П.А.Вяземского. СПб., 1898 (далее — Из собрания автографов...). С.49-50.

<sup>1</sup> С.Тончи (1756-1844) — итальянский художник, портретист. С 1800 жил в Москве. Портрет, о котором шла речь в письме Вяземского от 22 января 1822, был все же признан неудачным, и Вяземский возобновил свои хлопоты. 30 января 1822 он писал А.И.Тургеневу: «Сделай одолжение непременно и немедленно дай знать Гнедичу, хотя через какого-нибудь телеграфа, или скотографа, например, Хвостова, что не отвечаю ему на письмо его от января 11-го потому, что все еще вожусь с Тончи, которого уговариваю писать портрет Ивана Ивановича [Дмитриева], а о портрете с бюста Дмитриев и слышать не хочет» (ОА. Т.2. С.243). Следующее известие — в письме от 20 февраля: «Скажи Гнедичу, что вчера Тончи начал портрет Ивана Ивановича» (Там же. С.246). В мае портрет был готов. 22 мая Вяземский сообщал Тургеневу: «Я отдал [А.Я.] Булгакову для пересылки к тебе портрет Дмитриева, нарисованный Тончи: отдай его Гнедичу с тем, чтобы он оригинал — этот и прежде посланный возвратил мне, а прежний и поскорей, потому что живописец хочет его литографировать» (Там же. С.254). 28 мая Тургенев отвечал, извещая Вяземского об исполнении его поручения (Там же. С.256).

10

С[анкт-] П[етер]бург.  
Маия 17. 1822.

Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Все кончено, можно бы сказать об издании; но у Вас в руках конец его, или то, что увенчает наше дело. И так могу только сказать, что издание уже отпечатано; остался один заглавный лист, ожидающий своего украшения. По этому Вы можете судить, что не худо бы ускорить присылкою и портрета: для гравирования нужно довольно времени. —

Здесь мелькнул Батюшков, или лучше сказать, видение из Берегов Леты<sup>1</sup>, существо, впрочем, покрытое плотию цветущею, как и прежде, но забывшее все прежнее, до самой дружбы. Он уехал — рукой махнул и скрылся! Уехал в Крым; на Кавказ и еще куда-нибудь — искать здоровья, которое у чудака совершенно здоровое<sup>2</sup>. — Как не повторить за ним: Сердце наше кладезь мрачной!<sup>3</sup> — Мы теперь возились с Орлеанскою<sup>4</sup>, которая, как вам известно, est un coeur de Lion<sup>5</sup>: несмотря на это наши богатыри могли бы поломать ее пуще Божиего милосердия, если б ее в театре [оставить] на произвол милосердия Божьего. Семенова старшая будет играть орлеанку: вы не можете представить, какие шаги сделала

она в искусстве. Любуется ли вы удалством Катенина?<sup>6</sup> Каково он в отставке<sup>7</sup> воинствует? Ни в чьем однакож слоге не находил я столько убеждения, что слог — человек<sup>8</sup>. Конец каждой фразы, как ни произносите ее, а все он просит руки уставить в боки, стать фертником.

Примите не официальное свидетельство моего отличного почтения и преданности, с какими имею честь быть,  
милостивый государь, Вашего Сиятельства  
покорнейшим слугою Н.Гнедич.

РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.5082. Л.99-99об.

<sup>1</sup> Гнедич обыгрывает заглавие сатиры Батюшкова «Видение на берегах Леты» (1809).

<sup>2</sup> Гнедич ошибался: в это время душевное заболевание Батюшкова проявилось уже с полной определенностью. См.: Сандомирская В.Б. Батюшков // Русские писатели. 1800-1817: Биографический словарь. Т.1. М., 1989. С.178-179.

<sup>3</sup> Цит. из стихотворения Батюшкова «Счастливец» (1809-1810).

<sup>4</sup> Речь идет о драме Ф.Шиллера «Орлеанская дева» в переводе Жуковского.

<sup>5</sup> Имела душу льва (*франц.*).

<sup>6</sup> Имеется в виду «Письмо к издателю "Сына Отечества"» (Сын Отечества. 1822. Ч.76. №13. С.249-261), в котором Катенин, полемизируя главным образом с «Опытом краткой истории русской литературы» Н.И.Греча (СПб., 1822), задел вместе с тем Гнедича и Вяземского.

<sup>7</sup> Катенин, служивший в звании полковника в Преображенском полку, был уволен в отставку в сентябре 1820 за возражения, сделанные им во время смотра великому князю Михаилу Павловичу.

<sup>8</sup> «Стиль — это человек» — выражение из речи Ж.-Л.Бюффона, произнесенной им 25 августа 1763 при избрании его в члены Французской академии.

Милостивый государь Николай Иванович!

Портрет Ив[ана] Ив[ановича] Дмитриева должен быть у Вас и Вы, кажется, должны быть им довольны. Не замедлю доставить и мою рукопись. Под портретом можно выставить, что рисовал его Тончи. Сделайте одолжение, возвратите мне первый портрет, а по окончании гравировки и последний. Все то, что я слышал о Ба-

тюшкове, раздирает мне душу и совершенная загадка для моего ума. Болезнь ли это, странность ли, дурь ли, которую он на себя накидывает? Во всяком случае, оно ужасное дополнение к Истории Человеческого сердца и разительный пример превратности наших Судеб. Кажется, Небо осыпало его розами счастья [не]проходящего и прочного, но какая-то роковая рука припустила к ним червяка невидимого, который побивает их в самом корне. Зато как здравствует и богатырствует Катенин! Мы живем в странную минуту литературную: Хвостов терпим и едва ли не уважаем, Катенин диктаторством своим и криком становится нестерпим. Охота была Гречу дать первое место в своей истории литературы<sup>2</sup> на равне с Ломоносовым и Муравьевым: потомство может не понять иронии, да к тому же его книга и не есть *petit almanach des grands hommes*<sup>3</sup>. Мне кажется, что в этом случае Историк смеялся не столько над Хвостовым, сколько над совестью литературною и общим мнением современников. Охота была ему также дать Катенину право Гражданства в области Словесности. Пускай мелькал бы он в ней, как леший<sup>4</sup>! Гораздо было бы благоразумнее и забавнее напечатать его критику в Сыне отечества и отпеть его и ее глубоким молчанием. Знающие его коротко уверили меня, что невнимание к нему для него убийственно: «зачем, по крайней мере, не разругал он меня», говорил Катенин о Воейкове, когда тот написал свое обозрение журналов<sup>5</sup>. «Худ ли, хорош ли я, но все существую!» — Нет! милостивый государь, с таким дарованием, как Вашим, не существуют, а прозябают. Надменность не есть право на уважение. Безобразная громада Вашей надменности стоит на курьих ножках и беспрерывно подломывается. Признаюсь, и я готов был войти с ним в бой за неотвязчивость, с которою он лает на меня<sup>6</sup> (пускай лаял бы он на *плешивый месяц*<sup>7</sup>), но видя, что и так ответами внимательными подняли его на некоторую степень известности, решил я оставить его в покое. *On le berne et lui, il croit qu'il vole*<sup>8</sup>: не хочу тешить его заблуждение. Есть немецкая опера, в которой все лица, чтобы одурачить ревнивого мужа, купившего талисман *невидимости*, условились почитать его невидимкою; жену его при нем целуют, он бесится, кричит на нее, но она и свидетели делают, как будто его не видят. Право и нам согласиться бы должно почитать Катенина невидимкою в Словесности. Пускай возится он, ходит по ногам, толкается, как ему угодно! Мы останемся неподвижны: бока его не задевают, ноги его не дотрогивают, все существо его *без образа лице* скользит неприметно между нами и только одна зевота возвещает

Нам близость скучной тени!

Я сегодня получил старое письмо от молодого Пушкина, он гово-

рит мне о Кавказском пленнике уже окончанном, хотел бы печатать, но говорит, *лени много, а денег мало*<sup>9</sup>. Не присылал ли он Вам своей поэмы с тех пор? Можно заняться бы ее напечатанием и позаботиться о доставлении ему выгод.

Примите, милостивый государь, уверение в искреннем моем уважении и постоянной преданности.

Вяземский.

Москва.

Маия. 25-го 1822-го года.

Сделайте одолжение, спросите у Н.И.Греча, известна ли ему книжка: Биографическое похвальное Слово Г-же Сталь. С.Петер[бург]. Печатано в Сенат[ской] типографии. 1822-го года — и попросите его сказать о ней несколько слов в Журнале. Автор ея Габбе<sup>10</sup> служит в Варшаве в русской гвардии; он молодой человек, благородный и умный и образованный, как он и сам увидит из его сочинения. Слог у него не правилен и очень зелен, но занятия ума и душевная деятельность в русском офицере — явление редкое и заслуживающее уважения.

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф.1225. Оп.2. Ед.хр.5. Л.4-5. Фрагмент письма, относящийся к А.С.Пушкину, опубликован: Лит. наследство. Т.58. М., 1952. С.36.

<sup>1</sup> Катенин — один из главных литературных антагонистов Вяземского в это время (Гиллельсон. С.66-67, 98, 122-123). Выпады Вяземского против Катенина не могли не найти сочувственный отклик у Гнедича, который разошелся с Катениным еще в 1811, а в 1816 выступил со статьей «О вольном переводе Бюргеровой баллады "Ленора"» (Сын Отечества. 1816. Ч.31. №27. С.3-22), нападая на слог баллады Катенина «Ольга».

<sup>2</sup> См.: Греч Н.И. Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822. С.212-213, 338-339.

<sup>3</sup> Подразумевается книга Антуана Ривароля (1753-1801) «Маленький альманах наших великих людей на 1788 год» (Rivarol A. Le petit almanach de nos grands hommes, pour l'année 1788: Suivi d'un grand nombre de pièces inédits. Paris, 1808). Эту книгу Ривароля Вяземский вспоминает в своей статье «Письмо в Париж» (1825). См. также: Записные книжки (по указ.).

<sup>4</sup> Вяземский обыгрывает заглавие стихотворения Катенина «Леший» (1815).

<sup>5</sup> Речь идет о статье А.Ф.Воейкова «Историческое и критическое обозрение российских журналов, выходявших в свет в прошлом 1820 году» (Сын Отечества. 1821. №4-35).

<sup>6</sup> Катенин придрался, в частности, к и впрямь не слишком счастливому переводу Вяземского слова «reliefs» в статье «О жизни и сочинениях Озерова» (1817). «В Поликсене, — писал Вяземский, — взята обильная дань с "Илиады", и в этом смысле можно, по выражению Эсхила, назвать ее барельефом пиршеств Гомера». Катенин в «Сыне Отечества» отметил, что верный перевод — «остатки пиров», а не «барельефы» (1820. №5) и надолго запомнил промах Вяземского, упомянув о нем и в эпиграмме 1830: «Наш барельефами прославленный писатель...»

<sup>7</sup> Подразумевается стихотворение Катенина «Убийца», в котором убийца обращается к месяцу, свидетелю его преступления: «Да полно что! гляди, плешивый! / Не побоюсь тебя» (Сын Отечества. 1820. №23).

<sup>8</sup> Его подбрасывают вверх, а он думает, что летит (*франц.*).

<sup>9</sup> Речь идет о письме А.С.Пушкина Вяземскому от 2 января 1822 (Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т.13. [М.; Л.], 1937. С.34-35).

<sup>10</sup> П.А.Габбе (1799 или 1797 - после 1841) — поэт и переводчик; в 1818-1821 в Варшаве сблизился с Вяземским. Просьба Вяземского возымела действие, и благосклонный отклик на книгу Габбе «Биографическое похвальное слово г-же Сталь-Гольдштейн» появился в «Сыне Отечества» (1822. №21). Вслед за Гречем Вяземский напечатал и собственную рецензию (Сын Отечества. 1822. №29).

## 12

[П.А.Вяземский — Н.И.Гнедичу]  
Остафьево. Июля 3-го дня 1822-го.

Гродненский доктор Михельсон<sup>1</sup>, коего знаю за человека хорошего и обремененного при большой бедности большим семейством, написал ко мне прилагаемое здесь письмо, почитая, что князь И.А.Гагарин мне родственник по жене моей. Но я, напротив того, не только с князем не в родстве, но и не имею чести быть ему знакомым, и потому осмеливаюсь просить Вас, милостивый государь Николай Иванович, быть моим посредником и возбудить в князе участие в судьбе несчастного отца семейства. Вы, конечно, не подосадуете на меня за мою докучливость и не откажетесь содействовать доброму делу; уверенный в расположении Вашем, прошу Вас убедительно сказать мне слово об успехе Вашего ходатайства.

«А что же *Известие*? Или оно без вести пропало?» — спрашиваете Вы у меня с неудовольствием. — Позвольте представить оправдания: Вы знаете, как скучно, трудно, убийственно переправлять, переписывать и возвращаться холоднокровно и с рас-



становкою на следы, которые проложены были сгоряча. Вот моя участь! Пожалейте и потерпите благосклонно. — «Да бросьте Вы свои поправки, — возражаете Вы, — как ни исправляйте, а все будет много неисправного». Согласен; Катенину не быть от меня без поживки, но я боюсь, чтобы его милость с слабеньким желудком своим не обкушался. Он уже и так, подобно недорослю, *много булочек скушать изволил*<sup>2</sup>. Шутки в сторону, мне предстоит большая скука, но я ее одолею и непременно пришлю в скорости мою работу. Что делает мой подлинник<sup>3</sup> у вас? Его приезд, верно, встревожил многих царедворцев невских и пермесских, и Хвостов на всякий случай уже заготавливает оду или епистолю.

Сделайте одолжение, спросите у Н.И.Греча, зачем покривил он весами правосудия и не принял челобитной бедного Шаликова<sup>4</sup>. Право, наш московский Аристарх<sup>5</sup> подумает, что он заразил литературу нашу каченовскобязанностью, и кончит тем, что будет царствовать и говорить один посреди немых. Подвигается ли издание доброго Пушкина, который поехал в Козельск собирать лавры и подписчиков? На первый случай прошу покорнейше отдать его издателю список подписавшихся у меня. Скоро ли выйдет Кавказский Пленник и какого [так! — *Д.И.*] вышел он из альжирского плена цензуры? Нельзя ли порадовать меня хоть отрывками?

Примите, милостивый государь, уверение в искреннем моем уважении и совершенной преданности.

Вяземский.

Из собрания автографов... С.50-52.

<sup>1</sup> Неустановленное лицо.

<sup>2</sup> Вяземский цитирует комедию Д.И.Фонвизина «Недоросль».

<sup>3</sup> Речь идет об И.И.Дмитриеве, который в это время находился в Петербурге.

<sup>4</sup> В «Вестнике Европы» (1822. №19) некто, укрывшийся под криптонимом М.Н., припомнил и высмеял заметку П.И.Шаликова «Нечто о П.И.Макарове», написанную еще в 1804 и тогда же опубликованную (Вестник Европы. 1804. №24). Шаликов ответил «Письмом к издателю Сына Отечества», о котором и говорит Вяземский и которое было все же позднее опубликовано Н.И.Гречем (Сын Отечества. 1822. №46. 20 ноября. С.275-278).

<sup>5</sup> М.Т.Каченовский.

С[анкт-] П[етер]бург.  
Июля 12. 1822.

Милостивый государь князь Петр Андреевич!

Все это время гонясь за Солнцем по окрестностям петербургским, не отвечал я Вашему Сиятельству на письмо еще от 25 Маия. Между тем, завернувши в город, нашел другое письмо от Вас и имею честь отвечать разом на оба. Начинаю с скучнейшего для Вас и с важнейшего для нас: и портрет И[вана] И[вановича] уже готов! Испуганный русскими граверами, требовавшими года времени для гравирования, я решился литографировать и первые оттиски на днях будут вручены оригиналу. Чувствую — не скуку, которой в труде Вы верно не находите, но сладость божественной лени Вашей под сеньми Остафьева. Проститесь с нею дни на два и Вы дадите нам в первом месяце осени выставить на продажу румяные, лучшие плоды нашего Парнасса. И.И.Дмитриев приехал сюда<sup>1</sup> с мыслию, что Ваша пиеса в руках уже наших — но я должен был вывести его из этой приятной мысли. — Он принят необыкновенно ласково, в Сарском Селе отведен ему дом, но более живет он в городе, мирным гостем Клоба Аглицкого.

Чему вы удивляетесь, что Хвостов и Катенин в книге Греча причислены к Гражданам области Литтературы? Н.И.[Греч] человек добросердечной и остроумной, но не привык затруднять суждения о предметах его требующих; в доказательство этому служат почти все его мнения о писателях; нет почти ни одного, которое бы собственно ему принадлежало, которое бы показывало, что он смотрел на предмет своими глазами, при полном свете Критики. Что слышано, то и повторено — во всем отдается эхо. Вам верно известен анекдот польской: человек охмелевший от двух или трех чарок и в корчме задремавший уверен был, что он пропил шесть гривен, от того что жид ему сонному шептал беспрерывно в ухо: шесть гривен, шесть гривен! Есть жида, которые шепчут о Хвостове и Катенине, когда Н.И.[Греч] дремлет в шустер-клубе. —

Кавказский пленник вышел из цензуры как обыкновенно выходят из кохтей, не без царапин<sup>2</sup>: он уже под станком и в августе пустится по белому свету<sup>3</sup>. Вот почему не имею способа удовлетворить желанию Вашему присылкою рукописи. —

Зато Василий Львович, кто бы думал, истерзанный до живого тела — остался в священных ликах<sup>4</sup>. И поделом Либералу Безбожнику, воспевшему любовь, харит и других языческих Идолов

богомерзких. — Дело гродненского доктора Михельсона, как по справке оказалось, сделанной князем И.А.Гагариным, почтшено в веках и будет взято во внимание ради его многоплодия и удивительной каллиграфии. — Не слышите ли Вы чего-нибудь о Батюшкове? для нас он згиб без вести.

С отличным почтением и совершенною преданностию имею честь быть,

милостивый государь, Вашего Сиятельства  
покорнейшим слугою Н.Гнедич.

РГАЛИ. Ф.195. Оп.1. Ед.хр.5082. Л.100-100об.

<sup>1</sup> И.И.Дмитриев приехал в Петербург в первых числах июня 1822. Об этой поездке см.: Письма И.И.Дмитриева князю П.А.Вяземскому 1810-1836 годов. Указ. изд. С.104-105; Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С.245-248.

<sup>2</sup> О цензурных исправлениях в «Кавказском пленнике» см.: Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С.66.

<sup>3</sup> «Кавказский пленник» вышел в свет 14 августа 1822 (Летопись жизни и творчества А.С.Пушкина: 1799-1826. Изд. 2-е. Л., 1991. С.318-319).

<sup>4</sup> Речь идет о цензурных мытарствах сборника «Стихотворения Василия Пушкина» (СПб., 1822).

14

Милостивый государь, Николай Иванович!

По возвращении моем с берегов Волги<sup>1</sup>, нашел я вчера Ваше письмо от 20-го августа и спешу представить Вам долго ожидаемое произведение, которому непременно должно было бы полежать у меня еще под спудом. Пересмотрев его на чистом воздухе и глазами строгого беспристрастия к себе, уверился я в многих его несовершенствах. Воля Ваша, оно и худо писано и исправлено и худо переписано и переправлено, но Ваши требования так настоятельны, но желание мое убедить Вас и почтенное Общество, удостоившее меня лестною доверенностию, в готовности моей участвовать в полезном предприятии так сильно, что, не забывая о выгодах своего самолюбия, повинуюсь только Вашей воле. Прочтите и сообщите мне свои замечания. На первый раз позвольте мне попросить Вас велеть переписать по-христиански мою рукопись, а прилагаемую возвратите мне с своими замечаниями. Что касается

до поправок, которыя по мнению Вашему будет требовать цензура, целомудренно прошу Вас предварить меня; ибо признаюсь, что на некоторые, может быть, соглашусь, но между тем не позволю цензуре наложить лапу на дух моего сочинения и стереть с него печать, ему свойственную. В таком случае отдал бы я Вам свою рукопись отрывками для напечатания, а сам с целою пошел бы войною на цензуру<sup>2</sup>. Пора узнать, отменена ли *наша Дворянская Грамота*, дарованная нам в Ценсурном уставе 1804-го года, или нет<sup>3</sup>. Моя тяжба, если много и проиграется, но все не без пользы останется для будущего. Впрочем, по шестой статье помянутого устава цензура книг предоставлена также и *всем ученым обществам, правительством утвержденным*, и в таком случае, может быть, одно одобрение Ваше достаточно будет. Кажется, нужно будет пояснить у меня некоторыя места примечаниями. Как Вы о том думаете? Ожидаю нетерпеливо Вашего разрешения на мои запросы. Пишу к вам наскоро, еще устал с дороги и не успел дома оглядеться.

Примите, милостивый государь, уверения в истинном моем уважении и постоянной преданности.

Вяземск[ий]

Остафьево

Сентября 4-го дня 1822.

С радостию возьму на себя раздачу нескольких экземпляров [Кавказского] *пленника*, которого еще не успел прочесть; пришлите мне их, а Вы для круговой поруки не оставьте своим покровительством моей италиянской Грамматики, которая лежит у Тургенева<sup>4</sup>.

В[яземский].

Печатается по автографу: РГАЛИ. Ф.1225. Оп.2. Ед.хр.5. Л.6-6об.

<sup>1</sup> О поездке Вяземского в Нижний Новгород и в Кострому см.: ОА. Т.2. С.269, 271; Записные книжки. С.104-107.

<sup>2</sup> Количество цензурных изъятий в статье Вяземского — предчувствие не обмануло его — было довольно значительным (Гиллельсон. С.86-92).

<sup>3</sup> 9 июня 1804 был утвержден первый цензурный устав. Вяземский имеет в виду главным образом его §21, который предписывал цензорам, в случае обнаружения в текстах двусмысленностей, истолковывать их «выгоднейшим для сочинителя образом» (Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры: 1700-1863 г. СПб., 1892. С.96).

<sup>4</sup> Речь идет о рецензии Вяземского на книгу «Италиянская грамматика, подведенная под простыя правила...» (Сын Отечества. 1822. Ч.79. №29. С.129-131).

# ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ К.Н.ЛЕОНТЬЕВА

Публикация О.Е.Майоровой

Два помещенных ниже мемуарных очерка, посвященных разным людям, но объединенных общим заглавием — «Из недавних встреч и знакомств за границей и в России. Размышление и отрывки», — задуманы были как часть большого цикла. Оба очерка написаны в 1883 и предназначались, вероятно, для газеты «Гражданин», где в ту пору сотрудничал Леонтьев. Именно там в этом же году были напечатаны другие его статьи — «Два буржуа» (позднее печаталась под названием «Два представителя индустрии») и «Знакомство с Лессепсом», — которые читаются как часть того же мемуарного цикла: «Если бы я вздумал передавать все встречи мои в России и за границей с разными людьми образованного общества, — писал он в первой из этих статей, как бы прямо отсылая нас к названию всего цикла, — то, верно, составилась бы целый сборник нередко крайне поучительных и любопытных бесед и рассуждений»<sup>1</sup>. Возможно, круг статей Леонтьева, написанных для этого не сложившегося «целого сборника», должен быть расширен за счет работ, традиционно относимых к публицистическим, и выведен за пределы 1883 года. Такое вообще было в духе Леонтьева: облюбовывать, продумывать, начинать, откладывая и вновь возвращаться к одному и тому же замыслу, постепенно менявшемуся, перераставшему собственные границы и все труднее поддававшемуся осуществлению.

Один из публикуемых нами очерков посвящен генералу Николаю Павловичу Игнатьеву (1832-1908), русскому послу в Константинополе (1864-1877), т.е. непосредственному начальнику Леонтьева в годы его дипломатической службы в Турции, позднее министру внутренних дел (1881-1882), человеку славянофильской ориентации, ярко выраженных панславистских настроений (что не могло не вызывать его столкновений с Леонтьевым), фигуре крайне любопытной и заслуживающей отдельного разговора. Однако очерк этот остался недописанным, почти брошенным на полуслове, причем, собственно, до Игнатьева и до своих более чем сложных отношений с ним Леонтьев так и не добрался. Несколько дошедших до нас страниц мемуара — это автопортрет Леонтьева начала 1860-х, комментарий к собственной биографии, к тому глубокому повороту в убеждениях, который заставил писателя бросить профессиональные занятия литературой и поступить на государственную службу. Комментарий этот тем более ценен, что о начале 1860-х, о своей жизни в Пе-

<sup>1</sup> Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т.7. М., 1912. С.460.

тербурге, в кругу либерально настроенных литераторов, писатель оставил крайне мало воспоминаний.

Строго говоря, во всех мемуарах Леонтьева, как потенциально включаемых в этот цикл, так и не имеющих к нему прямого отношения, автор всегда оказывается на первом плане. И в данном случае таков был, по-видимому, изначальный творческий импульс, ясно сформулированный, однако, чуть позднее, в своеобразном примечании к воспоминаниям о Фердинанде Лессепсе — заметке 1885 года «Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни». Размышляя о былых «знакомствах или встречах» (здесь вновь повторяется эта знакомая уже формула), Леонтьев отчетливо обозначил свою позицию мемуариста: «эти знакомства и встречи» важны «для меня не по значению самих этих людей, а по роду мыслей, которые они в уме моем тогда пробуждали»<sup>2</sup>.

Именно «род мыслей» молодого Леонтьева и стал предметом очерка о Н.П.Игнатьеве. Что же касается другого публикуемого мемуара, то здесь идеологическая автохарактеристика глубинным образом сплелась с портретом человека, менее известного, чем Игнатьев, но занимавшего в жизни Леонтьева куда более значительное место. Этот очерк таит в себе — по крайней мере для публикатора — некую загадку. Дело в том, что текст его не только завершен, но и отшлифован (даже правлен Леонтьевым по копии) и размечен для печати — разбит на две части с традиционной пометой в конце первой: «продолжение будет». Однако по каким-то причинам Леонтьев не передал его в газету. Возможно — по соображениям морального плана. Очерк представляет собой развернутый некролог Алексея Николаевича Цертелева (в леонтьевском сохраненном нами написании — Цертелева; 1848-1883), дипломата и литератора, автора «Писем с похода» (Русский вестник. 1878. №9). Леонтьев часто упоминал его в числе своих «босфорских друзей» (Цертелев служил младшим секретарем русского посольства в Константинополе незадолго до выхода Леонтьева в отставку и отъезда из Турции), поддерживал с ним очень эпизодическую переписку (пока мы располагаем лишь упоминаниями о ней) и называл человеком большого ума. В 1878 в письме к О.С.Карцовой он обронил знаменательную фразу, поставив Цертелева в ряд исключительных — по крайней мере, в глазах самого Леонтьева — фигур: «И если любишь ум, то какой-нибудь большой; много ли их больших, истинно больших? У нашего Юрия [т.е. у брата Карцовой, известного позднее дипломата и мемуариста. — О.М.], у князя Цертелева, у Влад. Соловьева философа, у меня»<sup>3</sup>.

Однако отношение Леонтьева к Цертелеву являло собой сплетение сложных чувств. Той же О.С.Карцовой чуть ранее он писал: «Цертелева отставки я не понимаю, что-нибудь *новое* не задумал ли он. Он ведь "бездна" в своем роде»<sup>4</sup>. Правда, и здесь, и в других отзывах негативная коннотация улавливается лишь на фоне публикуемого очерка, где дух полу-

<sup>2</sup> Леонтьев К.Н. Указ. изд. Т.7. С.476-477.

<sup>3</sup> Памяти Константина Николаевича Леонтьева. СПб., 1911. С.300.

<sup>4</sup> Там же. С.264.

вражды, полувосхищения, смесь уязвленности и восторга выплескиваются наружу, что плохо согласуется, однако, с законами некрологического жанра. По-видимому, именно поэтому Леонтьев не отослал воспоминания в газету, отказавшись от намерения дать «беспристрастную» (как он сам писал в публикуемом очерке) оценку Цертелёва — то есть произнести довольно жесткие слова над свежей могилой человека, некогда ему близкого.

И все же предложенное объяснение не дает ответа на вопрос, почему этот мастерски написанный очерк, один из лучших образцов леонтьевской мемуаристики, не появился в печати позднее — уже не в виде некролога, а как самостоятельные воспоминания. Что-то останавливало писателя, и это «что-то» таилось в нем самом...

Очерк о Цертелёве внутренне противоречив. «Цертелёв *средних* чувств возбуждать не мог... Его можно было, как Печорина, или сильно любить, или ненавидеть...» И это сравнение с Печориным, и брошенное через несколько страниц осудительное: «Это печоринство», — никак не могли восприниматься в 1880-х в позитивном ключе. Устами авторитетнейших для самого Леонтьева критиков печоринство было бесповоротно дискредитировано, и Леонтьев не мог не брать этого в расчет, хотя сам склонен был признавать за лермонтовским героем и высокие качества. Призывал он эти качества и в Цертелёве, но все время колебался, оговариваясь. Облик Цертелёва двойится в очерке, и эта двойственность ощущается буквально в каждой строке. «Юноша блестящий и гениальный, но все-таки "хищный"» (как говорил Аполлон Григорьев). Слово «все-таки» отдает здесь явным насилием над собой. Ведь Леонтьев всегда был склонен к эстетизации того, что Григорьев называл «хищным типом». Еще в 1869 в воспоминаниях об Ап. Григорьеве Леонтьев нашел формулу, которую часто варьировал и позднее: «Не порок в наше время страшен; — страшна пошлость, безличность!»<sup>5</sup>

Леонтьев называл Цертелёва героем — и в смысле «военного мужества» (принял участие в русско-турецкой войне и прославился бесстрашием), и в литературном смысле (был, в глазах Леонтьева, человеком, просившимся на страницы романа). Но прежде всего Цертелёв был герой Леонтьева — и как прозаик, и как публицист. «Я начал роман из современной русской жизни, — писал он К.А.Губастову в октябре 1878, — действие будет происходить *третьего и прошлого года* в Петербурге и его окрестностях. /.../ Будет там спиритизм, Православие, немного (вдали) нигилизм, — Гартман и Шопенгауэр, Ц[ертелёв] и многое другое»<sup>6</sup>. Контекст, в котором оказалось здесь имя Цертелёва, говорит сам за себя. Но дело здесь не просто в его личных качествах. Цертелёв свя-

<sup>5</sup> Леонтьев К. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве // Григорьев А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С.529.

<sup>6</sup> Русское обозрение. 1895. №11. С.358 (Имя Цертелёва восстановлено по автографу). Замысел, вероятно, не был осуществлен. Из известных произведений Леонтьева к нему, пожалуй, ближе всех незавершенный роман «Генерал Матвеев», задуманный еще в 1870-е, но появившийся в печати лишь в 1885 под названием «Две избраницы».

зан был для Леонтьева с определенным строем жизни — именно с тем, который считал своим долгом защищать Леонтьев-публицист. В 1879 Всеволоду Соловьеву, брату философа, он писал, вовсе не называя Цертелева и, может быть, даже и не намекая на него, но тем, не менее, рисуя тот образ, который воссоздал позднее в публикуемом очерке: «...молодой, красивый, храбрый, знатный и богатый воин (да, именно воин) — это вечный и лучший идеал человека в земной жизни»<sup>7</sup>. Собственно, те же настроения — лишь в более изощренном и углубленном варианте — Леонтьев сформулировал несколько позднее в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» (1888). Как и Вронский, Цертелев сосредоточил в себе все то, что, по терминологии Леонтьева, составляет «эстетику жизни», «поэзию действительности» в государственном устройстве России: «...поэзия *действительности* невозможна без того *разнообразия* — *положений и чувств*, которое развивается благодаря неравенству и борьбе... /.../ Я стал любить монархию, полубил войска и военных, стал и *жалеть* и ценить дворянство»<sup>8</sup> — вспоминал он о пережитом в 1870-х переломе. Если учитывать, что сближение с Цертелевым произошло как раз в переломные для Леонтьева годы, в эпоху религиозного пробуждения и историософских открытий, — можно полагать, что этот человек оказался в судьбе писателя фигурой ключевой, либо провоцировавшей в какой-то мере его идеи, либо служившей живым аргументом в пользу этих идей. Уже поэтому Леонтьев вряд ли мог в самом деле быть «беспристрастным судьей» Цертелева, и уже поэтому небольшой очерк не мог вместить в себя всего того, что связывало Леонтьева с этим человеком.

\*\*\*

Мемуары печатаются по сохранившейся копии, правленной рукой Леонтьева (ГЛМ. Ф.196. Оп.1. Ед.хр.10).

### Князь Алексей Цертелев

Недавно (16 мая) умер в своем имении этот молодой человек, которого имя связано так тесно с нашими воспоминаниями о последней войне на Балканском полуострове. —

Ровно десять лет тому назад в Константинополе, когда еще никто не знал его, кроме самых близких людей и товарищей по службе, — я сказал ему так:

— Вы до того способны, князь, до того даровиты, что вам среднего в жизни ничего даже и не может предстоять. — Вы или будете знаменитым человеком... или...

<sup>7</sup> Леонтьев К. Избранные письма. СПб., 1993. С.238.

<sup>8</sup> Леонтьев К.Н. Собр. соч. Указ. изд. Т.7. С.267.



Он угадал мою мысль и досказал ее:

— Или меня убьют?.. Не так ли?..

— Да, что-нибудь в этом роде, — продолжал я; — умрете рано или на поединке вас застрелят за некоторые ваши выходки...

Он поклонился мне с шутливой почтительностью и переменял разговор. —

Я тогда уже старел, болел постоянно; думал только о том, как предстать на суд Божий; — и еще о том, как мне, подобно состарившемуся зверю, свернуться где-нибудь в углу и умереть безболезненно и мирно; — а он был тогда так молод и так красив; так остроумен и весел, здоров и силен, хитер и ловок (ловок иногда и до цинизма!), любезен до неотразимости и по-печорински зол и язвительен. —

И вот теперь он умер — этот молодой герой и красавец; — он умер и его уже в землю зарыли; — а я живу, на майскую зелень люблюсь у окна подмосковной дачи, благодарю и славословлю Бога — ко мне столь милосердного, и вспоминаю с горестью и удовольствием об этом человеке, которого, быть может, никто *именно так* высоко не ценил и так беспощадно не понимал, как я. —

Я с самого начала нашего знакомства с ним видел в нем не просто умного и способного юношу, служившего при русском посольстве в Турции, а именно *героя*... Героя очень веселого, счастливого и в высшей степени *практического*... человека редко (я думаю даже никогда) *себя не забывавшего*... героя, вовсе, вероятно, *не идеального* в смысле какой-нибудь внутренней и добро-совестной задачи... О! Нет! Алексей Цертелев был не таков. — Не такое, по крайней мере, он на меня производил впечатление.

Он был герой и в самом тесном значении этого слова, т[о] е[сть] в смысле военного мужества; он был, что называется, просто очень храбр; и вместе с тем он был героем и в другом, самом широком значении этого слова, т[о] е[сть] человек очень сложный, изящный, занимательный, многосторонний, который бы годился в одно из главных действующих лиц прекрасного, большого и вообще, разумеется, не отрицательного романа. —

В романе он вышел бы даже гораздо лучше и сходнее, чем в таком кратком очерке, который я теперь пишу. — В большом романе, особенно теперь, когда его уже нет на свете, можно было бы, изменяя только имена и некоторые второстепенные и внешние черты действительности, — остаться вернее этой самой действительности по внутреннему ее существу, — чем при так называемом правдивом и точном, простом биографическом воспоминании. —

Такие точные, *soi-disant*<sup>1</sup> правдивые воспоминания очень стеснительны. — Никого почти нельзя назвать; — одного назвать со-вестно; другого неприлично; третьего жалко; четвертого даже страшно и т.д...

А в большом романе Церетелев вышел бы больше самим собою; — и впечатление на читателя могло бы ближе подойти к тому, которое он производил в жизни на тех, кто хотел и умел судить его беспристрастно. — Прав ли я или нет, но я воображаю, что принадлежу к числу этих (очень немногих, впрочем) беспристрастных судей. —

От других я большею частью слышал или почти безусловные похвалы, или резкие порицания. — Родные его очень любят и хвалят его сердце и родственные чувства. — Многие из товарищей его и почти все те люди, которым приходилось иметь с ним сношения по делам и в обществе, — напротив того, не любят и не хвалят его характера. — Это и понятно: Церетелев *средних* чувств возбуждать не мог... Его можно было, как Печорина, или сильно любить, или ненавидеть... Что касается до меня, то я признаюсь откровенно, что при начале знакомства нашего в Константинополе в сердце моем по отношению к нему происходило то именно, о чем Лермонтов так хорошо сказал:

...то сердце, где кипела кровь,  
Где так всечасно, так напрасно  
С враждой боролася любовь...<sup>2</sup>

Да! При первых же встречах я почти влюбился в него; — его юношеская красота, мужественная и тонкая в одно и то же время, его веселость и неутомимая энергия, его отважный патриотизм, его оригинальные шутки и серьезно-образованный ум, равно способный и к теоретической мысли, и к самым быстрым и основательно-практическим соображениям; его настойчивость и даже злость его языка и некоторых его действий, — пленили меня... Я сказал уже, что я тогда все болел и ужасно тосковал и собирался все в тот же дальний и страшный путь, из которого нет более возврата; — при этом мне казалось, что я овладел некоторыми истинами, которых развитие и распространение было бы в высшей степени полезно. — Что успел, то написал и напечатал; что не успел — хотел передать другим; мне тогда было сорок с лишком лет; — Церетелеву едва ли было в то время двадцать пять. — Я считал себя «непризнанным», «непонятым», не успевшим высказать и со-той доли того, до чего додумался в полной независимости жизни и ума, и возмечтал сделать из него приверженца моих идей, моей системы, ученика моих взглядов на наши отношения к славянам,

грекам и Востоку. — Я возмечтал быть чем-то вроде его предтечи и готов был счесть себя недостойным «развязать ремень его обуви»<sup>3</sup>; я соглашался остаться «гласом вопиющего в пустыни» — с тем, чтобы он был тем по отношению ко мне, чем бывает прекрасный цвет и сочный плод к листьям, опадающим, как будто бы, бесследно...

Церетелев *тотчас же* понял эту мечту или эти мои претензии (хотя я прямо и не говорил ему ни разу: «будьте учеником моим»), и начал делать мне всякого рода маленькие *шиканы*<sup>4</sup> и неприятности; отчасти — по какому-то печоринскому капризу, отчасти по другим соображениям, с точки зрения лично-романтической, может быть, и весьма мелким, и *вовсе не мелким, но очень важным* с точки зрения практических требований жизни...

Знакомые и приятели наши говорили обо мне прямо:

— Не браните при нем Церетелева... *il a des entrailles de père pour lui*<sup>5</sup>...

Вероятно, этого одного или чего-нибудь подобного достаточно было для этого юноши, блестящего и гениального, но все-таки «хищного» (как говорил Аполлон Григорьев), чтобы он почувствовал непреодолимую жажду той небольшой тирании, которой подобного рода характеры любят подвергать расположенных к ним людей... Я тоже очень скоро понял это, не давал ему спуска, насколько умел, и, наконец, не перестав «объективно», так сказать, восхищаться им, переменил с ним обращение и отдалился от него. — Это печоринство. —

Но кроме этого демонизма (очень все-таки любимого мною в таких молодцах) было тут нечто и другое, более практическое, как я уже сказал выше. —

Я к тому времени стал и на словах, и в печати приверженцем *не греков* (это было бы глупо), а *Патриарха Вселенского и вообще духовенства Восточного* и защищал их противу либерального посягательства болгарских демагогов, захвативших тогда Церковные дела в свои хамовато-европейские руки<sup>6</sup>.

Лица несравненно более меня влиятельные и сильные были иного взгляда, громили греков и не хотели *осадить* болгар. — Теперь главная опасность этого вопроса миновала; — разрыва у русской Церкви с греко-восточной Церковью не будет<sup>7</sup>... Тогда было другое время; время очень горячее и для всего Православия до того опасное, что до сих пор на понимающих эти события само воспоминание об них наводит ужас... и заставляет изумляться, с одной стороны, затмению человеческих умов, а с другой, милосердному «смотрению» Божию, пощадившему Православную паству свою и русское достояние свое и на этот раз!..

Это было в [18]73 году. —

Я, проживши около года на Афоне, — обвеянный его святыней, его поражающими строгостями, *впервые* понял тогда сущность вопроса с настоящей *духовной* точки зрения; т[о] е[сть] что это просто *великий грех* нарушать так сознательно, лукаво и преднамеренно Уставы Церкви, как нарушали их болгарские либеральные вожди по соглашению с турками, обманывая и свой простой народ, и нашу дурацкую интеллигенцию.

Я трепетал за единство Церкви, у которой есть только две могучие опоры: русский Государь и русский народ, с одной стороны, и греческое духовенство, с другой... Я верил заодно с Св[ятым] Царем Константином, что *и с политической точки зрения чистота и строгость Православного учения важнее нескольких провинций*<sup>8</sup>...

Князю Церетелеву ни до чего этого дела не было; для России он видимо желал только *немедленного успеха*, силы и влияния; для себя?.. Для себя — *тоже немедленного успеха*, силы и влияния...

Я не мог ему этого доставить; иные из тех многих, которые были за болгар и которые были со мной не согласны, — *могли*...

На что же я ему годился? —

Ему нужны были движение, борьба, карьера... а не отеческая дружба человека вовсе не влиятельного и не властного...

Вот если бы я был облечен властью — тогда было бы, вероятно, иное!..

Итак, понявши очень скоро, с одной стороны, мои на него виды; с другой — мое невыгодное в то время положение относительно высокопоставленных лиц, — по болгарскому вопросу со мной не согласных, — Церетелев стал нарочно затевать со мною в обществе споры, чтобы раздражать и сердить меня и, вероятно, чтобы доставить этим некоторое удовольствие тем, кому было нужно. — Спорил он недобросовестно, не так, как спорят простодушные и вместе с тем искренние и смелые приверженцы какой-нибудь драгоценной им идеи; — он спорил не с целью убедить или убедиться, а лишь с желанием под видом веселого, полушуточного, полубидного товарищеского глумления производить выгодное для себя впечатление...

Я тогда только что впервые «прозрел» в делах Церкви; я думал, что и все умные люди должны будут точно так же прозревать вослед за мною, когда я им скажу, что и я года два-три назад ошибался точно так, как ошибаются они теперь, полагая, что *чисто племенной вопрос с эмансипационным оттенком во что бы то ни стало* гораздо более важен, чем вопрос Церковной дис-

циплины, и даже есть такие сочетания, при которых либералы болгары и сербы могут для нас стать (именно близостью и политической дружбой своей) опаснее всяких польских шляхтичей и повстанцев<sup>9</sup>. — Поляки, правда, спирт легковоспламеняемый; но *мы знаем*, что они спирт, и всегда более или менее готовы тушить его; а религиозный индифферентизм юго-славянской буржуазии — это мутная и загнивающая вода, вливаемая сначала понемногу и осторожно, а потом и крайне нагло и безбожно в старое, могучее и драгоценное вино *греко-российского* Православия... Что с нею делать, с этой зловонной водой демократического европеизма? —

Мне все кажется, что Церетелев *очень хорошо* и скорее всякого другого понимал все, что я тогда говорил; — но он понимал также, что ему, начинающему свою карьеру, *не рука* соглашаться с моими истинами...

Что я не ошибаюсь — на это есть доказательства... Особенно, припоминаю, например, по-видимому, неважных три случая. —

Во-1-ых, я замечу, он до того был даровит (и быть может, даже гениален), что при всей огненной, можно сказать, практической находчивости своей, — овладевал почти мгновенно и теоретической основой вопроса и находил для выражения этой теоретической основы именно те слова, которые были нужны. —

Так, например, — однажды у меня с одним из весьма умных русских людей на Востоке был спор о супружеской верности. — Противник мой, считая себя вполне Православным, говорил и о *чести*. — Я возразил, что понятие *о чести в этом деле* не есть понятие Христианское; а скорее — европейское, и вообще условное... Церетелев вмешался в спор и стал на мою сторону. (Здесь он мог дать волю своему беспристрастию, ибо и противник мой, хотя и высокопоставл[енный] по службе, в то время не был еще в таком властном положении, чтобы Церетелеву он был бы очень нужен, и самый вопрос *текущей* политики не касался.) — Противник наш был один из умнейших и образованнейших русских людей нашего времени; — и убедить или даже переспорить такого человека было нелегко. — Я, который целый год перед этим прожил с афонскими монахами и только и думал в то время о том, что «грех» и что «не грех» по учению Церкви (ибо для меня то время было каким-то возрождением сердечным и умственным, как бы *вторым крещением...*), — я сознаюсь, — нашел лучшим замолчать и предоставить Церетелеву защищать мою же тему. — Не отвергая ничуть понятия о чести и не чуждаясь его — он говорил только, что Православию до этой стороны вопроса нет и дела; что бесчестие даже может быть полезно для смирения и т.д....

А дело в том, что «Dieu le veut»<sup>10</sup>, Бог дал заповедь верности — и кончено. — Я помню — он прибавил: «Я сам, положим, ни во что это не верю; — но когда рассуждаешь о Христианстве, — то надо же становиться на точку зрения Церкви и не забывать существенных принципов учения...»

Слов его на этот раз я с точностью не помню, и понимаю, что и я сам мог бы сказать то же самое; — но я зато помню очень хорошо мои побочные мысли во время этого спора. — Я молчал, слушая его, и думал про себя: «Как он способен — этот юноша! — Сколько ясности и твердости в уме его, сколько энергии в темпераменте!.. Настоящие Православные идеи у нас так забыты и засыпаны так давно всяким утилитарным, гуманическим и другим западным хламом!.. Мне в сорок лет нужно было снова уверовать, прожить год на Афоне, чтобы уметь говорить то, что этот двадцатипятилетний молодой человек говорит и без веры, и без помощи духовного чтения или духовнических бесед...»

В этом споре он случайно был на моей стороне; — но случился и другой еще спор, в котором он сначала не принимал участия и внезапно прекратил его, вмешавшись видимо противу меня, но вместе с тем так, что и противнику моему показал косвенно, как бы нужно было «ставить вопрос». — Речь шла о тогдашних расприх на Афоне между греческими и русскими монахами за права на Афонский Св[ятого] Пантелеймона монастырь, обыкновенно называемый Руссик. — Я — всем сердцем преданный духовникам Руссика О[тцам] Иерониму и Макарию<sup>11</sup>, обязанный им донельзя, почти влюбленный в них духовно, как влюбляются женщины в своих «directeurs de conscience»<sup>12</sup>, — не мог ни на минуту забыть, что и для пользы Церкви, и для будущего России — нам в Церковных делах на Востоке надо быть прежде всего в тесном союзе с греками и что греко-русский союз на почве (преимущественно, если не исключительно) Церковной есть самая несокрушимая в мире сила, ибо следствия такого Церковного единения неисчислимы, и ветви от этих вековых корней часто незаметной, но необъятной и несокрушимой сетью покрывают всю историческую жизнь Христианского Востока от Новой Земли и Камчатки до берегов Нила, Вислы и Дуная...

Я доказывал, что в случае крайности, во имя Церковного «домостроительства» и во имя политической дальновидности, надо пожертвовать даже и самыми справедливыми требованиями русских монахов и, вознаграждая их сторицей иначе, — уступить грекам, не как грекам, а как афонцам, ибо Афон в некоторой степени важнее для нас, чем самый Иерусалим. — В Иерусалиме, конечно, почти каждый камень — святыня, — но только камень; —

а на Афоне мы и теперь, во времена Лессепсов и Нечаевых (не знаю, кто хуже, я дум[аю], Лессепс!)<sup>13</sup>, можем видеть жизнь почти такую же святую, какую видели современники Иоаннов Златоустов, Симонов Столпников и Пахомиев Великих. —

Так я думал и тогда, но не ручаюсь, что я тогда так ясно говорил нашим дипломатам, как говорю теперь. — Я ручаюсь за одно, что мне возражали совсем не то, что нужно. — Мне говорили (и вовсе не шутя, хоть и всё с улыбкою), что греки «подлецы», что они «льстивы до сего дня»<sup>14</sup>, что даже и хорошие монахи-греки на Афоне теперь (в [18]72-73 годах) так раздражены и сбиты с толку пугалами панславизма и болгарской схизмы, что они Бог знает, что делают; «удивляюсь, как это вы, такой друг духовников Руссика, хотите даже их принести в жертву...» и т.д. /.../ Признаюсь, на такие соображения, которые прилично слышать лишь от молодой «дамы», — я не знал, что и сказать нашим дипломатам... Мне было стыдно за них...

Алексей Цертелев сразу повернул дело на настоящий путь. — Он обратился ко мне и сказал:

— Надо прежде всего спросить себя — что мы, русские, должны предпочитать: *отвлеченные ли принципы учения Православного*, или вещь непосредственно-доступную — *интересы русских подданных* на Востоке? — Пантелеймоновские монахи на Афоне — прежде всего русские подданные и владеют русскими деньгами. — Если мы предпочитаем отвлеченные принципы, то можем потворствовать и грекам даже и в несправедливостях; а иначе — не следует. — Я, с моей стороны, того мнения, что этого не следует делать и что обязан[ность] наша защищ[ать] русских подданных и нам ближе и яснее.

И я, и тот, который противоречил мне, — оба мы должны были сознаться, что дело объяснено сразу лучше нашего. — Мне осталось только согласиться с этим и прибавить: «Конечно, это так, но только если мы не будем всеми силами поддерживать то, что вы зовете *отвлеченными* принципами, а я *живой силой*, то Православных-то скоро и русских подданных ни единого не останется...»

— Что же — не китайцы ли уничтожат нас? — спросил насмешливо князь...

— Хотя бы и китайцы<sup>15</sup>, — отвечал я.

— Гоги и Магоги, — тотчас же нашелся князь, и все рассмеялись. —

Но я нахожу, что и в этой ничтожной полушутке о китайцах была бездна ума; она доказывала, что он, вероятно, и сам о такой возможности думал...

Думал он обо всем, быть может, но действовал и говорил лишь о том и в пользу того, чего требовала политическая «злоба дня» — и его личные интересы. —

## Н.П.Игнатъев

Я всегда говорил про этого человека, что его легче описать, чем определить. В первый раз я услышал его имя от полковника Писаревского, к[ото]рый издавал в [18]61-62 году газету «Современ[ное] слово»<sup>16</sup>. — Я жил тогда в Петербурге и решительно не знал тогда наших государств[енных] и политич[еских] деятелей и вовсе об них не думал. — Не знаю почему, эти слова Писаревского, к[ото]рые я выслушал без всякого участия и к[ото]рые ни малейшего значения не могли для меня иметь, ни лично, ни в каком-ниб[удь] отвлеченном смысле, — так сильно врезались мне в память...

Слова эти были очень просты: «Игнатъева назначили директором Азиат[ского] Депар[тамента]»<sup>17</sup>. Я даже и о том, что такое Азиат[ский] Департ[амент], ясного понятия не имел, и до Восточного вопроса мне тогда не было никакого дела. — Вообще я в то время и о внутрен[ней], и о внеш[ней] политике очень мало думал. — Женщины, любовь, поэзия, естественные науки и какая-то эстетическая философия — вот что меня занимало тогда. Я помню даже, что Писаревский в эту минуту стоял, и выражение лица его очень хорошо помню; не знаю, почему это я так помню, точно в этом была какая-то судьба.

Не надо, однако, думать, что я совсем не имел понятия о фактах нашей внешней политики; я, еще живя перед этим у бар[она] Розена, в Арзамасском уезде<sup>18</sup>, с большим удовольствием и вниманием читал тогдашние политич[еские] обозрения «Рус[ского] вестника». — Они, как известно, были в своем роде превосходны, хотя и весьма либерального направления; очень может быть, что чтение этих обозрений и друг[их] статей «Р[усского] в[естника]» меня подготовило к позднему пониманию государствен[ных] и политич[еских] вопросов, но не более того, как может подготовить человека к позднему религиозному пониманию Катехизис и Свящ[енная] Ист[ория] в училище; все-таки остается в памяти множество фактов, имен, какие-то общие «вевания», какие-то смутные, но неизгладимые впечатления, к[ото]рые позднее, когда человек сам захочет все это припомнить, и без вторичного чтения приносят плоды. Вот так, должно быть, подействовали на меня и политич[еские] статьи «Р[усского] в[естника]», хотя,



когда я их читал, мне было уже под тридцать лет. — Впрочем, мож[ет] б[ыть], я и клевету на себя; м[ожет] б[ыть], я и тогда не хуже понимал их, чем всякий неглупый читатель; но мне кажется, что я все это не так понимал, как начал понимать, когда сам стал политическим деятелем. Верно только то, что если у меня и были какие-нибудь полит[ические] мысли, то не было ни политич[еских] убеждений, ни тех политических пристрастий, к[ото]рые необходимы для этих убеждений. — Так, напр[имер], из «Рус[ского]» же «вестника» я помнил, что этот же самый Игнатьев был послан в Китай и много там для нас выиграл во время англо-французской войны с Китаем; — но в памяти моей не осталось никаких размышлений по этому поводу и чувств. —

Судьбе угодно было, чтобы вскоре после этого я принужден бы был обратиться к этому самому человеку с просьбой принять меня на службу и после этого прослужить десять лет под его начальством.

Поступил я на консульскую службу тоже гораздо более по эстетическому, чем по политическому побуждению; не знаю — каяться ли мне в этом, или гордиться? — Предпочитаю гордиться; потому что правильная и глубокая эстетика всегда, хотя бы незримо и бессознательно, содержит в себе государственное или политическое чувство. — Обстоятельства вынудили меня тогда жить совершенно несоответственно всем моим вкусам, идеалам и привычкам; я с юношеских лет, например, терпеть не мог отличный литературный и ученый круг, и из других отрывков моих воспоминаний можно видеть, что я общество донских казаков в степи под Керчью и компанию феодосийских греков-мещан предпочитал не только обществу моих товарищей-студентов московских, но даже и таким домам, в к[ото]рых я мог встречать Кудрявцева и Грановского<sup>19</sup>. — И вот обстоятельства сложились так, что мне около 2-х лет в Петербурге пришлось возвращаться в обществе второстепенных редакторов, плохих и озлобленных фельетонистов, вовсе не знаменитых докторов и т.п.; к тому же, несмотря на то, что полит[ические] убеждения мои тогда еще не выработались так ясно, как я сказал, они выработались позднее, — все эти люди принадлежали более или менее к тому демократическому направлению, к[ото]рое я прежде, в юности, так любил и от к[ото]рого именно тут, в Пет[ербурге], стал все более и более отступать, как скоро *вдруг как-то* понял, что идеал его не просто гражданское равенство, а полнейшее однообразие общественного положения, воспитания и характера; меня ужаснула эта серая скука далекого даже будущего, и я в течение 2-х зим до того переродился, что мне стало все то нравиться, что мне было прежде

почти чуждо, и дорожить я стал многим из того, что прежде я готов был охотно пожертвовать, так сказать, отчасти для гуманности, отчасти для поэзии либерального движения. — Мне стали дороги: монархии, чины, привилегии, знатность, война и самый вид войск; пестрота различных положительных вероучений и т.д. — Личное положение мое тогда было невыносимо тяжело, но об этом я здесь распространяться не буду; газетным тружеником я быть ни за что не хотел; высшая литература мне не могла тогда дать средств к жизни. — Медициной заниматься опять, хотя и недавно оставленной, мне тоже не хотелось; она слишком много отнимала времени у литературы. — Я бы желал найти такого рода практическое занятие, к[ото]рое было бы благоприятно и для того, что я считал своим призванием. Пока я был либералом, я считал позволительным служить нашему, тогда еще не либеральному государству или врачом, потому что это *гуманно* и необходимо при всяком строе общества, или военным во время войны, потому что это *жестко и опасно*. Я помню, что я в [18]58 или [18]59 году очень стеснялся тем, что меня произвели в коллежские ассессоры даже по Министерству внутрен[них] дел, и баронесса Розен очень над этим смеялась, и очень был доволен тем, что после двухлетней кампании в Крыму не имел никакого знака отличия; но (как подробно развивает Милн Эдвордс<sup>20</sup> в своей «Сравнительной физиологии») животное высшее только временно переживает то, при чем животное низшее остается навеки; я был животное высшее и не мог остаться навсегда при либерализме, раз его понявши. Все, кто знает меня хорошо, поверят мне, если я скажу, что я не оттого переменял убеждения, что поступил на службу, а оттого готов был принять вечную гражданскую службу, что, встретившись с петербургским демократизмом, переменял убеждения. —

Итак, по настроению моему — я был подготовлен... Нужен был так называемый случай, или судьба; таких случаев было разом два — один за другим: неожиданная встреча с М.А.Хитрово<sup>21</sup>, к[ото]рый ехал консулом в Македонию, и так же мало ожидаемый приезд Дмит[рия] Григ[орьевича] Розена из Нижегород[ской] губ[ернии] в Петербург. — Первый дал мне именно такое понятие о должности консула в Турции, которое было нужно, чтобы меня привлечь; а бар[он] Розен познакомил меня с граф[ом] Ник[олаем] Ник[олаевичем] Зубовым, к[ото]рый рекомендовал меня Игнатьеву. —

Раз, брат мой Влад[имир] Ник[олаевич]<sup>22</sup>, у к[ото]рого я жил, вернувшись домой, сказал мне, что встретил на улице «Мишу Хитрово» (мы знали его с детства в Калуге) и что он очень желал бы меня видеть, но скоро уезжает. — Часов в 10-ть вечера, или

еще позднее, я пошел в Hôtel Napoleon на Исаакиевской площади, но Хитрово не застал. Слуга сказал мне, что он вернется непременно, но очень поздно ночью, и завтра уедет в Турцию. — *Не знаю, почему именно, я остался его ждать до 2-х часов ночи*; не до такой же степени мне его хотелось видеть, и общего у нас, кажется, в то время не было ничего, — но по какому-то капризу или фаталистическому движению я велел себе подать холодного жаркого, вина и прождал его долго; часа в 2 ночи он приехал, показал вид, что очень мне рад, и стал расспрашивать, чем я тут занимаюсь. — Это было в котором-то из зимних месяцев [18]61-го года, перед Манифестом об освобождении крестьян или тотчас после него — не помню; но в то время я еще вовсе так расстроен не был, как на следующую зиму, и положение мое, как человека никому не знакомого в Петербурге, было еще тогда не дурно. — Товарищество общественной пользы, в к[ото]ром членами состояли Струговщиков, Водов, Пахитонов, Кавос и Писаревский<sup>23</sup>, платили мне весьма недурные деньги за переводы статей по естествоведению из немецких журналов «Gegenwart» и «Wissenschaft» и из французских также, не помню из каких; и, сверх того, давали по 60 р[ублей] сер[ебром] в месяц только за группировку подобных переводных статей моих и чужих в книжке предполагаемого издания «Музей»<sup>24</sup>. — Я возлагал на это большие надежды; может б[ыть], я и ошибаюсь, но, мне кажется, я вообразил тогда, что правильное понимание ботаники, зоологии, черепословия и даже социологии как естественной науки разовьет в обществе то эстетическое мирозерцание, к[ото]рым я сам дышал, и заставит большинство стать умнее, великодушнее, энергичнее и даже красивее наружностью. — Здесь не хотелось бы мне отвлекаться и рассказывать о тех оригинальных статьях и книгах, к[ото]рые я тогда уже задумывал именно в этом направлении, но к[ото]рым не суждено было даже и видеть света Божьего, ибо одни из них не были написаны, а другие — сожжены. —

Итак, хотя я еще не спешил приступить в начале [18]61-го года к тем воображаемым великим творениям моим, к[ото]рые должны были произвести революцию сначала в России, а потом во всем человечестве, но все-таки «на всякое время и на всякий час» был преисполнен этого изящного пантеизма и готов был проповедовать его всякому, кого только считал способным что-нибудь понять. —

Поэтому на вопрос Хитрова, чем я теперь занимаюсь, — я и начал ему это проповедовать. — Выслушав меня, Хитров отвечал: «Конечно, естественные науки — это очень важно и хорошо, но есть и другая сторона, к[ото]рая не менее важна; например, за-

щищать в Болгарии Православие и бороться против Католицизма; болгары — славяне и единоверцы наши, и мы должны там поддерживать наше влияние. — Я назначен консулом в Битолию и завтра еду туда».

Сказавши это, он встал и показал мне очень красивый крест и небольшое Евангелие, переплетенное в пунцовый бархат и украшенное серебром и золотом, к[ото]рые посылала через него В[еликая] К[нягиня] Елена Павловна<sup>25</sup> для какой-то македонской церкви. — До этой минуты мое знакомство с болгарами было довольно поверхностное; все оно ограничивалось двумя впечатлениями, или двумя воспоминаниями. — Одно из них было следующее. — Служа во время Восточной войны в Крыму военным врачом, я увидел раз где-то, что идет через какой-то сад какой-то человек в одежде вроде татарской, только потемнее, не так яркой, и спросил у кого-то — не помню: «Что это за человек?» — Мне сказали: «Это болгарин; тут есть болгарские села». — Другое же воспоминание о болгарях оставила еще с детства в уме моем картинка тогдашнего издания «Живописный Карамзин»<sup>26</sup>. —

#### Примечания

<sup>1</sup> Якобы (*франц.*).

<sup>2</sup> Источник цитаты не обнаружен.

<sup>3</sup> Марк 1:7; 1:2; Иоанн 1:27; Лука 3:16.

<sup>4</sup> Придирки, подвохи (*Даль*).

<sup>5</sup> Он относится к нему по-отцовски (*франц.*).

<sup>6</sup> Речь идет о так называемой греко-болгарской распре, широко обсуждавшейся в российской печати. Болгарская православная церковь добивалась независимости от Константинопольского патриархата, что привело к расколу: на поместном Константинопольском соборе 1872 года греческая церковь не признала самостоятельности болгарской церкви. В 1879 в «Письмах отшельника» Леонтьев вспоминал: «Я долго прожил в Константинополе и много беседовал там с греками и болгарами.

Я приехал туда в 1872 г., сознаюсь и каюсь, защитником болгар, хотя и грекам во многом сочувствовал; но не прожил я и года в самом центре борьбы, как уже мысли мои изменились /.../ я сказал себе: никогда еще в истории России и славянства принцип племенного славизма не вступал в борьбу с православными уставами и преданиями, и в первый раз эту борьбу мы видим в греко-болгарской распре» (Леонтьев К. Записки отшельника. М., 1992. С.215-216). В итоге Леонтьев еще в начале 1870-х выступил в «Русском вестнике» со статьями против болгарских притязаний, оказавшись одним из немногих русских политиков, решительно занявших антиболгарскую — по сути контрпанславистскую —

позицию (в этом отношении он солидаризовался с Т.И.Филипповым и противостоял К.П.Победоносцеву и Н.П.Игнатьеву). В дальнейшем эта тема стала сквозной в политической публицистике Леонтьева: он ратовал за воссоединение болгарской церкви с греческой, исходя из интересов православия: «*По совести обе стороны нечисты, ибо обе они страдали одинаково тем флетизмом, который проклят греками на бурном соборе 72-го года. Обе стороны превращали святую личную веру в игральное национальное честолюбие /.../. Разница та, что канонически, формально, в смысле именно отвлеченных принципов предания, греки были правее*» (Там же. С.203-204). Даже после разочаровавшего значительную часть русского общества исхода русского-турецкой войны мало кто мог принять антипанславистские афоризмы Леонтьева, его «грубую политическую аксиому»: «самый жесткий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, какого бы он ни был племени, хотя бы крещеный монгол, должен быть нам дороже двадцати славянских демагогов и прогрессистов...» (Там же. С.207-208). Политический смысл леонтьевской позиции, непосредственно заостренный против Н.П.Игнатьева — «тех из дипломатов наших, которые стояли за болгар», — сводился к тому, что чисто национальное, «племенное» начало, «разрешившееся от религиозных уз», «дает плоды вовсе не национальные, а напротив того, в высшей степени космополитические или, точнее, революционные» (Там же. С.229).

<sup>7</sup> Русская православная церковь занимала осторожную позицию, не солидаризуясь ни с одной из сторон.

<sup>8</sup> Слова прямо адресованы панславистам и в первую очередь Н.П.Игнатьеву, писавшему по этому поводу в своих воспоминаниях: «Мне всегда казалось, что историческая миссия России собирать и сохранять для себя славян, не уступая никому добровольно яди славянской земли» (Записки графа Н.П.Игнатьева // Исторический вестник. 1914. №1. С.55).

<sup>9</sup> Крайняя настроенность и подозрительность в отношении Польши — традиционная позиция русских консерваторов, даже панславистов. «Главною помехою разрешения славянского вопроса, — писал Н.П.Игнатьев, — /.../ служат поляки с их католическим фанатизмом, западничеством и латинскою ненавистью к православию» (Там же. С.54).

<sup>10</sup> «Так угодно богу» (*франц.*) — боевой клич крестоносцев.

<sup>11</sup> Т.е. возглавлявшим русский Пантелеймонов монастырь на Афоне неросхимонаху Иерониму (И.П.Соломенцеву; 1803-1885) и архимандриту Макарию (М.И.Сушкину, 1821-1889). Леонтьев считал себя многим им обязанным, с огромным пиететом относился к отцу Иерониму («...я называю его прямо великим; человеком с великой думою и необычайным умом»), однако более короткие отношения, «частые и долгие беседы» связывали его с архимандритом Макарием: «Это был великий, истинный подвижник и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества, и вместе с тем вполне современный, живой, привлекательный» (Леонтьев К. Воспоминания об архимандрите Макарии, игумене русского

монастыря святого Пантелеймона на горе Афонской / Публ. Р.Пашко // Философско-литературные штудии. Вып.1. Минск, 1991. С.244, 257).

<sup>12</sup> «Духовных наставников» (*франц.*). Сравнение с духовным наставником у католиков вовсе не метафора. Оно объяснялось глубоким убеждением Леонтьева в том, что православие и католицизм гораздо теснее связаны, чем принято думать. «Рискуя привести в ужас некоторых из моих просвещенных читателей, я прямо скажу, что старец у нас есть именно то, что у католиков называется "directeur de conscience". Не понравится подобное сравнение может /.../ и очень православному человеку, и человеку равнодушному в делах веры; первому — потому, что он смотрит на папство как на заблуждение, а второму — потому что "иезуиты-де очень лукавы и слишком много стараются приобрести влияния" /.../ Но этого рода рассуждения приходят лишь оттого /.../, что у нас слишком мало знакомы с историей христианства, с его основами, оттого что настоящий его смысл "не от мира сего" забыт» (Леонтьев К.Н. Отец Климент Зедергольм — Иеромонах Оптиной Пустыни. М., 1882. С.35-36).

<sup>13</sup> Речь идет о виконте Фердинанде Мария де Лессепсе (1805-1894), французском дипломате и предпринимателе, инициаторе строительства Суэцкого канала (открыт в 1869), и Сергее Геннадиевиче Нечаеве (1847-1882), организаторе «Народной расправы», авторе «Катехизиса революционера», герое знаменитого «нечаевского процесса», давшего материал Ф.М.Достоевскому для работы над «Бесами». Для Леонтьева, как ни странно, они стояли в одном ряду: он видел в них носителей общей болезни века, когда «всякий хочет быть благодетелем /.../ целого человечества» (Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т.7. М., 1912. С.460). Его отношение к С.Г.Нечаеву не требует комментария, что же касается Ф.Лессепса, то в «этом особом оттенка благодетеле рода человеческого» он видел воплощение «всеобщего безумного движения», символ индустриального прогресса — «неизбежного спутника либерального плутократизма», готовящего человечеству «спокойную, быть может, но пошлую и унижительную будущность!» (Там же. С.470-472). Леонтьев лично встречался с Лессепсом и оставил о нем небольшой мемуарный очерк (см. вступительную заметку к публикации). В 1888 Лессепс был отдан под суд: вскрылись аферы и подкупы, к которым он прибегал при осуществлении следующего грандиозного, но потерпевшего крах проекта — строительства Панамского канала.

<sup>14</sup> Цитата из «Повести временных лет», вызывавшая стойкое раздражение Леонтьева: «Одна ничтожная заметка Нестора о лъстивости греков сколько наделала вреда!.. Мало ли что могло показаться летописцу. И он был человек "немошный", как и все люди; и он мог заблуждаться. Надо принять в соображение, что византийские греки были в то время гораздо образованнее русских и уже по этому одному казались ему хитрее всех других людей, *лъстивее, лукавее...*» (Леонтьев К. Записки отшельника. Указ. изд. С.227).

<sup>15</sup> Далее шло продолжение этой фразы, зачеркнутое Леонтьевым: «...через века три».

<sup>16</sup> Леонтьев неточен: газета «*Современное слово*» выходила с 1862 и была прекращена летом 1863 по высочайшему повелению. Николай Григорьевич *Писаревский* (1821-1895) — полковник Генерального штаба, редактор газет «*Русский инвалид*» (1861-1862) и «*Современное слово*», физик-электротехник, основатель и первый директор Телеграфного училища и электротехнического института.

<sup>17</sup> Н.П.Игнатьев занимал пост Директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел с 1861 по 1864.

<sup>18</sup> С.Н.Дурылин в комментариях к «Моей литературной судьбе» Леонтьева цитировал его аттестат: «...по прошению определен врачом, с правом государственной службы, при именах арзамасского уезда полковницы баронессы Розен и действительного статского советника Штевена, предписанием нижегородского военного губернатора от 7-го марта 1859 г.» (Лит. наследство. Т.22/24. М., 1935. С.493). О баронессе Е.А.Розен (урожд. Одинцовой), дочери военного губернатора Нижнего Новгорода, и Алексее Христиановиче Штевене см.: Гациский А.С. Люди нижегородского Поволжья. Н.Новгород, 1887. С.219, 228, 230.

<sup>19</sup> П.Н.*Кудрявцева* и Т.Н.*Грановского* Леонтьев встречал в салоне графини Е.В.Салиас-де-Турнемир (литературный псевдоним — Евгения Тур), о чем не раз вспоминал позднее. Упомянутые ранее «другие отрывки /.../ воспоминаний» — «Сдача Керчи в 55 году» (напечатан в 1887) и «Из студенческих воспоминаний» (1880).

<sup>20</sup> Речь идет, вероятно, о французском натуралисте Генри *Милне-Эдвардсе* (Milne-Edwards Henri; 1880-1885).

<sup>21</sup> Михаил Александрович *Хитрово* (1837-1896), дипломат и поэт-дилетант, знакомый с Леонтьевым с детства, после службы в Македонии занимал должность первого секретаря русского посольства в Константинополе, затем был генеральным консулом в Константинополе, посланником в Румынии, Португалии, Японии. Отношения его с Леонтьевым, внешне дружественные, уже в годы службы Леонтьева в Турции были достаточно сложными и далеко не искренними. В дальнейшем наступило постепенное охлаждение. В конце жизни Леонтьев писал о нем К.А.Губастову: «...его смелость и остроумие служили только для оскорбления других без нужды; его твердость выражалась лишь в ребяческом упрямстве там, где не нужно; в его эстетическом развитии не оказалось даже творчества и оригинальности; роскошь его была всегда какая-то пошлая и бесследная /.../ Для дела русского, полагаю, будет выигрыш от его заточения в какую-то Португалию» (Русское обозрение. 1897. №7. С.423-424).

<sup>22</sup> Литератор и журналист, старший брат писателя *В.Н.Леонтьев* (1821 или 1822 - 1873).

<sup>23</sup> Григорий Данилович *Похитонов* (1810-1882), Степан Дмитриевич *Струговщиков*, Николай Иванович *Водов* (ум.1879), Ц.А.*Кавос* (1824-1883) — члены товарищества «Общественная польза», ставившего своей

целью издание доступных книг для народа, распространение полезных знаний в области естественных наук.

<sup>24</sup> Издания под таким названием не обнаружено. Возможно, имелся в виду «Медицинский музей: Новая медицинская библиотека для медиков и фармацевтов» (издание общества врачей; 1859-1860 гг.).

<sup>25</sup> Великая княгиня *Елена Павловна* (1806-1873), вдова вел. кн. Михаила Павловича, брата Николая I, хозяйка влиятельного политического салона в Петербурге.

<sup>26</sup> Имеется в виду кн.: Живописный Карамзин, или Русская история в картинах. Ч.1-3. СПб., 1836-1844.



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН\*

- Абеляр П. 373  
Абрамович А.Ф. 174  
Абрамович С.Л. 126, 129-132, 137, 143, 147; 151-155, 157, 159, 161, 166  
Августин Блаженный А. 16  
Аґащи З. 36  
Адан А. 421  
Адлерберг Э.(В.)Ф. 310, 337  
Азанчевская А.Б. 306, 307  
Азанчевская Е.Я. см. Аничкова Е.Я.  
Айзеншток И.Я. 225  
Акинфиев (Акинфьев) Ф.В. 307, 335  
Акинфиева Н.А. 335  
Акинфиевы, семья 335  
Аксаков И.С. 256  
Аксаков С.Т. 343, 381  
Александр I, имп. 93, 156, 286, 290, 295, 308, 310-314, 327, 335, 337, 338, 342, 350, 374, 382-384, 393  
Александр II, имп. 94, 100, 102, 103, 190, 210, 218, 219, 249, 338  
Александра Федоровна, имп. 138, 147, 157, 160, 164, 338  
Алексей Михайлович, царь 279  
Алексий, архиеп. 188  
Аллан-Депрео Л. 398, 400  
Альбони М.А.М. 417  
Аммосов А.Н. 146, 164  
Андреев К. 282  
Андроников И.Л. 125  
Анисе-Буржуа О. 426  
Аничков И.Н. 306, 307, 334  
Аничкова (ур.Азанчевская) Е.Я. 306  
Анна Иоанновна, имп. 279  
Анненков П.В. 120, 121, 146, 165  
Антоний, еп. (Амфитеатров Я.Г.) 288  
Аракчеев А.А. 308, 336  
Арапов П. 440, 443  
Арапова А.П. 150  
Аргамаков И.И. 330  
Аргамакова Ев.И. 330  
Аргамакова Ек.И. см. Полуэктова Е.И.  
Арнольд Ю.К. 389, 404  
Арсеньев К.К. 250, 253, 273  
Арсеньева М.Е. см. Друцкая-Соколинская М.Е.  
Архаров И.П. 299, 330, 367, 380  
Архаров Н.П. 299, 330  
Аршеневский И.П. 311  
Асенкова В.Н. 153  
Ассандри, певица 411-414  
Афанасьев В.Ф. 172  
Ахматов А.Н. 194  
\*Ахматова А.А. 132, 135, 137, 138, 149  
Базанов В.Г. 431  
Баймаков Ф.П. 260, 261  
Бакунин П.А. 223  
Балашев А.Д. 370, 384  
Балашева Е.П. 370  
Балунова Н.П. 277  
Бальзак О. де 44, 60, 394  
Бальмонт К.Д. 7  
Бангыш-Каменский Д.Н. 120  
Барадуличи, семья 304

\* Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (\*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Барадулич В Я 304  
 Барадулич Е Я см Колечицкая Е Я  
 Барадулич М А 304  
 Баранова А И см Суворина А И  
 Барант Э де 168  
 Баранцовский, офицер 252  
 Баратынский Е А 381, 418  
 Баренбаум И Е 264, 273  
 Барсуков, купец 181  
 Барсуков Н П 175, 381  
 Барт Дж 8  
 Барт Р 8  
 Бартнев П И 141, 152, 163, 339  
 Бартнев Ю Н 176  
 Барышников А И 328  
 Барышниковы, семья 296, 328  
 Барятинская, мать  
     М И Барятинской 155  
 Барятинская М И 147, 155, 165  
 Батай Ж 30  
 Баташев Н 125  
 Батюшков К Н 437-439, 444-446, 451  
 Бахтин М М 52, 59, 66  
 Башмаков С Д 266  
 Безу Э 372  
 Бекетов А А 354, 376  
 Бекетов А Н 382  
 Бекетов И П 366, 368-370, 380, 382  
 Бекетов Никита А 345, 355, 356, 376, 377  
 Бекетов Николай А 376  
 Бекетов П А 366, 370, 376, 379, 380  
 Бекетов Петр П 332, 366, 369, 370, 380, 382, 383  
 Бекетов Платон П 332, 345, 346, 365, 366, 368-371, 377-379, 382, 384, 385, 435-437  
 Бекетов П Я 370, 384  
 Бекетова (ур Репьева) 366  
 Бекетова Ек П см Кушникова Е П  
 Бекетова Ел П см Балашева Е П  
 Бекетова Е А см Дмитриева Е А  
 Бекетова Е Н см Всеволожская Е Н  
 Бекетова И И 365, 366, 367, 370, 379, 380, 383, 384  
 Бекетовы, семья 346, 382  
 Белинский В Г 172, 267, 387, 388, 405  
 Белкина Е И 321, 323, 341  
 Беллюстин А С 211, 221, 222  
 Беллюстин В И 192  
 Беллюстин И И 192  
 Беллюстин И С 187-237  
 Беллюстин Н И 192, 215  
 Беллюстин С И 192  
 Беллюстина Авг И 192  
 Беллюстина Ал И, мл 192  
 Беллюстина Ал И, ст 192, 193  
 Беллюстина Ан И 192  
 Беллюстина К И 192, 193  
 Беллюстина П И 192, 193  
 Беллюстина С И 192  
 Белосельская-Белозерская А Г 366, 380  
 Белосельская-Белозерская Е П 146, 147  
 Белосельский-Белозерский А М 366, 380  
 \*Белый А 278  
 Бельчиков Н Ф 139  
 Бенедиктов В Г 396  
 Бенкендорф А А 147  
 Бенкендорф А Х 87, 92-96, 102, 107-109, 111, 112, 115-118, 146, 150, 162, 167, 408 .  
 Беранже П Ж 242  
 Бернард де Сен-Пьер Ж А 348, 373  
 Берто, социолог 13  
 Бессонов Б Л 394  
 Бессоновы, семья 299  
 Бестужев А А 241, 287  
 Бестужев В Б 357, 358, 377  
 Бестужева Е А 387  
 Бибиков Д Г 265 339  
 Бибикова А Г см Панкратьева А Г  
 Благово Д Д 280  
 Бланшо М 28  
 Блок А А 60  
 Блок М 66  
 Блудов Д Н 184, 431, 432  
 Боборькин П Д 247  
 Боборькина П Л см Друцкая-Соколинская П Л

- Бобринская С А 147, 157, 161, 164  
 Бобринские, семья 160  
 Бобров С С 437, 438  
 \*Бобровский А см Суворин А С  
 Бобырь А В 239  
 Богданов П П 372, 386  
 Богданович А П см Колечичкая  
 Ал П  
 Боде, бар 281  
 Бодю М де 375  
 Бомон М Л де 351, 374  
 Боратынский А А 327  
 Боричевский И А 144  
 Бородовицына (ур Малашева) 303  
 Борх И М 156  
 Борхес Х Л 8, 27, 28  
 Боткин В П 243, 405  
 Бродель Ф 36  
 Булгаков А Я 120, 444  
 Булгаков К А 144  
 Булгарин Ф В 87, 95, 114-116, 144,  
 145, 168, 182, 387-389, 390-  
 430, 433  
 Булгарина Е Ф 419, 420  
 Бурбоны, династия 367  
 Бурдин Ф А 400  
 Буренин В П 248, 258, 261, 273  
 Бурнашев В П 388, 391-393, 407,  
 409  
 Буртина Е Ю 187-237  
 Бутягин С 199, 202, 203  
 Быков М Е 363, 379  
 Быкова А С 362  
 Быкова Н М 362, 363, 379  
 Былинин И С 223  
 Быстров И П 388  
 Бюллер Ф А 137  
 Бюргер Г А 376, 447  
 Бюффон Ж -Л 445
- Вавила см Вассиан**  
 Вадбольская Е П см Кругликова  
 Е П  
 Вазари Дж 16  
 Ваксель М В см Лыкошина М В  
 Валевский А Л 32-68  
 Валуев П А 250  
 Вальберхова М И 442, 443  
 Васильев И В 236  
 Васильчикова А И 168
- Вассиан, иеросхимонах 283, 293,  
 296, 327  
 Ватсон Э К 260  
 Вацуро В Э 385  
 Введенский И И 241  
 Вебер К М фон 316, 339  
 Вебер М 34  
 Ведель А Р см Чернышева А Р  
 Вейнбрехт, книгопродавец 441  
 Вельтман А Ф 342, 343  
 Венгеров С А 188, 189, 247, 379  
 Венецкая, актриса 397-400  
 Верн Ж 254  
 Верховская А Н 279  
 Верховский В Н 279  
 Верховский Ю Н 279  
 Веселовский А Н 87  
 Виардо (ур Гарсиа) М Ф П 412-  
 414  
 Вивьен Ж (И О) 438, 441, 442  
 Вигель Ф Ф 327, 338, 346, 380, 384  
 Виельгорский М Ю 137, 139, 140  
 Виллие (Вилье) Я В 314, 338  
 Вилъгельм Оранский 164, 165, 167  
 Вильсон А 46  
 Винкельман И И 402, 404  
 Винокур Г О 25, 46, 54  
 Винтулов Н А 240, 241  
 Вишневский Г С 293, 310, 326  
 Вишнякова 147  
 Владиславлев В А 405  
 Владиславлев В Ф 194, 195  
 Водов Н И 467, 471  
 Воейков А Ф 179, 369, 382, 419,  
 420, 446, 447  
 Воейкова А В 387  
 Волконский П М 165, 399, 400,  
 414, 416, 422  
 Волконский С Г 178  
 \*Вольтер 352, 375, 428, 443  
 Вольф А И 389  
 Вонлярлярская Е А см Храпо-  
 вицкая Е А  
 Вонлярлярская С В 332  
 Вонлярлярский А В см Лярский  
 А В  
 Вонлярлярский В А 332  
 Вольф М О 270  
 Воронец, семья 329  
 Воронец А Б 328

- Воронец А.В. см. Дерфельден А.В.  
 Воронец В.В. 299, 329  
 Воронец В.Д. 299, 329  
 Вороновский В.М. 333  
 Воронцов И.Л. 384  
 Воронцов-Дашков И.И. 136, 154  
 Воронцова-Дашкова А.К. 148, 154  
 Вревская Е.Н. 126-130, 132-134, 139  
 Вревский Б.А. 134  
 Всеволожская Е.Н. 356, 377  
 Всеволожский А.В. 377  
 Всеволожский В.А. 356, 377  
 Всеволожский Н.В. 377  
 Второв Н.И. 242  
 Вульф А.Н. 130, 134  
 Вульфы, семья 132  
 Вяземская В.Ф. 139, 140, 152, 153, 437, 448  
 Вяземская П.И. 335  
 Вяземские, семья 127, 139, 431  
 Вяземский В.А. 335  
 Вяземский В.В. 308, 335  
 Вяземский Н.П. 437  
 Вяземский П.А. 3, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 108, 115, 116, 120, 124, 125, 133, 135, 136, 139-141, 158, 169, 172, 175, 177, 179, 181-183, 185, 345, 346, 381, 431, 432, 433-452  
 Вяземский П.П. 150  
 Габбе П.А. 447, 448  
 Гавриил, архиеп. (Розанов В.Ф.) 191, 206, 207  
 Гаврилов М. 385  
 Гагарин И.А. 448, 451  
 Гагерн Ф.Б. фон 161  
 Гадамер Х.-Г. 44, 62, 63, 64  
 Гайдебуров П.А. 188  
 Галахов А.Д. 243  
 Ганди М.К. 25  
 Ганнибал А.П. 145  
 Ганская Э. 60  
 Гари Р. 28  
 Гартман Э. 455  
 Гартунг И.М. 441  
 Гацисский А.С. 471  
 Геверс И. 165  
 Геденов А.М. 388, 399, 400, 406, 408, 413, 420, 421, 424, 426  
 Геденов М.А. 331  
 Гейм И.А. 372, 386  
 Гейман, врач 296  
 Гейнефетер С. 414  
 Геккерт де Беверваард Л.-Б. 122, 130, 131, 138-140, 145, 148-156, 162-167, 170, 171  
 Геласий, цензор 230  
 Генкель В. 270  
 Гераклит Эфесский 27  
 Герен И. 437, 438  
 Гернек Ф. 46  
 Герцен А.И. 88, 253, 264, 405  
 Гершензон М.О. 335, 340  
 Герштейн Э.Г. 120-171  
 Гизо Ф. 89  
 Гиллельсон М.И. 88, 111, 113, 117, 431-434, 438, 447, 452  
 Глазунов И.И. 387  
 Гласе А. 141  
 Глинка А.П. 371, 385  
 Глинка М.В. 299, 330  
 Глинка М.И. 390  
 Глинка С.Н. 299, 330, 383, 385  
 Глинка Ф.Н. 93, 293, 327, 330, 385  
 Гнедич, врач 435  
 Гнедич Н.И. 3, 376, 431, 432, 433-452  
 Гоголь Н.В. 21, 60, 88, 114, 267  
 Голенищев-Кутузов П.И. 371, 385  
 Голенищева-Кутузова А.П. см. Глинка А.П.  
 Голиков И.И. 180, 181  
 Голицын А.Н. 308, 335, 336, 383  
 Голицын Н.Н. 288  
 Голицын С.М. 365, 379  
 Голицына Н.П. 331  
 Голубева О.Д. 441  
 Гомер 437, 448  
 Гончаров Д.Н. 151  
 Гончарова А.Н. 139, 140, 144, 148, 150-152, 159, 170  
 Гончарова Е.Н. 131, 137-139, 144, 148, 149, 151-155, 157, 159, 162, 170  
 Гораций К.Г.Ф. 342, 423  
 Гордин Я.А. 122  
 \*Горький А.М. 45

- Гофман, жанд. офицер 228  
 Гофман Э.Т.А. 268  
 Граббе П.Х. 309, 337  
 Градовский В.Д. 273  
 Гран Л. 398, 399, 401  
 Грановский Т.Н. 80, 243, 465, 471  
 Гребенка Е.П. 396  
 Грей Т. 376  
 Гретри А.-Э.-М. 410  
 Греч А.Н. 388, 392, 394, 396, 397, 401, 403, 409, 411, 417, 423-425, 427-429  
 Греч Н.И. 144, 387, 388, 394, 396, 401, 405, 406, 411, 423, 424, 427, 429, 434, 435, 445-450  
 Грибоедов А.С. 115, 137, 179, 277-281, 289, 298, 321, 326, 328, 330, 340, 387  
 Грибоедов А.Ф. 321, 340  
 Грибоедов М. 280  
 Грибоедова А.Ф. 298, 321, 328, 335, 340  
 Грибоедова Е.А. см. Паскевич Е.А.  
 Грибоедова М.С. см. Дурново М.С.  
 Грибоедова П.Н. см. Станкевич П.Н.  
 Грибоедова С.А. см. Римская-Корсакова С.А.  
 Грибоедовы, семья 330  
 Григорий, митр. (Постников) 191  
 Григорьев А.А. 455, 459  
 Григорьев П. 425  
 Гроссман Л.П. 122, 123, 151  
 Грот К.Я. 434  
 Грот Я.К. 172  
 Губастов К.А. 71, 73-75, 79, 80, 82, 455, 471  
 Губонин П.И. 265, 266  
 Гудим-Левкович И.Ф. 372, 386  
 Гумилевский А.В. 200  
 Гурьев Д.А. 303, 331  
 Гусдорф Г. см. Гюсдорф Ж.  
 Гюго В. 394  
 Гюсдорф Ж. 10, 62  
 Давыдов Д.В. 335  
 Даль В.И. 117, 335, 377, 396, 468  
 Д'Англемон Ж.(Е.И.) 347, 351, 356, 361, 363, 364  
 Данзас К.К. 131, 146, 164  
 Данилевский Г.П. 255  
 Дантес (Геккерт) Ж.-К. 120-123, 126, 130-133, 135-139, 143-148, 150-159, 162-171  
 Д'Аршиак О. 122-124  
 Дашков Д.В. 90, 91, 100  
 Де Вото Б.О. 60  
 Дельвиг А.А. 145, 418  
 Дельвиг А.И. 259, 332  
 Делянов И.Д. 245  
 Дементьев М.А. 128  
 Демидова А. 161  
 Демидова М. 161  
 Деннери А.Ф. 426  
 Де-Пуле М.Ф. 241-245, 249, 252, 262  
 Державин Г.Р. 281, 345, 349, 352, 353, 374, 375, 385  
 Дерфельден А.В. 296, 328, 329  
 Дерфельден, полк. 328  
 Джеймс Г. 60  
 Джонсон С. 16  
 Дибич И.И. 310, 312, 337  
 Диккенс Ч. 60  
 Димсдаль, врач 373  
 Динерштейн Е.А. 238-274  
 Диоген Лаэртский 67  
 Дмитриев А.И. 348, 349, 359, 373  
 Дмитриев В.Н. 354, 356, 360, 363, 365, 371, 372, 376  
 Дмитриев Г. 354  
 Дмитриев И.Г. 344-360, 363-365, 367, 370, 378, 379  
 Дмитриев И.И. 281, 344-346, 349-353, 355-357, 360, 363, 370, 371, 373-375, 377-379, 381, 382, 384, 385, 397, 431-437, 439-442, 444, 445, 449-451  
 Дмитриев М.А. 342-347, 347-372, 373-386, 423  
 Дмитриев Н.И. 359, 360, 376, 378, 379  
 Дмитриев С.И. 344, 355, 358, 359, 378  
 Дмитриев Ф.И. 346, 359, 378, 379  
 Дмитриева А.Г. см. Карамзина А.Г.

- Дмитриева А И 347, 354, 355, 359, 360, 373, 378  
 Дмитриева А Н 378  
 Дмитриева Е А 353-356, 359, 360, 363-366, 370, 376-379  
 Дмитриева Е Н см Пазухина Е Н  
 Дмитриева Л И см Кашперова Л И  
 Дмитриева М А 347-350, 359, 373  
 Дмитриева Над И 349, 350, 354-356, 359-361, 364, 374, 378  
 Дмитриева Нат И 359, 360, 362, 379  
 Дмитриева-Мамонова А Н см Неклюдова А Н  
 Дмитриевы, род 344  
 Добровольский Л М 225  
 Добролюбов Н А 173, 244, 268  
 Доброхотова А Н см Дмитриева А Н  
 Долгоруков К А 385  
 Долгоруков П В 137, 144, 145, 156, 163, 167, 168  
 Дондуков-Корсаков М А 387  
 Доницетти Г 390  
 Достоевский М М 246  
 Достоевский Ф М 246, 470  
 Драган Г Н 238  
 Драйден Дж 49  
 Дрей У 57, 58  
 Дружинин А В 78, 173  
 Друцкая-Соколинская А И см Кусакова А И  
 Друцкая-Соколинская А М 334  
 Друцкая-Соколинская Е И, мл 334  
 Друцкая-Соколинская Е И, ст см Храповицкая Е И  
 Друцкая-Соколинская Е Н см Потемкина Е Н  
 Друцкая-Соколинская М Е 306  
 Друцкая-Соколинская М И см Каленова М И  
 Друцкая-Соколинская М Н 334  
 Друцкая-Соколинская П Л 334  
 Друцкая-Соколинская Ф Ф см Корбутовская Ф Ф  
 Друцкий-Соколинский А К 306, 334  
 Друцкий-Соколинский В Н 306, 334  
 Друцкий-Соколинский И А 334  
 Друцкий-Соколинский И Б 333  
 Друцкий-Соколинский К С 334  
 Друцкий-Соколинский Н К 306, 334  
 Дубельт Л В 399, 400, 403, 405-407, 416, 428  
 Дубин Б В 7-31  
 Дубровин Н Ф 91, 92  
 Дурасов А Ф 367, 381  
 Дурасов М З 367, 381  
 Дурасов Н А 367, 368, 381  
 Дурасова А А 367, 381  
 Дурасова А И 367, 380, 381  
 Дурасова А М см Писарева А М  
 Дурасова Е А см Мельгунова Е А  
 Дурасова С А см Толстая С А  
 Дурново А П 147, 165  
 Дурново М С 298, 321, 328, 340  
 Дурылин С Н 73, 185, 471  
 Дюкерле, знакомый Ф В Булгарина 422  
 Дюма А 394  
 Дяноберти Е И 350  
 Евгений, митр (Болховитинов Е А) 371, 385  
 Евгения, игум см Мещерская Евд Н  
 Екатерина II, имп 156, 180, 181, 183, 184, 348, 353, 355, 366, 373, 374, 377, 380, 441  
 Елена Павловна, вел кн 191, 193, 468, 472  
 Елизавета Алексеевна, имп 313, 314, 338, 442  
 Елизавета Петровна, имп 354, 355  
 Елисеев Г З 258, 262, 263, 273  
 Ермак Тимофеевич 245, 254, 418-420  
 Жанен Ж Г 427, 428  
 Жанлис С Ф 287, 324, 341, 362, 374, 379  
 Желтухин А Д 189, 191, 209, 211  
 Житомирская С В 141, 142

- Жихарев С П 342, 346, 367, 368, 380, 381, 385
- Жуковский В А 3, 87-119, 131, 133, 136, 139, 352, 353, 376, 432, 445
- Заворожный П Г 358
- Загрязская Е И 160
- Загрязская Н К 156
- Зайонц Л О 438
- Зайцев Б К 87
- Закревская А Ф 367, 381
- Закревский А А 367, 381
- Зам, владелец зверинца 414
- \*Заньковецкая М К 239
- Знанецкий Ф В 13
- Золотоносов М 25
- Зорин А Л 104
- Зотов В Р 398, 400, 402, 413, 427-430
- Зотов Р М 387-430
- Зубов Н Н 466
- Зыков А В 307, 335
- Зыкова А А см Палицына А А
- Зыкова Е А см Лыкошина Ел А
- Иваницкий Н И 157
- Иванов М М 389
- Ивинский Д П 431-452
- Ивков С М 327
- Ивкова А С 293, 327
- Ивченко В Я 400
- Игнатий, еп 188
- Игнатъев М А 193
- Игнатъев Н П 73, 453, 454, 464-466, 469, 471
- Игнатъева А И см Беллюстина Ал И, ст
- Иезуитова Р В 88
- Иероним, иеросхимонах (Соломенцев И П) 462, 469
- Излер И И 427-429
- Ильин-Томич А А 3, 332, 394
- Иноземцев Ф И 80
- Иоанн, еп 288
- Иогель П А 320, 340
- Ионин Г Н 436
- Иосиф IV Величковский, еп 316, 339
- Исленев (Исленьев) П А 310, 337
- Ислер И И см Излер И И
- Кавос Ц А 467, 471
- Кажинский В М 425, 426
- Казаков М Ф 384
- Казанский Б В 134, 143, 170
- Кайсаров А С 372, 386
- Калайдович К 381
- Каленова М И 334
- Калечитская А И см Колечицкая А И
- \*Калиостро 266
- Каменский П П 411
- Кант И 43
- Канунова Ф З 373
- Каракозов Д В 218, 249, 252
- Карамзин А М 359, 377, 378
- Карамзин Ал Н 135, 154
- Карамзин Ан Н 124, 125, 135, 153
- Карамзин Б А 378
- Карамзин М Е 377
- Карамзин Н М 44, 48, 49, 99, 104, 173, 178, 326, 351-353, 369, 373-379, 382-384, 431, 433, 437, 441, 442
- Карамзина А Г 378
- Карамзина Е А 441, 442
- Карамзина М М см Философова М М
- Карамзина С Н 149, 153, 170, 441, 442
- Карамзины, семья 127, 135, 149, 152, 153, 157, 170, 177, 178, 359
- Каратыгин В А 418-420, 426
- Каратыгин П А 413
- Каратыгина А М 413
- Карцов Ю С 454
- Карцова О С 454
- Кастеллан Ж А 417, 422
- Кастиль-Блаз, искусствовед 404
- Кагенин П А 432, 445-450
- Катков М Н 79, 81, 82, 217, 243, 244 253, 259, 268
- Каховская Е Д 306, 334
- Каховская М Н см Друцкая-Соколинская М Н
- Каховский П Г 337
- Каченовский М Т 437, 439, 449
- Кашперов И И 353, 354

- Кашперов Н П 354, 376  
 Кашперова Л И 376  
 Кашперовы, семья 353, 354, 362  
 Кемпф, врач 296  
 Киреев А Д 412, 414  
 Киреевский И В 88, 93, 112, 114, 115  
 Киркор А К 271  
 Киселев А Н 223, 224  
 Киселев В С 174  
 Клейнмихель П А 336  
 Климент, иеромонах (Зедергольм) 470  
 Ключевский В О 66  
 Ковалевский В О 264, 273  
 Козицкая Ал Г см Лаваль А Г  
 Козицкая Ан Г см Белосельская-Белозерская А Г  
 Козицкая Е И 366, 367, 380  
 Козицкий Г В 366, 380, 382  
 Козицкий П Г 368, 382  
 Козловский П Б 89  
 Кокорев В А 193  
 Кокошкин С А 428, 429  
 Кокошкин Ф Ф 439  
 Колечицкая А И 277-290, 291-325, 325-341  
 Колечицкая Анаст М см Друцкая-Соколинская А М  
 Колечицкая Анна М 305, 330, 333  
 Колечицкая А Н см Станкевич А Н  
 Колечицкая Ал П 305, 332  
 Колечицкая Ан П см Рачинская А П  
 Колечицкая Е А 305  
 Колечицкая Е Я 304  
 Колечицкая М П 295, 303, 304, 327, 340  
 Колечицкая (ур Ушакова) М П 334  
 Колечицкая Ф П см Рачинская Ф П  
 Колечицкие, семья 277, 278, 303, 305, 332, 333  
 Колечицкий Г Н 300, 305, 331  
 Колечицкий И М 332  
 Колечицкий И Н 306, 334  
 Колечицкий М П 305, 332, 333  
 Колечицкий Н М 305, 331, 333, 334  
 Колечицкий Пав М 332  
 Колечицкий Петр М ,мл 332  
 Колечицкий Петр М ,ст 305, 333  
 Колечицкий П П 284-288, 290, 295-300, 302-308, 310-315, 319, 325, 327, 328, 330-334, 337, 338, 340  
 Колечицкий Я П 304, 331, 332  
 Коллингвуд Р Дж 42, 66  
 Колосова А М 443  
 Кон И С 48  
 Конарский М 387  
 Кондильяк Э Б 311, 338  
 Кони Ф А 387, 388, 403-405  
 Кононов А Н 310, 338  
 Консидеран В 262  
 Констан Б 89  
 Константин Павлович, вел кн 93, 106, 289, 315  
 Кораблев Н П 288  
 Корбутовская А М см Колечицкая А М  
 Корбутовская П И 304, 305, 332, 333  
 Корбутовская Ф Ф 333  
 Корбутовские, семья 332  
 Корбутовский М И 333  
 Корбутовский П М 285, 305, 332, 333  
 Корольков А 69  
 Корсаков П А 396  
 Корф М А 161  
 Корф П А 256, 257, 266  
 Корш В Ф 246, 258, 260, 261, 264, 271-273  
 Корш Е Ф 388  
 Костомаров Н И 257  
 Косухин С 198  
 Коцебу А Ф Ф 362, 379  
 Кошелев А И 282  
 Краевские, сестры 302  
 Краевский А А 246, 261, 263, 267, 272, 387, 403, 405, 421  
 Красно-Милашевич В И см Милашевич В И  
 Краснов Г В 238, 262  
 Красовская В М 398  
 Крок Е И см Пестель Е И



- Кроненберг (Кроненберг) Л 270  
 Кропотов А Ф 406, 407, 425  
 Кругликов Г И 335  
 Кругликова А Г см Пражевская А Г  
 Кругликова Е Г см Теплова Е Г  
 Кругликова Е П 335  
 Кругликова П И см Вяземская П И  
 Крылов А 197-201, 203  
 Крылов И А 420, 426, 440-443  
 Кублицкий М Е 417  
 Кудрявцев П Н 80, 243, 465, 471  
 Кузнецов В И 241  
 Кукольник Н В 387, 396, 424  
 Кулешов В И 405  
 Куликов Н И 400  
 Кусакова А И 334  
 \*Кутанов Н см Дурылин С Н  
 Кутузов М И 369, 370, 382  
 Кутузова Е М см Хитрово Е М  
 Кушников С С 370, 383, 384  
 Кушникова Е П 370, 383  
 Кьеркегор С 28  
 Кюстин А де 244  
 Кюхельбекер В К 240, 410
- Лабзин А Ф 343  
 Лаваль А Г 366, 367, 380  
 Лаваль И С 366, 367, 380, 381  
 Лавров А В 278  
 Ласунский О Г 238, 244  
 Лафиз, историк 372  
 Левада Ю А 21  
 Леванда И В 293, 327  
 Левашевы, семья 336  
 Левашов Н В 227  
 Левенштерн В И 169  
 Левкович Я Л 126, 166  
 Леви, психолог 50  
 Левкеева, балерина 400  
 Легран, ресторатор 427-429  
 Лемке М К 115, 174, 393, 416  
 Лемольт, владелец театра 401  
 \*Леонов Л И 412, 414  
 Леонтьев В Н 466, 471  
 Леонтьев К Н 3, 69-84, 453-456, 456-468, 468-472  
 Леонтьев П М 253, 259  
 Леонтьева М В 72, 79, 80
- Лермонтов М Ю 120, 126, 127, 137, 142, 144, 146, 161, 164, 165, 168, 173, 287, 418, 455, 458  
 Лесков Н С 187, 189, 235, 243, 249  
 Лесли А Д 280  
 Лесли Е В 296, 328  
 Лесли И П, мл 325  
 Лесли И П, ст 280  
 Лесли М И, ст 280, 320, 329, 330  
 Лесли М И, мл см Лыкошина Мир И  
 Лесли М М 328  
 Лессепс Ф М де 453 454, 463, 470  
 Летурнер П 291, 326  
 Либрович С Ф 270  
 Ливанова Г Н 388, 391  
 Лилева Э А 412, 414  
 Липранди И П 124, 394  
 Лисовский Н М 241, 258, 272  
 Лихачев В И 248, 254, 255, 263, 264, 270-274  
 Лихачева Е О 248, 254, 274  
 Лобанов В М 353, 376  
 Лобанов-Ростовский М Б 142, 146, 148, 168  
 Лобанова Е В 353, 362, 376  
 Ломон Ф Ш 386  
 Ломоносов М В 398, 446  
 Лонгинов М Н 256, 257, 413  
 Лотман Ю М 38, 44 48 49, 162 183, 375, 438  
 Лыкошин А Б 335  
 Лыкошин Александр И 280-282, 289, 292, 299, 304, 307, 309, 321-324, 328  
 Лыкошин Алексей И 283-285, 289, 292, 293, 296, 307  
 Лыкошин В И 279-282, 290, 292, 307-311, 319, 321, 323-325, 327, 328, 333, 335, 341  
 Лыкошин Д И 283, 292, 293  
 Лыкошин И Б 280, 281, 283, 295 296, 301, 318, 322, 324, 325, 327, 328, 331, 335, 341  
 Лыкошина А Б см Воронеж А Б  
 Лыкошина А И см Колечицкая А И  
 Лыкошина В А см Осоргина В А

- Лыкошина (ур Соколовская) Ек  
 281  
 Лыкошина Ек А см Паньшина  
 Е А  
 Лыкошина Ел А 282, 307-309  
 Лыкошина Ел И см Тулубьева  
 Е И  
 Лыкошина Е П 305, 333  
 Лыкошина Л А см Моравская  
 Л А  
 Лыкошина М В 335  
 Лыкошина Мар И см Рачинская  
 М И  
 Лыкошина Мир И 280-283, 285,  
 292, 293, 295, 296, 298, 299,  
 301, 304, 306-308, 319-321,  
 324, 325, 329-331, 340, 341  
 Лыкошины, семья 277, 279, 280,  
 282, 283, 290, 326, 329, 330,  
 335  
 Лысенко Е М 125  
 Любимов Н И 136  
 Любучина П И см Энгельгардт  
 П И  
 Людовик XV, король 338  
 Людовик XVIII, король 380, 381  
 Лютер М 25  
 Лямина Е Э 277-341  
 Лярская В Д 332  
 Лярская Ек А 332  
 Лярская Ел А см Храповицкая  
 Е А  
 Лярская С А 332  
 Лярская С И 304, 332  
 Лярские, семья 304  
 Лярский А А 332  
 Лярский А В 304, 332  
 Мадзини Дж 256  
 Маевский М Е 216  
 Мазепа И С 254  
 Майков А А 439, 440  
 Майков А Н 78  
 Майков Л Н 161  
 Майорова О Е 69-84, 453-472  
 Макарий, архиеп (Булгаков  
 М П) 231  
 Макарий, архим (Сушкин М И)  
 82, 83, 462, 469, 470  
 Макарий, архим, цензор 194  
 Макаров П И 449  
 Макашин С А 263, 267  
 Маккарти, теоретик биографики  
 47  
 Маков Л С 257  
 Максимов Г М 400  
 Макферсон Дж 373  
 Макшеев, журн 266  
 Малашева (ур Кавелина) 303  
 Малашева П И 303, 331  
 Малашевы, семья 303, 331  
 Мальхин П С 240  
 Мамардашвили М К 31, 34, 39  
 Мамонтов С И 265  
 Мангейм (Манкейм) К 20  
 Мандельштам О Э 11, 30  
 Мануйлов В А 45  
 Манфред А З 44  
 Мария Стюарт 368, 369  
 Мария Федоровна, имп 313, 338  
 Маркграфский А 285, 337  
 Маркевич Б М 260  
 Марковецкий С Я 424-426  
 \*Марлинский А А см Бестужев  
 А А  
 Мармонтель Ж -Ф 410  
 Мартынов А Е 424-426  
 Масанов И Ф 288  
 Массон А 307, 334  
 Матвеев А С 254  
 Мачадо А 28  
 Медведев М М 115  
 Медведева И 443  
 Медженис А Ч 137  
 Медлер И -Г 428, 429  
 Межевич В С 387, 388, 392, 393,  
 420, 421, 428, 429  
 Мезенцев Н В 249  
 Мейер Дж 33  
 Мейлах Б С 45, 46  
 Мельгунов А С 381  
 Мельгунов С Е 367, 368  
 Мельгунова А А 381  
 Мельгунова Е А 367  
 Мельников (\*Печерский) П И 245  
 Меншиков А Д 254  
 Меренберг Н А 136  
 Мерзляков А Ф 372, 376, 386, 437,  
 438  
 Мерсье Л 340

- Меттерних К 295, 311, 327  
 Мещевский А 88  
 Мещерская Евд Н 299, 329  
 Мещерская Ек Н 147, 170  
 Мещерские, семья 127  
 Мещерский Б В 223  
 Мещерский Б И 329  
 Мещерский В П 234  
 Мещерский Н П 234  
 Миклашевская В В 303, 331  
 Миклашевский А М 241  
 Миклашевский О М 331  
 Милашевич В В см Миклашевская В В  
 Милашевич В И 303, 308, 309, 331  
 Милашевич Е Н 303, 331  
 Милн-Эдвардс Г 466, 471  
 Милорадович М А 293, 315, 327  
 Милошевич И С 242  
 Милюков А М 329  
 Милюков В М 329  
 Милюков Е М 329  
 Милюков М В 329  
 Милюкова Е Д 299, 322, 323, 329  
 Минье Ф 254  
 Михаил Павлович, вел кн 133, 135, 158, 162, 445, 472  
 Михайлов М Л 178  
 Михайлов Н 389  
 Михайловский Н К 262, 265  
 Михайловский-Данилевский А И 393  
 Михельсон, врач 448, 451  
 Модзалевский Б Л 165, 337  
 Модзалевский Л Б 182  
 Монтандр И П 391, 394, 396, 416  
 Монтерросо А 27  
 Моравская Л А 308, 335  
 Морозов С 7  
 Морошкин И 201, 204-206, 212  
 Морошкин Ф Л 193  
 \*Моруа А 20, 47  
 Мудров М Я 297-299, 328  
 Мудрова С Х 297  
 Муравьев Михаил Никитич 446  
 Муравьев Михаил Николаевич 309, 336  
 Муравьева П В 309, 336  
 Мусина-Пушкина Э К 135, 139  
 Муханов Н И 330  
 Муханов П А 387  
 Муханова Н В 299, 330  
 Мясников И С 180, 366, 380  
 Мясникова А И см Дурасова А И  
 Мясникова Д И см Пашкова Д И  
 Мясникова Е И см Козицкая Е И  
 Мясникова И И см Бекетова И И  
 Мятлев И П 396  
 Набоков В В 60  
 Надеждин Н И 243  
 Наполеон I, имп 44, 145, 352, 368, 375, 380, 382, 386  
 Наполеон III, имп 163  
 Нарышкин Д Л 156  
 Нащокин П В 170  
 Нащокина В А 170  
 Нащокина М И см Станкевич Марфа И  
 Невахович А Л 411-413, 417, 419  
 \*Незнакомец см Суворин А С  
 Неклюдов С В 329  
 Неклюдова А Н 299, 329  
 Неклюдова М С см Шеншина М С  
 Некрасов Н А 78, 238, 244, 249, 251, 257, 261-264, 266, 268-270, 273, 394, 398, 413  
 Некрасова Е С 176, 182  
 Немзер А С 376  
 Немцевич Ю У 387  
 Неронов П В 215-223  
 Нессельроде К В 146, 162, 164, 167  
 Нессельроде М Д 146  
 Нечаев С Г 463, 470  
 Нешумова Т Ф 342-386  
 Никанор, еп 454  
 Никитенко А В 157, 172, 225, 256, 257, 259, 395, 405, 413 414  
 Никитин И С 238, 242, 243  
 Николай I, имп 87, 88, 91-109, 112-118, 134, 137, 138, 150, 153, 156, 157, 160-165, 167, 171, 175, 178, 184, 315, 337, 338, 388, 389, 399, 400, 408, 413, 414, 420, 428, 472

- Николев Н П 385  
 Никольский А 199  
 Никон, патр 254  
 Новиков Н И 347, 373  
 Норов А С 185, 186  
 Нотович О К 271  
 Ньюмен Дж Г 16
- Ободовская И М 128**  
 Огарев Н П 173, 252  
 Одинцова Е А см Розен Е А  
 Одоевский В Ф 137, 175, 179, 405  
 Ожогин А Г 293, 322, 323, 326  
 Озеров В А 434, 441, 448  
 Оленин А Н 440, 441  
 Олсуфьев В Д 437-440  
 Олыа Николаевна, вел кн 161  
 Ольхин М Д 391, 393, 394, 396,  
 403, 406 409, 411, 415, 416  
 Ольшевский О Д 307, 308, 334,  
 335
- Онегин-Отто А Ф 141**  
 Ону Е А 74, 76  
 Опочинина Е Н см Милашевич  
 Е Н
- Орлов А Г 355, 377  
 Орлов А Ф 162, 167, 393, 429  
 Орлов В Л 405  
 Орлов Г В 384  
 Орлов Г Г 355, 373, 377  
 Орнатская П И см Беллюстина  
 П И
- Орнатский С Н 193  
 Осипова Е И 127  
 Осипова П А 127-130 132  
 Осоргина В А 308, 335  
 Оссиан 326  
 Островский А Н 76, 176, 178
- Павел I, имп 156, 338, 347, 348,**  
 366, 367, 369, 373, 380, 384
- Павлищев Л Н 134  
 Павлищева О С 132  
 Пазини, певец 412-414  
 Пазухин П С 376  
 Пазухина Е Н 354, 360, 376  
 Пайпс Р 184  
 Палицына А А 308, 335  
 Палкин, ресторатор 427-429  
 Пальм, книгопродавец 368, 382
- Панаев И И 78, 243, 396  
 Панкратьев Н П 315, 339  
 Панкратьева А Г 315, 339  
 Панов С И 435  
 Паньшин И Ф 308, 309  
 Паньшина Е А 308, 309, 335  
 Папковский Б 263  
 Паскевич Е А 321, 340  
 Паскевич И Ф 340  
 Пассек П П 309, 336, 337  
 Паста, певица 414  
 Пастернак Б Л 63  
 Пастернак Е Е 277-341  
 Пашино А С 265  
 Пашко Р 82, 470  
 Пашков А И 367, 381  
 Пашков В А 367, 381, 382  
 Пашков И А 367, 368, 382  
 Пашкова Д И 180, 367, 380  
 Пашковы, семья 182  
 Педашенко С А 335  
 Пенская В В 330  
 Пенская Х А см Потемкина Х А  
 Первухин Г 201, 211  
 Перовский В А 140  
 Перпер М И 155, 410  
 Песоцкий И П 391-393, 396, 415,  
 416, 420, 421
- Пессоа (Песоа) Ф 28  
 Песталоцци И Г 303, 304, 331  
 Пестели, семья 278, 290, 316, 318  
 Пестель В И 339  
 Пестель Е И 309, 316-318, 336,  
 339, 340
- Пестель И Б 308, 309, 316, 317,  
 336, 339, 340  
 Пестель П И 278, 279, 290, 317,  
 318, 339, 340  
 Пестель С И 290, 309, 316, 317,  
 336, 339
- Пестриков Н С 284  
 Петр I, имп 114, 130, 145, 156, 180,  
 181, 240, 291, 388, 395
- Петров О 388, 389  
 Петрозилиус И Д 326  
 Петухов Е В 141  
 Пиксанов Н К 277, 279-282, 289  
 Пиль А А 349, 374  
 Пиль И А 349, 374  
 Пиль М А см Дмитриева М А

- Пина Э.И. де 142  
 Писарев А.А. 367, 381  
 Писарева А.М. 367, 381  
 Писаревский Н.Г. 464, 467, 471  
 Платон, митр. 329  
 Плетнев П.А. 172, 440, 441  
 Плещеев А.А. 269  
 Плещеев А.Н. 261, 263  
 Плиний Младший 386  
 Плутарх 16, 49, 67, 68  
 Победоносцев К.П. 469  
 Погодин М.П. 136, 175, 179, 189,  
 190, 192, 193, 195, 220, 226,  
 229, 230, 342, 344, 381  
 Полевой К.А. 392, 398  
 Полевой Н.А. 172, 180, 387, 392,  
 393, 398, 405, 407, 409-411,  
 415, 418-421  
 Полетика А.М. 148  
 Полетика В.А. 253, 261  
 Полетика И.Г. 126, 131, 136, 142,  
 143, 146-149, 152-154, 159,  
 166, 169, 170  
 Полетика М. 148  
 Полетика П.И. 149  
 Половцев В.А. 189, 212  
 Полторацкая В.Д. см. Лярская  
 В.Д.  
 Полуэтов (Полухтов) Б.В. 282,  
 299, 330  
 Полуэтов В.Б. 330  
 Полуэтова Варвара В. см. Фабр  
 В.В.  
 Полуэтова Вера В. см. Пенская  
 В.В.  
 Полуэтова Е.В. 330  
 Полуэтова Е.И. 330  
 Полуэтова (Полухтова) Н.В. см.  
 Муханова Н.В.  
 Полуэтовы (Полухтовы), семья  
 330  
 Попова О.И. 127, 129  
 Потемкин Д.И. 306, 334  
 Потемкин Д.С. 334  
 Потемкин И.Д. 334  
 Потемкин Н.Б. 306, 334  
 Потемкин С.Д. 306, 334  
 Потемкина А.Б. см. Азанчевская  
 А.Б.  
 Потемкина А.Д. 334  
 Потемкина А.Ф. 306  
 Потемкина Е.Д. см. Каховская  
 Е.Д.  
 Потемкина Е.Н. 306  
 Потемкина Х.А. 306, 334  
 Потехин А.А. 185  
 Похитонов Г.Д. 467, 471  
 Пражевская А.Г. 308, 335  
 Преферанский, пономарь 197  
 Придорогин И.А. 242  
 Приселков И.В. 206, 207, 210  
 Прозоровский А.А. 383  
 Прокопович-Антонский А.А. 371,  
 372, 385  
 Проскурин О.А. 343  
 Протопопов В.В. 388, 391  
 Прудон П.Ж. 262  
 Пугачев Е.И. 355, 365, 377  
 Путилов Н.И. 253  
 Путята Н.В. 182  
 Пушкарев И. 418  
 Пушкин А.С. 3, 21, 24, 99, 102, 108,  
 118, 120-171, 173, 177, 180-184,  
 240, 287, 342, 375, 377, 380,  
 381, 418, 433, 446-448, 451  
 Пушкин В.Л. 352, 375, 385, 439-  
 443, 449-451  
 Пушкин Л.С. 134, 137  
 Пушкин С.Л. 132  
 Пушкина Н.Н. 121, 122, 126-128,  
 130-136, 139, 143-155, 157-162,  
 166-170  
 Пушкина Н.О. 132  
 Радищев А.Н. 328  
 Радклиф А. 362, 379  
 Радовиц И. 107  
 Ранчин А.М. 172-186, 413  
 Расин Ж. 443  
 Ратьков П.А. 391, 392, 396, 404,  
 411, 415  
 Рачинская А.А. 278, 279, 281, 286  
 Рачинская А.Н. см. Верховская  
 А.Н.  
 Рачинская А.П. 278, 283, 285-288,  
 291, 292, 294, 296-298, 300-  
 302, 304, 305, 307, 309, 311,  
 315, 317, 319, 325, 330, 336  
 Рачинская Ек.В. см. Лесли Е.В.  
 Рачинская Ефр.В. 327

- Рачинская М И 277, 280-283,  
 292, 294, 296, 301, 304, 311,  
 323, 324, 328, 330, 336, 338,  
 341  
 Рачинская Ф П 283, 304  
 Рачинские, семья 277, 319  
 Рачинский А А 286, 288  
 Рачинский А В 283  
 Рачинский В Д 283, 294, 304, 325,  
 327, 328, 340, 341  
 Рачинский Г А 278  
 Рачинский Д В 340  
 Рачинский М К 327  
 Рачинский Н А 279, 288  
 Рачинский П В 304, 325, 332, 340,  
 341  
 Реад А А см Соколовская А А  
 Редькин Н С 193  
 Рейтблат А И 3, 7, 387-430  
 Рейфман П С 238  
 Ремизов А М 278, 279, 286, 287,  
 290, 331, 336  
 Ремизова (ур Довгелло) С П 279  
 Ренан Э 229  
 Ресто, филолог 351, 374  
 Ривароль А 428, 447  
 Римская-Корсакова Е П см Янь-  
 кова Е П  
 Римская-Корсакова Н А см  
 Акинфиева Н А  
 Римская-Корсакова С А 340  
 Римский-Корсаков С А 340  
 Ричардсон С 291, 326  
 Робер А Н 220, 223  
 Роберти Д де 273  
 Рождественский, прот 233  
 Розанов А 413  
 Розанов В В 69  
 Розанов И 25  
 Розен Д Г 464, 466  
 Розен Е А 466, 471  
 Ронинсон О А 432  
 Роскина Н А 238  
 Россет А О см Смирнова А О  
 Россет К О 137  
 Россини Дж А 417, 418, 437-440  
 Ростопчин А Ф 181  
 Ростопчина А Л 181  
 Ростопчина Е П 3, 172-186, 382,  
 396  
 Рубини Дж Б 402-404, 408, 410,  
 412  
 Ружевская А С см Быкова А С  
 Руссо Ж Ж 16  
 Рыбников Н А 46  
 Рыдванская (ур Малашева) 303  
 Рыжков И И 223  
 Рыжков Н И 223  
 Рылеев К Ф 240, 241  
 Савва, еп (Тихомиров) 188, 201,  
 229, 235-237  
 Савелов, чиновник 224  
 Саводник В Ф 140, 141  
 Садовский П М 242  
 Сайтанов В 157  
 Сакулин П Н 136, 141, 387  
 Салиас де Турнемир Е А 260  
 Салиас де Турнемир Е В 242-244,  
 260, 471  
 Салтыков А Е 333  
 Салтыков Г А 305, 333  
 Салтыков Г С 371, 385  
 Салтыков К М 268  
 Салтыков Н И 347, 373  
 \*Салтыков-Щедрин М Е 247, 248,  
 257, 261-264, 266-268, 273  
 Салтыкова Ек А 306, 334  
 Салтыкова Ел А см Колечичская  
 Е А  
 Самарин Ю Ф 257  
 Самовер Н В 87-119  
 Самойлов В В 400, 402  
 Самойлова В В 425, 426  
 Сандомирская В Б 445  
 Сандунов Н Н 372, 386  
 Санковский А 341  
 Сапожников Т Е 376  
 Сапожникова М Т 354, 376  
 Сахарова М С 370, 384  
 \*Светлов В см Ивченко В Я  
 Светоний 16  
 Свечин Н М 315, 339  
 Сегюр С Ф де 287, 291, 325  
 Сежур В 420  
 Секвилл Э 60  
 Семанова М Л 243  
 Семевский М И 135, 136, 188  
 Семенко И М 87  
 Семенова Е С 442-444

- Сенковский О И 144, 387, 405  
 Серапион, митр  
 (Александровский С ) 293, 327  
 Серафим, митр (Глаголевский С В ) 313, 336, 338  
 Сергей, архим 194  
 Сердюков М И 180  
 Сердюкова Е 180  
 Симони П К 379  
 Синявская М С см Сахарова М С  
 Синявский А Д 122  
 Сиряков М Н 288  
 Скабичевский А М 441, 452  
 Скальковский А А 260  
 Слепцов В А 253  
 Смирдин А Ф 180  
 Смирнов Н М 124, 169  
 Смирнов-Сокольский Н П 451  
 Смирнова М Н см Шлиппенбах М Н  
 Смирнова А О 124, 125, 136-138, 140-150, 157, 164, 165, 168, 169, 171  
 Смирнова О Н 137, 138, 140-147, 150, 168, 169  
 Соболевский С А 143, 144, 169  
 Соколинские, княжны 306  
 Соколов А А 274  
 Соколова А Л 239, 241  
 Соколова И Я 293, 320 323, 326  
 Соколовская А А 305  
 Соколовская Е П см Лыкошина Е П  
 Соколовская С С 305, 333  
 Соколовский Е А 333  
 Соколовский М Н 351, 374  
 Соколовский П Е 305, 333  
 Соллогуб В А 123, 139, 157, 158, 381, 396  
 Соллогуб Л В 163, 168  
 Соловьев Вл С 73, 454, 456  
 Соловьев Вс С 75, 456  
 Соловьев Д 74  
 Соловьев Н Я 77  
 Соловьев Э Ю 46  
 Соловьева И Н 238  
 Солоницын В А 388  
 Сомов А Н 223  
 Сомов О М 388  
 Сосницкий И И 424-426  
 Спасович В Д 273  
 Сталь А Л Ж де 287, 447, 448  
 Станкевич А Е 306, 334  
 Станкевич А Н 306  
 Станкевич Ев И см Аргамакова Ев И  
 Станкевич Еп И 334  
 Станкевич И 280  
 Станкевич Марфа И 334  
 Станкевич Мир И см Лесли М И, ст  
 Станкевич П Н 280, 328  
 Станкевич П Ф см см Якушкина П Ф  
 Станкевич Ф И 329, 330  
 Станкевичи, семья 279, 280, 330  
 Стасов В В 273  
 Стасов Д В 273  
 Степанов В П 407  
 Степанова М М 412, 414  
 Стороженко, семья 387  
 Стороженко А Я 387  
 Стоун И 47  
 Страхов Н Н 76, 80, 81  
 Строганова А П 245  
 Строев В М 388, 415, 416  
 Строев П 381  
 Струговщиков А Н 396  
 Струговщиков С Д 467, 471  
 Стулов В И 211  
 Суворин А А 242  
 Суворин А С 3, 235, 238-274  
 Суворин М А 242  
 Суворин С Д 239  
 Суворина А А 242  
 Суворина А И 242, 254, 255  
 Суворина А Л см Соколова А Л  
 Суворов А В 355, 377, 383, 384, 394  
 Судравский В К 376  
 Сумароков А П 355, 377  
 Сумцов Н Ф 88  
 \*Сухарев Ал см Суворин А С  
 \*Сухарев В см Салиас де Турнемир Е В  
 Сухово-Кобылин А В 242  
 Суходольская (ур Зыкова) 308  
 Суходольский А 308

- Суходольский П 308  
 Сухомлин И 271  
 Сушков В М 355, 377  
 Сушков Н В 176, 177, 179, 377, 385, 386  
 Сушков П В 180  
 Сушков С П 181, 182  
 Сушкова М В 180-182, 377  
 Сушковы, семья 182  
 Сытин П В 385  
 Сьоран, писатель 28  
 Сю Э 394, 395, 406
- Тадини-Троттер И 412, 414  
 Талызин Ф И 315, 339  
 Тальони М 398-401, 421  
 Тарасов Б Н 177  
 Тархов М М 323, 341  
 Тархова Н А 340  
 Татищев В Н 280  
 Татищева П Н см Станкевич П Н  
 Тацит 16, 26  
 Твердышеев И Б 366, 380  
 Твердышеев Я Б 366, 380  
 Тейлор, искусствовед 404  
 Телеснины, семья 278  
 Тенбрук, философ 20  
 Теплов А Г 335  
 Теплов В 374  
 Теплова А А см Палицына А А  
 Теплова Е Г 308, 335
- \*Терц А см Синявский А Д  
 Теряев А И 328  
 Теряев И 328  
 Теряева П А см Ушакова П А  
 Теряева П Н см Станкевич П Н  
 Тизенгаузен Е Ф 159  
 Тизенгаузен Н О 251  
 Тизенгаузен Ф И 169, 382  
 Тимм В Ф 179, 180, 397  
 Тимохин В 404  
 Тиртей 438  
 Тишевская С И 349  
 Тишевский С И (С А ) 349, 374  
 Толстая С А 367, 368, 381  
 Толстая А Ф см Закревская А Ф  
 Толстой Д А 258-260  
 Толстой Л Н 16, 45, 176, 178, 183, 184, 246, 273, 345, 456
- Толстой Н С 176  
 Толстой Ф А 367-369, 381  
 Толстой Ю В 224, 226  
 Томас У А 13  
 Томашевский Б В 25  
 Томилов С 202, 223, 224  
 Тончи С 443-445  
 ТрEDIAковский В К 407, 442  
 Тростин Д П 386  
 Трубецкая Е И 380  
 Трубецкая М В 147  
 Трубецкой А В 155, 164, 170  
 Трубецкой Н И 190, 193  
 Трубецкой С П 380  
 Трубников К В 270, 271  
 Трунев Н 195, 199, 201-203  
 Тулинов В Я 242  
 Тулубьев Н И 283  
 Тулубьева Е И 283, 292, 296, 298, 302, 322, 323
- \*Тур Е см Салиас де Турнемир Е В  
 Тургенева А И 88, 89, 91, 99, 126-130, 142, 156, 172, 431, 435, 437, 438, 444, 452  
 Тургенев И С 72, 76, 77, 243, 267, 273, 274, 413  
 Тургенев Н И 88-91, 93, 97, 99-101, 103, 105, 106, 108, 116  
 Тургенев С И 88, 99  
 Турунов Я Н 388, 396, 397, 399, 404
- Тынянов Ю Н 7, 25, 46  
 Тютчев Ф И 177, 179, 330  
 Тютчева А Ф 106  
 Тютчева Е Н см Мещерская Е Н  
 Тютчева Н Н см Шереметева Н Н
- Уваров А С 179  
 Уваров С С 182, 308, 335, 336, 394, 395  
 Уваров Ф С 336  
 Уварова Д И 335, 336  
 Уитмен У 27  
 Унковский А М 261  
 Урсова А А см Мельгунова А А  
 Усов П С 261, 388  
 Устрялов Ф 271



- Уткин Н И 442  
 Ушаков И Н 217  
 Ушакова М П см Колечицкая  
 (ур Ушлакова) М П  
 Ушакова П А 299, 328, 329  
 Ушинский К Д 211, 212
- Фабр В В 330**  
 Файнштейн М Ш 174  
 Федоров М П 270  
 Фейнберг И Л 121  
 Феоктистов К М 243  
 Феррароти, социолог 13  
 Фикельмон Д Ф 157, 158, 168, 169  
 Фикельмон Ш -Л К Л 142  
 Филарет, архиеп 245  
 Филарет, митр (Дроздов В М)  
 229, 329  
 Филд Дж см Фильд Дж  
 Филиппов Т И 230, 469  
 Философов Никита Н 378  
 Философов Николай Н 378  
 Философова М М 359, 377, 378  
 Философовы, семья 359  
 Филофей, архиеп (Успенский  
 Т Г) 188, 192, 194, 197, 200,  
 202, 205-207, 210, 215, 216,  
 222-225, 227, 229, 233  
 Фильд Дж 298, 328  
 Финк Е 43  
 Флоренский Д 198, 201, 202, 204,  
 207, 208, 221, 229  
 Флоровский Г В 75  
 Фок Е И см Осипова Е И  
 Фок М Я фон 115, 116  
 Фома Аквинский 16  
 Фомичев С А 277, 289  
 Фонвизин Д И 373, 449  
 Фонвизин М А 309, 337  
 Форбен, искусствовед 404  
 Форлис, искусствовед 404  
 Франц Иосиф I, имп 163  
 Франциск Ассизский 16  
 Франциск Сальский 287  
 Фредерикс С 138  
 Фрез (Фрезе), врач 366, 380  
 Фризенгоф Г 150-152  
 Фудель И И 69, 72, 80  
 Фуко М П 8  
 Фурман П Р 416, 427, 428
- Хабермас Ю 36  
 Ханенко М И 372, 385  
 Хвостов Д И 370, 371, 384, 385,  
 403, 405, 431, 437-439, 444,  
 446, 449, 450  
 Хемницер И И 353, 375  
 Хераскова Е А см Салтыкова  
 Ек А  
 Хитрово Е М 142, 159, 169, 369,  
 370, 382  
 Хитрово М А 73, 466, 467, 471  
 Хитрово Н Ф 382  
 Хитрово С П 73, 74  
 Хмелевская Е М 168, 169  
 Хмельницкий Б М 254  
 Хмельницкий Н И 334  
 Хованский Н Н 302, 311 315, 331  
 Ходасевич В Ф 172  
 Храповицкая (ур Клейнмихель)  
 Е А 336  
 Храповицкая (ур Лярская) Е А  
 332, 333  
 Храповицкая Е И 333  
 Храповицкая М В см Сушкова  
 М В  
 Храповицкая П И см Корбутов-  
 ская П И  
 Храповицкая С И см Лярская  
 С И  
 Храповицкая С С см Соколов-  
 ская С С  
 Храповицкие, семья 278  
 Храповицкий А В 180, 181  
 Храповицкий В С 305, 332, 333  
 Храповицкий И С 309, 315, 336  
 Храповицкий И Ю 332  
 Храповицкий С Ю 333
- Цвейг С 20, 44, 45  
 Цертелев (Церетелев) А Н 454-  
 464  
 Циммерман И Г 319, 340  
 Цинцендорф Н Л 311, 338  
 Цявловский М А 141
- Чаадаев П Я 177, 179, 335, 337,  
 340, 344  
 Чеботарев Х А 297, 328  
 Чеботарева С Х см Мудрова  
 С Х

- Черепанов Н Е 372, 386  
 Черепнин Н П 334  
 Черкасов, барон 309  
 Черкесов А А 264  
 Чернов С Н 277, 278, 281, 329  
 Чернышев З Г, фельдмаршал 334  
 Чернышев З Г, декабрист 178  
 Чернышев-Кругликов И Г 335  
 Чернышева А Р 306, 334  
 Чернышевский Н Г 173 174, 243, 244, 249-251, 268  
 Чертков, помещик 240  
 Чехов А П 45, 239  
 Чичерин Б Н 179
- Шаден И М** 369, 382  
**Шаликов П И** 352, 375, 449  
**Шарпантье Л И** см \*Леонов Л И  
**Шатобриан Ф Р** де 287  
**Шахматов Б М** 46  
**Швейковская (ур Малашева) 303**  
**Шевандин Э В** 302, 331  
**Шевченко Т Г** 88  
**Шевырев С П** 172  
**Шекспир У** 326  
**Шелгунов Н В** 242  
**Шеншин В Н** 329  
**Шеншина М С** 299, 329  
**Шенье А М** 242  
**Шереметев В П** 330  
**Шереметева А В** см Якушкина А В  
**Шереметева Н Н** 299, 310, 329, 330  
**Шереметева П В** см Муравьева П В  
**Шереметевы, семья** 329  
**Шеффердекер Э А** см Лилеева Э А  
**Шиллер Ф** 445  
**Шильдер Н К** 338  
**Шимановская М** 298, 328  
**Ширяев А С** 391, 393  
**Шитова В** 238  
**Шишков А С** 308, 335, 385  
**Шкловский В Б** 24  
**Шлиппенбах К А** 304, 331  
**Шлиппенбах М А** см Барадulich М А  
**Шлиппенбах М Н** 331, 332
- Шлиппенбах (ур Миних) М С** 304  
**Шнор, книгопродавец** 441  
**Шоберлехнер (ур Далокка) С Ф** 412, 413  
**Шопен Ф** 63  
**Шопенгауэр А** 455  
**Шоу Дж Б** 27  
**Шрекк И М** 372, 386  
**Штевен А Х** 471  
**Штелин Я Я** 181  
**Шторм Г П** 328  
**Шуберт А И** 400  
**Шубинский Д Н** 217  
**Шубинский П Н** 217  
**Шульгин Д И** 310, 337  
**Шюц-Ольдози (Шюц-Довремон) А** 412-414  
**Щеголев П Е** 102, 109, 118, 126, 127, 133, 140-143, 166  
**Щепкина Е** 329  
**Щербатов М М** 352, 375
- Щербинин М П** 249
- Эвальд А В** 265, 266  
**Эверс Г** 104  
**Эдель Л** 41, 62  
**Эджворт М** 292, 326  
**Эйдельман Н Я** 126, 146, 164, 167 183  
**Эйхенбаум Б М** 183  
**Элиот Дж** 60  
**Энгельгардт Г С** 302, 331  
**Энгельгардт Е И** см Белкина Е И  
**Энгельгардт И Я** 341  
**Энгельгардт Л Н** 279  
**Энгельгардт П И** 323, 341  
**Эриксон Э Х** 25, 40  
**Эшенбург И -И** 386
- Юлий Агрикола** 16  
**Юматов Н Н** 271  
**Юнг Э** 326
- \*Языков Н** см Шелгунов Н В  
**Якоби И В** 349, 374  
**Яковлев К** 221-223  
**Яковлева А** 221  
**Якушкин В И** 310, 318, 337

- Якушкин Д А 329  
 Якушкин Е И 310, 318, 337  
 Якушкин И Д 93, 277, 279, 289,  
 299, 309, 310, 318, 322, 328,  
 329, 336, 337  
 Якушкин С А 290  
 Якушкина А В 93, 299, 309, 310,  
 318, 329, 336, 337  
 Якушкина В Д см Воронеж В Д  
 Якушкина Е Д см Милюкова  
 Е Д  
 Якушкина Н 322, 323  
 Якушкина П Ф 282, 289, 290, 299,  
 307, 322, 329  
 Якушкины, семья 279, 281, 329  
 Янушкевич А С 87  
 Янькова Е П 280, 300, 328, 329,  
 373  
 Яньковы (Яниковы), семья 299,  
 329  
 Ярошевский М Г 46, 47  
 Яснопольский А 256  
 Ясперс К 20  
 Яхонтов А Н 389  
 Яшин М 162
- \*\*\*
- Altick R D 47  
 Beaujour M 13  
 Blackwood, гувернантка 285, 309,  
 311, 317, 336  
 Bronson H B 18  
 Brooks J 7  
 Capdeville J 24  
 Capeble J 321, 340  
 Certeau M de 13  
 Clifford J L 47, 58  
 Cucuel, учитель 293, 322, 323  
 Ebner D 17
- Edgewarth M см Эджворт М  
 Eyferth K 52  
 Feveryear K 311, 317, 338  
 Frank K 47  
 Garraty J A 47, 65  
 Girard A 13  
 Gittings R 47  
 Goody J 18  
 Goze, гувернантка 293, 320, 326  
 Guillaume M 24  
 Hamaid, гувернантка 285, 300, 302,  
 307, 317  
 Hankinss T L 46  
 Judy H -P 24  
 Kendall P M 39, 44  
 Key, гувернантка 285, 307, 309, 317  
 Kraushar A 387  
 Lefevre учитель 320  
 Lejeune Ph 13  
 Loustot, художник 282  
 Mandilcny, врач 303, 304, 331, 336  
 Masson H см Массон А  
 Monquin, гувернер 336  
 Namer G 24  
 Nicolson H 65  
 O'Nell E H 49  
 Ong W 18  
 Pascal L 13  
 Renaud, книгопродавец 299  
 Ricoeur P 15  
 Rosvog A 299, 300, 302 307, 309,  
 330  
 Runyan W M 50, 57 67  
 Silbereisen R K 52  
 Teitge D W 40, 41  
 Teitge J S 40, 41  
 Vattov A de 282  
 Weigert A S 40, 41  
 Yeats W B 7

## ОТ РЕДАКЦИИ

В 5-м выпуске альманаха «Лица» (М.; СПб.: «Феникс»–«Atheneum», 1994) напечатана переписка Л.Н.Лунца с М.Горьким (публикация А.Л.Евстигнеевой). Редакция вынуждена с сожалением констатировать, что тексты писем Л.Н.Лунца в этой публикации воспроизведены не по автографам, а по копиям, имеющим существенные расхождения с подлинником. Почти одновременно с 5-м альманахом «Лица» вышел в свет сборник «Неизвестный Горький» (Горький и его эпоха: Материалы и исследования. Вып.3. – М.: «Наследие», 1994), содержащий письма Л.Н.Лунца (публикация Е.Г.Коляды). Отсылаем читателей, желающих ознакомиться с вполне аутентичным текстом писем Лунца, к этому изданию.

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
<b>STUDIA BIOGRAPHICA</b>	
<i>Б В Дубин</i> Биография, репутация, анкета (о формах интеграции опыта в письменной культуре)	7
<i>А Л Валецкий</i> Биографика как дисциплина гуманигарного цикла	32
<i>О Е Майорова</i> Мемуары как форма авторефлексии: к истории неосуществленного замысла Константина Леонтьева	69
<b>ПОРТРЕТЫ</b>	
<i>Н В Самовер</i> «Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу...»: Диалог В.А.Жуковского с Николаем I в 1830 году .....	87
<i>Эмма Герштейн</i> К истории смертельной дуэли Пушкина (Критические заметки)	120
<i>А М Ранчин</i> «...У алтаря пустого я стою!»: Е.П.Ростопчина в 1850-х гг	172
<i>Е Ю Буртина</i> Мелочи иерейской жизни: Документальный очерк об И.С.Беллюстине	187
<i>Е Динерштейн</i> Публицист «крайних убеждений»: Путь А.С.Суворина к «Новому времени»	238
<b>ПУБЛИКАЦИИ</b>	
<i>А И Колечицкая</i> Мои записки от 1820-го года. Публикация Е Э Ляминой и Е Е Пасгернак	277
<i>М А Дмитриев</i> Главы из воспоминаний. Публикация Т Ф Нешумовой	342
<i>Письма Ф.В.Булгарина к Р.М.Зотову. Публикация А И Рейтблата</i>	387
<i>Из переписки П.А.Вяземского с Н.И.Гнедичем. Публикация Д П Ивинского</i>	431
<i>Из воспоминаний К.Н.Леонтьева. Публикация О Е Майоровой</i>	453
Указатель имен	473

**Учредители Акционерного общества закрытого типа  
«Издательство “Феникс”»:**

Издательство «Atheneum» (Париж),  
Российский институт искусствознания,  
Школа-студия (вуз) им Вл И Немировича-Данченко при  
МХАТ им А П Чехова,  
Союз театральных деятелей России,  
Международная конфедерация театральных союзов

**ЛИЦА**  
**Биографический альманах**

**6**

Редактор-составитель А И Реитблат

**ATHENEUM • ФЕНИКС**

Редактор Е В Русакова  
Корректор Г Б Прилькина  
Наборщик И М Курдина

ЛР №090022 от 10 X 1991

Биографический институт 191011, Санкт-Петербург, Невский, 31  
Издательство «Феникс» 103009, Москва, Тверская ул 6, строение 7

Сдано в набор 01 11 94 Подписано в печать 15 10 95 Формат  
60×88/16 Объем 31 п л Бумага офсетная Печать офсетная  
Тираж 3000 экз Заказ №3479

С -Петербургская типография №1 ВО «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12